

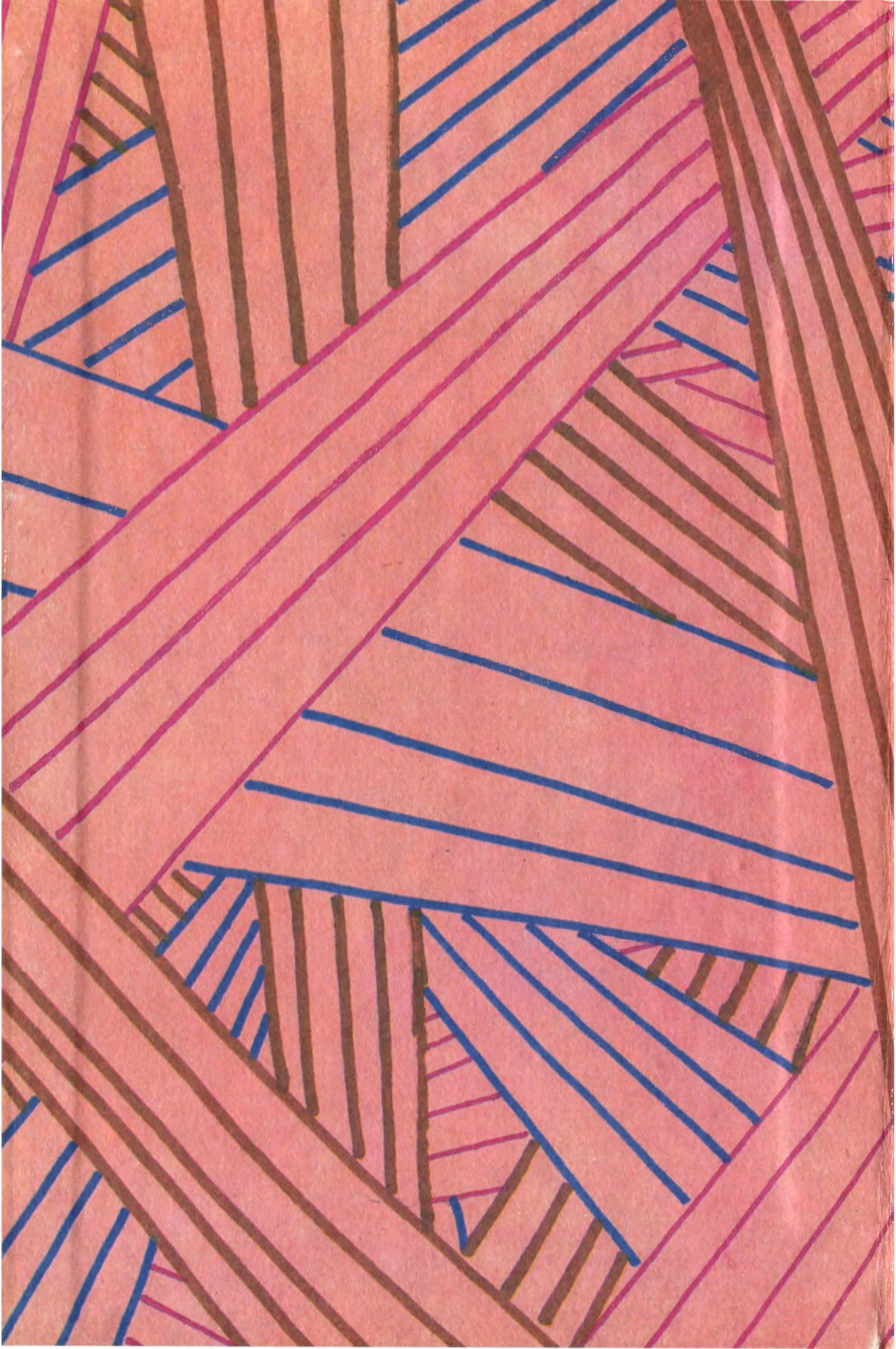
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

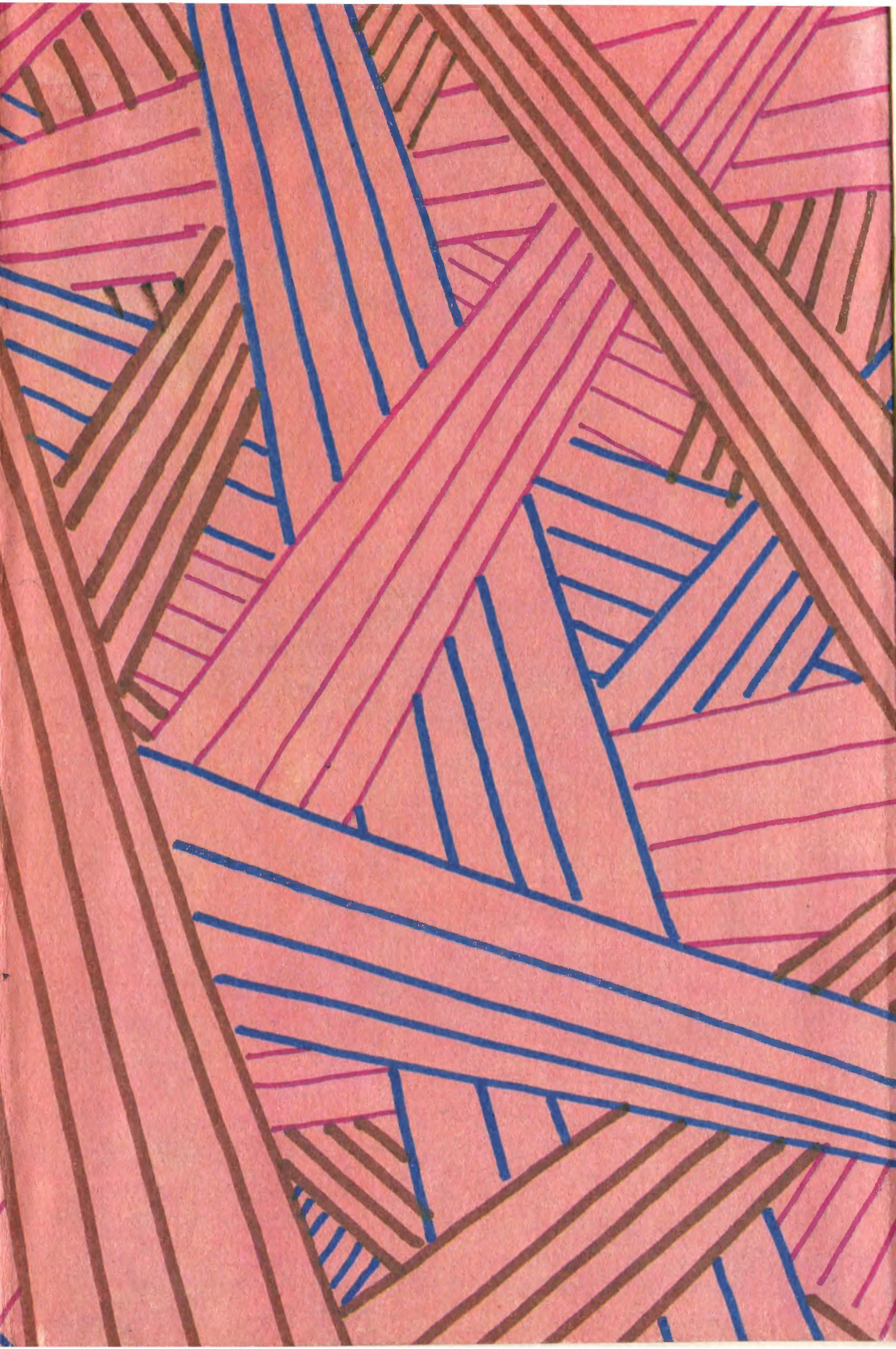


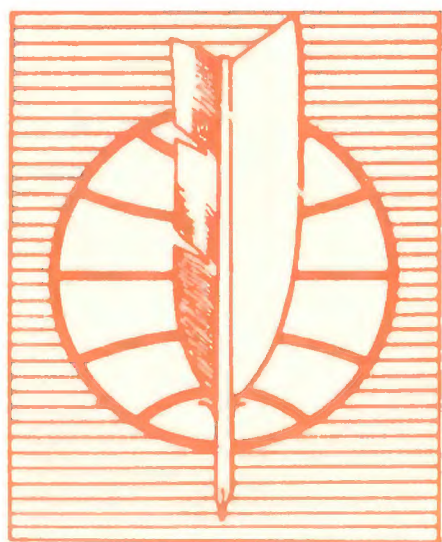
Ч. АЙТМАТОВ
А. АЛЕКСИН
Н. ДУБОВ
А. КУЗНЕЦОВА
А. ЛИХАНОВ



Чингиз АЙТМАТОВ
Анатолий АЛЕКСИН, Николай ДУБОВ
Агния КУЗНЕЦОВА, Александр ЛИХАНОВ







БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

*Р*АНИЕ ЖУРАВЛИ

Повесть

•

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ

Повесть

•

НИКОЛАЙ ДУБОВ

*М*АЛЬЧИК У МОРЯ

Повесть

•

АГНИЯ КУЗНЕЦОВА

*З*ЕМНОЙ ПОКЛОН

Повесть

•

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

*М*ОЙ ГЕНЕРАЛ

Роман

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1985

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Коржев Г. М.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Леонов Л. М.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Лихачев Д. С.	Пешеходова Г. К.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Прилежаева М. П.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Свиридов Н. В.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Столетов В. Н.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Стукалин Б. И.
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Танк Максим
	Мотяшов И. П.	

*

Вступительная статья
АЛЕКСАНДРЫ ПИСТУНОВОЙ

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации
Е. МЕДВЕДЕВА

А 4803010102—377 Подп. изд.
M101(03)85

Состав. Вступительная статья. Комментарии. Оформление.
© Иллюстрации. Охраняемые произведения отмечены в содержании.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.

«ВНОВЬ И ВНОВЬ ПАХАРИ ПАШУТ ПОЛЕ...»

Закончив «Ранние журавли», Чингиз Айтматов зафиксировал время и место, когда и где написана повесть. Под нею обозначено — «с. Байтик. Май 1975 г.». Такое чаще находишь у поэтов, и это очень, очень важная строка: почва, срок, дата создания произведения. Как интересны подобные упоминания! По ним мы можем представить себе, что именно было перед глазами автора, когда его перо летело по белому полю бумаги...

Вот видите, говоря о «Ранних журавлях», я тоже употребила метафору — прием поэтический. Да иначе и быть не может. Ведь история короткой чудесной жизни «командира посевного десанта» пятнадцатилетнего Султанмурата — в сущности стихи. Здесь, как в стихах, необычайны емкость каждого факта и слова; глубинность отношений человека с природой; здесь поэтически возвышенны великие чувства, испытываемые мальчиком, — печаль, надежда, любовь, сострадание. Здесь продолжает свою давнюю жизнь вековый сюжет народной поэзии — первая любовь, окончившаяся трагедией, гибелью. В этих «стихах» Айтматова в простой и правдивой конкретике появляется старинная поэтическая иерархия: старший брат — младший брат; старший сын и отец; старший сын и мать. А символика? Назовем ее реалистической символикой — вышитый платочек, девушка и всадник, прилетевшие в холода ранние журавли...

Я не знаю, где в Киргизии находится село Байтик, и намеренно не стала узнавать. Предполагаю, что это где-нибудь на берегу Иссык-Куля и что в окно Айтматова были видны горы. Они снежно-зеленые в мае. А в 1975 году исполнилось тридцать лет нашей Победы в Великой войне Отечества против фашизма, и неудивительно, что мысли писателя были обращены к этой великой дате, когда его глаза смотрели на череду родных гор, а ноздри вдыхали ароматы весеннего веселого покоя.

Он вспомнил историю Султанмурата. Вспомнил? Или сочинил? Да разве это не одно и то же? Так или иначе, Айтматов знал своего героя, жил с ним рядом, быть может, был им когда-то — только чудом уцелел в схватке с бандитами и волком.

Когда писатель пишет столь точно и достоверно всякое движение души и мысли своего героя, когда он воплощается в него настолько, что заставляет нас объяснять себе это искусство его памятью и биографией, — тогда перед нами поиски прототипов и топографии, которыми занимается читатель. И критик. Критик тоже прежде всего читатель. Чтобы избежать такого простейшего и одновременно труднейшего способа объяснить высокий айтматовский результат, я и не стала узнавать о селе Байтик.

Близко ли лежит оно к Алайским горам, где любил Мырзагуль прекрасный человек Султанмурат? Жил ли в Алайских горах Чингиз Айтматов? Повторю: я не знаю этого. И думаю, что ни биография, ни топография, как ни важны они сами по себе, не могут стать импульсом великого таинства творческой фантазии. Достоверно нам известно лишь одно, обозначенное писателем: он работал над своей повестью вдали от шума городского, в мае, посвященном 30-летию Победы; и написал «Ранние журавли» очень, очень скоро — за один только месяц. Значит, и впрямь перо его летало по белой бумаге.

Произведения, сотворенные единым духом («*alla prima*», как называли это художники Возрождения), часто обладают особенной цельностью. Нет, я не настаиваю на литературных скоростях — ни за что на свете. Произведения, сотворенные единым духом, всегда, как потом оказывается, бесконечно глубоко и очень долго жили в сердцах своих создателей. Замысел беспокоил, и как-то страшно было прикоснуться к нему, такому горячему... Думаю, это случилось и с книгой Чингиза Айтматова «Ранние журавли».

Прошло тридцать лет с той поры, как окончилась война... Перед глазами писателя были иные, чем Султанмурат, подростки. Разные — хорошие и не очень хорошие, замечательные и те, что вот-вот замечательными станут. О них в этом томе рассказывают Анатолий Алексин, Агния Кузнецова, Альберт Лиханов, Николай Дубов. И к ним мы скоро обратимся. Для этих-то ребят — счастливых детей мира — и написал «Ранних журавлей» Айтматов. О ранней горькой взрослости. О ранней светлой и трагической любви. О смерти за Родину, даже о бое за Родину, проходившем в глубоком тылу осенью 1942 года. О сражении с фашизмом пятнадцатилетнего Султанмурата и его друзей — «десантников» в Алайских горах. «Да, уж какие там фашисты! Обыкновенные воры-конокрады. Ну, пусть бандиты...» — скажет некий «добродушный» читатель. Айтматов, я думаю, имел его в виду, когда писал последние страницы повести и не нашел в своей богатой художнической палитре никаких «оттенков», никаких «нюансов»: он дал фашистов одним только цветом — черным. И все же этот писатель не был бы собою,

если б не добавил к цвету еще и запах: от убийц, кажется, несет жестким старым козлом, которого варит «десанту» на обед бандитская сообщница — повариха.

«Ранние журавли» — стихи, сказала я. И это повторю. Детские стихи? Прежде всего. (Значит, и для взрослых, ведь дети вырастают.) Здесь, как положено канонем лучших произведений для ребят, есть полюсы абсолютного добра и абсолютного зла.

Абсолют добра — отец, ушедший на войну, любимый отец, от которого нет вестей. Отец, совершивший перед войною поездку с сыном в город и там — поход в зоопарк, где показывали слона. Султанмурат часто вспоминает тот долгий день вдвоем с отцом. Повозку с керосиновыми бочками, подобную в его душе и памяти сказочному экипажу. И слона. О, и слона! Ведь он еще маленький, этот храбрый, добрый, умеющий работать, как большой, Султанмурат. Он еще мальчишка, хоть и сочиняет стихи для Мырзагуль в цветистом стиле киргизской любовной песни.

Отец снится своему старшему сыну, но черты его и в памяти сына, и во сне не конкретны. Это облако, воспоминание, мечта. Абсолют добра в «стихах» Айтматова дан светлой тенью в отличие от черных теней абсолютного зла. Но писатель не был бы собою и здесь, если б не подарил отцу Султанмурата голоса, который слышит сын во сне и в памяти; а главное — **прикосновения**. Ощущение натруженной руки не покидает мальчика. И тебя, читатель, много раз сдерживавшего слезы во время чтения, тоже будто касалась та рука.

Двойник отца — председатель колхоза Тыналиев, раненый парашютист, дает пятерым школьникам имя своей боевой профессии. «Десант?.. Это отряд подвижный, боевой... отсылается куда-нибудь для выполнения особо важного задания... Десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно».

Как, оказывается, правильно назвал Тыналиев ребятишек! Дальнее горное поле, где они будут пахать на выхоженных ими лошадях, — вражеский тыл. Враг хочет угнать лошадей, убить их, продать конину на ташкентском базаре. Конину? Эти существа — дивные, волшебные, холеные из последних мальчишеских сил, вернувших им жизнь на пороге смерти... Кони́на? Эти любимые всей душою существа? А ведь Чавдар, конь Султанмурата, ходил еще под его отцом. «Кони́на» режет слух, как резало бы его страшное слово «человечина». И волк (назовем его «Волк», ибо он в «Ранних журавлях» почти легендарен), приблизившийся к рыдающему пареньку и к убитому Чавдару, «ухватывал на ветру запах свежей крови», только подчеркивает замысел Айтматова: показать в своей повести бой с фашизмом в глубоком киргизском тылу. В этой книге как бы нет нескольких самых последних строк. Мы не знаем точно — погиб ли Султанмурат. Скорее всего. Но он победил. Айтматов написал

о пятнадцатилетнем победителе через тридцать лет после мая 1945 года.

Через тридцать лет после того, вошедшего в историю мая и Анатолий Алексин написал о тех, кто день за днем, час за часом приближал нашу Победу.

Намереваясь писать о повестях, собранных в этом томе, я заново прочла большое произведение, которое не открывала несколько лет. Большое не размером, а мощью, истиной вместившихся в него идей, событий, переживаний. Это «В тылу как в тылу» Анатолия Алексина.

Иногда мне кажется, что, если б Алексин написал только это, если б даже не было таких, не менее сильных и любимых читателями повестей, как «Безумная Евдокия», «А тем временем где-то...», «Раздел имущества», или такой нежной повести, как «Мой брат играет на кларнете», а была бы одна только повесть «В тылу как в тылу», имя писателя и тогда сохранила бы история отечественной словесности. Ведь благодаря ей (как и другим лучшим книгам о годах сражений) можно понять характеры и судьбы тех, кто победил фашизм, и можно поверить, что народ, который состоит из людей, подобных Екатерине Андреевне Тихомировой, папе Кузе, Подкидышу, Олегу, всегда и непременно одолеет своих врагов. Алексин, правда, оговаривается: «Война не давала людям возможности и... времени для проявления... «разнокалиберных» качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием».

Величием дышат страницы повести «В тылу как в тылу». Дима Тихомиров, ныне выросший, приехал на могилу матери и ее друга Николая Евдокимовича. Приехал в уральский город, вблизи которого в сорок первом развернулась гигантская оборонная стройка. Здесь, «в тылу как на фронте», погибли его красавица мама и беззаветно обожавший ее Подкидыш. Алексин не описывает подробно их неистового труда, превзошедшего все человеческие возможности. Вспомните: действие его повести происходит главным образом в разгороженном простынями и ковриками бараке, в комнатухе однорукого папы Кузи, в госпитальной палате, а до этого — в вагоне, в грузовике, а еще раньше — на горках и тротуарах обожяемого Гоголевского бульвара в Москве, где вырос Дима. Очень хороший и умный Дима. Единственный сын, так естественно поглощающий молоко, получаемое его матерью «за вредность производства». Правда, вежливо вопрошающий, ела ли она сама.

Алексин, повторяю, не описывает подробно работу, которую

ведут люди на стройке. Мама Димы не позволяет сравнивать ее с фронтовой, «в тылу как в тылу» — это ее фраза. Алексин не столько описывает труд, сколько сохраняет в памяти бывшего одиннадцатилетнего мальчика образы героев этого непостижимо-много труда: привычки, любимые слова, черты их обликов. Эта память так мучительна, так ярка. И вроде бы почти не корит себя выросший Дима, что мало понимал беспримерные подвиги матери. А все-таки кончает он свой рассказ о поездке к ней разрывающими сердце словами: «Прости меня, мама».

И эта память, этот скорбный ритуал движения Диминого такси по городу, где на месте бараков давно разбит парк Победы, где стал как бы ниже трехэтажный дом с восьмиметровой комнатухой, увидевшей смерть матери, — своеобразный залог того, что «обыкновенность» и «разнокалиберность» людей мирной поры близки величию и общности людей поры военной.

Нередко в прозе Анатолия Алексина перед нами — жизнь семьи, интеллигентной русской семьи с ее особым укладом. Домашними традициями, старыми вещами и фотографиями, с естественной близостью поколений, с живой памятью об ушедших — попросту присутствию их в другом времени, с житейскими нуждами, со смешными и важными сюрпризами, с праздниками и болезнями — словом, с чередой дней, где, однако, всегда есть игра, песня... Но и нравственный подвиг. И трудовой!

Скажу точнее: нередко в сюжетах Алексина перед нами семьи «обыкновенных» людей — учитель, строитель, бухгалтер, инженер, дирижер детского хора, не проникший в науку врач, режиссеры и актеры нестоличного ТЮЗа... Между отцами и матерями, бабушками и дедушками, мальчишками и девчонками алексинских повестей существует неколебимое нравственное равноправие, ясная ясность, непоказные участие и понимание.

У Алексина мы не отыщем привычных иной прозе приемов, сочетающих сказку с назиданием, экзальтацию — со слащавым жеманством, не знающую узды фантазию — с громкой фразой. Этот писатель считает своего читателя чуть выше душою, чуть умнее, чем он, возможно, есть, и от этого любому из нас приходится быть лучше и умнее. Алексин принимает нас в любые «игры». Мы — смелые, находчивые, веселые, добрые люди. Мы — не знающие сомнений подростки, каковы и есть внутри себя на самом деле. И только в одну «игру» не играют ни его герои, ни его читатели: в поддавки.

Замечали ли вы, что персонажи больших художников — так называемые отрицательные и так называемые положительные — порой объединены некими общими свойствами, родовыми, что ли? Гайдаровская команда, клан симоновских героев, определенность черт жителей прозы Паустовского... Подобное же родство есть и у населения повестей Алексина, хоть это люди совсем

иных судеб и поколений. Всех их (и снова я пользуюсь алексинским способом, да так и вернее размышлять о художнике!) можно было бы соединить на одной огромной фотографии — «классной» или семейной.

Скажем, героиню Отечественной войны Екатерину Андреевну из повести «В тылу как в тылу» можно увидеть там возле друга наших детей «безумной Евдокии», потом врача Нину Георгиевну Емельянову («А тем временем где-то...»), потом бабушку из «Раздела имущества». Они сидели бы, обнявшись, эти прекрасные, близкие, родные, хоть и разделенные эпохами люди. Здесь, на фотографии, поместились бы и «частные» снимки — в овалах-окошечках: «крепкий специалист» по борьбе с загрязнением окружающей среды — мама Верочки, не нашедшая в себе благодарности к бабушке, выхотившей ее дочь после родовой травмы; кровно не близкие, но составляющие единое по фамилии и бездушную семью — Емельянов-старший и приемный сын Нины Георгиевны Шурик, обнаруживший в себе «отцовский стержень». Емельяновский стержень, хотя его истинный отец носит другую фамилию.

Алексин презирает неблагодарность, фальшь, цинизм, зависть... И все-таки его искусство не выносит «смертных» приговоров. Оно осуждает скверные поступки, но всегда надеется, что хорошее осилит дурное и восторжествует в человеке. Алексин — и это в традиции отечественной нашей литературы — составляет суждение о герое не по его падениям, а только по тем высям, которых — в это верит он и мы, его читатели, — сумеет когда-нибудь достичь даже слабый и оступающий в жизни человек.

Впрочем, надо внимательно следить за тканью алексинского повествования и понимать, что «слабость» в системе нравственных градаций здесь иногда может быть и силой... Вот отчего, исследуя даже одно это свойство иных его героев, мы обнаруживаем общую для них «родовую память» о лучшем, их «возвратную наследственность», враждебную лицемерию, предательству, корысти, себялюбивому расчету, лени, чванству, неблагодарности.

С надеждой и верой на лучшее в человеке, в юношеском пылу этой величайшей из надежд работает писатель. Он высказывается о жизни в ее целом и главном — не с внешней стороны, а по существу; рисует то, что лежит вдалеке от частности, от случая, и тем не менее составляет суть частности и случая, их душу. Алексин не только настаивает на абсолюте, но вызывает жажду абсолюта у нас.

Странное свойство этой жажды: она будто бы романтична, в то время как писатель, ее рождающий, чуждается отвлеченных реальностей, хотя и не отождествляет никогда действительность

с обыденностью. Только забыв, что перед тобою шрифтовая стена прозаической страницы, перешагнув ее одноцветность, незаметно для себя повернув золотой ключик и оказавшись на уральской стройке, в комнате, где одинокая женщина вспоминает свою чистую жизнь, ты в состоянии определить истинное свойство этой жажды. Она не романтична в обычном понимании. Она реалистически конкретна: ее вызвала поэзия, хоть и не облеченная стихотворной формой. Родник поэзии в сердце, а не в уме, в твоей читательской возможности летать, а вовсе не в метрике.

Таково зерно вновь открытой во время чтения Алексина устойчивой и вечной литературной истины.

Алексин пишет правду? Не только. Помните гневное слово Достоевского: «У вас нежности нет: одна правда, стало быть — несправедливо». Итак: справедлива лишь та правда, что согрета пристрастной любовью, восхищением, стремлением победить зло и восстановить добро.

Особая точность топографических деталей, конкретность пространства всегда отличают высокую литературу. Вы еще в первых строфах стихотворения или поэмы, в начальных главах повести или романа, но убедительная подлинность места действия — известного вам или вовсе не виданного — уже задела душу своей правдой. А без правды пространства вряд ли может быть воссоздана правда времени.

Перечтите слова Николая Евдокимовича о Москве, о «горах» на Гоголевском бульваре, вспомните дворы и переулки, по которым шагает гордая и смешная Женька, чей брат играет на кларнете...

Обращаясь к прозе Анатолия Алексина, я заметила за собой: начинаешь рассказывать содержание его сжатых, как пружина, сюжетов, и тебе требуется гораздо больше слов, чем употребил автор. Отчего так? Перечитывая «В тылу как в тылу», страдая сыновним Диминим страданьем, я поняла наконец причину этой странности. Писатель говорит о судьбах и событиях, а ты берешься объяснять, что именно тебе стало понятно после чтения. А понятно становится многое и сокровенное. Ты сравниваешь прочитанное с известным тебе из опыта, проецируешь алексинские образы на конкретных, тобою знаемых людей, чувствуешь, как мягкая дружеская рука направила тебя к лучшему. Не навязывая выводов, не предлагая суждений, представ то девушкой, то мальчишкой, то старой женщиной, то юношей, — словом, перевоплотившись, как это положено в подлинном искусстве, Анатолий Алексин продолжает говорить с тобою, когда уже давно прочитана последняя страница... Вот почему нужно так много слов, чтобы пересказать содержание этой прозы: яркий луч направлен на широкий экран нашей жизни.

Давно, зимой семьдесят восьмого года, в «сидячем» поезде между Москвой и Ленинградом я увидела напротив себя девушку возраста отважной и справедливой Верочки из «Раздела имущества». Рыжеватая, закрывающая брови прямая челка, серые глаза в золотых ресницах, веснушки. Она читала журнал, не глядя на снежные поля, на холмы Валдая, на мелькавшие леса за окном. Пришли сумерки. В вагоне зажегся свет. Девушка-девочка заметила, что я гляжу не нее.

— Можно спросить, что ты читаешь?

— «В тылу как в тылу».

— Чье это? (Я, конечно, знала, чье.)

— Анатолий Алексин.

— Тебе понравилось?

Гордый интеллект отверг пустой вопрос.

— Понравилось? Мне поверилось, увиделось. А вы, наверное, знали таких, как Подкидыш и Дими́на мама.

Знала?

К сожалению, нет. Когда эти люди отдавали себя для Победы, я была очень маленькая. О них, об их подвиге говорили в моем детстве, отрочестве, юности... Говорят и пишут до сих пор. Отыскивая след этих прекрасных, часто безымянных жизней, мы меняемся, становимся выше. А «поверилось и увиделось» в самом деле лучше, чем понравилось. «Что самое трудное?» — спрашивает Гете в «Смирных ксениях». И отвечает: «Видеть глазами то, что у тебя перед глазами».

Как ни различны по множеству признаков повести, собранные в этом томе, они объединяются очень важной чертой: их герои (подростки Анатолия Алексина и Агнии Кузнецовой, десятилетний Антошка Альберта Лиханова, пятилетний Сашук Николая Дубова, даже завершивший в бою цельную и полную земную свою жизнь Султанмурат Айтматова), независимо от возраста, семейных, национальных, географических условий, ищут, что есть добро, что есть правда, что есть справедливость. Напряженная духовная жизнь, в которой сейчас, сию минуту, решаются вопросы чести и храбрости, верности и достоинства, в которой плата за любую неточность (и свою, и взрослых) оборачивается немыслимым по эмоциональной температуре переживанием, — вот общее у героев столь несхожих авторов.

Объединяет этих авторов и то, что их произведения написаны в течение последних тридцати лет, во второй половине XX века. Конечно же, как ни далеко уходят иные сюжеты, писатели этого тома отражают нынешнюю нашу жизнь с ее особым размышлением о ней самой, о прошлом и будущем, с ее этическим поиском, стремлением найти точную формулу нравственной культуры. Есть в этом томе «исторический множитель»: каждый из замечательных детских и юношеских писателей, представ-

ленных здесь, владеет заразной и убедительной совестью.

Вот откуда и идеальные взрослые: «безумная Евдокия» Алексина и его же Нина Георгиевна из «А тем временем где-то...», «мой генерал» у Лиханова, учитель Грозный Агнии Кузнецовой, физик Николая Дубова, отец у Айтматова. Их создатели осуществили горьковский постулат детской литературы: «Человек должен быть показан ребенку прежде всего как герой... как рыцарь духа, борец за правду, революционер и мученик идеи, как фантазер, влюбленный в свою мечту и оплодотворяющий ее своей фантазией, оживляющий силой воли своей... Дети должны быть с малых лет вооружаемы именно верой в человека и в великий смысл его творчества, это сделает их крепкими духом, стойкими борцами».

«Земной поклон» Агнии Кузнецовой посвящен «рыцарю духа» учителю истории Николаю Михайловичу Грозному. Он (вспоминая горьковский наказ) «фантазер, влюбленный в свою мечту и... оживляющий силой воли своей». Верой в этого человека и верой этому человеку «вооружаемы» его ученики.

Ведь именно ему дарит «земной поклон» Наташка-Коврижка, мечтающая стать разведчицей, смешная, умная, чем-то похожая на гайдаровскую Женьку, подругу Тимура. Возвышенно звучат ее слова о поклоне на последней встрече класса в «избе раздумий», старой баньке. И однако, почти каждый пережил, я думаю, свою застенчивую возвышенность у порога юности, желание сделать и сказать особенно, высоко, старинно. Романтическое светлое желание. Сказать о бесстрашной искренности отрочества, которую бережет умный учитель, тоже делящийся с учениками сокровенным — стремлением написать книгу, мечтой о литературном творчестве. «О том, что у каждого есть своя особенная жизнь». И в пятнадцать лет о ней страстно хочется рассказать старшему другу, который все понимает. О поиске тайны прошлого и бурно строящемся старом сибирском городе, где новое невольно отодвигает легенды, имена, поразительные факты. Этим зажег ребят своего класса учитель Грозный, которому так не подходит его фамилия. Добрый, красивый, разумный, очень одинокий человек, чью единственную семью составляют дети. •

Писательница оставляет вне рамок своего сюжета историю души этого человека, но по его поступкам, словам, чертам его быта, а главное, по не меньшей, чем у подростков, нужде в доверии и понимании, которую испытывает Николай Михайлович, ты, читающий, чувствуешь, что пережил молодой учитель немало. И так же, как его ученики, был в отрочестве охранен умным словом и взглядом того, кто учил его самого. Работа в школе для Грозного не профессия только, но — миссия. И на

этом писательница настаивает талантливо, твердо, хоть одновременно — и тактично и мягко.

Можно ли согласиться с таким максимализмом? На мой взгляд — должно. «Знаете, на что я надеюсь для будущего века?» — спросил меня однажды художник Павел Дмитриевич Корин. Мы гуляли по Палеху.

Корин вспоминал Михаила Васильевича Нестерова. «Не было в моей жизни большего счастья, чем учиться у него... Так знаете, на что я надеюсь для будущего века? Обязан появиться новый тип народного учителя. Этот тип станет походить на старинных народных учителей. Но без «схимы», без «жертвы», без «вызова обществу». Вы понимаете? Я так мечтаю, чтоб жизнь этого учителя была благополучной: и морально (по авторитету его в городе, в селе), и материально. Чтобы шел такой человек, и все почитали его». — «Почему вы заговорили об этом, Павел Дмитриевич?» — «Да был вот сегодня в художественной школе, тут у нас. Талантливых ребят множество. А на уроке литературы скучают. Понял, что знают они больше своей учительницы. Вот беда-то».

Это было в 1968 году, почти два десятилетия назад. Сейчас, думаю, другие уроки литературы идут в Палехе.

Но вернемся к «Земному поклону».

В одном томе с «Ранными журавлями» Айтматова повесть Кузнецовой создает особые проекции. Обрубленное горькое отрочество Султанмурата и лучшая пора жизни Наташки-Коврижки, Лали. Даже — Никиты Пронина, чью семью разрушила измена матери. Даже — Семена Неверова, у которого умер отец. Контрастны эпохи, время войны и время мира, контрастны судьбы, контрастны проблемы — Султанмурат думает о хлебе, о вязанке хвороста, а подростки из «Земного поклона» мечтают говорить о душе при свечах и камине. И все-таки есть общее у обеих, столь разных повестей. Общее — школа, советская школа. Урок, где учитель открывает ученикам далекие миры, заставляя их мечтать, становиться выше. Любовь и доверие испытывает «взрослый» Султанмурат к учительнице — сироте Инкамал-апай, вместе с нею со страхом ожидая почтальона. Любовь и доверие испытывают подростки мира Агнии Кузнецовой к учителю Грозному. Есть очаг, есть свет для того и для других. И неверно было бы думать, что очаг и свет, создаваемые учителем в «легкое» время, менее важны. Цена сердечного жара неизменна, в этом законы инфляции, к счастью, бессильны.

«Десант» пятнадцатилетних отправляется пахать Аксайское поле. Их сверстники в другом времени становятся «разведчиками истории». Не «игрушки» тут, а большое дело, исполняемое радостно, с увлечением. Вот что важно. Споря с воображаемым скучным человеком, вспомнила, как месяца за два до ухода из

жизни Корней Иванович Чуковский пожаловался другу в моем присутствии: «Что-то стал совсем взрослый, видно, скоро умру...» Я глядела на легкую старческую фигуру и вдруг поняла тогда, что́ есть величайшее качество человека. Когда он, homo sapiens (человек) становится homo ludens (человеком играющим), когда он умеет шутить.

Пронести это через жизнь — вот чему, собственно, учит Николай Михайлович Грозный в сибирской школе. Ну, разумеется, зная биографию Агнии Кузнецовой, мы не сомневаемся в подлинном имени места действия ее «Земного поклона». Это Иркутск, с его когда-то шумной славой столицы русского Клондайка. Золотые прииски, тайга, студеная и зеленая Ангара, дворцы иркутских миллионеров, ставшие ныне «глазными» поликлиниками или библиотеками. Приближение к великой истории Сибири, к ее природе — то, без чего не может быть детства в этом краю. Память о собственном детстве стучит в сердце автора повести. В свете чудесной этой памяти идеальное и реальное совпадают. Так и вышло у Агнии Кузнецовой: реальное идеально, идеальное реально...

Прочитайте внимательно повесть Николая Дубова «Мальчик у моря». Писал ли мастер то, что видели его глаза? Безусловно. Да дело-то в том, что глаза его видели картину щедрой и страдающей души маленького Сашука, а не только обрывающуюся перед морским простором степь под Измаилом, не только барак рыбацкой артели и быт ее. Жанрист пишет быт, реалист (а реалист, я думаю, всегда немного романтик) пишет бытие, пишет жизнь в ее цельном, в ее главном течении.

«Сашук о том не подозревает, но он язычник. Втайне он уверен, что мертвого ничего нет, все вокруг — живое. Не только люди, звери, птицы. И дерево, и камень, и палка, и любая машина... Они только хитрят, притворяются неживыми, а на самом деле все видят, чувствуют и, когда хотят, делают все по собственной воле, а не по желанию человека. Они даже разговаривают между собой, только так, что люди их не слышат или не понимают. И в душе Сашука все время живет ожидание чуда: вот-вот случится сейчас такое, чего еще никогда не было, никто не видел и не слышал...»

Читая вслух эти строки Николая Дубова, я думала, что он каким-то таинственным образом проник в собственный мой детский мир, в мою детскую душу — душа ведь не стареет. Я читала вслух о Сашуке, а представляла свое сердце, где всегда живет ожидание волшебства и чуда. Как же узнал об этом писатель, которого мне так и не пришлось никогда увидеть? Вот в чем еще секреты истинной литературы — она рассказывает читателю о нем самом; она рассказывает читателю о мире, который ему кажется бесконечно знакомым, хотя он там

не бывал; она рассказывает нам с вами сокровеннейшие наши мысли и ощущения, наши собственные открытия.

Повесть «Мальчик у моря» захватывает несколько летних дней шести-семилетнего Сашука. А происходит в эти дни так много! Не «событий», нет. Хотя впервые увиденная малышом морская «бездна», означающая нечто «без дна», дружба с грубоватым рыбаком Жоркой и с нежнейшей девочкой в бантиках Анусей, тяжкая болезнь мамы, а главное, зрелище нравственных полюсов — совести и корысти, участия и равнодушия — большие факты человеческой жизни.

Разве вы не помните свою любовь к какому-нибудь зверьку (у Сашука это Кутька, щенок) и свой страх разлуки с ним? Разве вы можете забыть захватившую когда-то все ваше дыхание морскую ширь? А дикий, ужасающий душу и оледеняющий тело ужас от болезни мамы? Если и теперь, будучи человеком средних лет, я вспоминаю те свои детские чувства с такой глубокой и даже ранящей отчетливостью, то что сказать о подростке и его памяти радостей и горестей раннего детства?

«Мальчик у моря», конкретное название, соответствующее пейзажу повести, можно было бы разъяснить, продолжив его одним только словом: мальчик у моря жизни. Разнообразной, богатой счастьем и теплом, потерями и страданиями, открытиями и неизбежными повторениями. Сашук — большой человек, нежная совестливая благородная душа. Как удивительны его отношения с бригадиром Иваном Даниловичем, разрешившим Сашуку взять с собою Кутьку в тот барак, где будет жить рыбацкая артель... Детское ощущение прочности, силы и справедливости Ивана Даниловича колеблется только единожды: отец Сашука вместе с мальчиком приходят просить машину у какого-то начальника, надо свезти в больницу мать, повариху артели; отец униженно просит, начальник Гладкий отказывает, а Иван Данилович почему-то вынужден промолчать. Почему? Но доверие к бригадиру осиливает и это. Недаром: когда куркуль и вор Игнат убивает щенка и заявляет, что Сашук и его Кутька ели артельское сало, Иван Данилович выгоняет его из артели.

«— Уходи!

— Как — уходи? Куда?

— От нас уходи. Совсем.

— Да что ты, Иван Данилыч... Разве можно человека из-за какой-то паршивой собаки...

— Не из-за собаки. Из-за людей».

Каким торжеством справедливости звучит это «от нас уходи». Замечательно.

Итак, и у Дубова в его прекрасной повести есть абсолют добра. Иван Данилович, пограничник Хаким, на добрых руках спускающий Сашука с дозорной вышки, молодой рыбак Жорка,

побывавший за свою короткую безалаберную жизнь в местах не столь отдаленных — искал справедливости кулаком. Все эти прочные, веселые, сильные люди, чьи характеры и судьбы Дубов дает в детской книге, не боясь ханжеских упреков, что маленький читатель увидит изнанку жизни, соединяются в лучшем и любимейшем, кроме, конечно, самого Сашука: в Звездочете. О, и этот абсолютнейший абсолют отнюдь не без слабинки у Дубова: он, на взгляд Сашука, Ануси и на наш с вами взгляд, излишне подчинен своей вздорной красивой жене, Анусиной маме. Но он, этот человек из иных миров, астрофизик, приехавший отдыхать на дикий пляж под Измаилом, единственный, кроме Ивана Даниловича, кто говорит о совести и действует по совести. Ведь это он отвозит в больницу в сияющем своем «Москвиче» мать Сашука, повариху Настю, и это он так славно и смешно иронизирует, шутит с дочкой и Сашуком, принимая их в свое дружество. Его ирония, знак равного общения с маленькими людьми, притягивает к себе Сашука. Он верит этому человеку, и не напрасно...

Свою повесть «Мальчик у моря» Дубов — формально, по глаголам! — написал в самом деле так, как если бы он фиксировал происходящее в театре: в настоящем времени. Дубов употребляет слова действия только сиюминутно: «Приподнимается», «вздыхает», «обрывает», «выходит», «садится», «кладет ему руку на плечо». Если б вы переводили эту книгу на любой европейский язык, вам пришлось бы избрать для глаголов континуусную форму. Итак, это, может быть, все-таки жанристика? Нет. Вам пришлось бы для перевода Дубова найти в континуусных видах глаголов европейских языков так называемый «perfect continius»: время, которое мы видим в его развитии и вместе с тем в его завершенности. Это-то и есть время реалистического искусства.

Мы оставляем Сашука у синего моря, когда он спрашивает у Жорки:

«— Почему люди злятся, врут, обманывают?.. И вообще, зачем плохие люди?»

— Ни к чему, да вот есть!.. Что ж, их всех в мешок, да в воду?

Сашук... смотрит на Жорку. Ответ не удовлетворяет его... Столько непонятного... «Скорей бы большим стать, что ли!» — с тоской думает Сашук. «А лучше всего найти звезду, про которую говорил Звездочет... Вот тогда бы... он знал, где плохие люди, а где хорошие... где правда и где обман и что надо делать».

Рыбаки уходят в море, а малыш, переживающий болезнь матери, смерть щенка, множество горестей одновременно, засыпает на причале возле пустых ящиков. Он спит, а «на востоке

появляется звезда. Незаметная сначала, она разгорается все ярче и ярче».

Вот какой романтической нотой оканчивает историю Сашука прекрасный писатель Дубов. И мы верим, более того, мы твердо знаем, что Сашук найдет свою Звезду и всегда, всю долгую жизнь, которая у него впереди, будет сражаться с плохими людьми. За хороших...

Обратите внимание на эпиграфы, выбранные Чингизом Айтматовым для «Ранных журавлей». Один из них — строки «Тхерагатхи», свода древнеиндийских сказаний. Этим строкам почти полтора тысячелетия.

Вновь и вновь пахари пашут поле,
Вновь и вновь бросают зерно в землю...

С надеждой люди семена сеют,
С надеждой люди уходят в море...

Мне кажется, эти стихи могли бы стоять эпиграфом не только к повести Айтматова, но ко всему собранному в томе, который вы сейчас читаете.

Пахари пашут и всамделишное поле, и поле юной души человеческой. С надеждой уходят в море отец Сашука, Иван Данилович, и рыжий Жорка. С надеждой сеют люди семена: разумное, доброе, вечное. Но надо уметь сеять. И хлеб, и вечное.

Нелегко писателю найти человека, чьей личности, чьим словам и поступкам безусловно верит читатель. Есть ведь люди, умеющие многое, но чем-то малым компрометирующие это многое. Как же найти и воплотить живого, конкретного человека? «Кого бы я мог полюбить, привычек почти не меняя?» Это двестише из старой песенки очень, по-моему, точно определяет труднейшую задачу детского и юношеского писателя.

Найдя своего «пахаря», литератор начинает писать своеобразными световыми чернилами, вот как Альберт Лиханов в повести «Мой генерал». Автор извлекает красоту из самой обычной, даже неприметной наружности главного героя. У него простой и мудрый метод: «не беспокоиться» о поэзии. «Она должна явиться сама собой, — будто говорит нам писатель. — Ведь достаточно произнести вслух ее имя, чтобы вспугнуть ее».

Лихановский «абсолют добра» генерал Антон Петрович Рыбаков, дед названного в его честь Антошки, намеренно прозаичен. «Какой-то маленький старик в коричневом пальто и кепке...» — думает про него внук, впервые с ним знакомящийся на сибирском аэродроме. «Какой же он генерал?» — говорю

я растерянно. «Генерал что надо!» — отвечает летчик... «Я иду к маме и отцу и к тому старику... Как я мог ошибиться, и почему он в коричневом пальто и кепке, а не в генеральской фуражке с кокардой».

«Голос у деда густой, рокочущий, громкий. Когда он говорит, висюльки в нашей люстре позвякивают...

— Однако ты не считай, — говорит дед, — что у меня один голос и есть. Я стреляю хорошо... Из карабина, из пистолета, из автомата... Пахать умею. Плотничать немного. Плавать. Ты-то умеешь?»

Заметим «в сторону» (так принято на театре!), что Антон Петрович умеет пахать. И хоть мы сейчас говорим о пахаре в переносном смысле слова и о зернах — скорее как о зернах воспитания, нам очень важно знать, что главный лихановский герой, еще один абсолют добра в этом томе, умеет пахать. Значит, знает важнейшее из дел земных, и ведь он к тому же и воин, да и какой воин!

В повести Альберта Лиханова ярко воссоздано счастливейшее из чувств детства — гордость старшим в своей семье человеком, желание во всем походить на него, дружба с ним, эта защита на всю оставшуюся жизнь. Тот, кто пережил такое чувство, вырастет уверенным, спокойным и добрым. И мы вместе с автором убеждены, что Антошка не может быть иным.

Дед, как потом выяснится, не родной по крови, но более чем родной по душе и жизни, умрет в конце повести. Он болен, этот старенький Чапай, и трагедии все время ждешь, пока читаешь. Отставка генерала состоялась из-за больного сердца, только поэтому и приехал он в семью приемного сына, найденного им малышом на войне.

Знал ли отец Антошки эту «военную тайну», которую дед открывает внуку, готовясь расстаться с ним навсегда? Нет, наверное. Да вряд ли и теперь раскрыл бы Антон Петрович свой секрет, даже чувствуя, что уходит от своих любимых, если бы... если бы он не считал, что этим объяснит внуку человеческие связи, более значительные и важные, чем кровные. Связи нравственные, духовные, мировоззренческие. Связи сердцем назначенного родства.

Итак, маленький генерал в коричневом пальтишке прилетает на сибирскую стройку. Тут возводится ГРЭС. Тут со страстью и увлечением работают его сын — инженер («вечный кочевник») и невестка — врач, коренная сибирячка, смелая, красивая, разумная. Их Антошка растет в дружбе с ними, но и в том детском одиночестве, которое вечный спутник занятых семей, где нет стариков.

Я помню таким собственное детство и свое великое наслаж-

дение от гостевания у ребят, имевших дедушек, бабушек, тетюшек... Как мне нравились всегда многонаселенные семьи, где вместе жили разные поколения. Каким теплом веяло даже от дверей такой семьи, где ты звонила и ждала услышать стариковские шаги. Быть может, моя особая любовь к старым людям, ощущение их силы и вместе с нею трогательно скрываемой немоги, ощущение свободно листаемых ими эпох и событий, великое морозящее чувство истории — все это зародилось когда-то очень давно, на пороге отрочества, от жадного взгляда на чьих-то дедушек и бабушек.

О, я понимаю лихановского Антошку! Понимаю, почему он в таком восторге от мытья полов вместе с дедом, от испеченных дедом пирожков, от того, что дед ночует в его комнате и беседует с ним, когда уже положено спать. Я понимаю и его невинное, в общем-то, скромное хвастовство дедом в классе. И я восхищаюсь Антошкиной хитростью: как бы случайно познакомить деда со старенькой учительницей французского Анной Робертовной, чтоб и у них была своя компания.

Одним словом, мне очень нравится Антошка и его генерал. На пороге отрочества человек отчего-то начинает стыдиться своих огромных чувств. Они кажутся ему нелепыми, а сам себе он представляется неловким, неудобным... Любя деда («знаете ли вы такое слово — беззаветно?»), Антошка забывает о себе, не помнит, какой он там есть.

Наверное, Лиханову очень трудно было написать героическое состояние души своего маленького героя. Писать о хорошем ведь много-много труднее, чем писать о плохом. И здесь, как в «Ранних журавлях» Айтматова, прозаику помогла поэтическая интонация. «Слова — это не просто слова, а значительно больше, — вспоминает лихановский мальчик. — Ведь слова служат людям... Означают то, что человек чувствует. Я люблю дедушку. Люблю беззаветно... Вот он стоит у окна. Курит сигаретку, сунув ее в разноцветный мундштук... Ждет... Он сказал... «свою военную тайну». И я чувствую — со мной что-то случилось... Я встал, подошел к деду, прижался к нему лицом. Буря грохотала во мне. Но я... только обнял его и прижался крепко-крепко».

«Мой генерал» словно бы записан Антошкой сразу после смерти деда. Мальчик рассказывает, как прошли те немногие счастливейшие месяцы его жизни, которые он провел вместе с Антоном Петровичем. Можно было сказать старшему: «Пополземся».

Антошка — мы все время слышим его голос — честно признается в своем снобизме: «Сперва дед катал чужие коляски, а потом стал кладовщиком. Я даже заплакал, когда узнал об этом... Позор какой...» Проблема, к сожалению, актуальнейшая. Наверное, благодаря нынешнему благосостоянию (бедным-то

людям не до снобизма) стали все более заметны в подростках такие «сословные» предрассудки. И Лиханов с его острым общественным чутьем заметил это. Но написал об отроческом снобизме мягко, точно, лирично, с тем отеческим серьезным укором и вместе — с пониманием, словом, в той интонации упрека, меру которой он точно знает. Ибо превышение меры означало бы, что его не услышат.

Но вернемся к рассказу Антошки о том, как снеговал засыпал деда на складе, где он работает кладовщиком. Как его откапывают. Как дед сочиняет адресованные Антошкиной маме стихи:

Олюшка!
Голубушка!
Кто же знал!
Что такой завал!

«Я повторял про себя дедушкины стихи и крутил головой: ну, Пушкин!»

Конечно, знает Антошка, что не Пушкин. Но ведь эти его слова — снова признание в любви!

В повести Альберта Лиханова абсолюту добра не противопоставлен действующий рядом абсолют зла, персонифицированный в каком-либо одном или в нескольких людях. Есть и тут абсолюты зла, но имена их пишутся с маленькой буквы: война, смерть, ложь, трусость, душевная скупость, лень, эгоизм. Но и добро у Лиханова воплощают не только люди. В равной мере с ними — природа. Сибирь, ее тайга, реки, погоды, пространства даны в «Моем генерале» величественно и героически. Нелегко было Айтматову поставить своего Султанмурата на Аксайском поле — перед горой. Нелегко было и Лиханову поставить перед сибирской далью двух своих Антонов, не потеряв ни масштаба, ни объема, ни глубины. Самое трудное для истинного художника — дать сопоставление двух великих стихий, человека и природы, и знать в этом сопоставлении точный масштаб.

Повторю первые строки эпиграфа, которым Чингиз Айтматов предварил «Ранние журавли»:

Вновь и вновь пахари пашут поле,
Вновь и вновь бросают зерно в землю...

И опять вспомню, что ответила школьница, читавшая «В тылу как в тылу» Анатолия Алексина, на мой вопрос, понравилось ли ей: «Понравилось? Мне поверилось, увиделось».

То же, думаю, сказали бы и другие юные читатели о повестях Ч. Айтматова, А. Алексина, Н. Дубова, А. Кузнецовой, А. Лиханова — об их произведениях, вошедших и не вошедших в этот том.

«Поверилось, увиделось...» Значит, глубоко пахут пахари поле юной души человеческой. Значит, высоки всходы на этом заветном поле.

Александра Пистунова

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

*Р*АНИЕ ЖУРАВЛИ

Повесть



С ы н у А с к а р у

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обошел.
Но нигде такую, как ты, не нашел...

Киргизская народная песня.

И приходит к Иову вестник и говорит:
«А отроков сразили острием меча...»

Книга «Иова»

Вновь и вновь пахари пашут поле,
Вновь и вновь бросают зерно в землю,
Вновь и вновь дожди посылает небо...

.

С надеждой люди пашут поле,
С надеждой люди семена сеют.
С надеждой люди уходят в море...

«Тхерагатха». 527—536.

*Из памятника
древнеиндийской литературы.*



1

Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь — чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы (фрукты какие-то), и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды и невиданные растения. Но самое завидное — жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй: ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужны совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись в три погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе как ходится, грейся на солнце, а нет — прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест — ну тогда

птицеверблюдов¹ гоняй, птицеверблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймашь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что, попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из айльных сам видел на джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки...

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес! Живи себе и ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят... Вот и война оттого... Сколько уже людей в айле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя...

Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любит в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупой. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах выросла наледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверно, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересаживала его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь». А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль, ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если бы ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели

¹ Птицеверблюды — страусы.

бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми, как со всеми, а подойдет он — она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат+Мырзагуль=экі ашы́к»¹. А так сидели бы рядышком, и ничего не скажешь...

За окном несло. Сыплет снег, сыплет... В ясный день глянешь из класса — горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь, сильно горел тот кизяк. А теперь привезут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой — и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы. Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон: «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы... Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету. Усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновой спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда, посчастливилось...

До войны, как раз за год до войны, произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай, в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакéч², а золотой — за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться...

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки

¹ Экі ашы́к — двое влюбленных.

² Арабакéч — возчик.

керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, — любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покати́л в Джамбу́л». Туда и обратно — два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка как поезд по рельсам идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверное, и поручали ему самые ответственные поездки.

Так вот, в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как догадался отец, что ему в город давно хотелось? Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты, того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно. Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как ишак. Когда отец дома, к нему не пробьешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показывать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня-завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает: уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо.

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худущий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпускал. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата́, атакé, ата, атаке...¹

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегаёт вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай и другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться...

А тот ни в какую...

Султанмурат почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку

¹ Ата́, атакé — папа, папочка.

на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру или, вернее, придумалось же такое в природе...

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь...

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а почему меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неумемной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настрого не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был так прилежен, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка переарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай умыл, когда та упала в грязь, и еще, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, прыснула со смеху, качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье-то! Как бы не сглазить! А может, не отпускать тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились, у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другого девочки. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он уже будет в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджикé, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. — Черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонка. Я его кормлю,

пою, один раз он даже в школу прибежал. Стоял под окном, ждал, когда я выйду на перемену, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается...

— И некому тебе помочь объездить его как следует? — посоветовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике, — с готовностью отозвался Султанмурат. — Обязательно сам объезжу...

— Ура-а! — сорвался с места младший. — Пошли!

— Ну-ка сядь на место! — осадил его мать. — Сядь, не суетись. Попьете чай, как люди, потом успеете.

Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступить к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою. Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или: «Султакé, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить...» Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только тогда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрызения совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все что угодно.

После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами.

Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться в сторону. Знал уже, ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султанмурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, впрыгивал на ходу, ложась животом на хребтину Черногривого, вторым приемом оказывался верхом на осле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять попытка...

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо успеть приземлиться на руки. Высота с лошади, и тем более с верблюда, дает возможность человеку сориентироваться. С ишака неопытный седок падает мешком, не успевает даже сообразить...

Султанмурат это знал по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать приемы джигитовки, как осоавиахимовцы. На бегу спрыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осоавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свой же аильные джигиты занимались после работы. Лозу рубили вскачь. На бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осоавиахимовцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах? Конница, говорят, уже не применяется на войне...

И, глянув во двор за окном, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

...То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую...

— А теперь садись,— позвал Султанмурат брата,— езжай, все в порядке!

Разрумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай¹, как тут было не похвастаться!

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. Аджимурат верхом на Черногривом въехал во двор показаться матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и того взял, вдвоем бы им веселее было,— говорил отец,— да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке впритык под бочкой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать.— Не приведи бог, и не думай, не надо,— зашептала она.— В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гляди в оба. Думаешь, большой, куда там...

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром, им отправляться с отцом в путь-дорогу...

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крылами. А он лишь распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве... То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала,

¹ Агай — старший брат.

и ботинки, береженные, тоже привезенные отцом с канала.
— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.
— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда, растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громыхая, пошла по воде через большой каменистый арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклеывалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине гавкнули спросонья на колесный перестук...

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдали лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцой, казалось не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо знакома, в который-то раз проделывали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку...

Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в щелке между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком: свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаряли жизнью все на земле...

Хорошо, отрадно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он ждал с нетер-

пением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольно уши прижали, коснулись друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подраться решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-нибудь омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громыхающая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади; дорога, по которой катились колеса; лошади, дружно печатающие копытами; ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем; легкие белые облака, кочующие высоко над головой; еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые; арыки и ручьи, разлившиеся на переездах; встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же заученную трель неспроста. Они знают, для кого они насвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат. Птички эти — сарайгыры¹, а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!» Чудные птицы сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

¹ С а р а й г ы р — соловый жеребец (с а р ы — соловая масть, а й г ы р — жеребец).

— Это сарайгыр,— объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха...

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все насвистывали: «Чу, чу, сарайгыр!», а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрее, быстрее в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр! — Это он относил к Чабдару.— Чу, чу, торайгыр! — Это он относил к Чонтору.

А отец приуныл его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг, и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя и вдосталь да за упряжью следи — никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сáзах. Брички с грузом увязали по самые ступицы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну, прибегут — выручай, просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали, повезло, говорят,

тебе, Бекбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

— Ата, а который старше? — спросил отца Султанмурат. — Чабдар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечаю я, Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норова не вредного, красив, силен.

— А мне Чабдар больше нравится, — сказал он отцу. — Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный, — усмехнулся отец. — Не любит, когда ему докучают без дела. — И, помолчав, добавил: — Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши, — повторил он, погоняя коней.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку. — И посвистел спокойно, выжидательно. — Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле оба мерина начали мочиться на дорогу шумными, пенистыми струями, а плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал. Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбульском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению: человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бекбай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и прикладывая руки к груди. «Вежливый народ! — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, всегда уважит...»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слон, медведи, обезьяны, мартышки — кого там только не было...

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя: не дай бог, сорвется с цепей — порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет...

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебе бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и «жаман»¹ схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась крас-

¹ «Ж а м а н» — оценка «плохо».

ной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках.

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее и отец и брат на фронте... А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривдаться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкамал-апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения...

3

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, — загляденье, прямо как всамделишный наган. А девочкам какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей...

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоящий на запахах летних трав. Лягушки затурчали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал neodолимым сном. И перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать, как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыхивала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал,— бормотал он, прижимая его к груди.

Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал: — Ты спи, а я выпрягу лошадей поpastись.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо спалось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы...

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекааты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стоит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба...

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спрoсoнья, поплотней прижал к себе.

В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке...

Часто потом вспоминался ему звездный сон...

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах... Наверно, все перепелки на свете счастливые.

4

— Султанмурат, что с тобой? — Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего.— Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса,— недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко пере-

дергивая плечами.— Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Тыналийев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался. А до войны агроном был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь...

Захватив большую охапку соломы, Султанмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашущукались, оживились.

— Тише, не отвлекайтесь! — потребовала Инкамал-апай.— А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печке, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы, сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевай только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, скорчить кое-кому рожицу, посмеяться, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатая на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристаёт. Дулю бы ему показать. На, мол, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир, артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо, и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подот-

кнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось при виде слез на ее глазах.

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет,— говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит замороженный...

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит... И наверное, потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай пере-хваченным голосом.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай,— успокоил ее сразу Тыналиев.— Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили,— кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный,— подтвердил завуч.— Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аиле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое,— начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время сисясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособо-

кость.— Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно, вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и снаряд. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть: довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом... К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать и засеять двести гектаров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей-двухлемешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам...

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скобоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку...

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок...

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе...

Вот так говорил председатель Тыналиев...

А за окном все выюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра запуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распушенный хвост. Холодно было коню...

Да, тут тебе не Цейлон...

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы,— объяснил Тыналиев.— Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина...

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу,— Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой в классе...

Ребята зашумели:

— У нас Анатай самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султанмурат,— снова обратился к нему председатель.— Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да,— ответил Султанмурат и встал с места.— Пахал на Аральской улице.

— На двухлемешном, четырехконном?

— Да, на двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал,— сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай.

— И я,— вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздались голоса.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой? — опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень,— проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо,— вставила все это время молчавшая Инкамал-апай.— Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а,— задумчиво протянул председатель.— А я-то рассчитывал... Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же,— ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше,— усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал: — Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю,— сказал Тыналиев,— но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного? — улыбнулся Тыналиев.— Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета? Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно,— объяснил Тыналиев.— Это такой купол над головой, он распускается, как юрта...

— Знаем, знаем,— хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант? — снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчание.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей,— объяснил Тыналиев.— Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты

садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

— И мой!

— И мой тоже!

— И мой!

— И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно и больше, оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было высказывать некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню...

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргéша и Кубаткúла. И сказал, чтобы завтра с утра все были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома уже поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб, — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

— Уроки учил?

— Да, выучил, — ответил Аджимурат.

— Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле лампы, решила, наверное, что Султанмурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне?), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина, она есть женщина. Часто они плачут, женщины.

И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инкамал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война кончится — снова можно пойти в школу... С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тыналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Во-первых, с председателем и бригадиром, тощим рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни. Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весновспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что уставились! — заворчал старый Чекиш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров¹ на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошади семижилые — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглядутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих, беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взъерошенные, на худущих ногах, толкнешь — свалются. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как

¹ Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

уверенно и прочно бежали в упряжи справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к председателю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским коням Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карего. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года...

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногому молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и то заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устакé¹ вас зовет к себе!

Ребята прибежали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый, воронено-сизый, заново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, поддержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А? Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставляю без лемехов. Каждому по три пары готовлю. Единственно зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге — лемех! Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда

¹ Устакé (устá) — мастер.

сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка...

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел, подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью...

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там не поливные, и лежат они все больше по пригоркам... Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксая пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется» — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев, на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский...

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиравалась. И потому на день лошадей выводили на солнцепек, к наружным акúрам¹. На солнцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки.

¹ А к ú р — глинобитная кормушка для стойловых лошадей.

Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без сшибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Чего тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать... А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка, прекратите шум! — приказал он. — Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает? — перебил Эргеш.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята, — продолжал председатель. — Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи, как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все,— говорил он.— За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним — как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои и дела?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, но за ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он брата, хотя тот, случалось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мырзагуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела, как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью...

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцати лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октору — гнедая стрела. Отец Анатай тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу лунолицую — Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы...

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеком, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулюк, что означало «скакун в белых носках».

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеком. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтынтуяк — золотое копыто.

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеко, в той большой войне погиб смертью героической в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай...

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому...

5

И приближались те дни...

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский норов, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивали, лезли чуть ли не под брюхо коня: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полусонные, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более, когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь пили лошади под призором плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбегала отсюда из-под льда по каменистой отмели и снова утекала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст...

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, пригревались в коротких солнечных лучах и снова принимались тянуть в себя воду. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распустив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шумели.

Прошло еще немного времени, и люди стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Вроде бы совсем и не те клячи, а заново рожденные. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работающих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей оплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу Взыскательным, колючим взором осматривал он лошадей, и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда наконец попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Аксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадир Чекишу, когда ездовые на мажарах не успевали вовремя подвезти клеверное сено, особо сберегаемое для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слышали, мало того, что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра до ночи... И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спихватишься, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет...» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделать Султанмурат, да и любой на его месте? У каждого из

десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисть, корма готовь, и снова корми, пои, чисть, навоз выноси, и снова сначала... А какой это труд промывать и лечить лишаи старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие растворы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него, и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность...

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили.

День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что, появившись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Приспустить поводья, быстрее и быстрее. Так и подмывало понестись галопом. Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрее, что так тихо!

Но Султанмурат как командир не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голоса. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников и кричат, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькнувшему в полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то крича и размахивая сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-а-т!» И то, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалось в

память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни... И от радости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, закружила...

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, загигикал, прилег к гриве, настигать стал Анатаю. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удалство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатаю как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспыхнувшим состязанием, и видел, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатаю, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатаю позади не было. С трудом удержав разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатаю и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная, была она все равно самая красивая...

Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасо-

ваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И, только приближаясь к аилу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окликнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед! — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили: сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть. Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать гонки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще, сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, покрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты!»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошли. Однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смирные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе считал себя невиноватым.

— Баба ты! — обзывал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь? Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди! На то ты командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шутное ли дело, тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрянул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора: пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости.

И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешился. И пошел к ним, грозный и взъерошенный:

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только ещё больше посинел старик от удушья и, все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Фашисты! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую! А на чем теперь пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять...

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! А побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили...

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропадало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и другие знающие люди сказали, — что повреждение

не опасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользоваться лошадями. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десятков овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще, корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста-курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актóш и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сена накашивал отец — на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить, вся жизнь была устроена при отце по-иному — надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках...

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало... Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуй-

ского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг зашлась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раздался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя наш Нургазы приехал, — сказала она сыну, — иди встретить. — А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери дядя Нургазы жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призывали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был: нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать, что к чему, да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндевевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнувшихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Хóлода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил... Горячей шурпы¹ с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун², занеси что там есть в дом, а курджун освободи... Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, neodетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу³ дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.

¹ Ш у р п а́ — мясной суп.

² К у р д ж у́ н — переметная сума, мешок.

³ К а м ч а́ — ременная плетка.

— Как тебе не стыдно! Слезь! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайакé¹, я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. — Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись все. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца, как ни слуху...

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже не в живых, а от него письмо приходило через полгсда. Война, мол, есть война...

В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, — похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал

¹ Тайакé — дядя по матери.

Султанмурат. — Совсем доходяги. В лишаих. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите какой! Отцовский конь. А это Акбакáй, вот Желтама́н...

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжки. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши...

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно...

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама убедится — письма пойдут одно за другим... Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжело и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать

о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверное, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалось смешной и эта затея, и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обошел.

Но нигде такую, как ты, не нашел...

И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему...

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу...

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не

с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вязались. Прежде всего хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть, и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней. Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать,— как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня...

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно перестали вланивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашыктык кат»¹, написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом

¹ А ш ы к т ы к к а т — любовное письмо.

заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания, и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

Аксай, Коксай, Сарысай — земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел...

6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат, по праву младшего, устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далеко было то место, в балке Туёк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурлившихся ливневых потоков и грозových раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостеблистых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустым не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туёк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный разными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считанные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, от того, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пушу, говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких вестей. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Побледнел даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи — это вы напрасно. И в расчет не

возьму ваши слова, хотя в душе понимаю. Это, мол, фронтовое задание такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому: того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко, и председателя Тыналиева, его тоже надо понять, не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрее выходить на работу. Времени, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорей берись за дела... Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла...

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Безмятежное согласие сил. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг. Кое-где уже темнели широкие рваные прогалины среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдали. Какая большая земля лежала вокруг и как много забот было на ней человеку!

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет... Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине...

Но день был чудесный. Аджимурат — тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, от того, что брат рядом и собака преданно бежит возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо для дома. Сам же на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

Бер командá, маршалдáр
(Дайте команду, маршалы),
Калбáй тегíз чыгабыз
(Все, как один, выступим).

Мин-миллион жаó келсé да
(Пусть идет тысяча миллионов врагов),
Баарын тегíз жыгабыз
(Всех до единого уничтожим).

Эх, глупыш! Дитя несмышленное... Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:

Бир-эки, да, бир-эки
(Раз и два, раз и два),
Катарынды туздóp бас
(Держи ровнее строй)...

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого храбреца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли невольно. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы, уже повеяло весной. Тишина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвеяннóе охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая что-то, по гумну и испугнул диких голубей. Они выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной, стремительной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким полетом, переливающимся перламутровым блеском перьев на солнце и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя по математике, ушедшего в армию:

Я сизый голубь, летящий в синем небе,
А ты голубка, летящая крыло в крыло.
Нет счастья большего на белом свете,
Чем неразлучно вместе быть с любимой...

Захмелел учитель у бозокéра¹, когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь, летящий в синем небе, а она — голубка, летящая крыло в крыло... Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провожая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. Пронзительно ударила его эта песенка учителя математики. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь,

¹ Б о з о к é р — человек, изготавливающий хмельной напиток бузу.

а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептёр» тоже должны быть включены в письмо... Все дело теперь заключалось в том, как вручить ей письмо. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая... Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, неодолимо важно было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти. Недолго думая принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили погостить по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая неизвестно что и кого. Братья работали споро. Серпами сжинали сухостой, складывали срезы стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблистый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжинаешь пучками под самый корень. Курай сухо шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпающими снег. И снова остро пахнет горькой пылью, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее.

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту, бежала от собаки испуганная лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными, торчком ушами и

дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаки, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убегать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица, почти не торопясь, приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как здорово повела его лиса по глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, замороженные подбегающим чудом, — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю, как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел удивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднятым пушистым хвостом, с белесым подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом... Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да! — вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош влаивал то там, то тут.

— Эх ты! — сказал потом Аджимурат. — Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе? — пробормотал он.

— Как зачем? — И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного покосить, чтобы сделать полные вязанки. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гоняясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать действительно такую красивую лисицу, и представил себе отца в пушистом, теплом малахее, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Султанмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой? — подошел к нему Султанмурат.

— Ничего, — ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием...

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике, — сказал он, присаживаясь возле. — Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело? — сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности. Аджимурат начал приставать:
— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат покрылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать одно письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо? — живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал, запинаясь:

— Письмо надо... это... передать Мырзагуль.

— Какой Мырзагуль? Та, что в вашем классе?

— Да.

— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.

— А ты что кричишь? — рассердился старший.

— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурék и Семетей¹, да?

— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.

— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.

— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!

— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь...

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился сразу и заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще ответишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться... А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться... На перемене отдам, отзову в сторону. А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец

¹ Айчурék и Семетей — герои эпоса «Манас».

приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди...

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся...

Когда собрали весь скошенный курай и когда начали вязать, получилось три добрых вязанки. Султанмурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобней. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они и привели с собой Черногривого, одну дополнительную вязанку Султанмурат решил взять на себя. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал вполовину первого перехода, третий вполовину второго и так далее.

Султанмурат хорошо знал это, потому, рассчитывая силы, шел размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь.

Шел он и думал, что завтра с утра выйдет на работу на

конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считанные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да и обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет, как и что, всего не предусмотреть. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продыху нет. Все сама да сама. Топи, вари, стирай. Девчушки еще малы, а с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить... А их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь работы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от аила. В случае чего, женщины смогут встать за чапыги¹. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают...

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал...

Но больше всего думал он о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккептер». Пытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?... Тогда как?..

Балка Туюк-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей — умиротворенность, услада, затишье, чтобы все это вмиг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается

¹ Чапыга (чапига) — ручки плуга.

на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колена встать на ногу, на вторую и затем с заклинанием «о, пирим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжелого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстрее ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерии.

7

И приближались те дни...

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока он не сваливался к ночи мертвецким сном. Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставлял брата уже давно спящим. А хотелось выпросить еще какие-то подробности. Но выпрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит,

почему не скажет об этом прямо? Почему молчит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только...

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду...

Ответ вернулся односложный...

«Знаю», — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побежать в школу, дожидаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу...

Да и работу не бросишь. Работы невпроворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра и до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез, как дым. Заново открывшаяся речка весело бежала, кувыркалась по каменистому перекасту. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки...

Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, обмер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их. Девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать, полететь за ней — за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и

воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара...

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встретить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто...

Теперь он решил дождаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, делает хорошую пробежку Чабдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь,— сказал он вызывающе. Ох и противный тип!

Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукнули коней навстречу друг другу и, тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись.

Вода закипала вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите?

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына. «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать... Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется...

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подругами. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждут, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один...

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто

заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай и пусть все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водооя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадах на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в рядах. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи свою готовность!

— Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалялись десантники. Председатель Тыналиев подозвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка, обнаружьте неполадку в сбруе,— предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен? Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат, — наставлял председатель Тыналиев, — ты, как командир десанта, обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. При чем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой!

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроенным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому...

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставляя их умразуму...

Вот так...

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидеться с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела поважнее...

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжаясь берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж

оставалось, раз такое дело. Расстроенный поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось. Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее, Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат пропустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не упали! — крикнул он ей, хотя упасть с таких широких, выложенных поверху дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не упали! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чужак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа...

Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила, и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно мгновение.

— А я думал, ты заболела, — сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, а сказала другое:

— Вот. — Она достала предназначенный ему сверточек. — Это тебе! — И, не задерживаясь, пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист,

платочек был ярко расшит по краям узорами — цветочками, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буква среди узоров: «S. d. M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль» — «Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть так счастлив, как он. И однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек...

Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого...

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил: это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Сперва погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали! — И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята. Заметались.

Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай! Отдай!» — только одно твердил Султанмурат, понимая, что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне Султанмурата были справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

— Стой!

— Остановись!

— Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо!

— Да на! На! — заторопился Анатай, пытаюсь обратить все в шутку. — Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак! — И он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя...

8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Аксай. Земли удобной

много. Паши, сколько можешь. Загоны определили. Степь задышала. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята? — обратился к ним Тыналиев. — Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спохватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеваре, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле...

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами — солнце то выглянет, то спрячется, земля парила, пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей...

И приближались те дни... И все шло к тому...

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты... Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков... А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны...

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через речку... Каждый раз надеялся — и не удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по



Ч. Айтматов. «Ранние журавли»

первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские...

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье. Накануне выезда на Аксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дожидаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Пойдите. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И по пути на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках...

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала¹. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидячий. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот сегодня у одного из вас большая беда — отец Анатая, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние, если плакать, то плачьте громко,

¹ Д у в а л — глинобитный забор.

по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил...

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны, никогда и никто его не увидит...

«А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приближались ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот плач, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ...

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается их близкими лишь тогда, когда они его лишаются... Так было всегда и так будет...

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умаляет человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатай оказался совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще сильнее, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его, помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не смог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке

и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды...

Жалко, что не было у него автомата! И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатай. Что ж делать? Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче...

Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдать из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбредили, и он стал задыхаться от нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных от соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться...

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Она вызывала в нем самое глубокое сочувствие и гордость ею. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью...

...Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч,
Я сизый голубь, летящий в синем небе,
А ты голубка, летящая крыло в крыло...

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед

лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, возвещавшей вечность мира в рожденьях и смерти, предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу,— Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч...

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как вызволить его из этого горестного, безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор,— сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли в угол.

— Ты не думай, Анатай,— начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова.— Ведь я, это самое... Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо,— ответил он.— Это твое, и ты его никому не отдавай. А я... Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда не буду, Султан. Мне уже ничего не надо... Мой отец, он был... Мы так ждали...— И, захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли...

9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день не умолкая понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже замет-

ный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронutom просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходило три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в аиле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до вечера, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Султанмурат беспокоился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Три плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним...

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, как пожар под ногами, хочет поспеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал,дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать — сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке. Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война на фронтах, конца-краю не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят...

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачко было, но над горами прорывалось иной раз солнце, разгуливалось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается... Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым, шагах в двухстах, — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни. Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади. Председатель Тыналиев сумел побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжки Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землею, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы было чем насытиться людям...

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полевом стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришла откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам, как лошадь, а после кормит, поит, ухаживает за четверкой плуговых лошадей и, добираясь до юрты, валится с ног... А на рассвете снова за дело... Самое трудное — встать на рассвете...

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило их сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять — двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья... Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати...

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасло его от снегопада. Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время открывался ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине...

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся, и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищая кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова пахарь шел вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжи плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей:

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу стекала вода, то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать — и некуда, но Султанмурат понимал, что по нему, по следу его идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пашущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты¹, подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите,

¹ К а м б а р - А т а — мифический покровитель лошадей.

рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжело, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае. Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город... Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять. Когда люди на войне долго не пишут — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и больше всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают... Чу, чу, Чонтору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет и мне неинтересно будет жить...

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег! Измокли мы все с головы до ног. И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть

сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидуший. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардép, слово-то какое, — говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей! Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила, мясо горного козла сварила. Худуший козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор, двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте, — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускаются с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил... Совсем выбились из сил...»

Лошади остановились, изнемогли... Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекавших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя, вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал. А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» — ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота...

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновлен-

ный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся в полнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе; неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величю, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи...

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня качественная.

Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле... Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек...

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд...

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи, как умеют. И довольны. Весной довольны, солнцем довольны! А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот придут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдет дело, пойдет...

Погоняя упряжку, Султанмурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывал в их сторону, путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгú!¹ Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!

Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издалика поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец! Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом, беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное, огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрал голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

¹ Ш и р а л г á — часть добычи.

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу, как великую нежданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись на седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай, урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные, вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их вроде бы сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой, как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжь, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней... Прямо к ней с журавлиным пером.

Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные... Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их... Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть,— сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пуль не шутят, не целься зря,— ответил ему другой, что придерживал лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высывайся, тебе говорят,— приказал ему тот, что держал коней.— Набегаются — уйдут. Тебе-то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются! И чего, спрашивается? Бегут и смеются...

Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту... Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах...

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала мажара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать: завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не расстраиваются, все решено, уже завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через пару дней приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик мажары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она

должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой мажары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в мажаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогреть сил не хватило.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны мажары.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умогнулся на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу¹ потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что

¹ С у ю н ч у — подарок за радостную весть.

отдавать? У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе верхом на Чабдаре, он, как старший, впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей... Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы... Потом он во сто раз больше отработал бы...

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет...

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его...

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холоднющий пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили.

А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирает ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступили с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что?

Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный.

Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь.

Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки...

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатаю потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу...

12

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости уносить ноги сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись...

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтобы в горле не застряло... Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрее бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уже ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только хрен им ишачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель...

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре и не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередке в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать...

13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только бы быстрее! А ты, Эркинбек, будь здесь, и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрее, быстрее, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрее, быстрее! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед. Чабдар, вперед... Не упади, Чабдар, не упади...

14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохладиться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрадами, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец, Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел с боку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убью! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.

И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встречал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному

на миг огромному пространству Аксая и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него...

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать...

Истошно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Сто-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя, он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрее и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки...

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, превозмогая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах...

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло...

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему... Сокрушались мечты. Оттого и плакал он...

Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцым скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуж-

дающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебился зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксая в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей... То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — человек оказался возле убитой лошади. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотал вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

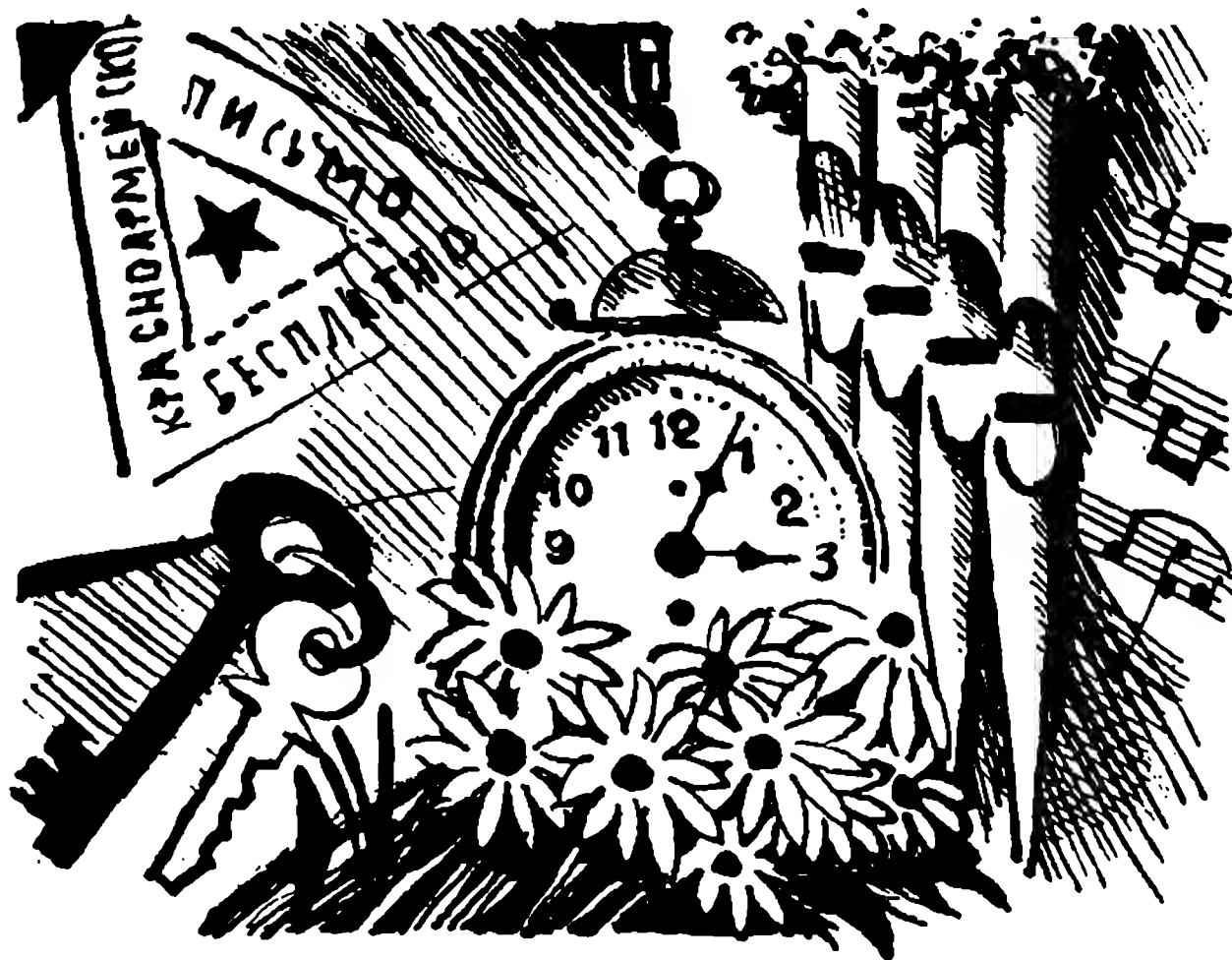
Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом...

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь...

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

Повести





В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ

Дорогой, забывенной маме

Годы... Они долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если бóльшая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь: «Неужели так мало осталось?»

Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как прошлый раз, как и всегда. Будто не уезжал...

— Куда вам? — туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист.

— В город, — ответил я.

И поехал к маме, у которой (так уж случилось) не был около десяти лет.

В октябре сорок первого мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи.

Мама запретила мне притрагиваться к старомодному, тяжеленному сундуку: «Это не для тебя. Надорвешься!»

Как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком.

В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно «только одно место». Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем согласно домашней легенде когда-то хранилось прабабушкино приданое.

Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую — Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было: за день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили.

— Хорошо, что у меня нет семьи,— сказал он.— Вещи терять не так страшно.

Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать.

— Смотрите под ноги! — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехотя вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости.

Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги.

Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался.

— Простите,— сказал Николай Евдокимович.— Нога заболелась. Если не возражаете...

И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал.

Он любил маму. Это знали все.

— Ее красота слишком заметна,— постоянно говорил мне отец. И обязательно при этом вздыхал.

Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал. А прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович.

— Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких... таких чувств,— объясняла мама.— Хочешь, поклянусь? Своим будущим и даже твоим!

Мое будущее она оставляла в покое.

— Я к нему ничего не испытываю,— настойчиво убеждала она отца.

— Но он испытывает к тебе. А это, пойми...

— И что же? Бросить его на произвол судьбы? — спросила она однажды.

И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые, добрые воды и обнажившая вдруг каменистое дно.

— Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу? Я сдаюсь! — в другой раз воскликнул отец. И поднял руки вверх.

Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу:

— Николая в институте звали Подкидышем.

— А где тебе подкинули его?

— Там и подкинули: в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?

Мама резко поднялась.

— К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул, — печально сказал отец.

Он ревновал маму к прошлому. Как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже:

— Когда-нибудь ты покинешь меня.

— А о нем ты забыл?

Мама кивнула в мою сторону.

— Ну если... только ради него... Это слабое утешение.

— В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за Подкидыша. Из-за этого безобидного князя Мышкина, — возмутилась мама.

Князь Мышкин, Подкидыш... Это должно было убедить отца, что он в полнейшей безопасности.

С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только Подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез.

Он был выше Подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день: «Если не возражаете...» И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения, это было необъяснимо. Еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной: ей было уже тридцать семь лет!

На мой взгляд, Подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну какая любовь в этом возрасте? — рассуждал я. — Вот у нас, в четвертом классе... Это другое дело!»

Отец думал иначе... Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил:

— Она, к сожалению, очень устала.

— Я полна сил и энергии! — заявляла мама. И шла танцевать.

Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала начальником стройконторы: ей действительно подчинялись сварщики и прорабы.

— Твои про-рабы! — говорил отец, делая ударение на последнем слог.

Если Подкидыш обнаруживал, что у него «как раз три билета в кино», отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости.

— Меня никто не приглашал! — возражала мама.

Она всегда говорила правду. «Рубила», как оценивал это отец.

А честность тоже разная бывает,
И если доброты ей не хватает...

Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.

— Честность есть честность! — ответила мама. И резко встала.

— Я не щадила тебя, — тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт. Или, вернее сказать, на войну. — Я не щадила тебя... Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя... Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное... Ты простишь меня?

— Да, конечно, — ответил отец. — А Подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?

То, что мы уедем, было известно. Но когда — никто точно не знал.

— Хочешь, мы поедем в другом эшелоне? — сказала мама.

Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы.

— А если другого эшелона не будет? — ответил отец. — Неужели ты думаешь, что я могу рисковать... вами? — Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с Подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся.

— Обещай мне, что ты будешь спокоен. За нас... За меня! — умоляла мама. — И пиши... Каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя!

— А ты?

Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это. И мне не было обидно. Ничуть...

Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму:

— И вагон у вас с ним... один?

— Мы поедем в теплушках. На нарах,— ответила мама.— Если хочешь, будем в разных теплушках. Только бы ты не думал... Ни одной секунды! До конца войны... До конца нашей жизни.

Она зарыдала. Я тоже заплакал.

— Ну что вы? Я скоро вернусь...— как и все вокруг, обещал нам отец. Это было седьмого августа.— И пусть Подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди...

— Ты можешь быть абсолютно спокоен! — почти крикнула мама.— Клянусь всем на свете. Даже его будущим!

И прижала меня к себе.

2

Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острее ценить, когда оно от тебя уходит. И что наши приобретения становятся в тысячу раз дороже, когда превращаются в наши потери или воспоминания. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой.

Но, качаясь на нарах, под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность: все, что недавно было обыденным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. А неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп.

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. «Ценишь, когда теряешь» — эту истину война все упрямей, с жестокой прямолинейностью вдабливала мне в сердце и в голову.

Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встретят на Урале флора и фауна: он был биологом. Но нас встретил лишь низкорослый, неестественно широкоплечий человек, казавшийся квадратом, завернутым в брезентовый плащ с капюшоном. Из капюшона до нас донеслось хриплое сообщение о том, что «машин сколько есть, столько есть, а больше не будет».

Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. «Гарантия возвращения — вот что было самым приятным в пути!» — понял я потом, через много лет.

— Что с Москвой? — раздался в темноте голос Николая Евдокимовича. Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов.— Неужели все-таки...

— Этого не будет! — Мама остановилась, словно, как прежде, резко поднялась со стула.

И пошла дальше. Мы тоже пошли.

— Я уверен... Я абсолютно уверен! Но мы целый день не слышали сводки Информбюро.

На каждой станции Подкидыш выпрыгивал из вагона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газетному киоску или к громкоговорителю, если киоска не было. Узнав, что после упорных боев наши войска оставили какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали. И то очень тихо.

И поглядывал с опаской туда, где лежали на нарах мы с мамой: не хотел нас расстраивать.

Никто не объявлял заранее, долгой ли будет остановка, никто не знал, когда тупо ударятся друг о друга, заскрежещут чугунные буфера и мы тронемся дальше.

— Останется... Где-нибудь он отстанет! — беспокоилась мама. И я этого тоже очень боялся.

В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. Она не выпускала мою руку ни на мгновение. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, чтобы по талончикам получить там похлебку и кусок хлеба.

«Потерять, оставить, отстать...» — война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что, поскольку мне всего лишь одиннадцать лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился... И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдокимовичем.

Если мы с ним задерживались, она, чуть приоткрыв дверь и глядя куда-то в сторону, испуганно вопрошала:

— Вы там?

Он отвечал:

— Мы здесь!

«Да... какая может быть любовь в этом возрасте?» — утверждался я в своей давней мысли.

Квадратный человек прохрипел из капюшона, точно из рупора:

— побыстрее шевелитесь! Машины не будут ждать.

Мама крепче сжала мой локоть.

Девять или десять крытых машин стояли на краю площади. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных, пришедшее на водопой.

— Плотней утрамбовывайтесь, товарищи! — скомандовал капюшон.

Подкидыш протянул маме руку из крытого кузова, но она вначале посадила меня.

А за нами вскарабкивались и «утрамбовывались» все новые и новые пассажиры из эшелона.

На нарах в теплушке голосов почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому, что растерянность и неизвестность как бы сковали людей.

И в кузове грузовика было напряженно от тишины.

— Осторожней, здесь мальчик! — предупредила мама.

Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и утрамбовывали «на общих правах»: мест для пассажиров с детьми в крытой машине не было.

Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть...

3

Но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала:

— Здесь ты будешь делать уроки!

Сказала властным голосом начальника стройконторы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается.

«Комнаты» отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье.

Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.

— Ты и так уж отстал от класса! — с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.

Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не знал.

Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но неослабевший: его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде: одежда выцвела, поизносилась.

Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного, закопченного кирпича; вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки; клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены.

На школе висел плакат «В тылу как на фронте!».

— Ты понял? — спросила мама. — Хотя вообще-то я не люблю этого лозунга: все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл.

— Но всюду пишут... — попробовал возразить я.

— Мы в отличие от отца, — тоном начальника стройконторы перебила мама, — прибыли в зону безопасности. Чтобы ты мог

учиться. В том числе и для этого... Ты понял? Мне некогда будет напоминать.

Маме стало некогда уже с двенадцати часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили «инженером — руководителем по комплектации и восстановлению оборудования». Название маминной должности было таким длинным, что я испуганно спросил:

— А что это значит?

— Ничего особенного, — ответила мама. — Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построим новые.

— Каторжная работа, — раздался мужской голос из-за старого, облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей.

— А вы были на каторге? — спросила мама.

— Пока что не приходилось.

— Откуда же вам известно?

Мама не любила паниковать.

— Да уж знаю! — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. — Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства.

— Вот видишь, — сказала мама. — Во всем есть свои светлые стороны.

Она их по крайней мере умела отыскивать.

— Мне придется редко бывать дома, — сказала она через несколько дней. — Эшелоны приходят один за другим. Так что приглашай в гости товарищей. Или товарища... Чтоб не соскучиться.

У нее самой был один только друг. Тот, которого ей по д-к и н у л и в строительном институте.

— Его и здесь подбросили в мою группу, — сообщила мне мама.

— На каторжную работу? Разве он выдержит?

— Мы с вами в зоне полнейшей безопасности: спим в постели, нас не бомбят. В тылу как в тылу! — ответила она.

— Я хотел сказать... что Подкидыш очень худой.

— А в окопах только богатыри?

Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку: бумагу достать было трудно.

— Вот видишь, дополнительное питание. За вредность производства. Грех жаловаться!

Как и хотела мама, у меня появился приятель: Олег по прозвищу Многодетный брат. У него было две младших сестры. Последняя родилась двадцать второго июня — за год до начала войны.

— Умудрилась! — сказал Олег. — Попробуй теперь порадуйся в день ее появления на свет...

Многодетный брат бегал за «детским питанием», которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть.

— Но организм ко всему приспосабливается, — объяснил мой новый приятель.

Олег был старше меня на полтора года.

— В вашем возрасте это много! — уверял Николай Евдокимович. — Вспомни Толстого! «Детство», «Отрочество», «Юность» — так он назвал свою трилогию. Речь идет о разных эпохах человеческой жизни. Если не возражаешь...

Но никакие эпохи нас с Олегом не разделяли. Когда я сказал об этом Подкидышу, он задумался:

— Война вообще объединила людей... хотя вроде бы их разлучила.

Олегу трудно было делать уроки дома.

— Сестры плачут дуэтом.

— Как же ты спишь?

— Организм ко всему привыкает.

Он приходил заниматься ко мне. Но прежде чем сесть за учебники, говорил:

— Я тут немного...

И подметал нашу «комнату», укреплял на веревках «озеро с лебедями», что-нибудь мне пришивал. Две сестры приучили его к труду. Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным. Поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал:

— Я вполне бы мог стать для него экспонатом!

Он любил подшучивать над своей худобой.

Отец его через двадцать дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которую мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление.

— Еще одна машинка в редакции... А эту выдали под расписку, — сказал Олег. — Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой — и они умолкают. Колыбельная песня! Иногда я помогаю отцу.

— Ты и печатать умеешь?

— А что ж тут такого!

* * *

Я торопился к маме. Она очень ждала меня. Это я знал...

И мое нетерпение тоже было таким напряженным, что я бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, оттягивал встречу. По пути я решил задержаться возле дома, где жил Олег.

Таксист был рассержен непредвиденной остановкой. А когда я вышел из машины и направился к дому, он проводил меня взглядом, полным сомнений: приду ли обратно? Не сбегу ли, не расплатившись?

Чтобы успокоить его, я вернулся и как задаток положил на заднее сиденье букет, купленный на привокзальном базаре.

Потом я вошел в парадное. Все было так же... Только стены покрасили в другой цвет.

Подниматься на третий этаж я не стал: Олега и его родных там уже давно не было. Они уехали к себе домой, в Белоруссию. Мы переписывались...

Я вернулся к машине. И едва успел хлопнуть дверцей, как таксист резко рванул с места. Так он выразил свое недовольство.

Я бы мог объяснить таксисту, что хочу хоть на время вернуть свое прошлое. Но вид его не располагал к откровенности.

4

В первое же утро после приезда, по дороге в школу, мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования. Так мы условились.

— Я чувствую: нас будет ждать письмо! — все четырнадцать дней в эшелоне говорила мне мама, без конца перечитывая те письма, которые мы успели получить от отца в Москве.

На почте ничего не было.

— Теперь мы с тобой так и будем жить: от письма до письма, — грустно сказала она. — Надо привыкать. Что тут поделаешь!

Она попросила, чтобы мне выдавали «корреспонденцию», которая будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до семи часов.

Когда мы вышли на улицу, мама спросила:

— Тебе кажется, я часто огорчала его?

Я не знал, что ответить. Тогда она продолжала:

— Сейчас страшны только те раны, которые может получить о н. Или получал прежде. От меня, например... Только те раны опасны. А мы с тобой неплохо устроились.

— Хорошо, что он может быть... абсолютно спокоен, — машинально повторил я то, что слышал от нее во дворе училища медсестер, где мы с отцом расставались.

— Спокоен? Разве там, где он... бывает спокойствие? Ты вообще представляешь, что там происходит?

— Представляю.

— Это невозможно себе представить! — Мама резко остановилась, будто демонстративно поднялась с дивана или со



А. Алексин. «В тылу как в тылу»

стула, как это бывало раньше.— Каждый день заходи на почту. Каждый день! Я должна знать, есть письмо или нет.

— Я буду заходить. Обязательно!

Она пошла дальше.

— Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое — непрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдыха... ни на минуту!

— Ни на минуту?!

— Чтоб некогда было сходить с ума...— Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым.— Он всегда был беззащитней меня. Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся. Это известно. Я обязана быть... рядом с ним... Пусть даже здесь!

— И я тоже.

— Нет... Ты ребенок! Мы идем с тобой в школу. Прямо сейчас! Никто не может лишить тебя этого. Детство не повторяется.

— И старость не повторяется.

— Хватит с нее одного раза! А перед Алешей я все-таки виновата.

— В чем?

— Сильнее, чем я люблю его... особенно вот сейчас, любить, мне кажется, невозможно. Он не узнал этого.

— А меня? — тихо и бестактно полюбопытствовал я.

— Это другое. Материнство... выше любви.

Я успокоился.

— Мне всегда хотелось доказать ему... Дать почувствовать,— виновато продолжала она.— Но я не спешила. В педагогических целях. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда? Нет уж, Дима... С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен?

— Согласен.

— Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то... Я просто не вынесу.

5

Через двадцать дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживилась и сказала:

— Сегодня вам есть...

Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов. Было холодно, почти как на улице. Руки у девушки, конечно, замерзли, но не покраснели, как мои, а были прозрачными, обесцвеченными.

Она протянула конверт без марки.

Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт. Вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны чернилами, от руки. Я прочитал раза три или четыре спокойно. И только с пятого раза понял, что мой отец пропал без вести.

На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал... Нос его сморщился, словно от внезапного света, глаза стали еще больше, круглее. У него были две младшие сестры — и он умел утешать.

— Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни... «Пропал» в смысле погиб тут не подходит. Здесь другое значение: он исчез, о нем ничего не знают. И все...

Как старший брат, он умел втолковывать, объяснять.

— А если погиб... так и пишут: «погиб»? — спросил я.

— Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать.

Я знал, что даже родителей он никогда не обманывал.

Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо, до конца осознал, что отца моего уже нет. Совсем нет... навсегда...

Я не заплакал. Но понял, что это значит — «не находить себе места». Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло письмо.

— Сегодня, — ответила она. — Ты же вчера заходил.

Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку.

— Ты куда? — услышал я сзади его голос.

— К маме.

— Зачем?

— Показать...

— Да ты что?!

Мы оба остановились. «Я просто не вынесу», — тогда, возле почты, сказала мне мама. Как можно было это забыть?

— Что же делать? — спросил я Олега.

— А где твой портфель?

Портфеля действительно не было.

— Оставил на почте. Возле окошка...

Мы побежали обратно. Портфель уже был за стеклом, на столе у болезненной девушки.

— Ты что-нибудь такое... получил? — спросила она.

В ответ я ничего не смог выговорить.

— Отец пропал без вести, — объяснил ей Олег. — Не погиб... а просто нету вестей. Это же разные вещи.

— Вероятно, — сказала она. — Я не могу здесь больше работать...

И закрыла глаза болезненно белыми пальцами с припухшими сгибами на суставах.

Я вспомнил пальцы отца. Он часто, сидя за столом, перебирал лечебные травы, которые сам же выращивал. Травы были высушенные, напоминавшие сено, а пальцы у отца загорелые, крепкие, но осторожные. Мне чудилось, он боится, что с трав осыплется что-то нужное и они потеряют свою целебность.

Отец был нежным, застенчивым человеком. «Ленинградская интеллигентность!» — пояснял Николай Евдокимович, хотя сам был закоренелым москвичом.

Отец любил лес, но еще больше — поля и луга. «Высокая, густая трава — это здоровье, — говорил он. — Это символ простора и жизни!»

И жизни...

— Ты не прощайся с отцом, — угадав мои мысли, сказал сзади Олег. — Пойдем.

Мы вышли на улицу.

— Дай мне конверт, — попросил он.

Я протянул.

Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением. И так же неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле.

— Пусть будет у меня. А то мать найдет.

Я вновь затопал вверх по ступенькам почтового отделения и заглянул в полукруглое окошко.

— Только маме не говорите, что было письмо. Если она зайдет... — попросил я девушку, которая все еще не отрывала рук от лица.

На почте никого не было, потому что весь город в это время работал.

— Олег говорит, что отец... еще может найтись...

— Не могу я здесь больше работать, — ответила девушка, должно быть, не веря Олегу.

* * *

— На две минуты... Остановитесь, пожалуйста, — опять попросил я таксиста.

Он тормознул так, что я ткнулся в его спину.

Почта была все там же. И из того же окошка выдавали корреспонденцию до востребования. Человек пять стояли в ожидании. Но на их лицах не было нетерпеливой тревоги.

Я издали заглянул в окошко. Конверты перебирала девушка, на которую стоявшие в очереди мужчины поглядывали с интересом. Она стояла этого.

Таксист снова рванул, будто участвовал в мотогонках и ему только что был дан старт.

Мама приходила с работы поздно вечером. А то и под утро... Приподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей «стеной» был старый, облысевший ковер... Мама входила беззвучно, но я просыпался. Задавала мне несколько главных вопросов... Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами. Вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме «за вредность». Сидя на матрасе, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком.

— Так поздно ужинать вредно, — говорила мне мама. — Но война все перевернула вверх ногами.

— А ты-то поела?

— Конечно, — отвечала она.

И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное «уютное местечко» для каких-нибудь многотонных «деталей», прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону «озера с лебедями» обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал.

— Все надо принять, выгрузить, рассортировать. Уберечь от дождя и снега, — шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать.

Усталой она не выглядела. Даже волосы накручивала на свернутые бумажки и смазывала лицо вазелином:

— Обветрилось... За собою надо следить. А то вернется отец — не узнает!

Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности.

— Торопиться, но соблюдать! Если бы это правило существовало там, где отец...

Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор.

Каждый раз прямо с порога мама спрашивала:

— На почте был?

— Был.

— Ничего нет?

— Пока нет.

Когда она возвращалась домой пораньше, к нам с другого конца барака заходил Николай Евдокимович.

Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек.

Даже Подкидышу я об извещении не рассказал — это было нашей с Олегом тайной. И еще тайной той болезненной девушки, которая все хотела покинуть свое окошко.

На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь.

— Воздухосборники мы с ним комплектуем. И насосы,— шептала мне ночью мама.

— Какие насосы?

— Которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает... А зачем мне? Чтобы стариться, чтобы толстеть? Отец вернется и не узнает! Мы, женщины, куда выносливей, чем мужчины... Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача! — Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она «как у Любови Орловой». — Мужчинам нужно гораздо больше калорий!

Наверно, она имела в виду меня.

7

Николая Евдокимовича маме подкинули, когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках «инженером без диплома»: у него было незаконченное высшее образование.

— Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием,— говорил Подкидыш,— и в тридцать пять лет поступил на четвертый курс.

Там он встретил маму, которая была моложе его почти на тринадцать лет. Поэтому, я думаю, она называла Подкидыша на «вы». Он в ответ называл ее так же. Отец и по этой причине поглядывал на них с подозрением.

— Почему он не закончил институт в молодости? — спросил я однажды.— Плохо учился?

— Ты можешь представить себе, что он плохо учился?! — оскорбилась за Подкидыша мама.— У него были тяжело больные родители: он содержал семью. Тебе это трудно понять.

Своих «стариков» Подкидыш любил беззаветно. Случилось, что оба они были прикованы к постели в течение долгих лет. В их семье все друг за друга б о л е л и. Так было в буквальном смысле: когда отца разбил паралич, мать не вынесла горя, и сердечные приступы уже не покидали ее. Врачи и лекарства как бы прописались в семье Елизаровых... Из-за этого Николай Евдокимович не женился. А потом он встретил маму — и остался холостяком навсегда.

— Именно любовь сделала его вечным холостяком... Это выглядит старомодной историей,— при мне сказала маме наша соседка. Она думала, что я, в то время еще первоклассник, ничего не пойму: взрослые нередко на этот счет ошибаются.

— Не называй старомодным то, что тебе недоступно,— от-

ветила мама соседке.— Мы часто смешиваем современность с самими собой. А рыцарство, учти, всегда современно!

Значит, она считала Подкидыша рыцарем... Он им и был. Его родителей похоронили на Ваганьковском кладбище.

— И мое место там,— говорил Николай Евдокимович, будто поскорей добраться до этого м е с т а было его мечтой.— Только там... Других пунктов в моем завещании не будет.

Больше всего на свете Подкидыш любил Москву. А потом — мою маму.

Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Веневитинов или Вяземский.

— Ты ходишь на лыжах по Гоголевскому бульвару? Не возражаешь, чтобы мы с тобой как-нибудь погуляли без лыж? Там, ближе к Кропоткинским воротам, есть такие святыни...

— А знаете, однажды зимой я лизнул бронзу на памятнике. Хотел попробовать снег!

— И язык остался на бронзе?

— Лучше бы он взял себе язык Гоголя, чем подарил ему свой! — заметила мама.

— И еще я катаюсь на этом бульваре с гор, — сообщил я Подкидышу.

— Горы!.. — грустно воскликнул он.— Когда-нибудь они покажутся тебе небольшим возвышением. Наши представления со временем так меняются!

— Почему вы говорите об этом с печалью? — спросила мама.

— «Печаль моя светла...» Она вызвана сожалением, что зрелость так точно определяет разницу между горой и холмом.

Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете.

— В моем возрасте это уже можно постичь! — утверждал Подкидыш.

Цитаты он очень естественно вплетал в свою речь, потому что они точно выражали и его собственные суждения.

На фронт Подкидыша не взяли главным образом из-за плохого зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Видно было только, что они очень добрые.

Своего «белого билета» Подкидыш стыдился.

— У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней,— признался он мне.— Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». Не возражаешь против такого диагноза? Но Катюше не говори!

Маму он называл Катюшей.

— Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам? — спрашивал он у мамы.

— Если мы вернемся с объекта раньше двенадцати ночи, пожалуйста!

— Значит, не возражаете? А то, может быть, я наскучил: столько «сердца горестных замет», — сказал он, я помню.

— У меня «ума холодные наблюдения», поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас «сёрдца горестные заметы». Получается искомое равновесие.

Назавтра они с мамой, как правило, возвращались позже двенадцати. И на второй и на третий день тоже... А через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любил эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце...

Однажды утром, минут в пятнадцать седьмого, когда мама уже собиралась на работу, Подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения.

— Не возражаете? — И сразу вбежал. — Их разгромили под Москвой! Вы это предвидели, Катюша. И говорили об этом... Свершилось!

— А как вы узнали?

— По радио.

— Вдруг теперь... и письмо придет?

— Разумеется... Можно не сомневаться! И ты вставай, — тормозил меня интеллигентный Подкидыш.

А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.

Усталые, серые лица вроде бы оживились — и в бараке стало уютней. Мама всегда была гостеприимной хозяйкой. Если кто-нибудь приходил к нам в Москве неожиданно, без приглашения, она, произнеся в коридоре приветственные слова, не хваталась на кухне за голову, а говорила откровенно:

— Чем уж богаты...

Если у нас оказывался Подкидыш, духовное богатство семьи, естественно, увеличивалось. Он подробно сообщал о том, что было раньше на месте какой-нибудь станции метро или дома, в котором жили наши незваные гости, и те были очень довольны. На стол мама выставляла все, что висело за форточкой, на крючке. И буфет она полностью очищала с таким видом, будто он оставался до краев переполненным. Она отдавала, делилась, но не отрывала от себя.

В тот вечер, в бараке, мама предложила всем «объединить продуктовые запасы», откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки,

казавшиеся ненастоящими, бутафорскими; покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры.

Кто-то принес полбутылки спирта и разбавил его водой до такой степени, что остался лишь запах.

— «Друзья мои, прекрасен наш союз»! — воскликнул Подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое.

Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала:

— За Москву! И чтобы наши мужья вернулись... — Посмотрела на женщин и поспешно добавила: — Братья и сыновья тоже!

Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимовича. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков.

8

На следующий день, когда я возвращался из школы, Подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. Морозный и сухой воздух потрескивал, точно кто-то баловался деревянным игрушечным пистолетом. Вокруг лежал снег, серый от золы, которую ТЭЦ, работавшая, как и люди, взаклеб, через силу, вываливала на город.

И снова толстые стекла очков, даже заиндевевшие, показались мне увеличительными: Николай Евдокимович хотел проникнуть в глубь моей тайны.

— Он... убит?

— Нет... Я думаю, нет.

— Что было в письме?

— Откуда вы...

— Катюша ничего не узнает, — впервые в жизни перебил он меня. — Но сейчас не скрывай! Что с отцом?

— Пропал без вести.

— «И от судеб защиты нет...» — прошептал Николай Евдокимович.

— Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение, — начал я успокаивать его и себя.

Я озираясь, прикрывал рот заштопанной, шершавой варежкой.

— Ты прав, — согласился Подкидыш. — Наверно, ты прав... «Пропал» ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». А тот, кто потерялся, может найтись. — Он взглянул на меня с надеждой.

— Как мы находим силы? — Подкидыш снял и протер очки. — Где мы находим?

— Организм приспособливается.

— Весь... Кроме сердца, — ответил он. Съежился и побежал на работу.

«Но ведь мама может послать запрос, — подумал я вдруг. — И ей сообщат».

Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитала неведение. Могла, однако, не выдерживать... В каком словаре искал бы я тогда утешительные определения слова «пропал»?

Надо было предпринимать что-то срочное!

Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки.

Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша:

— Отец печатает на машинке — и сестры спят.

— Обе?

— Они все делают коллективно!

— А отец, значит, печатает?

В голову мне пришла неожиданная идея.

— Сотрудников всех призвали, — стал объяснять Олег. — Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет... Но у нее муж на войне. Дети болеют... Карточки получать надо! А печатает плохо. Я и то лучше... Приходится помогать отцу: ему одной рукой трудно.

— А мне ты поможешь?

Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом.

Огромные глаза его еще больше расширились.

— Объясни, пожалуйста.

— Объясню... Только тихо!

* * *

— Притормозите еще. Выходить я не буду. Издали посмотрю... — пообещал я таксисту.

Барака, в котором мы жили, уже не было. На его месте был парк, который назывался парком Победы.

«Первую победу, — вспомнил я, — мы отмечали зимой сорок первого именно здесь».

Таксист нажал на газ, боясь, должно быть, что я передумаю и захочу прогуляться по парку.

Сестры Олега действительно засыпали под пишущую машинку. Под эту странную колыбельную песню: организм приспособляется.

Они умещались на одной тахте, обнесенной со всех сторон аккуратными досками, как забором.

— Это я придумал, — сказал Олег. — А иначе за ними не уследишь: расползутся, свалятся — не отыщешь.

Мать Олега тоже называлась «сестрой»: старшей медсестрой госпиталя, который был в трех километрах от города.

— Дома ночует два раза в неделю, — сообщил Олег.

— Взяла бы отпуск. Раз... дочери маленькие...

— Мы уговаривали. Но у нее двух братьев убили.

— Так... быстро? — спросил я.

— Одного в августе на Украине. А другого недавно возле Калинина... Оба моложе ее. Была старшей сестрой в семье, а теперь только в госпитале. Если бы не они, — Олег кивнул на тахту, обнесенную досками, — на фронт бы ушла.

— Тебя бы оставила?

— Я же взрослый.

«Тот, кто должен отвечать за других, раньше взрослеет», — подумал я. Меня-то ведь мама считала ребенком.

— Брат ее, который погиб под Калинином, — продолжал Олег, — только что школу окончил. Непонятно, зачем учился. Готовил уроки, как мы с тобой. Мать, я боялся, с ума сойдет. Была старшей сестрой! Понимаешь?

Глядя на него, на старшего Многодетного брата, я понимал.

— Вам бы бабушек с дедушками на помощь!

— Они в Белоруссии остались. В деревне... «Здесь мы родились, здесь мы и будем...» А твой?

— У мамы давно уже нету... А папины в Ленинграде.

— И сам отец был... То есть, я хотел сказать, он тоже из Ленинграда?

— Подкидыш говорит, что «оттуда вся его потомственная интеллигентность».

Олег сел за машинку, медленно застучал, и сестры, которые уже были сонными, сразу затихли.

От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировской, что муж ее, легко раненный, попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно. И что, как только освободят Украину, сразу придет письмо...

Олег достал со дна ящика, из-под газет, конверт, полученный мною из рук болезненной девушки. Там он его хранил... Мы заменили листок с типографским текстом на тот, который при-

шел «от командира воинской части». И я спрятал конверт в портфель.

Потом явился отец Олега.

Ни осень, ни зима не смыли, не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. А ушанка еле держалась на высоких, жестких волосах, словно на проволочных витках.

Движением левого плеча он ловко сбросил шинель. Плечо как бы обрывалось пустым рукавом, заправленным за пояс гимнастерки.

«Повезло Олегу,— подумал я.— Отца его больше никуда не отправят...» Я сразу же устыдился этой мысли. Но она все равно осталась со мной.

Будто прочитав ее, Кузьма Петрович сказал:

— Зачем демобилизовали? Правую руку вполне можно заставить и за левую потрудиться. Научить и заставить!

Он не гордился своим пустым рукавом, а поглядывал на него со смущением.

Правая рука, чувствуя ответственность и за левую, не знала покоя. Она то приглаживала волосы, которые пригладить было немислимо, то пробегала по клавишам машинки, точно по клавишам баяна или аккордеона, то перелистывала толстый блокнот.

— Стройматериал для завтрашнего номера! Время такое, что людям беседовать некогда. На лету ловлю факты, заказываю статьи и заметки. Привык уже!

— Организм приспособливается,— в очередной раз произнес Олег.

— Мирное время в этом полностью убедить нас не может,— ответил Кузьма Петрович.— А война за шесть месяцев доказала, что человек может вынести все. Только зачем ему все выносить?

В раннем детстве Олег называл отца папой Кузей. Дома его и сейчас звали так.

— Радость может быть безграничной,— продолжал папа Кузя.— Я за это! Но беда... Чтобы ее можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства. Какой еще не бывало... Между чужими людьми! Вы заметили? — Мы с Олегом кивнули.— Между прочим,— обратился ко мне папа Кузя,— Екатерина Андреевна твоя мать?

— Моя...

— Да что ты говоришь! Не представлял себе. Слышу: «Дима Тихомиров... Дима Тихомиров...», а спросить, как зовут маму, все забывал. Стало быть, ты ее сын? Хорошо. Я за это!

— Вы ее знаете?

— Недавно о ней писал. Неужели не показала?

— Нет.

— Значит, не так написал.

— Что вы! Просто не любит она...

— Не любит? Но ты почитай. Я принесу этот номер.

Он говорил и двигался так стремительно, точно хотел доказать самому себе, что потеря левой руки на нем вовсе не отразилась.

— А о чем вы писали? — спросил я.

— Они с инженером Елизаровым...

— С Николаем Евдокимовичем?

— Именно с ним... Так вот, они вместе придумали, как подавать оборудование на рабочие места новым способом. Предложили передвижные деревянные краны, кое-где опоясанные металлом.

— Деревянные?! — воскликнул я, будто разбирался в передвижных кранах.

— Они уже соорудили один такой кран. Представляете: дерево вместо металла. Я за это! Решили проблему. И тихо, без шума.

— Не любят они...

— Не любят? Хорошо. Я за это!

Правая рука его, не найдя дела, дважды стукнула по столу.

Пишущая машинка слегка подпрыгнула. Обе сестры проснулись, испугались и сразу заплакали.

10

Пора детства не отягощена опытом и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственна. Она уверена, что добро должно порождать только добро и причем сразу, незамедлительно.

Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб... «Вот сейчас покажу его маме, — думал я по дороге домой, — и она успокоится». Впопыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. В те далекие одиннадцать лет я любил мысленно ставить других на свое место и легко предсказывать таким образом чужие поступки, не сознавая, что на своем месте могу быть только я сам. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала.

«...Легко раненный попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно», — напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести». Но ведь мама этих слов не читала.

Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу. И еще повторяла: «Треугольные письма люблю, а конвертов... боюсь. Особенно если тонкие и со штампом. Почему именно я должна их вручать?»

— Война — время писем, — сказал однажды Подкидыш. — Она всех раскидала в стороны. И люди пишут друг другу, как никогда! Разлучает, объединяет... — медленно повторил он свою старую мысль про войну.

На почте никого не было: весь город в это время работал.

Увидев меня, девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемо-матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне.

— Треугольное письмо! — возбужденно кричала она на ходу, желая, чтоб я поскорей об этом услышал. — Треугольное... Значит, от него самого!

Я выхватил бумажный треугольник из ее тонких ледяных пальцев. Торопливо развернул его... Щеки у девушки остались такими же бледными, но глаза, казалось, в то мгновение их освещали.

«Уважаемая Екатерина Андреевна, — прочитал я. — Пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю... Муж ваш, Алексей Тихомиров, героически сражался с врагами и остался на поле боя...»

— Что с тобой? — услышал я голос девушки. — Что с тобой?!

Я вернулся к Олегу.

Кузьмы Петровича уже не было. Сестры возились за дощатым забором, окружавшим тахту. Олег прочитал... Нос его сморщился, как от яркого света.

— Думай о матери, — сказал он. И больше не произнес ни слова.

Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика, под газеты. Но я возразил:

— Пусть будет со мной. Всегда... Если отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу... Даже сплю, когда в бараке не топят. Зашей... Ты умеешь.

Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу.

Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня.

— Матери все равно покажи то письмо... которое мы напечатали. И держись! — Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. — Я пойду вместе с тобой.

— А они? — кивнул я на двух сестер.

— Позову соседку. Она остается с ними... иногда, в крайних случаях.

«Биология — женское дело», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил мне отец. Поэтому «мужским началом» в нашей семье он считал маму. И вдруг ее сила исчезла. Тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол. И стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты.

— Ничего еще не... — попытался сказать Подкидыш. Но замолчал.

Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом.

Наконец она поднялась: взяла себя в руки.

— А где это письмо было целых полтора месяца? — спросила она.

— У меня, — ответил я.

— Мы вместе его получали, — заверил Олег.

Она изучила штемпель нашего города, перевернула конверт, чтобы найти штемпель отправителя. Он был московским.

— А почему же тут... — начала мама.

— Командир воинской части написал, наверно, в Москву, в Наркомат обороны, — засеменил я словами. — А оттуда переслали. Ты же сообщила наш адрес.

Она осторожно уложила бумагу обратно в конверт.

— Я боялся тебе показать.

У меня заныло в животе. Я скрючился. Бумажный треугольник, зашитый в куртку, издал еле слышный, хрустящий звук.

— Что-то мы сегодня в столовой съели, — объяснил всем Олег.

— Я ждала этого, — все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. — Пока мы тут живем припеваючи, он, раненный... не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу. — Она помолчала, набралась сил. — Раньше, когда он заболел простудой с температурой тридцать семь и три, я укладывала его в постель. И при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась... Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться!

— Все вернется, — пообещал Николай Евдокимович.

— Легче восстановить завод, чем здоровье одного челове-

ка,— ответила мама. И обхватила руками голову: — В лесу... Без врачей, без лекарств...

— В партизанских отрядах есть врачи. Там делают операции,— напомнил Подкидыш.

— Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете... Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей — ужасаешься и страдаешь.

— Но вы же не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют...— снова начал Подкидыш.

— Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать,— перебила она.— Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать.

Николаю Евдокимовичу и правда убеждать ее было легче, чем нам с Олегом: он не видел бумажного треугольника и не знал, не мог себе представить... что отца уже нет.

— Будем ждать. Что нам еще остается? — сказала мама. И, заметив на краю стола-сундука белую бутылку, спросила: — А почему ты утром не пил молоко?

— Сейчас выпью. Может быть, и ты...

— Я сыта.

— Не возражаете, если я принесу свое? — предложил Николай Евдокимович.

— Зачем? — удивилась мама.— В партизанский отряд я не смогу его переправить. Так что пейте: мужчинам нужно больше калорий.

Мама потеряла виски, села на топчан, заменявший постель. А уши закрыла руками. Она не плакала. Просто ей не хотелось никого видеть и слышать.

Мы потихоньку вышли.

11

Правая рука папы Кузи бегала по клавишам машинки, не нажимая на них.

— Нервничает, а молчит,— пожаловался Олег.— Не пробьешься! Ну, чего он молчит? Надо разрядиться — и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами.

— Они тоже чувствуют?

— Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно.

— Плачет?

— Гораздо хуже.

Я понял.

— Мама умеет его разряжать,— продолжал Олег.— Но у нее новая партия раненых: пятые сутки домой не приходит. Что у тебя случилось? — обратился он к папе Кузе.

Тот с удивлением взглянул на него. Но ответил:

— Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю... Столько разных объектов! Расстояния километровые... Мало заказать горящий материал — надо его и забрать. А где же нынче курьеры?

— Поручи своей машинистке.

— Да болеет она...

Папа Кузя заметался по комнате.

— А если мы будем тебе помогать? — так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег.

— Что-что? — Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука.

— Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Разве нельзя?

Кузьма Петрович, размышляя, еще немного пометался по комнате.

— Ну что же... Выхода нет...

— Договорились, — удовлетворенно сказал Олег.

— Что ты ликуешь? — набросился на него отец. — Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться. А вы воюете, голодаете... Теперь вот будете ходить по морозу. Ты думаешь, я за это? Уродства военного времени!

Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверх и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров.

После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в «засекреченных».

Люди были так заняты и измучены, что у них не хватало сил удивляться. Увидев наше удостоверение, они спрашивали:

— Что нужно?

И, не отрываясь от чертежей или инструментов, говорили, к кому обратиться. Женщины устало сетовали, что мы в ботинках с галошами, а не в валенках. Валенки выдавали только тем, кто работал «на свежем воздухе».

Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его трудно было вдыхать. На сером от золы снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли и даже записывали окаменевшими пальцами.

«Все для фронта! Все для победы!» — читали мы на выцветшей, будто постиранной снегом и стужей, материи или прямо на кирпичках. Но люди и так отдавали все...

Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи. Но

вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле дотаскивались до объектов. Заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок. А потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат.

Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник. А мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог.

— Варезками закройся,— посоветовал мне Олег. Но я его не слушал.

— У тебя побелели щеки,— сказал он.— Надо потереть снегом.

Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега. И испуганно, изо всех сил стал тереть щеки.

— Не надо так сильно,— сказал Олег.

Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки.

Таким мама увидела меня поздно вечером.

В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался во дворе или в кино. Или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым, напряженным спокойствием прищурилась, и я понял, что вид у меня ужасный.

— Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками,— сказала мама.— Прораб с женой ездили в район и достали гуся. Для дочери. У нее сильное истощение... Шкварки — для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо.

В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаруживался спасательный круг.

Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала:

— Я захватила из Москвы отцовские целебные травы. Два или три пакета... Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии.

— Но я ведь и так... съедаю все, что тебе дают на работе за «вредность».

— Ты растешь,— категорически заявила мама.— Закладывается фундамент здоровья. А мой фундамент был заложен в мирное время.

— Давай пить настой вместе,— предложил я.

— Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?

Ей всегда было противопоказано то, чего в доме у нас не хватало.

К нам зашел Николай Евдокимович...

Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул:

— Кто тебя так?!

— Мороз, — ответил я.

— Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть две баночки.

— Я лечу его более дефицитным средством, — ответила мама. — Гусиный жир! А вазелин подарите мне: все же косметика!

Шкварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб.

— Я абсолютно... — начал Подкидыш.

— Только не делайте вид, что это постоянное меню военного времени!

— А вы сами?

— Мне жирное противопоказано с детства, — ответила мама.

Смущенно покончив со шкварками, Подкидыш сказал мне:

— Тебе сейчас нельзя выходить на улицу. — Он с испугом разглядывал мои щеки. — Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад... связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье...

— Какое несчастье? — подбадривая меня, удивилась мама. — А шарф принесите... На всякий случай. Впрочем, а как же вы сами?

— У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности...

— Кстати, — сказала мама и погрузила руки в пакет, где хранились отцовские травы. — Здесь, на дне, я обнаружила немного грецких орехов. Когда-то люди ели орехи! Невозможно поверить.

Я достал молоток... Мы с Подкидышем кололи орехи, ядра которых напоминали маленькие полушария головного мозга с лабиринтами замысловатых извилин. Так по крайней мере их изображали в учебниках.

Я протянул первое ядро маме.

— Разве ты не знаешь, что орехи я никогда не ем? — категорично, тоном начальника стройконторы сказала она.

Потом Подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли «забавным вариантом».

Мама боялась высоких слов, и, если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила:

— Это забавно!

Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование «более легким способом»: с помощью тросов, лебедок, блоков и «других та-ке-лажных средств». Слушая их, я все торопливо и подробно записывал.

— Тише, Дима делает уроки, — предупредила Подкидыша мама.

Я не стал возражать. А после спросил:

— Можно об этом написать? В газете... Получится обмен опытом!

— Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе,— ответила мама.

— Если не возражаешь... прежде, чем писать, надо проверить,— сказал Николай Евдокимович.

Папа Кузя был того же мнения, что и Подкидыш:

— Надо проверить! А вообще, перспективно... Сгружать с платформ многотонные грузы — сплошное мучение. Если они облегчат, я за это! Но надо испытать, убедиться на практике.

— А та газета... с первой заметкой про маму и Николая Евдокимовича? — спросил я.

Он «развел» одну свою руку в сторону:

— Не нашел. Даже из подшивки выдрали. На курево, надо полагать. Трудно с бумагой.

— А с чем легко? — задумчиво произнес Олег.

12

В тот день прибыли платформы с «вращающимися печами».

— Как раз вовремя подоспели,— утром сказала мама.— Новый цех подвели под крышу. Так что квартира готова!

Она смазала мне лицо вазелином: гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав.

— Тебе нельзя заболеть дистрофией,— настойчиво и спокойно повторила она.— Пойми: закладывается фундамент!

Потом она закутала меня в шарф, который когда-то связала для своего сына мать Николая Евдокимовича. Мама по-прежнему старалась, чтобы я не испытывал тягот военного времени. Или испытывал их поменьше... Она и валенки мне раздобыла, которые я должен был натягивать рано утром, пока она не ушла на работу.

— Хочу убедиться... Не хватает еще обморозить и ноги! — сказала она в тот день.

Мама оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. И побежала готовиться к встрече платформ с печами.

А я через полчаса отправился в школу.

Накануне где-то прорвало трубы, и мы занимались в шапках, в пальто. А я еще и в огромном шарфе, оставлявшем на виду

только нос и глаза. Конечно, в классе я мог бы и снять этот шарф, но тогда бы меня наверняка вызвали отвечать. Учителя уже давно меня не тревожили: я находился как бы на излечении.

С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей. Для платформ с теми самыми печами, которые умели «вращаться».

Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались: во-первых, приобщались к важному делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми.

Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу домой.

Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства.

Она была очень полной. «Последствия родов...» — объяснил мне Олег. Но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции.

Комната была завешана детскими рубашонками и трусиками. Пахло стиркой и чистотой.

Вера Дмитриевна встала, подсыпала в утюг горячих углей, деловито ощупала белье, сняла его с веревок. Затем дотронулась мокрым пальцем до металлического утюга, напоминавшего переднюю часть игрушечного корабля. Утюг зашипел, и она принялась гладить.

— Ты отдохнула? — спросил Олег.

— Чуть-чуть вздремнула. И хватит! — Она обратилась ко мне: — Чем сильнее устаю, тем больше полнею. Главврач говорит: нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?

Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными.

— Я бы сам погладил, — сказал Олег.

— А мне что прикажешь, сидеть без дела? — Она взглянула на будильник так, будто он зазвонил. — До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает...

Выгладив все с фантастической быстротой, она отправилась за дощатый забор, то есть к своим дочерям.

— Отвыкли, — сказала Вера Дмитриевна. — Дети любят тех, кто с ними возится. Скорей бы кончалась война!

Она не заигрывала с ними, а по-деловому проверяла, все ли в порядке. Сестры молча терпели, будто явилась ответственная комиссия.

Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя.

Он не поздоровался ни с женой, ни с нами. Стянул ушанку с высоких и жестких волос.

— Как раз сегодня мама и Николай Евдокимович испытывают новое приспособление. Очень забавное... — поспешил сообщить я. Потому что он просил меня вовремя об этом сказать.

— Знаю, — ответил папа Кузя. И резким движением левого плеча сбросил шинель. — Платформы пришли.

— Мы пути расчищали, — сказал Олег.

— Молодцы, — машинально похвалил он.

— А что случилось? — спросила Вера Дмитриевна.

— Что случилось?!

Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли. И даже сестры не посмели заплакать.

— Что, Кузьма? — повторила она.

— Трос не выдержал. Лопнул... И там, на платформе, инженера Елизарова...

— Ударило? — шепотом спросил я.

— Но со страшной силой. Со страшной!

— А что с ним сейчас? С Николаем Евдокимовичем?..

— Был жив.

— А... мама?

— Она стояла внизу.

Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою.

— Стояла внизу. Ты веришь мне?

— Да.

— А с Елизаровым плохо...

Он отошел.

— И куда же его отправили? — четко произнося слова, спросила Вера Дмитриевна.

— Советовались... Решили к вам в госпиталь. Поскольку недалеко... Я был за это.

— Ну, я пойду, — сказала Вера Дмитриевна.

И ужас, перехвативший горло, немного отпустил меня.

— Мне пора, — сказала она.

13

После операции Николая Евдокимовича положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна.

— Он смертельно ранен, — сказала она. — Но и смертельно раненные иногда выживают. Случаются чудеса.

Нас с мамой пустили к нему.

Запах госпиталя проникал и туда: запах крови, открытых ран, гноя, лекарств.

Вера Дмитриевна забежала каждые пятнадцать минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась почти беззвучно. Она действовала: проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы. И появлялась надежда... Хотя говорила она только правду. Говорила так тихо, что даже стены не слышали.

— Все отбито внутри... Все отбито,— одними губами сообщила она.

Когда Подкидыш очнулся, он попросил, чтоб ему вернули очки. Наверно, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает.

— Боль должна быть невыносимая,— опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна. И сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол.

— Теперь станет легче.

Он заснул. Внутри у него что-то скрежетало, переворачивалось. Странно... но это нас успокаивало: мы вроде бы с ним общались, прислушивались к нему.

Двигаться по комнате мы не имели права. Я сидел на белой табуретке, а мама стояла.

Один раз Николай Евдокимович, вновь очнувшись, подозвал нас и прошептал:

— Мне очень... вас жалко...

— Ты... наш дорогой! — ответила мама.

Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаяние, Подкидыш захотел улыбнуться.

— «Учитесь... властвовать собой»,— тихо посоветовал он.

Или, верней сказать, попросил.

К вечеру в палату вошел милиционер в накинута на форму халате. Я не мог определить его чина.

Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал:

— Мне разрешили... на пять минут. Дело требует! — Это напоминало сцену из кинофильма.— Так что несколько слов...

Николай Евдокимович весь как-то напрягся.

— Запишите,— с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он.— Тросы проверял я. Лично я...

— Но ведь руководительница работ...— осторожно вставил милиционер.

— Нет,— перебил Николай Евдокимович.— За это отвечал я. И доложил ей, что все в полном порядке.

Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы. Но потом снова напрягся:

— Если не возражаете... Я хочу подписать.

— Это еще не все,— с грубоватой неумелостью поправляя подушку, сказал следователь.

— Это все. Вы запишите, пожалуйста... побыстрее.— Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело неловко совал в рот.

— Я подпишу это место,— настойчиво попросил Подкидыш.

— Когда мы кончим весь протокол...

— Нет, дайте сейчас. Это место... Помогите, пожалуйста.

Следователь послунил карандаш, наклонился к Подкидышу. И тот подписал.

Мне показалось, что ему полегчало.

Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел.

Лицо Подкидыша в роговых очках затерялось на подушке.

— Устал,— сказала мама Олега.— Вы все выяснили?

— Надо бы...

— Да нельзя! — перебила она милиционера. И проверила у Подкидыша пульс.

Следователь махнул рукой и вышел в коридор. Мы с мамой, хоть он и не звал, тоже вышли.

— Я вам нужна? — спросила мама.

— Да чего тут!..

— Надо было перестраховаться,— сказала она.— Пере-проверить!

— Он же докладывал вам, что все в порядке.

— Не помню... По-моему, не докладывал.

— Показания подписаны собственноручно. Так что... такое дело.

— Это я... его...

— Это война,— сказал милиционер. И захромал прочь от нас вдоль коридора: тоже, наверно, был ранен.

— Зачем ты так говоришь?! — набросился я на маму.

— Прости,— сказала она.— Я не должна была... ради тебя. А вообще, следовало... проверить. Техника безопасности! Сколько раз я говорила: техника безопасности! А мне и тут отвечали: война. Тросы с ней не считаются.

Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер.

Его старики были в Москве, на Ваганьковском кладбище. Он мечтал лежать рядом с ними.

Как-то однажды он рассказал мне, что и Есенин лежит там же, неподалеку.

— Это был великий философ! — утверждал Николай Евдокимович.— «Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянье...» Если взять одни только эти строки! Или... «Ведь каждый в мире странник — пройдет, зайдет и вновь оставит дом...»

Подкидыш оставил наш дом навсегда.

«На Ваганьковском кладбище... Других пунктов в моем завещании не будет», — говорил он.

Кто в мире мог выполнить его просьбу?

— Солдат хоронят там, где они погибают, — сказал на следующий день Кузьма Петрович. — Он ведь и умер в госпитале... Среди солдат.

А старики ждали его на Ваганьковском кладбище.

* * *

Я приближался к маме... И тем более перед встречей с ней мне захотелось взглянуть на госпиталь, где умер Подкидыш.

Я вспомнил, что там, в комнате старшей медсестры, он раз или два с невероятным напряжением приподнимался на локтях. Вероятно, хотел сказать что-то маме. Но я не догадался выйти из комнаты. К тому же Вера Дмитриевна то и дело пыталась его спасти. А позже приковылял следовательно...

Я попросил таксиста завернуть к бывшему военному госпиталю.

Он первый раз обернулся и взглянул на меня с интересом и даже сочувствием.

— Вы в госпитале лежали?

— Да нет... Я был тогда еще школьником.

— А-а, — разочарованно протянул он. И опять повернулся спиной.

«Этот парень, должно быть, еще не родился в ту пору, когда сюда привозили раненых», — подумал я.

Прежде госпиталь был в трех километрах от города. А теперь это здание наверняка находилось где-нибудь в центре. Да и что в нем сейчас? Школа, больница?.. Или какое-нибудь учреждение?

«Вряд ли найдем», — подумал я. И изменил маршрут.

14

После смерти Подкидыша мама без конца перечитывала письмо «командира воинской части», которое выстукал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам... уже пришла.

А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя:

— Что мне стоило перепроверить? Что стоило?

Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал:

— Я устала. Очень устала.

Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей: об

отце, о Подкидыше. А стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел.

Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать... Но забот прибавлялось. Укладывалась она, когда радио уже молчало, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день...

— Твоя мама уехала? — спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставлял ее дома.

— Она на стройке.

— И отец там. Но не всегда же...

— А мама всегда.

Город заполнялся похожими, как двойники, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу.

Нам с мамой дали восьмиметровую комнату в настоящем кирпичном доме.

Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами.

— Как я могла заставить Подкидыша тащить его? — продолжала терзать себя мама. — У него было столько болезней!

— Ты знала о них?

— Конечно... Ценим, когда теряем. И жалеем, когда теряем. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Порой эта поговорка звучит бессмысленно. Поздно — значит, все... Поезд ушел. И всегда-то мы наваливаемся на безотказность человеческую, на деликатность. Эксплуатируем их беспощадно...

— Ты о чем?

— Все о том же.

Я никогда до той поры не догадывался, что душевные перегрузки подтачивают здоровье гораздо сильнее, чем физические. В физических мама искала спасение. И нагружала себя и нагружала...

Я редко встречался с нашими соседями по барaku: они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки, — я угадывал, сам того не подозревая, их лица. И помнил глаза... Оказалось, что мы с ними в этом баракe с р о д н и л и с ь.

Позже я понял: война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих «разнокалиберных» качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная, будничная отвага и

готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием.

Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась: «Большое видится на расстоянии». Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно. Но ведь и героизм людей, живших с нами рядом, в бараке, тоже было высоким.

Тот сосед, что жил за «озером с лебедями» и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пятитонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными.

Прощаясь, все просили «не забывать». И мы обещали. Хотя тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда.

Заходить в гости никто не приглашал, потому что ни у кого не было времени принимать и наведываться.

Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом. — А что теперь не нарушено? — спросила как-то, переходя от своего обмена веществ к общим проблемам, Вера Дмитриевна.

В природе порядок не нарушался. Но отношение к временам года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя — и холода опять наступили.

Каждый день начинался со сводки Информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия. А если хорошей, то тем более надо утроить...

Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом «командира воинской части» и не могла забыть металлический трос, который бы не убил Подкидыша, если бы все вовремя «перепроверили». В конце концов она заболела... Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе сорок третьего, на морозе.

Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо — болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно... И очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, «как у Любови Орловой».

— Обыкновенной простуды испугался? Чудак! — говорила она.

Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег

объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытнее любого профессора: практика очень большая.

Она заполнила нашу комнату собой... и уверенностью, успокоением.

— Воспаление легких. Организм истощен, конечно... Слабо сопротивляется. Но это не смертельное ранение. И даже не тяжелое. Уж поверь мне! Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчичники — и все как рукой снимет. Не сомневайся!

* * *

Таксист мрачно, уже выходя из терпения, притормозил возле нашего трехэтажного дома.

Дом казался мне раньше высоким, как и «горы» на Гоголевском бульваре. «Да, представления о масштабах с годами меняются», — вновь согласился я с Николаем Евдокимовичем. Мамин адрес тоже давно изменился...

— Сколько мы еще будем останавливаться? — наконец выразил вслух свое недовольство таксист. — У меня план!

— Почти приехали. Это последняя остановка, — ответил я.

До мамы оставалось всего два квартала.

Я сказал, куда надо ехать.

15

А в самом начале сорок четвертого года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня.

— Ты уже давно не приходишь. А вам вот... письмо.

Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах.

Я взял треугольник в руки. Уронил его... Поднял. Опустился на стул.

— Что с тобой? — как тогда, около двух лет назад, услышал я голос девушки.

Это было письмо от отца.

Рядом стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение «командира воинской части». И вот теперь... Это было невероятно.

«Дорогая Катенька! Дорогой Дима! — писал отец. — Родные мои, бесконечно любимые люди! Представляю, что вы из-за меня пережили, что передумали за эти два с лишним года.

Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом: к годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты!

В октябре сорок первого меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду. Это страшно, но уже позади! Мне с двумя солдатами удалось наконец бежать.

Добрались до партизан... А вчера (только вчера!) воссоединились с нашей армией. Я еще немного хромаю, и меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь.

Дорогие, я чувствую, что победа близка. А это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас, в Гагаринском переулке. И расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша — и поэтому она не покажется нам непосильной.

О подробностях в следующем письме. Тороплюсь... Но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение: вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен! Хочу узнать о каждом прожитом вами дне. Буквально о каждом!

Передайте привет Николаю Евдокимовичу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней.

Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу. Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться...»

* * *

«Екатерина Андреевна Тихомирова, — прочитал я на гранитной плите, — 1904—1943».

Я приехал к маме, у которой не было около десяти лет. Так уж случилось. Сперва приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре.

«Организм истощен. Слабо сопротивляется...»

Прости меня, мама.

1977 г.



РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Слушание дела было назначено на двенадцать часов.

А я прибежала к одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я.

Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. «Во всех его квартирах,— думала я,— живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери, на стекле с белесыми островками было написано: «Народный суд».

Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории

медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла: судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть близнецами.

Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет тридцать — и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика, мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.

Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.

Неожиданно дверь распахнулась, и в коридор вывалилась молодая, дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытащила сигарету, поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.

— Кого там судят? — спросила я.

Женщина мне не ответила.

— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости, — донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика.

Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы».

— Что там? — вновь обратилась я к женщине с воспаленным лицом.

Она опять меня не слышала.

На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный отдых» и из последних сил молодящийся.

В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы»: «Вы, маменька...» В этом не было ничего противоестественного: у каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матерей

называют так и поныне: там трудней расстаются с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность.

«По закону, по справедливости...» — похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...

На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.

— Перерыв скоро будет, не знаете? — спросила я, поскольку в коридоре, кроме нее, никого не было.

Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!» — словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт.

«Наверняка должен скоро быть,— решила я.— И можно будет поговорить, посоветоваться...»

Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы, которые, я надеялась, услышав от меня, она запомнит и повторит во время судебного разбирательства.

Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они незаметно вытянулись в ленту воспоминаний — не только моих собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже стали моими.

Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои», «родовая знать»...

А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей. Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники. Прославиться можно разными способами!

Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого движения акушера зависит вся чело-

веческая жизнь: Моцарт не станет Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни причастен.

В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни малейшей склонности «к перемене мест».

На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка собралась выходить замуж.

«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.

— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, — впоследствии рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.

— Совсем ничего? — цепко спросила я.

— Кажется, был... один поцелуй.

— Именно в семнадцать?

Бабушка кивнула.

— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать...

— И я ничего не знала?!

— Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы землетрясением. А так, видишь... все живы-здоровы. Хотя мама, как говорится, оказалась непосредственной свидетельницей.

— Каким образом?

— Увидела из окна.

Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить. Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты получила тройку?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно действовавшее средство: «Ничего страшного!» Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.

Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился через сорок три года.

— В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на развод!

Мама отговаривала ее от «исверного шага».

— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего установлены свои сроки.

Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной окружающей нас среды.

— Но и от окружающей среды приходится охранять! — уверяла она бабушку. — Что ж получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!

Это маму не устраивало: нянька нужна была ей самой. Хотя тут я, наверное, не вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне. И бабушка не пошла под венец.

— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту историю. — В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он был раньше?

— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба помолодели.

— Почему же тогда...

— А ты? — перебила меня бабушка.

И больше я не задавала дурацких вопросов.

Бабушка была папиной мамой.

А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм и делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо спасать.

В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но только чуть-чуть... И двигалась плохо, и говорила с трудом.

Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.

— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, — продолжал заклинять в зале судебного заседания длинный, худой сын. — Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...

Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой, закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая женщина.

«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.

Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна: поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.

По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка, погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали внуком.

— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать,— воспитывала меня бабушка.— А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи проводила у постели больных.

— Все ночи?!

— Почти. Помогала им как могла. Иногда удерживала, не отпускала.

— Куда?

— На тот свет... И заодно подрабатывала.

Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но отец однажды сказал:

— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже... Чтобы в театр ходил, в кино.

Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным желанием.

Она рассталась со своей больницей.

— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.

— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка.— Но ничего страшного.

— Тем более, что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.

Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.

Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили. Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со здоровой.

— Ничего страшного! — уверяла она.— Даже имя твое говорит об этом.

Меня зовут Верой.

Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным оказалась бывшая медсестра.

Мне трудно было ходить, а она просила:

— Сбегай-ка за газетой!

Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.

У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не происходит «ничего страшного».

Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.

Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться.

Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.

Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением окружающей среды Антон Александрович.

Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных, то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно, будто в магазинной витрине.

С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно скрывать.

«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из главных человеческих слабостей!»

Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность своей фигуры, и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя свитерами.

Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали, чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал людей к искусству минувших веков.

А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все понимала.

— Мы с вами люди самой модной профессии! — сообщил маме Антон Александрович.

Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома. Хотя бабушка ждала во дворе...

Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!» А с его куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.

Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.

Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала. Он приписывал это моей крайней отсталости.

— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские, например? — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы добились ошеломляющих результатов!

В конце концов, полностью уверовав в мою несмышленность, он решил объясниться маме в любви.

— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза. Неужели вам ничего не ясно?

И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.

— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто «некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!..

Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича, и он, мрачно восхищаясь, покинул наш дом.

В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:

— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои чувства. Не напрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась. Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше ходить — она вникает в психологию человеческих отношений!

Мама, наверно, была права, поскольку это длинное — п с и х о л о г и я — начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.

А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне была все-таки дороже успеха. Это я поняла!

Папа радовался тому, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же механически, вполголоса повторял:

— Это новая стадия... Новая стадия!

— Какие стадии, не пойму? — удивилась бабушка. — Она все понимает не хуже нас с вами.

Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, и Антон Александрович перестал забегать к нам «по делу». История его любви была подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена!

Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить». Но моей сообразительности она тоже, разумеется, была рада.

Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях

сильно забежала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.

Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминной мамы. По тому, как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи. А бабушка как ни в чем не бывало говорила:

— Принеси-ка коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.

Мне становилось легче.

— Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные чувства,— донеслось из зала заседания.

«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» — вновь подумала я.

И отправилась в глубь коридора.

Маму называли «крепким специалистом». Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки, мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще бóльшую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное.

Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточия.

Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво, не в полную силу. А курить вообще никто не решался.

Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была свойственней, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным. Несправедливым...

Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был прямым и статным. Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку.

А впрочем, я, наверное, опять была не права, несправедлива к своим родителям.

Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что мама и папа смогли...

Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться:

— Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегают во дворе: они абсолютно здоровы.

«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными.

Я слушала всех, но слушалась бабушку.

За музейные ценности папа боролся так же, как мама за окружающую среду.

— В запасниках прозябает столько шедевров! — возмущался он. — Это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство — это тоже сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для нравственного здоровья!

Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать голос.

Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверно, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась собака.

Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть. Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не обнаруживала. У нее и тут была своя твердая точка зрения: художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким.

Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.

— Я сделался копировщиком картин. — сообщил он мне как-то. — Сделался копировщиком... Ну а после переквалифицировался в экскурсовода. Если бы мама тогда, давно... лучше

понимала меня, я бы мог стать личностью. Мог бы стать личностью... В искусстве по крайней мере! Хотел создавать свои полотна — теперь рассказываю про чужие. Что делают в подобных случаях, а?

— Разводятся,— неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос вовсе не мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно другим взрослым, в расчет фактически не принимал.

Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона Александровича, пришел в восхищение.

— Ты сама догадалась или тебе подсказали? — допытывался он.

— Подсказали,— ответила я.

— Кто?

— Ты.

— Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и ясно! Четко и ясно...— ликовал папа. И восторженно заламывал руки.— Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя появилась способность иронизировать!

Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне предначертала быть полной кретинкой.

Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:

— А почему вы все-таки не развелись?

— Потому что я... люблю маму.

— И правильно делаешь! — с облегчением сказала я.

Это привело папу в еще больший экстаз:

— Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично. Никаких умственных и нравственных отклонений!

Он еле дождался маминого возвращения с работы. И прямо в коридоре поделился счастливой новостью.

— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!

Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.

— Так и сказала?! — восхитилась и мама.— «А почему вы не развелись?»

— Слово в слово!

— Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?

— Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь, ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос сердца! — Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. — Еще одна новая стадия! — зафиксировал он.

Бабушка пожала плечами.

— Какая такая стадия?

— Нет, не говорите, — возразила мама. — Мы укрепляем веру Веры в самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму гению, сейчас радоваться?! Необходимо закрепить данное ее состояние. Бесспорно! — Мама вновь повернулась к папе: — А в результате чего она обратилась к этим проблемам?

— Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место... в далеком прошлом. В очень далеком. — Папа опять стал изъясняться вполголоса, как в музее возле картин. — Но она сама, без всякой моей подсказки, перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам. К логическим выводам! — заключил папа, надеясь, что такая концовка уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. — Еще одна новая стадия!

— Это бесспорно, — согласилась с ним мама. — Если так пойдет, она вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот тебе и отсталое развитие!

Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю болезни. И была таким образом увековечена.

О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что мое выздоровление было для них важнее всего. Важнее любых жизненных ситуаций и самолюбий.

Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс моего замедленного развития.

Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через веревочку.

— Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину? — с некоторым опасением сказала мама.

— Ничего страшного, — ответила бабушка.

Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка же заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у Клары украл кораллы», я должна была сообщать ей, словно сотруднику угрозыска, ежедневно.

— Вы хотите овладеть программой-максимум! — продолжала словесно рукоплескать мама. — Мы этого никогда не забудем.

Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами, а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.

Она занималась этим целыми днями — и я могла бы возненавидеть ее. Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения.

Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний — спокойным голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку и дарит надежду.

Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете «мама», я стала называть ее «мамой Асей»: у бабушки было редкое имя Анисия.

— Крестьянское имя, — объяснила она.

Руки у нее тоже были крестьянские — иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками.

Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.

Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала то же, что я:

— Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! — Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле никто спорить с ней не решался. — Я сама буду называть ее твоей «мамой Асей». Ты хочешь?

Исполнение любых желаний — привилегия больного ребенка. Но я возразила:

— Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.

— Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное, не расходовать нервы!

— Вы вспомните меня мальчиком! — умолял в зале мужчина, выдавленный из тюбика. — Разве я когда-нибудь огорчал вас?

Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим, и напрягла голос.

Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал.

Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом, на столе, лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына. Наверное, маленького. И может быть, размышляла о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают, потом...

Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодяя, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.

О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось мамой и папой почти ежедневно. И я научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».

Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья, закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент моего появления на свет, был фактически уже восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы. И я с ними расставаться не торопилась.

Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять какой-либо просьбы, состояние моего здоровья трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова. Мама и папа вперегонки уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не выдавала меня. Когда мне исполнилось тринадцать лет, в меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора — Федька-След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением:

— Я тебя по любому следу найду!

Как можно отыскать конкретного человека по любому следу — это было Федькиной тайной.

Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моей неловкой походки или не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека «по любому следу».

Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истерически сообщили об этом моим родителям.

— Почему он мстит за тебя? — напрямую спросила мама.

— Влюблен. Вот и все.

— Вот и все?!

Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз возликовала. Она всегда беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть.

— Разумеется, — привычно соглашался с ней папа. — Отклонение от нормы — это самобытность, оригинальность.

Хотя пилулями, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в бороде Черномора, таилась моя главная сила.

На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во дворе оказались избитыми.

— Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку стороной! — восхищалась мама. — Бесспорно... Теперь уже окончательно и бесспорно!

— Это взаимное или одностороннее чувство? — вполголоса поинтересовался папа.

— Одностороннее, — ответила я.

— Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее, — поощрила меня мама. — Пусть лучше он и... — Она взглянула на папу. — Пусть лучше они вкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки!

Когда я вышла в другую комнату, бабушка еле слышно сказала:

— Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.

— Человек, в котором подозревают какую-либо неполноценность, — тоном экскурсовода начал разъяснять папа, — всегда хочет опровергнуть подобное мнение. И это сильнейший стимул!

— А в ком подозревают неполноценность? — уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.

Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла «себя любить».

— К сожалению, он драчун, — сказал папа таким тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказать от дома. — Драчун, к сожалению.

— Разве Айвенго или, допустим, герои... «Всадника без головы» не были драчунами? — вопросом ответила бабушка. — Они, насколько мне помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так... Ничего страшного!

— Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, — вступила в разговор мама.

Папа сник, поскольку мамины аргументы были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой... Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил:

— Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...
— О чем? — поинтересовалась бабушка.
— О том, что его любовь должна быть бескровной.
— Разве он кому-нибудь говорил про любовь?
— Не говорил... Но о ней знает весь двор! И Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях бьет. Даже бьет!
— Это скверно, — согласилась бабушка.
Приободренный папа выдвинул новое предложение:
— Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все, знаете, были... И помнят!
Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетающейся походкой.
Увидев это, папа взметнул руки вверх:
— Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои нервы.
Я начала «отходить». И проследовала к окну уже более твердым шагом. Тогда, обращаясь ко мне, папа громко продолжил:
— Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь дом.
— Почему?! — вмешалась в разговор мама. — Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться.
— Разве в этом кто-нибудь сомневается? — тихо сказала бабушка. — Она имеет защитника? Ничего страшного!
— По крайней мере для нее, — согласилась мама. — Анисия Ивановна, как всегда, права. — И крикнула в папину сторону: — Просто не верится, что ты ее родственник!

Я подошла к двери, возле которой вновь дымила не замечавшая меня женщина.

— Зачем же делить-то, Коленька? — донесся близкий к рыданию голос матери. — Я ведь скоро...

— Всех нас в два раза переживет! — отреагировала дебелая женщина.

И я поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, — ее раб.

— Что там делают? — спросила я.

Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо:

— Что делают в суде? Имущество!..

У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.

— Старшая, но не старая, — объяснила мне бабушка. — Выглядит куда лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.

— Как раз это опасней всего,— включился в разговор папа.— Опасней всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол. Иначе внутреннее самосожжение происходит... Самосожжение!

Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно.

Мама иногда даже переспрашивала:

— Сколько... сколько она собрала грибов?

Бабушка находила соответствующее место в письме.

— Сколько она наварила банок варенья?

Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.

Мама могла бы и не интересоваться этими цифрами, потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье отправлялось по нашему домашнему адресу.

— Куда нам столько? — ахала мама. И аккуратно размещала банки в холодильнике и на балконе.

Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама подчеркивала:

— Это от тети Мани!

Если же к папе приходили друзья и грибы становились «грибками», за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было приятно:

— Не зря Манечка спинугнула. Удовольствие людям!

Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.

— Она, старшая, выходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и без влаги.

— Как ты мне?

— Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!

— Нет... Без тебя бы засохла,— с уверенностью ответила я.

По предсказаниям бабушки ее старшая сестра должна была «пить воздух» лет до ста, если не дольше.

Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из щелей.

Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему врачи объяснили.

— Стало быть, у Мани склероз,— сказала бабушка. И добавила, первый раз изменив себе: — Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.

— В молодости чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все естественно, прямо пропорционально,— сказала мама.— А в ста-

рости, когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.

— Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких,— ответила бабушка.— На кого болезнь раньше навалится, никому из нас не известно!

Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.

— Никогда не кричала она. Вот и результат,— пробормотал папа.— Вот и результат.

— Что поделаешь... Надо ехать в деревню,— сказала бабушка. И, вроде бы извиняясь, обратилась ко мне: — Ничего страшного: вас будет трое. А она там одна.

И сразу пошла собираться.

Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой...

Я почувствовала это — и уже не нарочно споткнулась на ровном месте. От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без бабушки все погибнет, разрушится.

Мама и папа панически испугались.

— Придумайте что-нибудь! — невнятно просила я их.

— Мы умоляем тебя: успокойся! — вталкивая мне в рот пилюлю и заставляя запить ее водой, причитала мама.— Выход, бесспорно, есть. Пусть тетя Маня приедет сюда. К нам... Хоть сегодня!

— Разумеется, мы будем рады,— привычно поддержал ее папа.— Мы будем рады.

С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.

Мама и папа примчались вслед за мной.

— Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме,— торжественно объявила мама.— То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна! Это бесспорно. Иначе не может быть.

— Я тоже поеду в деревню... Мы вместе привезем тетю Маню.

— Пожалуйста! — с ходу разрешила мне мама.— Только не волнуйся. Тебе нельзя расходовать нервы.

Никогда еще не была я так благодарна своим родителям.

А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум.

Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупреждала, что это «самое большое светило». На сей раз «самые большие светила» собрались все вместе. Просто слепило в глазах!

Со мной беседовали, меня разглядывали, ощупывали, будто собирались купить за очень высокую цену.

Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру ей удалось подобрать ключ.

Потом мы с мамой и папой — бабушка при этих исследованиях никогда не присутствовала — вышли в смежную комнату.

Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что практически я здорова. Но что поехать на время в деревню было бы хорошо!

— Это нанесло бы последний удар по ее болезни, — сказал, поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.

На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний удар.

Девять с половиной часов мы ехали в поезде, а затем, от станции до деревни, еще три часа на попутном грузовике.

Мы обе сидели в шоферской кабине.

— Ничего страшного: в тесноте, да не в обиде, — сказала бабушка.

Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег спиной на сиденье и нервно затормозил: он не ожидал, что на улице будет столько людей.

Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетю Маню. Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места.

Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами.

Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы, на дуб, так долго, что я тронула ее за руку.

— Что ж телеграмму-то не послали? Не дали проститься, — сказала она.

Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось.

— Меня пусть тоже сюда... — сказала бабушка. — Я с Маней хочу. Не пугайся моих слов. Но запомни их, ладно?

Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о смерти до той поры никогда не думала.

— Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше... А я сейчас вот как решила: когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.

Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как написать о смерти.

Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.

— Соскучилась,— сказала бабушка. И стала искать очки.

Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:

— «Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам лично, а Верочке pošлю письмо завтра...»

Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:

— Читай... Ничего страшного.

— «Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала, думала. Наутро поехала советоваться с профессорами, и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я, бесспорно, должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя Верочкиного здоровья! Я подумала — и врачи, увы, со мной согласились,— что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего стоического труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани нежелателен, а точнее, невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но...»

Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова.

«Практически...» Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось, не уходило.

Мама не знала о смерти тети Мани и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни — одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось...

На том решающем консилиуме врачи говорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Не по болезни: ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере, близкие мне люди, которых я хотела не только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже. Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.

Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах.

Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по цветку.

Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства.

— Это было такое сердце! Такое сердце! — повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья.

Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма и узнала о кресте на холмике под неохватным, израненным дубом.

Мама упорно настаивала, чтобы мы ее «правильно поняли». Но я знала: об этом просят тогда, когда поступают неправильно.

Наконец очередь дошла до моего внешнего вида:

— Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил тебя.

— Месяц в деревне, — вполголоса подключился папа. — Так можно было бы назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал...

— А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? — вновь перехватила инициативу мама. — Врачи разрешили тебе перейти в обычную, нормальную школу. Правда, на один класс ниже. Но в нормальную!

Мама уже не просто «заглаживала», а старалась, чтобы мы, ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.

— Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь. Тогда сохраняются все чувства и отношения! — тоже «заглаживал» и заставлял «забыть» охрипший мужчина в судебном зале. — А лишнего мне не надо!

Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столе, фотографию, взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не услышала.

Мама все делала обстоятельно и серьезно. Поэтому заглаживание вины не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что на первый урок в «нормальную» школу меня должна провожать бабушка.

— Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы. Пусть так же будет и в смысле буквальном!

Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила над бабушкиной постелью:

— Она вырастила вас, как вы Верочку. Это бесспорно! Кажется, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной.

Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом отдыха. Бабушка не могла поехать в этот дом, как я не могла бы сесть за руль мотоцикла: отдыхать она не умела.

Но постепенно чувство вины за письмо и радость от того, что я выздоровела и ходила в «нормальную» школу, начали притупляться. Время лишало эти события их остроты.

Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать всеми качествами, необходимыми «гармонично развитому человеку».

Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений, которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама стремилась к гармонии.

— К примеру, любознательность... Великолепное качество! — раздавалось из телефонной трубки. — «Любо знать» — вот откуда берет истоки это понятие.

Вскоре, однако, я убедилась: важно, что именно «любо знать» человеку.

В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой «заслуженный отдых» на скамейке возле подъезда. В первый же день она представилась бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью прислушиваться к нашим разговорам. Вечером же, когда я встретила маму, возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему подъезду, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными в результате ее любознательности.

— Анисия-то Ивановна — героиня! — сообщила она маме так, будто знала бабушку с детских лет. — Сижу целый день и восхищаюсь: родить в таком возрасте! И как ты, Верочка, ее называешь — это тоже удивительно... — обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. — Не просто мамой зовешь, а «мамой Асей». Благодарись, значит, за ее смелость: родить в таком возрасте! Я вот бездетна... Сижу целый день и завидую!

Затем, проявляя еще большую любознательность, а может, бесцеремонность, она спросила маму:

— А вы-то кем Вере приходитесь?

Мама ничего не ответила.

Она и после этого случая продолжала называть бабушку «добрым гением», но делала это уже по инерции, без вдохновения.

Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая мысль устроить ужин для всех светил, которые в течение многих лет были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть.

— Ты прав,— ответила мама.— Бесспорно, прав: они еще могут, тьфу-тьфу, пригодиться.

— И поблагодарить надо,— опомнился папа.— И поблагодарить тоже.

— А как же? Бесспорно! Это само собой разумеется,— согласилась с ним мама. И поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к приему.

Профессора-мужчины пришли с женами, а профессора-женщины, если у них были мужья,— с мужьями. Приглашены были и ближайшие родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня. Я поняла, что в такой ситуации не вылечиться было просто неудобно...

Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я поднялась с бокалом, по стеклу которого прыгали лимонадные пузырьки, и сказала, что, если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла.

Я перевела стрелку — и вечер со стремительностью экспресса изменил направление.

Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня — они меня «наблюдали». Во всех справках, которые я получала, так и было написано: «наблюдается» там-то, с такого-то года. Но заодно они, разумеется, «наблюдали» и бабушку, которая неизменно была рядом со мной.

Все сразу об этом вспомнили и под влиянием выпитого заговорили с нарочитой целеустремленностью.

Повзрослев, я заметила, что, если у застолья есть некий центр, есть какой-нибудь главный объект, вечер проходит успешно. Его участники не распыляются: рассеянный огонь, который редко приводит к победе, уступает огню прицельному. О главный объект, как о точильный камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие.

Заговорив о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали постепенно трезветь. Бабушкино лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб, белые, без малейших оттенков волосы да и сама неожиданность присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном обществе — все это заставило перейти от застольной велеречивости к более застенчивой искренности.

И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тост», рюмки и бокалы не осушались,— просто беседовали о бабушке, о ее «человеческом подвиге». Так прямо и говорили: о подвиге.

Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду, готовить чай.

Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед

за бабушкой не удалилась. Она любила руководить, и невозможность проявить эту свою способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что какой вилкой и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушивались: застолье имело свои центры — сперва меня, а потом бабушку.

В конце концов, чтобы обратить на себя внимание, мамина мама пошла на решительный шаг.

— У меня создалось впечатление, что я присутствую на открытии памятника, — внезапно заявила она.

Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать ей, как посторонней.

— За такое подвижничество и надо воздвигать памятники! — произнесла жена светилы-консультанта, не столько, мне показалось, думая о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму.

— Памятники надо ставить при жизни, — включился в разговор папа. — Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть «нерукотворные»... Но при жизни. Чтобы человек мог...

Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы, и папа умолк.

Приняв осанку владычицы, не допускавшую возражений, мама поднялась и сказала:

— А у меня «среди шумного бала, случайно»... создалось впечатление, что Верочка — круглая сирота.

Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор.

Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он цитирует маму — а цитировать ее он очень любил! — сказал о моем «втором рождении» с помощью бабушки.

— Человек рождается лишь однажды. Медицина, бесспорно, со мной согласится, — задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней мысли.

Она вновь перевела стрелку — и вечер устремился в третьем направлении: за праздничным столом люди податливы и сговорчивы. Все стали пить за моих родителей. Именно пить, потому что тосты были краткими, мимоходными, а рюмки и бокалы осушались до дна.

Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, так сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию. Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на кухню помогать бабушке.

С того вечера все изменилось в нашей семье.

Быть может, прояснился истинный взгляд мамы на отношения, которые давно возникли между мною и бабушкой.

Эта истина раньше искажалась практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне.

«Нужен тот, кто нужен? Нужен, пока нужен?..» Неужели мама руководствовалась этой философией? Нет, не философией — зачем такие красивые понятия! — а просто-напросто выгодой?.. Мне трудно было понять все это. Но я видела: то, что раньше ставилось бабушке в заслугу, теперь вызывало укор.

Мама создавала в доме угодную себе атмосферу. И делала это успешно, ибо была специалистом в области «окружающей нас среды».

О бабушкином подвиге старались не вспоминать: «Хватит уже!»

«Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись его результатом?» — думала я.

Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в парикмахерской не хотели уступать очередь, хотя возле кассы было написано, что «инвалиды имеют право...». Неужели и его подвиг кем-то забыт?

«Люди не должны жить минувшим горем,— думала я.— Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!»

Как иные историки стараются не вспоминать неугодные им события, и тогда становится непонятным, что из чего «проис текло»,— так и мама старалась перечеркнуть мою «родовую историю»: я всегда была здоровой, нормальной, училась в обычной школе.

Вместе с тем мама невзначай вспомнила, что именно бабушка повезла ее в тот родильный дом, где врач замешкалась и где произошло то самое знаменитое кровоизлияние «ограниченного характера».

— Бесспорно, никто здесь не виноват,— объяснила мама.— Но надо же... Такая трагическая случайность. Сколько в городе родильных домов!

Я продолжала называть бабушку «мамой Асей». Не для того, чтобы дразнить маму, а просто потому, что привыкла и по-другому уже не могла.

Решив с этим покончить, мама вернулась к проблеме моего «второго рождения».

Для начала она попыталась доверительно, «как с родной дочерью», поговорить со мной. Но интимные беседы у мамы не получались: слишком ясно обозначались в ее тоне и голосе повелительные, жесткие ноты.

— Я имею дело с природой. Можно сказать, защищаю ее! — сказала мама.— И у себя дома тоже хочу выступить на защиту ее законов. Пойми, их нельзя попираť. Человек рождается лишь однажды и матерью должен называть лишь одну — родившую его! — женщину. Иначе в родственных отноше-

ниях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы.

— Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды, — ответила я. — Ты же сама первая... сказала про «второе рождение». Когда тебе было н у ж н о. Вспомни!

Но именно вспоминать маме меньше всего хотелось.

— Раньше ты говорила об этом «втором рождении», — продолжала я, — в романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в физиологическом.

— Какой словарный запас! Ты совершенно здорова! — в ответ восхитилась мама.

Вскоре бабушка, как раньше, сама попросила, чтобы мамой я называла только маму, а ее называла бы бабушкой:

— Так будет лучше.

Но я и ее не послушалась.

Месяцы, поспешно соединившись, становились годами... В обыкновенной школе я одерживала необыкновенные, если учесть мое «родовое прошлое», успехи.

— Деятели мировой культуры, детство которых прошло в неблагоприятных условиях, — тоном экскурсовода объяснял папа, — потом становились особо выдающимися эрудитами: минувший духовный голод вызывал повышенный духовный аппетит. Повышенный аппетит... Что-то похожее происходит с тобой.

Впечатления детства, когда я была отсталой, и впечатления отрочества, когда я стала передовой, как-то переплелись. Я уже не могла провести между ними четкой границы... Как и в своих воспоминаниях, которые, словно выскакивая из засады, атаковали меня в коридоре суда. То, что я помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от родителей и от бабушки.

Я знала, что самая отчаянная борьба — это борьба за существование. В ней порою не выбирают средств... Мама боролась за свое существование в качестве моей е д и н с т в е н н о й матери. И средств в борьбе за эту монополию не выбирала.

На беду, с годами у меня стало появляться все больше тайн. Взрослым часто свойственно из лучших намерений, в «воспитательных целях», выдавать секреты своих воспитуемых. Бабушка не выдала меня ни единого раза. И свои тайны я несла к ней. Бабушка обладала редким умением слушать других. Редким потому, что для этого надо хоть на время отречься от себя самого. Часто, слушая чью-либо горькую исповедь, люди сразу же примеряют ее на свою жизнь, то есть думают в этот момент о своей судьбе и мысленно радуются тому, что несчастья, коснувшиеся или истерзавшие собеседника, их обошли стороной. Для бабушки же события моей биографии были гораздо важнее, чем все, что происходило в ее собственной жизни. Поэтому

советы ее, ненавязчивые и робкие, не были замутнены никакими личными интересами или соображениями.

Одной из моих главных тайн был Федька-След... Инерция репутаций очень устойчива, почти непреодолима: хоть Федька давно уже не извергал ни грома, ни молний, его продолжали считать грозой нашего дома. И когда мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к моей щеке, этот факт вошел в историю нашей семьи как «поцелуй хулигана».

— Почему хулигана? Я сама подставила щеку!

— Бесспорно... Я этому не удивляюсь! — забыв о своей осанке, заметалась по комнате мама. — Ведь еще в младенческие годы ты узнала о том, что твоя бабушка целовалась в неполных семнадцать лет. То есть не достигнув совершеннолетия! Загрязнение окружающей среды в тысячу раз безопасней, чем загрязнение среды внутренней. Чем загрязнение юной души! Подобными вот рассказами старших...

— Не смей обижать бабушку! — твердо сказала я. — Хорошо, что ее нет дома. Не вздумай при ней...

— И ты еще будешь ставить условия?! — громким голосом неправого человека продолжала мама. — После того, что я видела? Я уверена, что это она... именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны развестись.

— Ты же так радовалась этой мысли?

— Я радовалась признакам выздоровления. Твоя судьба была для меня дороже личного счастья!

— Так за эти признаки... за то, что они появились... за то, что перестали быть признаками, поклонись в ноги бабушке!

— Ты с ума сошла. А профессора? А лекарства? Она разлучит нас! Бесспорно... Это случится!

Самое страшное, когда человек перестает быть самим собой. Мама в тот день перестала. А может, наоборот... она стала с о б о й, поскольку моя минувшая болезнь уже не мешала ей это сделать?

Не дожидаясь, пока бабушка нас с ней разлучит, мама решила забежать вперед, принять меры. Или я несправедлива и выдаю стечение обстоятельств за проявление злой, преднамеренной воли?

Точней сказать, речь идет об одном обстоятельстве. Об одном... Но переполнившем сосуд противоречий, который становился в нашей семье все более наполненным и тяжелым.

Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».

Я написала про бабушку.

А потом пошла с Федькой в кино... Было воскресенье, и у кассы, прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким напряженным, будто Федька изготoвился прыгать с вышки вниз, в воду. Увидев хвост возле кассы, он прищурился, что предвещало готовность к действиям непредсказуемым. «Я тебя по любому следу найду», — говорил он, когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.

Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо сразу присваивало ему некий порядковый номер, и, безусловно, не первый.

Федька рванулся к кассе. Но я остановила его:

— Пойдем лучше в парк. Такая погода!..

— Ты точно хочешь? — обрадовался он: тут уж не надо было торчать в очереди.

— Никогда больше не целуй меня во дворе, — сказала я. — Маме это не нравится.

— А я разве...

— Под самыми окнами!

— Точно?

— А ты забыл?

— Тогда уж я имею полное право... — изготoвился к прыжку Федька. — Раз было, значит, все! Тут уж цепная реакция...

Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял любой ценой и на долгий срок не откладывал.

— Ты куда? Я пошутил... Это точно. Я пошутил.

Если люди, не привыкшие унижаться, вынуждены это делать, их становится жаль. И все-таки я любила, когда Федька-След, гроза дома, суетился возле меня: пусть все видят, какая я теперь полноценная!

Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.

— Домой! — гордо сказала я. И повторила: — Только домой...

Но повторила уже растерянно, потому что с ужасом вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни» на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что, если мама его прочтет?

Мама уже прочла.

— А кто я в твоей жизни? — не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом, который, словно с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила она. — Кто я? Не главный человек... Это бесспорно. Но все же какой?!

Я так и стояла в пальто. А она продолжала:

— Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. И я предлагаю разъехаться... Это бесспорно.

— Нам с тобой?

— Нам?! Ты бы не возражала?

— А с кем же тогда? — искренне не поняла я.

— С той, которую ты... — Ее голос был на самом краю обрыва. — Которую ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...

Всегда безупречно выдержанная, мама, потеряв власть над собой, зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины слезы я видела первый раз в жизни. И стала ее утешать.

Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.

Когда я, готовясь ко сну, была в ванной комнате, пришла бабушка. Мама и ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как некогда говорила я:

— Вера написала... А я случайно прочла. «Главный человек в моей жизни»... Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это бесспорно! А она написала о вас... Если бы ваш сын в детстве... А? Нам надо разъехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с нами... И не пытается отвоевывать у меня мою дочь!

Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось. Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.

— Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, — сквозь слезы, но уже твердо сказала мама. — Все сделаем по закону, по справедливости...

— Как же я без Верочки? — не поняла бабушка.

— А как же мы все... под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь... Я напишу! Когда Вера закончит учебный год... чтобы у нее не было нервного срыва.

Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.

В борьбе за существование часто не выбирают средств... Когда я перешла в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое обещание. Она написала о том,

что мы с бабушкой должны разлучиться. Разъехаться... И о разделе имущества «согласно существующим судебным законам».

— Поймите, я ничего лишнего не хочу! — продолжал доказывать мужчина, выдавленный из тюбика.

И тут я впервые услышала голос судьи.

— Судиться с матерью — самое лишнее на земле дело. А вы говорите: не надо лишнего... — произнесла она бесстрастным, не подлежащим обжалованию тоном.

«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен... Нужен, пока нужен!» — мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи, были все время у меня на уме.

Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а вернее, записку, адресованную маме и папе: «Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке».

— Тряпка... Ничего не смог доказать. Тряпка! — твердила, обращаясь в глубь коридора, дебелая женщина.

Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.

— Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем... — судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто не услышал.

Бабушки дома не было.

— Где она? — тихо спросила я.

— Ничего не случилось, — ответил папа. — Она уехала в деревню. Вот видишь, на твоей бумажке внизу написано: «Уехала в деревню. Не волнуйтесь: ничего страшного».

— К тете Мане?

— Почему к тете Мане? Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!

— К тете Мане? — повторила я. — К тому дубу?..

Окаменевшая на диване мама вскочила:

— К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?

— Она просто уехала... ничего страшного! — заклинал папа. — Ничего страшного!

Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.

— Ничего страшного? Она к тете Мане уехала? К тете Мане? К тете Мане, да?! — кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног.



МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ

(Из дневника девчонки)

21 декабря

Почти все девчонки в нашем классе ведут дневники. И записывают в них всякую ерунду. Например: «Вася попросил у меня сегодня тетрадку по геометрии. Тайно попросил и очень тихо, чтоб никто не услышал. Зачем? Почему именно у меня? Почему так таинственно и с большим волнением? Уже полночь. Но я размышляю об этом и не засну до утра».

Васька просто-напросто решил сдать домашнее задание по геометрии. Именно у нее, потому что у меня он уже сдувал. «Тихо, таинственно!..» А кто же делает это громко? «С волнением!» Еще бы Ваське не волноваться! Девчонки обожают придавать самым обыкновенным поступкам мальчишек какой-то особый смысл.

Я тоже девчонка, но я понимаю, что дневники должны вести

только выдающиеся люди. Нет, я ничего такого о себе не думаю. Но у меня есть брат, он учится на втором курсе Консерватории. Он будет великим музыкантом. Я в этом не сомневаюсь!

И вот по моему дневнику люди узнают, каким он был в детстве.

Мой брат играет на кларнете. Почему не на скрипке? Не на рояле? Так хотел дедушка. Он умер, когда мне было всего два года. А брат Лева старше на целых пять лет, и дедушка начал учить его музыке.

Долгие годы я слышала о том, что наш дедушка «играл в фойе». Я не знала, что такое фойе, но слово это казалось мне очень красивым. «Ф о й е», — четко выговаривала я. А когда первый раз ходила в кино и увидела музыкантов, которые играют в фойе, мне стало жаль моего бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли вальс. Они прижимали к подбородку свои скрипочки и закрывали глаза: может быть, от удовольствия, а может быть, для того, чтоб не видеть, как зрители жуют бутерброды.

Мой брат не будет играть в фойе! Он будет выступать в роскошных концертных залах. Сейчас он готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Мне жаль, что кларнет называют духовым инструментом. Когда я думаю о духовых инструментах, то сразу почему-то вспоминаю похороны и медный оркестр, который идет за гробом. Кларнет можно было бы назвать как-то иначе... Но что поделаешь!

Учусь я средне, но это не имеет никакого значения. Я решила посвятить свою жизнь не себе, а брату. Так ведь часто бывало с сестрами великих людей! Они даже не выходили замуж. И я не выйду. Ни за что! Никогда!.. Лева уже знает об этом. Сперва он возражал, но потом согласился.

Мы договорились, что сам Лева в отличие от меня будет иметь право на личную жизнь, но лишь тогда, когда добьется больших музыкальных успехов. Лева весь, без остатка будет принадлежать искусству. У него не будет оставаться времени ни на какие обыкновенные человеческие дела и заботы. Все это буду исполнять за него я. Фактически я отрекусь от собственной жизни во имя брата! И поэтому мои тройки не имеют никакого значения. К сожалению, мама и папа этого не понимают.

— Ты неплохо устроилась, — как-то сказала мама. — Значит, Лева будет учиться, с утра до вечера играть на кларнете, совершенствоваться, готовиться к конкурсам, а ты будешь всего-навсего посвящать ему свою жизнь. Какие-то у тебя иждивенческие настроения!

— А сестра Чехова, по-твоему, тоже была иждивенкой? — спросила я в ответ.

— Ну уж... хватила!

Мама изумленно развела руки в стороны. Когда нечего сказать, легче всего разводить руками. В общем-то я сама виновата: не надо слишком уж откровенничать со своими родителями — они обязательно используют эту откровенность против тебя.

Но зато когда-нибудь о Лева напишут книгу, и в нее войдут отрывки из моего дневника. Недавно я читала такую книгу о великом поэте. «Сестра поэта» — было написано под одной фотографией. А под моей напишут: «Сестра кларнетиста». Или лучше так: «Сестра музыканта». Это будет мне скромной наградой.

Вот зачем я стала вести дневник.

«Что-то я не слышал про такую профессию — сестра кларнетиста», — сказал мне однажды папа. Он тоже, увы, не всегда меня понимает.

К несчастью, не все еще знают, какой это важный инструмент — кларнет. Именно он начинает Пятую симфонию Чайковского! Разве многим это известно? «Незаметный герой оркестра» — так говорит о кларнете Лева. Он даже рад, что кларнет «незаметный». Он и сам бы, наверное, хотел быть незаметным. Такой у него характер. Но я этого не допущу!

Летом всему нашему дому слышны звуки кларнета. Но многие не знали, из какого именно окна летят эти звуки. Я объяснила, что это играет мой брат. Даже в холод я распахиваю окна, чтобы жильцы не отвыкали от Левиного кларнета.

Всем соседям я уже рассказала, что Лева готовится к конкурсу. Пусть меня считают нескромной: я готова ради брата на любые страдания! В общем, я уже давно решила вести дневник. Но начать его я хотела не просто так, а с какого-нибудь знаменательного дня. И вот этот день настал!

Сегодня перед первым звонком меня схватил в раздевалке десятиклассник Роберт, по прозвищу «Роберт-организатор». Такая у него манера: он не останавливает, не берет за руку того, кто ему нужен, а именно хватает. За что попало: за руку, за плечо, даже за шею. Представляете? Меня он схватил за рукав.

— Организуешь своего брата? На вечер старшеклассников!

Роберт обычно лишь первую фразу произносит нормально, по-человечески, а на дальнейшие разъяснения у него уже не хватает времени. И он начинает говорить быстро, пропуская глаголы, будто диктует телеграмму.

— Новогодний вечер! Первое отделение — стихи, классическая музыка. Второе — джаз и танцы. Классической музыки у нас нет. Вся надежда на брата. На твоего.

Я сразу сообразила, что никогда в жизни не будет больше такого прекрасного случая прославиться на всю школу. Не могу

же я всем без исключения сообщить, что мой брат учится в Консерватории, а тут все сразу узнают! Однако я решила немного помучить Роберта, чтобы он не думал, что заполучить моего брата так просто.

— Видишь ли,— начала я,— мой брат готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей...

Слова «на духовых инструментах» я опустила.

— Вечер старшеклассников: только десятые! — сказал Роберт.— Ты в седьмом. Но вот два билета. Тебе и брату. Организуешь?

Что будет с моими подругами, когда они узнают, что я приглашена на вечер старшеклассников? Который может им только присниться! В самом счастливом сне!..

И все-таки я сказала:

— Надо узнать: у брата новогодняя ночь может быть уже занята. Наверно, он приглашен куда-нибудь на концерт, а потом на бал музыкантов-исполнителей...

— Наш вечер двадцать шестого,— сказал Роберт.— Организуешь?

Новогодний вечер за пять дней до Нового года! Хотя что же тут удивляться, если Роберт умудрился недавно организовать воскресник в четверг?

— Ладно,— сказала я.— Это нелегко, но я постараюсь.— И взяла два билета.

22 декабря

Я хочу еще кое-что записать о вчерашнем дне. Когда я пришла домой, Лева играл на кларнете. Он всегда играет: и утром и вечером. Представляете? Как у него хватает терпения! Просто понять не могу. Хотя отчасти все же могу... Лева занимается любимым делом, а когда занимаешься таким делом, сразу откуда-то появляются терпение и воля. Вот если бы я, к примеру, должна была готовить уроки только по литературе, я бы могла их готовить круглые сутки и отвечала всегда на пятерки. Потому что я занималась бы любимым делом! Но геометрия, физика, химия... Откуда возьмешь столько терпения? И зачем заставлять людей заниматься тем, что им никогда в жизни не пригодится, что им неприятно и даже противно?! Понять не могу. Когда кто-нибудь входит в комнату, Лева не прекращает играть: он словно бы ничего не замечает. А мы ходим на цыпочках.

Но вчера я не выдержала и сказала:

— Прости меня, Лева... Но есть важная новость. Тебя просят выступить у нас в школе на новогоднем вечере.

Лева несколько секунд помолчал. Когда его отрывают от

музыки, он как бы приходит в себя или, точнее сказать, возвращается к нам из какого-то другого мира. Так мне кажется...

— Тебя просят выступить у нас на новогоднем вечере,— повторила я, потому что первую мою фразу Лева мог не расслышать: он был в другом мире.

— Я готов,— сказал Лева.— В принципе я готов... Но слушать сольное выступление на новогоднем вечере?.. Кларнет выигрышней звучит в оркестре. Может быть, пригласить весь наш студенческий оркестр? Это будет эффектней.

Еще чего не хватало! Чтоб скрипки вылезли на первый план, а мой брат сидел где-то в углу? И чтоб кланяться выходил дирижер, а мой брат превратился в «незаметного героя оркестра»? Нет, я хочу, чтобы он был заметным!

— Ваш оркестр просто не поместится на нашей сцене,— сказала я.— И никто его вовсе не приглашал. Просили тебя. Персонально! У нас в школе обожают кларнет. Вот два билета.— Я положила билеты на стол и добавила: — Значит, пойдем?

«Уж сколько лет ты пытаешься подарить ему свой характер, а он не принимает подарка. Смирись, дитя мое, смирись!» — сказал как-то папа.

И все же Лева иногда подчиняется мне, хоть и старше на целых пять лет. Он говорит, что у меня «острый практический ум». Лева не объясняет, хорошо это или плохо. Он вообще не любит много говорить, разъяснять: он мыслит музыкальными образами. Так мыслят все настоящие музыканты.

— Я готов...— сказал Лева.— В принципе я готов. Но мой аккомпанемент?

«Мой аккомпанемент» — так Лева называет студентку Консерватории Лилю, которая всегда сопровождает его сольные выступления.

Лиля не только аккомпанирует Лева — она влюблена в него. Это всем абсолютно ясно. И поэтому она не откажется выступить у нас на вечере. Я не мешаю Лиле смотреть на Леву преданными глазами и даже иногда оставляю их вдвоем: потому что Лиля толстая, в очках и с веснушками всюду — на носу, на руках и даже на шее. Я испытываю доверие к некрасивым женщинам: они не могут отвлечь моего брата от музыки, и это так благородно с их стороны!

И мама, я заметила, тоже предпочитает некрасивых подруг. По крайней мере, когда она предупреждает папу: «Сегодня вечером ко мне в гости придет очаровательная женщина», — папа почти всегда усмехается и преспокойно уходит вечером к соседу играть в шахматы. Он не верит, что мама приведет к нам в дом очаровательную женщину.

Я готовлюсь к новогоднему вечеру. И представляю себе, как все будет... Мой брат сыграет одну вещь, только одну!

— Что ты сыграешь, Лева?

— Надо что-нибудь легкое... «Полет шмеля», например.

— Нет, не такое известное. На «Шмеле» у них далеко не улетишь. Надо их поразить!

Последние слова я произнесла совсем тихо, как бы про себя. Лева таких фраз не любит.

— Может быть, из «Франчески да Римини»?

— Это пойдет!

После «Франчески» мой брат скроется за кулисы. Ему будут бешено аплодировать. Он снова выйдет, будто лишь для того, чтоб раскланяться. Но тут я поднимусь и скажу: «Сыграй, Лева, еще. Я прошу тебя».

И назову такое произведение, какого никто из старшеклассников никогда в жизни не слышал. Лева послушается и сыграет. А потом он спустится в зал и сядет возле меня. А потом будут танцы...

— Ты будешь танцевать только со мной,— сказала я брату.

— В принципе я готов... Но ты знаешь, я плохо танцую. Старомодно...

— Тем более. Чтобы не осрамиться, танцуй только со мной. Поклянись!

— Ладно, клянусь.

Конечно, мне будет труднее, чем Наташе Ростовой на ее первом балу! Ведь она была среди взрослых, а они нормальные люди и ведут себя по-человечески. Разве их можно сравнить с нашими десятиклассниками? Эти все время ехидничают, посмеиваются. И уверены, что они гораздо взрослее взрослых. По мнению моей мамы, это как раз и говорит о том, что они еще абсолютные дети, потому что, как утверждает мама, ни один взрослый человек никогда не захочет казаться старше своего возраста. Но сами-то десятиклассники не догадываются о том, что они абсолютные дети. И никто им этого не объяснит: просто никто не решится. Поэтому они и дальше будут изображать из себя утомленных «героев нашего времени», которых ничем на свете не удивишь.

А я, может быть, удивлю. По крайней мере, они мне позавидуют!

27 декабря

Да, у Наташи Ростовой первый бал был гораздо счастливей, чем у меня. Гораздо счастливей!..

Я не знаю, как полководцы планируют свои военные операции. Пытаются ли они заранее представить себе действия противника? Может быть, и пытаются... Но от этого у них, конечно, возникает много разных трудностей и сомнений.

Когда же мой «острый практический ум» составляет какой-нибудь план, то вначале, пока я придумываю, все идет очень легко и просто, потому что участники будущих событий действуют так, как мне хочется. И в этом, я думаю, главный недостаток моих планов. Потому что потом, в жизни, участники событий начинают поступать по-другому, как им самим хочется. И тогда все летит кувырком.

Вчера так и случилось. Об этом просто стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник. А то у будущих исследователей жизни моего брата возникнут разные неясности. И они начнут разыскивать свидетелей, расспрашивать их. А эти свидетели... Нет, уж лучше пусть все узнают от меня. Так будет спокойнее и вернее!

Неприятности начались с самого начала.

Я была уверена, что увижу возле школы толпу своих подруг — шестиклассниц и семиклассниц, которые будут рваться на вечер. Тогда Лева должен был взять меня под руку, толпа расступиться, а мы — гордо пройти сквозь нее к дверям школы. Там должны были стоять два старшеклассника с красными повязками на рукавах. Оба они в один голос должны были воскликнуть: «Это вы из Консерватории? К нам на концерт? Мы вас ждем! Разденьтесь, пожалуйста, за кулисами».

Чтоб они так воскликнули, я привела Леву буквально в последнюю минуту, перед самым началом вечера.

Но никакой толпы возле школы не оказалось. Мои подружки всегда мечтали хоть немного потолкаться среди старшеклассников. Но вчера они не пришли.

Так ведь всегда бывает, всегда... Вот, например, раньше, еще до того, как я окончательно решила не выходить замуж, мне иногда хотелось, чтобы какой-нибудь мальчишка увидел меня во дворе в моем новом платье. Я гладила это платье, врала маме, что я приглашена к подруге на день рождения. А мальчик во двор не выходил! То ли заболел, то ли родители его за что-то наказывали, то ли тетя из другого города в гости приезжала, но только он, который целыми вечерами слонялся по двору, как раз в этот вечер сидел дома.

А я должна была торчать неизвестно где часа два или три: ведь не могла же я вернуться со дня рождения через десять минут! Да, к сожалению, всегда так бывает... И вчера тоже так получилось.

Но самое ужасное произошло позже, прямо на вечере. Хотя лучше уж расскажу по порядку, чтоб не сбиваться.

Десятиклассник с красной повязкой на рукаве бросился нам навстречу.

— Вы из ресторана «Звездное небо»? — спросил он Леву.

— Он из Московской консерватории, — ответила я. — Это мой брат! Он будет выступать у вас на концерте.

Я указала на черный старинный футляр, который достался Лева от дедушки. Этот футляр с кларнетом Лева прижимал к себе и словно обнимал обеими руками. Десятиклассник внимательно, с подозрением оглядел моего брата. Мне казалось, он скажет сейчас: «Откройте-ка свой футляр. Посмотрим, что у вас там внутри!» Но он просто махнул рукой.

— Проходите.

И вы вошли в вестибюль. Никто не предложил нам раздеться за кулисами, и мы долго стояли в очереди возле гардероба.

Десятиклассницы, повзрослевшие от нарядных платьев, с выходными туфлями под мышкой, говорили о том, что танцы будут до одиннадцати ночи, что наш школьный джаз подготовил какую-то новую программу и что, может быть, даже приедет артист, который поет в ресторане «Звездное небо».

Я презирала этих напудренных и надушенных девиц, которые не обращали на нас с Левой никакого внимания. Хоть бы старинный дедушкин футляр их заинтересовал! Наконец одна все-таки повернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась ей, поздоровалась.

— А ты как сюда попала? — спросила она.

Я презирала этих девиц, но робела перед ними. И за эту свою робость еще сильнее их презирала.

— Я с братом, — тихо сказала я.

О кларнете и Консерватории я почему-то не решилась упомянуть.

Десятиклассница прищурилась и окинула Леву таким взглядом, будто размышляла: стоит ли выходить за него замуж? Эти десятиклассницы часто оглядывают так незнакомых мужчин. А Лева еще крепче прижал к груди свой старинный футляр, словно десятиклассница собиралась отнять его.

Мой брат не произвел на нее впечатления — это было сразу заметно. И она отвернулась. Еще бы! Ведь он не пел в ресторане «Звездное небо».

— Я тебя уговорила в самый последний момент, — стала я шепотом объяснять Лева. — Они просто не знают, что ты будешь выступать... А потом наш Роберт-организатор хочет, наверно, чтобы ты был для них сюрпризом.

Лева усмехнулся: кажется, он не верил, что может стать сюрпризом для наших десятиклассниц.

— В принципе они совершенно правы, — сказал Лева. — На балу и должны быть танцы... Это вполне естественно.

Я не обратила внимания на Левины слова, потому что он часто говорит просто так, чтобы не обидеть молчанием, а сам думает о чем-то совсем другом, о чем-то своем... «Весь в се-

бе!» — говорит о нем мама. Может, он мыслит в эти минуты музыкальными образами? Так было, наверно, и в тот раз.

Почему он вдруг стал заступаться за танцы?

Но самое ужасное было еще впереди!

Зал у нас в школе на пятом этаже. Мы слевой медленно поднимались по лестнице. А навстречу нам, сверху, на высоких каблуках сбегали старшеклассницы — как-то бочком, бочком, как всегда сбегают по лестнице. Перед вечерами и балами в школе всегда начинается девчачья беготня сверху вниз: кого-то ждут, кого-то высматривают... Десятиклассницы чуть не сшибали нас с ног.

Лева задумался: «Углубляется в музыкальные образы!» — решила я. И была очень рада: мне хотелось, чтоб в этот вечер он играл так замечательно, как никогда!

Один раз Лева поднял на меня глаза.

— Не отвлекайся! Не отвлекайся! — сказала я.

И вдруг он спрашивает:

— Самые пожилые учителя, как правило, работают в старших классах?

Леве иногда приходят в голову весьма неожиданные мысли.

— Да, — отвечаю я. — А что?

— А старшеклассники учатся чаще всего на самом верхнем этаже?

— У нас на пятом... И что из этого?

— Странно как-то... Непродуманно получается: старые люди по десять раз в день должны подниматься наверх без лифта.

Нашел о чем думать перед ответственным выступлением! Представляете?

Да, иногда моему Леве приходят в голову самые неожиданные мысли. Вот, помню, однажды мы ехали с ним в троллейбусе. Троллейбус набит битком. Останавливается возле университета, студенты рвутся к дверям, опаздывают, как обычно. Один парень в очках спрашивает у Левы:

— Выходите или нет?

А тот поворачивается, улыбается и говорит:

— Вы здесь учитесь? Интересно, на каком факультете?

Водитель уже двери-гармошки распахнул, все лезут к выходу, а он: «На каком факультете?»

Представляете?

Лева, конечно, со странностями. Но, может быть, так и надо? Все великие люди были немножечко не в себе.

На пятом этаже нас встретил Роберт-организатор. Вниз он, конечно, не мог спуститься! Это было бы для него унижительно. Роберт даже не поздоровался, не познакомился слевой: он не

любит терять время по пустякам. И сразу заговорил в своей обычной манере, опуская глаголы:

— Инструмент с вами? Аккомпаниаторша тут, давно...

— Проверяет рояль! — вмешался какой-то старшеклассник. — Три клавиши западают. Всего три! Сколько там еще остается?! А она так вздыхает, словно нет ни одной целой. Это же школьный рояль: на нем все классы, от первого до десятого, что-нибудь одним пальцем выстукивают. Надо понимать: специфика местных условий...

— Теперь все прекрасно, — сказал Роберт. — Первое отделение в порядке. За кулисы!

Лева побрел за кулисы.

— Ты — в зал! — скомандовал Роберт.

Я пошла в зал.

Свободных мест уже почти не было. Только в предпоследнем ряду.

Я села, а на стул слева от меня должен был сесть Лева после своего триумфа на сцене. Я положила на это место платок.

— Разрешите высморкаться!

Сзади загоготали. Я обернулась и увидела старшеклассника Рудика — известного на всю школу балбеса, который паясничал даже на похоронах. Такие есть в каждой школе. И всегда они садятся в последний ряд. Рудик развалился и упер ноги в спинку моего стула. Теперь я поняла, почему мое место оказалось свободным: никто не хотел сидеть впереди Рудика. Мне в тот вечер чертовски везло!

И все-таки самое ужасное было еще впереди.

Роберт-организатор объявил со сцены, что первое отделение будет очень серьезным.

— Вот хорошо: посмеемся! — воскликнул Рудик.

Сперва какой-то участник драматического кружка стал читать Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу...

— Самостоятельной жизни! — крикнул Рудик.

Его приятели загоготали.

Потом какая-то участница хореографического кружка исполняла «Индийский танец».

— «Не счесть алмазов в каменных пещерах...» Опера «Садко», песнь Индийского гостя! — крикнул Рудик.

Все стали оборачиваться, шикать на Рудика. Это его вполне устраивало: он был в центре внимания.

Своим «острым практическим умом» я сразу сообразила, что если во время Левиного выступления Рудик будет молчать, это произведет на всех огромное впечатление. Все решат, что даже Рудика сразил Левин кларнет. Но как это сделать?

Я тут же изменила план действий. Теперь я уже не должна была показывать, что Лева — мой брат. Я должна была это скрывать! Хотя бы на время...

Я знала, что в первом отделении будет всего три номера. Когда танец подходил к концу, я обернулась к Рудiku и сказала:

— Сейчас будет выступать очень талантливый музыкант. Будущий лауреат! Из Московской консерватории...

— Чихали мы на таких, — ответил мне Рудик.

— Чихать опасно! — сказала я. — Музыкант этот страшно нервный. Недавно во время его выступления один в зале чихнул, так он прекратил играть... И потребовал, чтобы чихающий вышел из зала.

— Вот хорошо: мне как раз надо выйти... Я еле сижу!

— Он не просто потребует выйти. Он еще осрамит на весь зал! Очень нервный. Потому что талантливый. Не советую связываться.

— Будет пикировать классику? — спросил Рудик.

— Конечно!

— «Спи, моя радость, усни!..» — пожелал Рудик самому себе.

И прямо-таки разлегся, по-прежнему уперев ноги в спинку моего стула. Я поползла вместе со стулом вперед... Но промолчала: пусть делает вид, что уснул. Нашел-таки выход из положения!

А Лева уже вышел на сцену... Все ждали выкриков Рудика, хохота из последнего ряда, но было тихо. И как-то торжественно. Я впервые смотрела на брата из зала.

У него был совсем не артистический вид. Нет, пожалуй, артистическим было только лицо: совершенно отсутствующее. «Весь в себе!» — как говорит мама. Он еще не начал играть, но уже мыслил музыкальными образами.

А все остальное было совсем не для сцены. Фигура сутулая, словно о чем-то задумавшаяся. Костюм был отглаженный (я сама его гладила), а казался мятым и не Левиным, а чужим.

«Я сама буду ходить с Левой к портным! — твердо решила я. — И буду заказывать ему самые модные вещи! Он будет проклинать меня, отбиваться, будет считать, что я отрываю его от искусства. Но я буду приносить себя в жертву: пусть плохо думает обо мне, пусть считает меня тряпичницей! Когда-нибудь он поймет... Да, он поймет, что я брала на себя все самое будничное, самое неблагодарное, как всегда делали сестры великих людей».

Но пока еще с Левой к портным ходила мама, а у нее был отсталый вкус. И наши пижоны из первых рядов, наверно, смотрели на Леву с усмешкой.

Потом вышла Лиля с нотами. Аккомпаниаторши, я заметила, чаще всего бывают пожилыми и некрасивыми. Певцы и музы-

канты на их фоне выглядят особенно эффектно. Но тут как раз Лиля спасла положение. Она вела себя как на самом настоящем концерте: вышла уверенным шагом, с независимо поднятой головой, строго поклонилась. И наши пижоны захлопали. Потом она подтверже уселась на стул, разложила свои ноты. Обернулась к Лева и буквально впиалась в него глазами, как делают все аккомпаниаторы, ожидая сигнала... Это тоже было как на самом настоящем концерте. И очень подействовало на старшеклассников.

Лиля ударила по клавишам, и Лева заиграл «Рассказ Франчески». Я не слышала, как он играл: я волновалась. И смотрела на своих соседей: некоторые даже закрыли глаза — так слушают хорошую музыку. Потом захлопали... Хлопали все, но не очень долго. Может быть, Лева лучше было уйти за кулисы: тогда бы его нужно было вызывать обратно на сцену и хлопали бы сильнее. А так все сразу поняли, что он будет играть еще, и не очень старались.

Я думаю, что музыкант должен казаться со сцены загадочным и недоступным. Так и зрителям интересней. Ну разве приятно представить себе, что он такой же точно человек, как ты сам? Что можно запросто подойти и хлопнуть его по плечу...

А Лева вдруг улыбнулся так, словно был у себя дома, махнул рукой и заиграл свой любимый «Полет шмеля».

Ему снова аплодировали, но уже меньше, чем первый раз. Неожиданно на сцену, деловито глядя на свои ручные часы, выбсжал Роберт-организатор. Он что-то зашептал моему брату на ухо. Лева вновь по-домашнему улыбнулся и объявил следующий номер...

Не успел он кончить, как Роберт-организатор опять показался из-за кулис. Он по-прежнему деловито смотрел на часы и одновременно пожимал плечами. Подошел к Лева и опять зашептал ему что-то на ухо. А мой брат добродушно, безвольно закивал головой: дескать, согласен, пожалуйста... Представляете? Мне стало холодно: неужели он будет снова играть? По плану, который я составила дома, я должна была встать и попросить: «Сыграй, Лева, еще... Я прошу тебя». Сейчас мне хотелось вскочить и крикнуть: «Я прошу тебя: перестань играть!»

В будущем я, конечно, буду ходить с братом на все его концерты. Я научу его быть гордым! Пусть зрители сначала попросят, поваляются у него в ногах... А потом уж он что-нибудь сыграет на «бис».

Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадочным и недоступным!

Наконец Лева опустил кларнет и поплелся за кулисы. Но Роберт остановил его.

— С добрым утром! — сзади воскликнул Рудик. И сделал

вид, что проснулся. Но я уже не обращала на него внимания.
— Поприветствуем наших гостей! — крикнул он. — Поздравим их с Новым годом!

«Поприветствуем...» Странное слово!

До Нового года было еще целых пять дней, но все завопили со своих мест: «Поздравляем!»

Тут и Лиля впервые поднялась со своего стула. Неторопливо собрала ноты, сдержанно поклонилась и указала рукой на Леву: дескать, главная заслуга принадлежит ему! Она вела себя как на настоящем концерте.

А Лева вновь по-домашнему улыбнулся, будто в зале сидели его родственники. Представляете? Это было ужасно!

Но самое ужасное все же было еще впереди. Совсем близко, буквально рядом...

Об этом я напишу завтра. Потому что мама уже два раза говорила, что мне пора спать. Она понять не может, что я пишу. Заглядывать ей неудобно. Другие родители не стесняются: заглядывают к своим детям в тетрадки и даже вырывают из рук. Но моя мама себе этого не позволяет: она очень интеллигентна. Лева похож на нее.

Сначала мама думала, что я пишу домашнее сочинение. И была даже рада. Но я сказала, что это не сочинение, а что именно, не сказала.

— Если бы ты с таким увлечением делала уроки! — воскликнула мама. — Совсем не думаешь о своем будущем.

Но я как раз думаю о будущем! Поэтому я и веду дневник.

28 декабря

Перед вторым отделением вечера из зала вытащили все стулья. Свалили их в коридоре. И сразу коридор стал узким, а зал раза в два больше, чем был. На сцене поставили искусственные елочки с игрушками.

— Ах, какая прелесть! — визжали девчонки. — Как необычно! Оригинально! Синтетика!..

Десятиклассницы почему-то любят синтетику. Я все же не верю, что искусственные елки нравились им больше, чем настоящие — те, которые пахнут лесом и снегом, им просто хотелось визжать и выражать восторги. Они были в приподнятом настроении.

Девчонки меня вообще раздражали. Все они выглядели роскошно! В раздевалке это было не так заметно, потому что они еще были не при полном параде, а некоторые в пальто. Ну а иметь модное пальто гораздо труднее, чем модное платье, поэтому женщины выглядят зимой не так нарядно, как летом.

Я на это давно обратила внимание. Когда девчонки сидели в первом отделении на концерте, платья были не так видны. А теперь уже все сияли своими глубокими вырезами.

Я очень сильно от всех отличалась. У меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды сшить себе платье с вырезом, но портниха сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще нечего обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какие-нибудь металлоконструкции...» Неплохо, а? Я давно обратила внимание: частные портнихи очень развязны. Потому что все перед ними заискивают и смотрят им в рот, как каким-нибудь мудрецам.

В общем, девчонки выглядели очень роскошно. И я сильно проигрывала на их фоне... Но зато рядом со мной стоял мой брат Лева, будущий великий мастер кларнета! Я взяла его под руку. И девчонки поглядывали на меня с завистью. Немногим из них приходилось прогуливаться под руку со студентом Консерватории!

— Что он тебе шептал на ухо? — спросила я Леву.

— Должен был приехать певец...

— Из ресторана?

— Кажется, да. И он просил меня поиграть...

— Он бы еще пригласил для этого какого-нибудь народного артиста... Тянуть время, пока не приедет певец из «Звездного неба»!

— В принципе мне было нетрудно их выручить.

Это любимое Левино занятие — кого-нибудь выручать. Некоторые его приятели уже успели жениться. Представляете? Поторопились! К Леве они приходят перед экзаменами и когда ссорятся с женами. И он всех выручает. Боюсь, как бы на это не ушли все его силы. А певец из ресторана так, значит, и не появился. Роберт со сцены объявил, пропуская глаголы:

— Небольшая накладка: певец из ресторана «Звездное небо» — увы! Но звезда — здесь, с нами! Наша любимица Алина в сопровождении школьного джаз-оркестра! Эстрадные песни!

Мальчишки завопили: «Ура!» Старшеклассницы чуть-чуть похлопали. Совсем чуть-чуть: они не любят Алину, они завидуют ей.

Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем, кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчики будут восторгаться Алиной, а соперничать с ней бесполезно.

Так иногда женщины выходят грустные из кино после картины, где главную роль играет красавица. Я обратила внимание:

они даже некоторое время не смотрят на своих спутников. Наверно, боятся, что те будут сравнивать. Нет, я никогда не выйду замуж. Это уже решено.

Алина на наших вечерах всегда поет джазовые песенки на разных языках. Когда она вышла на сцену, я хлопала ей изо всех сил за то, что она посадила на место всех наших девчонок.

Девчонки явно грустили и со злостью поглядывали на Алину. А некоторые храбрились и неестественно хохотали. Я заметила, что женщины часто смеются тогда, когда им хочется плакать.

Вообще-то я тоже не люблю красивых девчонок. Они все время помнят о том, что они красивые, и с ними поэтому очень трудно иметь дело. Но вчера я была благодарна Алине еще и за то, что не приехал певец из ресторана «Звездное небо», которого все ждали больше, чем Леву. Хотя Алина не имела к этому ровным счетом никакого отношения. Но она выступала вместо певца, и я ей за это хлопала. Вернее сказать, и за это тоже. А еще я хотела, чтобы Леве понравился школьный вечер, на который я его притащила. И поэтому я шептала ему на ухо:

— Алина прекрасно знает... разные языки!

Алина — яркая блондинка, с прямыми волосами, которые спадают на лицо, закрывая один глаз.

— У нее волосы абсолютно свои, — шепнула я Леве.

— В каком смысле?

Лева не понимает элементарных вещей, потому что он «не от мира сего», как говорит мама.

— В том смысле, что она их не красит, — объяснила я. — Это ее естественный цвет...

Алина пела вполголоса, и все в зале, особенно мальчишки, просто боялись дышать. А Алина дышала вовсю. Так, по крайней мере, казалось, потому что она дышала в микрофон.

Я немного шепелявлю и с детства как-то враждебно отношусь к шипящим буквам. Я уверена, что это самые неблагозвучные буквы во всем алфавите. Недаром ведь в художественных произведениях положительные герои никогда не «шипят», а «шипят» отрицательные.

Но когда Алина томно поет свои песенки, мне начинает казаться, что шипящие не так уж плохи. Слова, которые она шепотом произносит в микрофон, кажется, состоят от начала до конца почти из одних шипящих, а получается довольно-таки красиво и задумчиво.

Мальчишки аплодировали как безумные и даже свистели, что является у них крайним выражением радости и восторга. Леве после его «Франчески» никто не свистел. Это было обидно. Но я заметила, что, аплодируя Алине, многие тайком поглядывали на Леву. Еще бы! Всем интересно было, как оценит

ее пение студент Консерватории. Профессионал! Ну и типы же эти старшеклассники: ни за что в открытую не признают, что студент Консерватории для них авторитет. Для них вообще не существует авторитетов! А исподтишка будут подглядывать, как он реагирует. Ну и типы!..

Лева заметил это и, засунув свой черный футляр под мышку, стал хлопать так, будто был на концерте Обуховой! Я решила, что он хочет доставить мне удовольствие: ведь я так нахваливала Алину!

Когда Алина кончила петь, она решила прямо со сцены прыгнуть в зрительный зал. Это было, конечно, очень эффектно. Мальчишки, забыв про своих девиц, бросились ей помогать. И тут произошло что-то совершенно неожиданное: наш Лева, всегда такой медлительный и неповоротливый, тоже подскочил к сцене и протянул Алине левую руку. Правой он держал старинный дедушкин футляр.

Мне было обидно, что Левина рука как-то затерялась в толпе других рук и ничем от них не отличалась. И сам Лева как-то затерялся среди старшеклассников. Но Алина со сцены разглядела Левину руку и, представьте себе, оперлась именно на нее. Да, на нее! Наш Лева весь покрылся красными пятнами, будто кто-то надавал ему по физиономии. Вообще-то он часто краснел. Но всегда для этого были какие-то основания. А тут он покраснел без всяких оснований.

Когда Алина прыгнула в зал, Лева поблагодарил ее. За что, спрашивается? За что? Это она должна была сказать «спасибо»: ведь он протянул ей руку, а не она ему. Происходило что-то странное.

Наш школьный эстрадный оркестр заиграл танго. «Сейчас во время танца скажу Лева, что вовсе не считаю Алину своей подругой,— решила я,— и не требую, чтобы он ради меня так перед ней вертелся!» В эту минуту брат наклонился ко мне. «Ага, не забыл своего обещания! — подумала я. И вытерла ладони о холодную стену, покрашенную масляной краской: они у меня немного вспотели.— Сейчас я впервые буду танцевать на вечере старшеклассников!..»

— Подержи, пожалуйста,— второпях проговорил Лева. И старинный дедушкин футляр оказался у меня под мышкой.

А Лева опять уже был возле сцены и протягивал руку Алине: он приглашал ее танцевать. Я снова вытерла ладони о холодную стену.

О, как я ненавидела Алину в тот момент! Я ненавидела даже ее имя — такое редкое, необычное. Меня-то ведь все звали просто Женькой. «Имя среднего рода,— шутил отец,— не поймешь: женское или мужское». Ничего себе представление о справедливости: сам же всучил мне это имя в честь какой-то

своей любимой тетушки и сам же острит! Я не видела эту тетушку ни разу в жизни: она умерла за десять лет до моего рождения. И было непонятно: почему родители решили преподнести ей подарок за мой счет?

Все наши девицы с их глубокими вырезами сразу стали казаться мне милыми и симпатичными по сравнению с Алиной. Она заставила Леву бросить сестру, которая решила посвятить ему всю свою жизнь! Но даже не в этом дело. Она заставила моего брата вести себя так, будто он ничем не отличался от десятиклассников, которые все были в нее влюблены. И за это я тоже ее ненавидела!

Алина все время, не отрываясь, смотрела на Леву в упор и как-то слишком многозначительно. Притворство! Сплошное притворство! Лева не мог нравиться ей, как ему не могли нравиться всерьез ее эстрадные песенки. Сутулый, нескладный, в костюме, который всегда кажется чужим и мятым. Лева абсолютно не в ее вкусе. Все дело в том, что он студент Консерватории, что у него блестящее будущее! Вот она и смотрела в упор, будто старалась его заморозить. Но, к счастью, Лева не замечал этого взгляда: он опустил голову и изучал свои ноги. Он всегда смотрит на свои ноги, когда танцует.

Никто не обращал на меня никакого внимания. Я стояла одна и прижималась спиной к холодной стене, чтобы не мешать танцующим. Меня толкали и даже не извинялись. А некоторые спрашивали, как та десятиклассница в раздевалке: «Женька, как ты сюда попала?», «А ты как здесь очутилась, Женька?» И некому было меня защитить: мой брат танцевал с Алиной!

Тут я вспомнила про Лилю. Лева даже не поинтересовался, где находится его «аккомпанемент». Ничего себе рыцарь!

Я вспомнила, как Лиля однажды сказала: «Профессиональный музыкант не должен появляться среди зрителей в день своего выступления».

«Умница! Конечно, не должен! — думала я. — Тогда он будет загадочным и недоступным. А иначе он станет для всех обыкновенным человеком, абсолютно равным и неинтересным. Как мой брат, которому десятиклассники преспокойно наступают на ноги... Будто он и правда ничем от них не отличается, словно это не он будет участвовать в конкурсе музыкантов-исполнителей!»

После танго Лева подошел ко мне такой красный, будто ему еще раз надавали пощечин. Он был очень взволнован. Я его таким никогда не видела. И не хочу больше видеть!

— Ты же поклялся танцевать только со мной, — сказала я.

— В принципе ты права, — ответил он мне, еле переводя дух. — Но я умею танцевать только танго... Ты же знаешь. В другом танце я выглядел бы очень смешно...

— А вообще не танцевать с ней ты не можешь? Эта мысль тебе не приходит в голову?

Когда люди, которые «не от мира сего», совершают ошибки, с ними надо говорить резко и прямо. Во имя их же спасения!

Но я не успела спасти своего бедного брата. Оркестр заиграл твист. И Алина, отбиваясь от мальчишек, которые приглашали ее, сама подошла к Леве. Представляете? Сама подошла! Вот так красавица... Вот так гордячка! Совсем потеряла совесть. И Лева пошел танцевать твист, который он танцевать не умел.

Алина его учила. Теперь они оба смотрели на ноги. Она учила Леву всего-навсего танцевать, но вид у нее был такой покровительственный, будто она объясняла ему, как надо жить на белом свете.

А я снова прижималась к холодной стене. Меня снова толкали и спрашивали, как я пробралась на этот вечер.

Нормальные люди выставляют напоказ то, что им выгодно выставлять. А то, что невыгодно, прячут подальше. Мой брат плохо танцует, а Алина заставляла его выделывать самые трудные па. Зачем? Может быть, она хотела выставить его на посмеище перед своими приятелями? Они ведь тех, кто плохо танцует, вообще людьми не считают.

По крайней мере, десятиклассники уже поглядывали на моего брата свысока и даже с насмешкой: в танцах они были сильнее его. Алина дала им возможность почувствовать превосходство над моим братом, и за это тоже я ее ненавидела. Я мечтала, чтобы наш школьный эстрадный оркестр, который я всегда любила слушать, поскорее умолк. Но он не умолкал до тех пор, пока снизу не пришла гардеробщица и не сказала Роберту-организатору:

— Я ваши вещи до утра караулить не собираюсь...

Тогда вечер закончился.

Ко мне подошел Лева и протянул руку за старинным дедушкиным футляром. Я спрятала футляр за спину и сказала:

— Думаю, он тебе уже не пригодится.

— В каком смысле?

— В том смысле, что ты, кажется, собрался поступать в хореографическое училище? Но лучше поступи в цирковое: там учат на клоунов. Ты сегодня неплохо выступал в этом жанре.

Может быть, я говорила с Левой слишком прямо и резко. Но я имею на это право. Ведь я решила посвятить ему всю свою жизнь. И я должна спасти его от Алины! Чему она может научить моего брата? Петь эстрадные песенки? Что между ними общего? Да и вообще Лева сейчас не имеет права влюбляться! Он должен готовиться к конкурсу. И заниматься с утра до вечера. А не влюбляться! Я должна спасти его, уберечь. И я это сделаю!

Но спасти Леву будет не так легко. Ведь он «весь в себе». А когда люди, которые «все в себе», вобьют себе что-нибудь в голову, им невозможно ничего объяснить.

— Алина одна. А сейчас уже поздно, — сказал Лева. — Мы проводим ее до дома.

— Единственное, что ей не угрожает, — это одиночество! — воскликнула я. — Вот увидишь: все наши кавалеры за ней поплетутся...

Зачем я произнесла эту дурацкую фразу? На мужчин, я заметила, ничто так сильно не действует, как успех женщины сразу у многих. Это и на мальчишек тоже распространяется. Поэтому-то, я заметила, почти в каждом классе обязательно есть какая-нибудь общепризнанная красавица. И чаще всего она ничуть не лучше других. Просто однажды в нее случайно влюбились двое мальчишек сразу. А остальные подумали: раз за ней бегает сразу двое, значит, она того заслуживает. И пошла цепная реакция!

Когда я произнесла роковые слова о том, что Алине не грозит одиночество, Лева как-то беспомощно улыбнулся (дескать, что тут поделаешь!) и сказал:

— Да, я понимаю... Она пользуется успехом.

— Дешевым успехом! — воскликнула я.

Но исправить ошибку уже было нельзя. И мы пошли провожать Алину. А дом ее находится в совершенно противоположной стороне от нашего дома.

Я почти всю дорогу молчала. По правде сказать, я в присутствии Алины почему-то робела. И даже помимо воли иногда ей поддакивала. И Лева поддакивал всякой ее ерунде. Я поглядывала на него с изумлением. И испугом: мне казалось, что он поглупел и вообще стал каким-то совсем другим человеком. Впрочем, я вспомнила, что многие великие люди любили ничтожеств и в их присутствии изрядно глупели. Неужели и моего брата ждет такая судьба? Алина же просто не умолкала. Но говорила она в свой меховой воротник.

— Берегу горло, — объяснила она.

Вы слышали? Значит, она воображает себя певицей! Ее горло представляет, видите ли, такую огромную ценность, что его надо беречь! В общем, мне пока что так и не посчастливилось услышать ее настоящий голос: пела она в микрофон, а говорила в меховой воротник.

— В принципе вам всегда следует держать горло в тепле, — изрек мой брат Лева.

Эта фраза Алине очень понравилась, и она в благодарность призналась Лева, что кларнет — ее самый любимый музыкальный инструмент. Представляете? Она, оказывается, может слушать кларнет с утра и до вечера.

И еще может сутками слушать саксофон.

Хорошо, что она не сравнила кларнет с барабаном. Или с какими-нибудь другими ударными инструментами. Я думала, Лева содрогнется оттого, что его любимый кларнет поставили в один ряд с саксофоном. Но Лева не содрогнулся. А наоборот, согласился с Алиной:

— Да, саксофон обладает оригинальными средствами музыкального выражения...

Но самое непонятное было то, что и я зачем-то сказала, что люблю саксофон. У этих красивых девчонок удивительная власть над людьми!

— Сразу после Нового года,— сказал Лева,— у нас будет концерт студентов второго курса. В Малом зале Консерватории...

Меня раздражает Левина манера все уточнять. Ну какая разница, в Малом или Большом зале будет концерт! Можно было просто сказать: «В зале Консерватории». И обязательно надо уточнить, что он учится на втором курсе, а то, не дай бог, подумают, что на пятом! И свой будущий конкурс он всегда величает полным именем: Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Хотя можно сказать просто и гораздо короче: конкурс музыкантов-исполнителей. Пусть думают, что вообще всех музыкантов, и не всероссийский, а всесоюзный или даже международный! Нет, Лева должен сказать все точно, как есть. Станный характер!

— Для меня будет большим подарком, если вы придете на этот концерт,— сказал Лева.

Можно было подумать, что он приглашает Антонину Васильевну Нежданову: «Большим подарком!»

— Дайте мне свой телефон: я позвоню накануне,— сказала Алина.

Как всякая красавица, она, конечно, очень занята!

— Нет, вы можете не дозвониться. Лучше договоримся прямо сейчас,— настаивал Лева.— Правда, Женя, так лучше?

— Конечно,— сказала я.

Мне хотелось обругать брата за его приглашение, а я сказала: «Конечно». Мой язык просто сошел с ума! Я была под сильным гипнозом.

Наконец Алина согласилась прийти. Еще бы: ведь она так любит кларнет!

— Мы будем ждать вас у входа,— сказал Лева.

Сомнений не оставалось: он был влюблен!

— А вы мне преподнесите ответный подарок! — уже прощаясь, кокетливо сказала Алина.

Лева сделал такое лицо, словно готов был отдать ей все, что она пожелает.

— Согласитесь солировать в нашем эстрадном оркестре! Это будет так оригинально: музыкант-профессионал выступает со школьным джазом!..

Я поперхнулась холодным воздухом. А Лева, преспокойно ответил:

— В принципе это возможно...

— Заметано! — сказала она. И скрылась в дверях.

Я тут же освободилась от ее гипноза.

— Ты еще будешь играть в фойе! Как наш бедный дедушка! — крикнула я Лева. — Помяни мое слово: этим все кончится!..

29 декабря

Вся моя жизнь под смертельной угрозой. Вся моя жизнь! Если Лева станет играть в школьном джазе, ему это может понравиться: ведь у него такая опасная наследственность по линии дедушки. И потом, он в самом деле может захотеть выступать в фойе, перед началом сеансов. А люди будут жевать бутерброды. Тогда я уже не смогу посвятить ему всю свою жизнь. Музыканты, которые играют в фойе, не имеют права быть «не от мира сего», и им как-то не принято посвящать свою жизнь. На это имеют право только великие музыканты!

А если Лева не станет великим или, по крайней мере, известным? Что я тогда буду делать? Тогда все мои планы летят кувырком. Я, как мои одноклассницы, должна буду придумывать себе будущую профессию, и зубрить, и гоняться за отметками. Я должна буду стать такой же, как все...

Но я думаю, конечно, не о себе. Дело в Лева! Ради него я пойду на все! Настоящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. И не требуют благодарности. Я тоже вмешуюсь! Лева забудет Алину, и хорошо подготовится к конкурсу, и завоюет там первое место... И тогда я смогу посвятить ему всю себя, без остатка!

— Неужели ты не видишь, что она вся неискренняя и фальшивая? Вся насквозь! — сказала я Лева. — Кларнет — ее любимейший инструмент! Да есть ли на свете хоть один нормальный человек, для которого кларнет был бы самым любимым инструментом? Есть ли такой человек? Нету такого!

— Это твоя личная точка зрения, — сказал Лева.

— Это факт, а не точка зрения! Я надеялась, что ты станешь первым в мире великим кларнетистом! Но напрасно... И неужели ты думаешь, что она в самом деле знает... разные языки? Просто выучивает слова и бессмысленно их повторяет. Сейчас любой певец, даже откуда-нибудь из Гваделупы, поет «Подмосковные

вечера» по-русски. И что же, по-твоему, он знает русский язык?.. Так и она. И волосы у нее крашенные...

— А может быть, у нее вообще парик? — с улыбкой перебил меня Лева. Он готов был ее защищать. Это было ужасно.— Раньше ты говорила другое: и про волосы и про песни. Нельзя же так быстро менять свое мнение. И поддакивала ей, когда мы ее провожали.

— Я иронически поддакивала. Как бы в насмешку...

— Прости, я не почувствовал этой иронии. К тому же она бы была неуместной.

— Ты ее любишь?! — воскликнула я.

Он ничего не ответил. Но я понимаю: разговаривать с ним бесполезно. Я должна действовать! И я буду...

30 декабря

Сегодня последний день второй четверти. Мы, конечно, написали на доске мелом: «Последний день — учиться лень!» Учителя читают и делают вид, что сердятся.

Завтра каникулы... Я обожаю каникулы! Учителя отдохнут от нас, а мы отдохнем от них. И у всех поэтому хорошее настроение.

На переменках старшеклассницы носятся по коридору, шушукуются, договариваются, кто с кем будет встречать Новый год. Я давно заметила, что о самых простых вещах они почему-то любят говорить шепотом и с таинственным видом. Так им интереснее!

И учителя, конечно, тоже будут встречать Новый год. На уроке литературы я старалась представить себе, как они это будут делать. Я вообще часто стараюсь представить себе жизнь наших учителей. Особенно учительниц. Какие у них мужья? И как у них дома? Неужели даже химичка, которая нй разу за два года не улыбнулась и называет нас всех на «вы», дома тоже целует мужа? И он целует ее?.. Интересно, как это все происходит? Но это же происходит, потому что у нее на руке кольцо. Толстое, старомодное, но все-таки обручальное!

У всех хорошее настроение. Даже химичка пожелала нам полезного отдыха. Не счастливого, а полезного!

Но у меня на душе тяжело. Что-то висит. Это висит Алина! Я ведь нарочно развлекаю себя разными посторонними мыслями, чтобы забыться.

Но забыться я не могу: Лева будет играть с нашим школьным джазом! Солировать! А потом докатится до фойе. Если я его не спасу!

Пишу на уроке... Я заметила: последние дни и часы в

пионерлагере, или в поезде, или в школе всегда тянутся страшно медленно. Просто сил нет.

Но вот наконец звонок! Не забыл нас, родименький! Иду на перемену...

Начался последний урок. Математичка терпеть не может, когда отвлекаются. Если заметит, тут же вызывает к доске. Но я должна немедленно записать все в свой дневник!.. Я должна рассказать о том, что произошло буквально минуту тому назад, на перемене. Я сделала смелый, решительный шаг! Ради Левы, ради его музыкального будущего! Оценит ли он это когда-нибудь?

На последней перемене старшеклассницы продолжали носиться по коридору, шушукаться и обниматься: они любят обниматься друг с другом.

Алина ни к кому не подбегала: все подбегали к ней, потому что она у нас прима, она вне конкурса.

Но ко мне Алина направилась сама, и я даже не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей навстречу. Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой золотистой прядью волос.

Она притянула меня к себе, чуть-чуть нагнулась и прижалась ко мне щекой. Представляете? Наши семиклассницы просто попадали от зависти. Мысленно, конечно, попадали. А я даже не шелохнулась.

— Какие у нас показатели? Дед Мороз будет доволен? — спросила Алина.

Я решила на этот раз ни за что не поддаваться ее гипнозу. Ни за что! Показатели, то есть отметки за вторую четверть, у меня очень неважные.

— Какое это имеет значение? — ответила я.

Она снова прижалась ко мне щекой. И наши девчонки снова попадали. Но я была холодна и спокойна.

Я знаю, что невесты обычно хотят подружиться с родителями своих женихов, заполучить их себе в союзники. Алина до мамы с папой еще не добралась, она начала с меня. Это мне было понятно. И я к ней прижиматься не стала.

— Поздравляю тебя с Новым годом, — сказала Алина. — И всех наших общих знакомых!

На общих знакомых она сделала такое ударение, что мне стало просто не по себе. Никаких общих знакомых у нас не было: она говорила о Леве.

— Увидимся в новом году, — продолжала она. — Место встречи и время все те же?

Тут я и сделала свой решительный шаг.

— Вы знаете, Лева очень просил извиниться... — сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой. — Наша встреча не состоится.

— Не состоится? — Словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в тот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления. И мне ее стало даже немножко жаль. Но я подавила в себе эту слабость. Если Лева действительно нравится ей, то тем хуже: не хватало еще, чтоб у них началась любовь накануне конкурса музыкантов-исполнителей!

— У него есть невеста, — сказала я. — И ей было бы неприятно... Вы понимаете?

— Он обручен? — спросила она уже с насмешкой. Но эта насмешка была какая-то беспокойная, истеричная.

— Ну да... Можно сказать, обручен. Очень давно, прямо с детского возраста. Со своей аккомпаниаторшей.

— С этой...

— Ну да, — перебила я, — она некрасива. Но у них общие идеалы! Их сблизила музыка. Они любят друг друга...

Это была ложь во имя спасения брата. Оценит ли он это когда-нибудь?

3 января

Вчера был концерт студентов Консерватории... Он начался в семь тридцать вечера, но мы с Левой пришли на час раньше и мерзли на улице. Лева, видите ли, боялся, что Алина может перепутать и тоже прийти на час раньше, потому что некоторые концерты начинаются в шесть тридцать. Представляете?

Мы бы, наверно, совсем окоченели, если бы Лева не казалось, что каждая со вкусом одетая девчонка, которая появлялась вдали, это Алина. Мы бежали навстречу, девчонки испуганно останавливались или шарахались в сторону. А мы извинялись и возвращались на свой пост к подъезду. Так мы хоть немного согрелись.

— Интересно, как ты будешь держать кларнет замерзшими пальцами? — сказала я. — Хорошо еще, что ты играешь не на рояле. И не на скрипке. Иди!.. Я сама ее встречу.

Куда там! Лева и слышать об этом не хотел. Мама всегда говорит, что он очень цельный человек. Вообще-то это неплохо. И даже хорошо. Но когда цельный человек влюбляется, с ним ничего невозможно поделать. Ему ничего нельзя объяснить.

Великие люди имеют право на странности, и эти странности им надо прощать. Потому что великий человек, с одной стороны, «весь в себе», а с другой — немножечко не в себе. Это я

понимаю. Но ведь Лева вчера был не в себе не как выдающийся человек, а так же, как все наши мальчишки-десятиклассники, которые тоже влюблены в Алину. Вот почему я не хотела прощать! У необычных людей должны быть необычные странности. Когда у Левы появятся такие странности, я их сразу буду прощать! Не задумываясь... Честное слово! А вчера я не прощала...

Лиля считает, что настоящий артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления. А Лева прямо-таки бежал навстречу зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдали появилась Алина. Среди зрителей было много Левиных знакомых, и все они спрашивали:

— Кого ты тут ждешь?

И Лева начинал подробно объяснять, что ждет одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Знакомые ухмылялись и глупо подмигивали. Но Лева и в следующий раз отвечал подробно и точно. Он всегда говорит чистую правду, одну только правду. Как будто нельзя было сказать, что мы ждем тетю, дядю или каких-нибудь других родственников. Или, например, маму с папой.

Если Леве звонят по телефону, он всегда подходит, как бы ужасно ни был занят. Я ему говорю иногда: «Можно сказать, что тебя нет дома?» — «Но я ведь дома», — отвечает он. И подходит, хоть ему очень не хочется. Представляете?

Человек не может всю жизнь говорить одну только правду. Мало ли какие бывают случаи! Я уже твердо решила, что во всех этих случаях я буду врать за брата. Раз он сам не умеет! Что тут поделаешь? Пусть это будет еще одной жертвой!

— С ней что-то случилось, — сказал мне Лева. — С ней что-то случилось... А? Как ты думаешь?

— Ничего не случилось! — ответила я. — Она терпеть не может классическую музыку. И кларнет! Ведь я говорила тебе. Предупреждала! Я была уверена, что она не придет...

В этот момент появились мама и папа. Они были торжественные, нарядные и так гордо поглядывали по сторонам, будто все вокруг должны были знать, что их Лева выступает сегодня в Малом зале Консерватории. А этот Лева, которым они гордились, прыгал на одном месте, как воробей.

Папа, когда волнуется, всегда начинает шутить. Но волнение мешает ему быть остроумным.

— Боюсь, твой кларнет будет сегодня чихать и кашлять, — сказал он.

— В чем дело? — воскликнула мама.

Что бы стоило Леве сказать, что мы ждали на улице своих любимых родителей! Что мы продрогли, но ждали... Как бы им это было приятно! Но, к несчастью, Лева всегда говорит одну

только правду. И он снова стал объяснять, что мы ждем одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Мама ничего не поняла. Но она была в ужасе от того, что Лева еще на улице. Ему пришлось отправиться за кулисы. А я обещала подождать Алину.

— Она не придет! — сказала я Леве. — Ей противны классическая музыка, и твой кларнет, и Малый зал Консерватории... И даже Большой тоже противен! Но я подожду. Раз ты просишь, я подожду!

Я постояла на улице еще минут пять или десять. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: «У вас есть лишний билетик?» Мне очень хотелось, чтобы на концерт, в котором участвует Лева, стремилась попасть вся Москва. Но никто за билетами не охотился, и мне оставалось только мечтать.

Я мечтала о том дне, когда Лева будет выступать не в общем концерте, а один, в сопровождении большого оркестра. Мы подьем с Левой к служебному подъезду, там будут его поклонники (не какие-нибудь девицы, которые охотятся за тенорами, а серьезные пожилые люди — ценители музыки!), и я услышу за спиной шепот: «Это его сестра! Она посвятила ему всю свою жизнь. Он без нее как без кларнета!» Представляете?! Но вчера «лишних билетов» никто не искал. Хотя когда я вошла в зал, он уже был абсолютно полон. Ни одного свободного места! Нет, одно свободное было... Рядом со мной, где должна была сидеть Алина.

Мама, конечно, стала тут же упрекать меня за то, что я заставила Леву ждать на улице какую-то свою подругу. Я заставила... С ума можно сойти!

И еще она возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое место». Так она и сказала: «зияет»!

Я, конечно, ничего ей объяснять не стала. Ей вчера вообще ничего нельзя было объяснить. Она была очень напряжена. И все делала неестественно: неестественно долго и внимательно читала программу, в которой было указано, что Лева выступает предпоследним в первом отделении, неестественно улыбалась родителям других участников концерта, которые все сидели в нашем ряду. Весь ряд состоял из одних только родственников. И это было как-то противно. Не могли уж рассадить нас по разным углам!

Мама все время, словно какой-нибудь гид в музее, сообщала мне: «Вон там сидит лауреат! А там сидит трижды лауреат! А там профессор Консерватории...» Мамочка очень волновалась. И мне хотелось успокоить ее. Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не слышала и не воспринимала.

И вдруг она схватила меня за руку:

— Что это? Что это значит?!

Я увидела, что из-за кулис выглядывает наш Лева. Он искал нас глазами. Потом нашел, увидел рядом со мной пустое место... Помрачнел, то есть буквально изменился в лице. И скрылся. Мама взглянула на меня. Но что я могла ей объяснить?

Наконец начался концерт. На сцену вышел мужчина с утомленным лицом.

— Он всегда ведет симфонические концерты, — шепнула мне мама. — Ты видела, наверно, по телевизору?

Вид у мужчины был такой, будто он являлся главным участником концерта. И фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, что я не сразу их узнавала.

Скрипки, рояли и виолончели казались мне в тот вечер просто невыносимыми. Я впервые заметила, что великие композиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения. Их вполне можно было бы сократить! Когда раздавались аплодисменты, я злилась и думала: «Не хватает, чтобы упростили играть еще!» И стоило только мне так подумать, как обязательно играли еще.

Мне казалось, что никогда не дойдет очередь до нашего Левы. Но она наконец дошла. Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это была чужая фамилия. Вышел Лева, а через несколько секунд после него появилась Лиля. Она держалась как настоящая аккомпаниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под собой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды.

А наш Лева выглядел, как и на школьной сцене, слишком домашним. В нем не было никакой недоступности и загадочности. И костюм его опять казался не новым, а мятым, хотя я вчера полдня чистила и отглаживала его.

Я не слышала, как он играл, потому что все время тайком разглядывала зрителей. Но трудно было что-нибудь угадать: смотрели внимательно на Леву — и все... А некоторые закрывали глаза. Потом раздались аплодисменты. Хлопали не очень сильно, как всегда бывает после первого номера. Все и так знали, что Лева продолжит свое выступление. Но когда аплодисменты затихли, я услышала сзади старческий мужской голос:

— Он сегодня не в форме...

И другой голос, тоже глуховатый подтвердил:

— Да, как говорят шахматисты, играет не лучшим образом.

Мама еще до концерта успела мне сообщить, что сзади сидели Левины профессора. Я боялась взглянуть на маму. Но увидела, как она схватилась за ручки кресла.

Мне хотелось обернуться к Левиным профессорам и сказать: «Поверьте, это я во всем виновата. Я!...»

Ночью я слышала, как Лева ворочался и даже что-то шептал. Вроде бы рассуждал сам с собой. Потом встал и пошел на кухню. Когда он вернулся, я спросила:

— Что? Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет... Просто хочется пить. Жажда какая-то... А почему она не пришла? Как ты думаешь, Женька?

Тут я не выдержала.

— Все это по моей вине, Лева...— сказала я.

— По твоей?..

Мне показалось, что в его голосе возникла радость. Или, вернее, надежда.

— По моей... По моей! — подтвердила я. И все рассказала.

В комнате было темно. Я не видела Левиного лица — и так было легче рассказывать.

— В принципе ты поступила подло,— сказал Лева.

Когда резкие слова произносятся громко, это значит, что их говорят сгоряча. И может быть, вовсе не думают то, что говорят. А Лева сказал совсем тихо, спокойно... Значит, он был уверен, что я совершила подлость. Он был уверен... Мне стало холодно под одеялом.

— Но ведь я хочу посвятить тебе всю свою жизнь,— прошептала я.— Я готова пожертвовать...

— Это манера деспотов,— перебил меня Лева.

— Какая манера? — не поняла я.— При чем же тут деспоты?

— Они превращают в свои жертвы тех, ради которых хотят всем на свете пожертвовать.

— Значит, я не имела права вмешаться?!

— А может быть разве такое п р а в о? — спросил Лева как бы себя самого.— Хоть у кого-нибудь... Может быть разве такое право?

Лева снова лег и поплотней укрылся одеялом. Я села к нему на постель.

— Все-таки хорошо, что она не пришла из-за меня... А не сама по себе. Все-таки хорошо?..

Лева пожал плечами. Это было под одеялом, но я почувствовала, что он ими пожал... Потом он вдруг улыбнулся. Было темно, но я увидела, что он улыбнулся. И пошла к себе...

Я больше не буду вести дневник. А то, пожалуй, в книге о брате могут не поместить мой портрет с подписью «Сестра музыканта».



«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ»

Порою, чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути. Огни прошлого исчезают где-то за поворотом... Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства.

А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило оглянуться назад, я его, кажется, разглядел. И если когда-нибудь Надя вернется...

Мысленно я все время готовлюсь к тому разговору. Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей бессонницей,

неотступностью. Ночами я веду диалог, в котором участвуем мы оба: Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков: это наша с ней жизнь.

Если прошлое вспоминается «в общем и целом», оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали воссоздают картину. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они с годами обретают значительность.

Так сейчас происходит со мной.

Но почему все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя?

Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное?

Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы говорили друг другу «здрасьте!», не называя имен, потому что не знали их.

Когда же меня вместе с чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали: «Итак уж не протолкнешься!»

— Одним человеком меньше, одним больше... — стал убеждать представитель дирекции.

— Это смотря какой человек! — сказала Надюша.

Потом, возникая из-за своей чертежной доски, словно из-за ширмы кукольного театра, я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды на концерт знаменитой певицы.

— Пойдемте... Я тоже пою! — сказала она. И добавила: — Правда, есть одно затруднение: у меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят.

Но именно там, в Большом зале Консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на «бис», она шепнула:

— У вас нет платка? Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной активности!

Она напоминала ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые тайны семьи.

«Милая детская непосредственность...» — говорят о таких людях. Надина непосредственность никогда не была «милой» — она была удивительной. Покоряющей... Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто не печатает! Тем более

что, как я узнал окольным путем, она этот жанр не любила:
— Столько фантастики в реалистических произведениях!..

А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила:

— Только учтите, у меня есть приданое: порок сердца и запрет иметь детей.

— В вас самой столько детского! — растерянно пошутил я.

— С годами это может стать неестественным и противным, — ответила Надя. — Представьте себе пожилую даму с розовым бантиком в волосах!

— Но ведь можно, в конце концов, и без...

— Нет, нельзя, — перебила она. — Представляете, какая у нас с вами была бы дочь!

С той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь.

«Ясно... Запретный плод!» — говорили знакомые. Эти восклицания были не только банальными, но и неточными. Надюша, мало сказать, не прислушивалась к запретам врачей — она просто о них забыла. И только глаза, которые из-за припухлости век становились по утрам вроде бы меньше и уже, напоминали о том, что порок сердца все-таки есть.

— Почти всех женщин беременность украшает. На ком ты женился? — говорила Надюша, разглядывая себя в зеркале по утрам.

Другие мечтали о сыновьях. А мы ждали Оленьку. И она родилась. «Она не могла поступить иначе, — написала мне Надюша в своей первой записке после того, как нас на земле стало трое. — Меня полгода держали в больнице. Разве она могла обмануть мои и твои ожидания? Спасибо ей!»

С этой фразы, я думаю, все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с Надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца...

* * *

Это было воскресенье. По радио началась передача «С добрым утром!».

Надя вместе с картошкой, которую она чистила, переместилась поближе к приемнику.

— Не пою сама, так хоть послушаю, как поют другие, — сказала она.

— А разве ты уже... не поешь? — удивился я.

— А разве ты не заметил?

— Я как-то... Пожалуйста, не сердись.

— Наоборот, я горжусь: незаметно уйти со сцены — это искусство.

Надя любила подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны только хорошие и умные люди.

Жизнерадостные голоса, женский и мужской, попеременно, как бы забегаая из радиоприемника к нам в комнату, желали, чтобы утро для всех было ясным и добрым.

В дверь постучали.

— Звонок не работает, — сказала Надюша. — Пробки, что ли, перегорели?

Стоило мне прикоснуться к замку, как по ту сторону двери вскрикнули:

— Оля дома?

Я увидел на пороге Евдокию Савельевну, классную руководительницу нашей Оленьки, и двух Олиных одноклассников — Люсю и Борю.

— Вырос Боря нам на горе! — пошутила однажды Оленька. Она часто и легко переходила на рифмы.

Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь собой загораживал. А тут он хотел, чтобы Евдокия Савельевна сама его от меня заслонила, и поэтому неестественно пригибался.

Хрупкая Люся тоже пряталась за громоздкой, но очень подвижной фигурой своей классной руководительницы.

Евдокия Савельевна была в брюках, старомодной шляпе с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной.

— Оля дома? — повторила она.

— Нет.

— Она не вернулась?!

— Нет.

— Как... нет?! Что вы говорите?

— Она же ушла вместе с вами. В поход.

— Это так. Это, безусловно, так. Но вчера вечером она куда-то исчезла.

Я почувствовал, что сзади, за мной, стоит Надя. Она не сказала ни слова. Но я почувствовал, что она сзади.

— И ночью Оленьки не было? — полушепотом-полукриком спросил я.

Они молчали. Это было ответом, который заставил Надюшу за моей спиной произнести:

— Где же она теперь?

Я не узнал Надиного голоса. Не уловил привычных для меня интонаций.

Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны, спокойное чувство юмора всегда помогали Наде удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии

— Ты бы одолжила мне свое чувство юмора, — как-то попросил я ее.

— У меня... юмор? Смешно! — сказала она. — Но свой собственный сбереги. Он помогает смягчать крайние человеческие проявления.

— Эти проявления всегда очень опасны, — сказала она в другой раз. — Потому что отрывают человека от людей и делают его одиноким.

— Не понимаю, — сознался я.

— Значит, виноват объяснявший! Мы часто излагаем то, о чем размышляли целые годы, так, будто и наш собеседник размышлял вместе с нами. И еще удивляемся: почему он не понимает нас с полуслова!..

Я любил, когда Надюша мне что-нибудь растолковывала: она делала это легко, не настырно. «Преподавай она в школе, все были бы отличниками», — думал я.

— Вот и растолкуй мне... О вреде, как ты сказала, «крайних человеческих проявлений»!

— Верней, о бестактности их, — сказала она. — Это как раз очень ясно. Например... Когда слишком уж бурно ликуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и подумать о том, что кому-то сейчас впору заплакать. А упиваясь собственным горем, не мешает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится. Надо считаться с людьми!

И вот впервые Надя изменила себе. Ее тревога не знала границ, не могла щадить окружающих.

— Где же она... теперь? — повторила Надюша.

Потрясенный ее состоянием, я крикнул:

— Оля просто не вынесла. Всему есть предел!

Я сказал так, потому что именно они, те трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и слез нашей дочери.

— Сейчас уже утро. А ее нет! Ее нет... Где же она?! Куда же она?.. — спрашивала меня Надя.

Она сама приучила меня чаще задавать сложные вопросы, чем отвечать на них. Поэтому я беспомощно повторял одну и ту же нелепую фразу:

— Не волнуйся, пожалуйста, Наденька. Не волнуйся!

А те трое были еще за порогом. «Виновники... главные виновники того, что произошло!» — мысленно повторял я.

Что именно произошло, я не знал. И неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным.

Огромная шляпа с обвислыми полями скрывала лицо Евдокии Савельевны. Люся по-прежнему пряталась за спиной классной руководительницы, а Боря изучал каменные плитки у себя под ногами.

Наверно, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью.

Евдокии Савельевне было пятьдесят четыре года: она называла себя «предпенсионеркой». Но ей можно было бы дать и пятьдесят семь лет и тридцать девять: она была, как говорят, женщиной без возраста.

Поскольку Евдокия Савельевна раз и навсегда решила, что внешность и годы значения для нее не имеют, она и одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то впопыхах, случайно купленных брюк она могла надеть широкую юбку, заправить в нее мужскую ковбойку, а в короткие, под мальчишку подстриженные волосы воткнуть костяной гребень «времен Очаковских и покоренья Крыма». Приблизительно в таком виде и предстала она перед родителями учеников 9-го класса «Б» на одном из собраний. На том собрании Евдокия Савельевна, помнится, объясняла нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту.

А ранней весной я увидел ее в белой панаме с такими же печально обвислыми полями, как будто на улице стояла жара. Хотя все, и она в том числе, были еще в пальто... В тот раз она, продолжая борьбу за прекрасное, вела свой класс в какой-то музей. А я пришел сообщить, что Оленька готовится к выставке юных скульпторов, и попросил освободить ее от экскурсии.

— Привычная мизансцена! — воскликнула Евдокия Савельевна. — Все в м е с т е, а она — в стороне.

Классная руководительница очень любила, чтобы все были в м е с т е. И с ней во главе!.. Я был уверен, что в искусстве ей ближе всего хор и кордебалет.

В классе она прежде всего замечала незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся.

Характер у нее был вулканического происхождения. Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то изумляясь.

— Наша безумная Евдокия! — сказала о ней Оля.

С тех пор у нас дома ее так и стали называть: «безумная Евдокия».

— Костя Белкин еще недавно не мог начертить прямую линию, а теперь у него по геометрии и черчению твердые тройки! — восклицала она на родительском собрании. — Учительница математики предполагает, что в будущем он может добиться четверки. Это радостное событие для нас всех.

— Люсю Катунину включили в редколлегию общешкольной стенной газеты. Она умеет писать заголовки. Это приятно для нас всех!

«Все», «со всеми», «для всех» — без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог наконец начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Но

о нашей дочери, которая училась в художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Оленька в чем-то не приняла участия и куда-то не пришла «вместе со всеми».

Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы повезли ее к Черному морю, в Евпаторию. Там к Оленьке впервые пришло признание. Весь пляж поражаля ее умению лепить фигуры людей и зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица. «Чем сегодня порадует ваша Оленька?» — спрашивали у нас с Надей.

Но «безумную Евдокию» Оленька никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала. Хотя за девять лет, которые минули после нашей поездки в Евпаторию, дочь добилаь больших успехов. Они-то и раздражали классную руководительницу. Про Оленьку нельзя было сказать, что она «как все». Но разве она в этом была виновата?

Кроме Оли, никто в 9-м «Б» не собирався стать скульптором или художником. Но Евдокия Савельевна уважала людей других профессий.

— Вася Карманов оправдал мои надежды. Полностью оправдал! — восклицала она. — Стал директором троллейбусного парка! А начал с того, что сидел за баранкой.

— Прошел путь от водителя до руководителя, — сказала нам дома Оленька. — Точнее сказать, проехал!

— Вот Леша Лапшин... Полностью оправдал мои ожидания! — шумела на родительском собрании «безумная Евдокия». — Теперь он старший диспетчер. Старший! Я хочу, чтоб и ваши дети были такими.

Более дерзких задач она перед нами не ставила.

Она постоянно воспитывала учеников нынешних на примере учеников бывших, для чего устраивала встречи и собеседования. А Оленька в это время занималась в художественной школе. Да еще изучала итальянский, чтобы прочитатъ о гениях Возрождения на их родном языке.

Иногда после родительских собраний Евдокия Савельевна упрямо пыталась познакомить меня с моей собственной дочерью. «Лицом к лицу — лица не увидать!» — процитировала она в одной из таких бесед. «Есенин имел в виду временные расстояния», — отпарировал я.

На всех бывших учеников у Евдокии Савельевны была заведена картотека. Как в читальнях и библиотеках на книги... В карточках, помимо адресов, телефонов и библиографических сведений, было отмечено, когда проведена встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало.

— Их отрывает от дела. Нас отрывает, — вздыхала Оля. —

Ну если бы сутки были в два раза длиннее! Тогда бы уж пусть.

— Ты абсолютно права,— соглашалась Надя.— Но будь снисходительной. У нее нет семьи, ей некуда торопиться.

Надюша жалела «безумную Евдокию», но еще больше опасалась за Оленьку.

— Не надо конфликтов,— просила она.

Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери: а вдруг с ней что-то случится?

В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве: либо мужчина, либо женщина. У нас в меньшинстве были мы с Надей: центром семьи и ее лицом стала дочь. Она заслужила это право. И мы были счастливы.

Когда-то, очень давно, я посылал свои фантастические рассказы в редакции толстых и тонких журналов. Мне присылали ответы на гладкой плотной бумаге с названием журнала вверху. Выразив уважение в начале и в самом конце письма, в середине мне объясняли, что мои литературные опусы лишены самобытности. П о х о ж е с т ь была моей главной бедой. Учись я у Евдокии Савельевны, она бы меня обожала!

А Оля даже посуду мыла каким-то своим способом: бесшумно и быстро.

— Не оstri по поводу этих встреч с бывшими учениками,— просила Надюша.— И ничего не рифмуй. Я прошу тебя.

— Нет, я хочу понять,— отвечала Оля,— почему все мы должны тратить время и силы на то, что доставляет радость одной Евдокии. Эти люди ей дороги? Пусть и встречается. Но ведь так можно устраивать вечера в честь любого из жильцов нашего дома. Каждый кому-нибудь дорог. Разве я не права?

— Ты права... Но все-таки, пожалуйста, не рифмуй.

— Я рифмую бездарно. Евдокия Савельевна должна радоваться таким рифмам!

— И все-таки я прошу тебя...

От бывших учеников «безумная Евдокия» требовала, чтобы они подробно рассказывали о своих «трудовых буднях»: бухгалтер — про бухгалтерию, начальник ЖЭКа — про ЖЭК, шеф-повар — про кухню.

— Как это было интересно! Как поучительно! — восторгалась Евдокия Савельевна.

И ученики, которых она своим громким голосом как-то тихо сумела прибрать к рукам, послушно вторили, что им было действительно интересно. А Оля молчала... Потому что в час встречи нынешних с бывшими она десятый раз перерисовывала какого-нибудь «Старика с телеграммой в руке» или мучилась от того, что фигура собаки получилась статичной, а собачий взгляд не выражает собачьей верности и ума.

Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Но

устраивая экскурсию в музей, она на первое место по значению ставила все же слово «экскурсия».

Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила организовать в школе показ этих работ. Поинтересовалась мнением классной руководительницы... Но оказалось, во-первых, что у «безумной Евдокии» нет телевизора. А во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла два рисунка, чтобы было не больше, чем у других.

В 9-м «Б» замыслили разыграть на английском языке сцены из шекспировской «Двенадцатой ночи». «Безумная Евдокия» преподавала историю, но тем не менее стала режиссером спектакля. И хотя было известно, что Оленька владеет английским лучше всех в классе, ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз. Главные роли исполняли любимые Евдокией посредственности.

— Она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры,— рассказывала потом Оленька.— Подавляла нас опытом Станиславского!

— Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли,— сказала Надюша.

— С маленькими спокойнее,— объяснила нам Оля.— И вообще, они ей гораздо ближе. Привыкните к этому. И смиритесь.

— Увы, нелегко придется нашей талантливой дочери в мире людей обыкновенных,— сказал я Надюше.

— Мы с тобой тоже обыкновенные,— ответила она.— Но разве мы страшимся талантов?

Классная руководительница и в самом деле руководила умами и поступками учеников 9-го «Б». И вслед за ней они не желали замечать того, что было для них непривычным. Яркое не радовало, а ослепляло их. Как бы надев защитные очки, они сквозь них и смотрели на нашу Оленьку.

В один миг я вспомнил все это, глядя на шляпу «безумной Евдокии», которая скрывала ее лицо.

Что же там произошло, в этом походе? Как еще унизили там нашу девочку? Почему не выдержала она? И где же она теперь?

За моей спиной была Надя... с ее больным сердцем.

«Оленька исчезла вчера вечером. Если она вот-вот не появится,— думал я,— невозможно представить себе, что будет с нами! Невозможно себе представить».

* * *

— Говорят, что самые опасные недруги — это бывшие друзья,— сказала нам Оля.— Я убедилась, что это так.

Помолчала и добавила:

— О ком я говорю, спроси. И я отвечу: о Люси!

Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. «Как в доме Ростовых! — пояснила Оленька. — Или Болконских».

Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. Какая женщина устоит перед таким обожанием? Оленька стала дружить с Люси. Хотя времени на дружбу у нее было мало.

Да и у Люси его было не очень много. Люсиная мама в течение долгих лет не поднималась с постели. За ней ухаживала незамужняя Люсиная тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой — даже когда была в школе или у нас в гостях.

Стремясь доставить матери радость, она восклицала:

— Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! Я весь вечер говорю шепотом: вдруг он проснется?

Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме. И взяла слово, что, когда мама поднимется (а на это появилась надежда!), Оля нарисует ее портрет.

Люся и сама потихоньку рисовала. Но мы видели только ее заголовки в школьном юмористическом журнале, который по предложению Оли носил название «Детский лепет».

Неожиданно все изменилось.

Первые тучи появились в тот день, когда в художественной школе организовали встречу со знаменитым мастером живописи. Люся высоко чтила этого мастера. Но чтили его и все остальные, поэтому школьный зал был переполнен. И Оленька не смогла провести туда подругу.

— Я не нашла для Люси места в зале, — рассказывала в тот вечер Оля. — У дверей стояли церберы. А она обиделась... И за что?! Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я сказала ей: «Ты знаешь его работы. Значит, ты с ним знакома. Художник — это его творчество».

— А она? — спросила Надюша.

— Вернула папку с рисунками. Как говорят, «заберите игрушки!».

— И что же дальше?

— Ну и мерси, дорогая Люси! — в рифму пошутила Оленька.

— Друзей труднее найти, чем потерять, — сказала Надюша!

— Раз можно потерять — значит, это не такой уж и друг!

— Не нашла места в зале? — задумчиво произнесла Надя. — Если бы ты не нашла его у себя в сердце... Но ведь именно нашей семье она доверила свою самую горькую тайну!

В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму.



А. Алексин. «Мой брат играет на кларнете»

— Сейчас к Люсе надо быть снисходительней,— сказала Надюша.

— Обыкновенная история,— грустно ответила Оля.

— Но каждый переживает ее так, будто ни с кем ничего подобного не случалось.

— Я предлагала поговорить с ее отцом. Но она отказалась: «Я отца не виню». Логично... Анну Каренину мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к постели. Все слишком сложно. Поди разберись!

— «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»,— медленно процитировала Надюша.

Став непрощеной хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки.

— Трудно учиться, когда носишь в себе т а к о е,— сказала Надюша.— До формул ли ей сейчас?

Люсю решили проработать на классном собрании.

Но Оля выступила в защиту подруги. Хотя это было уже после истории со знаменитым мастером живописи.

— Рука помощи может что-нибудь сделать, если ее не отталкивают,— рассказывала после собрания Оленька.— Люся же повернулась ко мне лишь для того, чтобы сказать: «Мне не нужна защита!»

«Откуда такая гордыня?» — подумал я. И вдруг вспомнил, как маленькая, хрупкая Люся доказывала мне, что почти все выдающиеся люди были невысокого роста.

После проработки на классном собрании «безумная Евдокия» неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло или, точнее сказать, под обвислые поля своих старомодных шляп. Она сделала ее, двоечницу, старостой класса.

Тогда я понял, что Люсины обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю... И относиться к Оленьке «по системе Евдокии Савельевны».

— Лет до ста расти нашей старосте! И все равно не вырасти,— сказала с напускной веселостью Оленька.— Даже «безумная Евдокия» здесь не поможет. Хотя вырасти ей очень хочется: сегодня отчитала меня за какое-то очередное дежурство, на которое я не пришла. «Но ты ведь знаешь, что я работала. Я лепила... Скоро в художественной школе экзамены!» — сказала я ей. «У нас все работают!» — ответила Люся.

Все... всем... как все...

Я понял, что наша дочь впервые столкнулась с предательством.

В присутствии Нади я ни разу не произнес это слово. Когда в чей-либо адрес бросали резкое обвинение, она сжималась, словно камень был брошен в нее.

— Людей надо щадить,— говорила она.

Надо щадить... Я думал об этом, стараясь разглядеть Люсю за спиной Евдокии Савельевны. Но она скрылась. Она боялась, что мы с Надюшей спросим: «Что же ты сделала со своей бывшей подругой, Люси?»

* * *

— Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества Оленьки и захотят доискаться, кто же в те годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина,— шутливо констатировал я.

Но это была не шутка.

Самый красивый парень не только в Олином классе, но и во всей школе, Боря мог бы посвятить себя романтическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности.

— Хоть бы какая-нибудь Мона Лиза из восьмого или девятого класса отвлекла его!..— выражала надежду Оленька.

Но Боря не отвлекался. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельевны.

Иногда у него возникали и свои собственные предложения.

— Я вот подумал... Почему бы тебе не разрисовать стены школьного зала?

— Я рисую главным образом лица... портреты.

Через несколько дней у Бори возникло новое предложение:

— Я вот подумал... Почему бы тебе не создать галерею портретов старейших учителей нашей школы?

— Учителя мне будут позировать?

«Почему бы тебе не...» — так обычно начинал Боря. И Оленька объясняла ему «почему». Объясняла в школе, по телефону. Боря частенько звонил нам, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что «безумная Евдокия» поручила ему вовлечь Олю в стремительный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной «неохваченной», и Боря должен был ее охватить.

— Нарисуй его собственный портрет,— посоветовал я дочери.— И может быть, он успокоится.

— Красивые лица для художника неинтересны,— ответила Оля.— А внутренней красоты я в Антохине не заметила.

Боря изучал расписание занятий в художественной школе. И иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой.

— Евдокия Савельевна просила тебя сегодня быть на встрече с ее бывшим учеником. Потому что он в детстве тоже считался художником. Эстафета увлечений! Ты понимаешь?

Так он обеспечивал Олину «явку».

— Он следит за мной! — с возмущением говорила Оленька.— Если полкласса не явится мыть окна, это ничего. Но если

я не приду, он назавтра обязательно скажет: «Ты слишком заметна, чтобы отсутствовать. Все удивлялись!» А удивлялись, я уверена, только он да Люси с Евдокией.

Несколько раз, когда Оля заболела, Боря Антохин приходил к нам домой.

— Если бы я была девятиклассницей, я бы в него влюбилась, — сказала Надюша, виновато взглянув в мою сторону.

Но я был спокоен, поскольку знал, что обратной дороги в детство не существует.

— Как можно любить вычислительную машину?! — протестуя, ответила Оленька. — Вы слышали, зачем он пришел? Чтобы высчитать, успею ли я подняться ко дню перевыборного собрания!

Боря Антохин действительно объяснил нашей дочери, что растяжение сухожилия — болезнь неопасная и что Оля, прихрамывая, вполне может добраться до школы.

Он тоже воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельевны. А чаще всего на примере ее любимейшего ученика Мити Калягина.

Митя был самой большой гордостью классной руководительницы.

— Он оправдал мои ожидания. Прекрасный человек! Теперь самосвал водит... Я уверена, что он всегда примчится на помощь, если она нам понадобится!

— Никогда нас не катали на груженом самосвале! — все-таки пошутила со своей третьей парты Оленька.

«Безумная Евдокия» шуток не понимала. Она сказала, что когда-нибудь Оленька осознает «кощунственность своего заявления».

— Митя Калягин — ее святыня, — сказала Оле Надюша. — А когда речь идет о святынях... Еще раз очень прошу тебя: не рифмуй!

Митей «безумная Евдокия» гордилась не зря... В первые дни фашистской оккупации он, больной, с высокой температурой, сумел доставить своему дяде-врачу в рабочий поселок, что был в тридцати километрах от города, лекарства и хирургические инструменты. Его дядя — невропатолог, никогда не делавший операций, извлек пули и вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Митя тогда проявил не только смелость, но и находчивость: из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту, на которой его не подстерегала встреча с врагами.

Если кто-нибудь из учеников 9-го «Б» отпрашивался с урока, ссылаясь на головную боль, Евдокия Савельевна говорила:

— Вспомните, что перенес Митя Калягин! А ведь он был шестиклассником. То есть на три года моложе вас!

То же самое она говорила и если кто-нибудь залеживался дома из-за простуды или ангины. Однажды она сравнила Олин бронхит с трудностями, перенесенными Митей Калягиным, и мне на память пришел дряхлый анекдот: «От чего умер ваш сосед?» — «От гриппа!» — «Ну, это не страшно!»

Когда «безумная Евдокия» решила устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленьку:

— Не вздумай принести справку! Этому походу придается большое значение.

— Кем придается?

— Всеми.

Два девятых класса должны были порознь искать тот «самый короткий путь» к дому дяди-врача, который десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Если бы дорогу отыскали оба девятых, победителем считался бы тот класс, который первым сообразил. «Безумная Евдокия» обожала устраивать состязания!

Накануне похода девятиклассники встретились с Митей Калягиным.

Оленька успела набросать в блокноте Митин портрет.

— Он лысый? — удивился я.

— Хлипкий и лысый... Евдокия Савельевна объяснила, что это результат военного детства. И деликатный! Никак не ассоциируется с самосвалом, на котором приехал. Одним словом, он мне понравился.

О своем подвиге Митя Калягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в сорок втором году, это была военная игра, а не настоящая война и были не настоящие раненые, которых они с дядей спасли.

— Дядя писал в записке, что надо бы поскорее. А у меня температура тридцать девять и пять. Комедия! — вспоминал Митя.

Записка у Мити сохранилась. Евдокия Савельевна попросила показать ее всему классу.

Торопясь к дяде, Митя вскочил на ходу в кузов грузовика: маленький был, никто не заметил.

— Кашлять было нельзя... А у меня воспаление легких. Комедия! — продолжал Митя.

И выскочил он тоже на ходу, возле станции.

— Чуть было не попал под машину. Которая сзади шла... Вот была бы комедия!

Он, как и Надя, умел подтрунивать над собой. Я знал, что на это способны лишь хорошие, умные люди.

Выскочив возле станции, Митя начал искать самый короткий путь. Лекарства и инструменты были зашиты в стареньком ватнике.

— Ватник, к сожалению, не сохранился, — сообщила Евдокия Савельевна.

Девятый класс, который первым Митиной дорогой добрался бы до домика дяди-невропатолога, должен был получить, как сказал Митя, «приятный сюрприз».

— Ну зачем ты, Митя? Зачем? — кокетливо застеснялась вдруг «безумная Евдокия». Кокетничала она очень громоздко и неуклюже.

Девятые классы дошли в субботу до той станции, до которой Митя Калягин добрался когда-то на попутной машине. Расположились на ночлег.

А через несколько часов Оленьки уже не было.

«Не вздумай принести справку!» — предупреждал ее Боря Антохин.

— Пойди, Оленька, — советовала ей и Надюша. — Раз походу придется большое значение... И школу ты скоро кончаешь. Пойди!

— Но я пропущу занятия по рисунку.

— Все равно пойди.

И она пошла.

Я смотрел на Борю Антохина и мысленно спрашивал: «Почему же на этот раз ты не уследил за ней, Боря? Мы были бы так тебе благодарны!»

Я вспомнил обо всем этом. А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно. Но прошли всего лишь минуты, потому что передача «С добрым утром!» была в самом разгаре.

Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю. И понял... навсегда понял, что матери и отцы (даже самые любящие отцы!) все же чувствуют неодинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать. Одна мысль вонзилась в нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри: «Где сейчас Оля?»

Я молчал. Потому что ничей в мире голос утешить ее не мог. Кроме голоса дочери, если бы он зазвучал на лестнице, в комнате, по телефону. Она ни к кому не имела претензий, ни на кого не сердилась — для нее ничего не существовало, кроме вопроса: «Где сейчас Оля?»

— Я позвоню Мите Калягину, — сказала Евдокия Савельевна.

— Зачем? — спросил я.

Не ответив, она переступила порог. Люся и Боря вошли вслед за ней.

Евдокия Савельевна сразу же позвонила Мите и попросила его приехать. Наш адрес она помнила наизусть, хотя дома у нас никогда не бывала.

— У нее феноменальная память! — слышали мы от Оленьки. — Помнит, кто какого числа схватил двойку по математике, а сама историчка. И кто сколько дней пропустил, помнит так же хорошо, как даты великих сражений.

— Значит, вы ей небезразличны, — ответила Надюша.

— Просто ей больше не о чем помнить!

— Женщины, у которых нет личной жизни, часто с утренней энергией бросаются в жизнь общественную, — стремясь поддержать Оленьку, сказал я.

— И что же в этом плохого? — спросила Надюша.

Она понимала, что мы с Олей вправе не любить классную руководительницу 9-го «Б». Понимала, что «безумная Евдокия» изо всех сил старается не только убить веру других в нашу дочь, но и в ней самой поколебать эту веру. И все же Надя мечтала, чтобы конфликт уступил место взаимопониманию.

«Оля шла навстречу этому миру, — думал я. — Но они... втроем учинили что-то такое, чего она не выдержала, не стерпела. И теперь каждая минута жизни стала невыносимой. Где она?! А они суетятся, чтоб не смотреть нам в глаза».

— Что же все-таки произошло? — спросил я.

— Ничего... Ничего не было! — затараторила Люся. — Вечером все получили задания и разошлись. Кто за хворостом, кто за водой, кто расспросить жителей о дорогах к тому поселку. — Люся остановилась. И чтобы Надя не услышала, шепотом добавила: — Все вернулись, а она нет... Но спохватились мы только утром. Были в разных палатках.

— Надо сообщить всюду, — сказала Евдокия Савельевна. — Ничего особенного... быть не может! Но надо сообщить."

С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой.

Евдокия Савельевна составила список телефонов: милиция, дежурный по городу, больницы, местные власти той станции и того поселка. Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не прояснил и ничем не помог.

Делала она это методично, спокойно. Только пальцы, когда она крутила диск, не вполне были ей послушны. Она не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер.

С каждым ее звонком мне становилось яснее, что с Олей стряслось что-то невероятное... трагическое. Чего поправить уже нельзя...

«Если Оля убежала от своих спутников вечером, — рассуж-

дал я, — она могла тут же сесть на электричку и приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано утром: электрички ходят с шести часов».

Я слышал, как Евдокия Савельевна методично разъясняет по телефону, что случилось, всякий раз повторяя:

— Конечно, ничего ужасного не произошло.

На другом конце провода не были так твердо уверены, что не произошло ничего особенного, и ей приходилось рассказывать о деталях, подробностях. А Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту: от двери к окну и обратно. Туда и обратно, туда и обратно.

Мы с Надей потеряли способность действовать. Мы могли только ждать.

Я слышал Евдокию Савельевну... Меня раздражало, что организаторский талант ее оставался прежним, а голос неколебимо спокойным, но и громким, как бы старавшимся заглушить совесть. Надя же потеряла зрение и слух. Она могла лишь передвигаться по одной линии: туда и обратно, туда и обратно.

Маленькая, юркая Люся хорошо знала нашу квартиру. Она побежала на кухню и примчалась назад с пузырьком и чашкой, в которой была вода. Надя, обхватив голову, стремительно, как челнок, перемещалась по комнате, а Люся бегала за ней с чашкой и пузырьком.

Из всех нас только Боря Антохин не двигался с места.

Он всегда стеснялся своего красивого лица и слишком стройной фигуры: сутулился и водил по лицу ладонью, прикрывая его. Голос у него был по-мужски устоявшийся (этакий баритональный бас) — и он его приглушал. А тут Боря и вовсе хотел, чтобы о нем позабыли.

«Еще бы... Ведь именно он сказал Оленьке: «Не вздумай принести справку!» Что же ему теперь остается? — думал я. — Скромный... Не хочет быть на виду. Знакомы мне эти тихие мальчики!»

Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала: — Им нужны ее фотографии. Последнего времени.

Я бросился к шкафу, достал альбом, начал листать его.

— В последнее время она не снималась, — сказал я.

— У меня есть ее карточки, — неожиданно произнес Боря Антохин.

Он полез в боковой карман своей куртки. Вытащил пять фотографий и разложил их на столе с такой осторожностью, будто они еще не высохли.

— Это было на той неделе, — приглушая голос, сказал Антохин. — Я снимал участников похода. Для нашей газеты.

— Отвези их! — Евдокия Савельевна снова вернулась к

трубке: — Где вы находитесь? — Она записала адрес и протянула его Боре Антохину: — Оттуда сразу назад! Помни: мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя Калягин. Вы с ним поедете туда, к нашим... И поднимете их на поиски. Надо будет прочесать лес!

— А что... там большой лес? — спросила Надюша.

Наконец она о чем-то спросила.

— Да что вы?! — воскликнула Люся.

Ее шустрый, но неопределенный ответ заставил Надю замедлить шаги. И она машинально начала передвигаться по комнате не так быстро, как прежде. Туда и обратно, туда и обратно... На Олины снимки она не взглянула.

Боря собрал их осторожно, будто они так и не высохли. Опустил в боковой карман и, пригнувшись, ушел.

Люся с чашкой и пузырьком, которые Наде негодились, стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз.

В телефонных переговорах «безумной Евдокии», в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той бережности, с какой Боря Антохин раскладывал и собирал Олины фотографии, мне чудилось страшное. Я был уверен, что они искупают вину. Но каков же ее размер? Что именно они допустили там, в походе, если Оля не вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью... на неизвестной дороге?

Внезапно раздался звонок. Надя опустилась на стул. Я отяжелевшими ногами зашагал в коридор. Но Люся опередила меня.

— Митя Калягин! — с преувеличенной радостью воскликнула она. Точно мы только его и ждали.

— Ты на машине? — деловито спросила Евдокия Савельевна.

— Машина внизу! — ответила за него Люся, разглядевшая с балкона, что внизу стоит самосвал.

Митя виновато кивал на свои промасленные брюки: дескать, застали врасплох.

Он был действительно щуплым, и волос на голове почти не было. Евдокия Савельевна не стала объяснять нам, что это «результат военного детства», а сказала:

— Митя, пойдём-ка со мной на кухню.

— Ничего секретного она ему там говорить не собирается! — затараторила Люся. — Просто ей не хочется при вас повторять...

Надя не слышала.

Евдокия Савельевна и Митя вернулись с кухни.

Он вспомнил, что, когда отвозил дяде лекарство и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не знала всю ночь, где он.

— Я удрал...с воспалением легких. А что было делать? Она бы не пустила меня. Сказала бы: «Сама отвезу!» Я матерей раньше не понимал. Пока сам отцом не заделался.

Надя не слышала.

Митя рассказал еще одну историю. О том, как его сын-тоже один раз не ночевал дома и вернулся под утро. Оказывается, поссорился с девочкой. И сказал, что будет стоять под ее окном, пока она не простит. Она преспокойно спала. Проснулась утром, собралась в школу. Выходит, а он... все стоит. С самого вечера.

— И что вы сказали сыну? — спросил я.

— «Она же тебя не любит, дурак!»

— Это вы точно сказали.

Надя не слышала...

Раздался звонок. Она привстала. А Люся снова опередила меня.

Вернулся Боря Антохин.

— Я вот подумал... У меня есть и другие ее фотографии! — Он похлопал по боковому карману. — Заехал домой на обратном пути и взял. Надо будет раздать там, в районе. Чтобы мы не одни искали.

— Это так. Это, безусловно, так, — похвалила Евдокия Савельевна. — Если в с е возьмутся за дело, мы быстрее достигнем успеха!

«Раньше надо было думать... гораздо раньше!» — хотел я сказать.

— Мы ее найдем! — пообещал Надюше и Митя Калягин.

— Но где... она может быть? — отчаянно вскрикнула Надя. Все вздрогнули от этого крика. Даже Митя.

Евдокия Савельевна уже не могла деловито организовать поиски. Она тяжело заметалась... Подскочила к Мите, что-то шепнула ему, потом к Боре. И с неестественной громкостью сообщила:

— Сейчас Митя с Борей поедут туда — и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более сложную задачу!

В ее голосе мне все явственней чудились интонации врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня он «выглядит молодцом». Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило...

У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии — от двери к окну. От окна к двери.

«Выдержит ли ее сердце?» — с ужасом думал я.

Митя с Борей уехали.

Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. Она делала бессмысленные звонки: то просила

дежурного по школе сообщить нам, если вдруг появится Оля, то обращалась с той же просьбой в художественную школу.

Так прошло еще полчаса или минут сорок.

По радио продолжались жизнерадостные воскресные передачи. Никто приемник не выключал, потому что никто не хотел тишины.

Надюша почти беззвучно, механически шевелила губами.

— Что ты, Наденька? — наконец спросил я. И обнял ее.

Люся решила, что мы хотим о чем-то поговорить, и сразу же утащила Евдокию Савельевну на кухню.

— Что ты, Надюша?

Она не ответила мне, как и не прекратила своего движения по комнате, но я разобрал слова:

— Это я уговорила ее... Это я...

Зазвонил телефон. Надя была в тот момент как раз возле него. И схватила трубку.

— Нет, не мать, — ответила она. — Честное слово, не мать. А кто? Учительница... из школы. Помню... Я помню... В брюках была. В синих брюках. Что вы говорите? Опознать?.. Кого опознать?

Трубка повисла на шнуре. Надя опустилась и села на пол.

— Люся! — почему-то закричал я.

Они с Евдокией Савельевной прибежали с кухни.

— Я ее не узнаю, — говорила Надя куда-то в пространство. — Я ее не узнаю...

Надюшу подняли и посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела.

Я положил трубку обратно на рычаг. Телефон сразу же зазвонил.

— Нас перебили, — услышал я рассудительный, ко всему привыкший мужской голос. — Это я с кем говорю?

— С отцом.

— Сперва учительница подходила? Не мать?

— Нет, нет... Учительница.

— Тогда ничего. Тут бы на всякий случай опознать надо было...

— Кого?!

— Вы за мной-то не повторяйте. Мать не слышит?

— Нет.

— Мы бы за вами заехали.

Хлопнула дверь.

Я выронил трубку... Выскочил в коридор.

— А где мамуля? Я привезла ей цветы! — Оля уже сняла с одной ноги туфлю и натягивала тапочку. — Представляешь, они все еще движутся к этому дяде... Во главе с «безумной Евдо-

ней»! А я вчера вечером угадала самый короткий путь! Митя ночью переплыл реку на лодке. Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник перевез! — Она была упоена успехом. — Вот сюрприз... или приз, о котором говорил Митя Калягин. Мне достался!.. — Она протянула какой-то конверт. — Я пришла первой. И дядя-доктор вручил его мне. А где мамуля? Я привезла ей цветы. Утром в поле так хорошо!

Она сунула мне в руки букет ромашек.

Я не перебивал Олю.

Евдокия Савельевна и Люся не вышли в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре. А Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидела неестественно прямо, положив обе руки на колени.

— Наденька! Оля вернулась... — закричал я. — Оля вернулась!

— Я не узнаю ее, — ответила Надя. — Я не узнаю...

Через полчаса примчался самосвал Мити Калягина.

По дороге Митю оштрафовали за превышение скорости.

— Большой прокол! — сказал он. — Талон продырявили. Вот комедия!

Но это он сказал уже потом, войдя в комнату. А в коридоре поспешно сообщил мне:

— Все в порядке! Она была у моего дяди сегодня утром. Вот и сам дядя... Живой свидетель!

— Она вернулась! — не приглушая голоса, воскликнул Боря Антохин, тоже приехавший на самосвале. И указал на туфли, которые Оля оставила в коридоре.

— Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности, — вздохнул Митя.

Дядя его был, наверно, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость же еще решительней прижала его к земле. Казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянно ветер не опрокинул его, не свалил с ног. Но глаза, как и Митины, обещали поведать всем какую-то лукавую, несерьезную историю.

— Вы доктор? — спросил я.

— Был доктором, — ответил он.

— Полвека! — добавил Митя.

— Тогда можно вас попросить... на минутку? Мне бы хотелось посоветоваться.

На кухне я сбивчиво рассказал ему обо всем, хотя многое он уже знал. Не знал он только о том, что случилось после отъезда Мити.

— Вы ведь невропатолог? Это, наверно, по вашей части? К тому же у нее и порок сердца... Я очень волнуюсь.

Он вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть естественно прямо, положив обе руки на колени. Ее оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала:

— Я не узнаю ее.

— Мамочка, я здесь... Я вернулась! — неизвестно в который уж раз втолковывала Оля, стоявшая перед ней на коленях. — Я вернулась! Вот доктор, Митин дядя... Он вручил мне приз. Потому что я пришла самая первая. Видишь? Фотография... Это Евдокия Савельевна во время войны. С теми двумя солдатами. Оказывается, она скрывала солдат у себя... после того, как доктор их вылечил. У себя прятала! — Оля объясняла это Надюше с той тщательностью и неторопливостью, с какой взрослые втолковывают малышам самые простые, изначальные истины. — Вот это Евдокия Савельевна...

— Вглядитесь, пожалуйста, — шепотом попросила и Люся. — Это молодая Евдокия Савельевна!

— Ну зачем же? — прошептала откуда-то сзади классная руководительница.

— Оля вернулась! Ваша дочь уже дома. С вами! Ей ничего не грозит. Вы понимаете? Ей ничего не грозит! — с неожиданной для него волевой интонацией, внятно и твердо произнес Митин дядя.

— Я не узнаю ее, — сказала Надя.

Доктор еще и еще раз попытался установить с ней контакт. А потом палкой указал в сторону кухни.

— Это не по моей части, — сказал он мне там.

— Как... не по вашей?

— Я невропатолог. А психиатрия — это другая область.

— Она... вам кажется...

— Надо позвонить, чтобы за ней приехали. Именно от туда.

Оля вошла на кухню и стала нервно мне объяснять:

— Я прошла путем Мити Калягина. Было такое задание. Ты же знаешь...

Я перебил ее:

— Он прошел этот путь, чтобы спасти людей. А ты, чтобы погубить... самого близкого тебе человека...

* * *

Мы возвращались из того дома, где осталась Надюша.

Оля с Люсей и Борей шли впереди. А мы с Евдокией Савельевной немного отстали. Митя увез дядю-невропатолога на своем самосвале. Евдокия Савельевна была скорбно поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой.

— Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата.

Она произнесла это грустно и убежденно. Без расчета на то, что я стану ей возражать. И все же... Хотя родителям всегда хочется переложить вину детей на чьи-нибудь или свои собственные плечи, я не посмел согласиться:

— Как же вы могли не приехать?

Она не ответила: широкие, обвислые поля шляпы как бы ограждали ее от того, с чем она в данный момент была не согласна.

— И выходит, что «безумной Евдокией» Оля прозвала меня не зря.

— Судьба отомстила нам за это глупое прозвище,— возразил я.— Безумие пришло в наш дом. Что может быть страшнее? Помните... Пушкина?

Не дай мне бог сойти с ума!

Нет, легче посох и сума...

— Это так. Это, безусловно, так. Но реактивное состояние часто проходит. Мне сказал Митин дядя.

— Вы не могли не взволноваться... и не приехать,— сказал я.— Но Оля, я думаю, этого волнения не предвидела. Она не представляла себе, что ее исчезновение примут так близко к сердцу, что начнутся поиски. Поэтому, может быть...

Сам того не желая, я стал искать аргументы в защиту дочери.

Евдокия Савельевна сняла шляпу. У нас дома, в квартире, она ее не снимала. Видимо, она приготавилась к бою. И желала видеть глаза противника. А я не хотел сражаться. Мне просто нужно было выяснить и понять.

— Ну подумайте,— продолжал я,— разве могла, к примеру, Оля предположить, что Люся Катунина, которая так несправедливо, из-за ерунды обиделась на нее...

— Несправедливо? — перебила она.— Простите, мне не хотелось бы в буквальном, так сказать, смысле слова... за Олиной спиной...— Она кивнула на Олю, которая сгорбилась, будто и правда ожидала удара.— Но раз вы сами коснулись этой проблемы!

— Сейчас уже как-то мелко... все это перебирать. Но ведь Оленька не смогла провести ее на ту встречу.

— Это не так! — словно бы выстрелила она.— Это, безусловно, не так. Оля забыла о ней. Забыла! Вот что ужасно.

— Как з а б ы л а ?

— Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля острела, задавала вопросы. Одним словом, проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла: у нее в руках была папка!

— Вот видите, вы с такой раздраженностью... Зря я затеял! Фигура ее опять стала громоздкой. Это, как ни странно, проявлялось в движении.

— Если вы примете сегодняшнюю историю за случайность, она повторится! Поверьте, что это так. Это, безусловно, так.

Как раз за мгновение до этого я хотел сказать, что один поступок не может полностью характеризовать человека. «Если он случаен!» — ответила бы она.

— Не подумайте, что Люся мне жаловалась, — спохватилась Евдокия Савельевна. — Она, как и вы, пыталась найти оправдание. Но оправдывать виноватого — значит губить его!

— Вы думаете, Оля нарочно?..

— Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордость и самолюбие. Ведь Люся любила ее.

— Ну, если даже так... то потом, когда Люся не могла нормально учиться, Оля вступилась за нее. Они с Надей одни только знали причину. И Оля пыталась всем разъяснить. Но Люся сказала: «Мне не нужна защита!»

— Она сказала: «Не нужна т а к а я защита!» Одно слово меняет, как видите, очень многое.

— Какая... т а к а я?

— Мне не хотелось бы углубляться в чужую драму.

— Но раз мы начали...

— Про Люсины семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал. И не должен был узнавать! А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекнула на эти события... всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся. А дом этот новый, огромный... Сама Люся ни в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил... И пожертвовал своей любовью ради больной женщины. Это легко?

Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена ею. Обвислые поля шляпы то касались земли, то волочились по ней. Но она этого не замечала.

— Жить только собой — это полбеда, — жестко произнесла она. — Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать п о х о д я и чужие судьбы.

«Все слишком сложно. Поди разберись!» — вспомнил я Олину фразу. И, будто угадав, что я подумал об этом, Евдокия Савельевна сказала:

— Если нет времени разобраться, лучше и не берись. А не пытайся небрежно, одной рукой разводить чужую беду!

— Неужели вы думаете, что Оля нарочно? — бессмысленно проговорил я.

— Ей было некогда вникнуть. Недосуг! Как недосуг бы-

до, — она понизила голос, — заметить любовь Бори Антохина.

— Любовь?

— Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Меня он почему-то не фотографирует.

Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась. И объясняли это ее нравственной цельностью. «А может, ее любви хватало... лишь на себя? — подумал я. — Нет, неверно! Она всегда любила Надюшу... искусство... Она хотела, чтоб мы ею гордились. Это ведь тоже... забота!»

Обвислые поля шляпы Евдокии Савельевны продолжали волочиться по земле. И я не говорил ей об этом.

— Вы не думаете, что этот ее последний поступок, который кончился так ужасно... был все же протестом?

— Против чего?

— Против одиночества... в вашем классе.

— Тот, кто любой ценой хочет быть первым, обречен на одиночество, — вновь четко сформулировала она.

«Неужели это Оленька, их долгий молчаливый конфликт, — изумлялся я, — заставили ее вот так, заранее, обдумать фразы, которыми она сейчас контратаковала меня?»

— Мои ученики не стали знаменитостями, — задумчиво, замедлив нашу дуэль, сказала Евдокия Савельевна. — Но и злодеев среди них нет. Ни одного... Они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарований? У них есть талант человечности. Разве вы не заметили?

— Заметил сегодня...

— К человечности талант художника может и не прилагаться, — продолжала она, — но к дарованию художника человечность...

— Это, безусловно, так! — перебил я Евдокию Савельевну ее же словами.

— Да... безусловно, так, — согласилась она.

Мы помолчали.

— А сын Мити Калягина тоже до утра не сообщал о себе, — неожиданно произнес я. — Помните? Когда стоял под окном... у той девочки.

— Я не хотела бы вас огорчать. Но он позвонил из автомата домой... И предупредил. Это было так. Безусловно, так.

— Но Митя говорил...

— Он успокаивал Надежду Григорьевну.

— Понимаю.

Мне захотелось, чтобы она больше не видела во мне оппонента. Я и раньше-то возражал ей почти по инерции, желая все выяснить и понять.

— Я не знал, что вы скрывали у себя тех солдат.

— Их уже нет.

— Все же... погибли?

— Просто умерли. От болезней... Война с недугами и несчастьями будет вечной. Иногда мы еще и сами убиваем друг друга.— Спohватившись, она сказала: — Я не Олю имела в виду. Все мы виноваты сегодня.— Потом всполошилась еще сильнее: — Оля может принять всю вину на себя. Эта ноша окажется для нее непосильной!

Евдокия Савельевна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я понял, что она решила разделить тяжесть ноши с моей дочерью.

* * *

Я побрел сзади.

«Мы с Надюшей боролись против «безумной Евдокии» за право строить... или, как говорится, формировать Олин характер,— размышлял я.— Мы победили. И эта победа стоила Наденьке жизни. Или здоровья. «Безумная Евдокия»... Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверно, хотела объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что, если они будут честными и порядочными людьми, просто честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе. И на память».

Детали... Только с их помощью я мог воссоздать картину. И они выплывали из прошлого мне навстречу.

* * *

«Спасибо ей!» — сказали мы, когда родилась Оля. Хотя жизнью рисковала Надюша.

«Вот, наверно, где был тот роковой поворот в нашей жизни! — подумал я.— Мы перестали вглядываться друг в друга. Наши глаза устремились в иное направление. «Родители Оленьки» — это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет... И что я перестал писать свои фантастические рассказы. И о сердце Надином вспомнил только сегодня... А ведь название ее болезни не совсем верное. Болезнь — это несчастье, а не порок. Порок сердца — нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она вернется...»

Евдокия Савельевна остановилась. И другие остановились. Возле дома, где нам с Олей предстояло остаться вдвоем.



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО...

У нас с отцом одинаковые имена: он Сергей, и я Сергей. Если бы не это, не произошло бы, наверно, все, о чем я хочу рассказать. И я не спешил бы сейчас на аэродром, чтобы сдать билет на рейсовый самолет. И не отказался бы от путешествия, о котором мечтал всю зиму...

Началось это три с половиной года назад, когда я еще был мальчишкой и учился в шестом классе.

1

«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности,— часто говорил мне учитель зоологии, наш классный руководитель.— Просто невозможно себе представить, что ты сын своих родителей!» Поступки учеников он ставил в прямую зависимость от семейных условий, в которых мы жили и произрастали. Одни были из неблагополучных семей, дру-

гие — из благополучных. Но только я один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил: «Ты — мальчик из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать на уроке?»

Может быть, это зоология приучила его все время помнить о том, кто к какому семейству принадлежит?

Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Антоном-Батоном за то, что он был полным, сдобным, розовощеким. Когда он смущался, розовела вся его крупная шарообразная голова и даже казалось, что корни белесых волос подсвечивались откуда-то изнутри розовым цветом.

Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона почаще вызывали к доске: на него уходило минимум пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами, делал условные знаки, стараясь напомнить своему другу то, что он знал гораздо лучше меня. Это раздражало учителей, и они в конце концов усадили нас обоих на «аварийную» парту, которая была первой в среднем ряду — перед самым учительским столом.

На эту парту сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили коллектив».

Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач. Тут ему все было ясно: Антон был выходцем из неблагополучной семьи — его родители развелись так давно, что с отцом ему и познакомиться не удалось. Наш зоолог был твердо убежден, что, если бы родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну, не маялся у доски и, может быть, даже не заикался.

Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои родители посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими ошибками. Они вовремя расписывались в дневнике, а я сбегал с последних уроков.

Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему другу Антону.

Всех остальных отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-отчеству, а говорили так: «родители Барабанова», «родители Сидоровой»... Мои же отец и мать оценивались как бы сами по себе, вне зависимости от моих поступков и дел, которые могли порой бросить тень на их репутацию общественников, старших товарищей и, как любил повторять наш зоолог, «истинных друзей школьного коллектива».

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» — говорили об отце и маме, не ставя им в вину то, что я накануне пытался струей из брандспойта попасть в окно третьего этажа. Хотя другим родителям этого бы не простили.

«Образцовая семья!..» — со вздохом и неизменным укором в чей-то адрес восклицали соседи, особенно часто женщины, видя, как мама и отец по утрам в любую погоду совершают пробежку вокруг двора, как они всегда вместе, под руку идут на работу и вместе возвращаются домой.

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно заметно на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, белозубые, оба в васильковых тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно, на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал Чарли Чаплин — так безудержно они хохотали. Мне даже казалось иногда, что это звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса. Но Чарли Чаплин тут был ни при чем — просто мои родители были очень добросовестными людьми: если кто-нибудь запевал, они сразу подхватывали и не шевелили беззвучно губами, как это делают некоторые, а громко и внятно пели всю песню от первого до последнего куплета; ну а если фотограф просил их улыбнуться, всего-навсего улыбнуться, они хохотали так, будто смотрели кинокомедию.

Все в жизни они делали как бы с перевыполнением. И это никого не раздражало, потому что все у них получалось естественно, словно бы иначе и быть не могло.

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Мне казалось, я имел право на проступки и ошибки, потому что отец и мама совершили столько правильного и добросовестного, сколько могло быть запланировано на пять или даже целых десять семей. На душе у меня было легко и безопасно... И какие бы ни случались неприятности, я быстро успокаивался — любая неприятность казалась ерундой в сравнении с главным: у меня лучшие в мире родители! Или, по крайней мере, лучшие в нашем доме и в нашей школе. Они никогда не могут расстаться, как это случилось с родителями Антона... Недаром даже чужие люди не представляют их себе порознь, а только рядом, вместе и называют их общим именем — Емельяновы: «Емельяновы так считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку...»

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали заводы, которые строились где-то далеко-далеко от нашего города...

Я оставался с бабушкой.

Мои родители были похожи друг на друга, а я был похож на бабушку — на мамину маму. И не только внешне.

Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, она гордилась ее мужем, то есть моим отцом, но, как и я, то и дело опрокидывала законы наследственности.

Мама и отец старались закалить нас, навсегда, избавить от простуд и инфекций (сами-то они даже гриппом никогда не болели), но мы с бабушкой сопротивлялись. Мы не желали обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям еще раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или отправляться в туристические походы. Мы нечетко выполняли по утрам гимнастические упражнения.

Вообще мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечеткости: мы нечетко сообщали, кто звонил маме и отцу по телефону и что передавали в «Последних известиях», нечетко выполняли режим дня.

Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. Подвижная, сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала хитрого, озорного мальчишку. А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня.

— Ну-с, сколько денег мы откладываем на кино? — спрашивала бабушка.

— Побольше! — говорил я.

И бабушка откладывала побольше, потому что любила ходить в кино так же, как я. Мы принимали и другое важное решение: обедов и ужинов не готовить, а ходить в столовую, которая была на первом этаже. Я очень любил обедать и ужинать в столовой. Там мы с бабушкой тоже вполне находили общий язык.

— Ну-с, первого и второго мы не берем? — говорила бабушка.

В столовой мы часто обходились без супа и даже без второго, но зато неизменно брали селедку и по две порции желе в металлических формочках. Нам было вкусно, и мы сэкономили деньги на кино!..

С бабушкой я попадал даже на те фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускались.

— Я очень слаба, — объясняла бабушка контролерам, угрожая старея и дряхлея у них на глазах, — он повсюду меня сопровождает... Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран!

— Пардон, почему же ты все-таки смотришь? — спрашивала она в темноте кинозала.

— Я очень слаба! — говорила она, спасаясь от того, что мои

родители считали совершенно необходимым для продления ее жизни: к примеру, от физических упражнений и длинных прогулок.

Мы с бабушкой были «неправильными» людьми. И это нас объединяло.

В тот год отец и мама уехали месяца на два...

В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю — мы с бабушкой получали письма каждый день. Мои родители соблюдали строгую очередность: одно письмо — от отца, другое — от мамы, одно — от отца, другое — от мамы... Порядок ни разу не нарушался. В конце письма неизменно стояла дата и чуть пониже было написано: «8 часов утра». Значит, отец и мама писали после своей утренней пробежки и перед работой.

— Фантастика! — сказала однажды бабушка. — Хоть бы раз перепутали очередь!..

Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чем-то их упрекает?

Это было отличительной бабушкиной чертой: по ее тону часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьез, хвалит или высмеивает.

В другой раз, прочитав знаменитое «8 часов утра» в конце маминого письма, бабушка, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну-с, доложу вам: ваш отец образцовый тренер! Моя дочь уже просто ни на шаг не отстает от него.

И я вновь ничего не понял: хвалила ли она моего отца? Или была им недовольна?

Почта не отличалась такой безупречной аккуратностью, как мои родители: письма, отправлявшиеся ими будто по расписанию, попадали в наш облезлый почтовый ящик то утром, то вечером. Но чаще все-таки утром... Я сам вытаскивал их и прочитывал по дороге в школу. Это было удобно во всех отношениях: во-первых, я начинал день как бы беседой с отцом и мамой, по которым сильно скучал, а во-вторых, если я опаздывал на урок, то помахивал вскрытым конвертом и объяснял:

— Письмо от родителей! Очень важное. Издалека!..

И мне почему-то не делали замечаний, а мирно говорили:

— Ну ладно, садись.

О себе отец и мама писали мало: «Работаем, по вечерам изучаем английский язык...» Они изучали его самостоятельно и время от времени устраивали друг другу экзамены. Это меня поражало: никто их не заставлял, никто им не ставил отметок, а они готовились, волновались, писали диктанты. Сами! По своей собственной воле!

Мы часто восхищаемся поступками, на которые не способны, — я восхищался своими родителями.

Рассказав о себе в первых трех строчках, они потом на трех страницах давали нам с бабушкой всякие разумные советы. Мы редко следовали этим советам, но письма читали и перечитывали с большим удовольствием: о нас помнили, о нас заботились. А это всегда приятно!

В ответ мы с бабушкой предпочитали посылать открытки, которые на почте называли «художественными». Мы были убеждены, что рисунки и фотографии вполне искупали краткость наших посланий. «Подробности в следующем письме!..» — неизменно сообщали мы под конец. Но это «следующее письмо» так ни разу и не было послано.

Однажды утром произошло неожиданное: я вытащил из ящика целых два письма. И на обоих было написано: «Сергею Емельянову». Этого еще никогда не случалось. Получать каждый день по письму я давно привык, но два в день... Это уж было слишком!

Я вскрыл первый конверт.

Сергей! Ты понимаешь, что если я пишу тебе, значит, не могу не писать. Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Еще тяжелее. Со мной случилась беда. И ты единственный человек, которому я хочу рассказать о ней, с которым хочу (и могу!) посоветоваться: ближе тебя у меня никогда никого не было и не будет. Это я знаю. Я не прошу защищать меня: не от кого. Никто тут не виноват: все произошло так, как и должно было произойти. Все нормально. Все справедливо! Но бывает ведь, знаешь: все справедливо, все правильно, а тебе от этого ничуть не легче. Я возвращаюсь с работы часов около шести. Если ты зайдешь в любой вечер, я буду очень благодарна. А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды... Это нормально, это можно понять. Но если зайдешь, я буду тебе благодарна. Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо.

Подписи не было. Внизу стояли лишь две буквы: «Н. Е.».

Обычно я читал письма на бегу, иногда спотыкаясь и толкая прохожих. Но тут я остановился.

Кто мог называть моего отца Сергеем? Серсжей?.. И обращаться к нему на «ты»? На конверте внизу, под чернильной зеленой чертой, был, как всегда, обратный адрес. Но имени и фамилии не было, а стояли все те же буквы: «Н. Е.». Кто эта женщина? И почему ближе моего отца у нее никого нет и не будет? Так могла написать только мама!

Я перечитал письмо. У меня неприятно дрожали руки. Потом я начал непроизвольно, шепотом повторять последнюю строчку: «Привет жене. Надеюсь, у вас все хорошо». Эта фраза немного успокаивала. «Какая-нибудь общая знакомая — и все, — убеждал я себя. — Конечно... Раз она знает маму. И пишет: «Привет жене».

Но постепенно голос мой сам собою стал звучать как-то насмешливо, и эти слова выглядели уже издевательски по отношению к маме. Я вспомнил, что отец употреблял слово «привет», когда хотел упрекнуть меня в чем-нибудь: «Опять принес тройку? Привет тебе!.. Опять подсказывал на уроке? Привет тебе!» Может быть, эта женщина научилась от отца употреблять слово «привет» в таком именно смысле?..

— Ты чего гудишь себе под нос? — откуда-то сверху, спускаясь по лестнице, спросил сосед.

Обычно, когда я врал, фразы у меня получались бодрыми, вызывающе уверенными, чтобы никто не мог в них усомниться. На этот раз я ответил вяло:

— Учу роль...

— Тоскливую тебе какую-то роль поручили, — сказал сосед, находясь уже подо мной, этажом ниже.

Я вспомнил о втором письме... В тот день была очередь отца, и мне неожиданно захотелось, чтоб он написал какие-нибудь хорошие, ласковые слова о маме. Но отец ничего такого не писал, он выражал в своем письме много разных надежд: надеялся, что я не буду забывать о математике, а бабушка о своем возрасте... Надеялся, что мы не будем каждый день заказывать селедку, потому что у бабушки в организме происходит вредное отложение солей и забывать об этом неразумно.

Как и с т и н н ы й друг школьного коллектива, он надеялся, что спортивный кружок без него не развалится. О маме не было ни единого слова...

Это показалось мне подозрительным. Подозрительным стало казаться мне даже то, что отец всегда уходил на работу вместе с мамой и возвращался вместе с ней. В этом была, чудилось мне в тот миг, какая-то нарочитость, как в моих фразах, когда я врал, но хотел убедить взрослых, что говорю чистую правду.

В школу я опоздал на целых пятнадцать минут. Но почему-то не стал помахивать в воздухе вскрытыми конвертами... Как назло, был урок зоологии.

— Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал наш классный руководитель. — Это, я вижу, не всегда верно: иногда падает очень далеко. Очень!..

До того дня жизнь казалась мне настолько простой и ясной, что я редко в чем-нибудь сомневался. Если же сомнения все-таки настигали меня, я почти никогда не шел с ними к отцу и маме: советы их были столь четкими и разумными, что до них вполне можно было додуматься самому.

Эти советы легко было произносить, но им трудно было следовать: они подходили лишь для таких образцовых людей, какими были мои родители. Я не был образцовым человеком — и чаще всего советовался с бабушкой.

Но на этот раз я не мог к ней обратиться: все-таки она была мамин ой мамой.

Иногда я советовался с Антоном. Он выслушивал меня очень внимательно. У него розовели корни волос, и это значило, что он старается глубоко вникнуть в суть моей просьбы или вопроса.

Потом он говорил:

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

Так как в моих сомнениях, как правило, ничего серьезного не было, я вскоре забывал о них. А мой добросовестный друг через день или два отводил меня в сторону и говорил:

— Я все обдумал. Мне кажется...

— Что ты обдумал? — легкомысленно спрашивал я.

Антон отчаянно заикался от чувства ответственности за решение того вопроса, о котором я успел позабыть. Это вызывало во мне раскаяние, и я выслушивал своего друга с таким благодарным вниманием, что корни его белесых волос начинали прямо-таки пылать. Советы Антона тоже редко устраивали меня. Согласно им почти всегда нужно было жертвовать собой во имя правды и справедливости. А я жертвовать собой не любил. Но я верил своему лучшему другу. И знал, что, если когда-нибудь меня подстережет настоящая опасность, я приду за помощью именно к нему.

И вот опасность возникла. Я еще не мог разглядеть ее лица, но я предчувствовал ее. Это была, наверно, та единственная беда, с которой я не мог прийти даже к своему лучшему другу. И вообще ни к кому... Никому не мог я сознаться в том, что отец (мой отец!) был и будет для какой-то неведомой мне женщины самым близким человеком на свете. Он не был таким даже для мамы... Она часто повторяла, что «для настоящей матери самый дорогой человек — это ее ребенок».

— Таков закон природы! — соглашался отец. Он всегда уважал законы.

Я не мог обратиться ни к бабушке, ни к Антону — и решил сам защитить наш дом, а заодно и свое спокойствие, свою

душевную беспечность, ценность которой сразу необычайно поднялась в моих глазах. Я, ничего еще не свершивший, решил сам защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: образцовость нашей семьи.

Женщина писала, что приходит с работы часов около шести. В это время я и отправился по адресу, который был написан на конверте внизу, под зеленой чернильной чертой.

Я проехал две остановки на автобусе, прошел немного пешком и остановился возле двухэтажного желтого домика. Над его окнами нависли витиеватые лепные украшения, на которых, как сосуды на лицах пожилых людей, выступили толстые трещины. На таких старых домах часто, будто заплатки из другого, нового материала, сверкают гранитом и золотом мемориальные доски: «Здесь жил... Здесь бывал... Здесь родился... Здесь умер...» На этом доме доски не было, хотя, конечно, немало разных людей в нем родилось, жило и умерло.

Я долго разглядывал желтое, выцветшее здание, потому что вдруг оробел. И что я скажу той женщине, мне было вовсе не ясно. Все вдруг меня стало интересовать... Я разглядывал вату между оконными рамами, грязную, запыленную, с редкими кружочками конфетти: залетели, должно быть, сюда из комнаты в новогоднюю ночь. Я на все обращал внимание: на просаленный сверток, втиснутый в форточку, на сосульки, которые нависли над окнами тоже как украшение, только новенькое, хрустальное. Что я скажу? Как начну разговор?..

Я вспомнил цветную фотографию из журнала, которая долгие годы висела у нас на кухне, над столиком одинокой соседки, — красавица в купальном костюме, опершись на весло, призывала всех жильцов нашей квартиры: «Путешествуйте летом по рекам!» Одинокая соседка никогда по рекам не путешествовала, и непонятно было, зачем она вырезала и повесила ту фотографию.

Заходя на кухню, отец часто останавливался возле красавицы в купальном костюме и говорил: «Она совершенно права: нет ничего разумнее отдыха на воде!» Отец соглашался с женщиной на фотографии. Это меня злило. Я сравнивал ее с мамой и огорчался: женщина с веслом, тоже загорелая, тоже белозубая, была все же красивее мамы. И я всегда старался унижить красавицу: «Знаю таких! Купальный костюм наденут, а плавать не умеют. Весло возьмут, а грести не могут! С теннисной ракеткой расхаживают, а в теннис ни разу в жизни и не играли...»

Прохаживаясь в нерешительности возле старого желтого дома, я мысленно представлял себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню в квартиру номер семь (она, вероятно, на втором этаже), как услышу за дверью легкие, ничего не подозревающие

шаги, как приму гордую позу, протяну письмо и спрошу: «Это вы писали?» — «Да», — ответят мне тихо. «Вам просили вернуть!..» И уйду.

Но потом я решил, что так быстро уходить не стоит. Может быть, мне предстоит борьба?

А если дверь мне откроет красавица, вроде той, что коптилась у нас на кухне? И она будет красивее мамы?.. Но, конечно, она не умеет так, как мама, ходить на лыжах и плавать. Не умеет проектировать заводы, которые строятся где-то далеко от нашего города... И никто, конечно, не восхищается ею так, как мамой! Я расскажу ей все о своей маме, чтоб она и не думала с ней тягаться.

Зарядившись решительностью и гневом, я взбежал на второй этаж. Письмо я держал перед собой... Так жильцы, у которых мы нечаянно выбивали стекла футбольным мячом, прибегая к нашим родителям, всегда торжественно держали впереди себя этот самый футбольный мяч: он был главным свидетелем обвинения.

На двери квартиры номер семь висел список жильцов. «Н. Емельяновой — 3 звонка», — прочитал я. Н. Емельяновой? Что за странное совпадение? Так, может быть, она просто папина родственница? Двоюродная сестра, например? А я о ней ничего не знаю... Забыли мне рассказать — что ж тут такого? Может быть, у нее нет ни родителей, ни мужа, ни ребенка и поэтому мой отец — самый близкий для нее человек? Это вполне возможно. Конечно, это так и есть!

Злость моя сразу прошла. И как тот же футбольный мяч, из которого вдруг с шипением выполз весь воздух, я сразу сник, присмирел. Спрятал конверт в карман. Но потом снова вытащил: я вспомнил, что у женщины этой случилась беда. Странно, но ни разу за весь день я не подумал о строчках, которые были в письме главными, ради которых и было написано все письмо: «Мне сейчас очень худо, Сережа. Хуже, чем было в тот мартовский день... Со мной случилась беда».

Что за мартовский день? Наверно, в тот день кто-то умер. Или она тогда провалилась на экзаменах, а сейчас кто-нибудь умер... Ведь она пишет, что теперь ей еще труднее.

А зачем я тогда пришел? Просто скажу, что отца нет в городе, и все. Чтоб не ждала. Я вновь спрятал письмо и позвонил. За дверью послышались стремительные, нетерпеливые шаги, к двери почти бежали.

Эти три звонка были долгожданными. Но ждали, конечно, не меня.

Открыла женщина... В коридоре и на лестнице было полутемно.

— Ты к кому, мальчик? — не сразу, сдерживая разочаро-

вание, спросила женщина. И странно было, что это она только что бежала по коридору: вид у нее был измученный.

— Мне к Емельяновой...

— Ты от Шурика?! — вскрикнула женщина. Но вскрикнула еле слышно, как бы про себя. И еще раз повторила уже совсем тихо, с надеждой, боящейся обмануться: — Ты от Шурика?

— Нет... я по другому вопросу...

4

Войдя в комнату, я вздрогнул и застыл... потому что увидел отца.

Никогда еще я не видел его таким. Он смотрел на меня не своим обычным спокойным или уверенно-жизнерадостным взглядом, а глазами растерянными, ищущими чьей-то помощи. И волосы его не были аккуратно зачесаны назад (иногда по утрам он даже натягивал на голову сетку, чтобы ни один волосок не нарушал порядка), — нет, волосы его беспорядочно толпились, спадали на лоб и на уши, которые показались мне очень большими, потому, должно быть, что лицо было истощенным и узким. На щеках были даже неглубокие ямочки, которых я никогда раньше не замечал.

И одет он был совершенно неузнаваемо... Не было на нем василькового тренировочного свитера («Из чистой шерсти!» — объяснил мне однажды отец), не было добротного костюма с редкими, еле заметными белыми полосками на темном фоне, а была какая-то помятая косоворотка с незастегнутыми верхними пуговицами. Косоворотка морщижилась, потому что была велика для отцовской шеи, которая никогда прежде не казалась мне такой беззащитно-тонкой.

А на другой фотографии отец был в солдатской гимнастерке, которая тоже была ему велика. На бритой голове сидела пилотка со звездочкой. А взгляд был безрадостным, горьким.

— Это я получила в сорок первом году, с фронта. Тогда было очень плохо... — неожиданно произнесла женщина.

Голос у нее был мягкий, успокаивающий, как у врачей и медсестер, которые однажды лечили меня в больнице.

Слова «тяжело» и «плохо» они произносили так, будто знали, что очень скоро все будет легко и хорошо. Грустные слова звучали у них без малейшего намека на безнадежность.

Она не могла понять, почему я так долго и пристально разглядываю фотографии на стене. Но не спрашивала меня об этом.

И тогда я сказал:

— Это мой отец.

Она подошла ко мне совсем близко и стала молча, внимательно смотреть мне в лицо, как это делают люди, страдающие близорукостью. В их откровенном разглядывании не ощущаешь ничего бесцеремонного и обидного.

Тут и я получше рассмотрел ее. Она и правда была близорука: очки с толстыми стеклами, казавшиеся мне мужскими, не вполне помогали ей — она прищуривала глаза. Трудно было определить, сколько ей лет: лицо было бледное, утомленное, но что-то, какая-то деталь внешности упрямо молодила ее. Потом уж я понял, что это была смоляная коса, как бы венчавшая ее голову тугим кольцом.

Когда отец знакомил меня со своими приятелями или сослуживцами, те обязательно говорили:

— Папин сын! От такого не откажешься!

Или что-нибудь вроде этого. Хотя на самом деле я был похож на бабушку, на мамину маму.

Женщина долго рассматривала меня, но не сказала, что я похож на отца. А просто спросила:

— Это отец прислал тебя?

— Моих родителей нет. Они уехали в командировку.

Мне захотелось подчеркнуть, что отец и мама уехали вместе. Но слова «мама» я при ней произнести не смог и поэтому сказал «родители».

— Надолго уехали?

— Года на полтора, — неожиданно для самого себя соврал я. А потом добавил: — Или на два... Как там получится. — И, чтобы скрыть свое смущение, стал очень подробно объяснять: — А тут ваше письмо пришло. Я утром полез в ящик, думал — от отца, а это от вас... Я его прочитал — и сразу решил...

Тут только я сообразил, что чужое письмо читать не полагалось, и споткнулся, замолк. Но лишь на полминуты. А потом от нараставшего смущения стал объяснять еще подробнее:

— У нас с отцом одинаковые имена. А на лестнице по утрам темно, плохо видно. Я не разобрал сперва, кому письмо... Вижу... Сергею Емельянову. Я и подумал, что мне. Потом вижу: не мне. Но поздно уже было...

Я протянул ей письмо, которое успел выучить наизусть. От этого оно выглядело помятым архивным документом.

— Ты, значит, тоже Сергей? — переспросила она. — В честь отца? Это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он много вынес... Особенно в юности. Видишь, какой худой. Заочно учился, работал. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила...

— Вы доктор? — спросил я.

— Да... У него была жестокая бессонница. Спасти его могли лишь спорт. Еще режим дня, дисциплина... Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит?

Отец часто с гордостью говорил, что спит, как богатырь, и даже снов никогда не видит. «Какие нынче показывают сны? — шутил он. — Цветные, широкоформатные?» Но я не решился сообщить ей об этом. И сказал:

— Спит так себе. Как когда...

Прощаясь, она не просила меня передавать отцу привет, не говорила, чтобы он, когда приедет, зашел к ней.

— Как вас зовут? — спросил я уже в дверях.

— Ниной Георгиевной, — ответила она. — И улыбнулась: — Лучше поздно, чем никогда. Хотя это можно понять: мы оба с тобой смущались...

«Она была женой отца, — думал я, возвращаясь домой. — Она не сказала об этом, но я уверен. Здесь, в этом стареньком желтом доме, отец был худым и страдал бессонницей. Учился... Заочно, после работы. Наверно, она ему помогала... Отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила... Но почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему? Даже бабушка, с которой мы так часто обмениваемся тайнами... А может, она сама ничего не знает?»

Я слышал, как однажды, в день годовщины свадьбы моих родителей, отец провозгласил тост за свою первую любовь. То есть за маму... Значит, эту женщину он не любил?

Дома я спросил у бабушки, которая перечитывала Стивенса или Вальтера Скотта (это были ее любимые писатели):

— Бывает так, что первая любовь приходит потом?.. Человек уже женат, а первая любовь еще не пришла... Так бывает?

— Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец — у него и спроси.

— Почему у отца?

Бабушка резко оторвалась от своих любимых приключений, отвлечь от которых ее было не так-то легко, и взглянула на меня без своей обычной лукавой улыбки. Конечно, она все знала.

Я смотрел на отца, хохотавшего со стены. На лице у него не было ямочек, шея уже не была худой и беззащитной...

Но ведь она сама сказала, что мой отец — замечательный человек. Сама сказала!..

На следующий день я полез в наш старый почтовый ящик не по дороге в школу, а как только проснулся, выскочив на лестницу в трусах и майке. Двух писем на имя Сергея Емельянова прийти уже не могло, это я понимал, а все же долго не мог попасть плоским ключиком в маленький, словно игрушечный, замочек, в который прежде попадал сразу... Письмо было от мамы.

Читать его на ходу я уже не мог. Уселся в ванной, заперся и стал внимательно изучать строчку за строчкой, чего раньше ни разу не делал. Всему я теперь придавал преувеличенное значение. И прежде всего отметил, что мамино письмо заметно отличалось от писем отца. Должно быть, и раньше они писали по-разному, но я не обращал на это внимания. А сейчас вот заметил.

Отец никогда не сообщал, что скучает по дому, что хочет скорей вернуться, хотя, конечно, скучал. Он считал неразумным расстраивать понапрасну себя и нас с бабушкой, если уж командировка выписана на определенный срок и сократить его невозможно.

Отец часто употреблял эти слова: «разумно» и «неразумно».

— Неразумно зря растравлять себя и других,— говорил он.

Мама себя растравляла. Она писала, что все время видит во сне, будто я заболел (в отличие от отца она видела сны). Она беспокоилась, не болят ли у бабушки ноги, в которых происходило то самое вредное отложение солей. Мама клялась, что больше никогда не уедет в столь длительную командировку. Она и раньше обещала мне это.

Я слышал, как в последний раз, перед отъездом, отец уговаривал маму:

— Неразумно оставлять объект без присмотра. Это же наше детище!

— Он тоже наше детище,— возразила мама, указывая на меня. Она очень редко не соглашалась с отцом и делала это робко, сама удивляясь тому, что спорит.

Отец говорил об общественном долге, о том, что на нас с бабушкой можно положиться, что мы оба взрослые люди.

— Он, может быть, и взрослый,— кивнула в мою сторону бабушка,— но о себе я этого сказать не могу.

— Зато я скажу за вас обоих! Вы не можете нас подвести! — воскликнул отец.

Он часто переходил на громкие восклицания, которые как-то очень быстро решали спор в его пользу.

В этом письме мама вновь жаловалась, что очень тоскует. Она мечтала о том, что́ будет, когда они возвратятся домой...

Этим мечтам было посвящено целых полторы или две страницы.

Мама писала, что они с отцом приучат меня вставать рано-рано, в половине седьмого, — и мы все втроем будем бегать до завтрака вокруг двора. Она писала, что по воскресеньям мы вчетвером, вместе с бабушкой, будем ходить в музеи, на выставки...

Мама уже не первый раз мечтала в письмах обо всем этом, и всегда ее мечты казались мне на расстоянии очень привлекательными. Я готов был вставать ни свет ни заря и бегать по двору (лишь бы мама с отцом скорее вернулись!). Я готов был ходить на выставки и в музеи, хотя мы с бабушкой явно предпочитали кино (лишь бы скорее приехали!).

Но на этот раз мамины мечты и особенно ее уверения: «Все снова будет прекрасно! Все будет так хорошо!» — не вызвали у меня той радости, какую вызывали прежде. Странное, незнакомое чувство мешало мне радоваться... Мне словно было немного стыдно за то, что все опять будет «так хорошо».

«Глупости! — решительно сказал я себе, прогоняя неприятное, тревожное чувство. — Какие глупости!.. Разве без н е е отец не окончил бы институт? Разве другие врачи не могли вылечить его после контузии?..»

В ванную комнату постучались соседи. И я побежал одеваться с той мыслью, которая пришла ко мне последней: отец и сам бы добился всего! Конечно, всего бы добился: ведь я видел, как он мог и сейчас ночами сидеть над чертежной доской, как мог сам (без всякого принуждения) изучать английский язык, чтобы потом читать научные книги.

В школу я пришел успокоенный и снова всем на свете довольный.

На последнем уроке Антон получил тройку по физике. Он знал все прекрасно, но очень смущался.

— Тебе бы лучше отвечать после уроков, один на один с учителем. Ты бы тогда не терялся! — утешал я своего друга. — И не надо выходить к доске, а прямо со своего места... Хочешь, я предложу? Так, мол, и так, в связи с заиканием... Ты ведь контрольные как здорово пишешь! А почему? Никто на тебя не глазет!

Сочинения и контрольные Антон писал хорошо, гораздо лучше, чем отвечал у доски. Все считали, что он у меня сдувает. Это было ужасно несправедливо, потому что на самом деле я сдувал у него.

Антон в тот день очень расстроился. Это было написано у него на лице. Лицо было круглое, большое — и на нем легко было все прочитать.

Я решил снова утешить Антона:

— Пошли в кино!

— Прости, Сергей... Но я не смогу. Сегодня у мамы нет ночного дежурства. Она будет дома.

Его мама работала телефонисткой.

— Чудак! Ты ничего не понял. Пойдем на вечерний сеанс, с бабушкой. Скажем, что она совсем ослабела и мы вдвоем ее сопровождаем. Понял?

— Прости, Сергей... Мне неудобно тебе отказывать, но когда мама дома...

— Сидишь возле нее? Развлекаешь?

Антон думал о чем-то своем и даже не ответил на мой вопрос. Он сказал:

— Не знаю прямо, как ей дневник показать...

— А ты не показывай. Скажи, забрали на проверку. В горно!

— Не могу я ее обманывать. Хватит с нее.

— Чего «хватит»?

— Она говорит: «Если и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь».

— А из кого еще-то не вышло?

— Ну, это она так считает... что жизнь у нее не удалась. Я очень хочу сделать ей что-нибудь такое... приятное. А приношу домой одни неприятности.

Мы дружили с Антоном больше двух лет, но ни разу я не был у него дома. Наверно, там было не очень уютно — и он не приглашал.

Маму его я никогда не видел. В тот день она представлялась мне похожей на Нину Георгиевну.

Мне тоже хотелось сделать для Нины Георгиевны что-то приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда... Не решился. Или просто забыл: все расспрашивал об отце. Хотя с ним никакой беды не случилось.

Я не хотел, чтобы отец защищал ее, и наврал, что он вернется через полтора года. Но сам-то я мог помочь ей! Вместо отца...

У меня уже не было ее письма, но я знал его наизусть. И как это бывает, в памяти сами собой всплывали то одни, то другие строчки. «А если не зайдешь, не обижусь. В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...» Сперва я не обратил на эти строки внимания. А тут вспомнил их. Значит, она уже однажды писала отцу, звала его, но он не пришел? Зачем она его звала? Когда это было?.. И кто такой Шурик, от которого она с нетерпением ждет вестей?

Я готов был ее защищать! Но ведь она писала, что защищать ее не от кого. Может, ей просто нужно, чтоб кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться?..

Защищать, конечно, труднее, чем «просто выслушать». Но



А. Алексин. «А тем временем где-то...»

на защиту не нужно иметь прав: чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтобы ты мог «просто выслушать», надо, чтоб тебе рассказали, доверили, чтоб с тобой поделились.

Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал.

6

Однако, подходя к желтому двухэтажному домику, я почему-то вновь забыл о ее беде. Я думал только, как бы мне потактичнее узнать, из-за чего они расстались с отцом. Как об этом спросить? Может быть, так: «Из-за чего вы перестали быть вместе?» Эта фраза заставила меня поежиться: трудно было представить себе, что отец был вместе с кем-нибудь, кроме мамы. Лучше спросить прямо: «Из-за чего вы развелись?» Или: «Из-за чего разъехались?» Все эти фразы мне как-то трудно и непривычно было произносить...

— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я.

Она улыбнулась:

— Не ссорились и не дрались... Просто так вышло. Я ведь гораздо старше Сергея... Все это можно понять.

Я с радостью вдруг подумал, что мама на целых семь лет моложе отца. Должно быть, лицо мое, помимо воли, на миг выразило эту радость. Нина Георгиевна с чуть заметным удивлением поправила очки. И тогда я, чтобы загладить свою вину, слишком уж громко, с грубо подчеркнутым сочувствием спросил:

— У вас какая-то беда случилась?

Ей не хотелось отвечать на такой вопрос. Она и не ответила. А просто подошла к фотографии, на которой был изображен мальчишка лет трех или четырех, в матроске с серебряным словом «Витязь» на ленте, и стала рассказывать как бы самой себе:

— Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне. Сейчас ему пятнадцать лет и семь месяцев.

Она, конечно, очень любила этого мальчишку, если называла его возраст так точно, по месяцам. Мама тоже так именно говорила о моем возрасте. А отец будто старался сделать меня чуть постарше: «Ему двенадцатый! Ему тринадцатый!» Я сердился на маму за ее точность — манера отца больше устраивала меня: я хотел в ту пору скорей повзрослеть.

В коридоре раздался звонок. Нина Георгиевна побежала открывать с той неожиданной для нее быстротой, которая уже удивила меня накануне. Я даже не успел сказать ей, что звонили всего один раз. Я сказал это, когда она вернулась.

— Вам ведь... три звонка?

— Знаю,— мягко перебила она.— Я только вижу плохо, а слышу пока хорошо.— И продолжала сообщать как бы самой себе: — Недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться... Это нормально.

Она не могла больше рассказывать.

Чтоб прекратить молчание, я тихо спросил:

— Его Шуриком зовут?

— А ты откуда знаешь?

— Вы вчера подумали, что я от Шурика... Когда открыли дверь.

— Да... Он уехал к своим родителям. Они остановились за городом, у родных. И все не приезжает... Я знаю адрес. Но ехать нельзя: может быть, родители хотят, чтоб он к ним привык. Это нормально. Это можно понять.

Снова раздался один звонок. И снова она побежала открывать.

А вернулась обратно совсем без сил: ей нелегко было ждать.

Она опустилась на диван. И опять стала рассуждать сама с собой, будто меня не было в комнате:

— Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже... Все-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. Вторая потеря в жизни... Тогда я была еще молодой, были надежды. А теперь ничего уже нет...

— Хотите, я съезжу? Туда, за город... И привезу его! Хотите?

Она вздрогнула, удивившись, что я слышал ее слова.

— Никого привозить не надо. Кто хочет, сам приезжает... Ты согласен?

Я был согласен, но не сказал этого. А сказал совсем другое:

— Вы не будете одна, Нина Георгиевна! Хотите, я буду к вам приходить? Хоть каждый день. Честное слово! Хотите? Хоть каждый день!

7

Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно.

«Как же я буду ездить к ней каждый день? — рассуждал я, вернувшись домой.— Сейчас еще ничего... А потом, когда вернутся мои родители?»

Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать себя в том, что делать это совершенно необязательно и даже вовсе не нужно. Так было и сейчас.

Я начал рассуждать: «Ведь я же не сказал ей твердо и

уверенно, что буду приходить, а просто задал вопрос: «Хотите, я буду к вам приходить?» И она мне ничего не ответила — ни «да», ни «нет». А ведь если б она хотела, то обязательно бы сказала: «Приходи! Приходи, пожалуйста! Я буду ждать тебя!» Она ничего этого не сказала. А я возьму и без всякого приглашения буду ходить? И потом, вообще... «Хоть каждый день» — это же, как говорит наша учительница литературы, «сознательное преувеличение, гиперболическое заострение». Она это, конечно, поняла...

А я вдруг залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе и не было!»

Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно.

Но на следующий день пошел...

Дверь мне открыл парень лет пятнадцати. Увидев его, я поправил свою шапку-ушанку, которая одним ухом всегда упрямо сползала мне на лицо, и, хоть был не на улице, застегнул пальто на все пуговицы. Парень был аккуратный, прибранный.

У него были волнистые светлые волосы, зачесанные набок, голубые глаза и по-девичьи нежные щеки.

Вежливо и даже ласково он осведомился, кого мне нужно. Я терялся и благоговел перед мальчишками, которые были всего на два или три года старше меня, гораздо больше, чем перед взрослыми. Особенно я робел перед теми, которые были непохожи на меня, в которых я чувствовал превосходство. Я и тут оробел... И чуть было не забыл имя-отчество Нины Георгиевны.

— Заходи, пожалуйста, — сказал парень.

Он пропустил меня вперед. Я прошел до конца коридора и постучал в последнюю дверь. Парень удивленно посмотрел на меня: откуда я знаю, куда стучать? Но ничего не спросил. Он гостеприимно распахнул передо мной дверь — и я вновь увидел отца... И опять застыл почти на пороге. Но парень не торопил меня. Наконец он сказал, не поняв причины моего замешательства:

— Не стесняйся. Заходи, пожалуйста. Она скоро придет.

Мне казалось, он научился мягкости и вежливости у Нины Георгиевны.

Я вошел... Книжный и платяной шкафы были раскрыты, на полу стоял чемодан с откинутой крышкой. Проходя мимо, я заглянул в него: там, на дне, лежал пестрый свитер и несколько книг.

— Раздевайся, пожалуйста... И садись на диван, — сказал парень. — Чтобы не было скучно ждать, почитай книгу.

Не глядя, он вынул из шкафа и бросил на диван толстый том. Это был сборник медицинских статей.

— Разденься, здесь очень жарко, — заботливо повторил он.

Я посмотрел на его отглаженный костюм, на клетчатую рубашку с отложным воротником без единой морщинки, вспомнил о том, что сегодня посадил два свежих чернильных пятна на свою помятую куртку, и не стал раздеваться.

— Не обращай на меня внимания. Я должен собраться,— сказал он.

И стал заполнять чемодан.

Книги стояли на полках плотно, одна к другой, словно в строю. Он вытаскивал некоторые из них, и ряды редели, в них образовывались просветы.

Иногда он задумывался:

— Не помню, моя или нет. Кажется, это мне подарили. Сделали б надпись, все было бы ясно.

Один раз он повернулся ко мне и сказал:

— С вещами легче: там уж не перепутаешь.

Он продолжал складывать в чемодан рубашки, трусы, майки.

Каждую вещь он предварительно разглядывал, словно был в магазине и собирался ее покупать.

Отдышавшись немного, я подумал, что глупо сидеть на диване в застегнутом на все пуговицы пальто и молчать. И я спросил то, в чем был совершенно уверен:

— Ты Шурик?

Он снова повернулся ко мне:

— А тебе это откуда известно? На лбу у меня вроде ничего не написано.— Он потрогал свой лоб.— А тут написано: «Витязь».

Он указал на фотографию мальчишки лет трех или четырех, в матроске и бескозырке.

— Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала... Она очень ждала тебя.

Лицо его стало строгим и даже печальным.

— Она меня очень любит,— уверенно сказал он.— И я ее тоже очень люблю. Хотя она странный человек... Не от мира сего, то есть не от того, в котором мы с тобой проживаем. Добрая очень... И меня бы испортила своей добротой, если бы я не оказывал сопротивления. Это было мне нелегко.— Он вздохнул, жалея себя за то, что к нему были слишком добры.— У нас даже бывали конфликты. Сейчас, узнав своего отца, я понял, что во мне от рождения — отцовский стержень. Это меня и спасло.

Он продолжал укладывать вещи.

— Я должен был выбрать. У человека не может быть двух матерей. Тем более что родители мои живут в другом городе. Значит, разлука с Ниной Георгиевной неизбежна. Они ведь тоже любят меня. Пятнадцать лет ждали, искали повсюду. Значит, я должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе. Так Нине Георгиевне будет гораздо легче... Если собаке

хотят отрубить хвост, это надо делать в один прием. Так сказал мне отец. А есть, говорит он, добрые люди, которые рубят хвост в десять приемов, по кусочкам. И думают, что так благороднее. Поэтому я и не приходил... Сейчас вот уйду, а потом напишу письмо. Прощаться с глазу на глаз — это невыносимо.

Я не понимал, почему он мне все это говорит.

А он продолжал:

— Мои родители очень благодарны Нине Георгиевне. Хотя и в детском доме мне было бы хорошо: у нас в стране сироты не погибают. Но в домашних условиях, разумеется, было гораздо лучше. Это даже сравнить нельзя. Мои родители хотели на работу ей написать официально выразить... Но она категорически отказалась. Не от мира сего!..

Я подумал, что его никак нельзя было бы обвинить в «нечеткости». Он, видно, любил поговорить, и все его фразы были обдуманными, чересчур завершенными. Он твердо знал, что Нина Георгиевна его очень любила. Он твердо знал, что она могла погубить его своей добротой, но что сироты у нас в стране не погибают. Он был уверен, что родители тоже его очень любят. И что внутри у него — отцовский стержень. Он не сомневался, что хвост надо рубить в один прием... Нину Георгиевну он четко называл Ниной Георгиевной, хотя раньше — мне это неожиданно пришло в голову, — конечно, называл ее мамой. Он ни разу не сбился, не назвал ее так, как раньше.

И все же я улавливал в его голосе желание что-то объяснить, оправдаться. Поэтому-то, наверно, он и рассказывал мне то, о чем я его вовсе не спрашивал.

— Думаешь, мне нужны эти рубашки и книги? Родители купят новые... Я просто не хочу, чтобы они напоминали Нине Георгиевне обо мне. Ей это будет тяжело... Лучше уж сразу исчезнуть, лучше один раз пережить — и больше не вспоминать. Вот посмотри, на обратной стороне крышки написано: «Шурик Емельянов, второй отряд». Я с этим чемоданом ездил в пионерлагерь, когда был таким, как ты. Она же будет эти слова читать и перечитывать. А зачем? Лучше я заберу чемодан.

У нас с ним была одна фамилия. Это мне не понравилось. И еще я заметил, что от висков у него, как свалявшийся войлок, свисали белесые космы, которые он еще не брил. И от этого его красивое лицо сразу стало казаться мне неприятным.

Он подошел ко мне, взял за плечи и тоном заговорщика произнес:

— Тебя как зовут?

— Сергеем.

— Помоги мне, Сергей! Дождись Нину Георгиевну. Она скоро придет: у нее день родительских консультаций. Скажи, что я очень переживал, что я мысленно с ней прощался. Расскажи,

как живой свидетель... Тебе все равно надо ее дожидаться! Ты ведь на домашнюю консультацию?

— На какую?

— Как — н а к а к у ю? Ты разве не пациент? Не из нашей школы?

— Нет, я из другой...

— Ничего не пойму! Я был уверен, что ты на домашнюю консультацию...

— На какую консультацию? — снова спросил я.

— Она же в моей школе врачом работает. То есть в моей бывшей школе. И дополнительные консультации устраивает: родителям и ребятам. В школе и даже дома... Сознательность на грани фантастики! Иногда, бывало, просто отдохнуть невозможно: придет какой-нибудь охламон из «неполной средней» и раздевается тут до пояса, дышит, как паровоз, то носом, то ртом. В общем-то, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. Только никто ей спасибо еще не сказал. Я, по крайней мере, не слышал. А ты-то зачем пришел?

— Я по другому вопросу.

— П о в о п р о с у? Не буду вдаваться в подробности: некогда. Жаль, что ты не из нашей школы: хотел оказать небольшую услугу. Ответную, так сказать!

— Какую? — полюбопытствовал я.

— Да зачем же тебе, раз не из нашей школы? Хотел вспомнить о шалостях раннего детства...

Он махнул рукой, стыдясь несолидных детских воспоминаний. Но все-таки стал вспоминать:

— Она ведь почти ничего не видит. И вежлива очень. Даже если не верит, не решается этого показать, чтоб не обидеть. «Не ранить!» — как она говорит. Ребята, конечно, этого не знали. Ну а я подсказал им по-дружески: если, мол, хотите смываться с уроков, делайте это законно, по всем правилам. Подсказал им, что если сесть от нее хотя бы на расстоянии трех шагов, взять градусник и потихоньку настукивать температуру, она ничего не заметит. У нас, помню, целыми классами настукивали. Особенно перед контрольными. На школу, так сказать, обрушивалась эпидемия! А она ничего не замечала... И выписывала справки, освобождала от занятий. Смешно вспомнить! Заблуждения молодости... Я хотел на прощание сослужить тебе службу. Как говорится, услугу за услугу. К сожалению, ты не сможешь воспользоваться...

Он торжественно и неторопливо согнул руку в локте, рукав пиджака сморщился, полез вверх, и я увидел у него на руке модные плоские часы.

— Отец подарил, — между прочим сообщил он. И сразу заторопился: — Мне пора! Скоро Нина Георгиевна вернется.

Очень хочется ее увидеть, но разговор принесет ей только расстройство. Лучше потом напишу письмо.

Он вернулся к своему чемодану. Стал закрывать крышку, но она не захлопывалась до конца: то вылезал кончик рубашки, то высовывались трусы. Тогда он сел на крышку и так, сидя на ней, закрыл чемодан на ключ. Но синие трусы все же продолжали торчать...

На прощание Шурик еще раз повернулся ко мне:

— Очень хорошо, что ты здесь оказался. Я потом напишу Нине Георгиевне. А ты скажи, что я очень переживал. Это правда. Я ведь люблю ее. И многим обязан... Но если нашлись родители? Я же не виноват.

8

«И этот ее покинул», — мысленно сказал я себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь.

Но он тут же вернулся. Я подумал, что он все-таки хочет ее дожидаться.

Шурик положил на стол два ключа и сказал:

— Передай ей, пожалуйста. Вот этот, английский, от парадной двери... Впрочем, она знает. Теперь мне не будет пути: вернулся.

«Пусть не будет...» — подумал я. Боясь встретиться с ней по дороге, он удалился почти бегом, припадая на правую сторону: руку оттягивал чемодан. Он удирал...

Я смотрел на мальчишку в матроске с серебряным словом «Витязь». Я любил сравнивать старые фотографии с живыми людьми, которые были на них изображены и которых я знал повзрослевшими, постаревшими и совсем другими.

«Эх ты, витязь! Рыцарь! — думал я. — Исчезнуть... Так ей будет легче! И в детском доме было бы хорошо... У нас в стране сироты не погибают... Все правильно. Все абсолютно точно».

Я представлял себе, как много лет назад Нина Георгиевна купила ему этот нарядный матросский костюмчик, как долго причесывала его перед тем, как повести к фотографу: из-под бескозырки продуманно выбивались светлые волнистые волосы. Но часы она ему купить не успела.

Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. «Они ведь такие разные, — говорил я себе. — И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома». Я был в этом уверен, хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Память, словно желая поспорить со мной, вновь и вновь злонамеренно возвращала к строчкам письма Нины Георгиевны, которые были мне непонятны: «А если не зайдешь, не обижусь.

В конце концов, ты не обязан. И вправе просто не захотеть, как уже было однажды...»

В коридоре раздались шаги — снова быстрые, неусталые: она спешила, думала, что он ждет ее. Тем более что, убегая, Шурик неплотно закрыл дверь — и в коридор выбивалась полоска света.

Я схватил ключи, лежавшие на столе, и сунул в карман пальто. Я сделал это необдуманно и лишь потом понял зачем: ключи на столе говорили о чем-то окончательно непоправимом.

Не веря своим близоруким глазам, Нина Георгиевна обошла комнату. И, даже не поздоровавшись со мною, спросила:

— Спрятался?.. — Вполголоса, доверительно она сообщила мне: — Эта привычка у него с детства. Закрылся в шкафу?

Она распахнула платяной шкаф. Должно быть, раньше вещи Шурика заполняли шкаф целиком: теперь он был почти совершенно пуст.

Нина Георгиевна присела на стул. Так мы сидели с ней друг против друга, в пальто, застегнутых на все пуговицы.

— Он был? — спросила она.

Я кивнул.

— А сейчас?

— Он ушел... Сказал, что напишет письмо.

Она сгорбилась, пригнула голову. Мне показалось, что Шурик ударил ее тем самым стержнем, который был у него внутри.

Из-под шапки не было видно смоляной косы, и поэтому ничто не молодило ее лица: оно было бескровным, измученным. Чтоб успокоить ее, я сказал:

— Шурик будет писать вам... Вы будете с ним переписываться!

— Он должен был выбрать, — сказала она. — И выбрал мать и отца. Это нормально. Это можно понять.

И тут со мной произошло что-то странное. Я не мог усидеть на диване. Почему она всегда «может понять» тех, кто приносит ей горе? Почему считает «нормальным» все плохое и несправедливое, что случается с ней? Мне уже не хотелось больше успокаивать ее. И я не заговорил — я закричал:

— Ваш Шурик — предатель! Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас... Как предатель!

Теперь уже я ударил ее.

Она сняла очки, словно думала, что они обманывают ее, что это не я кричу на всю комнату. Я увидел ее глаза — прищуренные, беззащитные. Но во мне не было жалости. Наоборот, мне хотелось взбудоражить ее, возмутить, сделать так, чтоб она закричала в один голос со мной. Хотя продолжал я уже не так громко, как начал. Но все-таки упрямо продолжал:

— Он рассказал своим друзьям, что вы плохо видите. И что вы добрая... Они обманывали вас. Настукивали температуру... Чтоб убегать с уроков. Это он подучил их! А вы им верили.

Она сгорбилась еще сильнее, еще ниже пригнула голову. И взглянула на меня исподлобья — очень странно, будто осуждая за то, что услышала. Осуждая не Шурика, нет, не Шурика, а меня. Не поняв этого взгляда и испугавшись, я стал утешать ее:

— Это было давно. Когда Шурик был еще маленьким... Он просто не понимал. Был еще несознательным! А сейчас ему стыдно. Он сам сказал мне... Честное слово! Не верите?

Я защищал Шурика, хотя она его ни в чем не упрекала. Я извинялся за то, что посмел обидеть его.

Она не слушала меня. Она разговаривала сама с собой:

— Это можно понять. Это нормально. Я ведь не детский врач... Я невропатолог.

Стало быть, она осуждала не только меня, но и с е б я. Всех, кроме Шурика. Это было непостижимо.

— Значит, я не имею права лечить детей. Я их люблю! Ну что ж, тем более не имею права... Они обманывали меня? Значит, не уважают.

— Что вы! Что вы?! — Я замахал руками. — Это взрослые, когда уважают, то не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово!

Она не слушала, а я настаивал на своем:

— Так бывает. Вот мы, например, очень уважаем учительницу литературы. Мы даже любим ее! Недавно она спрашивает в начале урока: «Я вам задавала домашнее сочинение?» А мы все хором орем: «Не задавали!» Она говорит: «Склероз начинается: все позабыла». А у нее никакого склероза нет. Просто мы ей наврали. Вот видите: уважаем, а все равно наврали! С нами это часто бывает. Не верите? Честное слово!

Казалось, я тоже разговаривал сам с собой: слова мои до нее не доходили. Она продолжала размышлять:

— Он так поступил ради друзей. Это можно понять. А я?.. Не должна я работать в школе. Я обожаю детей, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас, посреди учебного года, уйти нельзя. Но до лета надо будет обдумать... Это мне ясно.

Что было делать? Я не смел рассказывать ей об этих проклятых градусниках. Не имел права!..

Она подошла к стене, сняла фотографию Шурика. И прижала ее к груди. И погладила рамку. После всего, что я ей рассказал...

Из моей жизни ушла беспечность. Я был уже не таким счастливым, как раньше. Потом, став взрослее, я понял, что беспечное счастье вообще выглядит жестоким и наглым, потому что еще далеко не все люди на свете счастливы. Мне казалось, что у меня изменилась походка, что я стал двигаться медленнее, словно отяжелел. На самом деле ходил я все так же быстро («летал», как говорила мама), — немного отяжелела моя голова: я стал чаще задумываться. И даже стал упрекать самого себя, чего прежде со мной не случалось.

«Зачем было рассказывать об этих несчастных градусниках? Думал, что она сразу возненавидит Шурика? Не мог вытерпеть этих ее постоянных «можно понять», «все нормально»? А если она бросит школу? Вполне на нее похоже!» Этого я не мог допустить... Казалось, отец, уйдя из того дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться.

То и дело я мысленно сравнивал отца с Шуриком, чтобы убедиться, что между ними нет ничего общего. «Шурик предал ее! А отец вовсе не предавал, — объяснял я себе. — Мало ли людей расходится на белом свете? Разве все они виноваты?»

Так или иначе, но теперь, кроме меня, у Нины Георгиевны никого не было. Да и меня у нее тоже не было, потому что мы с ней еще не стали друзьями.

Известно, что истина, даже старая, приходя к человеку впервые, кажется ему открытием. Я окончательно убедился, что материнская любовь не слушает доводов и переубедить ее невозможно... Я и прежде не раз думал об этом. Давным-давно я вычитал где-то, что родители любят неудачных детей еще сильнее, чем удачных. Теперь я спросил об этом у бабушки.

— Ты можешь судить по себе, — сказала она. — Кто еще получает письма от родителей так часто, как ты?

Бабушка по привычке шутила. В том, что отец и мама любили меня, не было, конечно, ничего странного. Я был уверен, что это ни у кого не могло вызывать удивления...

А Нина Георгиевна? Когда я рассказал ей о Шурике, в ее глазах была неприязнь ко мне. Захочет ли она теперь меня видеть? Но все равно я не мог оставить ее одну...

«А что это значит: оставить одну? — раздумывал я. — Возле человека, попавшего в беду, могут находиться десятки людей, а он все-таки будет один, если эти люди не нужны ему, если он не считает их близкими... Нужен ли я Нине Георгиевне? Если даже не нужен, я должен прийти к ней сейчас. Но как это сделать? Если бы мы были друзьями, все было бы очень просто:

чтобы явиться к другу, не нужен повод — можно зайти, когда захочется, просто так, без всякого приглашения. А как я явлюсь к ней после того разговора?»

Мне нужен был повод. И я начал его искать.

Обычно я без труда находил выход из трудного положения.

— Это потому, что у тебя диктаторские замашки,— говорила бабушка.— Ты убежден, что цель оправдывает любые средства. А так всегда легче действовать: руки не связаны.

Я и правда мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это мне было нужно. Действовать так было и проще и веселее. Впрочем, мои обманы и розыгрыши были не очень серьезны, как и цели, ради которых я их совершал.

Теперь, быть может впервые в жизни, я попал в сложную, необычную ситуацию, но мысль моя, не желая с этим считаться, устремилась в привычном для нее направлении.

Я должен был отыскать причину, которая бы позволила мне вновь подняться на второй этаж старого желтого домика. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может работать в школе. Два этих замысла вполне можно было объединить. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью! Пусть спасет какого-нибудь мальчишку от серьезного, очень опасного заболевания. «Хорошо бы, от смертельного!» — мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? «Лучше всего пусть спасет меня! — внезапно решил я.— Ну конечно: меня самого!»

Я быстро составил план действий. И ночью приступил к его выполнению. Именно ночью!

Мне очень хотелось спать, но я встал, разбудил бабушку и сказал:

— У меня жестокая бессонница...

— Пардон, какая?

— Ну, очень тяжелая... Наверное, это законы наследственности!

— Со сна не пойму: какие законы?

Я вспомнил, что бессонница была у отца там... в двухэтажном домике, но бабушка могла об этом не знать: в нашей квартире отец спал «богатырским сном». Я сказал:

— Может быть, дедушка или прадедушка этим страдали?

— Один из двух твоих дедушек был, помнится, моим мужем. Он спал превосходно. Другого дедушку я не знала, но если судить по отцу...

— Да... конечно... Он спит богатырским сном. Но я не сплю уже третью ночь.

— Не смыкаешь глаз?

— Смыкаю. Но ненадолго...

— Ну-с, все понятно. Только рано это у тебя началось.

— Я знаю... Обычно не спят старики?

— Осторожно насчет стариков! Я имею в виду другое... Ты влюбился? Как же, припоминаю: на днях ты спрашивал что-то о первой любви.

— Чтобы я из-за этого?.. Никогда в жизни! Я чувствую, что немного болен... И хочу обратиться к врачу. Мне сказали, что есть один доктор. Кажется, женщина... Она лечит людей от бессонницы. Я схожу к ней.

— В последнее время ты вообще много х о д и ш ь, — сказала бабушка. — Я не стесняю твою свободу. Но свобода приносит людям прогресс, а тебе, кажется, одни только двойки.

— У меня нету двоек.

— Так будут, — пообещала бабушка.

— Из-за бессонницы я могу вообще остаться на второй год! А эта женщина замечательно лечит. У себя дома... И совершенно бесплатно! Ты только должна будешь написать ей письмо. Хоть несколько строк: «Благодарю за спасение внука!...» Или что-нибудь вроде этого. Ей будет очень приятно.

— Ты вовлекаешь меня в авантюру. Но я очень слаба... — сказала бабушка, вновь дряхлея у меня на глазах. — Я очень слаба и не в силах с тобой бороться. Можешь идти к врачу. К профессору... К гипнотизеру! Лечись... Выздоровливай! Только не мешай мне спать: я приняла две таблетки снотворного.

— Так, может быть, эта дурная наследственность от тебя? — радостно воскликнул я.

— Пардон, ты мне надоел.

Бабушка, как всегда, готова была не мешать мне. И даже помочь. Но я еще долго вздыхал, ворочался, два раза вставал и громко пил воду, чтобы она все-таки слышала, как я страдаю.

На другой день после уроков я решил поехать к врачу. По дороге к автобусной остановке я репетировал свой предстоящий разговор с Ниной Георгиевной. Я всегда репетировал перед тем, как кого-нибудь разыграть. Мне нужно было заранее подготовить ответы на всевозможные удивления, вопросы, недоумения.

Но на этот раз репетиция явно срывалась. Те фразы, которые обычно получались у меня такими круглыми, бойкими, нарочито уверенными, сейчас звучали неубедительно и даже нелепо. Я мысленно выступал и от имени своей собеседницы... Слова ее становились все резче, все злее. Она не была уже похожа на Нину Георгиевну. А разговор продолжался. Я слышал его как бы со стороны — и один из двух собеседников был мне неприятен: этим собеседником был я сам.

— Вы садитесь? — раздался сзади подталкивающий голос: подошла моя очередь влезать в автобус.

— Нет, я не еду... — ответил я.

И поплелся домой. Я был в растерянности. Не понимал: что

же произошло? Почему я не смог выполнить свой план, который еще недавно казался мне таким удачным и остроумным?

И только сейчас, когда прошли годы, я понял: от меня уходило детство. Уходя, оно предлагало помощь, которой я уже не мог воспользоваться.

10

Обмануть Нину Георгиевну я не смог.

Но я должен был доказать, что верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей!..

«Должен любой ценой!» — сказал бы я раньше. Теперь любая цена не подходила: я был, как говорят, ограничен в средствах. Действовать в этих условиях было труднее.

Как достичь своей цели без розыгрыша и обмана? И вдруг я поразился самому себе: какой же я недогадливый идиот! Зачем было будить ночью бедную бабушку, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания! А ведь Нина Георгиевна по профессии как раз невропатолог. Она спасает моего лучшего друга! Мы всем классом напишем ей... выразим благодарность. И она сразу поверит в свои силы. Тут все будет честно и благородно!

После уроков я попросил Антона остаться в классе.

— Есть разговор, — сказал я.

— Что-нибудь случилось? — участливо спросил мой друг.

— Еще не случилось. Но скоро случится! Я придумал, как помочь твоей матери.

— Маме?..

Я знал, что Антон будет отказываться от моего плана, и решил призвать на помощь его маму.

Антон сидел на нашей «аварийной» парте, а я — за учительским столиком. С этого места, решил я, мои фразы будут звучать убедительнее.

Антон волновался: корни его волос начали постепенно окрашиваться в розовый цвет. Я не стал мучить его и сразу приступил к делу:

— Есть одна женщина, которая будет лечить тебя. Прямо с завтрашнего дня. Она замечательный врач. Не-вро-па-то-лог! Понял? Это как раз то, что тебе надо. Ты станешь смелым и гордым! И будешь приносить домой, своей маме... одни только пятерки.

— Я должен подумать. Это очень серьезно.

— Нечего думать. Я больше не могу слышать, как ты заикаешься! Не могу видеть, как ты смущаешься у доски!

— Спасибо, Сережа... — отчаянно заикаясь от неожиданного предложения, сказал Антон. — Но у меня просто такой характер. Врачи это не лечат...

— Ты разве не помнишь, что сказал наш зоолог?! — воскликнул я. — Он сказал, что твоя застенчивость принимает болезненные формы. А раз болезненные, значит, можно лечить! И она вылечит! А мы потом всем классом выразим ей благодарность. В письменном виде.

— Весь класс будет знать, что я лечусь?..

— Пожалуйста... если не хочешь, буду знать только я. И твоя мама... И мы вдвоем выразим благодарность. В письменном виде!

— Обязательно в письменном?

— Обязательно! Чтоб осталось на память.

— Прости, Сережа... но если ее лекарства мне не помогут?

— Я прошу тебя вылечиться... Ты можешь для меня это сделать?

— Сережа... ты так этого хочешь? Ты так переживаешь за меня? Я не знал...

Мне было немного не по себе. Выходило, что я все же не очень искренен со своим лучшим другом.

И как всегда, когда я хитрил, фразы у меня получались бойкими, нарочито уверенными. Кажется, я вновь поступал не совсем «четко».

«Но ведь Антон действительно может выздороветь! — подбадривал я себя. — Значит, все честно и благородно! Важно только, чтобы Нина Георгиевна согласилась...»

— Я к вам по важному делу! — сказал я ей в дверях, извиняясь за свой приход.

На эту фразу она не обратила внимания: даже не поинтересовалась, по какому именно делу. А войдя в комнату, словно для того, чтобы отвлечь меня от моего дела, спросила:

— Ты прямо из школы?

— Я заходил домой.

— Но, может быть, хочешь обедать?

— Я пообедал... в столовой. — И зачем-то добавил: — Честное слово!

— В столовой? — удивилась она. — Ты что же, остался совсем один?

— Нет, с бабушкой.

— С маминой мамой?

Я кивнул... Ни до того, ни потом мы с ней ни разу не упоминали о маме: это было запретной темой. Ни разу и никогда...

Помню, в тот миг мне неожиданно захотелось, чтобы и об отце мы с ней больше не разговаривали. Я решил напоследок выяснить то, что меня волновало: расшифровать непонятные строчки в ее письме...

И еще мне хотелось, быть может, немного оттянуть разговор о своем деле.

— Нина Георгиевна, — сказал я, — вы писали, что отец может не захотеть к вам прийти, «как это уже было однажды».

— Ты выучил письмо наизусть?

— Нет... я просто запомнил эти слова. Вы когда-нибудь раньше ему писали?

Она долго молчала, не решаясь ответить на мой вопрос. А потом стала вслух размышлять:

— Если Сергей пришел бы тогда? Может, с Шуриком было бы все иначе... Вряд ли, конечно. Но мне так казалось. Это было, когда Шурик учился в четвертом классе. Я помню тот день: двенадцатое февраля. Одноклассники устроили Шурику «темную». Я не стала допытываться, за что. Ему было обидно. И он очень хотел отомстить! Мы ужинали вот за этим столом... Он выдал мне тайны своих приятелей. Смешные, конечно, тайны, мальчишечьи. Но он был уверен, что это «жуткие тайны». И рассказывал о них шепотом. Оглядывался по сторонам... Он хотел, чтобы я донесла директору и его приятелей наказали. Я уже тогда работала в школе и дружила с директором. Сейчас его нет, он умер... Я отказалась, а Шурик кричал, требовал, разрыдался. Мне стало немного страшно... Я не смогла объяснить ему, не смогла убедить. И решила, что ему нужен сильный мужской разговор. Не с директором, не с учителем, а просто со старшим, но только с мужчиной. Я написала Сергею. Больше мне некому было писать. Я все ему объяснила. Но он не пришел... Думаю, он заботился обо мне: боялся, что я буду вновь, как он говорит, «растравлять» себя. Это можно понять.

Конечно, отец считал неразумным приходить в этот дом. А может быть, и нечестным перед мамой, передо мною.

А честен ли я перед нашей семьей, приходя сюда?.. Я не мог ответить на этот вопрос.

Я видел отца и Шурика — на стене, прямо перед собой. Они были рядом. Может быть, и в отце сидит тот самый стержень, о котором рассказывал Шурик? Эти мысли были для меня тягостны. Я прогнал их...

И подумал совсем о другом, о приятном: рассказать тайну о близком человеке можно только другому близкому человеку или, по крайней мере, тому, кому доверяешь. Может быть, Нина Георгиевна стала мне доверять?..

— Ты только об этом хотел узнать? — спросила она. — Это и есть твое важное дело?

— Нет... Что вы! Что вы! — заторопился я. — Совсем другое... Мой школьный товарищ Антон нуждается в срочном лечении. Как раз у невропатолога! Он очень застенчивый, скромный такой... Заикается даже. И все время хватает тройки. Хотя все знает! Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете? Не может ответить! А мать его говорит, что утопится, если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень! Скромный такой... Если бы вы могли его вылечить! Я об этом хотел сказать...

Рассказывая об Антоне, я вскочил со стула. Она тоже встала. И подошла ко мне совсем близко. Но не для того, чтобы разглядеть меня пристально, как это делают близорукие люди. Мне казалось, она подошла, чтобы я услышал ее, потому что она заговорила почти шепотом:

— Чтобы уйти от человека... — Она кивнула не то на отца, не то на Шурика — на стене они были рядом: — Чтобы уйти от человека, надо иногда придумывать ложные причины. Потому что истинные бывают слишком жестоки. Но чтоб прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все...

— Что вы?! Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите? Честное слово!

— Это само собой, — тихо сказала она. — Постараемся вылечить...

Прошло три с половиной года.

Ни разу не сказал я дома, что знаю ее. А она ни разу и не спросила, говорю ли я о ней и что говорю... Она не вошла в наш дом даже воспоминанием: я боялся что-то разрушить, боялся обидеть маму. Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем.

Я готов был сам сделать все, что нужно было Нине Георгиевне. За отца, вместо отца...

По велению долга? Так было вначале, но не потом... «Веление» — яркое слово, оно гораздо красивей, чем «принуждение», но смысл их почти одинаков.

Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне первым зовом мужской зрелости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться в тебе.

Но вот недавно... месяцев шесть назад, мы переехали в другой город: поближе к объектам, которые проектировали отец и мама.

Когда мы прощались с Ниной Георгиевной, я обещал, что

каждый год летом буду к ней приезжать. Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно...

Я не знал еще своего нового адреса — и мы договорились, что Нина Георгиевна будет писать на главный почтамт, до востребования. А зимой отец сказал, что свои летние каникулы я проведу вместе с ним и с мамой: мы отправимся на юг, на Кавказ, к Черному морю.

— Это твое последнее лето, — сказал отец. — В будущем году ты должен поступить в институт. Надо набраться сил, закалить организм!

«П о с л е д н е е л е т о» — эти слова стали повторяться у нас дома так часто, что мне начало казаться, будто до следующего лета я просто не доживу. «Путешествуйте летом по рекам!» — долгие годы убеждала меня красавица, вырезанная из журнала. И отец говорил, что она совершенно права, что нет ничего разумнее отдыха на реке. Сейчас он уверял меня, что нет ничего полезней горного воздуха, солнечных ванн и морских купаний.

— Мы полетим на самолете, — сказал отец. — Чтобы в свое последнее лето ты испытал все удовольствия.

Удовольствия я любил. К тому же я никогда не купался в море и не летал... Последнее лето обещало быть очень счастливым.

Неделю назад отец купил три билета на самолет. А сегодня я получил письмо до востребования.

Жду тебя. На все лето взяла отпуск. Не поехала со своими ребятами в пионерлагерь: жду тебя! Но если ты передумал, я не обижусь. У тебя могут быть другие дела и планы. Это можно понять.

«Поеду к ней в январе, — решил я. — Тоже будут каникулы...» Я написал ей письмо. Объяснил, что правильнее приехать именно в январе, потому что зимой я не смогу отдохнуть на море, а северный город, в котором я жил столько лет, зимой еще лучше, чем летом: можно кататься на лыжах. Я писал, что в пионерлагере она надышится свежим воздухом и отдохнет, а в городе летом пыльно...

Прочитал письмо — и не смог заклеить конверт. Это было чужое письмо, не мое: длинное, обстоятельное, без помарок.

Нет, я должен быть у нее в тот день, когда обещал, когда она ждет меня! Или вообще не приезжать никогда.

Я не могу стать ее третьей потерей... И сейчас еду сдавать свой билет.

Дома я сказал, что очень хочу повидать бабушку и Антона, которые остались там, в городе моего детства. Я и правда по ним соскучился. Но еду я к Нине Георгиевне. Я не буду давать телеграмму: приеду и открою двери ключами, которые до сих пор у меня. Теми самыми, которые бросил Шурик. Она об этом не знает... Пусть не одни только печальные сюрпризы являются в ее дом.

Мама не возражает: ей приятно, что я так стремлюсь к своей бабушке, то есть к ее маме. Кажется, все опять выходит не очень «четко»...

А с отцом я сегодня поссорился. Первый раз в жизни. Он сказал, что поездка моя неразумна, что бабушке и Антону надо просто послать письмо, что можно потом пригласить их в гости. Отец сказал, что я разрушаю планы семьи, что я вырос бескрылым, раз отказываюсь от гор, от высот, от полета...

И все-таки я еду сдавать билет.

Отец произнес слова, кажется вычитанные в книге: «Жизнь человека — это маршрут от станции Рождение до станции Смерть со многими остановками и событиями в дороге. Надо совершить этот маршрут, не сбиваясь с пути и не выходя из графика».

А я подумал о том, что ведь есть самолеты и поезда, которые совершают маршруты вне графика и вне расписания. Это самолеты и поезда особого назначения (как раз самые важные!): они помогают, они спасают... Я не сказал об этом отцу. Но я еду сдавать билет.

1965 г.

НИКОЛАЙ ДУБОВ

Мальчик у моря
Повесть





БЕЗДНА

Целый день Сашук ревет. Мать кричит на него, даже шлепает, отец обещает «напрочь оторвать уши». Сашук ненадолго затихает, потом снова принимается хныкать и канючить. Дядя Семен пригоняет к правлению старый «газон», в котором уже стоят ящик с продуктами и бочка с бензином. Рыбаки кидают в кузов свои сундучки, мешки, и тогда Сашук начинает реветь так горько и безутешно, что даже сам бригадир, Иван Данилович, удивленно оглядывается, подходит и опускается перед Сашуком на корточки.

— Ты чего нюни распустил?

— К-ктька, — захлебываясь, говорит Сашук.

Бригадир не понимает.

— Настя, чего он у тебя?

— Да ну, баловство! Собачонка своего везти хочет, кутенка. А куда его? И так мороки хватает...

Бригадир Иван Данилович нависает над Сашуком, как гора. Сашук затихает, беззвучно всхлипывая, смотрит на него снизу вверх, но, услышав слова матери, заводит снова:

— Ы-ы...

— Пстой! — морщится Иван Данилович. — Гудишь, как бакан в тумане... Это он и есть?

Между ног Сашука стоит ивовая плетушка. В плетушке спит пегий щенок. Голова его перевешивается через край, щенок негромко, но внятно храпит.

— Ишь ты, — усмехается Иван Данилович, — притомился... Ладно, бери свою животину. Слышь, Настя, пускай берет, чего ты ребятенку душу надрываешь... Кутенок — не волк, я чай, артель не объест...

Сашук вскакивает:

— Дяденька Иван Данилыч...

— Нет, ты погоди. Ты сперва беги умойся. Какой из тебя рыбак, ежели ты весь в слезах да соплях?

Сашук мигом подбегает к колодцу, плещет из бадейки на лицо, выдернутым из штанов подолом рубахи утирается и, подхватив плетушку, бежит к машине.

— Готов, ревушка-коровушка? — говорит Иван Данилович. — Иди с мамкой. Ты, Настя, садись в кабину, а то за Измаилом дорога — и из мужиков душу выбивает.

— То ж ваше место, Иван Данилыч...

— А ты после болезни.

Иван Данилыч подхватывает Сашука под мышки, и вместе с плетушкой Сашук оказывается в кабине.

— За ручку не хватайся, выпадешь — костей не соберешь.

Мать сидит рядом с дядей Семеном, Сашук становится у окна и высовывает голову наружу. Вокруг стоят ребята со всей улицы. Кто пришел отца провожать, а кто так — посмотреть. Они еще загодя начинают махать руками. Сашук им тоже машет. Немножко. Пускай знают. Они остаются, а он уезжает.

— Все сели? — говорит Иван Данилыч. — Поняй, Семен. Счастливо...

Дядя Семен что-то поворачивает, «газон» начинает трястись и трогает. Ребята, крича, бегут рядом, но сразу остаются позади. Мелькают избы, на повороте сверкает оловянное зеркало Ялпуха. И вот нет ни Ялпуха, ни изб, дорогу сплошными стенами обступает кукуруза, размахивает желтыми метелками и заглядывает в кабину.

— С нашими темпами, — говорит дядя Семен, — только на похороны. Цельный день собирались. Теперь вот ночью ехай. А по такой дороге и в день — не сахар.

— Дорога ничего, — говорит Сашукова мачка. — Как-то там будет?

— А что? Нормально будет.

— Ну да! А зачем этого уголовника взяли? Нужен он...

— А что? Парень как парень.

— Да ведь в тюрьме сидел. Небось туда зря не сажают...

— Кто в тюрьме сидел? — спрашивает Сашук.

— Да Жорка этот, рыжий который да горластый... Ты от него подальше, слышь, сынок?

Дядя Семен косится на нее, но ничего не говорит.

Кукуруза расступается, за ней появляются домики, дома, потом домищи.

— Это что? — спрашивает Сашук.

— Город. Измаил.

Дома становятся всё больше, всё длиннее и всё выше. Сашук высовывает голову из кабины, выворачивает ее, чтобы сосчитать окна, но все время сбивается. Город большой. Как десять Некрасовок. Нет, наверно, как сто... И улицы здесь совсем другие. Обсажены деревьями. И на дороге нет ни колеи, ни ям, она гладкая-гладкая, будто выструганная. И ни луж, ни пыли...

Дядя Семен притормаживает у перекрестка, и Сашук видит на большом камне лошадь, а на ней сухонького человека, который держит в поднятой руке чудернацкую шапку.

— Это кто?

— Суворов, — говорит дядя Семен. — Генерал такой был. Завзятый вояка.

— Он — как Чапай, бил фашистов?

— Фашистов тогда, кажись, не было. Он давно жил. Хотя, кто его знает, може, какие свои были...

— А ты, дядя Семен, фашистов бил?

— Нет, я баранку крутил.

— Ну все одно, на войне?

— На войне.

Город кончается. И вместе с ним кончается хорошая дорога. «Газон» начинает трясти, подбрасывать и заносить. Под колесами взрывается пыль, желтым облаком взвивается к небу и скрывает заходящее солнце.

По крыше кабины стучат.

— Семен, совесть надо иметь! — кричит Иван Данилович.

Дядя Семен дергает какую-то штуку, машина идет медленнее, но ее так же треплет, толкает, бросает из стороны в сторону. Сашук то и дело стучается головой о раму окна. Мать подхватывает его, сажает на пружинное сиденье. Плетушка с кутенком подпрыгивает на полу кабины, кутенок мечется. Сашук сползает, поднимает плетушку, ставит себе на колени. Кутенок сворачивается в клубок и снова засыпает.

Так они и едут — взрывают колесами пыль, а сзади она клубится багровым пожаром. Изредка впереди появляется косой столбик пыли. Он стремительно мчится им навстречу, вырастает до неба. Дребезжа, проносится встречный грузовик, и тогда

не только сзади, но и спереди все заволакивает пылью. Сашук и даже кутька во сне вертят головами и чихают. Мать обтирает лицо хвостиком косынки, а дядя Семен сердито, но тихонько чертыхается.

Солнце садится, и сразу же начинается темнеть. Дядя Семен включает фару — у него горит только одна левая. Жидкий желтоватый снопик света упирается в изрытую колдобинами дорогу. Иногда он выхватывает из темноты раскоряченное чудище, но машина подъезжает ближе, чудище оказывается старой ветлой или обшмыганным кустом. Глаза у Сашука режет, будто туда насыпали песка, но он, придвинувшись к самому ветровому стеклу, все смотрит и смотрит.

— Будет таращиться-то, — говорит мать, — ничего там нет и смотреть не на что. Спи давай. — Она прижимает его голову к своему теплomu боку.

— Да ну, мамк, не хочу я спать, — говорит Сашук и отодвигается. — А море скоро?

— До моря ты еще десятый сон увидишь, ночью приедем, — отвечает дядя Семен.

— Оно какое? Как Ялпук?

— Сравнил! — говорит дядя Семен. — Ялпук — лужа, а море — это, брат, бездна...

Сашук недоверчиво смотрит на него. Смеется, что ли? Какая же Ялпук лужа, когда другой берег еле-еле видно, да и то если взобраться в плавнях на вербу. А где он начинается и кончается — и вовсе не видно, куда ни взбирайся.

— А бездна — это что?

— Ну... бездна и бездна... Без дна, значит.

— Как это — без дна?

— Вот так. Без дна, и все...

Сашук пробует представить себе бездну, но у него ничего не получается. У всего есть дно. В колодце дно совсем недалеко. Когда соседка Христина упустила в колодез ведро, туда забросили «кошку» на веревке, пошарили-пошарили и достали. Ведро лежало на дне. Ялпук, конечно, куда глубже. Сашук и другие ребята сколько ныряли, а достать дно не могли. Только и там дно есть. Сашук сам видел, как в дно забивали колья для неводов и как с лодки бросали якорь. А якорь, он за что держится? За дно. Не за воду же! Значит, дядя Семен просто так говорит, чтобы посмеяться. Сашук оглядывается на дядю Семена, но тот вовсе не смеется, а напряженно всматривается в еле освещенную фарой дорогу. И Сашук тоже смотрит на нее. В желтоватом снопике света всё впереди начинает путаться, потом сливается в монотонную пеструю ленту и гаснет.

...Его будит кутькин скулеж. Сашук поднимается, спускает ноги с топчана. Кутька бросается к ногам и скулит.

— Цыц! — строго говорит Сашук. — Чего нюни распустил? В распахнутую дверь комнатки-клетушки врывается слепящий свет.

— Ух ты! — говорит Сашук и вслед за кутькой выбегает во двор.

Под навесом возле плиты покрасневшая от жары мать мешает варево в здоровенном котле. Над большим двором, пустым и вытоптаным, как поскотина, полыхает зной. Только под стеной бригадного барака да у столбов жердевой изгороди торчат пучки пропыленной травы. Даже издали видно, что она жесткая и колючая.

— Мамк, а где все? — кричит Сашук.

— Где ж им быть? В море ушли, еще затемно.

Сашук смотрит в ту сторону, куда она показала. За оградой пустырь постепенно переходит в невысокий бугор, за ним ничего не видно.

— Поди поешь, — говорит мать.

Этого Сашук уже не слышит. Он припускает через двор, ныряет под жердину.

— Не лазь купаться! — кричит мать. — А то лучше не приходи, все вихры оборву.

Бугор порос жесткой колючей травой, но Сашук не обращает внимания на колючки. Он бежит во весь дух. Сзади, поскуливая, ковыляет кутька.

Сашук взбегаёт на бугор, останавливается и отступает. Дальше нет ничего. Отвесной стеной бугор обрывается вниз. Обрыв такой глубокий, что у Сашука внутри все холодеет.

— Ух ты! — шепотом говорит Сашук. Он даже пятится немножко, но потом снова заглядывает под обрыв.

Далеко внизу змеится узкая полоска песка, у самого края ее облизывают маленькие волны, а дальше — впереди, вправо и влево — нет ничего. Голубая, сверкающая, слепящая пустота. Как небо.

Сашук взглядывает вверх, над собой. Нет, небо другое. Оно бесконечно далекое, но знакомое, привычное — голубое и неподвижное. Лишь кое-где тихонько плывут белые-пребелые облака. Он переводит взгляд ниже. Там небо становится все светлее, потом начинает струиться, переливаться, нестерпимым блеском разливается во все стороны, подступает к самому берегу, где плещутся мелкие волны.

Сашуку даже трудно становится дышать. Значит, вот это и есть море? Значит, правду сказал дядя Семен, что оно без дна, раз оно такое большое — ни конца ни краю...

Он смотрит вдоль берега. Вдалеке справа виднеется высокая решетчатая башня, а на ней маленькая, как скворечница, будочка. Слева от берега уходит в море причал на сваях. Он не по-

хож на тот, что Сашук видел в Некрасовке. Там низенький и пустой, как мосток. А здесь сваи выступают из воды высоко, а от настила к высокому берегу поднимается на столбах какая-то тоже решетчатая штука. Она упирается в большой, длинный сарай и исчезает в нем. Над причалом кружит несколько чаек. Одна из них летит в сторону Сашука, и он видит, что и чайки здесь совсем не такие, как на Ялпухе. Там маленькие, белые, а здесь здоровенные, как гусаки, и белые только снизу, а спина рябая, как у дикого гуся...

— Что ты тут сидишь? — раздается за спиной голос матери. — Зову-зову, как оглох... Небось купался? Говори по правде.

— Не, я не купался, — оборачивается Сашук к матери. — А где рыбаки? Может, они уже утонули?

Про себя он уже давно это думает, но решается сказать вслух только теперь, когда подходит мать. А что? Раз море такая бездна, как сказал дядя Семен, и совсем без дна, тут утонуть в два счета...

— Типун тебе на язык! — сердится мать. — Вон они, вертаются уже.

— Где, где? — вскакивает Сашук, но ничего не видит. Только когда мать поворачивает его голову и показывает рукой, он различает среди слепящей ряби еле заметные букашки — лодки.

— Я, мамк, здесь подожду.

— Нечего тут сидеть. Им еще часа два ходу. Поешь, потом вместе встречать пойдем.

КРУТОЙ ЗАСОЛ

К причалу ведут дощатые сходни с поперечинами из брусков. Между сходнями громоздится непонятная штука: от большого барака, который стоит на высоком берегу, прямо на причал опускается длинная резиновая лента. Она лежит на железных валках и похожа на желоб, такой широкий, что Сашук может лечь в него, как в люльку. Лента скрывается в большом ящике на причале, там изгибается и уже под валками снова уходит вверх, в барак.

— Это чего?

— Машина, чтобы рыбу гнать в цех, на засолку.

Сашук удивляется и не верит — как это рыбу можно гнать. Что она, дура, чтобы самой на засолку идти?

— Не подходи к краю, упадешь, — говорит мать, но Сашук все-таки заглядывает вниз, под помост.

Там переливается, плещет зыбкая зеленоватая глубина. Раз-три «с ручками». А то и четыре. Может, даже самому бригадиру

Ивану Даниловичу будет «с ручками», а он дяденька — ого-го, выше всех в Некрасовке... Но все-таки за этой глубиной видно дно — ровное песчаное дно, по которому бегут легкие тени и солнечные зайчики от волн на поверхности... А где же бездна? Может, там, где лодки?

Лодки уже подходят. Два ряда весел на каждой враз поднимаются, дружно посылают Сашуку зайчиков и снова опускаются. Над лодками, горлая что есть мочи, мечутся чайки. Они обгоняют лодки, взмывают вверх, как планеры разворачиваются, показывая толстые белые животы, пикируют вниз и кричат, кричат не переставая. Таких горластых чаек на Ялпuxe нет...

Налитые серебристой рыбой лодки подваливают к причалу. Рыбаки взбираются на помост, подтаскивают к краю плоские ящики. В каждой лодке остается по два рыбака. Большими сачками они начинают перегружать рыбу в ящики. Сашук пробует пройти на конец причала к отцу, но оскальзывается на мокрых досках и падает.

— Ты зачем здесь? — кричит отец. — А ну, уходи на берег!

— Ничего, крепче будет! — говорит ему рыжий Жорка. — Пускай привыкает.

Сашук прижимается к стойке, на которую опираются валки резиновой ленты. Жорка, присев на корточки, разгребает руками рыбу в ящике. Длинных с красивыми темными разводами на спине он бросает в особый ящик, маленьких черноспинных швыряет обратно в море.

— А зачем? — спрашивает Сашук.

— Что, выкидаю? Так это дрянь — голыши, их даже чайки не жрут. Давай подсобляй, приучайся. Вот это — видишь, с узором на спинке — скумбрия. Рыба первый сорт, ее сюда. А это ерш, пускай здесь остается.

— Ерш не такой.

— Ну, по-настоящему это ставрида, а мы ершом зовем.

Сашук берет в руки рыбку и тотчас выпускает — в ладошки впиваются острые шипы.

В ящик шлепается бугристая толстая лепешка.

— Во, — говорит Жорка, — обед нам пришел. Видел такую рыбу? Камбала называется.

— А почему у нее глаза на спине?

— Не на спине, а на одном боку. Другим она на дне лежит. На, тащи мамке. Удержишь?

— А то нет! — говорит Сашук, хватая рыбину обеими руками.

Камбала такая тяжелая и скользкая, что ему приходится прижать ее к животу. И все-таки он не удерживает. Рыбина шлепается на помост прямо Сашуку под ноги; он падает на нее, животом на колючки. Рыбаки смеются. Сашук обижается и отходит в сторонку. Оцарапанный живот щемит и саднит; ему

хочется посмотреть, как он исцарапался, и даже заплакать, но он боится, что смеяться будут еще больше, и притворяется, что смотрит на чаек. Чайки расплываются и сдваиваются. Сашук быстро-быстро моргает, чтобы прогнать слезы.

Наполненные ящики ставят один на другой, поближе к резиновой ленте. Из сачков, ящиков падают ставридки на помост, рыбаки ступают резиновыми сапогами прямо по ним. Сашук нагибается и начинает подбирать.

— Хозяйственный хлопчик,— говорит Игнат Приходько, их сосед по Некрасовке,— еще, гляди, боцманом станет...

— Просолится как следует — будет боцман что надо,— говорит Жорка.

— А как вы рыбу будете гнать? — спрашивает Сашук.— Она же снулая.

— Сейчас увидишь. Можно давать, Иван Данилыч?

Бригадир кивает. Жорка закладывает пальцы в рот, оглушительно свистит, и тотчас что-то начинает рокотать, помост трясется, а резиновая лента ползет вверх. Рыбаки подхватывают ящик с рыбой, опрокидывают в большой ящик над резиновым желобом; она сейчас же появляется в желобе и серебристой полосой плывет в нем к барaku.

— Ты на транспортере катался? — перекрывая шум, кричит Сашуку Жорка.— Нет? Тогда поехали?

Он хватает Сашука, поднимает в воздух. Сашук взбрыкивает, но не успевает вырваться и оказывается в ползущем резиновом желобе.

— Держись крепче! — кричит Жорка.

Желоб ползет к берегу, поднимается все выше, снизу что-то подталкивает Сашука, он судорожно вцепляется в края резиновой ленты.

— Эй! — орет Жорка.— Принимай ерша в засол! Соли покруче!

Мать кричит, бежит вдоль ленты, но достать Сашука уже не может. Лента ползет все дальше и дальше. Сашук уже выше, чем сам Иван Данилович. Он хочет сползти вниз, но лента несет его выше и дальше от причала, а вокруг так пусто и страшно, а до земли так далеко, что Сашук пригибается и зажмуривается. Чьи-то руки поднимают его, снимают с ленты и ставят в лужу на цементном полу. Только тогда Сашук и открывает глаза.

— Ты что это, кататься вздумал? Вот я тебе покатаюсь! — сердито говорит чужой усатый дядька и шлепает Сашука по тому самому месту. Шлепает он не сильно, но Сашук обижается — он же не сам залез на эту резиновую штуку...

Сашук выбегает в широкие, как ворота, двери. Снизу, с причала, Жорка что-то кричит ему, машет рукой, Сашук отворачивается и идет домой.

Каждую весну ноги у Сашука в цыпках... Цыпки еще и сейчас не сошли, но уже подживали, и Сашук о них даже не помнил, а теперь их начинает щипать и жечь: лужа на цементном полу была соленая. Сашук бежит к рукомойнику во дворе, задирая по очереди ноги, обмывает растрескавшуюся кожу. Щиплет меньше, но цыпки вспухают и краснеют.

— Я говорила — подальше от этого бандюги.— Мать приносит полную кошелку рыбы, вываливает ее на стол и принимается чистить.— Он тебя обучит, доведет...

Насупившись, Сашук молчит.

Рыбаки возвращаются с причала, фыркая и крякая от удовольствия, умываются и садятся за стол.

— Эй, Бодман, пошли рубать! — кричит Сашуку Жорка, но Сашук притворяется, будто не слышит, и нарочно садится подальше от Жорки, рядом с отцом.

Едят долго, не торопясь — отдыхают. Потом начинают разбредаться, закуривать.

Сашук так наелся кулеша и камбалы, что ему лень вставать. Кутька тоже осовел, свалился, высунув язык и выпятив вздувшийся живот.

— Привез все-таки...— говорит Игнат.— Бить тебя некому.

— А за что бить? — спрашивает Жорка.

— Чтоб собаку за собой не таскал. Баловство. Собака на цепи должна сидеть. Чтобы злой была.

— А ты сам на цепи сидеть пробовал?

— Мне незачем. Сажают кого следует...

Лицо Жорки краснеет, потом начинает бледнеть, а на открытой шее вздуваются толстые жилы. Но он перемогается и, помолчав, говорит:

— Ладно, считай, что я пока не понял... Только ты не зарекайся — еще сядешь. За жадность. Жадности в тебе на всю бригаду хватит.

— Ты меня не воспитывай, за собой лучше гляди...

Игнат поднимается и уходит в хату.

— Кугут чертов! — сквозь зубы говорит Жорка.— Собачонок ему помешал... Как его зовут?

— Кутька,— нехотя отвечает Сашук. Он решил про себя ни за что больше не водиться с этим Жоркой, но как же не ответить, если Жорка вступился за кутенка.

— Ну — кутька... Все щенята кутьки. Надо, чтобы свое имя было, наособицу... Ишь наел пузо, выгнулась как бимс...

— А что это — бимс?

— Балки, на которых палуба лежит... Эй, ты,— Жорка щелкает пальцами,— Бимс, иди сюда!

Кутька поднимается и, волоча по пыли живот, подходит к нему.

— Гляди-ка, сразу понял! — радуется Жорка и начинает теревить щенка.

Тот опрокидывается на спину, задирает лапы и подставляет свой вздувшийся живот, на котором сквозь редкую белую шерсть просвечивает розовая кожа.

— Да ну,— говорит Сашук и поднимает щенка на руки,— нечего над ним командовать.

Он снова идет к морю, садится над обрывом, кутька укладывается рядом. Ветер ерошит сверкающую гладь, волны у берега становятся больше, шипят и пенятся, распластываясь на песке. Чайки бесшумно скользят на распростертых крыльях, потом поворачивают и летят обратно, как патруль. Время от времени то та, то другая камнем падает на воду и снова взмывает вверх, держа в клюве рыбину. Чайка на лету заглатывает ее и опять неторопливо летит туда, потом обратно. А один раз большая чайка нападает на маленькую и отнимает у нее добычу. Маленькая чайка кричит, и тогда громко, пронзительно начинают кричать и другие чайки. Должно быть, они тоже возмущаются и сердятся на здоровенную ворюгу...

— Ты чего тут сидишь? Пойдем купаться?

Рыжий Жорка тихонько подходит, останавливается сзади. Сашук оглядывается на него и отворачивается.

— Никуда я с тобой не пойду.

— Что так? — Жорка садится рядом.— За транспортер обиделся? А ты не сердись. На сердитых, говорят, воду возят... Пошли.

— Не хочу. И мамка не велит с тобой.

— Почему?

— Она говорит, ты бандит.

Жорка вспыхивает и тут же бледнеет. И снова на шее у него вздуваются толстые жилы, а на щеках играют желваки, будто он катает за щеками орехи.

— Дура она,— помолчав, говорит он.

— Моя мамка не дура! — кричит Сашук.

— Ну, верно — про мамку так нельзя... Только зря она так говорит.

— И не зря! Она говорит, ты в тюрьме сидел.

— Ну, сидел...

— Вот! Значит, правда... А как это в тюрьме сидят?

— Да очень просто: запрут тебя под замок в камере — ну, в комнате такой, каменной,— и сидишь. И год, и два, и три... Какой срок дадут.

— И все время в камере? А на улицу?

— Какая уж там улица...— невесело усмехается Жорка.— Только если на работы пошлют.

— А за что в тюрьму сажают?

— Кого как — за воровство, за убийство, по-разному...
— А тебя за что?
— За дурость. Начальника одного побил.
— Разве начальников можно бить?
— Некоторых следует, только не кулаками. От кулаков все равно толку не будет, тебе же хуже...

— А за что ты его?
— Гад он был. Форменный самодур. Людей, можно сказать, мордовал... Хочет — дает работу, хочет — поставит на такую, что припухать будешь, а кто слово скажет — вовсе выгонит... Там почти сплошь бабы работали. А бабы известно: молчат да плачут. Ну, я и срезался с директором. «В чем дело, говорю, товарищ директор? У нас Советская власть или нет?» — «Советской власти, говорит, такие, как ты, не нужны». — «Ах ты, говорю, мешок кишок, за всю Советскую власть расписываешься? Думаешь, ты Советская власть и есть?» Слово за слово. Я, когда остервенюсь, себя не помню. Сгреб чернильницу — у него здоровая такая, каменная была — и в морду... При свидетелях. Ну, мне припаяли политику, вроде я против власти. Десятку дали. Пять лет отсидел, похлебал соленого. Потом пересмотрели, выпустили... Это давно было, в пятьдесят втором...

— А где он теперь, этот... самордуй?
— Самодур? Не знаю... Может, и сейчас в начальниках ходит. Да черт с ним!... Пошли искупаемся, жарко.
— Нет... Дядя Семен сказал, там дна нет.
— Как это — нет? Дно везде есть. Или ты плавать не умеешь?
— Умсю. Только я боюсь, если без дна.
— Есть дно, есть. Пошли, вместе достанем.

Неподалеку от причала обрыв переходит в пологий откос. Разъезжаясь ногами в раскаленном песке, они сбегают по откосу к воде. Кутька кубарем скатывается следом, потом долго трясет головой и чихает.

НОЧНОЙ ДОЗОР

— Вон оно, дно, видишь? — говорит Жорка, раздеваясь.
— А там? — показывает вдаль Сашук.
— И там есть, только глубоко. И туда тебе плыть нельзя — утонешь.
— А чего это у тебя нарисовано? Разве на человеках рисуют?
На груди у Жорки синими точками наколоты бубновый туз, бутылка и женская нога. И сверху написано: «Что нас губит».
— Дурость! — отмахивается Жорка. — На дураках и рисуют.

— Ты разве дурак?

— Был. Может, и сейчас малость осталось.

Он разбегается, ныряет и так долго плавает под водой, что Сашук начинает думать, что он уже захлебнулся и утонул.

— Давай, Боцман! — кричит, отфыркиваясь, Жорка. — Ныряй!

Сашук набирает в себя побольше воздуха — у него даже щеки надуваются пузырями, — складывает ладошки возле самого носа, ныряет и... едет животом по песку на мелководье. Жорка хохочет.

— Чудик! Что ж ты землю пузом пашешь?

— А если тут мелко? — обиженно говорит Сашук.

— На тебя не угодишь — то глубоко, то мелко. — Жорка подплывает ближе, становится на ноги и пригибается. — Влезай на плечи.

Сашук вскарабкивается, вцепляется в его рыжие волосы. Жорка распрямляется, и Сашуку даже жутко становится, так высоко он поднимается над водой, — Жорка только чуть-чуть поменьше Ивана Даниловича.

— Готов? Але-оп!

Жорка встряхивает плечами. Сашук, не успев сложить ладошки, враскорячку, как лягушонок, плашмя плюхается в воду.

— Ну как?

— Здóрово! — кричит Сашук. — Бимс, сюда!

Кутенок стоит у самого уреза, пятится от набегающих волн и тьякает. Сашук ловит его, подняв на руки, несет в воду. Кутенок скулит и вырывается. Сашук заходит по грудки, пускает щенка. Тот захлебывается, фыркает и отчаянно молотит лапами — плавает. Сашук идет следом и хохочет. Выбравшись на песок, Бимс трясет головой, висячие уши шлепают его по морде, как мокрые тряпки.

— Тут лучше купаться, чем у нас в Ялпuxe, — говорит Сашук, совсем уже запыхавшись и улегшись на песок.

— Вода соленая, сама держит.

— А почему никто не купается, рыбаки наши?

— Они уже старые, им не хочется.

— Так ты ведь тоже старый.

— Еще не очень — только тридцать два года... Пошли, а то мамка тебя хватится, шухер поднимет.

Они поднимаются по откосу.

— Там чего? — показывает Сашук на решетчатую башню со скворечницей наверху.

— Пограничная вышка. Пограничники сидят, границу сторожат.

— От шпионов?

— Ну да.

— Пойдем посмотрим.



Н. Дубов. «Мальчик у моря»

- Чего там смотреть? Да и они увидят — прогонят.
- А если ночью? Они и не увидят.
- Ночью, брат, спать надо.
- А там чего?
- Дот был. Немецкий.

Развалины дота недалеко от обрыва. Из уцелевших оснований бетонных стен торчат скрюченные железные прутья, покореженные балки. Щебень, присыпанный землей, зарос бурьяном. Сашук пробует обхватить остаток стены, но пальцы его не дотягиваются до краев. От дота, немного не доходя до обрыва, змеятся осыпавшиеся, заросшие окопы.

— Может...— с надеждой в голосе говорит Сашук,— может, тут пули остались, а? Давай поищем?

— Как же, двадцать лет лежат, тебя дожидаются... Вон мамка бежит, сейчас она отошьет тебе пулю.

Мать быстро-быстро идет им навстречу. Она даже не смотрит на Жорку, будто его совсем и нет, шлепает Сашука, хватая его за руку и тащит к дому. Только когда Жорка остается далеко позади, она сердито шипит:

— Сколько раз говорила, чтоб ты к этому бандюге не липнул!

— Так он совсем не бандюга, мам, он рассказал... Ой, ну чего ты дерешься?.. Будешь драться, и тебя в тюрьму посадят.

— Вот я тебе покажу!..

Сашук, извернувшись, вырывается и убегает.

— Беги, беги, домой все равно придешь!

Сашука угроза не пугает: мать отходчива, долго сердиться не умеет. Она и в самом деле отходит и, когда Сашук прибегает обедать, не только не шлепает его, но даже ни слова не говорит. После обеда мать моет посуду, потом начинает перетирать. Сашук садится в холодке за крылечком, рядом укладывается Бимс и тут же засыпает. Разомлевшего от еды Сашука тоже клонит в сон, он едва не засыпает, но в это время из барака на крыльцо выходит Жорка. Сашука он не замечает, идет прямо к матери. Она искоса взглядывает на него и тотчас опускает взгляд на посуду.

— Слышь, Настя...— говорит Жорка.

Мать слегка поворачивает к нему лицо, но глаз не поднимает.

— Ты чего мальчика от меня шугаешь?

— Ты ему не компания.

— Ему тут никто не компания — одни старые хрычи.

— Хрычи не хрычи, да уж и не замаранные...

— А я замаранный? Я что, убил кого или ограбил?

— Я там не знаю...— говорит мать и так сердито трет полотенцем миску, будто хочет повертеть в ней дырку.

— Так ты спроси!

— Не мое это дело, незачем и спрашивать.

— А зачем словами кидаться? «Бандит», «в тюрьме сидел»...

— А скажешь — нет? — вскидывается мать.

— Ну, сидел... Так ведь за что? За таких вот дур вступился...

Мать молча трет все ту же миску, потом говорит:

— Сказать все можно...

— «Сказать...» — повторяет Жорка. — За словами человека видеть надо... Эх, ты!

Он поворачивается и, опустив голову, уходит в барак, а мать исподлобья смотрит ему вслед.

— Ну чего ты к нему привязалась, мамка? — говорит Сашук. — Он же...

— Цыц! — кричит мать и в сердцах замахивается полотенцем. — Ты еще туда же...

Перед вечером рыбаки снова уходят в море. Сашук вместе с Бимсом провожают их до причала, потом сидят на причале и смотрят им вслед, пока лодки не становятся совсем крохотными. Тогда Сашук свистит Бимсу и идет к бывшему доту. В конце концов, откуда Жорка знает? Вдруг что-нибудь там осталось и никто не нашел, а он, Сашук, найдет? Некрасовские ребята прямо треснут от зависти...

Как он ни старается, ничего не находит. Всюду верблюжья колючка, репейник, бетонный щебень и раскаленная солнцем пыль. Сашук только зря искалывает руки и весь исцарапывается. Тогда он начинает играть в войну. Залегает в осыпавшийся окоп и строчит из пулемета по фашистам: та-та-та-та-та... Одному играть скучно, и мешает Бимс. Он бегаёт без всякого толку и не понимает никаких команд. А когда Сашук по-пластунски ползет в разведку, Бимс начинает лаять и хватать Сашука за пятки. Какая уж тут разведка...

Сашук бежит к пограничной вышке, но скоро переходит на шаг, потом останавливается. Возле лестницы, поднимающейся к будке, привязана лошадь. Она переступает с ноги на ногу и отмахивается хвостом. Может, там кого уже поймали?.. Ему очень хочется подойти поближе и рассмотреть все как следует, но он заранее знает, что его прогонят. Если бы еще солнце не так ярко светило, тогда можно бы подобраться незаметно, но солнце, хотя и стоит низко, светит вовсю, а степь голая, как цыганский бубен, никуда не скроешься, его издали заметят и обязательно шуганут. Большие ведь всегда думают, что только им интересно, а маленькие пускай как хотят...

Сашук бредет домой. Он хочет дождаться возвращения рыбаков, но мать заставляет его есть, потом он кормит Бимса, а потом глаза у него начинают слипаться, и просыпается он уже ночью, на топчане.

За перегородкой наперебой храпят рыбаки. Отец и мать тоже спят. Спит и Бимс на полу возле двери. В окно над самым подоконником заглядывает луна. Сашук тихонько сползает с топчана, идет к двери. Бимс пытается свернуться калачиком, но вздувшийся живот мешает, и он опять распластывается на боку, раскинув лапы.

Чтобы далеко не ходить, Сашук пристраивается тут же у крылечка. Луна, совсем не некрасовская, а какая-то непохожая — огромная, наливающаяся красным, — висит над горизонтом. И во дворе и в степи все-все видно, только совсем иначе, чем днем. Призрачно и печально. Пограничная вышка черным пятнышком торчит среди редких звезд.

А что, если сейчас пойти и посмотреть, как они ловят шпионов? Сашук дома тоже ловил. В плавнях. Там здорово трудно ловить, когда ребята спрячутся в камышах. Так ведь то понарошку...

Сашук осторожно шагает и прислушивается. Из хаты доносится храп. Бригадир Иван Данилович всегда храпит ровно и густо, как трактор на холостом ходу... Сашук шагает дальше. Ноги утопают в теплой пыли, и шаги совсем не слышны. Он ныряет под изгородь, бежит к вышке. Вот уже и бугры разрушенного дота, осыпавшихся, заросших окопов. Сашук переходит на шаг, оглядывается по сторонам. Нет, он нисколько не боится, но все-таки ему становится жутко: там же мертвяки, убитые фашисты... Днем они ничего не могут, а ночью?..

Где-то поблизости пронзительно свиристит цикада. Сашук останавливается. Снова тихо. Бугры немые и неподвижные. И вдруг он видит, что из земли торчат скрюченные руки... Сашук обмирает, холодеет и только собирается заорать и дать дёру, как вспоминает, что днем уже видел их и что это совсем не руки, а погнутые железные балки. Сашук переводит дух. Ну чего в самом деле? Фашистов тут убивали, но хоронили где-нибудь в другом месте... Значит, никаких мертвяков тут нет!

Озираясь по сторонам, Сашук тихо и осторожно, как по стеклу, проходит мимо бугров. Спина у него становится деревянная, дыхание все время перехватывает. Бугры остаются позади. Сашук идет быстрее, потом бежит. Вышка уже недалеко. Из-за бугра выглядывает только краешек багровой луны. Он тает, исчезает, и сразу вдруг становится совсем темно... Сашук бежит вперед что есть духу, натывается на лестницу вышки и вцепляется в нее.

Вокруг стоит тишина. В черном небе мерцают редкие звезды. Рядом топырится кустик верблюжьей колючки. И больше не видно ничего — ни бригадного барака, ни развалин дота. Далеко вверх торчит будка, и кто-нибудь там, наверно, сидит. А если нет? Сашук прислушивается, но ничего не слышит.

Только тогда Сашук понимает, что он наделал. Один, совсем как есть один в пустой черной степи. Нигде ни души, а между ним и бригадным бараком, где спят отец и мать, — разрушенный дот и окопы со всеми своими мертвяками. Вцепившись в лестницу, Сашук тихонечко, как кутька, скулит от страха.

Лестница скрипит под тяжелыми шагами, кто-то трогает его за плечо.

— Малчик? Зачем здес? Пачиму плячишь?

— Я не плачу, — всхлипывает Сашук.

— Зачем сюда пришел? Где твоя папашка-мамашка? А? Иди к ней.

Сашук оглядывается в страшную пустоту, которая отделяет его от бригадного барака, и отчаянно мотает головой.

— В чем дело, Хаким? — кричит кто-то сверху.

— Баранчук... Малчик маленький. Плячит-плячит, — отвечает Хаким.

— Какой мальчик?

— Сам не панимаю — малчик, и все.

— Тащи сюда, разберемся.

Хаким берет Сашука на руки и несет вверх по лестнице. В лицо Сашука упирается ослепительный лучик света.

— Ты чей? Откуда?

Ослепленный светом, Сашук жмурится.

— Там, — машет он рукой, — там мамка. И рыбаки. Папка тоже там.

— А сюда зачем?

— Посмотреть.

— Нечего тут смотреть, беги к мамке!

— Не пойду, — говорит Сашук и пятится, пока не упирается в стенку будки. — Там темно. Я боюсь.

— Сюда идти не боялся? Дойдешь и обратно.

— Да, как же! — говорит Сашук. — Тогда луна светила...

— Все равно, тут посторонним не положено. Понятно?

Солдат с поперечными нашивками на погонах говорит очень сердито. Вместо ответа Сашук начинает опять всхлипать.

— А вот плакать совсем не положено, — еще сердитее говорит солдат с нашивками. — Пришел к пограничникам и ревешь. Какой тогда из тебя солдат?

— Я же ж маленький, — всхлипывает Сашук.

— Привыкнешь маленький — и взрослый расквасишься. Отставить плакать! — командует солдат.

— Я б-больше не буду...

— И отвечать надо как положено: есть отставить плакать!

— Есть отставить! — повторяет Сашук. — Только вы меня не прогоняйте. Я ничего не буду трогать и баловаться не буду.

— Пускай сидит, а? — говорит Хаким.

— Не положено. И там мать-отец хватятся, подумают — пропал.

— Так я же не пропал! — говорит прибодрившийся Сашук. — Я с вами!

— Ладно, сиди пока. Вот придешь домой, отец тебе заднее место ремнем отполирует!

— Не, — вздыхает Сашук, — он уши драть будет...

— Уши — тоже доходчиво.

Будка совсем маленькая и пустая. Дверь, три оконных проема и скамейка. Ничего интересного. Солдаты стоят возле оконных проемов и смотрят. Сашук приподнимается на цыпочки, тоже заглядывает в проем, но ничего не видит. Вокруг темным-темно, только сверху подмигивают разгорающиеся звезды. Вдруг справа темнота взрывается. Дрожащий голубой столб света ударяет вверх, наклоняется — и внезапно появляются четкие, резкие, будто они совсем-совсем рядом, голубой обрыв над морем, пучки травы на нем; потом выпрыгивает из темноты далекий причал с транспортером, поглубевший бригадный барак сверкает бельмами оконных стекол.

— Чего это? — тихонько спрашивает Сашук.

— Прожектор.

— Он смотрит, да?

— Он светит. А смотрим мы.

Столб пронзительного света, обшарив берег, бежит вправо, в нем начинает сверкать волновая рябь моря. Световой столб отворачивает все дальше и дальше вправо, потом вдруг исчезает, и вместо него перед глазами Сашука долго дрожит над морем черная полоса. Солдаты опускают бинокли.

— Вам тут хорошо шпионов ловить, — говорит Сашук. — С прожектором. Все видно. И плавней нет. А у нас в Некрасовке такие плавни на Ялпухе, как кто спрячется — ни за что не найдешь...

— Найдут и в плавнях.

— Разве с собакой, — сомневается Сашук. — У нас в Некрасовке тоже вышка есть. Только там не пограничники, дедушка Тарасыч сидит. И ружье у него большое. Куды больше ваших... Он, когда в виноградник кто залезет, ка-ак бабахнет! Солью.

— А что, лазят за виноградом?

— Лазят.

— И ты?

— И я, — помолчав, говорит Сашук.

— Так ведь воровать нехорошо.

— Конечно, нехорошо, — вздыхает Сашук. — А винограда-то хочется... Ребята идут, и я с ними...

— Разве так не дают?

— Ну — так! Так неинтересно... А скоро они полезут?

— Кто?

— Шпионы.

Солдаты смеются.

— Они заранее не объявляют.

— А когда полезут, вы будете стрелять?

— Там видно будет.

— А можно, я разок стрельну?.. Ну хоть подержу немножко, а?

— Автомат не игрушка. И вот что: на посту разговаривать не полагается. Раз попал в солдаты, делай как положено. Садись сюда на скамейку и веди наблюдение. Что надо ответить?

— Есть вести наблюдение.

— Давай действуй.

Сашук уставляется в оконный проем, но как ни старается, кроме звезд вверху и слабых отблесков их в море, ничего не видит. Смотреть в темноту скучно, и Сашук раза два клюет носом в дощатую стенку. Тогда он прислоняется к ней поудобнее, вплотную.

— Вот и порядок,— говорит над ним солдат с нашивками,— солдат спит, а служба идет...

— Я совсем не сплю,— говорит Сашук.

Конечно, он не спит. Просто на дворе совсем-совсем темнеет. Даже звезды гаснут. И солдат не видно. Но он же слышит, как они разговаривают,— значит, не спит... Просто ему наяву начинает казаться, что он видит сон. Солдат с нашивками и Хаким ходят от окошка к окошку и выглядывают. И Сашук тоже ходит и выглядывает. Потом солдат с нашивками вдруг останавливается и говорит:

«Какой же ты солдат без оружия? На, держи!»

Он снимает с себя автомат и надевает Сашуку.

«Насовсем?» — замирает от восторга Сашук.

«Конечно, насовсем».

Сашук сжимает автомат что есть мочи. Теперь пусть только шпионы полезут! Он как даст очередь: та-та-та-та-та...

— Что такое? — говорит Хаким.— У рыбаков свет зажгли, с фонарями бегают...

— Случилось что-то... Рядовой Усманов, выяснить... Слышь, Хаким, прихвати и его, нечего ему тут кунять.

И Сашуку уже кажется, что он плывет вроде как в лодке — он не двигается, а его покачивает. И потом вдруг раздается крик, его хватают на руки, и так крепко, что ему становится больно... Он на руках у матери, а над ним склоняются Иван Данилович, Игнат и Жорка. В руках у них «летучие мыши».

— Федор! — кричит в сторону Жорка.— Не ищи. Нашелся!

— Ты что ж, поганец? — говорит Иван Данилович.— Люди после работы, а тут за тобой по ночам бегай...

— Баловство все! — бурчит Игнат. — Незачем и брать было... Топоча сапогами, из темноты выбегает отец.

— Вот я тебе покажу! — еще издали кричит он.

— Потом, потом, Федор! — говорит Иван Данилович. — Ночь, людям спать надо... Спасибо, солдат! — говорит он Хакиму.

— Пачиму паника? — спрашивает тот.

— Поганца этого искали... Думали, утоп. Где он был?

— К вышке пришел, в пограничники хочет, — смеется Хаким.

— Отец ему пропишет пограничников.

Мать уносит Сашука домой, кладет на топчан. Сашук утыкается в подушку и горько всхлипывает. Не потому, что он боится завтрашней выволочки. Выволочка сама собой. Ему обидно, что никакого автомата у него нет, а значит, и не было, и все ему только приснилось.

ЗВЕЗДОЧЕТ

Уши у Сашука горят. Не потому только, что отец оттрепал утром за уши, — за ночь он пересердился, оттрепал не сильно, для порядка. Над Сашуком смеются рыбаки. Сегодня воскресенье, и утром они в море не пошли — отдыхают. После завтрака долго сидят за столом, разговаривают про разные разности, потом мало-помалу разбредаются. Мать и отец уходят в село Николаевку, в магазин. Идти туда далеко, и Сашука они с собой не берут. Сашук бегаёт с Бимсом по двору, пока оба не высываюу языки от жары и усталости. Потом они тоже идут к лавке рыбокоопа, где уже давно собралась вся бригада. Лавка стоит у дороги недалеко от бригадного барака. Дальше за ней редкой цепочкой тянутся первые хаты Балабановки. Туда Сашук не ходит. Мать не велит — раз, а потом Сашук издали видел, что там бегают большие мальчишки и собаки, и он опасается, как бы они не обидели Бимса. И его тоже...

Рыбкооповская лавка — обыкновенная хата, только что под железной крышей да перед входной дверью большое, широкое крыльцо. На нем стоят четыре стола на козлах и скамейки. Здесь нет солнца, а с моря задувает прохладный ветерок. Рыбаки сидят за столами и «дудлят», как говорит мамка, «червоне». Это темно-красное вино в узких бутылках. На бумажных наклейках нарисована большая рюмка. Рыбаки пьют не из рюмок, а из мутных граненых стаканов. На столах много пустых бутылок, значит, они уже здорово «надудлились» своего «червоного» — лица стали краснее, а голоса еще громче, чем всегда.

Громче всех говорит, конечно, Жорка. Недаром его зовут горластым. Он даже не говорит, а просто кричит. Рубаха у него

расстегнута сверху донизу, на шее вздулись толстые жилы.

— Нет, ты скажи,— кричит он Игнату,— чем тебе спутники мешают?

Игнат не пьет. Перед ним нет ни стакана, ни бутылки, но он все-таки закусывает: сосет принесенную с собой вяленую ставридку.

— Боров! Ты ж чистый боров! — кричит Жорка. — Только то и видишь, что перед рылом, что бы сожрать можно...

— Я — хозяин,— говорит Игнат. Губы у него трясутся. — Человек самостоятельный, а не пустодом, как ты. Мне про семью думать надо.

Он аккуратно завертывает в обрывок газеты недоеденную ставриду, поднимается и уходит.

— Чего ты к нему пристаешь, Егор? — спрашивает Иван Данилович. — Зачем дразнишь?

— Не люблю жмотов. Он из-под себя все съесть готов.

— Ну и пускай. Лишь бы тебя не заставлял. И орать незачем.

— Я виноват, что у меня голос такой?

— В тебе не голос — червоное в тебе кричит... Ты мне что обещал? Вон носишь у себя на грудях наглядную агитацию — посматривай на нее почаще.

Жорка трогает ворот рубахи, и тогда всем становится видна наколотая синими точками бутылка и надпись сверху: «Что нас губит». Все грохочут. Жорка вспыхивает, но сдерживается и машет рукой.

— Ладно, Данилыч, точка! Счас спать пойду... А, Боцман! — Он явно рад поговорить о другом. — Ну как, уши на месте или батка совсем оторвал? Ничего, целы, теперь шибче расти будут... Да ты не надувайся, ты лучше расскажи, как ночью к пограничникам ходил. Не боялся?

— Не. Даже мертвяков не испугался.

— Каких мертвяков?

— Ну, фашистов. Которые в доте.

— А ты их видел?

— А то нет! Конечно, видел.

Теперь ему и в самом деле кажется, что ночью он своими глазами видел мертвых фашистов, и он хочет рассказать, какие они, но рыбаки так начинают хохотать, что он умолкает и сползает со скамейки.

— А ну вас,— обиженно говорит он,— а еще большие... Пошли, Бимс.

Через несколько шагов его догоняет Жорка.

— Ты это,— заплетающимся языком произносит он,— ты давай не сердись. Беда большая — посмеялись чуток. От этого не облиняешь... Пошли, я утром тебе подарок припас, только ты спал.

Сашук молчит. Сгоряча он даже собирается сказать, что нечего подлизываться, не нужны ему подарки, раз над ним смеются, но ему хочется узнать, что припас Жорка, и он молчит. Сказать можно и потом, если подарок окажется неинтересным.

В бригадном бараке Игнат горбится над раскрытым сундучком.

— Мильоны пересчитываешь? — кричит ему Жорка.

Игнат, не отвечая, поворачивается так, чтобы спиной закрыть сундучок.

Жорка заглядывает под свою койку, озадаченно чешет за ухом.

— Ага! Я же во дворе спрятал...

В углу двора из-под вороха старых, рваных сетей он достает оплетенный мелкой сеткой стеклянный шар. Шар огромный — с Сашукову голову, может, даже больше. Сашук немеет от восхищения, осторожно берет шар в руки. Он шершавый — облеплен высохшими ракушками, заскорузлая сетка прикипела к стеклу. От шара пронзительно пахнет морем и солью.

— Ну как, годится?

— Спрашиваешь!.. А это что?

— Кухтыль... Поплавок, на которых сети держатся, чтобы не утонули.

— А где?..

— Море выкинуло. А я подобрал. Еще б одну штучку найти, веревкой связать — и на таких пузырях куда хочешь плыви.

— И на глыбь?

— Говорю, куда хочешь.

Жорка уходит «храпануть», а Сашук бережно несет кухтыль под навес, укладывает на обеденный стол и рассматривает со всех сторон. Стекло толстое, зеленоватое. Оно такое сделано или стало зеленым оттого, что плавало в море?.. Может, и в середине что-нибудь есть? Но серединку рассмотреть трудно — сетка мелка и густо облеплена ракушками. Они так плотно приросли, что никак не отколупываются; ноготь сломался, а ни одна не стронулась...

В дверях хаты появляется Игнат Приходько. Он подходит, берст кухтыль, вертит его в руках.

— Бесплезная вещь. Хотя... если разрезать пополам — полумиски будут.

— Отдай, — говорит Сашук, — не надо мне полумисков, мне кухтыль нужен, я на нем плавать буду.

— Баловство, — говорит Игнат и вздыхает: — Растешь ты, как репей, некому тебя к рукам прибрать...

— Дядя Гнат, — спрашивает вдруг Сашук, — а кто это кугут?

— Ну... вроде как кулак, скупой и жадный.

— А ты вправду скупой и жадный?

— Тебя кто подучил?

— Никто не подучивал, просто Жорка говорил — ты кугут.

— Ты его поменьше слушай, дурошлёпа. От него добра не наберешься. Ты к самостоятельным, хозяйственным людям приглядайся, до них примеривайся.

— Как ты?

— Как я. И другие прочие. Кто тихо живет и про завтрашний день думает. Ты еще малой, а все равно должен соображать. Вот этого горлопана возьми. Что от него? Шалтай-болтай, живет врасстырку. Ни кола, ни двора, штанов лишних и то нет...

Это Сашук знает. Все Жоркино имущество помещается в обтёрханном чемоданишке, у которого даже замки не запираются, клямки так и торчат кверху, и он перевязывает крышку бечевкой. Да зачем его и запирать, если он полупустой, кроме застиранных рубах да пары трусов, ничего в нем и нет? А у Игната сундучок аккуратный, прочный. Что в нем, Сашук не видел, так как сундучок всегда заперт висячим замком, а если Игнат его открывает, то обязательно поворачивается так, чтобы никто заглянуть не мог.

— Горлопан этот,— продолжает Игнат,— человек как есть бесполезный. Что заработал, почитай все и пропил. Неизвестно, для чего и живет.

— А для чего человек должен жить?

— Для пользы! Всякая вещь и человек должны быть для пользы.

— И я?

— Ну, пока пользы от тебя как от козла молока, только зря хлеб жуешь. Ты еще несмышлениш, вроде кутенка своего. Вот и должен с малолетства привыкать, себе на пользу стараться...

Последнюю фразу Сашук уже не слушает.

— Ну и ладно,— говорит он,— ну и пускай мы бесполезные...

Он уносит кухтыль домой, закатывает под топчан и еще прикрывает сверху ветошкой, чтобы никто не увидел. А что делать дальше? Отец и мать придут не скоро, да и что от них? Мать примется стряпать обед, отец уйдет в лавку, к рыбакам. Пойти и ему в лавку? Снова поднимут на смех. Хорошо бы с Жоркой пойти купаться — нырять, взобравшись ему на закорки, жутковато, но весело. Однако Жорка за перегородкой храпит так, что барак трясется. Не будить же...

Сашук идет к причалу. Цех заперт, транспортер неподвижен, ящики для рыбы пусты. Лодки, привязанные к причалу, раскачиваются, стучаются бортами о сваи. Хорошо бы прыгнуть в лодку и покачаться на волнах, но Сашук боится, что до лодки ему не допрыгнуть. На узкой песчаной полосе вдоль обрыва нет

ни души. Даже чайки куда-то подевались. Внезапно Сашука осеняет: вдруг море выкинуло еще один кухтыль?.. Если Жорка нашел, может, и он найдет?

Ноги вязнут в сыпучем песке, от раскаленного солнцем глинистого обрыва пышет жаром. Сашук сворачивает к урезу. Мокрый песок плотен, ноги то и дело окатывает теплая волна. Сашук старательно рассматривает все, что море вынесло на берег. Кроме бурых водорослей и всякой мелкой дряни, ничего здесь нет. Было бы совсем скучно, но время от времени волна подгоняет к берегу мелких, с блюдечко, медуз, и Сашук их зафутболивает. Жорка научил его не бояться медуз и различать, какие обжигают, а какие нет.

Поравнявшись с пограничной вышкой, Сашук задирает голову и долго присматривается. Пограничников не видно. Прячутся или, может, днем их там вовсе нет?

Здесь берег изгибается, и за выступом обрыва скрывается ставший совсем маленьким причал. Сашук устает, но упрямо идет дальше: он не теряет надежды найти если не кухтыль, то хоть что-нибудь.

И он находит. На сухом песке, раскинув лапы и клешни, подставив солнцу белесый живот, лежит большой краб. Сашук видел только живых, когда они воровато, боком, пытались выбраться из вороха рыбы и удрать, а рыбаки хватили их и швыряли за борт. Этот лежит неподвижно и даже не шевелится, когда Сашук бросает в него пучок сухих водорослей. Сашук трогает его щепкой, переворачивает спиной кверху. От краба врассыпную кидаются какие-то букашки. Сашук осторожно берет его за панцирь, окунает в воду. Но краб не оживает, не шевелит ни одной лапкой. Он здоровущий — один панцирь больше Сашуковой ладони. А клешни такие, хватит — не обрадуешься... Сашук собирается его закинуть, потом передумывает. Если его как следует засушить, положить в коробочку да привезти в Некрасовку... Он осторожно кладет краба за пазуху и поворачивает обратно.

За поворотом на полпути к причалу стоит человек. Какой-то чудик. В трусах и разрисованной рубашке. На голове белый малахай с бахромой, а на носу очки с толстыми стеклами. Лицо молодое, безусое, но по щекам и под подбородком торчит короткая борода. Чудик держит в руках удилище и так внимательно смотрит на поплавок, что даже не замечает, как Сашук подходит ближе, останавливается, потом садится за его спиной. Поплавок удочки болтается на волнах, вдруг ныряет. Чудик дергает удилище, с лески срывается и шлепается в воду маленький краб.

— Ворюги, грабители, подводные гангстеры... — беззлобно произносит чудик, рассматривая пустой крючок. — Вас даже

нельзя обругать подонками, поскольку это ваше естественное состояние...

Он оборачивается к консервной банке, стоящей сзади, и замечает Сашука.

— Я и не знал, что у меня появилась аудитория... Откуда ты, прелестное дитя с облупленным носом?

— Он от солнца,— объясняет Сашук и трогает пальцами шелушащийся нос.

— Несомненно, несомненно...— бормочет чудик, ковыряя пальцами в консервной банке.— Молодой человек!

— То вы меня?

— Кого же еще? Из нас двоих ты, несомненно, самый молодой. И столь же несомненно — туземец. Подводные ворюги сожрали весь мой запас. Не знаешь ли, где можно накопать червей?

— Их и копать не надо. Они везде есть.

— Как это — везде?

— А вот...

Сашук приседает на корточки и горстями отбрасывает мокрый песок с уреза. В песчаной кучке извивается несколько красных червяков с ярким золотистым отливом.

— Ого! Ты, я вижу, отлично осведомлен.

— И вот, и вот...— говорит Сашук, разгребая песок в другом месте.— Их тут прямо тыщи.

— По всем вероятностям, даже несколько больше... Спасибо за науку. Теперь мне не надо будет рыться в навозе и вообще...

— А вы чего-нибудь уже поймали?

— Хвастать особенно нечем. Одну диковину поймал, но такой ядовитой раскраски, что не уверен, будет ли ее есть даже хозяйская кошка.

Он вытаскивает кулан и показывает.

— Зеленушка,— говорит Сашук.— Кошка — будет.

— Стало быть, труды не пропали напрасно... Тогда продолжим,— говорит чудик и забрасывает удочку.— Так кто же ты и откуда взялся?

— Я не взялся, я тут живу.

— Прелестно, прелестно...— говорит чудик, снова дергает удочку, и она снова оказывается пустой.— Ну и как тут... вообще?

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Все хорошо,— не понимая, чего он добивается, говорит Сашук.

— Что ж, посмотрим, посмотрим...— бормочет чудик, занятый удочкой.

Сашук долго не решается. потом все-таки спрашивает:

— А зачем у вас борода?

— Разве так плохо?

— Не потому что. Которые с бородой, те без штанов не ходят.

— В самом деле? — говорит чудик, бросая взгляд на свои шорты. — Это я как-то не учел... А борода мне обязательно нужна. Все звездочеты носили бородки, бороды, даже бородищи. Вот и я отрастил. Для солидности, а также красоты.

— Разве вы звездочет? — недоверчиво спрашивает Сашук.

— Не совсем, но вроде... Есть такая наука — астрофизика. Слыхал? Впрочем, тебе рановато... А про космос слышал?

— Космос я знаю, — говорит Сашук. — Это где Гагарин летал.

— Ну вот, Гагарин летал, так сказать, поблизости. А я изучаю предметы более отдаленные...

— Тут?

— Нет, не тут. Сюда я привез свое семейство полоскать в море. Вон оно поджаривается там на солнце.

В отдалении под навесом из простыни кто-то лежит, но Сашук только мельком взглядывает в ту сторону. Семейство его не интересует. Он подсаживается к чудику поближе. Не каждый день встречаются живые звездочеты.

А Н У С Я

— А как вы их считаете, звезды? — спрашивает Сашук.

— Я не считаю, а изучаю. Все звезды пересчитаны и переписаны, как допризывники.

— Все до единой?

— До единой. В пределах наших возможностей, конечно.

Сашук недоверчиво смотрит на него снизу, стараясь поймать взгляд, но толстые стекла очков без оправы заслоняют глаза чудика, и нельзя понять, всерьез он или понарошку. Сашук долго раздумывает, потом все-таки задает вопрос, который давно его занимает:

— А правда, у каждого человека своя звезда? Как он рождается, так и звезда загорится. А как помрет, так и звезда падает...

— Ну, это чепуха! Звезды не падают. Падает, так сказать, звездный сор, всякого рода космический мусор. Потом, звезд значительно больше, чем людей на земле, и до людей им никакого дела нет... Хотя вообще, иносказательно... В известном смысле у каждого человека есть своя звезда. Или, во всяком случае, должна быть. По идее.

— И у меня?

— И у тебя. Чем ты хуже других?
— А где? Вы мне покажете?
— Вот уж нет! Каждый сам должен найти свою звезду.
— А как?
— Как бы тебе сказать?.. Главное — не лениться. Для начала полезно, например, привыкнуть рано вставать.
— До света?
— Уж чего лучше.
— Так ведь спать хочется!
— Вот-вот! Лень, спать хочется... Другой не только свою звезду, всю жизнь готов проспать. А она, в общем-то, коротковата. К сожалению.
— А если рано встану, так сразу и увижу?
— Может, не сразу, но рано или поздно увидишь.
— А потом?
— Что — потом?
— Чего будет, когда найду?
— Ну... будешь знать, куда идти, что делать... Так, сейчас моя дорогая дочь распугает последнюю рыбу...

По кромке воды, взметая брызги, к ним бежит девочка в голубом платье и белой панаме.

— Папа, папа, много поймал? — кричит она издали, потом замечает Сашука, умолкает, переходит с бега на шаг, вышагивает чинно, почти чопорно и делает вид, что Сашука даже не заметила.

— Не корчи кисейную барышню, — говорит ей отец. — Видишь, даже на этом пустынном берегу для тебя нашелся Дон Жуан, — показывает он на Сашука.

— Никакой я не Дон, — отзывается тот. — Я Сашук.

— Прелестно! — отвечает бородач. — Знакомьтесь в таком разе.

Девочка дергает пальцем резинку от панамы и с любопытством рассматривает Сашука. Резинка звонко щелкает ее по подбородку. Потом она протягивает сложенную дощечкой ладошку и говорит:

— Ануся.

Сашук сидит неподвижно, искоса смотрит на ладошку, потом снова на Анусю. Она совсем не такая, она из какого-то другого мира, и он не знает, что надо делать, как держать себя с ней, и потому сидит неподвижно и только смотрит.

Девочка делает гримаску, пожимает плечами и опять начинает дергать резинку.

— Нельзя сказать, чтобы ты был очень галантен с барышнями, — говорит бородач.

Девочка смеется, короткий носик ее морщится. Сашук не понимает, но краснеет. Сначала он хочет сказать, что с дев-

чоиками не водится, но слова эти почему-то с языка не идут. Может, потому, что она совсем не похожа на разбитных, гордастых некрасовских девчонок. Почему она такая белая? Наверно, ее без конца мылом шуруют... Сашук не знает, что делать, и наливается краской еще больше. Потом вдруг вспоминает, лезет за пазуху и достает свою находку.

— На. Хочешь?

Ануся отступает на шаг, серо-голубые глаза ее округляются.

— Это кто? — спрашивает она.

— Краб. Бери, не бойся — ондохлый, не укусит.

— Не хочу, — говорит Ануся и прячет руки за спину. — Он плохо пахнет.

— Так что? Повоняет и перестанет.

— И крабы совсем не такие, — качает головой Ануся. — Они в банках.

— Стыдись, Анна! — говорит отец. Он не смотрит в их сторону, но, оказывается, все видит и слышит. — В банках вареные. А этот прямо из моря. Ты — как хочешь, я бы взял, ценная вещь, по-моему.

Ануся оглядывается на отца и осторожно, двумя пальчиками берет краба.

— Идите, граждане, побегайте, что ли, — говорит Анусин отец. — И вы сразу убьете двух зайцев: познакомитесь поближе и снимете с моей души камень педагогических забот...

— Про какой он камень? — спрашивает Сашук, когда они отходят.

— Не обращай внимания, — говорит Ануся. — Папа всегда немножко странно выражается.

Краб ей нравится все больше. Запах уже не отпугивает, она вертит колющее чудище в руках, рассматривает со всех сторон. Потом так же обстоятельно начинает рассматривать Сашука.

— Ты так всегда ходишь? — показывает она на выгоревший чубчик Сашука. — И ничего?

— А чего?

— А вот мне на солнце вредно — я хрупкая, — вздыхает Ануся.

— Ты ж не кисель, не растаешь.

Ануся немножко колеблется, потом решительно сдергивает панаму назад, и она повисает у нее за спиной на резинке. Ветер немедленно подхватывает и треплет ее белокурые выющиеся волосы.

— Пойдем, я маме покажу, — говорит Ануся.

Они бегут по мокрому песку. Сашук старается попасть ногой в гребешок волны, когда она только-только заламывается, и изо всех сил разбивает его. Анусе это нравится. Она забегает вперед,

чтобы опередить Сашука, и, торжествуя, кричит, когда брызги у нее разлетаются сильнее. Сашук тоже старается. Он ловчее, брызги у него летят выше и дальше. Так они бегут наперегонки, взметая брызги и вопя от восторга, пока их не останавливает окрик:

— Что это такое?!

Из-под простыни, распяленной на палках, выглядывает женщина. Сначала женщина кажется Сашуку совершенно голой, но потом он видит, что она не совсем голая — поперек тела у нее две полосы пестрой материи, а на голове накручено полотенце. Женщина очень красива, это Сашук видит, несмотря на то, что большие темные очки закрывают ее глаза, на носу нашлапка из бумаги, лицо намазано чем-то белым, а губы такие красные, будто с них живьем содрали кожу. Но Сашук знает, что кожа не содрана, просто губы крашены. В Некрасовке некоторые взрослые девки ходят с крашеными губами.

— Мама, мамочка! — кричит Ануся. — Посмотри, что у меня!

— Где ты взяла эту вонючую гадость? — с отвращением говорит Анусина мама, выхватывает у нее из рук краба и отшвыривает в сторону.

Краб шлепается о глинистую стенку и уже без клешней и ног падает на песок. Ануся в ужасе всплескивает руками, но мать не дает ей сказать ни слова.

— Почему ты сняла панаму? И на кого ты похожа? Как не стыдно: большая девочка, а забрызгалась хуже маленькой... Иди сейчас же сюда!.. — Она понижает голос, но Сашук отчетливо слышит: — Зачем ты привела этого грязного мальчишку? Вон у него болячки какие-то на носу... Подцепишь какую-нибудь инфекцию...

— Он совсем не грязный, — оправдывается Ануся. — И он был с папой...

Дальше Сашук не слушает. Он поворачивается, засовывает сжатые кулаки в карманы и уходит. Уши у него снова горят. От обиды. Теперь уже без всякой радости, а со злостью он разбивает вдрсбезги гребешки волн. Те разлетаются фонтанами брызг, но набегают все новые и новые, сколько бы он ни бил, а главное — тетке этой от того ни тепло, ни холодно... Теперь она уже не кажется ему красивой. Вымазалась, как чучело. Вот взять влезть на обрыв, отвалить глыбу — и на нее... враз бы стала чище некуда. Или взять большую медузу — да за пазуху... Ну, не за пазуху, раз у нее пазухи нету, так за эти тряпки, что на ней накручены...

День жаркий, ветер слабый, и медуз у берега видимо-невидимо. И маленьких, с блюдечко, и широких, как тарелка, и совсем здоровенных, с бахромой, похожих на ведро. Сашук забредает в воду, хватает и тащит к берегу такое осклизлое

студенистое ведро и с трудом выбрасывает на песок. Медуза разбивается, белесоватый студень ее тела истекает, оплывает водой. Сашук достает еще одну, потом еще и еще... Груда белесого студня растет, его уже вполне достаточно, чтобы обложить зловредную тетку с головы до пят, но Сашук вытаскивает на песок все новые и новые жертвы.

— Ты это зачем?

Рядом стоит Ануся, дергает резинку панамы.

— Тебе ж не велят со мной, ну и уходи, — вместо ответа говорит Сашук.

— А я хочу! — отвечает Ануся. — Ты на маму обиделся, да? Не обращай внимания. Папа говорит, у нее масса мелкобуржуазных предрассудков, — совсем как взрослая, говорит Ануся. — Это, конечно, ужасный недостаток. Но что поделаешь, у каждого есть свои недостатки. У тебя ведь тоже есть?

Об этом Сашук никогда не думал. Сейчас, как ни раздумывает, никаких недостатков отыскать у себя не может и, не отвечая, продолжает таскать на берег медуз.

— А что ты с ними будешь делать?

— Уху варить, кисельных барышень кормить, — со всей язвительностью, на какую только способен, говорит Сашук, но Ануся не обращает внимания на колкость, идет в воду, хватает маленькую медузу и тотчас с отвращением выпускает ее из рук.

— Какая противная!

— Ага, испугалась? — торжествует Сашук. — Иди к своей мамке, нечего тут...

— Она заснула, — говорит Ануся и тянется к большой розовой, с сиреневой бахромой медузе.

— Не трожь, она стрекучая! — кричит Сашук.

Уже поздно. Ануся отдергивает обожженную руку, на лице ее испуг и страдание.

— Я ж тебе говорил! Она хуже, чем крапива, жжется. Больно?

— Печет, — шепотом отвечает Ануся.

Короткий носик ее морщится, но теперь не от смеха, а от назревающих слез. Она зажимает обожженную руку между коленками и быстро-быстро хлопает веками, прогоняя слезы.

— Ничего, — утешает ее Сашук. — Я первый раз когда, еще хуже обстрекался. Все пузо!

От этого сообщения Анусе не становится легче. Носик ее все больше морщится, по щекам ползут слезинки.

— Больно ты нежная, — говорит Сашук, — ревушка-коровушка... Ну их, этих медуз, пошли к причалу.

Боль постепенно слабеет, а возле причала Ануся забывает о ней совсем. Они ложатся животами на причал и наблюдают, как в пронизанной солнечным светом воде стоят стайки мальков,

потом, испугавшись чего-то, серебряными брызгами разлетаются в разные стороны; как воровато, боком, от свай к свае пробирается маленький краб, как прозрачные тени волн бегут и бегут по песчаному дну. Сашук рассказывает, как рыжий Жорка катал его на транспорте, Ануся восхищается и хочет тоже попробовать. Они взбираются в желоб транспорта, но он неподвижен, а идти вверх по резиновой ленте скользко и страшно. Оси валков смазывают не часто и не густо, но Ануся ухитряется подцепить ногой шлепок черного тавота, пробует снять его, но только еще хуже размазывает по всей ноге и безнадежно пачкает руки. Сначала ей просто смешно, потом она вспоминает про маму... Сашук ведет ее к раковине возле барака, Ануся долго, старательно мылит руки, но обмылок стирочного мыла никак на тавот не действует, и Ануся снова расстраивается. Сашуку очень хочется ее утешить.

— Идем,— говорит он,— у меня чего есть!

У распахнутой двери Ануся останавливается: из барака несется хриплый рев.

— Кто там стонет?

— Жорка. Только он совсем не стонет, а спит.

— Страшно как! Будто его режут...

— Ха! Такого зарежешь... Он, знаешь,— округляет глаза Сашук,— он уголовник, в тюрьме сидел!

Он готов соврать про Жорку невесть что, но видит, что и так уже перестарался. Ануся испуганно озирается, готова стремглав броситься прочь, и Сашук поспешно добавляет:

— Ты не бойся, он ничего. Он мне вон чего подарил...

Сашук ныряет под топчан и достает кухтыль.

— Ой! — восхищается Ануся.— Эту вещь ты мне тоже подаришь?

— Ишь какая хитрая! Он мне самому нужен. Вот найду еще один, свяжу и буду плавать... И тебе дам поплавать. Немножко,— добавляет он после некоторого колебания.

Из-под топчана вылезает разбуженный Бимс, и Ануся забывает о кухтыле.

— Какой чудненький!

Она приседает перед щенком на корточки и начинает гладить. Бимс готовно опрокидывается на спину и подставляет свой розовый живот, но вспоминает о неотложном, ковыляет к миске с водой, долго лакает, потом чуть отходит в сторонку, и из-под него растекается лужица.

— Фу, бесстыдник,— сконфуженно смеется Ануся, оглядываясь по сторонам. С самолетным гудением о стекла бьются мухи, из барака по-прежнему несется жуткий храп.— Пойдем уже на улицу, а?

— Ага, пошли в войну играть... Ты дот видела?

— Не хочу,— говорит Ануся.— Какая это игра!

— А что? Самая лучшая! — убежденно говорит Сашук.— Ну да, ты ж девчонка,— вспоминает он.

— И совсем не потому что! Не люблю, когда убивают... Мамин папа был полковником. И его на войне убили.

— Мы ж будем понарошку!

— Все равно не хочу!

— Ладно,— говорит Сашук,— пойдем так посмотрим.

Он убежден, что, стоит Анусе увидеть окопы, развалины дота, она забудет обо всем и захочет играть в войну.

Однако, как только они выходят за ограду, Сашук сам забывает о доте и напрямик, не разбирая дороги, бежит к откосу, по которому спускаются на пляж. Там стоит бог...

ОРАНЖЕВЫЙ БОГ

В бога Сашук не верит. Бабка умерла полгода назад, поэтому отец и мать и взяли его с собой в Балабановку. Когда бабка была жива, она рассказывала Сашуку о боге и учила молиться. Потихоньку от отца она даже сводила его в церковь и показала бога на картинке. Бог был ужасно заросший, сидел на кучах ваты и держал руки вверх, будто сдавался в плен. Он оказался вредным и злопамятным: за всеми втихаря, исподтишка шпионил, а потом наказывал. Бабка то и дело грозила, что бог накажет, а если случалось плохое, говорила, что вот «бог и наказал»... Сашуку попадало на каждом шагу от отца, матери, от самой бабки, и ему совсем был ни к чему еще какой-то зловредный старик, который наказывает за всякую ерунду. Сашук пытался поймать бога на горячем, когда он шпионит: прикрыв за собой дверь, внезапно распахивал ее снова, но за дверью никого не оказывалось. Он лазил в подполье и на чердак. В подполье было сыро и лежала одна картошка, а на чердаке, кроме пыли, кукурузной шелухи и пауков, ничего не оказалось. Он рассказал бабке, что искал и не нашел бога. Она обозвала его дурачком и сказала, что бог — не гриб, на месте не сидит, а всюду витает.

— Как это — витает?

— Летает, стало быть.

— На реактивном или на спутнике?

Бабка почему-то рассердилась и хлестнула его лестовкой, но потом сказала, чтобы он про всякую дурость не думал, бог везде, только его никто не видит. Сашук подумал, что это какая-то липа, но промолчал, чтобы бабка снова не огрела лестовкой. Как же бога тогда рисовали, если его никто не видел? Другое дело — дядя Семен. Про него говорят, что он водит машину, как

бог... Это понятно, его все знают и видят. Хотя дядя Семен на бога никак не похож: бреется почти каждое воскресенье, никого не наказывает и даже мальчишек не очень шугает, когда они липнут к его «газону».

Бабка еще говорила, что бог всемогущий и творит разные чудеса. Только все чудеса он сделал почему-то раньше, когда-то, а потом разучился, что ли, или перешел на пенсию и ничего такого больше не делает. Так какой от него толк? Еще больше Сашук разуверился, когда спросил, чего бог ест, а бабка снова рассердилась, дала ему подзатыльник и сказала, что бог — дух, есть ему не надо. Тогда Сашуку окончательно стало ясно, что все это чепуха. Дух — значит, воздух. А воздуха нечего бояться. Вон, когда у дяди Семена скат спустит, воздух пошипит, и все... Нет, бабкин бог был просто сказкой, только в отличие от настоящих сказок, которые интересные, бабкина сказка была неинтересной. Поэтому, когда бабка заставляла его молиться, он рассеянно мотал рукой между животом и подбородком, а все бабкины рассказы пропускал мимо ушей. Вот если бы она рассказывала про машины...

Машин Сашук знает много: «газоны», «пазы», «ЗИЛы»... У председателя колхоза в Некрасовке есть «Победа». Правда, она такая облезлая, такая мятая-перемятая, чиненая-перечиненая, так тарахтит и дребезжит на ходу, что сам председатель называет ее «утиль-автомобиль». По глубокому убеждению Сашука, она все-таки очень красивая. Однако то, что он видит сейчас, даже не автомобиль, а чудо...

Сашук о том не подозревает, но он язычник. Втайне он уверен, что мертвого ничего нет, все вокруг живое. Не только люди, звери, птицы. И дерево, и камень, и палка, и любая машина... Они только хитрят, притворяются неживыми, а на самом деле все видят, чувствуют и, когда хотят, делают все по собственной воле, а не по желанию человека. Они даже разговаривают между собой, только так, что люди их не слышат или не понимают. И в душе Сашука все время живет ожидание чуда: вот-вот случится сейчас такое, чего еще никогда не было, никто не видел и не слышал...

И вот чудо произошло. Оно стоит перед Сашуком — оранжевое, неописуемо прекрасное чудо на четырех колесах, окованное стеклом, никелем и хромом. Кузов его пылает, огромные глазищи-фары не сводят с Сашука стеклянного взгляда, маленькие глазки-подфарники следят за каждым его движением, а сверкающая пасть радиатора и бампера скалит огромные торчащие клыки. Это вовсе даже не машина, это сам машинный бог, только не из скучной бабкиной сказки, а настоящий — из стекла, резины и стали, которого можно не только видеть, но и потрогать рукой...

Медленно, как замороженный, Сашук обходит машину вокруг и снова останавливается перед радиатором. От нее нельзя оторвать глаз. Даже сквозь пыль видно, какая она гладенькая — рука скользит по кузову, как по маслу... А в бамперы и колпаки на колесах можно смотреться, как в зеркало. Правда, вместо лица там видна смешная сплюснутая рожица, но все равно они сверкают куда ярче, чем зеркало дома, не говоря уж о растрескавшемся мутном обломке, перед которым бреются рыбаки...

— Что ты все смотришь и смотришь? — говорит Ануся. — Пошли уже.

— А, подожди! — отмахивается Сашук. — Как ты не понимаешь? Это же «Волга»!

«Волги» он никогда не видел, но ребята говорили, что она — всем машинам машина.

— А вот и не «Волга», — отвечает Ануся. — Это наш «Москвич».

— Врешь!

— Зачем мне врать? И вообще я никогда не вру, — с опозданием обижается Ануся.

— Совсем ваш? Собственный?

— Ну да, мы на нем приехали. Папа с мамой уже третий год ездят. Только раньше меня не брали, я с бабушкой оставалась, а теперь взяли.

— И прямо из дому сюда?

— А что особенного? Мама хотела на курорт, а папа сказал, что курорты ему опротивели, лучше ехать дикарями на лоно природы. Вот мы и приехали. Только маме здесь не нравится. Нет удобств, и вообще...

Сашука это уже не интересует. Он заново присматривается к Анусе. Она осталась такой же, но что-то в ней как бы и изменилось после того, как Сашук узнал, что она приехала на этой самой машине. И машина словно бы чуточку стала иной — и та же, и вроде бы чуточку другая. Такая же великолепная, но уже не такая недосыгаемая, как за минуту перед этим. Сашук снова обходит ее кругом, заглядывает в зеркальные стекла, трогает все ручки, задние фонарики, фары, узорчатый радиатор.

— Пойдем же, — говорит Ануся, которой все это давно наскучило.

— Обожди... Знаешь, сначала что? Давай, пока никто не видит, залезем в середку и посидим. Немножко.

— А как мы залезем, если она закрыта?

Сашук сокрушенно вздыхает. Но все равно оторваться от машины он не может и ходит вокруг нее, как на прочнейшей, хотя и невидимой корде.

— Тогда знаешь что? Давай ее почистим!

Тонкий слой желтоватой пыли приглушает оранжевое пламя эмали, гасит сверкание хрома, а Сашуку хочется увидеть четырехколесное чудо во всем великолепии. Стереть пыль нечем — вокруг не только тряпки или бумаги, нет даже пучка мягкой травы, одна жесткая верблюжья колючка. Недолго думая Сашук выдергивает подол рубашки из штанов, становится на колени перед колесом и принимается очищать колпак. Рубашка коротка, ему приходится все время ёрзать на коленях, но зато колпак вспыхивает режущим глаза блеском. Анусе становится завидно. Она опускается на коленки у другого колеса и тоже принимается протирать подолом колпак. Оба стараются вовсю, чтобы перещеголять друг друга, больше ничего не видят и не слышат.

— А вот за это — по шее! — раздается над ними сердитый возглас.

Рядом с Сашуком стоят худые волосатые ноги. Над ними шорты, разрисованная рубашка, борода и сверкающие льдом толстые стекла очков.

— Она же ж грязная, — мямлит Сашук. — Мы хотели...

— Ах, вы хотели? — говорит Звездочет, и висящая на кукане одинокая зеленушка делает все более широкие размахи. — Вы предполагали, намеревались и собирались? А кто наследил по машине своей пятерней?

Только теперь Сашук видит, что всюду, где он прикасался к машине, остались отчетливые пятна, полосы и веера растопыренных ладошек. Ответить Сашуку нечего, и он только сокрушенно и пристыженно шмыгает носом.

— Заруби на своем и без того покалеченном носу, — говорит Звездочет, и уже опять нельзя понять, говорит он серьезно или смеется, — машина не кошка — гладить ее незачем, пыль не стирают, а только смывают... А ты, Анна, — поворачивается он к дочери, — смотри: вон идет мать, и сейчас будет грандиозный бенц. Она в панике из-за твоего бегства, а когда увидит, как ты разукрасилась...

Еще недавно голубое, платье Ануси стало бурым от пыли, и чего только на нем нет: и рыбья чешуя, налипшая еще на причале, и мыльные потеки, которые стали просто грязными потеками, и даже черные пятна тавота. Ануся отряхивает подол — платье от этого не становится чище. А мама Ануси быстро, размашисто шагает к машине. Она уже одета, в красно-коричневом платье, которое все блестит и переливается, будто лакированное, полотенце уже не обмотано вокруг головы, а висит на руке, и теперь видно, что у нее такие же вьющиеся белокурые волосы, как у Ануси. На носу нет бумажной нашлепки, с лица стерта белая намазка, и лицо это еще красивее, чем прежде, но такое гневное, что Сашук независимо, однако и без промедления уходит за машину, туда, где Звездочет открывает ключом

переднюю дверцу. Тот достает парусиновые штаны и натягивает, потом распахивает все четыре дверцы, чтобы проветрить: машина раскалилась на солнце, из нее пышет, как из только что истопленной печи. И в это время разражается предсказанный «бенц».

— Ануся, почему ты убежала? — еще издали говорит мать. — Я ведь запретила тебе уходить... Боже мой, на кого ты похожа?! — кричит она. — Ты нарочно, назло? Или опять собирала всякую дрянь с тем грязным мальчишкой?!

— Мамочка, при чем тут он? Он же меня не пачкал, я сама...

Звездочет издает странный звук — не то фыркает, не то хрюкает, — и Сашуку кажется, что он ему подмигивает, но не уверен в этом, толстые стекла очков мешают рассмотреть.

— Ты еще его оправдываешь? Не смей к нему подходить! Слышишь?.. Пусть он только попадется мне на глаза!..

В этот момент она обходит багажник, и Сашук попадает ей на глаза.

— Ах, ты здесь? А ну, убирайся отсюда! Немедленно! И чтоб я тебя больше не видела!..

— Люда! — вполголоса говорит Звездочет. — Нельзя же так. Как тебе не стыдно!

— Нисколько не стыдно. Если ты не хочешь думать о своем ребенке...

— Но ведь он тоже ребенок.

— Какое мне дело до чужих сопливых детенышей! У меня и так голова кругом идет...

Сашук поворачивается и, вобрав голову в плечи, уходит. Уши у него горят, глаза щиплет, и в горячую бархатную пыль под ногами даже падает несколько капель. Ух, до чего злющая тетка! И как он ее ненавидит... Чего она к нему придирается? Ануся сама к нему прибежала. Разве он ее звал? Пусть теперь только попробует подойти, он так шуганет... И сам ни за что не подойдет. Нужны они ему...

Несмотря на всю горечь незаслуженной обиды, уйти совсем, окончательно, он не может. Хоть издали, хоть краешком глаза он должен посмотреть, как тронется с места, поедет оранжевое чудо. Что она ему, запретит? Степь не ее, кто хочет, тот и ходит... Отойдя в сторонку, Сашук садится на землю и делает вид, что расковыривает ход в подземное жилище мурашей, а на самом деле искоса наблюдает происходящее у машины. Злющая тетка снимает с Ануси платье, вытряхивает и надевает снова. И все время что-то говорит. Что говорит, понятно и так: ругается и наговаривает на него, на Сашука. А Звездочет долго стоит, опустив голову и поглаживая бороду, потом решительно поворачивается и... идет к Сашуку. Сашук вскакивает. На всякий случай. Чтобы сразу дать деру, если что...

— Рассердился? — спрашивает Звездочет, подходя.

— А чего она придирается?

— Обидно, я понимаю, — раздумчиво говорит Звездочет, дергая свою бороду. — Что ж, хотя это абсолютно непедагогично, могу только повторить совет Чапая. — Сашук, не понимая, смотрит на него снизу вверх. — Насколько я помню, он рекомендовал наплевать и забыть... Теперь пошли со мной.

— Зачем?

— Звездочеты не только знают звезды, они умеют предсказывать и угадывать чужие желания. Твое я уже угадал.

— А вот и нет!

— А вот и да! Смотри на меня! — строго говорит он и, указывая на Сашука пальцем, торжественно произносит: — Ты хочешь проехаться на машине!

Глаза и рот Сашука так распахиваются, что Звездочет снова издает странный звук — не то хрюкает, не то фыркает, — поворачивается и идет к машине. Не веря, сомневаясь и пламенно надеясь, Сашук вподбежку спешит следом.

Жена Звездочета встречает их колючим взглядом.

— Зачем ты его привел? Что ты собираешься делать?

— Восстановить справедливость. В таком возрасте нельзя терять в нее веру.

Жена закусывает нижнюю губу, сажает Анусю на заднее сиденье, садится сама и со страшным стуком захлопывает дверцу.

— Вот так, — говорит Звездочет, — а спереди будет сидеть избранное мужское общество. Прошу!

Он распахивает перед Сашуком правую дверцу, ждет, пока тот взберется на сиденье, и захлопывает. Внутри так чисто и красиво, так блестят разные штучки и ручки, такая дикий собачка болтается на резинке перед ветровым стеклом, а сзади так зловеще молчит Анусина мама и Сашук так всей спиной и затылком чувствует ее колючий взгляд, что он не только ничего не трогает, но боится пошевелиться и с трудом, прерывисто переводит дыхание.

— Ну как, нравится? — спрашивает Звездочет, садясь за баранку.

От полноты чувств Сашук не может выговорить ни слова и только быстро-быстро кивает.

— Что же надо делать, чтобы поехать?

— Погудеть! — шепотом подсказывает Сашук.

— Погудеть? Да, в самом деле, какая же езда без гудения? Давай гуди.

Сашук тянется к большой черной кнопке на торце рулевой колонки, нажимает, но гудка нет.

— Дудки, — говорит Звездочет. — Гудок у меня заколдован-

ный, настоящий звездочетский...— Глаза Сашука вспыхивают восторгом.— Сейчас мы его расколдуем. «Эн, де, труа, бешамель де валуа...» Теперь нажми эту дужку.

Сашук осторожно трогает хромированный прут под баранкой — и над степью разносится гудок. Он зычен и звонок и так же не похож на хриплое кряканье «газона» дяди Семена, как сам выдавший виды облезлый «газон» на оранжевого щеголя.

— Папа, пап! Я тоже хочу! — кричит Ануся, вскакивает ногами на сиденье, переваливается через плечо отца и тянется к дужке сигнала. Звонкий голос «Москвича» раскатывается над обрывом, падает вниз, чайки шарахаются от него в море.

— Хватит, граждане, — говорит Звездочет. — Надо совесть иметь, а то сейчас обратно заколдую, и машина никуда не пойдет.

Сашук отдергивает руку, Анусю мать сердито стаскивает и сажает на место. Звездочет поворачивает ключик, внизу что-то рычит и сейчас же смолкает.

— Поломалась? — встревоженно спрашивает Сашук, но тут же сам видит, что ничего не поломалось и они уже не стоят, а едут, и даже не едут, а плывут — так плавно и мягко трогает машина с места.

— Газанем? — спрашивает Звездочет.

— Ага! — радостно кивает Сашук.

— Ну, держись, увезу тебя сейчас на край света...

— Ага! — ликуя, кивает Сашук.

Он согласен на все, лишь бы ехать и ехать в этой волшебной машине. Она мягко раскачивается на ухабах, волочит за собой длиннющий хвост пыли и мчится так, что воздух ревет, врываясь в окна. Счастье никогда не бывает долгим. Обогнув по задкам четыре усадьбы, «Москвич» въезжает в улицу, поворачивает и останавливается возле ворот пятой хаты. Пыль, которая раньше никак не могла догнать машину, теперь набрасывается на нее и окутывает густым желтым облаком. Сердито отплевываясь, жена Звездочета выскакивает из машины и утаскивает за собой Анусю. Сашук вопросительно смотрит на Звездочета.

— Слезай, приехали, — говорит тот. — Путешествие окончено.

Сашука пронзает горькое разочарование. Он вылезает из машины, отходит в сторонку, но как только Звездочет разворачивает автомобиль и въезжает во двор, Сашук припадает к редкому штакетнику, опоясывающему двор. Звездочет открывает капот, долго там копается, потом закрывает капот, все дверцы и, наконец, замечает прижатое к штакетнику лицо Сашука.

— Ты собираешься стоять здесь всю ночь?

Сашук молчит.

— Лети домой, а то тебе тоже бенз устроят.

Сашук отрывается от штакетника, но тотчас опять припадает к нему.

— Ладно, я еще приду? — с надеждой спрашивает он.

— Валяй, — соглашается Звездочет, и теперь даже сквозь толстые стекла очков Сашук отчетливо видит, что левый глаз его подмигивает.

Блаженная улыбка снова растягивает лицо Сашука, и он припускает домой, к бригадному барaku.

ПИЩА НАША

Соскучившийся Бимс бросается ему навстречу, но Сашуку не до него. Первым делом он бежит в барак к зеркалу. Оно всегда стоит на подоконнике: возле окна рыбаки бреются. Зеркало треснутое, мутное и изрядно засиженное мухами. Сашук плюет на него, протирает рукавом. Оно ничуть не светлеет, но все равно видно, что с носом плохо. Две дырочки, обращенные к небу, над ними кожа, красная и лоснящаяся, как нарыв, а вокруг — остатки старой, облупыши. Сашук сковыривает их ногтем, но под ними такая же воспаленная, багровая кожа.

— Ты чего нос себе обдираешь? — спрашивает Иван Данилович..

Рыбаки почти все в бараке: кто отсыпается после червонного, кто просто так лежит, отдыхает перед обедом и вечерним выходом в море. Жорка уже выспался и лежит, заложив руки под голову, а ноги задрал на спинку койки. Он тоже наблюдает за Сашуком и тут же встречается.

— Так он же, — кричит Жорка на весь барак, — он же кралю себе нашел! Я видел, как они до машины побежали. Там такая фуфыря — антик-марэ с мармеладом! И где только выискал? Вот теперь форс и наводит...

Рыбаки смеются, а Сашук вспыхивает и, сжав кулаки, оборачивается. А он-то еще собирался рассказать Жорке про машину, про всё...

— Как не стыдно! — кричит Сашук. — Как не бессовестно!

— Да ты не серчай, не отобью. Только гляди на свадьбу позови! — хохочет Жорка.

Рыбаки смотрят на яростно взъерошенного, пылающего Сашука и тоже грохочут.

— Жеребцы стоялые, — говорит Иван Данилович, — нашли над кем...

Ненавидя их всех, Сашук выбегает из барака. Бимс кидается ему под ноги. Сашук пинает его, тот жалобно скулит, и Сашуку становится стыдно и жалко. Он нагибается и гладит его.

— Ладно, — говорит он, — не сердись, я нечаянно, со злости...

Щенок зла не помнит. Он тут же начинает ластиться, лизать Сашуку руку. Сашук тормозит его и мало-помалу отходит.

Мать уже вернулась и возится у плиты под навесом, готовит обед. Сашук бежит к ней.

— Мам, дай мне другую рубашку.

— Чего ради?

— Эта уже грязная.

— Поменьше в грязи гваздайся. Вчера только надел. И с чего ты чистюля такой стал?

— Да ну, мамк... — начинает канючить Сашук, но мать отмахивается.

— Не приставай, без тебя тошно.

Похоже, что ей на самом деле тошно: ходит с трудом, полусогнувшись, лицо бледное, под глазами темные круги, а на висках выступили капельки пота. Сашук направляется к рукомойнику и долго, старательно моет руки, даже трет их песком. Руки светлеют, но самую малость, а пальцы так и остаются с обгрызенными ногтями и заусеницами.

За обедом Сашук смотрит в свою миску и ни с кем не разговаривает. Принципиально. Раз они такие.

Рыбаки идут на причал. Мать, тяжело вздыхая, то и дело приостанавливаясь, моет посуду, потом уходит в барак и ложится. Сашук идет на берег, втайне надеясь, что Звездочет снова привезет свое семейство купаться. Больших медуз в воде уже нет, они снова ушли на глубину, в свою бездну, из которой приплыли к берегу погреться на солнце. У берега болтаются лишь маленькие, как блюдечки, да и те постепенно исчезают. Солнце скрывается за излучиной обрыва. Звездочет не приезжает и уже, должно быть, не приедет. Сашук бредет домой.

Мать лежит в боковушке и тихонько стонет. От этого Сашуку становится скучно и не по себе. Он идет во двор, усаживается за длинный, на козлах, обеденный стол под навесом и смотрит, как постепенно догорает, гаснет закатное зарево. Сизая дымка густеет, наливается синевой, потом сразу становится непроглядно-черной. На невидной отсюда окраине Балабановки влаивает пес, ему отвечают другие. Некоторое время они перебрехиваются, будто ведут переключку перед ночным дежурством, и замолкают. С моря не доносится ни единого всплеска. Легкий бриз, который весь день дул с моря, затих, а береговой еще не поднялся, и Сашука обступает глухая, плотная тишина. Сидеть в темной тишине жутко, но Сашук оглядывается назад. Распахнутая дверь барака, где лежит мать, — в трех шагах, а босая нога ощущает короткую теплую шерсть Бимса, свернувшегося под скамейкой. «И вообще чего бояться? — уговаривает себя Сашук. — Если бояться, так никогда и не найдешь...» Правда, Звездочет не сказал, как ее искать, но уж он как-нибудь найдет. Если она его, так она ему сама даст знак: подмигнет или еще как... Звезды одна за другой уже проклевываются в черном небе, но такие дрожащие

и слабенькие, что ни одна из них не может быть его звездой. Сашук облакачивается на стол, опирается скулой о кулак...

— Ты чего здесь куняешь?

Шершавая, как наждак, ладонь Ивана Даниловича запрокидывает лоб Сашука. В бараке горит свет, слышны голоса вернувшихся рыбаков. Сашук сначала не хочет отвечать, но вспоминает, что Иван Данилович никогда над ним не смеется, сильнее всех и больше всех знает. Может, он и про это знает?

— Я звезду ищу. Дяденька... ну, который на машине, на красной, сказал, что у каждого должна быть звезда.

— Вон оно что!.. Ладно, пойдем, я тебе покажу.

Они выходят из-под навеса, заслоняющего звезды.

— Большую Медведицу знаешь? Тогда смотри за моим пальцем... Вон семь звезд. Получается вроде ковша или кастрюли с ручкой. А теперь через эти две звезды смотри вверх... Там тоже кастрюля, только поменьше и ручкой в другую сторону. На конце той ручки — звезда. Видишь? Полярная называется. Для нашего брата — наиглавнейшая звезда. Она всегда север показывает. Как моряки или рыбаки без компаса заблудятся — ни берега, ничего не видать, — найдут эту звезду и по ней прямехонько домой...

— Не! — подумав, отвечает Сашук. — Это всехная. А он сказал, у каждого своя.

— Тогда ищи сам. Только другим разом, а теперь спать беги, тебе уже третий сон видеть пора...

Мать не спит, блестящие глаза ее смотрят куда-то в угол, под потолок. Отец растерянно мыкается по боковушке и приговаривает:

— Взвара бы. Или киселя холодненького. Может, и обошлось бы, полегчало... А завтра что ж будет?

— Как-нибудь отлежусь, — тихонько отвечает мать. — Ты спи, устал ведь...

Сашук ложится на свой жесткий топчан и думает, что взвара бы — хорошо, и ему бы перепало. Когда он хворал, бабка варила взвар только для него. Но тогда — он хорошо это помнит — ему даже не хотелось. А когда он поправился и ему захотелось, никакого взвара уже не варили и не давали. Почему это вкусные вещи дают только больным, когда они им вовсе ни к чему, а здоровым очень даже к чему, но им не дают?.. Додумать эту важную мысль Сашук не успевает — веки склеиваются, а мысли разбегаются в разные стороны, как рассыпанный горох.

Когда Сашук просыпается, в бараке тихо. Значит, рыбаки ушли, а он снова проспал. Но тут же видит, что мать лежит, стало быть, не так уж поздно. Тихонько, чтобы не разбудить мать, он выскакивает во двор. Солнце еще только-только поднялось над морем, и, если прищуриться, на него даже можно смотреть. Сашук щурит по очереди то один глаз, то другой

и смотрит на солнце до тех пор, пока глаза не начинает резать, а голова кружиться. Потом вспоминает все вчерашнее, бежит со двора, но спохватывается и возвращается к рукомойнику. Он плещет с ладошек на лицо, даже зачем-то смачивает белобрысый свой чубчик. Идти за полотенцем некогда, и утирается Сашук уже на бегу, рукавом.

Оранжевый «Москвич» стоит за штакетником на прежнем месте. Окна в хате распахнуты настежь, но никого не видно и не слышно. Спят. Улица, на которой хаты стоят только в один ряд, пуста, нет даже ни мальчишек, ни собак. А эти же еще хуже, городские, наверно, спать будут долго. Все-таки Сашук не уходит. Он бродит по канаве, тянущейся вдоль дороги, только там ничего интересного нет — окаменелая грязь, бурьян да совсем бросовый хлам. Солнце припекает, в животе Сашук явственно ощущает пустоту, а там всё спят и спят. Он бросает прощальный взгляд на «Москвич» и уходит. К его удивлению, мать еще не встала.

— Мамк, я есть хочу,— говорит Сашук, подходя к койке.

Оказывается, она совсем не спит. Блестящие глаза ее смотрят все в тот же угол под потолком, круги под глазами еще больше, а лицо синевато-бледное. Она шевелит запекшимися губами, но отзывается не сразу.

— Ключ возьми... под подушкой. В кладовке хлеба от-режь... Не порежься смотри...

— Что я, маленький?

— Только, сынок, там сало лежит — не трогай... Оно ар-тельское, нельзя. Если хочешь, капустки возьми, в кадушке...

Сашук шарит у нее под подушкой, достает ключ. Кладовка во дворе, наполовину врытая в землю, там сумрачно и про-хладно. Прижав к животу хлебный кирпич, Сашук срезает себе горбушку. Подумав, отрезает еще ломоть — про запас и для Бимса. На ящике, прикрытое холщовой тряпкой, лежит сало. Его много. Три толстых белых пласта, рассеченных на четыре части, поблескивают крупной солью. Сало Сашук любит, но ест его не часто. Он оглядывается на открытую дверь кладовки и раздумывает. Никто же не увидит... Потом глотает слюну и решительно прикрывает сало тряпкой. Капуста старая, воняет бочкой — прямо с души воротит. Сашук пощипывает свою гор-бушку крупной солью, запирает кладовку и бежит обратно к матери. Бимс юлит, виляет бубликом-хвостом. Получив ломоть хлеба, укладывается и тоже принимается жадно есть. Мать переводит взгляд на громко тикающие ходики.

— Господи, скоро шесть...— и пробует приподняться, но обессиленно опускает голову на подушку.— Сынок, а сынок,— немного передохнув, говорит она,— рыбаки скоро с моря при-дут...

Сашук перестает болтать ногами, но продолжает уплетать горбушку.

— А я вот слегла... Есть-то им будет нечего...— Сашук перестает жевать и, зажав ладошки между коленками, ждет, что она скажет дальше.— Может, ты расстараясь?

— Так а я чего? Я не умею.

— Хоть как-нибудь.

— Да ну, мамк, не хочу я! И некогда мне, пускай сами...

— Ты погоди, ты подумай... Ушли они до света, а придут часов в восемь... Они ж не катаются, а работают. Тяжко работают, сынок... Ты весла ихние видел?

Сашук кивает. Весла здоровущие. Он как-то попробовал приподнять — и пошевелить не смог. Как бревно. Не зря на одном весле по два человека сидят.

— Ты подумай-ка сам: пять часов таким веслом помахать!

— Я бы взял и бросил.

— Глупый ты еще... И они, чай, не от радости — на жизнь зарабатывать надо... Ты вон только побегаешь и то есть хочешь. А им каково? Небось все руки-ноги ломит...

Сашук пытается представить, как это ломит руки-ноги, и не может. Но он знает, что рыбаки всегда приходят голодные-преголодные. Едят быстро и молча. А потом сразу ложатся отдыхать. Очень устали потому что. А тут они придут, а есть нечего, надо варить и ждать. Они будут сердиться и ругаться, и даже сам Иван Данилыч...

— Ладно,— говорит Сашук,— только ты говори чего...

— Вот и хорошо, вот и ладненько...— говорит мать, и губы у нее почему-то дрожат.— Хоть кондёр сварим. Я тебе все по порядку... Ты перво-наперво плиту почисти, кочережкой...

Через полминуты под навесом начинается извержение вулкана,— зола и пепел столбом поднимаются над плитой, усыпают все подступы к ней. Сашук чихает, кашляет, но орудует кочережкой, пока колосники и поддувало не становятся чистыми.

— Дальше чего? — прибегает он к матери.

— Господи, измазался-то, как чёртушка! — скосив на него глаза, говорит мать.— Ладно уж... Натаскай воды в котел, ладошки две не до краев... Потом чайник... И разожги.

Хорошо хоть, железная цистерна с водой близко. Сашук таскает воду котелком и старательно прикладывает к краю ладошки. На растрескавшейся эмали котла остаются сажевые следы, зато мера точная, тютельница в тютельку — две ладошки. Разжечь плиту — дело плевое. Сашук не раз с ребятами жег костры и в плавнях и на огородах. Пламя в плите начинает реветь. Потом Сашук приносит из подвала два котелка пшена, отрезает четвертушку сала. Он режет сало на мелкие кусочки, а Бимс, уловив волнующий запах, вьется под ногами и скулит.

— Не подлизывайся! — строго говорит Сашук. — Сказано тебе — нельзя! Артельское...

Все-таки он не выдерживает: отрезает маленький кусок шкурки и дает щенку. И себе отрезает такой же, кладет за щеку и сосет. Шкурка вкусная, ее можно сосать долго, но Бимс не жуя заглатывает свой кусок и так царапает Сашуковы ноги острыми когтями, так умильно заглядывает ему в лицо, что Сашук вынимает шкурку изо рта и отдает щенку.

Кондер закипает, и оказывается, что самое трудное — мешать. Большая деревянная ложка почти целиком уходит в котел, а кондер густеет и его все труднее размешивать. Сашук доликает воды, но он снова густеет, надувается пузырями, пахнет паром и целыми шлепками кипящей крупы. Уже немало шлепков попало на плиту, они горят и воняют. А потом такой шлепок попадает ему на запястье, он бросает ложку и с ревом бежит к матери.

— Опарился? Ничего, ничего... Ты послунь и солью посыпь. Оно и отойдет, не так печь будет...

Сашук посыпает, соль грубой коркой присыхает на ожоге, и через некоторое время и в самом деле становится легче.

Тем временем к причалу подходят лодки. Сашук бежит туда и, забыв об ожоге, обо всех неприятностях, горделиво кричит:

— Папка, дяденька Иван Данилыч! А я кондер сварил! Сам-один!

— А мать чего ж?

— Так она хвора! — радостно сообщает Сашук. — Вот я и варил...

Иван Данилович и отец переглядываются, отец вспрыгивает на причал и быстро идет к бараку. А Сашук обижается — никто не радуется и не удивляется тому, что он сам-один сварил кондер.

Рыбы мало, ее быстро разгружают, транспортер уносит ее в цех, и рыбаки идут домой. Надутый, обиженный Сашук бежит следом за бригадиром. Тот прежде всего идет в боковушку к матери. Та с трудом поворачивает к нему голову.

— Вы уж не сердчайте, Иван Данилыч, не смогла я, совсем ослабла...

— Ничего, с голоду не помрем. Поправляйся давай, — говорит Иван Данилович, кивает отцу Сашука, и они выходят во двор. — Табак дело, Федор, надо Настю к доктору.

— Где ж его взять?

— В Николаевке нету. Там даже фельдшера нет. Только в Тузлах. Туда и везти.

— А на чем?

— Да не будь ты тютей! — сердится Иван Данилович. — Где, на чем да как... Иди в Николаевку — в сельсовет, в колхоз, — добывай транспорт. Там ведь люди, помогут. Нельзя, чтобы не помогли. Добивайся, требуй!

Отец, ни слова не говоря, поворачивается и быстро шагает со двора.

— Ну, кухарь, показывай, чего наварил.

Сашук стаскивает тяжелую деревянную крышку с котла. Иван Данилович заглядывает.

— И всё сам? — Сашук быстро и часто кивает головой. — Знатный кондер!.. Кажись, малость подгорел. Ну, не беда — смачней будет... Молодец парень!

Сашук расплывается. Если уж сам Иван Данилыч говорит...

Рыбаки садятся за стол, начинают есть, и Сашук ждет, что сейчас и все, как Иван Данилович, будут говорить, какой замечательный кондер он сварил, и хвалить его, Сашука, но вместо этого слышит, как Игнат бурчит:

— Какой же то кондер, то ж каша, ее хоть колуном рубай.

— Заглотаешь и такую, — отзывается Жорка. — Щи да каша — пища наша! Верно, Боцман?

— Это тебе все одно, что дерево, что бревно... Дай табуретку — и ту сжуешь... А человеку после работы еда нужна.

— Не нравится? — спрашивает Иван Данилович, и голос его не сулит ничего хорошего. — Скажи малому спасибо и за такую еду, а то сидели бы на одном хлебе.

Каша в самом деле очень крутая, с трудом проходит в глотку, горчит, но из всех каш, какие он ел, кажется Сашуку самой вкусной. А Иван Данилович... Иван Данилович, конечно же, самый справедливый и самый авторитетный из всех людей, каких он знает.

САМОРДУЙ

Сашук наедается своей кашей до отвала и соловееет от сытости и усталости. Оказывается, даже если только сварить один кондер, и то устанешь, и он уже предвкушает, как вместе со всеми рыбаками пойдет в барак и ляжет отдыхать. С устатку... Но Иван Данилович говорит вдруг:

— Егор, прибери давай, что ли. — Жорка недовольно морщится. — Надо ж кому-то. А ты моложе всех...

— Ладно, — говорит Жорка. — Если только шеф-повар подсобит. Как, Боцман, подмогнешь? Мы с тобой враз все подчистую.

Сашук согласен. Он согласен сейчас на всё. Даже сварить новый кондер. Или что угодно. Лишь бы опять говорили, какой он молодец и как здорово у него все получается.

— Как нам это дело оборудовать? — спрашивает Жорка и на минутку задумывается. Потом берет детскую оцинкованную ванночку, в которой Сашукова мать делает постирушки, и они сваливают туда все миски и ложки.



Н. Дубов. «Мальчик у моря»

— Я буду мыть, а ты таскай, на столе раскладывай.

— И вытирать?

— Ну, еще вытирать! Сами на солнце высохнут.

И в самом деле, солнце так накаляет алюминиевые ложки и миски, что они обжигают руки.

— Вон ты его как уделал! — говорит Жорка, наклоняясь над котлом. — Теперь хоть бульдозером выгребай... Тащи песку!

— А где? Тут же нету.

— На море тебе песку мало? Эх, ты, а еще Боцман...

Сашук бежит к морю и уже только на берегу спохватывается — прибежал он без посуды. Не раздумывая долго, он насыпает полную пазуху и, придерживая вздувшуюся пузырями рубашку, бежит обратно. Струйки песка щекотно текут по телу, но все-таки почти половину он доносит до места. Жорка шурует вмазанный котел, Сашук, облокотившись о плиту, наблюдает.

— А боцман — это кто? — спрашивает он.

— Боцман — это, брат, фигура. На корабле первый человек.

— Начальник?

— Ну, начальник! Чего доброго, а их и над ним хватает... А боцман — он и старший, и вроде свой. А главное — по всей корабельной части мастак. И по жизни тоже. Каждую заклепку знает и кто чем дышит... Кончил! Теперь можно пойти храпануть... Постой, а где ж твоя краля? Или уже разошлись, как в море корабли?

— Ну чего привязался? — вспыхивает Сашук.

— Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, — примирительно говорит Жорка и уходит спать.

А Сашук бежит к матери — может, она передумала и все-таки даст новую рубашку?

Мать еще бледнее, дышит тяжело и стонет. Какая уж там рубашка! Сашук поворачивает обратно, но мать замечает его.

— Посиди со мной, сынок, — слабым голосом говорит она.

Сашук садится на свой топчан.

— Иван Данилыч сказал — я молодец.

— Молодец, молодец... — подтверждает мать.

— А еще мы с Жоркой посуду помыли!

Мать молчит, но Сашук и так знает — ей не по душе, что он опять был с Жоркой. Он лезет под топчан, достает кухтыль, заново рассматривает свое сокровище, потом прячет обратно. Мухи звенят, бьются о пыльные оконные стекла. Сашук складывает ладонь лодочкой и начинает их ловить. Мухи надсадно жужжат и щекотно бьются в ладошке. Однако мухи скоро надоедают. Мать все так же смотрит в угол под потолком и тихонько стонет. От этого Сашуку становится совсем тоскливо.

— Я пойду с Бимсом поиграю, — говорит он.

— Ладно уж, беги, — вздыхает мать.

Сашук бежит, но вовсе не играть с Бимсом, а напрямик к пятой хате. Он подбегает и столбенеет — машины нет. Совсем нет. Ни во дворе, ни в сарае, ворота которого распахнуты настежь, ни за сараем. Уехали. Вот даже видны свежие отпечатки покрышек в толстом слое пыли на дороге. Значит, недавно. Может, только что. Обманул Звездочет. А еще звал приходить. Ну, не звал, а сказал «валяй» — значит, приходи, а сам... Эх!

Сашуку становится так горько, так обидно — хоть плачь. Но он не плачет, а, сунув кулаки в карманы, насупившись, смотрит вдоль улицы. Может, они не насовсем, а так — на базар или куда — и еще приедут? Хорошо бы пойти во двор и спросить, куда уехали квартиранты, однако на это Сашук не решается — прогонят и еще обругают. Лучше здесь подождать. Все равно дома ничего интересного — мамка стонет, а рыбаки спят.

Сашук перебирается через канаву, садится на корточки возле старого толстого тополя и ждет. Сколько он сидит — полчаса, час или два, — неизвестно. Солнце стоит на месте, да и все равно по солнцу определять время он не умеет, а часы — откуда у него часы, если их у отца нет? Улица пуста. Только раз тетка из одной хаты пошла в другую, потом вернулась. Да еще пробежала собака.

Время идет, надежды гаснут. Сашук перелезает канаву, чтобы направиться домой, и тут вдруг видит идущего из Балабановки отца. Он весь запыхался, лицо тоже в пыли, по нему текут грязные струйки пота.

— Ты зачем здесь? — строго спрашивает отец, но ответа не ждет. — Как там мамка?

— Лежит.

— Вот беда! И Балабановку и всю Николаевку избегал — ничего. Лошадей нет — какие теперь у мужиков лошади? А в колхозе все машины в разгоне. Уборка. Пришел в сельсовет, а там говорят: у нас один велосипед...

Говорит он, в сущности, не для Сашука, а сам с собой, потому что ему не с кем поделиться, некому пожаловаться и потому что он не знает, как быть.

— В насмешку, что ли? Разве на велосипеде довезешь? До Тузлов, шутка сказать, двадцать пять километров. По дороге кровью изойдет...

— А зачем?

— В больницу надо мамку везти. А то так и помрет. Что мы тогда делать будем?

— Ну да, — говорит Сашук. — Она же не старая!

— Дурачок! Разве только старые помирают?.. И черт нас дернул вчера в село ходить, все одно без толку... А может, дорога ей повредила, встрясло...

Говоря сам с собой, отец торопливо шагает задами крайних хат — так ближе, — а Сашук старается не отстать и напряженно думает. С какой стати мамка должна помирать? Ну, похворает, и все. Она уже хворала. Две недели лежала в больнице, в Измаиле. Сашуку было даже лучше. Ну, случилось, сидели без варева — беда большая. Зато бегай сколько хочешь и где хочешь, никто домой не загоняет. А тут вдруг помирать! Сашук только раз видел покойницу — бабу. Лицо у нее стало маленькое, желтое и какое-то чужое. А самое страшное — она стала неживой: не говорила, не смотрела, лежала на столе, сложив руки, а потом ее увезли и закопали в землю...

Сашука охватывает все бóльшая тревога и смятение. Он уже просто бежит бегом и вдруг замечает, что отец тоже бежит, обгоняет его и — напрямик на бригадный двор.

Посреди двора стоит «газик». Обе дверцы его распахнуты, во все сиденье растянулся на животе вихрастый парень. Он лежит и курит.

— Слушай, — запыхавшись, говорит отец, — слушай, друг! Выручи, сделай одолжение — подкинь человека до Тузлов... А?

Парень поднимает взгляд на отца.

— Какого человека?

— Да жинка у меня захворала, срочно в больницу надо. А тут хоть убейся — никакого транспорта. Ни лошади, ничего, хоть на себе неси...

— Нет, — говорит вихрастый, — не имею права. Я «козлу» не хозяин. Проси начальника. Мне что? Скажет — отвезу!

— А где твой начальник?

— С бригадиром куда-то подались. Может, в лавку — подзаправиться...

Иван Данилович сидит на крыльце за столом. На столе две пустые бутылки из-под червоного и одна начатая. Напротив сидит незнакомый человек в вышитой рубашке. Нельзя сказать, что он жирный или толстый. Он просто очень сытый, весь налитой и такой гладкий, что рубашка на нем лежит без единой морщинки.

— Доброго здоровья, — говорит отец, подходя к крыльцу и стаскивая кепку.

— Привет, привет, — отвечает Гладкий и вопросительно смотрит на Ивана Даниловича.

— Рыбак наш, — роняет тот.

— Я до вас, — говорит отец. — Просьба у меня... Насквозь всю Балабановку и Николаевку избегал. Ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне. И председатель говорит: не имею права с уборки снять, голову оторвут...

— Правильно, оторвут, — солидно подтверждает Гладкий. — А в чем дело?

— Жинка у него захворала,— объясняет Иван Данилович.— Недавно из больницы выписалась, сюда приехала и слегла.

— Зачем же рано выписали?

— Разве спрашивают? Выписали, и все,— говорит отец. Пот еще обильнее выступает у него на лице, на шее, он начинает торопливо вытирать его скомканной кепкой.— Сделайте такое одолжение...

— Так а я при чем? Я не доктор.

— Дозвольте на вашей машине до Тузлов отвезти. Всего двадцать пять километров...

Отец заискивающе, просительно смотрит на Гладкого. Тот молчит и думает. Лицо его остается неподвижным, только словно твердеет, становится еще более тугим и налитым.

— Ну,— говорит он,— я эти двадцать пять километров знаю. Часа полтора будет тащиться, да там пока то да сё... Это я сколько часов потеряю? Нет, не могу. Не имею права. Мое время мне не принадлежит, я на работе. В соседнем колхозе уборку заваливают, надо туда гнать, накачку делать... Изыскивайте местные ресурсы.

Он допивает свой стакан, тыльной стороной ладони вытирает губы и тянется за шляпой. Шляпа светло-желтая и вся в дырочках, как решето,— чтобы продувало. Сашук переводит взгляд на Ивана Даниловича. Он ждет, что Иван Данилович сейчас скажет, и этот Гладкий его послушается, как слушаются все. Но Иван Данилович молчит, смотрит в стол и размазывает пальцем по столешнице лужицу червоного.

Гладкий, а за ним Иван Данилович сходят с крыльца, направляются в бригадный двор. Отец и Сашук идут позади. Отец так и не надевает кепку. Должно быть, хочет улучшить момент, когда тот обернется или остановится, и снова попросить, а может, надеется, что он и сам передумает. Сашук тоже надеется. Шофер, еще издали завидев начальство, садится за баранку и заводит мотор.

Гладкий, повернувшись к Ивану Даниловичу, поднимает ладонь к шляпе, открывает переднюю дверцу. И тогда Сашук понимает, что он не передумает, что мамка так и останется лежать в душной, звенящей мухами боковушке, будет страшно стонать и, может, даже помрет... Сам себя не помня, Сашук сжимает кулаки и что есть силы, со всей злостью, на какую способен, кричит в налитую, обтянутую рубашкой спину:

— Самордуй!

За шумом мотора Гладкий не слышит или не обращает внимания, он даже не оборачивается. Но отец слышит и дает Сашуку такую затрещину, что тот летит кубарем.

Давно уже улеглась пыль, поднятая кургузым «козлом», а Сашук все еще сидит под навесом, размазывая по щекам злые

слезы. Домой он идти не хочет: там отец, а отца он сейчас не любит и презирает. И Ивана Даниловича тоже. Оба забоялись. Вот был бы Жорка, он бы врезал этому самордую... Да и сам Сашук тоже бы не забоялся, если бы камень или еще что. Как запулил бы!.. Он долго перебирает, чем бы можно запулить в Гладкого или прищучить его другим способом, и слезы незаметно высыхают.

Взгляд его бесцельно блуждает по пустому двору, поднимается выше и останавливается на пограничной вышке. Сашук вскакивает. Как же он раньше не догадался?! У них же есть лошади — он сам видел! — а может, и машины тоже...

Сашук стремглав бежит мимо старых окопов и развалин дота. Лошади возле вышки не видно, но это ничего, где-то они же есть, может, спрятаны...

Запыхавшийся Сашук подбегает к лестнице и, задрав голову, кричит:

— Дяди! Эй, дяди!

Никто не отзывается. Сашук стучит кулаками по лестнице и снова кричит:

— Дяденьки!.. Дядя Хаким!

И наверху и вокруг тихо, лишь тоненько и заунывно посвистывает ветер в переплетениях вышки.

С трудом преодолевая широкие проемы между ступеньками, Сашук карабкается наверх. Дверь заперта на щеколду — значит, там никого нет, но Сашук все-таки открывает. В будке пусто.

Спускаться вниз почему-то намного труднее и страшнее, чем лезть наверх. Сашук пятится задом, долго ищет правой ногой нижнюю ступеньку, еле-еле достает до нее, переставляет левую и только потом снова опускает правую, чтобы искать следующую ступеньку.

Подавленный неудачей, он бредет домой и уже подходит к ограде двора, когда замечает, что вдоль задов ближних хат клубится пыль. Сашук смотрит без всякого интереса — что интересного в поднятой ветром пыли? Но на повороте в пыльном облаке мелькает оранжевый кузов. Ветер оттягивает пыль в сторону, и уже ясно видно, что оранжевый автомобиль направляется к откосу, ведущему на пляж.

Сашук бежит навстречу машине, потом вдруг спохватывается и стремглав бросается в барак.

— Папа! Пап! — кричит он.

— Тихо ты! — замахивается на него отец кепкой, которую так и не выпускает из рук. — Не видишь?

Мать лежит с закрытыми глазами. Лицо у нее уже не просто бледное, а иссиня-землистое.

— Так папа же! — шепотом кричит Сашук. — Там Звездочет приехал!

— Чего мелешь?

— Ну, дяденька этот... на машине. Пойдем его попросим...

Отец вскакивает, они вдвоем бегут к оранжевому автомобилю. Ануся вприпрыжку скачет к откосу, мама ее с туго набитой сумкой идет следом, а Звездочет захлопывает дверцы и взваливает на плечо колья для тента, обмотанные простыней.

— Гражданин! — отчаянным голосом говорит, подбегая, отец. — Я очень извиняюсь, гражданин... Выручите за ради бога!

Он нещадно жмакает кепку. Сашук впервые видит, какое у него измученное лицо, как дрожат побелевшие губы, и у него самого губы тоже начинают дрожать.

— Что такое? — оборачивается Звездочет и ставит колья на землю.

Мама Ануси делает к ним несколько шагов, но останавливается поодаль.

— Жинка у меня захворала, в больницу надо, в Тузлы... Весь избегался — не на чем везти! Ни лошади, ни машины — хоть убейся!.. Всего двадцать пять километров. А если тут по берегу, может, и ближе...

— Евгений, на минутку! — окликает Звездочета жена.

— Подождите, — говорит Звездочет отцу и отходит.

Они стоят шагах в десяти, разговаривают негромко, но Сашук все слышит.

— Не вздумай ехать! — говорит жена.

— То есть как?

— Вот так! Ты знаешь, чем она больна?

— Я знаю, что она больна, и это единственно важно.

— А мы? А я? Это неважно? Ты о последствиях думаешь?

— Ну знаешь... — совершенно необычным, сухим и жестким тоном говорит Звездочет. — Это уже переходит всякие границы. Человек болен, и ему нужно помочь. Я еще не потерял совести и, конечно, поеду.

— Ах так? Пожалуйста! — еле сдерживая бешенство, говорит жена. Ноздри ее побелели и раздуваются, как на бегу. — Корчи из себя «скорую помощь» для первых встречных... Но имей в виду: я здесь больше не останусь. Ни одного дня! Хватит с меня грязи, благотворительности, паршивых мальчишек... Хватит! Завтра же уеду. Я приехала отдохнуть и хочу жить по-человечески.

— Как угодно, — сухо отвечает Звездочет, идет к машине. — Садитесь, — говорит он отцу Сашука и распахивает дверцу.

Тот неловко, бочком, стараясь ничего не запачкать, притыкается на сиденье. Сашук забегает вперед, чтобы его заметили и тоже посадили в машину. Но его не замечают, и ему ничего не остается, как бежать следом в густой туче пыли, поднятой «Москвичом». Когда он вбегает во двор, Иван Данилович и отец уже

укладывают мать на заднее сиденье. Отец садится рядом со Звездочетом, машина сразу же трогает, но поворачивает не в Николаевку, а по берегу к пограничной вышке, мимо которой тянется малоезженный проселок. Когда пыль рассеивается, Сашук видит, что Анусина мама идет домой, и даже шаги ее кажутся злыми. Сзади понуро и неохотно плетется Ануся.

КУХТЫЛЬ

День тянется и тянется, а Звездочета и отца все нет и нет. Сашук слоняется по двору, идет на берег, но там никого, а одному скучно, к тому же он боится прозевать Звездочета и возвращается домой. Рыбаки сидят под навесом, «травят баланду»: рассказывают всякие байки и хохочут. Сашук хочет к ним подсесть, но его прогоняют:

— Иди гуляй, мал еще, нечего тут...

Сашук обижается, хотя это не впервой, мог бы привыкнуть: как только взрослые говорят друг другу про смешное, так обязательно его гонят.

Наконец у пограничной вышки появляется пыльное облачко, стелясь по дороге, несется к бараку. Сашук бежит ему навстречу. «Москвич» останавливается у изгороди. Он уже не оранжевый, а желто-рыжий от пыли. Дверца распахивается, отец вылезает.

— Спасибо вам,— говорит он Звездочету.— Выручили, прямо не знаю как... Вот! — Он протягивает смятую пятирублевку.

Звездочет смотрит на пятерку, потом на отца, брови его сдвигаются.

— Вы с ума сошли! Уберите сейчас же!

— Так как же?..

— Вот так. Спрячьте деньги.

— Может, тогда рыбки вам принести? Свеженькой... А?

— Ничего мне не нужно. Я на чужих несчастьях не зарабатываю.— Тут он замечает Сашука и рад перевести разговор на другое.— А,— говорит он,— неустрашимый охотник на дохлых крабов? Как жизнь? Нашел свою звезду?

— Не,— мотает головой Сашук.

— Еще найдешь, времени у тебя вагон... Слушай-ка, ты мое семейство не видел? Они на пляже?

— Домой ушли. Как вы уехали, они туточка и ушли...

— Туточка? Плохо дело...

Сашук думает, что сейчас Звездочет снова посадит его в машину, даст погудеть в заколдованный гудок, потом газанет и они помчатся «на край света» — к пятой хате Балабановки. Он даже делает шаг к открытой дверце. Но Звездочет захлопывает ее перед самым носом Сашука, «Москвич» как пришпоренный срывается с места и исчезает в поднятой им пыли.

— Как там Настя? — спрашивает Иван Данилович. — Сдал?

— Сдал, — вздыхает отец. — Еще меня ругали, почему поздно. Еще б чуток и... А я чем виноват?.. Сразу на пере-ливание крови забрали. Надеются вроде...

— Ничего, поправится, — говорит Жорка, — теперь в два счета. Наука у нас...

— Наука наукой... — неопределенно отзывается Иван Данилович. — Ну ладно, мужики. С Настей — сами знаете... Чего делать будем? Сегодня обойдемся — в лавку колбасу привезли... Только каждый день так не пойдет: и накладно, и при нашей работе всухомятку не потянешь...

— Факт. Без приварка не годится.

— Может, есть до этого дела охотники, добровольцы?

Рыбаки переглядываются, пересмеиваются, но никто не вызывается в охотники.

— Жорку к этому делу приставить. Пускай старается...

— Я настараюсь — не обрадуешься!

— А что? Вон малый и то сварил.

— То малый!

— Ша! — обрывает Иван Данилович. — На базаре, что ли? Дело говорите, а не лишь бы горло драть.

Все молчат.

— Я б взялся, — осторожно говорит Игнат, — только расчету нет.

— А какой тебе нужен расчет?

— В артели я свой процент имею. А тут что?

— Видали жмота? — кричит Жорка.

Даже Иван Данилович покачивает головой:

— Н-да... Ты ж еще и не рыбак — в первую путину пошел, а туда же...

— Я не чужое беру, со всеми наравне работаю.

— Ну, ровней-то ты еще когда станешь... Ладно. Будет тебе твой процент. Тут и всего-то, пока Семен приедет. Передам в Некрасовку, пришлют кого ни то... Нет возражений?

Все молчат. Иван Данилович лезет в карман и протягивает Игнату ключ, который всегда лежал под подушкой у матери Сашука.

— На, тут все хозяйство. С завтрашнего утра начинай куховарить. Теперь пошли заправимся, а то скоро выходить...

Все идут в лавку, покупают колбасу и ситро. Жорка берет себе бутылку червоного, но Иван Данилович так зыкает на него, что тот сейчас же относит ее продавцу обратно. Перед выходом в море пить нельзя.

Колбаса очень соленая, твердая, но все равно вкусная-превкусная. Сашук съедает свою порцию всю без остатка, вместе

с кожурой. Ситро он пьет впервые в жизни. Липучее, приторно-сладкое, оно склеивает ему пальцы и губы, но он готов выпить целую бутылку, даже две. Целую бочку. Почему Иван Данилович говорит, что так не пойдет? Лично он согласен. Хоть каждый день...

Потом Сашук и Бимс, которому от рыбаков перепали колбасные шкурки, без конца бегают пить воду.

— А с ним как же? — спрашивает отец у Ивана Даниловича. — Может, с собой?

— Выдумывай! Хорошие игрушки — малого в море таскать. А если погода навалится?

Сашук хочет сказать, что никакой погоды он не боится, пускай его лучше возьмут с собой в море, он все время хочет, а тут одному оставаться не то чтобы страшно, а так... Сказать он не успевает. Иван Данилович поворачивается к нему:

— Вот какое дело, Александра: ответственное поручение тебе. Останешься один на хозяйстве. Будешь сторожить и вообще поглядывать, чтобы ничего такого. Понятно?

Сашук кивает. Если такое поручение — другое дело.

— Не забоишься один?

— А раньше? Боялись такие!

— Ну и ладно. Может, мы засветло вернемся, сегодня кут ближний. Смотри, я на тебя надеюсь.

— Лучше б запереть хату, — говорит Игнат. — На всякий случай. Мало ли что...

— А ему куда деваться? И никакого случая не будет. Воров тут нет.

Рыбаки уходят, а Сашук, как настоящий сторож, важно обходит свое хозяйство и смотрит, все ли в порядке. Смотреть, в сущности, не на что. Рыбоприемный цех закрыт. В бараке койки с мятыми постелями да мухи. Кладовка заперта, а двор, как всегда, пустой, пыльный, выжженный солнцем. До захода еще можно успеть сбегать и хоть издали посмотреть на «Москвич», но отлучаться нельзя: как же уйти, если Иван Данилович сказал, что надеется на него?

Солнце наполовину уходит за пригорок возле пограничной вышки. Лучше всего пойти в барак, чтобы не было страшно, и запереть дверь. Но в бараке хуже: по углам уже затаилась темнота, а на улице все еще залито розовым светом.

Краешек красного солнца превращается в полоску, потом в точку и исчезает. Но света пока много, и хорошо видно, что возле пограничной вышки опять стоит лошадь и машет хвостом. Значит, приехали пограничники. Сашуку не то чтобы становится менее боязно — он нисколько не боится! — а как-то так, спокойнее. Раз там Хаким и другой, с нашивками, он в случае чего даст им сигнал — и все, будет полный порядок... А чем сигнала

лить? Костер зажечь? Пока-то его разожжешь... Лучше бы всего стрельнуть, так нечем. Сашук приносит из барака спички и «летучую мышь». Долго не может ее открыть, но все-таки изловчается, зажигает фонарь. И вовремя. Вокруг уже совсем темно, только на западе небо чуть-чуть светлеет, но скоро гаснет и там. Сашук захлопывает дверь барака, мучается с ключом, который всегда торчит в замке, наконец ключ со скрежетом поворачивается. Сашук вынимает его и кладет за пазуху. На всякий случай. Мало ли что.

Если смотреть на горящий фитиль и ни о чем таком не думать, кажется, что светло везде вокруг, а не только на маленьком пятачке возле фонаря, и тогда совсем не страшно. И Сашук старается не смотреть по сторонам, а только на огонь. К фонарю слетается мошкара. И вовсе маленькая — сушья мелюзга, и побольше, и даже совсем большие бабочки с толстыми мохнатыми животами. Мошкара не такая, как бывает днем, а какая-то блеклая, белесая. Она вьется вокруг колпака «летучей мыши», тычется в стекло и, опаленная, падает на столешницу. Сашук пробует ее отгонять, но мошкара упрямо лезет к огню и обжигается. Чтобы удобнее было наблюдать, Сашук укладывает кулак на кулак, опирается на них подбородком. Мошкара летит и летит, вьется и вьется...

Свет фонаря меркнет, сужается в пятнышко, в точку. Из этой точки вновь разгорается свет, превращается в необыкновенно яркий солнечный день.

Бригада в полном составе сидит под навесом, прохлаждается. И Сашук тоже сидит за столом. Во двор въезжает «Москвич». Звездочет выходит из машины, здоровается со всеми и обращается к Сашуку:

«Ну, как жизнь?»

«Все в порядке», — отвечает Сашук.

«А мамка?»

«Мамка в больнице».

«Так надо ее проведать! Прошу...»

Он открывает перед Сашуком правую дверцу машины.

«Зачем? — говорит Иван Данилович. — Пускай сам ведет, я на него надеюсь».

Звездочет садится справа, пассажиром, а Сашук важно усаживается за баранку и спрашивает:

«А что надо сделать, чтобы поехать?»

«Погудеть, разумеется!» — отвечает Звездочет.

Сашук нажимает на дужку. Раздается такой могучий сигнал, что потрясенные рыбаки зажимают уши.

«Газанем?» — говорит Сашук.

Звездочет кивает и подмигивает:

«Валяй!»

Машина срывается с места и мчится вдоль берега по мало-езженному проселку. Пограничники, высунувшись из оконных проемов, машут Сашуку, он высовывает левую руку и шевелит пальцами, как делает это дядя Семен.

Вышка остается далеко позади, скрывается совсем. По выжженной степи вдоль дороги бредет стадо коров. Сашук сигналист, и коров будто сдувает ветром, а пастух, растопылив руки и открыв рот, каменеет от испуга и восхищения.

Машина летит по степной дороге, и вдруг Звездочет говорит:

«Погоди, чего это там?»

Впереди виднеется черная точка, она быстро увеличивается, растет, и «Москвич» останавливается возле того, что еще недавно было «козлом».

Колеса у него развалились в разные стороны, кузов надломился посередине и лежит пузом на земле, из-под капота идет пар, сзади дымится. Шофер стоит перед задраным к небу радиатором и безнадежно чешет затылок.

Из полуразвалившегося кузова вылезает весь в поту и в саже Гладкий. Он подбегает к «Москвичу», еще загодя стаскивая свою светлую шляпу в дырочках.

«Слышь, друг! — просительно говорит он. — Выручи, сделай одолжение, — подкинь до Тузлов... А?»

Сашук и Звездочет переглядываются. Гладкий старается поймать их взгляды и, задыхаясь, говорит:

«Вот, поломалась... И ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне... Сделайте такое одолжение. Дозвольте на вашей машине до Тузлов доехать? А? Мне там накачку делать надо...»

Он заискивающе смотрит то на Сашуку, то на Звездочета, комкает свою шляпу и начинает вытирать ею пот, еще больше размазывая грязь и сажу.

«А когда тебя люди просили, — говорит Сашук, — тебе своей машины жалко было, да?»

Пришибленный этим напоминанием, Гладкий суется еще униженнее, но Сашук и Звездочет непреклонны.

«Правильно! — говорит Звездочет. — Пусть теперь сидит здесь. Пускай знает про справедливость!»

Сашук дает газ, и униженный, презренный Гладкий остается позади.

Машина мчится по улицам Тузлов, время от времени Сашук сигналист так громко и пронзительно, что все шарахаются и разбегаются с дороги. На крыльце больницы стоят мамка и доктор. Мамка уже не бледная и скучная, а розовая, веселая и совсем здоровая. Доктор похож на Жорку, только с бородой и в очках.

«Поправились?» — спрашивает Звездочет.

«А как же, — говорит доктор Жоркиным голосом. — У нас в два счета. Наука!»

«Тогда садитесь, — говорит Звездочет, — и я отвезу вас на край света. Или прямо в космос...»

И вдруг становится темно, доктор превращается в Жорку и кричит над самым ухом Сашука:

— Я ж говорю — вылитый боцман! Даже барак запер...

Освещенные снизу «летучей мышью», возле стола стоят Жорка и Иван Данилович.

— Молодец, — говорит Иван Данилович, — не подкачал. Давай ключ.

Сашук достает ключ из пазухи, отдает и вдруг заходится отчаянным плачем

— Ты чего, дурной? — удивляется Жорка.

— Не-правда!.. — захлебывается слезами Сашук.

— Что — неправда? — спрашивает Иван Данилович.

— Все неправда! — кричит Сашук и плачет, спрятав лицо в согнутый локоть.

Иван Данилович и Жорка молча смотрят на Сашука. Подходит отец, берет его на руки и несет в боковушку, на топчан. Сашук затихает, но еще долго всхлипывает и судорожно вздыхает.

Сон заново так и не приходит. Он просто спит как убитый, без всяких сновидений. Проснувшись, вспоминает всё и первым делом хочет обругать Жорку за то, что разбудил. Только ругать уже некого — в бараке ни души, а во дворе один Игнат, разжигающий плиту. Сашук бежит к хате, в которой живет Звездочет. «Москвич» разинул пасть багажника у самого крыльца. Стоя спиной к улице, в багажнике копается Звездочет. Может... Может, он куда поедет и возьмет Сашука с собой? Может, сон произойдет наяву? А что, бабка сколько раз говорила, что сны сбываются...

В дверях появляется Анусина мама, ставит на крыльцо две сумки. Сашук на всякий случай прячется за деревом. Мать уходит, потом появляется Ануся, и тогда Сашук тихонечко свистит. Звездочет не слышит или не обращает внимания, но Ануся поворачивает голову. Сашук манит ее рукой. Ануся выходит на улицу. Лицо у нее печальное или, может, просто заспанное. Сегодня она еще наряднее: в белом платье с красной каемкой, в красных туфельках и в новой панаме, тоже с красной каемкой.

— Чего это ты вырядилась, фуфыря какая? — спрашивает Сашук.

— А мы уезжаем, — печально говорит Ануся. — Совсем.

Сашук молчит и смотрит то на нее, то на Звездочета,

укладывающего сумки в багажник. Ануся опять дергает резинку панамы, та щелкает ее по подбородку.

— Из-за меня?

— Из-за всего. Это мама всё... «Я не хочу, я ни за что...» — передразнивает она. — А мне здесь нравится. И папе тоже.

— Так чего?..

— Разве ее переспоришь? — вздыхает Ануся. — Тут, говорит, ни людей, ни водопровода, ни вообще...

— Как это «ни людей»? Вон сколько народу!

Ануся пожимает плечиками. Они оба молчат. Долго и огорченно.

— А я думала, ты мне еще краба поймашь. Или я сама. Я бы спрятала.

— Обожди! — вскидывается Сашук. — Я сейчас!

Он стремглав летит домой, бросается под топчан, достает кухтыль и поспешно, но осторожно, обняв обеими руками кухтыль, бежит обратно. Ануся стоит у калитки и ждет.

— На! — запыхавшись, говорит Сашук.

Глаза Ануси вспыхивают, носик морщится в радостной улыбке.

— Насовсем? На память?

— Ага.

— Ой! Папа, папочка! Положи и это... Смотри, какую мне вещь Сашук подарил!

Ануся вбегает во двор и сталкивается с матерью. Мать смотрит на кухтыль, ноздри у нее начинают раздуваться и белеют.

— Опять какая-то грязная гадость?

Она выхватывает у Ануси кухтыль, яростно отбрасывает его в сторону. Кухтыль падает на железный скребок для грязи возле крыльца и с глухим брязгом разбивается. Ануся в ужасе всплескивает руками, поднимает опавший мешок из сетки, там звякают стеклянные обломки.

— Зачем! Как не стыдно! — кричит Ануся и, заливаясь слезами, бросается к отцу: — Папа, папа, ну скажи же ей!..

Звездочет придерживает ее трясущиеся плечи и молча смотрит на жену. Та отворачивается, идет к передней двери и садится в машину.

Вместе с кухтылем разбивается еще что-то такое, чего Сашук не умеет назвать словами, но от чего ему становится невыносимо горько. Он лихорадочно озирается, отламывает внизу у штакетника ком сухой грязи, замахивается и — опускает руку. Его трясет от злости, он так бы и запустил грязевой ком в злое красивое лицо, но понимает, что делать этого нельзя. Он перелезает через канаву и садится на корточки возле старого пыльного тополя.

Звездочет усаживает плачущую Анусю на заднее сиденье,

прощается с хозяйкой, заводит мотор. «Москвич», покачиваясь, выезжает на дорогу.

И Звездочет и его жена смотрят прямо перед собой, не произнося ни слова, будто между ними стоит невидимая, но непроницаемая стена. Ануся, припав к лежащему на сиденье свертку, безутешно плачет. Сашука никто не замечает.

Машина поворачивает к Николаевке. Когда-то глубокая, грязь на дороге давно высохла, размолота колесами в тончайшую бурую пыль. Густым облаком она взвивается за багажником и заволакивает удаляющееся оранжевое чудо.

КУГУТ

Как всегда, Бимс радостно бросается Сашуку навстречу, юлит под ногами, будто пытается поймать свой торчащий бубликом хвост. Сашуку не до него, он поглощен горькой обидой, Бимс не обижается. Он ошалело мечется из стороны в сторону, на поворотах толстый живот его заносит, щенок катится кубарем, но тотчас вскакивает, опять мчится к Сашуку. И мало-помалу Сашук оттаивает. Он даже чувствует угрызения совести: привез щенка и забросил. То одно, то другое, а про него забыл. Совсем стал беспризорным.

— Теперь все! — говорит Сашук. — Теперь мы всегда будем вместе. Есть хочешь?

Они взапуски бегут к Игнату.

— Дядя Гнат, — говорит Сашук, — дай мне ключ от кладовки, я хлеба возьму.

— Еще чего, по кладовкам шарить!

— А что? Мамка мне всегда давала.

Игнат как-то странно, искоса смотрит на него и молчит, потом отворачивается и произносит:

— То мамка... Обождешь. Пойду в кладовку — вынесу.

Через некоторое время он спускается в кладовку, прикрывает за собой дверь и выносит оттуда ломоть хлеба. Не горбушку, а так, из середины.

— Нам на двоих мало, — надувает губы Сашук.

— Хватит баловства, еще собаку хлебом кормить! Будут объедки — пускай жрет... Собака, она и есть собака.

«Вот жадина!» — изумляется про себя Сашук и отходит. Хлеб ноздрястый, сыроватый, с закалом. Сашук обламывает себе верхнюю корочку, остальное скармливает Бимсу.

Конечно, с Бимсом не так интересно, как с Анусей, — что ему ни говори, он только смотрит в глаза и виляет хвостом. Но уж зато не бросит и никуда не уедет. А бегать готов все время, пока не упадет.

И они бегают взапуски вдоль кромки берега, где песок влажный и ноги не вязнут. Чайки тоже ждут рыбаков, надеясь поживиться на дармовщину, и утюжат воздух — туда и обратно, туда и обратно. Они такие нахальные или понимают, что Сашук и Бимс маленькие, — нисколько не боятся и летают над самой головой. Когда крылатая тень проносится над ними, Бимс испуганно припадает на песок, бросается в сторону, потом обиженно тявкает вслед наглой птице, а Сашук смеется.

— Эх ты, трус, — говорит он. — Вот подожди, скоро вырастешь, никого не будешь бояться, а тебя все будут...

Сашук очень отчетливо видит это недалекое будущее. Бимс вырос, стал огромным и злым псом. Все его боятся, обходят стороной и пробуют задобрить. А он ни на кого не обращает внимания и слушается только своего хозяина, Сашука. Они везде ходят вместе. Бимс важно вышагивает рядом, время от времени скалит клыки, а если нужно, дает чёсу. И никто уже не смеет обижать или задирать Сашука...

Чайки начинают истошно орать, — лодки подваливают к причалу. Рыбы много, рыбаки довольны, весело перешучиваются.

— Эй, Бодман! — кричит Жорка. — Давай на подмогу, а то не справимся.

Игнат приходит на причал с кошелкой — взять рыбу для артельного котла.

— Привет, стряпуха! — кричат ему. — Где твой фартук?.. Ты бы юбку надел, для порядка.

Игнат не умеет отвечать шуткой на шутку, угрюмо молчит и все больше насупливается.

Сашук пристраивается на корточках рядом с Жоркой разбирать рыбу. Бимсу шумная суeta на причале очень нравится, он путается у всех под ногами и всюду тычет свою нюхалку с высунутым языком. Его отгоняют, но это кажется ему тоже частью веселой игры, он мечется еще азартнее и подкатывается под ноги Игнату. Тот зло пинает его сапогом, Бимс коротко, будто подавившись, вякает, взлетает в воздух и падает в море.

Сашук бросается к краю причала. Бимс не барахтается, не плыет, а, медленно переворачиваясь, опускается на дно.

— Захлебнулся?

— Не может того быть.

Рыбак с лодки сачком на длинной рукоятке подхватывает щенка, поднимает из воды и вываливает на причал. Сашук трогает его рукой, но щенок лежит неподвижно. Из полукруглого рта выливается немножко воды и вываливается кончик розового языка. Рыбаки стоят, молча смотрят на щенка, Сашука и Игната, и только чайки над ними мечутся из стороны в сторону и пронзительно орут.

— Убился? — спрашивает кто-то за спиной Сашука.

— Убил, а не убили. Много ему надо!

— Нашел на ком зло срывать...

Только тогда до Сашука доходит смысл происшедшего. Он хватается щенка на руки, прижимает, трясет. Хвост и лапы безжизненно мотаются, повисшая голова показывает мелкие зубы и просунутый между ними кусочек языка. Сашук слепнет от слез, отчаяния и ненависти.

— Ты... ты — фашист! — кричит он Игнату. — Кугут проклятый!

Склоненный над ящиком Жорка медленно и страшно распрямляется, перешагивает через ящик, сгребает Игната за грудки и заносит над ним кулак.

— Егор!

Окрик Ивана Даниловича — как удар бичом. Несколько секунд Жорка сумасшедшими глазами смотрит на Ивана Даниловича, жилы у него на шее так вздуваются, что кажется, сейчас лопнут. Он опускает кулак и отталкивает Игната, тот стучается спиной о стойку транспортера.

— Иди, гад... чтоб я тебя больше не видел!

Игнат подхватывает выпавшую из рук кошелку и, втянув голову в плечи, торопливо уходит с причала. Рыбаки молча смотрят ему вслед.

— Слышь, Боцман, — все еще тяжело дыша, говорит Жорка Сашуку и кладет ему руку на плечо. — Ты его на солнышко. Может, отойдет...

— Давай-давай, ребята, — командует Иван Данилович. — Хватит!

Солнце не помогает. Шерсть на щенке обсыхает, но сам он коченеет, лапы становятся твердыми, негнущимися, как палки. Сашук сидит рядом с ним, уткнувшись в колени, и безутешно плачет. Он не поднимает голову, даже когда подходит Жорка и садится рядом.

— Ханá! — говорит Жорка, потрогав труп щенка. — Ладно, чего уж теперь реветь...

— Ж-жалко, — захлебываясь, выдавливают Сашук.

— Понятно, жалко, только все одно жалостью не поможешь... Надо его зарыть. (Сашук отчаянно мотает головой.) А как же иначе? Оставить — чайки расклюют, крабы растащат. Эта тварь на пададь падкая...

Поодаль от причала, возле глинистого обрыва, Жорка руками вырывает яму в песке, кладет туда труп и засыпает. Потом берет Сашука за руку, ведет домой. Это очень кстати, потому что Сашук то и дело спотыкается. Слезы застилают ему глаза, он размазывает, стирает их кулаком, но они набегают снова и снова. Жорка его уговаривает, даже стыдит, но Сашук безутешен. Его терзает щемящая жалость. Он с опозданием корит себя не

только за то, что в эти дни не обращал на щенка внимания, совсем забросил, а даже за то, что привез его сюда, в Балабановку. Он не хотел оставлять кутьку в Некрасовке, боясь, что тот без него пропадет, а он вот пропал здесь. Останься Бимс в Некрасовке, может, жил и жил бы, а теперь...

И хлеб, и кондер кажутся Сашуку горькими, не идут в горло. Он старается сдерживать всхлипывания, но от этого они только становятся глубже, судорожнее. Рыбаки едят молча, мрачно, без обычных шуточек и пересмешек. Не то чтобы все расстроились из-за гибели щенка — никто к нему не был особенно привязан, — но настроение у всех испорчено. За все время только кто-то бурчит:

— У Насти оно вроде послаще, смачнее получалось...

Говорящего никто не поддерживает, Игнат делает вид, что не слышит. Рыбаки идут отдыхать. Чтобы не оставаться с Игнатом, Сашук уходит со двора.

Полуденный зной дрожит, струится над буграми и ямами старых окопов, бетонными глыбами взорванного дота. Теперь Сашук смотрит на них без всякого интереса — играть в войну не с кем. Нет даже Бимса, хотя он тоже не умел играть в войну. Может, потом и научился бы...

Сашук садится над обрывом и смотрит в море. Там ни лодки, ни дыма, ни паруса. Только бесконечная россыпь блестков, солнечных зайчиков да воспаленная мгла, затянувшая горизонт. Даже чаек нет, они куда-то попрятались — должно быть, тоже улетели отдыхать. Никого нет и на земле. Бригадный двор пуст, безлюдна придавленная зноем Балабановка, а в степи и подавно никого нет. И Сашук сам себе кажется таким маленьким, таким затерянным в огромном безлюдье, что ему становится нестерпимо жалко себя. Беда за бедой. Мать увезли в больницу. Звездочет уехал и увез Анусю. А теперь пропал Бимс, и Сашук остался совсем один. С рыбаками разве поговоришь. Они только смеются. А играть и вовсе... Все они хорошо относятся к Сашуку, но что толку, если они большие и все время или работают, или спят, отдыхают. Разве только Жорка...

Жорка первый отсыпается и выходит из барака. Они идут вместе купаться, потом лежат на песке и разговаривают про разное.

— Ты не горюй, — говорит Жорка. — Вернемся в Некрасовку, такого щенка найдем — закачаешься! Настоящую ищейку. Какие у пограничников, знаешь?

— Ага. — Иметь ищейку Сашуку очень хочется, однако, подумав, он говорит: — То ж будет уже другая собака. Не Бимс.

— Бимса не воротишь, чего уж тут... Кабы не Иван Данилыч, я б тому гаду...

— Хоть бы разик врезал! — с сожалением вздыхает Сашук.

Нельзя, брат, я Ивану Данилычу слово дал Я, когда остервенюсь, таких дров наломать могу...

За обедом опять кондер, и опять он кажется Сашуку невкусным. И не только ему. Тот же рыбак, что утром помянул Настю, бултыхает ложкой кондер и говорит:

— Чистая баландея!

— Игнат, да ты сало клал или нет?

— А как же,— говорит Игнат.

— Так где ж оно, если сальчина за сальчиной гоняется с дубиной.

— Сколько есть. Растягивать надо. А то раз будет густо, потом пусто.

— Что у нас, сала нет? — спрашивает Иван Данилович.

— Есть, да мало. Полтора куска осталось.

— Куда ж оно девалось? Было много.

— А я почему знаю? Кабы я сначала за продукты отвечал. А то кто хотел, тот в кладовку и лазал. Вон и этот,— кивает Игнат на Сашука,— туда лазал. Может, собаку свою салом кормил...

У Сашука даже перехватывает дыхание. Как он может? Зачем он врёт?.. Сашук так поражен и возмущен, что не может сказать ни слова и только с ужасом во все глаза смотрит на бесстыже лгущего Игната.

— Так ты за то и кутенка пришиб? — кричит Жорка.

— Обожди с ерундой! — обрывает его Иван Данилович и поворачивается к Игнату:— Ты Настю не марай, она честнее нас всех. И наговаривать на человека за глаза...

— Так что, по-вашему, я взял? Выходит, украл?

Иван Данилович молчит, но Жорка молчать не может.

— И выходит! — кричит он.

— Ты меня поймал? — зло огрызается Игнат.— Видел?

— А сейчас увидим! Вот возьмем и растрясем твой сундук, поглядим, чего там напрятано.

— Не имеешь права обыскивать!

— А без всякого права. Хочешь — меня обыскивай, мне прятать нечего. А ты, коли прячешь...

Жорка приподнимается из-за стола, Игнат делает шаг назад, к двери в барак, лицо его сереет.

— Да что вы, братцы? — говорит он, рыская взглядом по лицам рыбаков.— Разве ж так можно?.. А если я из дому взял? На всякий случай... Не имею права?

Кто-то тихонько протяжно свистит и вполголоса добавляет:

— Спекся!

— Та-ак! — произносит Иван Данилович.

Все оборачиваются к Ивану Даниловичу и ждут, что он еще скажет. Иван Данилович молчит и смотрит на Игната. Потом

медленно, поочередно смотрит на всех. Ничего не спрашивает и не говорит, только смотрит. И должно быть, то, что он видит,— как раз то, что ожидал увидеть. Он снова поворачивается к Игнату и глухо, но твердо говорит:

— Уходи!

— Как уходи? Куда?

— От нас уходи. Совсем.

— Да что ты, Иван Данилыч! Из-за чего все началось? Разве можно человека из-за какой-то паршивой собаки...

— Не из-за собаки. Из-за людей. С людьми надо по-людски. А ты не можешь. Нам такие не ко двору. Собирай свое барахлишко...

— За что? Что я такое сделал?

— Сам знаешь. Или вправду обыскать?.. Море — не огород за хатой, в одиночку с ним не совладаешь. Наше дело артельское, двуличных не любит, которые только про себя думают. Понятно?.. А может, кто против, не согласен?

— Пускай уматывает!

— Поимейте совесть — разве можно на ночь глядя?

— Ничего, на попутных доберешься. А на свободе и про совесть подумаешь. Про свою.

Игнат, втянув голову в плечи, как давеча на причале, уходит в барак.

— Дяденька Иван Данилыч,— говорит Сашук,— он врал все. Вот честное слово! Мамка мне ни разу ни вот столечко не дала. Это, говорит, артельское...

— Правильно! — кивает Иван Данилович.

— А как ты догадался?

— Я не догадался, я знаю.

Игнат выходит со своим сундучком из барака, ставит его на землю.

— А с расчетом теперь как? По закону, если раньше срока, пособие полагается...

— Правильно, полагается,— говорит Жорка.— Я тебе хоть сейчас могу выдать пособие. Персональное.— Сжав свои здоровенные кулаки, он кладет их на стол.

— Не дури,— останавливает его Иван Данилович.— Я председателю все передам, небось не обсчитают, не на базаре.

— Все равно буду жаловаться!

— Давай-давай, топай! — говорит Жорка.

Игнат поднимает сундучок на плечо, идет через двор к дороге, потом поворачивает в Балабановку. Придавленная сундуком фигура становится все меньше и меньше.

Зажав ладони между коленками, Сашук искоса смотрит на удаляющуюся фигуру, и ему даже становится жалко изгнанного Игната.

— А куда он теперь? — спрашивает Сашук.

— Обратно в Некрасовку, — говорит Жорка. — Будет опять на огороде копать, в Измаиле городских на огурцах да помидорах окопачивать... не бойся, такой не пропадет.

Рыбаки расходятся. У стола остаются только Сашук и Жорка. Жорка сгребает в кучу грязную посуду, а Сашук думает.

— А почему... — начинает он.

Жорка оглядывается на него.

— Почему люди злятся, врут, обманывают?

Жорка молчит.

— И вообще, — раздумчиво произносит Сашук, — зачем плохие люди?

— Ни к чему, да вот есть!.. Что ж, их всех в мешок да в воду?

Сашук искоса, снизу вверх смотрит на Жорку. Ответ не удовлетворяет его, и он опять задумывается — сгорбившись, зажав ладошки между колен.

Думы у него невеселые.

Плохо быть маленьким. Трудно. И не потому, что тебя всякий обидит. То само собой. Главное — столько непонятного... «Скорей бы большим стать, что ли!» — с тоской думает Сашук. А лучше всего найти звезду, про которую говорил Звездочет... Вот тогда бы да, тогда бы он знал, где плохие люди, а где хорошие, кому верить, кому нет, где правда, а где обман и что надо делать...

— Мы сейчас в море уйдем, — говорит Жорка. — Не заботишься один?

Сашук отрицательно мотает головой.

— Не... Я только на причал пойду. Там хоть чайки...

Рыбаки уходят. Сашук запирает барак и бежит за ними. Над причалом вьются, кричат многочисленные перед вечером чайки.

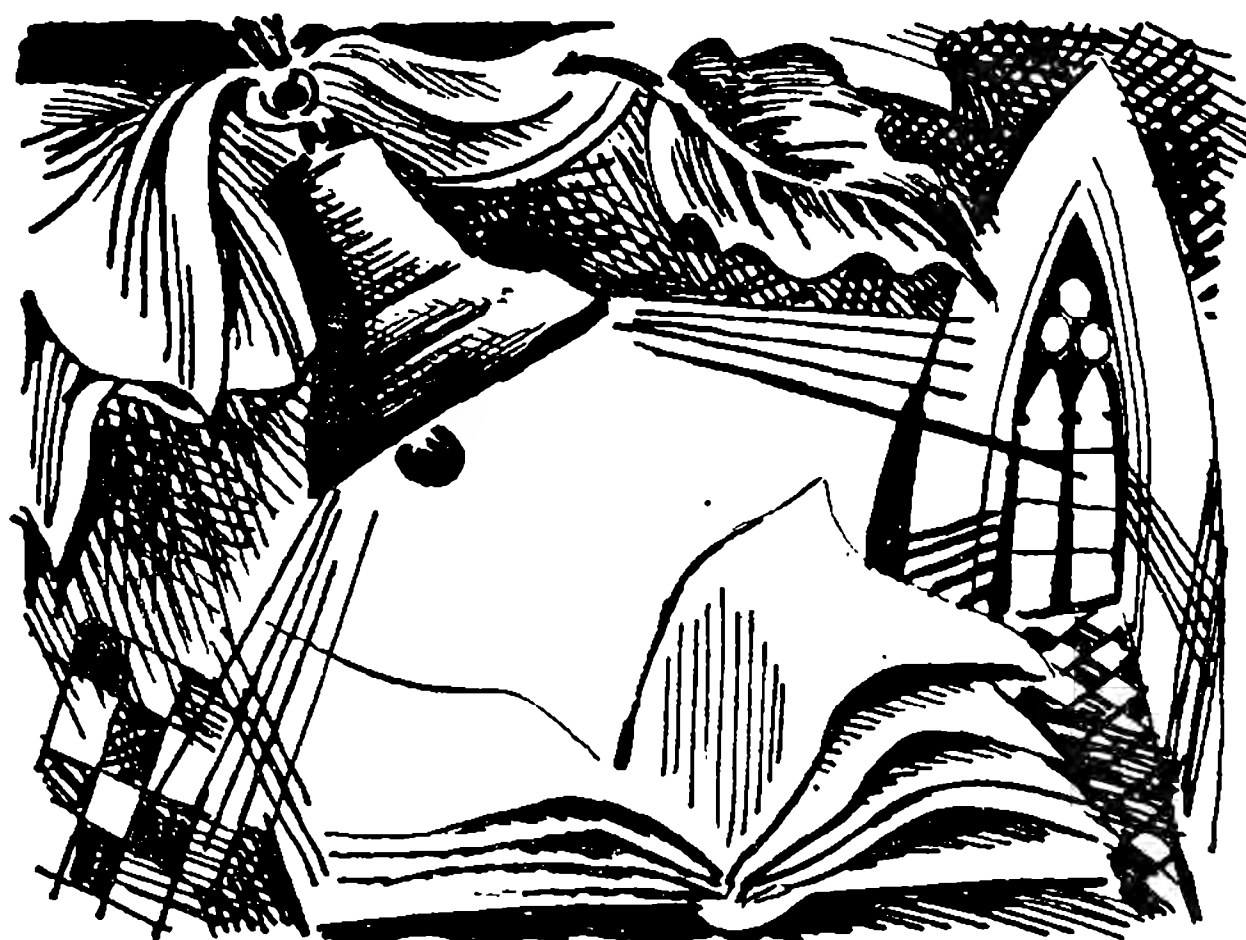
Лодки отваливают. Сашук стоит на краю причала и смотрит им вслед. На одной из лодок поднимается рука, долетает отдаленный голос Жорки:

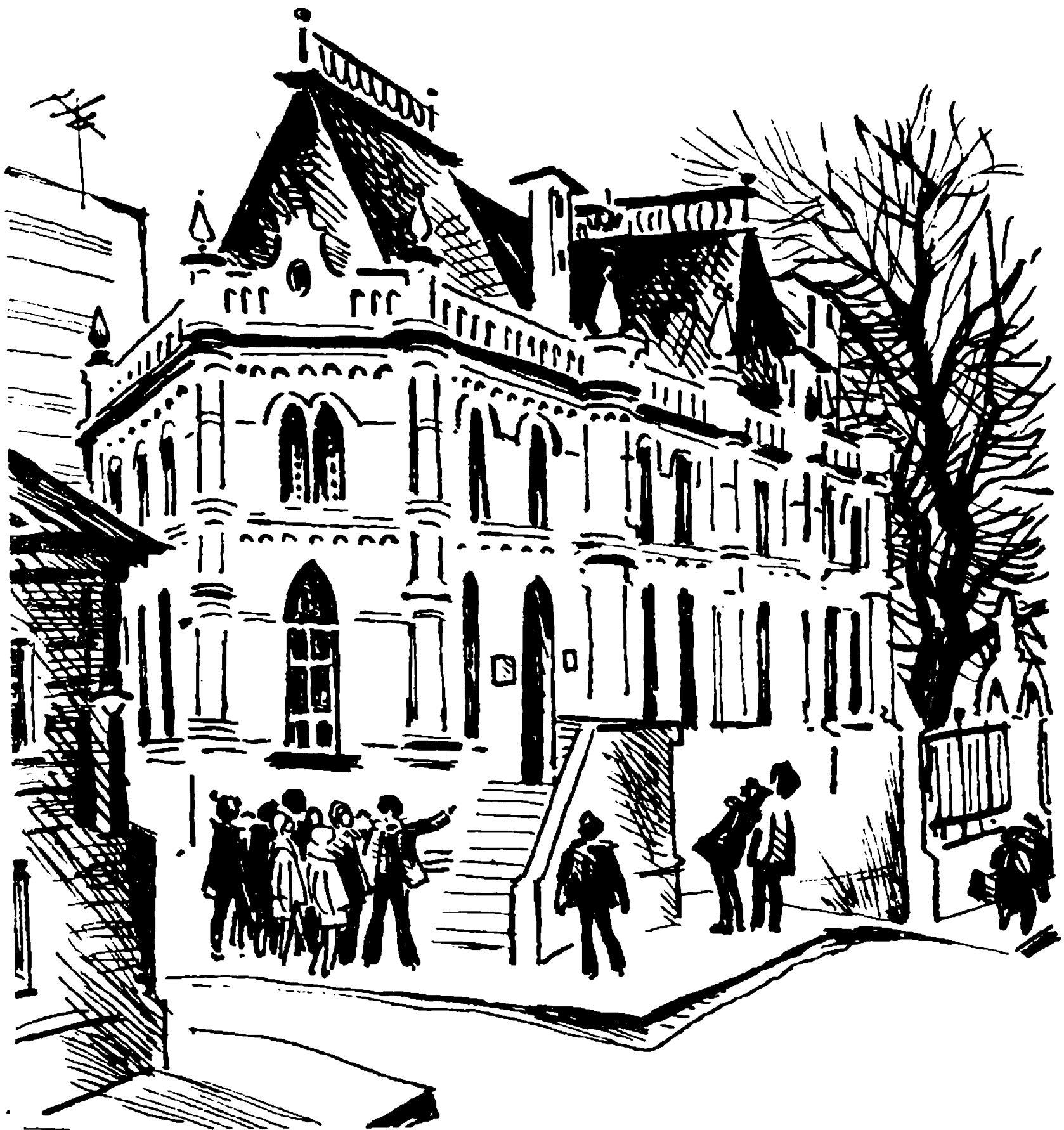
— Не дрейфь, Боцман!

Сашук не шевелится и не отвечает, только смотрит на удаляющиеся лодки.

Солнце скрывается, и после этого, как всегда, очень быстро темнеет. На востоке появляется звезда. Незаметная сначала, она разгорается все ярче и ярче. Вслед за нею вспыхивают другие, отражения их искрятся, переливаются в глухом темном море. Ничего этого Сашук не видит. Скукожившись возле пустых ящиков, он спит.

АГНИЯ КУЗНЕЦОВА
Земной поклон
Повесть





*Светлой памяти моей учительницы
Евгении Николаевны Домбровской*

1

Вскоре после того, как отзвенел последний звонок и в ночь прощального бала выпускники до рассвета смущали покой города пением, смехом, звоном гитар и баянов, а в стол завуча легли списки будущих первоклассников, в школе начался капитальный ремонт.

Школу раздели догола и стали обколупывать стены. В учительской двое рабочих взгромоздились на грубо сколоченные, пахнущие свежим деревом подмости, снимали слои масляной краски и вдруг обнаружили вначале одну, потом другую, третью

металлические буквы, привинченные к стене, и наконец их глазам открылось изречение:

Легче сделать воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как высшей ценности, чтобы с детства человек был другом, товарищем, братом для другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем.

Рабочие с интересом прочли написанное. Подивились сочетанию старинной прописи с очень уж современным содержанием. И долго недоумевали, что делать: снимать буквы или оставить до прихода прораба или директора школы?

В минуты их колебаний в коридоре слышались шаги, и мимо открытой двери стремительной походкой прошел учитель истории Николай Михайлович Грозный.

Степан, молодой рабочий, в прошлом году окончивший эту школу и провалившийся на экзаменах при поступлении на исторический факультет университета, окликнул учителя.

Тот, кто, естественно, с детства и на всю жизнь был обречен носить прозвище «Иоанна Грозного», вошел, щурясь от непривычного еще яркого света, заливающего комнату. Это был молодой человек с темными волосами, отпущенными несколько длиннее дозволенного учительской этикой, со светло-серыми глазами — внимательными и бездонно-прозрачными, с хорошими чертами лица — мужественными и в то же время нежными.

Лицо его привлекало не только красотой. Оно удивляло и задерживало внимание каждого быстрой переменой выражения глаз, нервным взлетом бровей и, главное, улыбкой, которая иногда словно озаряла его светом и детской ласковостью.

Ученицы с сожалением отмечали, что красоту учителя портил небольшой рост. И сам Николай Михайлович страдал от своего роста: он считал учителя в некотором роде актером и был уверен, что для него важна не только располагающая, но и представительная внешность. И то, что на иного ученика ему приходилось смотреть снизу вверх, доставляло ему серьезные огорчения.

— Ну как, рабочий класс? — подходя к подмосткам и улыбаясь своей удивительной улыбкой, спросил Степана учитель.

— Боюсь, что навсегда останусь рабочим классом, — ответил тот весело, но учитель уловил в ответе его затаенную грусть.

— Ну и что? Будешь хоть жить по-человечески, — сказал сверху пожилой сухопарый рабочий в замасленном, залитом краской комбинезоне, напоминающем живопись сверхмодных художников, — восемь часов на работе. Дальше сам себе хозяин, и денег вдосталь. А то вот, как Николай Михайлович, с утра до ночи в школе, ребята на шаг не отходят. И дома с ними,

и в отпуск с ними в разные походы. Жениться и то не дают. Да и кошелек тоньше моего...

Николай Михайлович, запрокинув голову, взглянул на рабочего и засмеялся, но вдруг заметил буквы на стене, оборвал смех, быстро отошел от подмостков и вслух прочитал изречение.

— Удивительно, правда? — поспешно спросил Степан, поглядывая то на учителя, то на стену узкими глазками, по которым безошибочно можно было определить русско-бурятское происхождение Степана. — Совсем современный лозунг! Значит, и в старые времена были настоящие люди?..

Учитель не ответил и шепотом перечитал изречение.

— Это был дом капиталиста Саратовкина. Богатейшего человека в Сибири... И вдруг такие слова! — удивлялся пожилой рабочий. — Интересно, кто же придумал их и кто привинтил к стенке?

— Саратовкины жили не здесь, — возразил Степан. — Здесь был приют — детский дом по-нашему. Приют этот носил имя Саратовкина... Правда, Николай Михайлович? Помните, как в шестом классе мы сажали деревья около школы и, когда рыли яму, нашли ржавую-прержавую железную вывеску: «Сиротский дом М. И. Саратовкина». Помните, Николай Михайлович? Как же звали Саратовкина?

Николай Михайлович заметно разволновался. Вытащил из кармана пиджака сигареты. К ним, присев на лесах, потянулся сверху пожилой рабочий. А Степан спрыгнул вниз и тоже с удовольствием взял сигарету из рук учителя. В эту минуту Степан почувствовал, каким он стал взрослым, равным тому, от кого когда-то прятался в туалет с папиросой. А теперь вот открыто курит его сигареты!

— Саратовкиных было двое, — затягиваясь и стряхивая пепел на грязный пол, сказал учитель, — отец и сын. «Сиротский дом М. И. Саратовкина» — это приют, основанный отцом, Михаилом Ивановичем, с целью эксплуатации детей. А сын его — мой тезка — Николай Михайлович после смерти отца преобразовал этот сиротский дом в настоящий детский дом нашего типа. Давал сиротам среднее образование и специальность. Это был замечательный педагог, о котором, к сожалению, мы еще так мало знаем. Говорят, он и революционерам помогал. Но так ли это, неизвестно. Проверить нужно. Архивы поднять. Изучить. Да вот все времени не хватает. А изречение это, я думаю, его.

— Его, его! — убежденно сказал пожилой рабочий, с уважением поглядывая на буквы.

— Нельзя ли сохранить эту надпись на стене? — спросил Грозный.

— Почему нельзя? Можно! — одновременно заговорили оба рабочих. — Только вот как директор?

— С Павлом Ниловичем я поговорю сегодня же,— ответил Николай Михайлович.

Через некоторое время Павел Нилович с интересом читал изречение на стене, то приближаясь, то отдаляясь от подмостков. Потом, невзирая на преклонный свой возраст, чрезмерную полноту и одышку, он взгромоздился на леса.

— Русский человек глазам не верит,— несколько раз негромко повторил он, ощупывая пальцами металл, из которого были сделаны буквы,— а я к тому же физик. Мне тем более любопытно. Медь... качественная медь...

Он спустился на пол. Вытер вспотевшее широкое лицо с тройным подбородком, добродушное, как у большинства толстяков, осторожно промокнул и лысину, аккуратно наискосок прикрытую реденькими длинными волосами.

— Слова-то хороши,— неуверенно и как бы с сожалением сказал он, обращаясь к Николаю Михайловичу,— да кто их сочинил, неизвестно... Однако надо бы учителям всегда перед глазами такую фразочку иметь. Образование-то мы даем. А вот воспитание... Воспитанием не каждый, ох, не каждый занимается!.. Вот она, проблемка-то вековая! И тогда, стало быть, существовала и теперь существует... Но ведь лозунг-то прямо-таки коммунистический: «...другом, товарищем, братом»! — повышая голос и поднимая вверх пухлый указательный палец, закончил он.

Убедив самого себя, Павел Нилович загорелся и воскликнул с пафосом:

— Конечно, надо сохранить изречение. Почистить медь. Пусть горит на стене и доходит до сердца каждого учителя!

И изречение это с начищенными буквами засияло в учительской на фоне свежевыкрашенной стены. Учителями оно встречено было по-разному: кое-кто криво усмехался, принимая его за упрек. Некоторые разводили руками, считая это очередным чудачеством Павла Ниловича. Большинство же к появлению в учительской этого изречения отнеслось как к нужному и уместному напоминанию о самом главном в их работе.

2

Николай Михайлович остановился у окна и взглянул на аллею городского парка. «Удивительная выдалась осень»,— подумал он, любуясь расцветченными в причудливые цвета еще не опавшими листьями.

— Свежа, как весной красавица, только наряд переменяла,— вслух сказал он о березе, которая окутала стройный белый стан свой яркой желтизной.— А рядом-то — ай-яй-яй! Какой пронзительно яркий бархат!

Но, несмотря на красоту парка, поднимавшегося напротив его дома, несмотря на удачно прошедший день, какое-то приглушенное беспокойство тревожило его — не то какие-то недодуманные мысли, не то подсознательное недовольство собой. Впрочем, это чувство возникло не сегодня, а уже давно, пожалуй, с самого лета. Иногда ему казалось, что это результат утомления. Быть учителем и классным руководителем не по обязанности, а по влечению нелегко. И это желание писать... Так много хочется высказать на бумаге. Словами вылепить образы молодых людей, которые окружали его, с их сложным отношением к миру.

Первого сентября был день его дежурства по школе. Он выбрал самый трудный день, когда в стенах школы появляются малыши и в глазах их — страх, радость, торжество. И вот звонок. Первый звонок в их жизни. И тишина школьных коридоров, такая неожиданная, непривычная тишина... Николай Михайлович стоял тогда в коридоре у окна вот так же, как сейчас дома.

Он увидел, как по асфальтовой дорожке, ведущей к школе, старик торопливо вел опоздавшего на урок, плачущего первоклассника с огромным, уже немного помятым букетом цветов.

Вечером опять он вспомнил опоздавшего мальчика и старика. И так несколько дней неотвязно в мыслях его возникали эти двое. В перемены он подолгу разглядывал в учительской металлические буквы, врезанные в стену.

А сегодня в школу не пришла учительница химии. Ее урок в восьмом «А» был последним, и ученики рассчитывали пораньше уйти домой.

Николай Михайлович вошел в класс и, когда все сели и установилась обычная тишина, сказал:

— Есть два предложения: первое — пойти домой.

— Домой! Мы — за! — дружно отозвались ребята.

— Но есть и второе предложение...

Класс затих.

— Если хотите, я прочту вам начало своей повести. Мне нужна ваша консультация, а возможно, и помощь.

Класс захотел. Не из вежливости. Искренне.

— Названия пока нет, — сказал Николай Михайлович, доставая из портфеля папку с рукописью.

Предисловие к повести Николая Михайловича Грозного

Первого сентября в безлюдном в этот ранний утренний час переулке встретились двое: старик, тяжело опирающийся на массивную трость, одетый в длинное, старомодное пальто, и

мальчуган в новой школьной форме, с новым ранцем за спиной и букетом цветов, которые он держал в охапке, бережно и неловко прижимая к груди. Мальчик бежал по улице, опустив голову. Он наскочил на старика и остановился. Испуганный взгляд припухших, заплаканных глаз ребенка встретился с внимательными глазами старика. Мальчуган вдруг понял, что перед ним тот, кто все поймет и поможет, и громко заплакал, невнятно выговаривая слова: «Соседка проспала... мама в ночную смену...»

Старик наклонился, участливо расправил помятый букет и, взяв горячую ручонку, повел мальчика в школу.

Он понимал, какое безутешное горе переживал его маленький спутник. Опоздать в первый день поступления в школу, в тот день, о котором мечтал, наверное, не один месяц!..

А ребенок успокоился, доверился старику и семенил рядом с ним вначале по тротуару, потом по асфальтовой дорожке, а затем по притихшему коридору школы в учительскую.

Старик передал мальчика заведующей учебной частью. Оторвавшись от большой прохладной руки, ребенок на мгновение снова ощутил страх, и опять заплакал. Но учительница ласково отняла от глаз мальчика мокрые кулачки, похвалила его букет и сказала, что ничего страшного не случилось, уроки только что начались и она сейчас отведет его в класс.

Поблагодарив прохожего, учительница повела мальчика по коридору. У дверей класса малыш оглянулся, но старика уже не было.

Опираясь на палку и придерживаясь свободной рукой за перила, старик с трудом спускался со второго этажа. На площадке лестницы он задержался. Задержался не для того, чтобы перевести дух... Ему не хотелось уходить из школы. Так хорошо и до слез горько было вслушиваться в эту родную, знакомую тишину, с чуть доносящимися из классов голосами учителей и едва уловимым постукиванием мела о доску.

Лет десять назад, когда из педагога он превратился в пенсионера, ежегодно первого сентября он подходил к школе и вот с таким же чувством, как сейчас, смотрел на бегущих учеников, мелькающие белые фартуки, воротнички, цветы, на озабоченные лица учителей, к которым в эти минуты он испытывал тяжелую зависть.

День первого сентября для него стал самым мучительным днем. А потом это прошло. Он перестал подходить к школе, даже забывал этот день, перестал тяготиться бездельем, одиночеством, ни о чем не вспоминал, ничего не жалел, никому не завидовал. Наступила глубокая созерцательная старость, в которой, как и в каждом возрасте человека, есть свой смысл и привязанность к жизни.

Тяжело передвигая ноги, старик спустился с широкого крыльца, но выйти из двора школы у него не хватило сил. И он присел тут же во дворе на скамейку.

Боль воспоминаний, охватившая его в школьном коридоре, уже унялась. Мысли приняли другое направление. Что же, жизнь прошла! Любимый труд, желания, огорчения, радости — все ушло. И теперь казалось прочитанной книгой — не о себе, а о каком-то другом Николеньке, Николае Саратовкине, учителе Николае Михайловиче... Но хотелось, даже было необходимо, чтобы эту книгу прочел тот малыш, опоздавший в школу, и его товарищи, которые сейчас первый раз сели за парты. Вздвигнутые, торжественные, они слушают своего учителя, и каждое слово его кажется им откровением.

Иначе зачем существовать на земле этой книге о жизни учителя Саратовкина, если она не будет откровением для тех, кто пришел ему на смену?

3

Николай Михайлович кончил чтение... Некоторое время в классе стояла напряженная тишина. Ученики пытались справиться с охватившими их впечатлениями, в которые вплелись и буквы на стене учительской... И здание школы, где когда-то был приют, принадлежащий миллионеру Саратовкину. И старик Николай Михайлович Саратовкин... И наконец, их классный руководитель «Иоанн Грозный», за которого весь класс — «в огонь и в воду»!

Первым поднял руку Семен Неверов. Николай Михайлович дал ему слово. Семен встал, но, вспомнив, как всякий раз на подобных собраниях учитель говорил: «Сиди, сейчас не урок, а товарищеская беседа», сел, положив перед собой на стол длинные руки. Несколько мгновений он как бы впервые и с любопытством изучал потолок, затем прокашлялся, переменил позу, точно ему — самому длинному в классе — было не очень удобно за низким столом, и сказал:

— Я слушал вас, Николай Михайлович, и понимал, как рождаются литературные произведения. Ведь до того, как появилось в учительской это изречение, вы и не думали писать повесть о Саратовкине. Вы писали статью в журнал...

Николай Михайлович усмехнулся:

— Все-то ты знаешь!

— Не только я, а все! — Длинные руки сделали широкое движение, как бы охватывая весь класс и приглашая его в свидетели.

И тут неожиданно класс зашумел. Ученики заговорили друг с другом, посыпались реплики Семену, вопросы учителю.

— Тихо! — прикрикнул Семен, стукнул кулаком по столу, да не рассчитал удара, зашиб руку.

И класс отозвался дружным смехом.

— Я не кончил. Я только начал!

Его послушались.

— Все это может быть очень интересным, Николай Михайлович. И я думаю, каждый из нас, — он опять цепким движением рук будто объединил весь класс, — смыслом своей жизни сделает поиск материалов для вашей повести. Мы поднимем архивы! — все более и более увлекаясь и захватывая товарищей, говорил Семен. — Мы перевернем город вверх ногами! — воскликнул он, уже стоя.

— Ну, этого не надо делать! Пусть город стоит, как стоял! — засмеялся учитель.

— И ведь это как раз по вашей части, Николай Михайлович. Это же история!

«А он опять все знает. Все понял», — подумал Николай Михайлович и не сдержался, быстро подошел к Семену, обнял его и дружески похлопал по спине. При этом не без неудовольствия отметил, что Семен выше его на полголовы.

Семен покосился на класс: как воспримут товарищи эту сентиментальность учителя — и, увидев, что все в порядке, улыбнулся Николаю Михайловичу и сказал:

— Мы назовем себя «разведчиками старины» или еще как-то более романтично...

Дальше говорить было невозможно. Все повскакали с мест. Все кричали.

Проходящая по коридору молоденькая учительница английского языка открыла дверь класса и, увидев Николая Михайловича, сложила накрашенные губы в гримасу, которая как бы говорила: «Кошмар! И это в присутствии учителя!»

4

У Семена Неверова слова никогда не расходились с делом. Он был уже достаточно серьезным человеком, несмотря на свои пятнадцать лет от роду. После того как Семен призвал товарищей сделать смыслом жизни поиск материалов для повести о Саратовкине, он принял самое деятельное участие в организации исторического кружка «Разведчики».

Семен Неверов определил для себя будущность историка и, пожалуй, не возражал бы повторить путь Николая Михайловича Грозного — стать учителем и писать. Но для того и другого нужен был особый дар, а его Семен в себе не обнаруживал. И вот, начав поиск исторических фактов, связанных с жизнью Саратовкина, копаясь в пожелтевших архивных бу-

магах (Николай Михайлович добился этого права для своего кружка), он почувствовал вдруг такое увлечение, что понял: вот оно, его будущее.

В школе ему хотелось заниматься только историей. Ну, еще к литературе он относился благосклонно! Но, увы, надо было, кроме того, изучать точные науки. И Семен Неверов, человек сознательный, понимал, что постичь эти науки необходимо, иначе историка из него не получится. И он постигал, правда без любви и увлечения.

Стояла поздняя осень. Мимо оплетенных железными решетками окон подвального этажа, где размещался архив, то и дело мелькали по асфальту, покрытому тающим снегом, ноги прохожих. Глядя на них, Семен мгновенно представлял себе их обладателей. Вот тяжело прошлепали женские ноги в резиновых ботах, впившихся в толстые икры. Женщина рисовалась Семену пожилой, рыхлой, неопрятной и меланхоличной. Вот промелькнули легкие ботинки, прикрытые потрепанными манжетами брюк. Это, наверное, длинноволосый студент с бородой и баками, в куртке, с таким же старым, как брюки, портфелем, набитым конспектами, книгами и, может быть, собственными стихами. Он ко всему настроен скептически, думает, что первым разберется во всех противоречиях жизни и укажет человечеству истинный путь. Осторожно обходя лужи, почти протанцевали изящные девичьи ноги в белых сапожках. Семен приблизил лицо к решетке окна: мелькнули круглые колени и подол светлого плаща. «Это секретарша какого-нибудь ответственного работника. Пока начальника нет, побежала в парикмахерскую ногти мазать или волосы начесывать», — подумал Семен.

Еще не кончился день, но в большой, мрачной комнате архива горел неоновый свет, делавший лица голубовато-землистыми. В этой комнате вместо стен от пола до самого потолка громоздились шкафы. А у окон тянулись длинные, заваленные бумагами и папками столы.

«Разведчики» после школы немного повозились с документами, ничего интересного не обнаружили, поостыли и отправились по своим делам. А Семен остался. Он сидел на высоком табурете, сложив на его перекладине длинные ноги, сгорбив спину и рассеянно листая папку с пожелтевшими бумагами.

Потрепанная газетная вырезка задержала его внимание:

16 августа, 1898 г. Свершилось... Сегодня свисток паровоза впервые огласил наши окрестные горы, степи и леса, еще почти не тронутые культурой... Роковой момент для Сибири настал. Старая Сибирь осталась позади, впереди перед нами встает что-то новое. Сознание важности переживаемого момента проникло во все слои общества, и почти перед каждым встает вопрос: «Что-то будет?»

Семен перечитал текст дважды. Попытался представить то, что пережили люди его города, когда увидели первый паровоз. «А теперь вот ракеты уносят людей в космос,— думал Семен,— и кажется, что это в порядке вещей. Непостижимо!»

Семен не шевелясь сидел некоторое время над папкой, потом переложил несколько бумаг. Перед ним лежала фотография с подписью: «Город N-ск. Начало XX в.». Деревянный понтонный мост через широкую реку, а за ним низкие деревянные домишки, кое-где двухэтажные. В середине возвышается пятиглавый собор. Собор и теперь стоит так, точно не ушли столетия. Только сегодня, окруженный многоэтажными корпусами, не кажется он таким уж большим. Реку опоясал металлический красавец мост с гордо выгнутой легкой спиной.

Вот еще одна фотография: улица, мощенная тяжелым, круглым булыжником. А на углу удивительно знакомый двухэтажный дом — кирпичный, совершенно не похожий по стилю на другие дома их города, с узкими окнами, высоко поднятыми над тротуаром, с остроконечной крышей. Да это же глазная поликлиника! Конечно, она. Еще в детстве Семена водила туда мать лечить косоглазие. Он помнил, как доктор залепил пластырем ему один глаз и было очень трудно спускаться с высокого каменного крылечка с резными железными перилами.

Он наклонился над фотографией, стараясь разобрать стертую надпись под ней.

— Стоп! — вдруг громко воскликнул он.

Две девушки, работницы архива, подняли головы от бумаг, посмотрели на мальчика, с улыбкой переглянулись и опять углубились в работу.

Под старой фотографией было написано: «Город N-ск. 1880 г. Жилой дом Саратовкина».

Так вот, значит, где жили Саратовкины! Фантазия уже рисовала Семену удивительные картины, одну ярче другой. Он слышал музыку, доносившуюся из открытых узких окон зала, когда ночами там на балах танцевала городская знать. Он видел экипажи, стоявшие у подъезда и отъезжавшие лишь на рассвете, строгого швейцара у дверей, а в окнах — мелькающие белые фартучки и наколки горничных.

Семен чувствовал себя счастливым. Эта фотография была первой ласточкой из прошлого.

Ноги уже порывались бежать к товарищам, к Николаю Михайловичу. Руки неудержимо тянулись засунуть фотографию в карман.

Но он знал, что выносить бумаги из архива строго воспрещалось. Оставалось одно: сложить документы в папку, запомнить ее и завтра явиться сюда всем вместе.

Так и начал было действовать Семен. Он аккуратно под-

правил растрепанные бумаги, со вздохом положил на место драгоценную фотографию. А потом все же не удержался. Будь что будет! Завтра он вернет ее на место, и никто не узнает. Ночь, всего лишь ночь она не полежит в этой папке.

Выйдя из архива, Семен решил сразу же отправиться к Николаю Михайловичу, но почему-то оказался совсем в другой стороне города, на улице, где на углу стояла глазная поликлиника. Уже вечерело. Но, вынув из кармана фотографию, он все же ее разглядел и убедился, что это действительно тот самый дом, построенный в готическом стиле. С теми же узкими окнами, дверью, овальной вверху, и высоким крыльцом, обведенным замысловатыми железными перилами.

Задыхаясь от радости, Семен вскочил в автобус, одной рукой бережно прижимая к себе фотографию, спрятанную в кармане, другой он сунул монету в пластмассовое отверстие кассы.

— Молодой человек, — несколько мгновений понаблюдав за Семеном, сказала сидящая у окна дама с четырехугольной коробкой на коленях. На коробке было написано: «Торт». — Вы опустили деньги, а билет не взяли.

— Какой билет? — удивился Семен. В эти минуты он следовал за Михаилом Саратовкиным по узкому деревянному тротуару в две плахи, чуть приподнятому над дорогой, мощенной крупным булыжником. Миллионер шел вразвалочку, тяжело переставляя ноги в лакированных сапогах, в которые были заправлены полосатые плисовые шаровары. — Ах да, билет! — Семен вернулся к действительности и оторвал билет. — Спасибо! — пробормотал он даме с тортом и вновь погрузился в прошлый век. По деревянному тротуару он следовал уже за сыном Саратовкина. И представлялся ему Николай Михайлович Саратовкин студентом тех времен: в длинном, почему-то поношенном, пальто, непременно с поднятым воротником, в студенческой фуражке.

Семен, конечно, проехал нужную остановку и до дома Николая Михайловича добрался пешком.

В темном коридоре он миновал открытую дверь кухни, откуда вместе с запахами жареной рыбы, лука и сельдерея в коридор вползали женские голоса разнообразного тембра. Николая Михайловича дома не было.

Семен побежал в школу.

В вестибюле он столкнулся с нянечкой Дашей. Она была почти ровесница Семена, худенькая, невысокая, в синем платке, сложенном широкой лентой и завязанном под огромными косами. На маленьком, ничем не примечательном лице ее широко и решительно помещались точно такие же синие, как платок, глаза.

Голос нянечки был неожиданно низким и властным. Она

привыкла к полному повиновению своих «архаровцев», как называла школьников. Она не любила лишних слов и сказала, легонько махнув тряпкой в сторону входной двери:

— Закрой с той стороны.

— Мне Николая Михайловича.

— Он ночует не в школе, а дома.

— До свиданья, Даша,— вздохнув, сказал Семен, поворачиваясь к двери.

— Приветик! — Даша опять помахала тряпкой.

Что оставалось делать?

Бежать к товарищам? Но Семен с утра не был дома. Мать, конечно, волновалась. Да и мысль о том, что уроков на завтра задано немало, изредка портила настроение.

Он с удовольствием открыл дверь своим ключом. Всего несколько дней прошло с тех пор, как из общей квартиры Неверовы переехали в отдельную, и Семена не покинуло еще чувство радости от новизны и удобств. Его Чарри — огромная овчарка, которую месячным щенком он вытащил из реки во время ледохода, получив при этом двустороннее воспаление легких,— теперь имела спокойное место в прихожей. А у Семена и его младшего брата Олега была отдельная комната.

Семен своим появлением вызвал бурный восторг Чарри. Пес с радостным визгом прыгал, забрасывал на плечи мальчика могучие лапы и норовил лизнуть в лицо.

В дверях появился Олег. Очки придавали серьезность и даже строгость его круглому лицу.

— Ага! Опять где-то пробегал! — ехидно сказал он.— Вот влетит тебе от мамы! Ох и влетит!

— А ты, дурак, радуешься? — возмутился Семен.— Выручать надо братьев-товарищей. Не советский ты человек! Купчина ты прошлого века!

«Почему купчина? — искренне удивился Олег.— Да еще и прошлого века! Чушь какая-то. Даже обижаться не хочется»,— решил он и, выразительно повинтив указательным пальцем висок: дескать, у брата «не все дома», ушел в комнату, строгий и молчаливый.

— Валентин Александрович! — виновато сказал Семен, появляясь в кухне. Так иногда называл он мать.— Я опоздал.

— Да, действительно. И намного,— спокойно ответила она.

А чего ей стоил этот спокойный тон, этот ясный взгляд? Сын, вероятно, это поймет не скоро, когда сам станет отцом, да и поймет ли тогда? А пока, сравнивая свою мать с другими женщинами, он считал ее очень спокойной, рассудительной и справедливой. И только.

— Где же ты был? — будто бы между прочим, спросила она, зажигая газ.

Семен рассказал, утаив, однако, что фотография из архива лежала в кармане его пальто. «Никто, кроме «разведчиков», даже мама, не должен этого знать» — так решил он.

— А! — откликнулась мать на его рассказ.

И опять же когда-нибудь потом, вспоминая этот вечер, может быть, поймет Семен облегчение в этом возгласе матери. А сейчас Семену только пятнадцать лет. Отрочество. Самая сложная пора человеческой жизни. Он весь в себе, в своих переживаниях, в своем особом отношении к миру, который в эти годы открывается перед ним.

Вместо обеда Семен ужинал. Ел торопливо, лелея надежду успеть выучить уроки. А мать — тоже торопливо — готовила обед на завтра, потому что нужно было постирать, а утром встать рано, приготовить завтрак и бежать на работу. Она работала кассиром в небольшом учреждении. Мальчики помогали ей по хозяйству. Но сегодня список покупок и деньги так и пролежали до вечера в кухне на полочке. Семен забыл обо всем. Так случалось часто. Но мать хорошо помнила годы своего отрочества и отлично понимала сына. Она не упрекнула его.

Молчание ее Семену было больнее выговора.

— Валентин Александрович! Ты бы поругала меня. Я же виноват, — просяще сказал он, наспех убирая за собой посуду.

— Ну, понимаешь, что виноват, — значит, все в порядке, — улыбнулась мать.

Нет, в самом деле его мать — самая лучшая мать на свете! Семен не мог не обнять ее, хотя в его возрасте это было не положено. Хорошо, что Олега нет, а то ведь истолковал бы по-своему: подлиза, мол.

Олег укладывался спать, срывая с себя одежду, — видимо, подражая какому-нибудь герою из фильма, а Семен еще только садился делать уроки. Доставая из портфеля тетради и учебники, он продолжал думать о матери: «Она не только умнее, но и красивее всех. Если бы не так наспех причесывала она свои густые, светлые волосы, а сидела бы подольше перед зеркалом, как Вовкина мама, если бы не сама, а в ателье, как Наташина мама, шила себе нарядные платья — какая бы красивая она была! А ей все некогда». Отца Семен помнил плохо, шесть лет прошло после его смерти.

Раздумья о матери сменились мыслями о Саратовкине. Захотелось вновь взглянуть на фотографию старого дома. Олег уже спал, и Семен, осторожно ступая на носки, вышел в прихожую и достал из кармана фотографию. Чарри тоже спал, сладко похрапывая, развалившись у вешалки. Из ванной доносились всплески воды: мать стирала белье.

Влюбленными глазами Семен снова разглядывал булыжную мостовую, дом с остроконечной крышей, с высоким крыльцом

на котором справа, около железных перил, был приделан какой-то большой предмет, напоминающий ящик.

— Спать, Сеня, спать! — заглянув в дверь, сказала мать. — Поздно, утром тебя не поднимешь.

— Я сейчас, мама, — сказал Семен.

«Будь что будет», — снова подумал он, закладывая фотографию в дневник. Сложил в портфель книги, постелил постель, разделся и мгновенно сладко уснул.

Семену удивительно повезло. Учителя, точно сговорившись, не спрашивали его. А он сидел как на иголках. Во-первых, не так-то просто выглядеть учеником, выучившим урок. Для этого надо принять уверенную позу, но на всякий случай не встречаться глазами со взглядом учителя. А во-вторых, сегодня он чуть не опоздал в школу, в класс вбежал за несколько секунд до звонка и, естественно, не успел сообщить «разведчикам» о своем открытии. Но к концу первого урока метко брошенные записки оповестили о случившемся не только «разведчиков», но и всех остальных ребят.

На перемене фотографию, которую Семен не выпускал из рук, уже смотрел весь класс.

Николая Михайловича в школе в тот день не было. После уроков «разведчики» — а их было шестнадцать человек — отправились к учителю домой, но его не застали. Сунули в дверь записку.

Николай Михайлович! Я принес из архива фотографию дома Саратовкина, где тот жил в 1880 году. Это написано на фото. Теперь в этом доме глазная поликлиника. Мы помчались туда. Потом еще зайдем к Вам. Ждите обязательно, потому что фото нужно вернуть в архив.

Семен Неверов.

Николай Михайлович вскоре пришел домой, прочел записку и, хотя были у него другие дела, немедленно направился в глазную поликлинику. Он понял, что фотографию Семен стащил из архива, и его беспокоило нашествие «разведчиков» в поликлинику.

А для беспокойства основания были. Все шестнадцать с замиранием сердца вначале изучали здание поликлиники снаружи, сравнивая его с фотографией. Затем принялись разглядывать высокое крыльцо с широкими каменными ступенями, стертыми временем, и остатки чугунных перил с причудливым старинным орнаментом.

Тыча пальцем в фотографию, Семен сказал:

— И еще что-то было здесь. Что за предмет, непонятно. Вон даже след остался на камне.

— Привинчено было...— расковырял кто-то из ребят забытые пылью и мусором дырки.

Восьмиклассники молча миновали узкий тамбур и вошли в полукруглый вестибюль с куполообразным потолком. Их внимание привлекли высокие стрельчатые витражи из разноцветных стекол. Двери, ведущие во внутренние помещения поликлиники, были расположены под ними. Обычные двери, покрашенные белой краской. И вообще все остальное, кроме окон и потолка, было обыденно привычным. Белые скамьи у стен. Пол, покрытый светлым линолеумом, затоптанный ногами бесчисленных пациентов. Белая пристройка с окошком, в котором, словно фотография в рамке, виден был строгий профиль немолодой регистраторши.

Несколько человек стояли в очереди к окошку.

Стараясь не обращать на себя внимание, «разведчики» по одному вошли в вестибюль. Но их было шестнадцать, одного возраста, с одинаковым выражением на лицах, в походке, в движениях — выражением восторга, любопытства, желания остаться незамеченными. Их, конечно, заметили.

— Надо проникнуть в глубину здания. Вставайте в очередь к окну,— шепнул Семен соседу, и по цепочке мгновенно слова его были переданы всем.

Семен первым пристроился в очередь за старушкой, которая опасливо отодвинулась. За Семеном молча встали остальные.

Очередь подошла быстро.

— Семен Неверов. Пятнадцать лет. Улица Советская, семь, квартира четыре,— ответил Семен на вопросы регистраторши.

— Сорок седьмой кабинет,— сказала она, равнодушно, поверх очков, взглянув на мальчика.

Так же равнодушно записала она второго и третьего «разведчика».

Четвертой подошла Лаля Кедрина, девочка не по годам пухлая, с миловидным беленьким личиком и ясными бирюзовыми глазами. Она назвала фамилию, имя, принялась было за адрес, но регистраторша вдруг забеспокоилась, выглянула в окошко. Очередь ребят-одногодок заронила в ее душу подозрения. Но они стояли тихо, с трогательным для их возраста желанием попасть на прием к врачу.

Она записала Лалю Кедрину. Однако следующего пациента все же спросила:

— Что это? Из одной школы? Почему все сразу?

Следующим был низенький крепыш, прозванный Левитаном в честь знаменитого диктора.

— Никита Пронин,— таким неожиданно густым и красивым басом сказал он, что регистраторша вздрогнула и недоверчиво поглядела на мальчика.

— Видите ли, мы проводили опыты по химии,— продолжал Никита,— и вот у всех что-то случилось с глазами...

Как раз в это время в вестибюле глазной поликлиники появился Николай Михайлович.

Очередь рассыпалась. Регистраторша поняла, что пришел учитель, и с любопытством дожидалась, что будет дальше.

— Где Семен? — спросил Николай Михайлович.

— Он уже там. На приеме.— Никита кивнул на дверь, ведущую из вестибюля в коридор.

Николай Михайлович подошел к окошечку регистраторши:

— Извините. Произошло недоразумение,— сказал он.

Регистраторше было интересно узнать подробности, но по лицу учителя она поняла, что тот не намерен объясняться, и сердито сказала:

— Только время отрывают. Учеников своих к порядку приучать надо. Да родителей к директору...

Николай Михайлович снял плащ. Молча бросил его на плечо Никиты и исчез за дверью.

Он вернулся оттуда с тремя «разведчиками». Семен был уже в кабинете. Сидел напротив врача, и та исследовала его глазное дно.

Все вышли на улицу, спустились с крыльца, и ребята стали ждать нагоняя.

Но Николай Михайлович только вздохнул, засунул руки в карманы и сказал:

— Ну зачем было так спешить? Вот кончится прием. Договоримся с начальством и спокойно все осмотрим. Зачем же мешать людям работать? Ведь сюда больные идут, а вы игру затеяли. Я считал вас разумнее и взрослее.

— Но ведь так, Николай Михайлович, интереснее,— сказал Никита.

Николай Михайлович промолчал. Он все это понимал и отчитывал своих «разведчиков» только для приличия. И они это отлично чувствовали.

На крыльце появился сияющий Семен. Он уже забыл все неприятности, причиненные врачом, и шел к Николаю Михайловичу, держа в руках фотографию, широко, победоносно улыбаясь.

Он попытался и теперь не выпускать из рук фотографию, но Николай Михайлович завладел ею, долго, внимательно разглядывал. Как и его ученикам, дом, в котором он бывал не раз и привык к нему с детства, показался теперь особенным.

— Ну, вот что,— сказал он, возвращая Семену фотографию,— дом мы осмотрим сегодня вечером. А сейчас,— он обратился к Семену,— пойдешь в архив и вернешь фотографию. Да не тайком, а скажешь, что взял ее вчера. И еще скажешь,

что за это я лишаю тебя права две недели работать в архиве. Понятно?

— Понятно,— мрачно сказал Семен. И он уныло поплелся, загребая длинными ногами.

5

Все разошлись по домам. А Никите Пронину идти было некуда. Со вчерашнего дня у него не было больше дома. В школе, с товарищами, когда рядом был Грозный, несчастье хоть и не забылось, но утихла на время какая-то почти физическая боль, стало немного легче. Он никому не сказал о том, что у него случилось. И вот теперь, когда ребята ушли, он остался один на один со своей бедой.

А ведь еще недавно он был так счастлив и не понимал, не ценил этого.

Никита был единственным сыном в семье. Отец — геолог — больше находился в разъездах. Мать работала секретарем начальника конторы «Главкоммунстроя» и тоже мало бывала дома.

— Днем не справляюсь. Приходится работать вечерами,— весело жаловалась она отцу, когда тот звонил по телефону из какого-нибудь районного центра, где находился в командировке.

Последние месяцы все чаще и чаще матери по вечерам не было дома, и Никита не раз ложился спать, так и не дождавшись ее.

— Тебя, мама, твой начальник явно эксплуатирует! — не раз говорил он.— Я скажу ему об этом.

И действительно сказал.

Начальник теперь стал появляться у Прониных: он «по пути» завозил мать домой и заходил попить чайку.

Никита с первого взгляда невлюбил маминого начальника и в часы его пребывания обычно не выходил из своей комнаты.

А однажды вышел.

Начальник, седоголовый, с молодым приятным лицом, сидел в кресле и курил. Никита прежде всего заметил его длинные пальцы, на одном из которых поблескивало обручальное кольцо, и его длинные вытянутые и скрещенные ноги в светло-серых брюках и замшевых ботинках «на платформе».

Мальчик почему-то только в этот вечер увидел, как хороша и молода его мать, с гладко зачесанными на прямой пробор, наперекор всякой моде, черными волосами. На ней было узкое черное платье, на рукавах и у ворота отделанное белым рюшем. Она немного суетилась, накрывая на стол, постукивая высокими каблуками лаковых полуботинок. На матово-бледном лице сияли большие черные глаза. Сияли слишком оживленно.

— Это мой Никита,— сказала она.

— Рад познакомиться!

Начальник сделал какое-то движение, будто собираясь встать. Но не встал. Загасил папиросу в пепельнице, как бы освобождая руку для пожатия, но не протянул ее и лишь блеснул в улыбке белыми, ровными зубами.

Никита молча поклонился и сказал:

— А маму вы эксплуатируете. В нашей стране восьмичасовой рабочий день, а она по двенадцати часов... вкалывает.

Мама вспыхнула и от этого жаргонного словечка, и от бестактного вмешательства сына. А начальник искусственно рассмеялся:

— Молодец. Оберегаешь интересы мамы. Вот, Лидия Владимировна, придется вам сократить свое пребывание в конторе.— И затем обратился к Никите: — Откуда у тебя такой голос?

Станный вопрос. Никита и сам не знал, откуда! Видно было, что начальник совсем не умел разговаривать с младшим поколением.

Никита молча пожал плечами. Мама предложила ему чаю. Он отказался и с тяжелым сердцем ушел к себе в комнату. Бессознательно еще он почувствовал надвигающуюся грозу. И с этого дня в доме для него все стало не так.

Однажды вечером он увидел, как начальник подвез свою секретаршу до дома. Она была в костюме с рукавами по локоть. Согнувшись и склонив голову, вытянув вперед ногу в лаковой туфле, она выходила из машины, и начальник, по-хозяйски приподняв рукав ее жакета, поцеловал руку выше локтя.

Отец в тот вечер был дома. Он ничего этого не видел. Он стоял у плиты и заливал яйцами поджаренную колбасу. Тоже седоволосый, как тот, загорелый и обветренный, стройный и высокий. «Он же в тысячу раз красивее и лучше!» — с отчаянием подумал Никита.

Он отказался от ужина, ссылаясь на нездоровье, и ничком свалился в постель.

Пришла обеспокоенная мама. Как всегда, она хотела коснуться губами лба Никиты — нет ли температуры, но он спрятал лицо в подушку. Тогда она попыталась потрогать его шею рукой, которую только что целовал тот, и Никита, вскочив, грубо отбросил ее руку.

— Ты что, сынок? — удивленно спросила мать.

— Ты знаешь что! Уходи!

И она поняла, ушла из комнаты. Дверь была открыта, отец все видел и слышал. В доме в тот вечер стояла мертвая тишина. Никто не проронил ни одного слова.

А дальше события развернулись с неожиданной быстротой.

Отъезд отца якобы в командировку. Потом бессвязная попытка матери оправдаться — с отцом они не сошлись характерами и она выходит замуж за своего начальника.

И вот вчера этот человек появился у них с двумя чемоданами.

Никита переночевал эту ночь дома. «Последний раз» — так решил мальчик. Не мог же он, Никита, терпеть этого «типа» в доме, где родился, вырос и был всегда рядом с отцом. Он возненавидел мать, не мог глядеть на нее. Его терзало и то, что отец молчит. Почему он не оставил письма, не взял сына с собой, если уехал насовсем? Что же он, забыл, что у него есть сын? Значит, вот она такая жизнь: жестокость, несправедливость. Значит, нет в ней места ни любви, ни долгу, ни чести!

На соседней улице жила бабушка, мать отца. Но она старенькая и больная. Как принести ей такое известие! Он не решался пойти к ней.

Промаявшись ночь, не выучив уроки, голодный и растерянный, Никита пришел в школу задолго до звонка. Школа была еще закрыта. Никита постоял у крыльца и направился к дому Николая Михайловича. Кому же, как не ему, можно было поведать о своем несчастье. От кого же, как не от него, услышать ответ на страшное недоумение, которое истерзало Никиту за эти дни, и получить совет, как жить дальше.

Но по дороге повстречался ему Семен с фотографией, найденной в музее, отвлек Никиту от горьких мыслей. Потом уроки. Затем беготня к Грозному, в глазную поликлинику...

Ребята разошлись, а Никита пошел следом за учителем, видел, как тот сворачивал в переулки, переходил дороги. Никита ускорял шаги и снова в нерешительности отставал.

Учитель вошел во двор, поднялся на крыльцо и скрылся за дверью.

Никита ходил взад-вперед мимо дома. Слезы то и дело выступали на глазах. Ему было жаль себя — брошенного родителями, как ненужного котенка, голодного, бездомного. Он не решался пойти к Грозному.

А Николай Михайлович в эти минуты вынул из портфеля письмо, адресованное ему на школу, и с волнением читал его:

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!

Вам пишет отец Вашего ученика Никиты Пронина. К сожалению, я всегда был нерадовым отцом и ни разу не заглядывал в школу (там часто бывала мать Никиты), поэтому с Вами я не знаком. Но, по рассказам сына и его одноклассников, я знаю Вас как талантливого педагога и человека большой души. Вот почему в тяжелый час жизни я пишу именно Вам, рассчитывая на Вашу помощь.

Никита думает, что я уехал в командировку (если мать еще

не сообщила ему правды), но я уехал из дому совсем, потому что моя жена мне изменила. Никита все знает. Прошу Вас, поддержите сына в трудный момент. Вы же знаете, что несчастье свое он будет переносить в одиночестве. Это может оказаться для него невыносимым. Думаю, что оставаться дома ему будет слишком тяжело, уговорите, пожалуйста, его пожить пока, до моего приезда за ним (я уверен, что он пожелает остаться со мной), у бабушки. Я ей все рассказал.

Заранее благодарю Вас. Простите, что к Вашим вечным хлопотам я прибавил еще одну заботу. Прошу Вас передать сыну письмо. Оно не запечатано намеренно, чтобы Вы его прочли. Другого адреса для письма сыну у меня нет.

С. Пронин.

Ниже был написан обратный адрес.

В конверте лежал еще лист бумаги, сложенный вчетверо. Грозный не стал читать этого письма.

«Да, мальчику трудно. Ой как трудно,— думал он,— надо бы немедленно его разыскать». Он взглянул на часы. «В школе ему делать уже нечего. Идти к нему домой нельзя. Лучше всего послать сейчас же за ним кого-то из его одноклассников».

Грозный присел к столу, достал записную книжку, нашел телефон Кедриных.

— Будьте добры Лалю,— сказал он после того, как низкий женский голос ответил: «Алло, вас слушают».

— А кто просит ее? — поинтересовалась, видимо, мать Лали.

— Николай Михайлович, ее учитель.

— А! Здравствуйте, Николай Михайлович! — Голос стал неофициально приветливым. — Одну минуточку, Лаля подойдет.

— Я слушаю вас, Николай Михайлович!

— Лаля! Мне нужен срочно Никита Пронин. Нет, звонить ему не надо. Ты не можешь дойти до него и послать его ко мне? Не знаешь адреса? А телефона кого-нибудь из его близких товарищей у тебя нет?.. Кто? Володя Кучеренко?.. Так он же живет напротив меня. Как это я забыл!.. Спасибо, Лаля. Я сам схожу. До свиданья. Извини, что побеспокоил.

Николай Михайлович поспешно натянул плащ, быстро спустился с крыльца. И каково же было его удивление, когда возле калитки он увидел Никиту Пронина.

— Ну вот, а я за тобой! — радостно сказал Грозный. — Пошли, брат, ко мне.

Никита ничему не удивился. И молча пошел за учителем.

— Не обедал? — снимая плащ, спросил Грозный.

— Нет.

— Худо. Я обедал в столовой. Будем пить чай — с хлебом, сыром, маслом и колбасой. Тоже неплохо, верно?

И он включил электрический чайник.

— Садись.

Никита сел на табурет, сделанный школьниками. Николай Михайлович не садился. Он ходил, что означало, как давно заметили ученики, большое волнение.

— Ну, вот что, дружок. Я все знаю.

«Иначе не могло быть!» — подумал Никита, и словно гора свалилась у него с плеч. Не надо было рассказывать про мать, про ее начальника, про то, как по-хозяйски тот ввалился в их дом со своими чемоданами.

— А вот тебе письмо от папы.

Нет, он был просто добрым волшебником из сказки — этот учитель.

— От папы? — счастливо задохнулся Никита и, схватив письмо, встал и жадно принялся читать.

Отец утешал сына, как мог, и писал, что через месяц вернется. А пока, если сын захочет, может жить у бабушки, которой отец уже сообщил о случившемся.

Ты уже большой, решишь сам, с кем остаться — со мной или с матерью. Деньги на свои личные расходы возьмешь у бабушки...

Никита закончил читать письмо, и стало ему легче жить на свете.

Он не один. У него отец, который любит его. Но почему же, почему теперь, когда стало легче, он не может, как ни силится, скрыть предательских слез! Он протянул письмо учителю и закрыл руками лицо.

— Ничего, Никита, поплачь. Это горе и взрослому не по плечу. — Он обнял мальчика и, помолчав, добавил: — Советую так: до приезда папы пожить у бабушки. Подумать обо всем. Сгоряча никогда не принимай серьезных жизненных решений и обязательно держи меня в курсе своих дел. Обязательно. Договорились?

Никита смущенно ладонями вытер лицо, кивнул, соглашаясь.

— А теперь будем пить чай.

Николай Михайлович поставил на стол красивый японский сервиз: чашки из тончайшего фарфора, сахарницу, изящные тарелки.

Он подал Никите колбасу, сыр, завернутые в бумагу, и нож.

— Режь и клади на тарелки.

— Может, я не так нарежу? — засомневался Никита при виде такой красоты на столе.

— Режь как хочешь. Все равно съедим, — засмеялся Николай Михайлович.

И Никите стало так хорошо с учителем, беспокойно, конечно, потому что беда, пришедшая к нему, была не мимолетной детской

бедой, а несчастьем, которое останется с ним на всю жизнь. Как ни был юн и оптимистичен Никита, он понимал это.

Он с наслаждением ел показавшиеся ему необычайно вкусными закуски, пил совершенно необыкновенный — крепкий и ароматный — чай. И боль понемногу отступала. Ему хотелось задать учителю тот самый главный вопрос, который мучил его последнее время: о жестокости взрослых, о пошлости человеческих отношений, о невечности самого святого на земле. Зачем же тогда жить?

Но «обладатель сверхпедагогического провидения», как называли Грозного в классе, сам знал, что именно об этом теперь надо говорить с Никитой. Это было трудно. Николаю Михайловичу нередко самому тяжело жилось на свете, когда он сталкивался с пошлостью и жестокостью, хотелось даже в такие мгновения не верить тому, чему невозможно было не поверить. Ему — взрослому! Что же творилось теперь в душе подростка?! Надо было как-то укрепить в ней веру в правду, добро, создать какую-то увлекательную мечту.

— А знаешь, Никита, слушаю я твой голос и часто думаю, что твои одноклассники не зря величают тебя Левитаном. Давай-ка поразмыслим мы с тобой, не следует ли тебе в будущем и в самом деле стать диктором?

Никита изумился. Изумился и тому, что об этом вдруг заговорил учитель, и тому, что эта мысль никогда не приходила ему самому в голову.

— Ты и стихи и прозу читаешь отлично, — продолжал учитель, — следовательно, и артистический дар у тебя есть. Давай-ка поставим это под номером первым в жизненный план. А? Как ты смотришь?

— Не возьмут! Возьмут другого — безголосого, но по благу! — уныло сказал Никита и махнул рукой. — А! Ничему я не верю теперь!

— Ну, брат, уж тут ты явно перегибаешь палку. Талант всегда пробивает себе дорогу, пробивает через все препятствия. Ну вот, первый попавшийся пример: в Нижнем Новгороде Шаляпин и Горький попытались наняться в театр хористами. Горького взяли, а Шаляпина отказали за негодностью голосовых данных. Ну, как тебе известно, в итоге талант победил! Они же — эти два великих друга — пытались поступить сотрудниками в редакцию газеты. Шаляпина взяли, а Горькому отказали.

Теперь учитель перешел непосредственно к трагедии Никиты.

Отец возвратится. Никита будет жить с ним. А мама — мама может очень быстро разочароваться в своем избраннике, так часто бывает в жизни. И она не забыла сына, наверняка по-прежнему нежно и горячо любит его, но у нее тоже трудное положение: брошенный муж, сын, который ее не прощает, и влечение к другому человеку... А может быть, с отцом они всегда были разными, дале-

кими людьми и жили до поры до времени вместе только ради него — Никиты. В жизни нередко случается, что и хорошие люди сходятся по ошибке, а потом вот жизнь не склеивается. Все это так сложно, так непросто разобраться, где правда...

Но утешительные слова учителя не доходили до сердца мальчика потому, что Николай Михайлович сам не мог в них поверить до конца. Он глубоко был убежден, что такая рана не зарубцуется у подростка, не останется бесследной эта травма и в формировании его характера, и в его взглядах на мир. «Когда нет детей — играйте в любовь! — думал Грозный. — А когда есть дети — это недопустимо!» Он обвинял мать Никиты! Он обвинял ее нового мужа!

Вот почему, утешая Никиту, он чувствовал свое бессилие и возлагал надежды только на то, что время — великий исцелитель. Одно радовало Николая Михайловича — он понял, что заронил в душу мальчика мечту.

6

В доме Кедриных царила суета. Они ждали гостей. А званые вечера проводились у них с сибирским гостеприимством: стол ломился от кушаний и вин. Покупные закуски и сладости считались недопустимыми. Все готовили дома: заливные блюда, холодец, традиционные яички-мухоморы с шапочками из помидоров, салаты, пироги с рыбой, пельмени, торты и пирожные. И тут ведущая роль принадлежала Лале. Для своих пятнадцати лет она, на удивление всем, умела и любила готовить и красиво сервировать стол.

Мать, Дора Павловна, только помогала: закупала продукты, чистила и резала овощи, пропускала через мясорубку мясо, носила из кухни в столовую блюда с уложенными Лалей кушаньями.

Отец Лали, Филипп Афанасьевич, был известным художником-пейзажистом. А мать — домашней хозяйкой. Дора Павловна обожала старину и прекрасно реставрировала мебель. Она покупала никому не нужное старье и собственными руками делала из него великолепные вещи. С этой целью она выезжала в другие города и порой привозила контейнеры с рухлядью.

Их квартира блестела позолотой рам, зеркал, горок, бюро, украшенных инкрустацией. В спальне под парчовым пологом стояли широкие кровати, стену украшал старинный гобелен, изображающий Александра Невского в окружении воинов.

И лишь в комнате, где жила дочь, вся обстановка была подчеркнута простой, современной. Она не разделяла увлечения матери, даже стеснялась его.

Гости появились вечером: старый знаменитый писатель, при-

ехавший из Москвы, как он говорил, «последний раз» в родной город, и совсем молоденькая его жена, которую можно было принять за его внучку.

Дора Павловна — высокая полнеющая блондинка в ярко-желтом платье, с бриллиантами в ушах, на шее и на пальцах — встретила москвичей искренне радостными восклицаниями: она обожала принимать гостей.

— Филя! Филечка! Лаля! Встречайте!

Из гостиной торопливо вышел сияющий Филипп Афанасьевич, из кухни неторопливо появилась Лаля. И пока хозяин обнимал гостя и снимал пальто с его молодой жены, которая своими распущенными по плечам волосами и скромным коричневым платьем с белым воротничком напоминала десятиклассницу, Дора Павловна взглянула на дочь и мысленно ужаснулась: Лаля стояла непричесанная, в черных старых брюках и домашней белой кофте, полнившей ее. В чем готовила ужин, в том и вышла, только фартук сняла.

— Наша дочь Евлалия, — с гордостью сказал Филипп Афанасьевич, как всегда, не замечая, во что одета и как причесана Лаля.

Все прошли в гостиную, а Лаля вернулась на кухню. Она знала, что сейчас начнутся шумные восторги по поводу позолоты, инкрустаций, gobelena и ковров. Потом отец посадит гостей на шелковую оттоманку с золочеными амурами и будет ставить на мольберт одну за другой свои картины, изображающие поля, леса, горы, которые он словно бы просто сфотографировал, не тратя на это ни души, ни нервов. Доподлинное копирование предмета на холсте Лаля не считала искусством. А гости будут восторгаться работами отца, даже если думают так же, как она. Он же хозяин! Невежливо было бы критиковать его.

За столом разгорячившийся от коньяка старый писатель провозгласил тост за молодое поколение. Его жена приложилась к краю рюмки очаровательным ротиком. Лаля от души хлебнула и закашлялась, прикрываясь ладошкой. Дора Павловна испуганно покосилась на гостей. Лаля заметила ее взгляд, и ей вдруг захотелось причинить матери неприятность. Она приподнялась, потянулась к середине стола и, пальцами прихватив соленый груздь, не садясь, затолкала его в рот.

Отец, который никогда не замечал того, что не имело отношения к живописи, сказал, кивая на Лалю:

— Увлеклась историей родного города. В архивах разыскивает все, что касается миллионера Саратовкина...

— Саратовкина? Это прелюбопытнейшая фигура. Знавал я его сына, — сказал писатель.

— Николая Михайловича? — изумленно спросила Лаля и, перестав жевать, уставилась на гостя.

— Вот имени не помню. Он был учителем. Какой предмет преподавал, не помню. Но слухи по городу ходили о его педагогическом даре. Он и в советской школе работал. А отец его — Михаил Саратовкин — в историю родного города вошел как удивительный самодур. Саратовкин содержал приюты.

— А какой был Саратовкин-сын? Вы не помните его? — волнуясь, спросила Лаля.

— Помню. Очень хорошо помню. Только уже стариком. Седой. Высокий. Прямой очень. С тростью. Взгляд спокойный, мудрый. Ходили слухи, что он не родной сын Саратовкина. Так ли это — не знаю.

— Не родной сын?

Лале так хотелось сейчас же по телефону сообщить обо всем этом Николаю Михайловичу, Семену и лучшей своей подруге Наташке! Но это было невозможно. Телефон стоял рядом, на позолоченном столике, до смешного нарушая стиль XVIII века.

Но в двенадцать часов ночи она все же позвонила Грозному.

Николай Михайлович правой рукой продолжал писать, а левой взял трубку.

— Ой, Николай Михайлович! — тихо сказала Лаля. — Ой!

— Ну что — ой да ой! — отозвался Николай Михайлович. — Да что ты шепчешь? Погромче!

— Ой! Я так волнуюсь... Все спят, громче нельзя. Не могу сообразить, с чего начинать. Все о Саратовкине...

— Начинай с самого начала.

— Ну вот, он знал его лично...

— Кто? Кого? — в волнении бросая на стол карандаш и предчувствуя интересную новость, спросил Николай Михайлович.

Лаля наконец овладела собой и передала учителю рассказ московского гостя.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного

ПОДКИДЫШ

Город N, имевший населения 60 000 душ, считался большим городом Сибири и был губернским. Раскинулся он по низкому берегу полноводной реки, а на другом берегу ее он взобрался на гору, разбросался на несколько верст деревянными домишками, словно разбежались они в разные стороны, да так и остановились, окружившись огородами, садами и палисадниками.

В центре города — белый каменный дом генерал-губернатора. Самый большой дом. А за углом, в переулке, еще один большой

дом, правда, поменьше губернаторского, сложенный из красного кирпича. Крыша его остроконечная, узкие, длинные окна высоко подняты над деревянными в две плахи тротуарами.

Можно было бы и не поминать этого кирпичного дома в переулке, если бы речь не шла как раз о хозяине его — Михайле Ивановиче Саратовкине и о случае, происшедшем здесь, имеющем прямое отношение к этому повествованию.

Богатством Саратовкин славился на всю Сибирь. Был он владельцем золотых приисков, заводов, фабрик и мастерских, раскиданных по разным городам.

И самодурством своим Саратовкин славился так же широко, как и богатством.

На высоком, узком крыльце мрачного дома Саратовкиных были чугунные перила, украшенные замысловатым орнаментом, и дверь, обитая железом. Тут же, на цепи, висел молоток. А с краю крыльца было прикреплено деревянное корытце.

Люди, жившие даже в других губерниях Сибири, знали: в этот дом подбрасывают незаконнорожденных детей, да и тех, которых по бедности или другим обстоятельствам родители воспитывать не в состоянии.

По правилам, выдуманным хозяином, ночью ребенка нужно было положить в корытце, ударить молотком в железную дверь и бежать. Дверь тотчас же открывалась, выскакивал служитель и гнался за тем, кто принес ребенка. Если догнать не удавалось, ребенка брали на воспитание в Саратовкинский сиротский дом, находящийся в этом же городе. А если погоня завершалась успехом, тот, кто подбрасывал младенца, отвечал по закону.

Сотни детей воспитывались в сиротском доме Михайла Ивановича Саратовкина. Девочек обучали швейному делу, мальчиков — слесарному, токарному, столярному. Это были дешевые рабочие руки. А Саратовкин, жестоко эксплуатировавший своих юных воспитанников, слыл человеком большого сердца.

Был конец осени. Дожди перемежались со снегом. В нудносерой пелене пряталось солнце. В садах и палисадниках ветер раскачивал голые ветки черемух и диких яблонь, выл в трубах русских печей, нагоняя суеверный страх, хлопал ставнями окон нерадивых хозяев.

Михайло Иванович Саратовкин в шелковом халате и в домашних туфлях сумерничал у камина, сидя в удобном кресле. Возле кресла — круглый столик. На нем массивные счеты, бумага, остроотточенные карандаши. Но все не тронуто. Хозяин как зачарованный смотрел в огонь и, может быть, ни о чем не думал. Огонь с древних времен имеет для человека чарующую притягательную силу.

Скрипнула дверь, и в комнату вошла Анастасия Никитична, жена Саратовкина. Михайло Иванович повернул голову, спроси-

тельно и неприветливо взглянул на маленькую женщину, робостью, остреньким носом и удлинненным затылком напоминающую птицу. Была она в зеленом платье, в белой кружевной накидке и в поскрипывающих, видно новых, ботинках.

— Михайло Иванович! — приближаясь к мужу, сказала она негромко. — Мальчишку подкинули...

Саратовкин фыркнул, удивленно поднял плечи, развел руками:

— Каждый день подбрасывают!

— Мальчишке годика четыре, смысленый, страсть, — продолжала Анастасия Никитична. — Не ночью, засветло, веревкой, как щенка, к перильцам прикрутили, видно, чтобы не убег. Народ собрался, стали молотком в дверь стучать. Фомка выбежал — глядит, такое дело...

Саратовкин слушал уже с интересом. Подобного еще не случалось.

— А ну, приведи мальчишку, — сказал он, вместе с креслом поворачиваясь спиной к камину.

Анастасия Никитична проворно вышла, прошумев накрахмаленными юбками.

Вскоре дверь открылась, и первым вошел мальчик в чистых холщовых штанишках, в красной, навывпуск, рубашонке. За ним появилась Анастасия Никитична. Она подтолкнула остановившегося было мальчугана вперед. Тот сделал несколько шагов и снова остановился, недоумевая, чего хочет от него эта женщина.

Мальчик держался смело. С любопытством оглядел комнату, и взгляд его больших, ласковых глаз остановился на Михайле Ивановиче.

Ребенок вдруг улыбнулся, хорошенькое личико его загорелось, стало еще краше, и с возгласом: «Дяденька!», протянув ручонки, побежал к креслу, обнял изумленного Саратовкина, прижался к нему светлой, кудрявой головенкой.

В одну минуту малыш растревожил затихшие с годами воспоминания об умершем сыне. Саратовкин положил руку на детскую голову и решил, как всегда, мгновенно и неожиданно:

— Ну что же, Настасья Никитична, быть ему нашим сыном.

— Да как же так?! — изумленно всплеснула руками Анастасия Никитична. — Не знаем — чей он, откуда?

Но прекословить мужу она не смела. Да и ребенок ей тоже пришелся по душе с первого взгляда.

— Как зовут-то тебя, ты знаешь? — спросил Саратовкин, когда мальчик оторвался от него.

— Знаю, Николашка.

— А где же мамка, тятка где?

— Там. — Не задумываясь, мальчик показал на окно.

— Кто же тебя, сердешный, к перильцам-то прикрутил? — спросила Анастасия Никитична.

Мальчик молчал.

— А фамилию свою знаешь? — спросил Михайло Иванович.

Мальчик не понял.

Так нежданно-негаданно изменилась судьба человека. Михайло Саратовкин мальчика усыновил. И однажды, под изрядным хмельком, сделал он приемного сына наследником своего состояния.

Возможно, одумался бы купец, изменил бы завещание, но времени на это ему не было отпущено. Ночью он возвращался из купеческого клуба на лихой тройке. Как всегда, правил сам. Лошади испугались чего-то, понесли, и на повороте Саратовкин вывалился из коляски, размозжив голову об угол дома.

А бедняк-подкидыш превратился в миллионера.

Мысленно представляя свое детство, Николай Михайлович всегда задерживался на одном воспоминании, пожалуй, самом ярком и значительном.

Стоял июль. С утра на безоблачное небо выходило солнце, и не грело оно, а жгло землю. Так безжалостно жгло, что старые люди не помнили подобного зноя. Выгорели посевы и травы. В городах пустовали базары и постоялые дворы. Мелкие торговцы закрывали свои лавчонки. Улицы обезлюдели. Горожане прятались по домам, а те, что побогаче, сидели в своих загородных владениях.

Собралась и Анастасия Никитична с сыном ехать в горы, на саратовкинские золотые прииски, расположенные в ста верстах от города.

После смерти мужа дела по управлению приисками, заводами и сиротскими домами — совершенно недоступные ее пониманию — она поручила брату, человеку честному, старательному, но тоже неспособному к ведению дел такого масштаба. И саратовкинские миллионы таяли, подобно снегу в теплый весенний день.

За пять лет, истекшие со дня смерти мужа, перешел к другому владельцу самый крупный винокуренный завод, в двух городах закрылись фабрики. Дела на золотых приисках шли из рук вон плохо. «Скорей бы сын подрастал», — с надеждой думала Анастасия Никитична.

А мальчику еще расти да расти. Не занимали его ни саратовкинские капиталы, ни дела, к которым пытался вызвать у ребенка интерес Митрофан Никитич. Больше всего увлекали Николушку книжки да сказки, которые рассказывала ему нянюшка Феклуша. Нянюшка Феклуша теперь была прачкой при господском доме, а Николушку воспитывала гувернантка — француженка.

В большом доме суета. У ворот — возок, накрытый брезентом, перетянутый веревками. У крыльца — карета, в которую запряжена тройка. Застоявшийся породистый коренник, под нарядной

дугой, нетерпеливо раздувал ноздри, косил горячим глазом. Гнедые пристяжные от укусов паутов беспокойно вздрагивали боками, тяжело раскачивали подвязанными хвостами.

Совсем было собрались ехать на прииск, да хозяйке сообщили, что занедужил Митрофан Никитич, надо проведать его. И отъезд отложили на завтра.

Анастасия Никитична спустилась с крыльца, одной рукой поддерживая волочившуюся по ступенькам оборчатую юбку, другой закинула за плечо ленту от широкой соломенной шляпы.

Влезла в карету, отерла пот с лица кружевным платочком и сказала кучеру:

— С богом!

Тройка рванулась было, но кучер, стоя, сдержал коней. Вожжи натянулись как струны. После несчастья с Михайлом Ивановичем Анастасия Никитична стала бояться быстрой езды.

Николушка был счастлив. Он знал, что, несмотря на приказ матери в ее отсутствие ни на минуту не покидать барича, Жанна Жановна, как обычно, поручит его заботам прачки, а сама исчезнет из дома.

Феклуша тоже радовалась возможности побыть с Николушкой. Они садились в тенок на скамейку, и Феклуша рассказывала ему новую сказку.

— Ну, слушай, касатик,— говорила она мягким, глуховатым голосом, ласково касаясь рукой волос и плеча мальчика. Феклуша позволяла себе эту ласку, когда они оставались вдвоем. Ведь она, бывшая нянюшка, еще недавно кормила его, учила первым житейским мудростям, горевала по ночам у его постельки во время частых болезней. Всю неистраченную любовь бездетной женщины она перенесла на него.

— Слушай, касатик, сказку про золотой камушек.

Няня Феклуша морщит белый открытый лоб, над которым блестят пышные волосы цвета спелой ржи, по-девичьи повязанные назад голубым полинялым платком, который всегда норовит сползти на плечи. Феклуша то и дело закидывает за голову полные, обнаженные до локтя руки и подтягивает концы платочка.

Некоторое время она молча смотрит вдаль светло-кариими глазами, и выражение ее лица меняется. Но вот брови высоко поднимаются, лицо загорается улыбкой. Она говорит, говорит быстро своим мягким, глуховатым голосом, часто вскакивает, изображая героев сказки. Иногда запекает, щелкая пальцами и притопывая полными ногами, обутыми в смешные широкие чирки.

Николушка сидит и слушает открыв рот, не шелохнется, не чувствует даже, как нещадно палит солнце, не замечает, какая тишина стоит в обычно шумном дворе. Все живое попряталось от зноя.

Но вдруг где-то далеко тишину пререзают крики, шум, непо-

нятный звон. Шум становится все ближе, все явственней. И вот уже четко слышится набат на пожарной каланче.

Феклуша прерывает сказку, прислушивается.

— Пожар где-то! О господи!

Она крестится, вздыхает, и снова лицо ее освещается улыбкой, и она продолжает сказку. Но ненадолго.

Надрывно гудит над городом набат. Дальний шум, точно морская волна накатывает на берега, все ближе, ближе. Феклуша замолкает. А Николушка весело показывает на небо.

— Дым!

Давно уже нет той звенящей тишины во дворе. Взволнованные люди лезут на заборы, на крышу, чтобы рассмотреть — где горит.

И вдруг легкий ветерок, с утра поднимающий пыль на дорогах, переходит в горячий порыв ветра. В воздух взлетают листья, обрывки бумаг и тряпок. К набату присоединяется вой ветра.

Феклуша с Николушкой выбегают за ворота. Улица полна людей. У домов встревоженные, шумные толпы. Ветер так силен, что дважды валит мальчика с ног. Тот хохочет. От необычной жуткой обстановки ему спокойно и весело.

— Горит набережная! — взволнованно передают горожане друг другу. — Домишки, как порох, вспыхивают! Что ни минута — новый дом занимается!

— Николашка! Николашка! — кричит ему в ухо гимназист-одноклассник, рыжий Васятка Второв. — Бежим на пожар?!

Николушка оглядывается. У нянюшки Феклуши ветер сорвал с головы платок, и он голубеет высоко в ветвях тополя. Волосы Феклуши разлохмачены. Наклонившись, она старается прижать к коленям рвущийся подол.

Мальчишки ныряют в толпу и весело бегут по улице, мощенной крупным круглым булыжником. Всюду старые деревянные дома, иссушенные зноем. Как им не вспыхнуть!

Незабываемо страшным было зрелище этого пожара, за один день испепелившего треть деревянного города.

В переулке, по которому пробирались мальчишки, внимание их привлекла странная схватка. Два гимназиста остановили в воротах лошадь, вывозящую домашний скарб. На узлах сидели лавочник и его жена. Лавочник вожами стегал лошадь, заставляя вырваться из цепких рук гимназистов, схвативших ее за узду.

К воротам подбежал мужчина в чесучовом порванном и запачканном костюме, мальчишки узнали в нем учителя гимназии Василия Мартыновича Завьялова.

Лавочник перестал стегать лошадь и закричал учителю:

— Гумагу давай! От начальства! В гумаге прописано будет — дам лошадь!

— Ты пойми, Пахом Егорыч, — убеждал его учитель, — коли мы друг другу помогать не будем — весь город сгорит. Твой-то

дом тоже сгорит, пойми это! Снимай пожитки, ставь вместо них бочки.

Видимо, фраза учителя: «Твой-то дом тоже сгорит» — образумила лавочника. Всего ведь не увезешь!

— А бумаги у меня нет,— продолжал учитель,— город в огне, все растерялись, какие тут бумаги! Сам своих гимназистов сговорил...

— Ладно уж,— поразмыслив, согласился лавочник.— Надежда, слазь!

Женщина покорно слезла с телеги. А лавочник, гимназисты и учитель молча начали таскать обратно в дом узлы, корзины, баулы.

Огонь бесновался. Подхлестнутый ветром, он совершал свое страшное, уничтожающее шествие по городу, иссушенному зноем. Он шагал с крыши на крышу, перекидывался со стены на стену, оставляя после себя черные, обугленные останки, пепел, отчаяние.

На центральной улице плавился огромный колокол, упавший с горящей деревянной церкви в самое пекло пожара.

Мальчишки пробрались к набережной. Но дальше двигаться было невозможно. Здесь улицы еле вмещали красные пожарные телеги с большими бочками, телеги горожан с ушатами и прокопченными кадками, вытащенными из домашних бань. Мужчины, женщины, старики, дети таскали ведрами воду из колодцев.

А если бы подняться в темное от пожара небо, можно было бы увидеть, как в это время по тракту уходили из города кареты, коляски, повозки...

— Николашка, смотри, окна бьют! — весело кричал Второв, показывая на дом, к которому подбиралось пламя.

Хозяева дома выкидывали в выбитые окна перины, подушки, одежду, мебель. Толпа смыкалась возле этого дома. Потом дом охватывало пламя. Он горел. Сгорал и весь домашний скарб, выкинутый из окон. И толпа передвигалась к следующему дому.

Николушка поднимался на носки, чтобы лучше видеть. Но впереди была толпа. Позади — испуганная морда коня, впряженного в легкую таратайку с пустым ушатом.

— Васятка, смотри, кошка! — с ужасом крикнул Николушка, увидев огненный клубок, метнувшийся в толпу.

Испуганный конь рванулся, поднялся на дыбы и с громким ржанием опустил копыта на мальчика, подминая его под себя.

Окровавленного, бесчувственного Николушку принесли домой.

Сбежалась вся людская. Кто-то распорядился послать за лекарем.

Мальчик не видел иссиня-белого лица нянюшки Феклуши, обезумевших ее глаз, не слышал хриплого, отчаянного крика:

— Сыночек мой! Кровинушка моя!

Присутствующие опускали глаза, старались не глядеть на стоявшую тут же барыню.

Поправился Николушка скоро. А нянюшки Феклуши в барском доме с тех пор не стало.

— Где нянюшка Феклуша? — спросил Николушка у стряпухи, появляясь в людской сразу же, как только лекарь позволил ему встать.

— Уехала твоя нянюшка.

— А когда приедет?

Рыхлая стряпуха, в белом платке, в белом фартуке, значительно поглядела на мальчика и ответила:

— Барыню спроси. Она лучше знает.

— Маманя, когда приедет нянюшка Феклуша? — спросил Николушка у матери.

— Она навсегда уехала.

— Навсегда? — Слезы покатались из глаз мальчика. — Я не хочу, чтобы навсегда. Мне надо нянюшку Феклушу!

Он схватил мать за оборку рукава и с отчаянием и злостью начал рвать ее.

Николушка чутьем угадывал нелюбовь матери к Феклуше, догадывался, что именно она отослала няню из дома.

Это было первое горе Николушки. Сколько слез пролил он в тишине своей спальни, перед сном вспоминая ласковую нянюшку, ее увлекательные сказки.

Еще через два года произошло одно знаменательное событие.

Николушка вернулся из гимназии. Матери не было дома. Он сел в столовой у камина, отогревая застывшие руки.

В комнату со связкой мелко наколотых дров вошел дворник Терентьич. Осторожно опустив дрова на пол, Терентьич снял облезшую меховую шапку, поздоровался с Николушкой, присел возле него на скамеечку, на которую Анастасия Никитична ставила ноги.

— Ну как, Николай Михайлович, забыл уж, поди, нянюшку Феклушу? — спросил старик, поглядывая на мальчика.

— Помню, — улыбнулся Николушка, и стало ему хорошо и чуть тоскливо. — А ты не знаешь, Терентьич, где она?

— То барыне одной ведомо. У нее спроси, — ответил Терентьич, поглядывая на мальчика быстрыми, молодыми глазами. Был старик не по возрасту энергичен, с сильным голосом. — А сказки ее помнишь?

— Помню. — И мальчик опять грустно улыбнулся.

— Желаешь, я расскажу?

— Расскажи, Терентьич, — обрадовался Николушка.

— Так вот слушай... В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый-пребогатый купец. Был у него большой

дом. А на крыльце стояло корытце для подкидышей. Сиротский дом купец тот содержал...

— Как мой покойный батюшка,— сказал Николушка.

— Верно. Совсем как твой покойный батюшка. Но этого купца бог детушками не наградил. Вдвоем с женой век коротали. Вот как-то раз подкинули барину ребеночка. Мальчик большой был. Прикрутили его ремешком к перильцам крыльца. Купцу мальчонка приглянулся. Взял он его в сыновья. Отписал на него все свои капиталы. А конюх своему приказал город изъездить вдоль и поперек, найти родителей мальчика да изгнать их за тридевять земель, в тридесятое царство, а то и совсем загубить. Но конюх тот давно уже все знал. Отец-то мальчонки кузнец Василь помер, когда сын еще не родился. Мать с ребенком на руках никто на работу не брал. Вот тогда-то и пораскинул конюх умом, присоветовал ей сына купцу подбросить, обнадежил, что потом, дескать, пристроит ее в услужение в тот сиротский дом, где сынок жить будет. Хитрый этот конюх барину сказал, что изъездил город вдоль и поперек и никаких следов родителей мальчика не обнаружил. И присоветовал в няньки взять вдову кузнеца, молодую да работающую. Вот так и рос сын на руках родной матери, и никто про это ничего не знал. Мальчик няньку как мать почитал, она же в нем души не чаяла...

Слушал Николушка странную сказку Терентьича, и как-то беспокойно, не по себе ему становилось.

— Но шила в мешке не утаишь,— продолжал Терентьич.— Узнала барыня, что нянька подкидышу матерью доводится, и отправила ее за тридевять земель...

Они не заметили, как в дверях, хмурая, словно грозовая туча, появилась Анастасия Никитична.

— Ну, отоврался, старый хрыч?! — зашипела она, задыхаясь.— Расселся и врет ребенку! Чтобы ноги твоей больше в доме не было! За расчетом к управляющему зайдешь! Сядни же!

— Уйду, барыня, теперича уже наверняка уйду. Раньше не мог — совесть не позволяла, дожидался, когда сыночек твой подрастет. А теперича божье дело сделано.

Он надел шапку. В дверях обернулся, сказал:

— А ты, Николай Михайлыч, над сказкой-то поразмысли. Не маленький.

И ушел.

С того дня беспокойство овладело Николушкой.

Как-то утром, причесываясь перед зеркалом, он представил себе нянюшку Феклушу. Была она в белой кофте, в пестрой юбке. На босу ногу — маленькие смешные чирки. Сползающий голубой платок еле прикрывает пушистые светлые волосы. Стояла Феклуша, как обычно, сложив на животе большие рабочие руки, обернутые в закатанный передник. Приветливая, гру-

стная улыбка на миловидном румянном лице. На лбу и над верхней губой выступили бисеринки пота.

Николушка улыбнулся и вдруг заметил в зеркале, что улыбается точно так же, как нянюшка Феклуша.

Ему вспомнилась фраза из сказки Терентьича: «Вот так и рос сын на руках у родной матери, и никто про это ничего не знал». Вспомнились и последние слова Терентьича: «А ты, Николай Михайлыч, над сказкой-то поразмысли».

Догадка мелькнула в голове мальчика: что, если сказка эта о нем, Николушке Саратовкине, и нянюшке Феклуше. Но сейчас же родилось сомнение: он-то родной сын Саратовкиных. Он-то не подкидыш! И опять подумал: а может быть, его подкинули в сиротский дом? И ему начинало казаться, что он смутно припоминает, как стоял привязанный к перилам крыльца, а возле дома собирались люди.

Николушка совсем извелся, похудел, по ночам просыпался, кричал. «Надо узнать. Надо непременно узнать все», — думал он.

Спросить мать он боялся, да и был уверен, что она не скажет правды. Но кого же тогда спросить?

Он вспомнил, как Анастасия Никитична говорила, что стряпуха Агафья живет в услужении у них с молодых лет, и решил поговорить с ней.

Несколько дней подряд он приходил то в людскую, то на кухню в надежде застать Агафью одну. Но на кухне около нее всегда суежилась девчонка Парашка, чистила картошку, резала лук, мыла посуду, а в людской было слишком много народу.

Сметливая Агафья поняла, что Николушка хочет поговорить с ней. Да и о чем, догадывалась.

Как-то вечером из окна кухни увидела она на улице Николушку, тот собрался кататься с горы, шел через двор в меховой борчатке, подвязанной красным кушаком, в шапке-ушанке, тащил за веревку санки.

Набросила Агафья на голову шаль, вышла в сени, поманила мальчика.

— Гляжу, чего-то узнать от меня желаешь? — спросила она.

Тот растерялся от неожиданности, покраснел, помотал головой.

— Нет... Я ничего...

— То-то же, — улыбнулась Агафья. — А то ведь я все знаю.

Тогда он осмелился, чуть слышно спросил:

— Тетя Агаша, а было так, что в сиротский дом мальчика подбросили и к перильцам прикрутили?

— Было, Николай Михайлович, было. Грех скрывать, — поспешно ответила Агафья и размашисто перекрестилась...

Мальчик побледнел. Только одно еще нужно было ему спросить у Агафьи: «Это был я?» Но для этого сил у него не на-

шлось. Он повернулся и пошел, волоча за собой санки, перевернутые вверх полозьями. Пошел со двора на улицу, к реке, наверное и сам не понимая, куда он идет и зачем.

Теперь для Николушки стало главным — узнать, куда отправили нянюшку Феклушу. Нужно найти ее, увидеть. А что будет потом, Николушка не представлял себе.

Он вдруг возненавидел Анастасию Никитичну, к которой никогда не испытывал сыновней привязанности. Перестал называть ее матерью.

Однажды еще раз попытался спросить ее о нянюшке Феклуше.

Было это в христово воскресенье — первый день пасхи. Погода стояла праздничная. Солнце улыбалось. Небо голубело. Ветерок ласково гладил лица. Казалось, всем было хорошо в этот день.

Анастасия Никитична с сыном только что возвратилась из церкви. Они пришли пешком. В белой накрахмаленной салфетке Николушка нес освященный в церкви кулич.

К хозяйке подошел новый дворник Никифор.

— Христос воскрес! — сказал он.

— Воистине воскрес! — ответила Анастасия Никитична, и они трижды поцеловались.

Похристосовалась барыня и с Агашей, а затем вместе с Николушкой поднялась на высокое крыльцо и, оглянувшись, увидела, как во двор вошла старуха нищенка и Агаша вынесла ей пирожок. Кланяясь и крестясь, старуха вышла за ворота.

— Агаша! — позвала стряпуху барыня. — Ты нищей подала пирог господский или людской?

— Господский, барыня.

— Поменяй! Возьми людской пирог, догони ее и поменяй. И впредь господских пирогов не раздавай.

— Слушаюсь, барыня. — Агаша поклонилась.

Но Николушка заметил злой блеск ее глаз да насмешливую улыбку. Ему стало стыдно за Анастасию Никитичну перед нищей, перед тетей Агашей, перед всей прислугой. Раздражение придало мальчику смелость.

— А где живет теперь нянюшка Феклуша? — неожиданно спросил он Анастасию Никитичну.

— Ты кого спрашиваешь? — Она резко повернулась к сыну.

— Я вас спрашиваю.

— А я тебе кто? Кто тебе я?

Николушка не ответил и настойчиво повторил:

— Где живет теперь нянюшка Феклуша?

— Не знаю, где. Не занимает меня, где бабы живут, которые у меня расчет получили. И тебе интересоваться не след. Ты барин.

В тот же день она пожаловалась брату:

— Кровь-то не подменишь: так и тянет его в людскую. Говорила я Михайлу Иванычу — не резон неизвестное дитя усыновлять. Да разве его можно было сговорить? О Фекле Николка страсть как печется. Мне сдается: все он знает. Услужили, поди, в людской — рассказали ребенку. Что делать-то, Митрофанушка, ума не приложу.

Митрофан Никитич спокойно слушал сестру, сидя в глубоком кресле, даже казалось, что и не слушал ее вовсе, а думал о чем-то своем. Изредка только отвлекался от своих мыслей, схватывая, о чем говорит сестра.

Он потянулся, зевнул, щелкнув челюстями, затрещал сцепленными пальцами рук, сказал:

— Ничего делать не надо. Бог сам разберется. Какой путь наметил Николушке, таким он и будет.

Серdito блеснув глазами, Анастасия Никитична ответила:

— Бог-то бог, да сам не будь плох. Свою голову на плечах иметь надоть. Ты на бога положился с пивоваренным заводом — завод-то и лопнул. На бога положился с пимокатной фабрикой — разорил ее.

— Но-но, не богохульствуй, Настасьюшка! Видно, так богу угодно было!

Митрофан Никитич встал, подошел к иконе божьей матери в богатой золоченой раме, с теплящейся лампадой.

— Спаси и сохрани, заступница, сестру Настасьюшку, — говорил он, обращаясь к иконе, — ибо не ведает сама того, что говорят уста ее.

Он истово крестился, кланялся в пояс.

Анастасия Никитична тоже перекрестилась, прошептала молитву, а затем, махнув рукой, вышла из комнаты.

Николушка понимал, что один он не найдет нянюшку Феклушу. Надо кому-то рассказать обо всем, с кем-то посоветоваться.

В гимназии с ним за одной партой сидел Васятка Второв.

Вот и поведал Николушка товарищу свою грустную историю, предварительно заставив его положить руку на дядюшкино Евангелие и поклясться в том, что будет молчать как могила.

Клялся Васятка с азартом. И с таким же азартом придумывал выходы из создавшегося положения — один романтичнее другого, и все наивные, ребяческие, в жизни непригодные. А потом Васятка охладел к Николушкиной тайне, забыл ее. Но однажды вспомнил.

Из-за какого-то пустяка друзья поссорились и подрались при всем классе. И в тот момент, когда под восторженный вой мальчишек Николушка сел верхом на побежденного и тузил его кулаками, Васятка приподнялся и злобно крикнул:

— Подкидыш!

Руки у Николушки опустились. Он вскочил, побледнел. Первая мысль, которая пришла ему в голову в этот момент, была о том, что Васятка нарушил клятву, и сейчас разверзнется земля, и клятвонарушитель провалится в тартарары. Но земля не разверзлась.

Васятка, торжествуя, вскочил и продолжал кричать:

— Подкидыш! Его к перилам крыльца прикрутили! А Саратовкин его усыновил! Он сын няньки!

Второв увидел ставшее серым лицо Николушки, огромные глаза с застывшим в них страхом и изумлением, его бледные прыгающие губы. И еще он увидел в дверях учителя и по тому особому наклону головы, хорошо знакомому всем ученикам, по трепету ноздрей мгновенно понял, что Василия Мартыновича охватил неудержимый гнев.

И все ребята заметили это. В классе стало тихо.

— По местам! — негромко сказал учитель.

Мальчики бросились к своим партам. Только Николушка недвижимо стоял посреди класса.

— Второв! — грозно сказал Василий Мартынович.

И когда тот остановился у доски, маленький, жалкий от совершенной подлости, учитель спросил:

— Откуда тебе известно, что твой товарищ Николай был подкинут Саратовкину? И даже известно, что его привязали к перилам крыльца?

— Он сам мне говорил! — запальчиво воскликнул Второв, желая оправдаться перед учителем и товарищами.

— Значит, твой друг доверил тебе тайну и ты ее выдал? Как назвать такой поступок? — обратился он к гимназистам.

Класс зашумел.

— Предательством! — равнодушно сказал толстый мальчик, сидящий у окна.

— Подлостью! — горячо крикнул кто-то с последней парты.

— Он... он клялся... — почти прошептал Николушка.

— Что? Повтори громче, — сказал Василий Мартынович.

— Он клялся на Евангелии, что будет молчать, — повторил Николушка.

В классе снова поднялся невообразимый шум.

— Тихо! — властно сказал учитель, сопроводив свое «тихо» уверенным жестом. — Итак, первое: мы определяем поступок Второва как подлость, предательство, клятвонарушение. Так?

— Так! — зашумели гимназисты. — Бойкот ему!.. Темную!

— Ну зачем темную? Кулаками человека честнее не делаешь, — возразил учитель.

Он прошелся по классу, заложив за спину руки, постоял в раздумье у окна. Потом повернулся и сказал спокойно и уверенно:

— Второе. Я сообщаю вам, моим ученикам, что Николай Саратовкин — родной сын Михайла Ивановича Саратовкина. А подкидышем был первый сын, который умер восьми лет. Ясно? А теперь — тишина. Начнем урок.

Давно уже не испытывал Николушка такого блаженного покоя, охватившего его тут же, на уроке, в гимназии.

Значит, он ошибался. Ошибался Терентьич. А стряпуха Агаша, вероятно, имела в виду старшего приемного сына Саратовкиных. Николушка просто не дослушал ее тогда, убежал.

Он пришел домой из гимназии радостный, возбужденный. Старая дворняжка, бросившаяся навстречу, показалась ему красивее всех породистых собак, которых он встречал на своем веку. Он и не замечал раньше, какой уютной и солнечной была столовая в старом доме. А мать? За что он не любил ее? Она всегда была с ним справедливой и доброй.

Анастасия Никитична, по обыкновению ничего не делая, сидела у окна, смотрела на улицу, отмечая про себя, что мимо прошла соседка в новом платье, прогромыхала по каменной мостовой пустая телега, мягко прокатилась коляска с красивой, нарядной барыней, похожей на царицу Екатерину II.

И вдруг наблюдения Анастасии Никитичны прервал радостный, приветливый голос сына:

— Здравствуйте, маманя!

От этого обращения у нее забилося сердце. Хоть и не родной сын, а привыкла к нему. Да и ее будущее в руках этого мальчика — наследника саратовкинских миллионов. Ей-то старый самодур ничего не оставил.

Ужинали втроем: Митрофан Никитич, мать и Николушка. Дядя рассказывал о делах. Анастасия Никитична слушала с напряжением, но мало что понимала. А мальчик думал о своем.

Этот день в его еще такой недлинной жизни был незабываемым. Он понял, какие вокруг разные люди. Друг оказался предателем, а учитель, которого он всегда побаивался, стал другом.

Образ учителя весь день стоял в глазах Николушки. Он слышал его спокойный, властный голос. Он видел его располагающее лицо, обрамленное светлыми бакенбардами и бородкой, его пристальные, немного колющие, светлые глаза.

— Ты не слушаешь меня, Николаша? — прервав свой рассказ, спросил Митрофан Никитич.

— Слушаю, — краснея, сказал Николушка.

— Слушай, слушай. Учись у дядюшки, — посоветовала Анастасия Никитична, шумно потягивая из блюда густой, ароматный чай с молоком. — Подрастешь — сам за хозяйство возьмешься.

— Привыкать надобно, — вторил ей братец.

— Не возьмусь,— вдруг сказал Николушка.— Я учителем буду. Сильнее учителя никого на свете нет. Учитель все может!

И он представил себе Василия Мартыновича на пожаре, когда тот собрал учеников и они не разбежались, не поддались панике, охватившей горожан. Николушка помнил, как послушно слез с воза лавочник — этот драчун, пьянчуга и скандалист.

А сегодня... Если бы не учитель, кличка «Подкидыш» навсегда укрепилась бы за Саратовкиным. А он взял мальчика под свою защиту и двумя словами разубедил учеников и Васятку из героя превратил в предателя.

— Да ты что, парень, белены объелся?! — воскликнула Анастасия Никитична. Она проворно поставила расписное блюдо на белую скатерть и всплеснула руками.

— Кто же в учителя идет при таких капиталах?! — засмеялся Митрофан Никитич.— В учителя голодранцы идут, кому жрать нечего.

Однако, окончив гимназию, Николай Саратовкин, к ужасу домочадцев и к изумлению горожан, «пошел» все же в «учителя».

Он собирался было уехать учиться в Петербург, но поступил на учительские курсы, только что открывшиеся в родном городе.

7

Ее все звали Наташкой-Коврижкой. Даже учителя между собой. Но не только потому, что фамилия девочки была Ковригина. Весь облик Наташи уж очень соответствовал этому прозвищу. Круглолицая, с большими серыми глазами, удивленно поднятыми подковками бровей, с ямочками на аппетитных, румяных щеках, вся она была по-здоровому сильная и крепкая: и ноги, и плечи, и даже голос. Наташка-Коврижка, да и только!

С первого класса она дружила с Лалей Кедринной. Ребята считали эту дружбу настоящей, и многие даже завидовали ей.

Дружба действительно была настоящей. Прошлым летом Лаля предпочла поездку в пионерский лагерь с Наташкой отдыху с родителями на берегу Черного моря. А Наташка однажды перед всей школой приняла на себя вину подруги, за которую вызывали ее на педсовет, разбирали на комсомольском собрании и грозились исключить из школы.

Дело было в том, что художественный кружок школы много лет потратил на сбор подлинных работ местных художников. И вот уже два года центральное место на стене класса, где занимался кружок, было отдано картине «Славное море — священный Байкал» Филиппа Кедрина, подаренной им школе.

Это было метровое полотно, натянутое на подрамник. Тяже-

лую золоченую раму Дора Павловна сняла, перед тем как вручить картину школьникам. «И так перешло...» — сказала она недовольно.

На картине было изображено беспредельное «Славное море», в сероватых сумеречных тонах, спокойно сливающееся с горизонтом. Только справа, сквозь туман, просвечивали гряды гор, вершины которых покрывал снег.

Два года висела картина в школе. Но вот случилось так, что Филиппу Кедрину предложили поместить в областной музей несколько своих работ. И выбор его пал на «Славное море». Он сказал об этом дочери. Та возмутилась, заявила, что картина эта теперь собственность школы и брать ее оттуда недостойно художника. Отец было согласился, но мать настаивала заменить картину другой.

Тогда... Утром школьники обнаружили, что картина Кедрина испорчена. Кто-то полоснул холст ножом.

Видимо, нелегко было Лале совершить это. У нее начались сильные головные боли, поднялась температура. Ее уложили в постель. Наташка, конечно, все знала.

Пока Лаля болела, она приходила к ней каждый день и сообщила ей как-то между прочим, что испорченную картину сняли для реставрации. И всё.

Дора Павловна, судя по ее сухому обращению с дочерью, тоже все поняла. Отец же ни о чем не догадался, сходил в школу, увидел, что картину легко восстановить, и успокоился. А пока в музей отправил другую — мрачное изображение загородного «Чертова озера», с давних лет овеянного страшными легендами.

Для Николая Михайловича, отлично знавшего семьи девочек, характеры отношений в них, случай с картиной «Славное море — священный Байкал» был совершенно ясен. Думал он поговорить по-серьезному с Лалей, но поставил себя на ее место, перенесся в неповторимые пятнадцать лет и никакой угрозы для становления личности в ее поступке не усмотрел. Поэтому и разговаривать с ней не стал, а тем более не стал делиться своими мыслями с коллегами. Он знал, что, увы, в учительской далеко не все понимали детские души, некоторые даже не всегда интересовались ими.

Воспитанники Николая Михайловича нередко доверяли ему свои сокровенные тайны. Знал учитель, что Наталья посещает клуб, где второй год уже занимается стрельбой из пистолета. Знала об этом Лаля. Знали родители Наташки. Оба спортсмены — тренеры по художественной гимнастике, они ничего особенного не видели в увлечении дочери. А Николай Михайлович не раз задумывался, почему стреляет Наташка из пистолета, а не из винтовки, и чувствовал, что, открывая ему свою тайну, Наташка чего-то недоговаривала. И у Лали при разговоре о спортив-

ном увлечении подруги лицо становилось деланно равнодушным, ну совсем потусторонним. Это тоже настораживало учителя.

Три раза в неделю Наташка прямо из школы мчалась в городской клуб. Обогнув одноэтажный новый дом, она, с гордостью предъявив в проходной пропуск, пересекала двор, с трудом удерживаясь, чтобы не бежать, входила в низкую дверь и долго шла длинным, полутемным коридором. В эти минуты в памяти ее возникали рыцари из прочитанных книг. Казалось даже, она слышала звуки скрещенных мечей.

Здесь путь ей преграждал сидящий на стуле человек в кожаной куртке и кожаных штанах. Он снова проверял ее пропуск и только потом с визгом и лязгом, неприятно нарушая мертвую тишину коридора, открывал железную дверь оружейного склада, доставал пистолет, проверял, разряжен ли он. Затем всегда с одинаковой фразой: «Проверьте, товарищ стрелок, при мне, разряжен ли пистолет» — подавал его Наташке. Та, положив пистолет в ящик, шла дальше по темному коридору в специальное помещение, где теперь еще раз тренер проверит, не заряжен ли пистолет, затем даст ей один патрон и будет следить за ее вытянутой рукой, уже теперь не дрожащей, как в прошлом году, затем, как, прищуривая один глаз, взводит она курок и стреляет в мишень.

Редко-редко в коридоре навстречу ей попадался какой-нибудь уже отстрелявшийся мальчишка и, замедляя шаг, вглядывался в девчонку, гордо вышагивающую с ящиком в руке, а потом останавливался и провожал ее взглядом. А иной, идущий сзади, намеренно обгонял ее и с любопытством оборачивался. Из пистолета, со дня основания кружка, стреляли только мальчишки. Уже в клубе прошел слух, что какая-то девчонка «на обе лопатки положила всех мальчишек» и вот-вот будет мастером спорта.

Рассказала Наташка Грозному и о случае, происшедшем с ней во время зимних каникул в спортивном лагере «Снайпер», разместившемся на окраине небольшого села. Этот случай, кроме Лали, никто не знал.

Юные стрелки готовились к городским соревнованиям. Для сельской молодежи это было событием. Школьники издали наблюдали занятия стрелков, толпами собираясь на краю просторной, убеленной снегом поляны, где посередине высилась снежная гора, в которую упирался блиндаж с навесом у входа.

Накануне в штаб лагеря была подброшена записка:

Ребята! Наши хулиганы решили отобрать у вас оружие. Будьте осторожны!

Над запиской посмеялись и сожгли ее в печке.

Наташка стреляла. Левая рука упиралась в бедро, правая — вытянутая — крепко и уверенно держала тяжелый пистолет. Вы-

стрел. Снова выстрел. Третий... пятый... восьмой... На асфальт падают гильзы.

Наташка устала, замерзла рука, а в магазине еще два патрона. «Достреляю в следующий раз», — решила она и, поглядывая, не заметил ли тренер недострелянных патронов, вынула магазин, положила в ящик рядом с пистолетом.

— Почисти. Потом сдашь, — сказал тренер, направляясь к другому стрелку.

Наташка вышла на поляну, по тропинке обогнула навес и по ступенькам спустилась в блиндаж.

От белизны снега поляны она вначале ничего не видела в охватившем ее полумраке и вдруг, приглядевшись, заметила впереди трех рослых парней.

— Давай оружие! — свистящим шепотом сказал один, и все трое медленно двинулись к девочке.

На одно мгновение Наташка растерялась, но сразу же ее охватила сумасшедшая отвага. Она поспешно выхватила из ящика пистолет, сунула в него магазин, отступила. Рванулась мысль: «Стрелять в ноги среднему и тому, что справа!» Она вытянула руку с пистолетом и с криком: «Стреляю!» — взвела курок.

Парни кинулись в стороны и в мгновение исчезли.

На крик Наташки прибежал бледный, взволнованный тренер, примчались стрелки с ящиками и пистолетами в руках.

Все мгновенно вспомнили сожженную записку. А толпы деревенских школьников на поляне, ничего не подозревая, сгорая от любопытства, издали наблюдали за тем, что творилось в блиндаже.

Итак, стрельбу из пистолета от Николая Михайловича Наташка не скрывала, а вот то, что она занималась английским и немецким языками у частного учителя, оказалось для него неожиданностью и в какой-то степени подсказало разгадку Наташкиного увлечения стрельбой.

Однажды Наташка остановила Грозного в коридоре. Была она очень взволнована, с пунцовыми щеками, блестящими глазами, и губы ее подергивались не то от негодования, не то от усилия не расплакаться. Такой Наташку Николай Михайлович еще никогда не видел. Он понял: произошло что-то из ряда вон выходящее.

Очень может быть, что все рассказанное ученицей на иного учителя не произвело бы впечатления. Но Грозный почувствовал в этом самое страшное для школы, что только может быть: когда вместо воспитания в ее стенах калечат юные души.

И Грозный ринулся в бой за правду.

Спокойный, но с такими же пылающими глазами, как у Натальи, он после уроков подошел к учительнице английского языка и попросил ее задержаться.

Ей было всего 22 года, и она, окончив институт, лишь первый год работала в школе.

На вид она казалась еще совсем девчонкой, со взбитыми темно-рыжими волосами, с круглыми, неподвижными глазами, по которым невозможно было угадать ее чувств и мыслей. У нее были полные губы, влажные, потому что по привычке она то и дело облизывала их. Она была очень маленького роста, с малюсенькими ножками и ручками.

Держалась она всегда высокомерно и самоуверенно. И Николай Михайлович не раз пытался понять: таков ли ее характер, или она все это напускает на себя, чтобы спрятать свою неопытность и страх перед новым делом?

— Светлана Ивановна! Почему вы мне не сказали, что уже месяц у вас конфликт с Натальей Ковригиной? — спросил ее Николай Михайлович, когда они сели в учительской за стол друг против друга. — Почему вы ей не разрешили рассказать об этом мне и я узнал все от ее одноклассников? — Грозный решил не выдавать Наташку. — Мне уж потом пришлось заставить ее рассказать все.

— Я хотела ликвидировать эту историю без вмешательства классного руководителя, — запнувшись и краснея, как школьница, сказала она.

«Да, пожалуй, не высокомерна и не самоуверенна. Просто беспомощна, молода и неопытна», — подумал Грозный и немного смягчился.

— Как рассказала вам Ковригина о том, что произошло? — вдруг живо спросила Светлана Ивановна.

— Извольте. В конце урока вы объявили, что задержите учеников на следующий — седьмой, дополнительный урок. Ковригина встала и с обычной своей прямоотой и резкостью сказала, что дополнительные уроки вообще-то запрещены и учитель имеет право проводить их лишь с согласия самих учеников. Сказала она это, возможно, и грубо, что свойственно детям этого возраста. Кстати, насчет дополнительных уроков, Светлана Ивановна, ученица-то права! Дальше Наталья сказала, что она не может остаться на дополнительный урок, так как с утра сговори-лась с мамой встретиться в городе. Вы сказали: «Ах, какая важность — ждет мама! Маменькина дочка!» Вы перед классом высмеяли ее за то, что она в пятнадцать лет имела мужество в присутствии класса и учителя показать свое уважение к матери! И с тех пор почти месяц вы неизменно бросаете в классе реплики на ее счет, что, дескать, есть среди нас «маменькины дочери», «а что скажет мама». — Николай Михайлович встал и, заложив за спину руки, сказал, глядя в упор на учительницу: — Знаете ли вы, что одна из первых заповедей школы — воспитывать в учениках любовь и уважение к родителям? А вы сегодня перепол-

нили чашу терпения ученицы. Вы при всем классе заявили, что напишете письмо в партийную организацию ее отца, чтобы там пригляделись к своему члену партии, получше бы узнали, что он за человек, если воспитал дочь, которая хуже уличного хулигана. Было это или нет?

— Нет, не было! — выпрямляясь и краснея, сказала учительница. — Ковригина все врет!

— Я знаю Ковригину с пятого класса. Она может быть невыдержанной, может быть грубоватой. Но она никогда не врала. За что и пользуется исключительным уважением класса, учителей школы. А вы сравнили ее с уличным хулиганом! Вы кричали на нее и заставили стоять весь урок. Поймите, это же экзекуция. Это почти то же, что век назад: стояние учеников коленями на горохе!

— Вы бы видели, с какой наглостью она смотрела на меня!

— А как же, чем же ей защищаться от несправедливости? Только взглядом. Сказать ей ничего нельзя. Прав будет все равно учитель. А кричать? Кричать — это значит расписываться в собственной беспомощности. Когда учитель кричит, класс на стороне того, на кого кричат, и всегда против учителя. Учитель роняет свой авторитет. Криком он растит бессовестных крикунов. Так не воспитывают, а калечат!

Он уже шагнул из угла в угол и курил, хотя никогда не позволял себе курить в учительской, в присутствии некурящей женщины, да еще не спросив разрешения.

— С чего вы взяли? Я никогда не кричу! Значит, по-вашему, я вру? Подождите минутку. Я сейчас.

Она бросила на стол портфель, который до этого стоял на полу, и выскочила из учительской.

Николай Михайлович решил, что ей стало нехорошо, и упрекнул себя в несдержанности. Он потушил сигарету, сел и стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Вошла покрасневшая Наташка, за ней такая же покрасневшая Светлана Ивановна.

Светлана Ивановна села. Николай Михайлович тоже сидел. Наташка стояла.

— Ковригина, почему ты говоришь, что я кричу на тебя? Разве я когда-нибудь вообще кричала? Значит, я вру?

Что же могла сказать Наташка? Николай Михайлович отлично понимал — она не может сказать: «Да, врете вы, а не я!»

Это опять была та же экзекуция, что и стояние весь урок.

Щеки Натальи покраснели. Глаза сузились и глядели на учительницу с откровенным презрением. Только раз она перевела взгляд на Грозного, и в нем он уловил такую беспомощность, что у него сжалось сердце.

Он встал и постарался спокойно сказать:

— Иди, Наташа.

Она выбежала из учительской, и ему послышалось, что скрип двери заглушил несдержанное рыдание.

«Боже мой! До чего неумна!» — с болью подумал он о Светлане Ивановне.

— Вы подрываете авторитет учителя! — крикнула Светлана Ивановна, вскакивая и тоже готовая разрыдаться.

— Если действовать таким образом, то авторитета у вас никогда не будет. Я допускаю, что это от вашей неопытности. Опытный педагог такой конфликт разрешил бы в два часа. А у вас он тянется второй месяц. Вы истерзали ученицу, изнервничались сами. На уроке вы не замечаете Ковригину, не спрашиваете ее.

— Неправда, я проверила диктант и даже поставила ей пятерку.

— Еще бы! Она отлично знает английский! Она четвертый год, оказывается, берет уроки у доцента кафедры английского языка. Он обнаружил у нее удивительное дарование. Ведь она отлично знает еще и немецкий. Так что оставаться на дополнительный ей действительно не нужно было. Послушайте меня, Светлана Ивановна, учителя уже с немалым опытом. Я вам только добра желаю. Когда у вас возникнет конфликт с учеником, никогда не пытайтесь уладить его в присутствии класса. Поговорите один на один, и вы всегда нащупаете верный подход. Никогда не кричите на учеников и будьте предельно справедливы к ним, иногда этой справедливостью уязвляя даже свое самолюбие. В этом возрасте все они ищут правду. Кидаются из одной крайности в другую. И любая неправда, любая несправедливость, восторжествовав, заставит их думать: «Раз так, значит, надо заискивать, надо приспособливаться, надо ненавидеть учителя, но молчать, надо лгать». Несправедливостью учитель одним махом может зачеркнуть все лучшее в юной душе, и потом уже ее не выправишь. Помните это ежеминутно. А если не можете, лучше уйдите из школы.

Он помолчал и сказал, снова сдерживая себя, чтобы казаться спокойным:

— Советую вам сейчас позвать сюда Ковригину и сегодня же закончить этот конфликт. Уверяю вас, Наталья очень хороший человек.

— Но что же, я первая буду зазывать ее на беседу, унижаться перед девчонкой, когда она извиниться передо мной не желает?

«А в чем ей извиняться?!» — хотел было спросить Николай Михайлович, но не спросил, а только сказал:

— Зачем вам это формальное извинение? Вам важны не пустые слова, а перемена ее отношения к вам. Любой ценой,

пусть трудной для вас. Вам нужно поговорить с ней спокойно, с глазу на глаз.

— Самой вызывать ее на разговор? Вы считаете это педагогичным?

— Да. Считаю педагогичным. И даже необходимым в данном случае. Лично я подошел бы к ученице первым. И были времена — подходил.

— Ну, знаете, не зря все учителя считают, что вы роняете авторитет педагога! — зло сказала Светлана Ивановна, схватила свой портфель и выбежала из учительской.

Николай Михайлович немного постоял, хотел закурить, но подумал, что где-то в коридоре или у вешалки, а может, на улице его наверняка ждет Наташка. Надо успокоить ее. Суметь в чем-то оправдать учительницу, найти и ее, Наташкину, вину. Словом, пойти чуть-чуть наперекор своим взглядам, чуть-чуть стать нечестным в отношении к себе и своим ученикам.

Он направился к двери, приоткрыл ее и увидел: в дальнем конце коридора стояла Наташка. К ней подошла Светлана Ивановна и что-то сказала. Наташка выпрямилась, упрямо прислонилась к стене. Светлана Ивановна еще сказала что-то и показала рукой на соседний класс. Они обе зашли туда — первая Светлана Ивановна, быстро и решительно, за ней Наташка, как бы колеблясь, с трудом отдирая ноги от пола.

Николай Михайлович закрыл дверь и облегченно вздохнул. «Молода! Неопытна! Но, кажется, дошло. Как же надо неотрывно следить за работой начинающего учителя! И что это за бесконечные дополнительные уроки?»

Не откладывая, он пошел потолковать с завучем.

В этот день Наташка, конечно, провожала Николая Михайловича до самого дома. И рассказывала ему:

— Она подошла ко мне и сказала: «Ты не хочешь поговорить со мной?» Я ответила: «По-моему, не о чем, все ясно». И наверное, зло это у меня получилось. Она ведь оскорбила меня тем, что стоять перед классом заставила, и бестактностью в отношении моих родителей, и «уличной хулиганкой». «А может быть, все-таки побеседуем?» — говорит вдруг, да так мирно. И, знаете, обида, зло на нее у меня улеглись. Я, к сожалению, очень незлопамятна. Думаю, интересно, что скажет она. Да и вспомнила слова моего отца. Уезжая, он всегда напутствует меня одной фразой: «От дураков подальше!» Я знаю, что вы сейчас скажете: нельзя называть так взрослых, особенно учителей. Но только скажете. Невозможно же, чтобы вы думали, что она умная.

— Ты путаешь, Наталья, ум и неопытность педагога. Она просто очень молода. Светлана Ивановна не знает еще, как подойти к вам, ей самой страшно, вот она и кричит. Подожди,

лет через пять из нее может получиться отличный учитель.

— Не получится, Николай Михайлович. Учителем, мне кажется, надо родиться. Это, как раньше говорили, «от бога». Талант нужен.

«В пятнадцать лет так рассуждать,— думал Николай Михайлович,— и с таким разумным, глубоким, вполне сложившимся человеком, отлично понимающим, что такое добро и зло, не найти общего языка! Это почти невероятно. Как же надо было оскорбить чувства ученицы, чтобы Наташка, такая волевая и все понимающая, не пожелала взять себя в руки и пошла на конфликт, который, она знала, грозил ей только повседневными неприятностями».

— А я, откровенно говоря, уже хотела уходить в другую школу. Я не смогла бы ничего доказать. Учителя не захотели бы «ронять честь мундира». И, кроме вас, меня никто бы не защитил. И вам же потом на педсовете за это досталось бы! Только вот жаль было наш замечательный класс. И...— Наташка не сказала, но Николай Михайлович знал — жалко было расставаться с ним самим!

— Ничего, Наташа, все уладится. Я слежу за ходом событий,— уже стоя возле своего дома, говорил Николай Михайлович.— А кстати, ты никогда мне не говорила, кем ты мечтаешь стать в будущем. Скажи, если не секрет. Наверное, не зря языками занимаешься?

Наташка пунцово покраснела. И выдавила:

— Я еще не пришла к определенному решению.

— Но все же?

— Что-то в области международных отношений. Только об этом никому, ладно?

— Разумеется.

Дома Николай Михайлович развеселился окончательно. Милая, смешная Наташка, романтическая девчонка! Уж не в разведчицы ли метила она на случай войны? А может, шпионов собиралась ловить со своей стрельбой из пистолета и изучением иностранных языков?

Романтика эта через год-полтора остынет. А путь себе девочка выберет верный — в этом Николай Михайлович не сомневался.

Он открыл свежий номер газеты, и внимание его привлекла небольшая заметка о том, что некая женщина взглядом может передвигать мелкие предметы. Заинтересованные этим явлением, представители науки пока еще не могут объяснить этот феномен. Подобные способности обнаружены еще и у одного болгарского инженера.

«Любопытно! — думал Николай Михайлович.— Сколько же еще непознанного остается в науке. В средние века таких людей

считали посредниками нечистой силы и сжигали на кострах. В наш век в большинстве случаев усмеваются и считают все это шарлатанством».

8

Назавтра утром он вошел в класс и, как всегда, испытал удивительное чувство удовлетворения и подъема, когда все тридцать учеников дружно встали, радостно приветствуя его. Он поздоровался и разрешил им сесть.

Подняла руку Наталья Ковригина и сказала заговорщицким тоном:

— Во вчерашней газете такое интересное сообщение о женщине, которая глазами двигает предметы. Останемся, а? После уроков? Поговорим?

— Останемся, — ответил Николай Михайлович.

Класс одобрительно загудел. Точно в тишину безветренного дня ворвался шмель.

После уроков, усаживаясь за стол, Николай Михайлович спросил, есть ли надобность читать статью. Оказалось, читали все. И не только читали. Каждый, конечно, сам попробовал двигать предметы взглядом. У Павла Михайлова, розовощекого, белобрысого подростка, таблетка от головной боли, над которой он производил опыты, один раз даже шевельнулась. Правда, все уверяли, что Павел, обхватив руками голову, чтобы товарищи не видели его лица, просто-напросто сильно подул на таблетку. Но Павел не сдавался. Он гордо и загадочно молчал, вперив в пол взгляд белесо-голубых глаз, может и правда чувствуя себя сверхчеловеком.

И все же всем захотелось послушать статью снова.

— Ерунда! — сказал Семен. — Чудеса умерли вместе с религией.

— Но ведь пишется в газете. Факт, как видишь, проверенный, — возразила Лаля.

— На свете еще так много загадочного, необъяснимого! — мечтательно сказала Наташка, обожавшая чудеса.

— Тебе, Коврижка, загадочное не к лицу! — засмеялся Никита Пронин. — Тут такую Аэлиту надо! — И он метнул взглядом, не очень-то равнодушным, на новенькую — хрупкую, белокурую девочку. — А ты должна быть совсем-совсем земная, определенная. Это твой стиль.

— Ну и что же! — не обиделась Наталья и передернула плечами. — Внешность такая, а мысли этакие. Тоже мне Аэлита... «Где ты, где ты, Сын Неба?..» — с завыванием почти пропела она Пронину и, пластично извивая вытянутые руки, очень удачно показала, как с Марса на Землю идут сигналы.

Все засмеялись.

— А я так думаю, Николай Михайлович...— продолжала Наталья.— Вот такой вопрос, по поводу которого мы остались сегодня,— она положила обе руки на газету,— надо бы не в классе обсуждать. Сидеть бы на низеньких диванах, в полумраке, у камина... И чтобы свечи горели... Или, скажем, поговорить о том, что у каждого есть своя особенная жизнь, свое отношение к людям, к вещам, ко всему... свой мир... Или слушать то, что вы написали.

— Ох, ох, ох! Уморила!..— снова огласил бархатным смехом класс Никита Пронин.— Наташка-Коврижка собирается открыть салон! В нем будут гадать на картах, заниматься... как это называется, Николай Михайлович, когда... ну, еще блюдцем духов вызывали?

— Спиритизмом называется,— подсказал Николай Михайлович.

— Вот-вот. Заниматься спиритизмом,— продолжал Никита,— и обсуждать загадочные явления.

Никита уже понемногу справлялся со своей трагедией в семье. Отец вернулся, и они жили вместе у бабушки. Мать он не видел с момента ухода из дома. Не хотел видеть.

Николай Михайлович мешковато сидел за своим учительским столиком, косолапо скрестив ноги и подперев ладонями щеки. Он не вступал в завязавшийся разговор, но с интересом слушал его, мысленно рассуждая о том, как права Наталья: душевные беседы хорошо бы проводить в соответствующей обстановке. «Ну, не обязательно мягкие диваны, полумрак, свечи... Может быть, лучше шалаш на берегу быстротечной реки, черное небо с мерцающими звездами и костер, разрывающий мрак. Это могло бы остаться в памяти ребят на всю жизнь. И ее же, Натальина, мысль о том, что у каждого своя особенная жизнь, свое отношение ко всему, свой мир... Это так верно. Когда мы — учителя — подгоняем под общий стандарт этот «свой мир», «свое отношение ко всему», мы не воспитываем, мы портим. Это то же самое, что неумный или нечестный и бездарный врач, не любящий свое дело, выписывает всем пациентам одинаковые рецепты. А ведь все так индивидуально! Так индивидуально! Шаблоны недопустимы в медицине, недопустимы и в педагогике. Вот, например, Наталья. На первый взгляд она выглядит ярче других в классе. Но это не значит, что остальные ординарны, неинтересны. Здесь все тридцать — личности. Только Наталья смелее, душа нараспашку. Ей будет легче жить. Она сумеет постоять и за себя и за других. Нет, она тысячу раз права. В классе, за партой, не каждого потянет на открытость. А ребятам так нужны беседы по душам с другом, который много старше, мудрее, который сможет удержать, если что,

добрым советом, натолкнуть на раздумье. В этом трудном переходном возрасте им, как никогда, необходима вдумчивая, доброжелательная и незаметная помощь взрослого: учителя или родителей. Но родители уделяют внимание детям в основном тогда, когда требуется физическая забота — в раннем возрасте, и, увы, меньше, когда начинается становление личности человека. Считают, что подросток сам разберется, что хорошо и что плохо. Но часто сам-то и не разбирается. Он может так ошибиться, что вся жизнь пойдет вкривь и вкось и уже ее не исправить. Помощи взрослых ребята не любят. Поймут, что их наставляют на истинный путь, — как ежи поднимут иголки. Нужно незаметно. Осторожно. Тактично».

Прислушиваясь к разговору учеников, Николай Михайлович думал с нежностью: «Милые вы мои! Что бы я делал без вас?! Чем бы жил?»

А в это время на защиту Натальи поднялся ее закадычный друг. Лаля Кедрина, по привычке многолетнего старосты класса, дискутировала не с места, как другие. Она вышла к доске. Стояла перед одноклассниками, поблескивая бирюзовыми глазами, залитая взволнованным румянцем, хорошенькая, пухлая, одетая на скорую руку, подчеркнуто небрежно: модные ботинки, привезенные родителями из-за рубежа, на полных ногах зашнурованы кое-как; видимо, прошлогоднее коричневое платье и черный фартук слишком уж обтягивают полную фигуру и к тому же давно не глажены, с отметинами школьных горячих завтраков. Кружевные воротничок и манжеты не первой свежести. Светлые волосы, очевидно еще с утра без затей заколотые пряжкой, и «хвост» растрепались, висят прядями, как попало. Ах, Лаля, Лаля, увидела бы тебя сейчас Дора Павловна!

«Надо будет поговорить с девочкой, — решил Николай Михайлович. — Ее протест против родительской погони за роскошью приводит к обычной неопрятности».

— Ребята! А вы слышали о Мессинге? — спрашивает Лаля товарищей.

Кто-то что-то читал в газете. Кто-то слышал приблизительно. Толком никто ничего не знает. Видимо, и Лаля не в курсе. Она умоляюще смотрит на Николая Михайловича.

— Когда-то Мессинг приезжал в наш город, — говорит Николай Михайлович. — Я оказался на его выступлении вместе с отцом. Отцу же было суждено стать участником сеанса. На сцене за столом сидели несколько человек. Им посылали записки, в которых зрители давали Мессингу разные задания. Кто-то из друзей моего отца предложил Мессингу найти в зале директора мебельной фабрики товарища Грозного, вывести его на сцену, открыть его портфель, достать оттуда авторучку и положить ее на стол президиума. Естественно, Мессинг не знал ни Грозного, ни

того, что написано в записке. Ее подателя, инженера Суровцева, попросили подняться на сцену, где стоял Мессинг — худой, с лысиной в венчике пушистых волос. Глаза его горели, грудь часто вздымалась. Дыхание было шумным.

Мессинг протянул дрожащую худую руку Суровцеву и сказал лающим хриплым голосом: «Держите меня за руку и мысленно приказывайте то, что написали в записке». Суровцев взял его за руку. Какое-то мгновение Мессинг стоял неподвижно, я бы сказал, окаменело, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом, волоча за собой Суровцева, быстро устремился по ступенькам со сцены в зал. «Приказывайте. Приказывайте», — хрипло, задыхаясь, повторил он, пробираясь между рядами.

Когда Мессинг втиснулся в наш ряд, меня охватил страх. Он остановился около нас, потом резко подался назад и захрипел Суровцеву: «Приказывайте! Приказывайте!»

Потом опять двинулся вперед, схватил за руку моего отца и потащил его на сцену. Одной рукой Мессинг держал отца, другую его руку сжимал Суровцев. Мессинг порывисто бежал к сцене. Отец и Суровцев с трудом поспевали за ним. На сцене Мессинг отпустил отца. Мгновение постоял, наклонив голову, опять словно бы прислушиваясь к себе, потом протянул руку к портфелю, сказав: «Разрешите». И, не дожидаясь ответа, раскрыл портфель, достал ручку, бросил ее на стол и в изнеможении опустился на стул.

Несмотря на то что у нас на глазах он совершил почти что чудо, мне было почему-то жаль его.

— В самом деле жалко, — сказал Семен Неверов, — с таким даром — и выступать на эстраде...

— Вот в войну бы, — мечтательно сказал Никита Пронин, — разгадывать мысли врагов.

— Не выйдет! — высунула ему язык Наталья. — Надо внушать, приказывать... Слышал, как рассказывал Николай Михайлович? Где ты такого идиота-врага найдешь?

Пронину не хотелось сдаваться. Но все же пришлось замолчать.

— Дар особый, — сказал Николай Михайлович. — И тут особый дар, — показал он глазами на газету. — Здесь нет мистики. Просто наука еще многого не знает.

Стоять, видно, этой зиме суровой и снежной. Бело до боли в глазах в лесу, где чернеет старая баня. Белый пуховый шлем украсил ее безобразную от времени голову. Покосившиеся бока подпирают искрящиеся на солнце сугробы, которые кажутся

не белыми, а многоцветными. И так хочется поваляться в них, так манят они своим мягким уютом.

Вокруг баньки хороводы подлеска. Деревца под мохнатыми снежными шапками напоминают то грибы на толстых ножках, то присевших зайцев, а то и человеческие фигуры можно угадать в причудливых снежных скульптурах.

За подлеском стеной встает тайга. Ох и хороша же она в зимние дни — пронизанная ярким солнцем, утонувшая в морозном тумане, разукрашенная искрящимся куржаком!

Здесь когда-то был выселок, а теперь остались только следы его: поскотина, фундамент дома да вот эта старая, покосившаяся баня... Ученики восьмого «А» облюбовали ее для своих вечеров и называли «Избой раздумий».

Ребята поставили в бане железную печь, смастерили у стен деревянные лавки. Кто-то принес журнальный столик, с которого «ради общего стиля» соскребли полировку. В окна вставили слюду. Лаля Кедрина принесла два старинных подсвечника со свечами.

В этот вечер на лыжах пришли в «Избу раздумий» все до одного. Торжественно расселись по лавкам. Зажгли свечи и затаив дыхание стали слушать Николая Михайловича.

Г л а в а и з п о в е с т и

Н и к о л а я М и х а й л о в и ч а Г р о з н о г о

В Е Д Ъ М А

В ту пору в городе N проездом в Японию остановился наследник престола, и Николай Саратовкин, как крупнейший капиталист Сибири, был приглашен генерал-губернатором на обед в честь «высокой особы».

Двухэтажный каменный генерал-губернаторский дом стоял на набережной, фасадом к реке-красавице — зеленоокой, быстро-текущей и обжигающе холодной даже в знойные летние дни.

В тот вечер, казалось, все население города хлынуло к генерал-губернаторскому дому, заполняя набережную и близлежащие улицы. Всем хотелось увидеть хоть издали будущего монарха, посмотреть, как куражат жизнь те, кто имеет власть и деньги.

Николай Саратовкин не только увидел наследника, но и был представлен ему.

— Ваше императорское высочество! — склоняясь в полупоклоне, говорил генерал-губернатор. — Этот молодой человек значительными капиталами приносит пользу отечеству.

Молодой блондин в мундире капитана, которому судьба неизвестно за что уготовила будущее монарха великой державы

и бесславную гибель от рук своего же народа, окинул Николая Саратовкина рассеянным холодным взглядом. А молодой миллионер, тоже случайный баловень судьбы, глядел на будущего монарха восторженными глазами.

Яркий праздничный зал ничуть не напоминал о глухой провинции. Он блестел рамами дорогих картин, позолотой мебели, хрусталем пышных люстр. С хоров грянул духовой оркестр.

Будущий монарх благосклонно оглядел нарядных дам и на всю жизнь осчастливил хозяйку дома, повел ее к столу.

Но не встреча с наследником престола, не новизна впечатлений парадного обеда сохранила навсегда в памяти Николая Саратовкина этот вечер.

Тогда на розовое от зари небо его юности вошла романтическая звезда любви, любви, которую пронес он в сердце своем через всю жизнь. И даже старцем он вспоминал ее стихотворным четверостишием:

Среди миров, в созвездии светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

Наследник уехал рано. Генерал-губернатор отправился в его свите. Они увезли с собой напряженность и чопорность. В зале стало шумно, весело, оживленно.

Николай Саратовкин стоял с бокалом в руке среди гостей, заискивающих перед молодым миллионером, удостоенным чести говорить с наследником, когда к ним торопливо подошел городской голова — пожилой человек, удивительно подвижный, несмотря на хромоту и тучность.

— Господа! — приподнято сказал он, белоснежным платком отирая пот с лысины и мясистого пористого носа. — Слышали новость?

И он рассказал, что на окраине города в маленьком домишке, где живет старуха с внучкой, вот уже несколько дней происходят чудеса.

— Чепуха! — рассмеялся директор гимназии, небольшой, сухонький старичок, с живым, строгим лицом, испещренным следами перенесенной оспы.

— Дьявольское наваждение! — размахисто перекрестил грудь, украшенную массивным золотым крестом, архиерей в черной рясе, в высоком клобуке. При своей худобе и значительном росте он казался еще более худым и возвышался, как и полагалось ему по чину, над всей «паствой».

— Сам видел. Сам дивлюсь и в толк не возьму, что это такое, — не обижаясь на директора гимназии, продолжал город-

ской голова. — До шестидесяти лет дожил — чудес не видел, а тут такое, что ум за разум заходит!

— Чепуха! — снова сказал директор гимназии и убежденно потрянул головой. С носа его свалилось пенсне и повисло на шнуре.

— Чепуха, говорите?! — повысил голос городской голова. — А ну едемте со мной, сейчас же. Господа! Кто хочет поглядеть на чудо?

— Конечно, я, — улыбаясь, сказал директор и, манерно оттопырив мизинец, водворил пенсне на нос.

— Я! — торопливо воскликнул Николай Саратовкин.

— А вы, владыко? — спросил городской голова архиерея. Тот отрицательно покачал головой и пробормотал:

— Верю на слово. Да и не любитель сатанинских проделок, не любитель.

Может быть, этот поздний осенний вечер был обычным осенним вечером, которые опускаются на землю из года в год, из века в век. Но через десятки лет, когда Николай Михайлович вспоминал притихший город, светлый серп месяца, повисший над крестами собора, высоко поднятыми в небо, коляску, которую кони с трудом выволакивали из грязи окраинных улиц, ему все это казалось значительным. Будто говорило, что должно произойти что-то очень важное, что оставит след на всю жизнь.

Старый домишко с низко нахлобученной крышей был погружен во мрак. Закрытые ставни напоминали опущенные веки спящего. Домишко охраняла стража, разгоняя любопытных, которые даже в это позднее время стекались сюда со всего города.

Двери дома оказались незакрытыми, и приезжие вошли сначала в сени, потом в душную, темную кухню.

— Эй, хозяйка, давай лампу! — приказал городской голова.

В темной горнице слышался скрип деревянной кровати, полусонное бормотание, шлепанье босых ног. Потом в кухню вошла большая рыхлая старуха, щурясь на зажженную лампу, которую она осторожно несла в руках. Видимо, ей надоели посетители, именитые и неименитые, и она поздоровалась не приветливо, не сдерживая досады. Старуха поставила лампу на стол, а сама, то и дело позевывая и крестя рот, села у печки на скрипучий табурет.

Городской голова, директор гимназии и Николай Саратовкин присели на лавку и стали ждать чуда.

Но чуда не было. Николай разглядывал кухню, в которой стояли всего лишь лавка, стол, табурет да кадка с водой. На плите у чела русской печи была свалена немытая посуда. Текли минуты, а чуда по-прежнему не было, и городской голова начал беспокоиться.

В горнице слышались легкие шаги, и в дверях появилась

девочка. На вид ей было не более пятнадцати лет. Помятое ситцевое платье, в котором она, видимо, спала, не скрывало угловатость и худобу ее тела. Взлохмаченные темные волосы она наспех прихватила красной тряпкой, и они висели до пояса неаккуратной метелкой.

Девочка мельком взглянула на посетителей и, не поздоровавшись с ними, встала у стены возле бабки.

Свет лампы падал на девочку, и Николай Саратовкин внимательно и даже удивленно разглядывал ее кроткое личико, хрупкую шею, щеки, залитые ярким со сна румянцем, и широко расставленные огромные глаза, блестящие и темные. На обветренных губах блуждала загадочная усмешка.

Весь облик ее, по-детски безвольный, вызвал у Николая щемящую жалость. Он вдруг представил ее в бальном платье, с локонами, рассыпанными по открытым плечам, и подумал, что на любом балу она была бы не хуже других девиц.

Она не поражала красотой, но если бы рядом с ней стояли десятки красавиц — не выделить ее было бы невозможно.

И Николай почему-то с грустью подумал, что ей никогда не бывать на балу и не стоять рядом с городскими красавицами.

— Ну-с, может быть, поедем? — любезно спросил директор гимназии, рукой с оттопыренным мизинцем расстегивая пальто и вынимая из кармана жилета часы на золотой цепочке.

— Что ж... — начал было городской голова и вдруг замолчал.

Его глаза, устремленные на печь, округлились, на лице появилось выражение торжества и ужаса. Все проследили за его взглядом и замерли.

По шестку к краю медленно двигалась деревянная ложка. Она на секунду задержалась, точно раздумывая или колеблясь, затем рывком переползла белый кирпич и упала на пол.

Директор гимназии проворно подскочил к печке, провел рукой по воздуху, словно желая убедиться, нет ли тут невидимой глазу нитки, затем присел на корточки возле упавшей ложки, протянул к ней руку, но не дотронулся до нее.

— Опять, опять, экая чертовщина! — воскликнул городской голова, вскакивая.

Директор гимназии отшатнулся от печки: по шестку двигалась вторая ложка.

— Видимо, действие каких-то подземных газов на деревянные предметы... — рассеянно бормотал директор.

А в это время по столу уже ползла картошка, все ближе и ближе к его краю.

Николай, охваченный необыкновенным волнением, не отрываясь следил за картошкой, пока она не упала на пол. Он перевел взгляд на девочку.

Вывернув плечи, придерживаясь руками за стену и всем

телом подавшись вперед, она не сводила широко открытых глаз со стола, на котором лежала горка картофелин. Лицо ее было напряженным, мертвенно-бледным, по нему катились капельки пота.

Николай вскочил. Он хотел подбежать к ней, поддержать, чтобы она не упала, успокоить ее. Но его остановило странное выражение лица девочки. На нем не было страха. Не было расстрогавшего его безволия. Ее лицо, фигура, поза были волевыми, жесткими, даже грозными.

— Батюшка! — запричитала старуха и рухнула в ноги городского головы. — Отселил бы ты нас куды-нибудь. Мочи боле нет с нечистой силой бок о бок жить. Соседи-то уж меня за колдунью почитать стали!

А Николай не мог оторвать взгляда от необычного лица девочки. Пока старуха валялась в ногах у городского головы, девочка села на табурет, закрыла глаза, бессильно бросила вниз руки, точно устала от тяжелой работы. На лицо ее медленно возвращался румянец.

— Ну, а что вы, молодой человек, думаете по этому поводу? — обратился к Николаю директор гимназии.

— В чудеса не верю. Но тут... тут ничего не понимаю...

Николай вновь взглянул на девочку и был снова поражен той переменой, которая мгновенно произошла в ней. Она стояла у стены. Румянец заливал ее щеки. На полуоткрытых обветренных губах и в полуоткрытых глазах вспыхивала робкая, загадочная усмешка.

Нет, никогда не видел Николай лица лучше этого.

Вскоре гости покинули заколдованный домик. Городской голова пообещал завтра же переселить старуху и внучку. А директор гимназии взялся собрать здесь ученых людей, чтобы подумать над чудесами.

Перед дверью Николай задержался.

— До свидания, — сказал он.

— Доброй дороги, доброй дороги! — пожелала старуха.

Внучка подняла глаза на молодого человека и улыбнулась ему какой-то неожиданной, искрящейся улыбкой. От этой улыбки у Николая забилося сердце, и так не захотелось уходить. Поглядеть бы еще на эту удивительную девочку, может быть, перекинуться с ней словом. Услышать ее голос. Но с улицы его окликнули, и он вышел взволнованный, утешая себя тем, что завтра же снова побывает здесь.

Эта была первая бессонная ночь в жизни Николая. Он до рассвета просидел в любимом отцовском кресле у потухшего камина.

Юноша закрывал глаза, и перед ним возникало бледное волевое лицо девочки из «заколдованного домика», ее неожидан-

ная искрящаяся улыбка. Интуитивно он угадывал какую-то непонятную ему связь между этой девочкой и чудом, свидетелем которого он был. Чудо само по себе почему-то произвело на Николая меньшее впечатление, чем девочка. Она же показалась настолько необыкновенной, что невозможно было представить ее существование без чудес. Она сама была чудом.

Утром и днем Николай задержали дела, и в «заколдованный домик» он поехал только вечером. Так же, как вчера, ставни окон в доме были закрыты, а стража разгоняла любопытных.

Стражник сказал, что старуху и девочку вместе с вещами недавно куда-то увезли.

От этих слов Николай охватило отчаяние, но он сейчас же утешил себя тем, что все равно разыщет ее.

Он вошел в дом. В избе было совершенно пусто. Вдруг на полу среди мусора шевельнулась и двинулась скомканная бумажка. Но Николай совершенно спокойно взглянул на нее. Он был убежден, что теперь здесь не могло быть чудес. И действительно, бумажонку погнал ветерок.

Николай заглянул в горницу — маленькую, темную оттого, что ее крошечное окно упиралось в забор. Он подумал о том, что *ОНА* выросла в этой нищете, в этой темноте... Но, вероятно, были у нее и радости, если она умела так ослепительно улыбаться.

Он заметил на полу маленький мяч, сшитый из тряпок, и с благоговением подобрал его.

«Как же ее зовут?» — подумал Николай.

— Наверное, Любовь... Любава, — ответил он вслух сам себе и улыбнулся своему неожиданному предположению.

Он вышел из дома. Постоял у ворот. На вопросы любопытных — ползают ли вещи? — ответил, что вещей в доме нет.

«С чего же начать поиски?» — подумал он и решил зайти к соседям.

Он поднялся на крыльцо такого же ветхого маленького домика и постучал в дверь. В сени вышла молодая женщина с красными, в мыльной пене, по локоть открытыми руками. Увидев барина, она принялась вытирать руки о фартук и пригласила Николая в дом. Но он отказался.

— Я только хочу спросить, — смущаясь, сказал он, — куда переехали ваши соседи — старуха и внучка?

Женщина уточнила:

— Панкратиха с Любовой?

— С Любовой? — бледнея, повторил Николай, и ему вдруг стало не по себе.

— Не знаю, барин. И не хочу знать. Что Панкратиха, что Любава — обе с нечистой силой знают.

Николай ничего не ответил, спустился с крыльца, пересек двор и вышел на улицу.

— Быстрее. К городскому голове, — бросил он кучеру, вскочив в коляску.

— В присутствие или к дому? — спросил мордастый кучер в высокой шапке, в тулупе, перетянута ремнем с теми же украшениями, что и на лошадиной упряжи.

— В присутствие.

Когда коляска выехала на главную улицу, Николай увидел возле сквера городского голову и директора гимназии.

— Стой! — крикнул Николай.

— А! Господин Саратовкин, Николай Михайлович! — приветливо встретил его городской голова, снимая шляпу и раскланиваясь.

Слегка приподнял форменную фуражку и директор гимназии.

— А мы вот все насчет вчерашнего толкуем... — продолжал городской голова.

— И я насчет вчерашнего... — сказал Николай. — Не знаете ли вы, куда старуху с внучкой переселили? Я вчера портсигар у них забыл.

— Вот-вот, — заторопился городской голова. — Девушка эта мне сегодня сказала: «Господин, говорит, вещьцу ценную у нас забыл, так вы скажите ему, где мы теперь, может, пошлет кого».

Николай растерялся. Ему опять стало не по себе, так же, как тогда, когда соседка назвала имя девушки.

Теперь он знал ее адрес. Знал ее имя. Весь следующий день мысли о ней не покидали Николая, но что-то удерживало его идти к ней.

Ночью он увидел сон.

Потрескивая и рассыпая искры, горели в камине дрова. И вдруг из пламени взглянули на Николая глаза — черные, блестящие. Светом своим они убили свет пламени. Огонь потух. Из камина вышла Любава, стряхнула с распущенных волос, с мятого платья пепел. Сквозь нее просвечивали цветы шелка, которым были обиты стены комнаты.

— Ты боишься меня, потому не пришел, да? — шепотом спросила она. — Ты приходи, не бойся. Я завтра целый день никуда не уйду. Буду ждать тебя...

Она вдруг превратилась в кукушку и улетела через окно.

Николай проснулся. Была глубокая ночь. На часах в столовой куковала кукушка. Во дворе хриплым лаем заливался старый пес. С улицы доносился стук колотушки ночного сторожа. А из соседней комнаты, заглушая все звуки старого дома, слышался мощный храп матери.

Николай до рассвета лежал не закрывая глаз. Беспокойное ощущение, вызванное сном, постепенно улеглось.

Он встал, по обычаю, заведенному еще при жизни отца, похлебал кислых щей, выпил крепкого, обжигающе горячего чаю и поехал на окраину города, где за монастырской усадьбой доживало свой век старое кладбище, затененное столетними соснами и елями, заросшее буйным молодым подлеском.

Здесь все было знакомо. Николай часто приезжал на могилу отца. Он вошел в открытую калитку кладбища, мельком взглянул на окна сторожки, затянутые занавесками, прошел по дороге мимо, свернул на тропинку, петляющую между могилами и стволами сосен.

Михайло Иванович Саратовкин был погребен в семейном склепе из черного мрамора, с позолоченным крестом наверху. На склепе такими же позолоченными буквами было написано: «Да будет воля твоя!»

Николая с детства волновали эти слова своей страшной покорностью богу, непостижимой уму и сердцу.

Николай снял шляпу и склонил голову перед склепом. Сразу же он услышал шорох позади себя и обернулся, уверенный в том, что сейчас увидит Любаву.

Действительно, прислонившись к стволу сосны, стояла она. Ее черные выющиеся волосы были тщательно причесаны и ничем не покрыты. Она завернулась в старый бабкин салоп, стараясь скрыть, что он велик ей.

Девушка улыбнулась смущенно и чуть слышно сказала:

— Я увидела вас в окно, барин. У вас тут батюшка схоронен?

Николай отметил, что она сообразительна и смела — сразу же нашла тему для разговора, а он растерялся.

— Да, батюшка, — сказал он. — Видите, вот в этом склепе...

— Красивый склеп. И слова какие написаны!..

— Это из Евангелия, — сказал Николай.

— Я знаю, что из Евангелия...

И они замолчали.

— Вы что же, теперь здесь всегда будете жить? — поинтересовался Николай.

— Всегда. Бабушка сторожить кладбище нанялась, а я ей подсобляю. Я вчера все кладбище обошла. Здесь красиво.

И опять они помолчали.

— А вам не страшно тут? — спросил Николай.

— Мы с бабушкой смелые. Живых людей нам больше боязно. А мертвые спят. Они не обижают. За жизнь-то наобижали друг дружку в досталь, теперь отдыхают. — Она недобро усмехнулась.

— Где же вы грамоте обучались, Любава?

Она заметно обрадовалась тому, что он назвал ее по имени, покраснела и, смущенно улыбаясь, сказала:

— Сначала бабушка учила. А теперь я в воскресную школу

хожу. Я страсть как люблю книги читать. Только вот где их брать? Если у вас есть книжки — может, дадите?

— У меня много книг, — горячо заговорил Николай. — Я буду приносить их вам. Хотите, Любава, я буду учить вас?

Она ничего не ответила на эти его слова, а только спросила:

— А вы начальнику сказали, что забыли у нас что-нибудь?

«Откуда она знает про это?» — тревожно подумал Николай.

— Откуда я знаю? — вдруг ответила Любава на его мысль. — Я не могу объяснить. Я иногда могу делать то, что другие не могут. Это ведь я вещи в избушке двигала... Откуда я знаю, почему? Такая уж я родилась. Со мной никто знаться не хочет... Ведьмой меня кличут... Вот и вы не пожелаете книжки мне давать, не пожелаете. И учить меня не пожелаете.

Она закрыла лицо руками и по-детски безудержно заплакала.

— Любава! — Николай шагнул к ней.

Но она отскочила, вытерла слезы кулачками.

— А я могу заставить! — вдруг крикнула она, и глаза ее загорелись, слезы мгновенно высохли. — Даже вас, барин, заставить могу, если захочу. Только я не хочу захотеть. Я хочу, чтобы вы сами...

И она исчезла так же неожиданно, как появилась. Если бы не слышался шорох сухих листьев под ее ногами и не мелькал старый салоп между стволов деревьев, крестов и памятников, можно было бы подумать, что это исчез призрак.

Следующие дни Николай был занят делами, связанными с поступлением на учительские курсы. Новый мир, в котором он оказался, так увлек его, что он забыл о Любаве.

В первый же день занятий Николай был поражен и обрадован, увидев на кафедре того самого учителя гимназии, который когда-то заступился за него перед классом.

После занятий, на улице, Николай дождался лектора, снял фуражку, почтительно поклонился и сказал:

— Василий Мартынович! Вы меня, конечно, запомнили. Таких, как я, сотни прошло через ваши руки. А я вас всю жизнь помнить буду. И на курсы я пошел потому, что мечтаю стать таким, как вы.

Василий Мартынович некоторое время серьезно и напряженно смотрел на молодого человека, как бы перебирая в памяти бесчисленные детские лица.

— А! Николай Саратовкин! Помню, помню. Хорошо, что мы с вами встретились. Мне ведь давно надо было рассказать вам конец той истории. Дело в том, мой молодой друг, что конец-то был мною выдуман для педагогических целей — чтобы вас выгородить. А подкидышем-то у купца Саратовкина был не первый

сын, а вы. Вы теперь взрослый, вам надо знать правду. И мать свою постарайтесь разыскать.

Теперь, когда прошли годы и стали стираться воспоминания о нянюшке Феклуше, слова Василия Мартыновича не произвели на Николая того впечатления, какое они имели бы прежде, но все же на душе стало беспокойно, так беспокойно, что захотелось немедленно кому-то рассказать обо всем, ощутить сочувствие, послушать добрые советы.

И конечно, он вспомнил о Любаве.

Он долго бродил по кладбищу, то и дело выжидательно поглядывая, не дрогнет ли занавеска на окне сторожки. Ему все же пришлось подняться на шаткое крылечко и постучать в низкую дверь.

— Войдите! — откликнулась хозяйка.

И он вошел.

Прежде всего он увидел огромные, блестящие глаза Любавы. Девушка лежала на кровати, закрытая до подбородка старым лоскутным одеялом. Потом только он заметил и Панкратиху. Здесь так же, как в «заколдованном домике», Николая поразила удручающая бедность. Она сказывалась во всем: в отсутствии мебели, в одежде старухи, в спертom воздухе, в закопченных стенах, холоде, почти таком же, как на улице.

Николай поздоровался и торопливо шагнул к постели.

— Она больна? — растерянно спросил он старуху.

— Теперича ожила. А была-то совсем плоха. На ладан дышала. Думала — преставится, — удивительно спокойно произнесла она эти страшные слова.

— Я сейчас быстро, за доктором! — Николай двинулся было к двери.

Но старуха остановила его.

— Я сама лекарь, барин. Каждую травинку знаю. Теперича на поправу Любава пошла. Не тревожься понапрасну.

Любава приподнялась на локте. Ее черные вьющиеся волосы разметались по плечам. Исхудавшее личико озарилось искрящейся улыбкой. Чувствовалось, такой свет, такая радость наполняли все ее существо, что она с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить и не броситься на шею Николаю.

— Сядьте, Николай Михайлович. Бабка, дай табуретку.

Старуха фартуком смахнула пыль с табурета, поставила его возле самой кровати, а потом подумала и отодвинула подальше.

Делала она это неторопливо, неслужливо, скорее с недовольством.

Николай снял пальто, фуражку, поискал несуществующую вешалку и, не найдя ее, положил одежду на край лавки.

Он долго просидел у постели Любавы. Они были вдвоем. Панкратиха в это время сопровождала похоронную процессию.

Николай поведал Любаве свою семейную историю. Любава близко к сердцу приняла ее, даже прослезилась и стала придумывать, как приступить к поискам матери Николая. Видимо, теперь молодой миллионер показался ей не таким недоступно далеким. Она даже один раз назвала его просто Николаем, покраснела и вопросительно взглянула на него.

— Только так, Любава, мы же с вами друзья.

У окна избушки слышались шаги Панкратихи, и Николай засобиравшись домой. Он решительно положил на стол деньги. Все, какие были с собой. А их оказалось не так мало.

Он боялся, что Любава обидится, не возьмет. Но она вспыхнула, опустила глаза, сказала:

— Спасибо.

На другой день Николай уехал на золотые прииски. А когда через несколько дней возвратился домой и обедал с матерью, оживленно рассказывая ей о делах, стряпуха Агафья, подавая жаркое, сказала:

— Опять пришла та барышня, что вчерась вас, Николай Михайлович, спрашивала... Такая красивая барышня и чудная, страсть!

Сердце Николая защемило предчувствием: «Это Любава». Он бросился к окну, взглянул и выбежал из комнаты.

У крыльца стояла Любава. Была она неузнаваемой: в модном жакете, из-под которого падали складки шерстяной длинной юбки, открывая носки новых ботинок. Голову ее украшала красивая шляпка с вуалью, руки были затянуты в перчатки.

— Я ваши деньги принесла. Бабка приказала отдать. Только я вот, крадучись от нее, этот туалет купила себе. Посмотрите — я не хуже тех барышень, с которыми вы на балах танцуете? Не хуже, правда? Все дело только в красивой одежде... Я вот покажусь вам, приду домой — на кладбище — и переоденусь. А когда бабки дома не будет, сожгу все в печке — и шляпку и перчатки...

Она протянула Николаю деньги, завернутые в бумагу.

— Любава! — умоляюще сказал Николай.

— Нет, Николай Михайлович, бабка приказала с деньгами домой не приходить. Возьмите уж, а то я их на землю кину, а люди и так в окна на нас глядят. Вам же неловко будет.

Действительно, отодвинув занавеску, из окна столовой смотрели мать и Агафья. В окне людской тоже виднелись любопытные лица.

Николай взял деньги.

— Меня не провожайте, — сказала Любава, — лучше вслед мне поглядите. Больше меня такой не увидите.

И она пошла. Николай глядел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла за калиткой.

Как она шла! Спокойно, величаво, гордо приподняв голову.

Так под посторонним пристальным взглядом может ходить только царица или великая актриса.

Через несколько дней Николай снова пришел на кладбище.

В этот день «легла зима», как говорили в народе. Легла прочно. Бросила свои белые пуховики на улицы города, кинула их на крыши, присыпала легким пушком козырьки ворот и калиток и здесь, на кладбище, укутала могилы, склепы и кресты.

Кладбище выглядело теперь нарядным и чистым.

Николай смотрел на старый салоп Любавы, на ее подшитые, не по ногам большие валенки, выцветший капор — и ему становилось больно и стыдно за свою щегольскую шубу и бобровую шапку.

Но и в этом нищенском одеянии Любава казалась Николаю прекраснее всех девушек на белом свете.

Он заметил ее покрасневшие пальцы и не удержался, взял их в свои руки, поднес к губам и дыханием стал согревать. Это была первая несмелая ласка, и осталась она незабываемой на всю его жизнь...

Послышался скрип снега, и возле них появилась тучная Панкратиха в старом платке, в длинном, распахнутом пальто. Она, видимо, торопилась сюда и запыхалась.

— Здравствуйте, барин,— недобро сказала Панкратиха.— Любава! Поди-ка в дом! Дров подбрось в печь, не потухла бы. А у меня до вас разговор есть.

Любава пристально взглянула на бабу, потом на Николая и молча пошла прочь. Николай смотрел ей вслед и не сразу услышал и понял то, что сказала ему Панкратиха.

— Вы, барин, Любаву забудьте. Не пара она вам. Поразвлекетесь да бросите. Богачи завсегда так. Хоть и нищие мы, да не все за деньги продаем. Вы на Любаве не женитесь. А положить ее жизнью я не дам. Понятно вам, барин?

И она ушла.

Николай долго стоял в растерянности. А потом тихо пошел между заснеженных могил на дорогу, мимо темного дома Любавы.

Он никогда не думал о возможности жениться на Любаве. Он вообще еще никогда не думал о женитьбе. Его чувство к Любаве было возвышенным и романтическим. Никогда не думал он, что встречи с Любавой могут вызвать различные толки.

И теперь, возвращаясь домой и вспоминая слова Панкратихи, он с отчаянием понял, как сложна и трагична жизнь. Он не мог встречаться с любимой девушкой. Он, богач, не мог избавить ее от нищеты. Не мог он и жениться на ней. Разве мать и дядя позволили бы ему это? Скорей бы Любава исчезла так же загадочно и бесследно, как исчезла нянюшка Феклуша.

Николай еще раз попробовал узнать у Анастасии Никитичны

судьбу своей матери. Он стал взрослым и теперь уже мог прибегнуть к обдуманной хитрости.

Однажды за обедом, в присутствии дядюшки, он весело стал вспоминать детство, подсмеивался над француженкой Жанной Жановной и будто бы невзначай вспомнил нянюшку Феклушу.

— Какие хорошие сказки знала она! Где она теперь? — намеренно равнодушно обратился он сразу к дяде и к матери. — Вроде бы и привязана была ко мне, растила ведь, а вот забыла и попроведовать не зайдет.

Дядя пожал плечами: дескать, ничего не знаю. А лицо Анастасии Никитичны стало холодным, непроницаемым.

И еще раз Николай понял, что она никогда ничего не скажет ему о судьбе родной матери.

От старых слуг он знал, что нянюшка Феклуша исчезла на другой день после пожара, даже за вещами не зашла в людскую, «так и сгинула, прямо из барских покоев».

Можно было бы начать официальный розыск. Но это немедленно станет известно Анастасии Никитичне, и конечно, она примет все меры, чтобы помешать.

И Николай решил ждать.

После лекций и обременительных занятий с дядюшкой делами приисков и сиротских домов Николай почти ежедневно приходил на кладбище, подолгу стоял у склепа, ждал Любаву. Ходил по широкой аллее, издали поглядывая на старый, осевший домишко, словно тоже наполовину похороненный в земле.

Дважды издали он видел Панкратиху с охапкой высохших венков, которыми за неимением дров топила она печь. Он прятался за деревьями. А Любава не появлялась.

Однажды вечером он снова был на кладбище и ждал. Взошла луна, могильные холмики, засыпанные снегом, становились голубыми, еще более холодными, еще более мертвыми. И на сердце ложилась тоска, такая же холодная и беспросветная. Тоска и горечь. Горечь оттого, что он был уверен: Любава, которую природа наградила странным даром провидения, не могла не почувствовать, что он здесь, что он ждет ее.

Она действительно знала это, но не пришла к нему ни в первый, ни в последний раз его ожидания. В последний раз, в те часы, когда Николай бродил по кладбищу, она сидела на стареньком, скрипучем табурете, прижавшись спиной к холодной печке, до белизны сцепив пальцы рук, устремив горящий взгляд в темное окно, и вслух приказывала себе:

— Нет, не выйду. Нет, никогда больше не увижу его. Выброшу его из сердца. Он барин. Я ему не пара. Бабка права. Дороги наши разные.

Через некоторое время она встала, потянулась, спокойно оглядела комнату и, напевая, принялась стелить постель.

Так и застала Панкратиха внучку, внимательно и одобрительно взглянув на нее.

Не зажигая огня, они молча легли рядом на кровать, укрылись лоскутным одеялом, и Любава сразу же уснула.

А Николаю пришлось перелезть через забор, потому что Панкратиха закрыла ворота кладбища.

10

— Слушай, Коля, — сказал Павел Нилович идущему по коридору Грозному, — зайди-ка ко мне.

Гремя увесистой связкой ключей и чертыхаясь, Павел Нилович толкал в замочную скважину то один, то другой ключ. Наконец дверь открылась.

Они вошли в директорский кабинет. В углу стояла полированная горка, обе стеклянные полки ее были уставлены спортивными призами школьников. Тут были награды волейбольных команд, лыжников, конькобежцев, пловцов.

Павел Нилович указал Грозному на свое кресло за столом, а сам сел на стул напротив.

— Что-то некоторые учителя, Коля, на тебя бочку катят.

— Я знаю, что катят. И давно.

— Может, в самом деле ты запанибрата с учениками?

— Я не замечаю, чтобы ученики мои перестали меня уважать или слушаться.

— Да, это верно, — вздохнул Павел Нилович. — И слушаются и уважают больше, чем других. А вот некоторым учителям все же это не по душе. Говорят, умаляешь авторитет взрослых, учителей.

Николай Михайлович пожал плечами.

— Павел Нилович! Всем угодить невозможно. Иду, например, я в старом, поношенном костюме. Некоторые смотрят и говорят: ишь скряга! Зарабатывает неплохо, мог бы лучше одеться! Иду в новом костюме, при галстукке модном. Опять говорят: ишь вырядился — деньги девать некуда. Семьи, детей нет. Денег — пруд пруди.

Павел Нилович невесело засмеялся.

— Ну, а что там за банька в лесу появилась? Слух идет — уединяется.

— А вы не слухам верьте, Павел Нилович, только собственным впечатлениям. Мне запомнилось, как вы во время ремонта буквы на стене ощупывали и приговаривали: «Русский человек глазам не верит».

— Ладно. Приду посмотрю.

— И лозунг Саратовкина вам по душе был, Павел Нилович.

Надо не только учить, но и воспитывать. И я нашел метод воспитания. Вернее, не я, а сами ребята подсказали его — очень романтичный, стало быть, интересный ученикам, и, с моей точки зрения, весьма эффективный. Да вы, Павел Нилович, поставьте этот «мой вопрос» на педсовет. Поговорим. Обсудим. Поспорим. А может, кто и переймет опыт, — вдруг разволновался Николай Михайлович.

— Я к тому и клоню. Мы с тобой всегда об одном думаем. Поставим-ка в самом деле «твой вопрос» на педсовет.

И почему-то в эти минуты Николаю Михайловичу вспомнилось, как в этой самой школе он, мальчиком, стоял у доски — отвечал урок по физике. Учитель Павел Нилович, еще совсем молодой, с буйной шевелюрой, ставил в журнале за ответ «пять». Николай Грозный всегда получал хорошие оценки. Не потому, что любил этот предмет. Он любил учителя и хотел доставлять ему только приятное. Он любил его и сейчас и тоже хотел доставлять ему только приятное. А вот не получалось. Из-за Николая Михайловича Грозного у директора с учителями были постоянные неприятности.

В дверь кто-то поцарапался.

— Войдите, — сказал Павел Нилович.

В дверях появилась длинная, плоская фигура девочки. «Шестиклассница», — мысленно определил Николай Михайлович. Девочка смело пересекла кабинет худыми, легкими ногами. Серьезным взглядом, без смущения она поглядела на директора, а на учителя — это хоть известный ей, но не ее учитель — старалась вовсе не смотреть. Глаза у нее были бархатно-черные и длинные, в густых черных ресницах. В глубине их так же, как в легкой улыбке, затаилась капелька нагловатости. Ох, как хорошо знал Николай Михайлович эту защитную реакцию ребят, эту капельку наглости, под которой они стараются скрыть и робость, и смущение, и бессилие, и страх перед взрослыми, которые нередко позорно пользуются этим бессилием и страхом.

— Здесь заявление нашего класса, — сказала девочка, подавая директору вырванный из тетради лист. — Все подписались. Все до одного.

Павел Нилович знал, что Николая Михайловича уже заинтересовало заявление шестиклассников, и читал вслух:

— «Директору средней школы номер два Павлу Ниловичу Кротову.

З а я в л е н и е

От учеников шестого класса «Б». Нашего классного руководителя Марию Савельевну Чайкину переводят завучем нашей школы, и она от нас уходит. Наш класс очень просит Вас оставить нам Марию Савельевну. Мы ее очень любим.

Мы не хотим, чтобы нашим классным руководителем была Ксения Львовна Рютина, с которой у нас давняя вражда...— Здесь голос директора зазвенел и сорвался. Николай Михайлович знал, что это значит. Павел Нилович сдерживает смех.—...*Тогда уж лучше пусть будет нашим классным руководителем Ольга Николаевна Замошкина — наш литератор».*

Директор помолчал и сказал почему-то с удивлением:

— Действительно, подписи всего класса.

В это время в комнату, мимолетно стукнув в дверь и не дождавшись разрешения, как это всегда делают завсегдатаи, вошла молодая, красивая брюнетка.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит! — усмехнулся Павел Нилович.— Мария Савельевна! Тут ваши питомцы с петицией.

И он протянул заявление шестого «Б» учительнице. Посланица класса покраснела, выпрямилась и с наглостью поглядела на всех троих взрослых. Учительница наскоро прочла заявление, и глаза ее увлажнились.

— Ах вы мои ушастики! — сказала она, порывисто обнимая девочку, словно это был весь ее шестой «Б».— Ты, Танечка, передай им — я же честное слово дала, что на будущий год вернусь к вам. А пока, Павел Нилович, я уже договорилась с Ольгой Николаевной, если вы не возражаете.

— Вы теперь завуч. Это вопрос вашей компетенции... А вот насчет «давней вражды» класса с педагогом надо бы разобраться...

— Разберусь во всем.

Так, не снимая руки с плеча девочки, Мария Савельевна пошла вместе с ней к дверям, забыв, зачем она приходила к директору.

11

На педагогическом совете разгорелись страсти. Некоторые учителя выступили против методов работы Грозного, считая их антипедагогическими.

Мария Савельевна выступала горячо и страстно.

— Для меня, — говорила она, — учитель Николай Михайлович Грозный со студенческой скамьи был образцом настоящего учителя — одаренного, увлеченного, думающего. Что же вы, Алексей Петрович, — кинула она гневный взгляд на пожилого учителя химии, наполовину скрывшего свое изможденное болезнью лицо за огромными темными очками, — имеете факты, что ученики меньше стали уважать своего классного руководителя с тех пор, как увлеклись лыжными походами в «Избу раздумий», которую обиходили своими руками? Я вас спрашиваю, Алексей

Петрович, да или нет? Есть у вас факты, что дети меньше стали уважать своего классного руководителя?

— Фактов у меня нет. Но... это же естественно. Авторитет его рушится. И не только его, но и других учителей. Это аксиома.

— Его авторитет не рушится, — все так же горячо возражала Мария Савельевна. — А других, тех, кого ученики обязательно будут сравнивать с Грозным, очевидно, рушится. И это очень хорошо. Стало быть, надо подтягиваться до уровня настоящего учителя-воспитателя, такого, каким является учитель Грозный.

— Разрешите мне? — попросила слово математичка Вера Ивановна. Она поправила обеими руками пышные, с проседью, волосы, одернула жакет черного костюма и отошла к окну, чтобы видеть всех. Была она высокая и полная, широколицая и толстокостная, но очень складная и приятная.

Она улыбнулась и сказала негромким приятным голосом:

— Ну, это-то все ничего. Меня другое волнует: не кажется ли вам, дорогие товарищи, что Николай Михайлович эксплуатирует своих учеников?

В учительской стало напряженно тихо.

— Чтобы обеспечить учителя материалом для его литературного творчества, — с удовольствием продолжала Вера Ивановна, — его ученики часами работают в архиве в ущерб домашним заданиям и делам по дому. Это нас особенно должно волновать.

Вот тут уж Николай Михайлович не выдержал. Не попросив слова, он вскочил, шагнул к Вере Ивановне и заговорил гневно в улыбающееся, приятное ее лицо:

— Поймите вы! Это же юные следопыты! Проникнитесь, наконец, новым, что несет жизнь. Задумайтесь о новых формах работы. На увлекательных поисках материалов по истории родного края дети учатся и воспитываются, познают жизнь, отношения друг с другом, с семьей, со школой, со взрослыми. Они получают классовое воспитание на незабываемых примерах. Опомнитесь, Вера Ивановна, о чем вы говорите?!

Вера Ивановна снисходительно улыбнулась и спокойным, ровным голосом сказала:

— Детки будут работать. А гонорар — вам? — И она рассмеялась, теперь уже не очень приятным и очень нарочитым смехом.

— Надо же суметь все перевернуть с ног на голову! — с изумлением сказала учительница литературы Ольга Николаевна. — Какая гадость!

Мария Савельевна была потрясена. Она только развела руками.

— У вас, надеюсь, все. Садитесь, — как нашкодившему ученику, брезгливо сказала она. И, не сдержавшись, чуть ли не со

слезами: — Как же можно с такими грязными руками прикасаться к детским душам!

— А! — вскричала Вера Ивановна. — Меня оскорбили! Я буду жаловаться в горно. Вы все слышали, как меня оскорбили?! Внесите это в протокол. Здесь не школа, а лавочка!

— Это тоже в протокол? — спросил учитель физики, молодой человек с длинными волосами и небольшой вьющейся бородкой.

— Оскорбляют! Эксплуатируют учеников! — продолжала кричать Вера Ивановна. — Прибегают к антипедагогическим методам работы! Директор молчит! Завуч поощряет! Лавочка! Не школа, а лавочка!

Вера Ивановна оторвалась от подоконника, прижавшись к которому она стояла, и, красная от волнения, плюхнулась в мягкое кресло.

Шум поднялся такой, что утихомирить взрослых было сейчас труднее, чем разбушевавшийся класс. Кто-то негодовал, кто-то кого-то обвинял, кто-то уговаривал, кто-то смеялся.

Наконец все вспомнили, что они взрослые воспитатели, что идет педагогический совет, что на повестке дня есть еще и другие вопросы. Страсти понемногу улеглись. Была создана комиссия из четырех учителей — проверить работу Николая Михайловича Грозного. Вторая половина педсовета проходила спокойнее.

Правда, говоря о недостатках учебника по литературе для восьмых классов, Ольга Николаевна снова разволновалась:

— Положение у нас, литераторов, сложное. До войны, например, в восьмых классах мы имели шесть часов, а теперь только три. Эту потерю должен был возместить учебник. А он настолько слаб, что диву даешься. Я убеждена, что сигналы из школ в министерство идут непрерывно.

Учителя были очень удивлены, когда вдруг поднялся Николай Михайлович. Все думали, что Грозный подавлен, отрешен, занят своими неприятностями. А он вдруг как ни в чем не бывало встал и горячо вступил в обсуждение.

Николай Михайлович говорил долго и увлеченно.

Ольга Николаевна спросила его:

— Откуда вам так хорошо известен учебник литературы?

Он ответил, пожимая плечами:

— Так я же классный руководитель восьмого, следовательно, обязан знать все, чем они живут...

Домой он ушел первым, не задерживаясь. Прошелся пешком до своего дома. И дорога развеяла неприятный осадок, оставшийся в душе его после педагогического совета.

За письменный стол Николай Михайлович сел в самом отличном настроении.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного

«СИРОТСКИЙ ДОМ М. И. САРАТОВКИНА»

Такая вывеска с оранжевыми буквами красовалась на воротах, козырьки которых были словно сплетены из деревянного кружева, по краям их два петуха с открытыми клювами раскинули крылья. Так и казалось, что вот-вот они захлопают крыльями и заголосят на весь околоток свое пронзительное «ку-ка-ре-ку!».

Это была отличная работа по дереву неизвестного мастера. Такую удивительную резьбу здесь можно было встретить на каждом шагу.

Вот напротив сиротского дома небольшой двухэтажный флигель часто задерживает внимание прохожих. С интересом разглядывают они уже почерневшую от времени, тонкую, замысловатую резьбу оконных наличников, кружева в ладонь шириной, свисающие с крыши, четырехгранные столбцы крыльца, тоже обвитые затейливыми кружевными лентами. Видно, когда-то и скамеечка под окнами дома была обведена деревянными узорами, но теперь от них мало что осталось.

Сиротский дом стоял на горе. Размещался он в двух дворах. Верхний, на взлобке, и нижний, расположенный по спуску горы. В первом дворе в двухэтажном каменном доме верх занимали классы, где учились дети. Низ — швейные мастерские и столовая. В глубине двора длинные деревянные флигеля-спальни, напоминающие наспех построенные бараки со множеством окон.

Во втором дворе, ближе к полукруглой деревянной арке, которая соединяла оба двора, располагались такие же длинные, глазастые, как спальни, флигеля-мастерские. Среди них — новая, совсем недавно выстроенная баня «по-белому», с просторным предбанником и чердаком, увешанным березовыми вениками; тут же конюшни, стойло для коров с сеновалом, погреб, амбары и другие постройки.

О, как на всю жизнь запомнились Николаю эти оба двора, обнесенные высоким частоколом, засыпанные мелкой, утрамбованной галькой.

В детстве много раз бывал Николай в сиротском доме. Приезжал или с Анастасией Никитичной или с Митрофаном Никитичем. И казалось ему потом, что именно здесь взяли его за сердце детские судьбы, и навсегда остался он верен им.

Как-то раз, еще в детстве, появившись в сиротском доме вместе с Анастасией Никитичной, видел он, как из флигелей нижнего двора в двухэтажный дом парами шли воспитанники: девочки в се-

рых платьях, в черных передниках, мальчики в таких же серых штанах и рубашках, и все дети в одинаковых грубых ботинках. Ботинки покупали им на вырост, и малыши не шагали, а волочили ноги, путаясь в также сшитых на вырост одеждах.

Николушке казалось это забавным, и он заливался веселым смехом, пальцем показывая матери на еле двигающихся ребятишек. Но в эти мгновения он и завидовал им.

«Как, наверное, им весело всем вместе», — думал он.

Воспитательница, прямая и длинная, как жердь, на лице которой застыло раздражение против детей, против своей судьбы, против всего мира, поравнявшись с Анастасией Никитичной, сказала голосом, напоминающим звук пилы:

— Дети! Поздороваемся с нашими благодетелями!

— Здравствуйте! — недружно и безразлично отозвались дети, глядя исключительно на Николушку.

Он покраснел. Ему стало почему-то стыдно. По молодости лет в любопытных взглядах сирот, что постарше, он не заметил неприязни и зависти. Это он вспоминал потом, когда стал взрослым.

Малыш, стриженный наголо, точно его только что взяли из больницы, с покрасневшей кожей под мокрым носом, восторженно разглядывал мальчика-благодетеля, его длинные расклешенные брючки, белую блузу с синим матросским воротником и манжетами, бескозырку с лентами, спускающимися на спину.

Малыш загляделся, упал и принялся громко реветь, нарушив торжественность встречи воспитанников с благодетелями.

Воспитательнице удалось, наконец, сорвать раздражение. Она грубо схватила ребенка, поставила его на ноги, тряхнув так, что тот лязгнул зубами. Он перестал реветь, и только нестерпимый страх стоял в его глазах.

В душной столовой, наполненной запахами пареной капусты, жареного лука и едким перегаром сала, дети садились за длинные столы, заставленные железными мисками, до краев налитыми жирными щами. Ели с аппетитом, торопливо, чавкали и шумно прихлебывали, обжигаясь и дуя на деревянные ложки.

Стоя в дверях столовой рядом с матерью и начальницей приюта, Николушка смотрел на ребят, и ему тоже захотелось сесть рядом с ними и похлебать щей из железной миски.

— Я тоже люблю щи. И люблю есть деревянными ложками, — сказал Николушка начальнице.

— Вот приедем домой и станем обедать. Не след тебе садиться рядом с подкидышами.

Но начальница рассудила иначе:

— А почему бы мальчику не попробовать обед, которым кормят сирот? Да и посидеть с ними не грех. Дети как дети.

— Не след, не след... — сердито повторила Анастасия Никитична.

Но Николушка, почувствовав поддержку, знал, как легко в таких случаях настоять на своем.

— Я есть хочу, маманя,— заныл он, собираясь пустить слезу.

— Ну, ладно уж,— сдалась Анастасия Никитична, махнув рукой.

Николушку тотчас же посадили за стол между двумя стриженными мальчишками года на два постарше его. Один из них даже есть перестал — с таким интересом разглядывал Николушку, наклонившись над миской и стреляя хитрыми узкими глазками в его сторону. А другой, унылый, чем-то неуловимым напоминающий нахохлившуюся птицу, даже не взглянул на «благодетеля».

Щи показались Николушке необыкновенно вкусными. Он съел все, что ему дали, и так же, как и его соседи, вылизал миску.

Сироты были довольны, что их «благодетелю» понравился обед.

— Теперь пойдете на двор играть, да? — спросил Николушка разглядывающего его мальчика, так же, как тот, обтирая ладонью губы.

— Пошто играть? — удивился тот. — Работать пойдём в мастерскую.

— В мастерскую? Работать? — Николушка задохнулся от восторга и с уважением поглядел на мальчика.

Он подбежал к Анастасии Никитичне:

— Маманя! Пойдем в мастерскую. Поглядим, как парнишки работают.

Он хотел прибегнуть к удачно использованному приему — сказать начальнице, что он тоже любит работать в мастерской, но вовремя сообразил, что не умеет ничего делать.

Начальница сама догадалась о желании мальчика и, пока Анастасия Никитична беседовала со счетоводом, взяла Николушку за руку и повела в нижний двор через арку к длинному флигелю. И хоть мал был тогда Николушка, а отметил по-своему, по-детски, что начальница не выделяла его из своих подопечных детей, как другие взрослые. Взяла за руку и повела, как повела бы любого сироту. Он хотел было поершиться, высвободить руку, показать свою исключительность, но покорился, притих.

— Вот, Николушка, ты уже видел, где кушают дети. А в этом доме они спят,— показала она на флигель, мимо которого вела мальчика,— у каждого своя кроватка. И каждый ее сам убирает. Даже малыши умеют. А ты сам прибираешь свою кроватку?

Николушка покраснел и соврал:

— Сам.

— Ну, молодец. Всегда прибирай сам,— похвалила начальница.— Наши дети все сами делают. Все умеют. Ведь правда хорошо все уметь?

— Правда,— подумав, ответил Николушка, тогда еще не догадываясь, что с этой минуты желание уметь делать все самому навсегда запало в его душу.

— А они все сироты? — спросил он начальницу, стараясь шагать так же широко, как она.

— Все. Нет у них ни отца, ни матери. Некому их пожалеть. Некому приласкать.

Николушка старался вникнуть в понятие — жалость и ласка. И почему-то подумал в этот момент не о матери, а о нянюшке Феклуше.

— Сирот всегда жалеть нужно,— продолжала начальница.

— А то бог накажет,— подтвердил Николушка тоном Митрофана Никитича.

Начальница улыбнулась и ласково потрепала его по плечу.

С того дня прошло много лет. Давно уже не было в сиротском доме той начальницы. Николай так никогда и не узнал ее имени, но, посещая сиротский дом, всегда вспоминал ее. В его воображении вставала высокая, красивая женщина. И как все высокие и полногрудые женщины, она ходила слегка наклоняясь вперед, словно пытаясь скрадывать и рост и полноту груди. У нее были темные вьющиеся волосы, сзади заплетенные в небольшую косу, свернутую и пришпиленную на затылке. Ласково глядели ее круглые, в густых ресницах, добрые глаза, и выдвинутая полная нижняя губа ее тоже была удивительно доброй и располагающей.

Уже будучи взрослым, вспоминая эту женщину, Николай думал о том, сколько добра и заботы отдавала она несчастным сиротам. Кто она? Что привело в сиротский дом Саратовкина эту женщину с врожденным даром педагога?

Начальница, не выпуская Николушкиной руки, поднялась с ним на ступени крыльца. Уже в дверях мастерской мальчика поразила тишина. Он представлял себе эту мастерскую наподобие дворовой мастерской Саратовкиных, очень шумной и веселой. У верстаков — мягкие вороха душистых, причудливо закрученных стружек, во всех концах поют рубанки, постукивают молотки.

Вероятно, все так и было бы, если б в этот момент юные мастера не покинули своих рабочих мест и не собрались бы в дальнем конце комнаты.

Перешагнув порог, начальница и даже Николушка поняли, что здесь что-то случилось.

Взвизгнувшая в тишине дверь заставила всех повернуть головы, и при виде начальницы дети расступились, пропуская ее и Николушку в середину живого кольца, которое сразу же сомкнулось. В этом кольце, понурив бритую голову, стоял мальчик лет двенадцати. Стоял в независимой позе — сцепив руки за спиной и выдвинув вперед ногу. Правда, голова его была опущена, но казалось, он понурил голову не из страха или стыда за свою провин-

ность, а, наоборот, упрямо, с сознанием своей независимости и правоты.

Около мальчика стоял мастер. Лицо его было красным от гнева, глаза возбужденно блестели, в приподнятой руке он держал книгу, так держал, что сразу было понятно: это — улика.

Мастер сердито стал объяснять начальнице, что виновный не раз уже прятался в кладовой и читал там неизвестно откуда взятые книги, вместо того чтобы работать. А товарищи покрывают его, обманывают, будто бы он захворал.

Николушке стало жаль мальчика. Он также не раз обманывал мать: отказывался ехать с ней в магазин или в гости, прикидываясь больным, а дождавшись ее отъезда, бежал в людскую послушать сказки нянюшки Феклуши. Николушка боялся, что мальчику сейчас крепко попадет от начальницы.

Но начальница, не повышая голоса, обратилась к ребятам:

— А почему вы, дети, обманывали Ивана Ивановича? Вам-то в этом какой прок?

Дети молчали.

— Ну, вот ты скажи, — кивнула она круглолицему мальчишке со смыслеными глазами, ямочками на щеках и смешливым ртом.

Мальчишка, казалось, только и ждал повода посмеяться и с трудом сохранял серьезность.

— А он потом нам пересказывает, что в книге прописано. Интересно — страсть! — выпалил тот, и товарищи одобрительно загудели.

— Понятно. Ну, а теперь работайте, — сказала начальница. — А ты, — обратилась она к виновному, — после работы ко мне зайдешь. Поговорим.

И мастерская стала обычной мастерской. Ребята заняли свои места. Заговорили рубанки. Зашуршала стружка. Николушка с завистью смотрел на детей, а те, понимая его взгляды, старались изо всех сил. Только тот, из-за кого произошло недоразумение, работал вяло, без желания.

«Ему не работать, а читать охота», — смекнул Николушка.

Анастасия Никитична собралась уезжать. Прощаясь с ней, начальница сказала:

— Мальчик тут у нас один есть. Учить бы его надо. К наукам необыкновенно способный.

— Что же, я еще и в гимназиях должна учить подкидышей? — Анастасия Никитична пожала плечами, недовольным взглядом окидывая начальницу. — Хватит того, что кормлю, в мастерских обучаю. Учим читать, писать, считать. Молитвам учим. Что-то вы через край хватили, моя милая!

— Но... — не сдавалась начальница, — мальчик не таков, как все... Может, Ломоносов из него выйдет.

— Какой такой Лононосов? Не знаю, не знаю... — совсем расвирепела Анастасия Никитична от непонятных слов начальницы. — Три класса церковноприходской кончил — и хватит. Вот до тринадцати лет додержим в сиротском, а там пущай на прииски определяется.

— Маманя, а кто такой Ломоносов? — спросил Николушка, когда они тряслись в коляске по изрытым дождями, немощеным улицам, направляясь к дому.

— Не знаю никаких Лононосовых, — отрезала Анастасия Никитична.

За ужином она рассказывала брату о посещении сиротского дома. Николушка сидел рядом с дядей и, выждав перерыва в беседе, спросил:

— Дядя Митроша, а кто такой Ломоносов?

Но дядя тоже не знал. О Ломоносове Николай услышал впервые только через два года, на уроке в гимназии.

Все, что рассказал учитель о деревенском мальчишке, который пешком пришел в Москву, обуреваемый жаждой знаний, и потом стал великим ученым, произвело на Николая неотразимое впечатление. Он вспомнил бритого подкидыша, который стоял в независимой позе, окруженный товарищами.

Николай теперь был уверен, что это будущий Ломоносов, и загорелся желанием помочь мальчику.

После уроков он шел по улице следом за учителем, не решаясь догнать его и заговорить. Учитель давно заметил мальчика и, перед тем как свернуть в переулок, обернулся:

— Ты что, Саратовкин?

Николушка потупился и молчал.

— Ну, смелее, — улыбнулся учитель и, обняв мальчика за плечи, повел рядом с собой.

Под ногами чавкала осенняя грязь. Моросил холодный дождь. Николай заметил, что левый ботинок учителя был залатан. «Значит, небогато живет Василий Мартынович», — мелькнула мысль.

Волнуясь и путая слова, он рассказал о мальчике из сиротского дома, о том, что мечтает помочь ему, а как — не знает.

— Ты вот что, Саратовкин, побывай в сиротском доме, постарайся поговорить с этим мальчиком, узнай его фамилию, имя. А потом подумаем, как быть дальше.

Николай был счастлив оттого, что учитель не отмахнулся от него, как это сделали когда-то мать и дядя.

В эту ночь он долго не мог уснуть. И на завтра, сразу после занятий, не заходя домой, отправился в сиротский дом.

Ему пришлось сначала стучать кулаком, потом до боли бить ногой в калитку так, что наверху содрогались деревянные петухи, а во дворе захлебывались лаем псы, бегающие на цепях вдоль проволок.

Наконец загремел засов, и появился пьяный сторож. Вместо ноги у него была деревяшка. Он узнал Николая, снял картуз, поклонился в пояс и, потеряв равновесие, чуть не упал, хватаясь за косяк калитки.

— Мне начальницу бы...— робко сказал Николай.

— Кого хош, барин мой распрекрасный, кого хош из-под земли достану,— закрывая калитку, приговаривал сторож и ковылял рядом с мальчиком к каменному дому.

— Да вот она и сама тут как тут. Она завсегда тут как тут, особливо ежели не нужно.

С крыльца спустилась знакомая Николаю прямая и длинная, как жердь, воспитательница, весь облик которой выражал крайнее раздражение, готовое сорваться в любой момент на каждом.

«Она была всегда воспитательницей. Почему же сторож называет ее начальницей? — подумал Николай.— Видно, пьян так, что не разбирается».

— Тебе что, мальчик? — строго спросила женщина скрипучим голосом.

— Сей отпрыск — Саратовкин-с, младший-с,— почти пропел над ухом Николая сторож, стараясь говорить значительно.

— А... благодетель сиротского дома... младший Саратовкин,— меняя тон, сказала женщина, пытаясь изобразить улыбку и мучительно припоминая имя молодого барина.

— Мне начальницу нужно,— сказал Николай, с неприязнью поглядывая на нее.

— Так я же начальница, уже скоро год.

Ему стало неприятно и грустно от ее слов. «Какая она начальница? — мелькнуло в мыслях.— Она злая и не любит детей».

— У вас тут мальчик есть,— сказал он,— такой бритый, в столярной мастерской работает. Он в кладовку все прячется и книжки читает, а потом парнишкам про все, что прочитал, рассказывает...

Начальница изумленно смотрела на Николая, не понимая, о чем тот говорит и что ему нужно.

— ...Та начальница, которая прежде была, учить его хотела. Говорила, что он как Ломоносов будет... ученый.

— А! — догадалась начальница.— Это вы про Федора Веретенникова? Так он из сиротского дома сбежал полгода назад. Негодник. Неблагодарный.

— А где он теперь?

— Не знаю, не знаю. Теперь нам дела до него нет.

Николай попрощался с начальницей. Когда пьяный сторож, изъясняясь в любви молодому барину и браня начальницу отборными словами, закрыл за ним гремящий засов калитки, он остановился, задумавшись над судьбой Федора Веретенникова. Где он теперь? Как найти его в большом городе?

Уверенность в том, что из Федора Веретенникова обязательно будет такой же великий ученый, как Ломоносов, не покидала Николая, и ему хотелось принять самое горячее участие в его судьбе. Может, отчасти даже потому, что когда-нибудь какой-нибудь учитель, рассказывая гимназистам о Веретенникове, помянет и Саратовкина, скажет, что, если бы не он, не было бы в России великого ученого.

На другой день Николай дождался учителя, когда тот со стопкой тетрадей в руках и с классным журналом под мышкой вышел из класса.

— Василий Мартынович! — сказал Николай, шагая рядом с учителем. — Этот мальчик убежал из сиротского дома. И неизвестно, где он. А зовут его Федором Веретенниковым.

— Федором Веретенниковым? — с удивлением переспросил учитель. — Тогда не тревожься. Федора Веретенникова я готовлю в гимназию. Способности у него действительно редкие и стремление к наукам отменное. Думаю, через годик определим его в гимназию на казенный счет.

Николай был так же удивлен, как и Василий Мартынович. Но спросить учителя о том, как все это произошло и на какие средства живет Федор Веретенников, он не осмелился.

12

Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Он нарочно выбрал сумерки, чтобы — не дай бог! — не нарваться на своих учеников. Засмеют ведь!

Вышел он из города в тот удивительный сумеречный час, когда ослепительно белый снег становится синим и какая-то особая предвечерняя тишина и покой царят на пустынных, укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, изможденно раскинувших свои перекрестки. Он шел по четкой лыжне с краю тракта.

Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет... Вон там, за горой, Белый ключ. Сюда мальчишкой он ходил за грибами, а чуть налево, в черемушнике, скачет по камням быстрая горная речушка. Она холодна как лед и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду.

От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг. Последний раз был он здесь в сорок первом году. Только летом. На грузовиках, в военном снаряжении, следовал он за своими будущими однополчанами вслед за техникой, идущей на запад вот по этим самым дорогам, только не заснеженным, а изрытым тяжелыми гусеницами.

Он постарался отогнать воспоминания и устало двинулся вперед.

Но знакомая ложбина опять остановила его воспоминанием об играх в «сыщиков и разбойников», а подошва горы напомнила о свидании с черноглазой, хрупкой одноклассницей.

Итак, на каждом шагу возникало давно прошедшее, до тех пор, пока не поднялся перед его глазами заснеженный подлесок, совсем молодой, с которым не могло быть связано его прошлое, и лыжня, изогнувшись, повела его в глубину.

Вот зачернела старая банька в белом, пуховом шлеме, уткнувшаяся боками в синие сугробы.

— Да, романтично! — усмехнулся Павел Нилович, въезжая на утопанную площадку, и наклонился, чтобы снять лыжи. Но в это время странный звук заставил его остановиться и прислушаться.

В баньке раздался треск, словно там что-то разрубили топором. Затем на улице послышался мальчишеский голос:

— На педсовете Грозному за эту баню так наложили, что он и не пикнет!

Павел Нилович осторожно попятился, спрятался за углом избушки.

Он видел, как почти мимо него прошли двое. Одного он узнал. Мальчишки надели лыжи, брошенные около кустов, и, легко взмахнув палками, исчезли в куржаке и в сумерках.

«Что бы это значило?» — подумал Павел Нилович. Он снял лыжи, воткнул около них палки, обошел вокруг бани. Дверь была распахнута, и возле нее валялась сорванная и погнутая железная вывеска, любовно написанная масляной краской: «Изба раздумий». В бане лежал на боку искалеченный журнальный столик, лавки у стен были изрезаны, но не поломаны. Видимо, мальчишки не успели или не смогли закончить свое черное дело.

Не сумели они испортить и железную печь — только унесли куда-то конфорки да выбили из потолка трубу. Подсвечников, о которых так много слышал Павел Нилович, тоже не было.

Директор стоял, смотрел и загорался гневом.

Поздно вечером он вернулся в школу. В вестибюле Даша протирала пол.

— Что это вы, Павел Нилович, ночевать, что ли, в школу пришли? — недовольно моргая синими глазами и подтирая за директором грязные следы, сказала она.

— Никого нет? — спросил Павел Нилович.

— Ну, как же! Николай Михайлович с учениками занимается.

— Как занимается?

— Не знаю как, только слыхала, долбит что-то из истории.

Павел Нилович ощупью прошел по темному коридору. Он поднялся выше этажом и прежде увидал полосу света, лежащую

на темном полу и стене коридора, а потом услышал голоса.

Николай Михайлович занимался с отстающими десятиклассниками.

Павел Нилович легонько стукнул в приоткрытую дверь.

— Разрешите?

Девочка и мальчик испуганно вскочили.

Появление директора в такое позднее время означало ЧП.

— Ну все, друзья. По домам,— сказал Николай Михайлович.

Ученики поспешно покинули класс. А директор присел на парту.

— Почему сам-то? Нельзя разве сильного ученика прикрепить? — сказал он, кивнув в сторону коридора, где слышались удаляющиеся шаги.

— В данном случае нельзя. Не поняли основного. В головах такая каша, что еле-еле сам разобрался.— И, помолчав, спросил: — Что-нибудь случилось?

Павел Нилович рассказал о том, что произошло несколько часов тому назад в «Избе раздумий».

13

Сибирь! Сибирь! Только потому не стремятся зимой на твои просторы люди со всего земного шара, что земляки твои скупы на слово, особенно на похвалу. И еще потому, что не довелось великим поэтам видеть, а затем воспевать твои ослепительные искрящиеся снега, голубое, как в Венеции, небо и солнце, месяцами сияющее над городами, селами и полями твоими!

Этот воскресный день был именно таким ослепительным, искрящимся, прекрасным, несмотря на тридцать градусов, которые не помешали восьмому «А» в полном составе явиться в «Избу раздумий» посмотреть, что сделали с ней негодяи из восьмого «Б».

На площадке возле бани ребята разожгли костер. Возмущение и гнев, охватившие их при виде разрушений, все же не смогли убить молодой радости, предчувствия чего-то неожиданно прекрасного, убеждения, что все плохое пройдет безвозвратно, что мир держится радостью и добром.

Наташка-Коврижка явилась к «Избе раздумий» с вспухшим носом и синяком под глазом. Все уже знали, что она подралась с Борисом Королевым и что у него на физиономии осталось такое же украшение, только еще с добавлением царапин на лбу и на щеках от Наташкиных ногтей. По этому поводу Наташку качали у костра, чуть не уронив в огонь.

Вчера после уроков, на общем комсомольском собрании, стоял вопрос о разгроме «Избы раздумий».

— Может быть, виновные признаются сами? — сказал секретарь комсомольского комитета школы Циношвили — невысокий подросток со жгуче-черной головой и такими же жгуче-черными глазами. — Этим уменьшится вина.

В зале поднялся шум. Но виновные не обнаружались.

— Ну, что ж, — торжественно сказал секретарь, предвкушая тот фурор, который сейчас он произведет. — Борис Королев! Ученик восьмого «Б»! Поднимитесь на сцену! — почти выкрикнул он.

Рыжий толстенький парень так покраснел, что школьники потом язвили: «Глазам больно было глядеть на него, до того он воспламенился».

— Зачем я пойду? — растерянно сказал мальчишка. — Я ни в чем не виноват!

— Он не виноват! — шумно поддержали его со всех сторон одноклассники.

— Он виноват! — грозно произнес секретарь. — И пусть он назовет сообщников!

Борис Королев, чувствуя поддержку класса, приободрился:

— Что, у тебя есть свидетели? Ишь разошелся!

— Есть свидетель! — с нескрываемым торжеством сказал секретарь. И обратился к Ковригиной — члену комитета комсомола, сидящей в президиуме. Он назвал ее на «вы»: — Пригласите свидетеля.

Наташку как волной смыло — так мгновенно исчезла она за дверью.

В затаивший дыхание зал вошел Павел Нилович.

Все ахнули.

Он поднялся на сцену сердитый, колючий и рассказал все то, что случайно увидел в лесу.

Перед лицом такого свидетеля Борис Королев вынужден был назвать сообщника. Им оказался, к всеобщему изумлению, Ваня Семенов — отличник, не получивший ни одного замечания. А вдохновителем был весь восьмой «Б», завидующий «ашникам» и считающий, что они незаслуженно заняли в школе какое-то исключительное положение.

Все решали сами ребята.

Королеву и Семенову дали выговор. Восьмой «Б» пристыдили и поручили редколлегии написать в стенной газете разносную статью об их черной зависти.

А учителям было над чем подумать и поговорить.

Наталя после собрания спряталась в вестибюле, дождалась, когда вывалится из школы шумная толпа «бешников». На улице она терпеливо переждала, когда они разойдутся, и, держась на небольшом расстоянии, пошла по другой стороне за Королевым и Семеновым.

Когда Семенов, потоптавшись возле дома, повернул зачем-то в

переулок, а Королев торкнулся в закрытую калитку, она перебежала дорогу и окликнула его:

— Борька, стой!

Тот остановился, всматриваясь в темноту.

— Ну вот, — задыхаясь, сказала Наталья, — на собрании тебе дали за избу. А я сейчас дам тебе за Николая Михайловича.

И, по-мальчишески размахнувшись, она стукнула кулаком в мягкую щеку мальчишки.

Тот изумленно отскочил, но мгновенно сориентировался и дал сдачи так, что Наталья охнула, схватилась за лицо и еле удержалась на ногах. Тогда она сбросила рукавички, прибегла к излюбленному девчоночьему приему — вцепилась ногтями в лицо противника.

На том они и расстались.

А тот, за кого мстила Наталья, вернувшись в это время домой с комсомольского собрания, раздумчиво ходил взад и вперед по своей небольшой комнатке.

Для него было ясно теперь, в чем допустил он досадный педагогический промах.

В школе нет места привилегиям. «Изда раздумий» должна быть доступной для всех. Работать в кружке «разведчиков» и в архиве должны все желающие, а не избранные.

14

Николай Михайлович Грозный вытер ноги о затертый половик и со странным чувством переступил порог школы. Ему казалось, что впервые он в таких деталях увидел этот дом.

Он шел и думал, что вряд ли жизнь его была бы полноценной, если бы он ежедневно не переступал этого порога.

Он остановился в вестибюле. Точно впервые, он внимательно оглядел просторную, неогороженную раздевалку с длинными рядами вешалок, на большом расстоянии перпендикулярно поставленных к стене. «Просторно и удобно», — подумал он. Пальто висели на плечиках, изготовленных ребятами в столярной мастерской.

На видном месте плакат, сделанный руками ребят. Яркая надпись причудливого шрифта гласит:

«Модные прически для мальчиков».

Нарисованы четыре мальчишеских головы с коротко остриженными волосами. Одна с пробором на правом боку, с высоко подстриженными волосами на затылке. У другого волнистые пряди волос зачесаны вверх и сзади обрезаны, прямо как у девочек. У третьего голова круглая, «под ежик». Четвертый мальчишка с небольшой челкой.

Внизу плаката изображен длинноволосый парень, перечеркнутый красной краской. И совсем низко подпись:

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
ул. Ленина, 3,
проспект Володарского, 39,
переулок Крылова, 32.

Николай Михайлович усмехнулся: «Хорошо!» Точно первый раз увидел и задумался над этим плакатом.

«Однако не надо ли и мне прогуляться по указанному адресу?» — сказал он сам себе в стекло, которое отразило его длинные волосы.

А вот стенд. Он гласит:

ЭТИМИ УЧЕНИКАМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА

Здесь фотографии учеников разных лет. Под каждым снимком имя, фамилия, профессия и год окончания школы.

Николай Михайлович остановил взгляд на портрете вихрастого мальчишки. Теперь это известный миру академик. Девочка со светлыми мечтательными глазами — поэтесса. А тот, круглоглазый, с белозубой, безудержно веселой улыбкой, погиб, защищая Родину от фашистов. Погиб в восемнадцать лет!

Был и его, Николая Михайловича, портрет на этом стенде, но он давно собственноручно снял его по педагогическим соображениям.

Николай Михайлович поднимался по широкой лестнице, середина которой была выкрашена красной краской с желтой каймой по краям и напоминала лежащий на ступенях ковер.

Рука учителя скользила по перилам, и ему вспоминалось, как он, лопоухий, маленький мальчик, катался по этим самым перилам. А потом на выпускном вечере он стоял вот здесь же с одноклассницей Симочкой. На ее черных как смоль волосах повисла завитушка серпантина. А на груди скромного белого платица была приколата бумажка с номером «13». Шла игра в почту. И так просто было Николаю написать ей тогда, что она яркой звездой осветила его сиротливую жизнь воспитанника детского дома, что, кроме нее, у него никого нет на свете.

Но он не осмелился тогда написать этих слов, не осмелился произнести их здесь, на ступеньках лестницы. Теперь иногда он встречает Симочку на улице. Она краснеет при встрече с ним. Они говорят друг другу незначительные фразы и торопливо уходят каждый по своим делам. Он утешает себя: а может быть, оттого и романтично так это чувство, что дороги их разошлись. Не было ни брака, ни детей. Ни одной даже мимолетной ласки.

С горькой усмешкой он мысленно повторяет строки:

Среди миров, в созвездии светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
Но потому, что я томлюсь с другими..

Николай Михайлович поднялся на четвертый этаж. Хотел было миновать исторический кабинет, но достал из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Он любил эту комнату. Все тут сделано руками учеников.

Стены кабинета завешаны фотографиями, вырезками из газет, картами. А вот на столе лежат совсем новые материалы об участниках революции в родном городе. Молодцы ребята! Но этим он займется потом.

Николай Михайлович закрыл кабинет и поднялся еще на один этаж. Он миновал безлюдный коридор и вошел в библиотеку.

Круглолицая, яркощекая блондинка Оля, бывшая ученица Грозного, молча и радостно закивала в знак приветствия. И в ее потеплевших зеленоватых глазах и белозубой улыбке он ощутил искреннее расположение к себе, которое он повседневно встречал почти у всех учеников своих. «Какое же это счастье! — подумал он. Но подумал с какой-то странной грустью. — Да что это я сегодня! Точно собрался прощаться со школой!»

— Олечка, я пороюсь тут немного, — вполголоса сказал он, направляясь к полкам.

Оля снова молча и радостно кивнула. Она старалась не нарушать тишину своего «храма» даже тогда, когда в «храме» никого не было.

Николай Михайлович остановился у приоткрытой двери читального зала. Зал был пуст. Только в глубине зала увлеченно читал книгу семиклассник. Да у самой двери, за столом, сидели двое — девочка с толстой русой косой и учительница Ольга Николаевна. Она была еще сравнительно молодая, с хорошим, умным лицом. Во всем ее облике: и в тихом голосе, и в медленных движениях, и в карих глазах, всегда внимательно глядящих в глаза собеседнику, — был удивительный покой, покой сосредоточенный, раздумчивый.

Николай Михайлович взял с полки новую книгу, стал перелистывать страницы, но внимание его привлек негромкий разговор учительницы с ученицей. Это был скорее спор, и поэтому Николай Михайлович отнесся к нему с интересом. Ведь обычно учителя не спорят со своими учениками. Они вещают, а те слушают и запоминают.

Речь шла о Лизе из «Дворянского гнезда» Тургенева.

— Во-первых, как можно главным в жизни считать любовь? — пожимала плечами девочка.

— Зоя! А что же могло быть главным у барышни, получившей воспитание того времени? Их готовили к тому, чтобы выйти замуж, быть матерью, женой и хозяйкой.

— А потом уйти в монастырь из-за таких пустяков! — продолжала возмущаться Зоя. — Она просто дурочка, эта Лиза!

— Зоя, нельзя так непродуманно делать выводы. Представь себя в той обстановке. Это же не наш век!

— Но в тот век девушка из дворянской семьи убежала на фронт воевать за родину, выдала себя за мужчину! — не сдавалась Зоя. — А декабристки, оставляя детей, шли в Сибирь за своими мужьями! Нет, Ольга Николаевна, меня эта глупая Лиза раздражает. Ставьте мне двойку, как поставила Нина Осиповна двойку Егоровой за то, что та раскритиковала Катерину из «Грозы» Островского. Кстати, я с Егоровой тоже полностью согласна.

— Двойку я тебе не поставлю. Каждый волен иметь свою точку зрения, — задумчиво сказала Ольга Николаевна, — но я убеждена: ты подрастешь, придет жизненный опыт, и ты поймешь, что была права.

— Не знаю, — упрямо сказала Зоя. — Ну чего, например, переполошились так Лизины родные, когда узнали, что та ушла в монастырь? Что тут трагического? Ну, пожила в монастыре, потом снова уйдет домой.

— Девочка моя! — с грустной настойчивостью сказала учительница. — Пойми: уйти-то из монастыря нельзя. Если девушка постриглась в монахини, путь в мир для нее закрыт.

— А мне Нина Осиповна двойку поставила за то, что я про Дон-Кихота сказал, что он просто чокнутый, — вдруг подал голос мальчик из глубины зала.

Николай Михайлович усмехнулся, попытался было углубиться в книгу, но сосредоточиться уже не мог. Другие мысли и образы теснились в его голове.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного МОНАХИНЯ ЕВФРОСИНЬЯ

Годы шли. Николай мужал. Сдавала Анастасия Никитична. Болезнь сердца сделала ее неподвижной и тучной. И то ли мысли о близкой кончине, то ли влияние Митрофана Никитича превратили ее в религиозную фанатичку.

День и ночь в ее спальне горели лампы, висящие на золотых цепях перед образами божьей матери и Николая-угодника. В доме неслышными привидениями бродили монахини в черных одеяниях, с постными лицами и хитрыми глазами.

Наконец Анастасия Никитична совсем слегла и, решив, что смерть пришла за ней, исповедалась своему духовнику отцу Терентию и причастилась святых тайн. Но после соборования ей полегчало. Она начала было поправляться и вдруг внезапно скончалась...

Ее похоронили рядом с Михайлом Ивановичем Саратовским.

К приемной матери Николай никогда не испытывал сыновних чувств, а как человек была она ему далека и непонятна. Кроме того, он не мог ей простить тайну исчезновения родной матери, о которой не обмолвилась она, даже умирая. Но ему было не по-сыновьи, а по-человечески жаль Анастасию Никитичну. Ее болезнь, смерть, пышные похороны надолго вывели Николая из обычного состояния.

И все же на кладбище он заметил, что сторожка изменилась: переплеты окон и ставни покрашены в желтый цвет, с боков поставлены плахи-подпорки и встречать похоронную процессию вышла не Панкратиха, а другая женщина.

«Уехали!» — мелькнуло в мыслях Николая. Мелькнуло и забылось.

А когда гроб под вой нанятых плакальщиц на связанных полотенцах опустили в могилу и застучали по крышке тяжелые комья земли, в памяти Николая промелькнул образ Любавы, ее широко расставленные глаза, большие, лучистые, беспокойные, ее головка в уродливом капоре... Вот здесь, возле этого черного мрамора, стояла она последний раз, в бабушкином салопе и больших подшитых валенках.

Поминки были многолюдными. Гости изрядно напились и вскоре перестали, не чокаясь, тихо поднимать рюмки со словами «Да будет земля ей пухом». Кое-кого потянуло в пляс, в углу застолья слышался смех, вызванный непристойными рассказами дьячка, затем вспыхнула озорная частушка. Потом опомнились, зашикали, затаили поминальную. Николаю стало не по себе. Он вышел на крыльцо.

Был поздний вечер ранней весны, теплый, тоскливый и тихий. Он, этот тоскливый вечер, жил под аккомпанемент городского шума: приглушенно со всех сторон лаяли псы, где-то скрипели калитки и двери сеней, доносился говор, из-за угла дохнула теплом тихая девичья песня, по мостовой процокали подковы коня и проскрипели колеса телеги...

А в небе, как миллионы лет назад, висела полная луна, мерцали звезды, посылая на землю спокойный, холодный свет, гордясь своей вечностью, напоминая человеку о краткости его мгновенного бытия.

Николаю почудился хриплый голос Панкратихи:

«Вы, барин, Любаву забудьте. Не пара она вам... Вы на Люба-

ве не женитесь...» И еще он подумал, что Анастасия Никитична ни за что не позволила бы ему жениться на этой девушке.

Теперь-то препятствий нет. Он волен делать все, что захочет. Но и Любавы нет. Нет ее, удивительной, ни на кого непохожей. Как же мог он упустить ее? Как мог он жить, не встречаясь с ней? Как может он спокойно стоять здесь в этот весенний вечер? Надо искать ее. Надо искать и мать. Он непременно найдет их, и Любаву и родную мать, только тогда он обретет настоящее счастье и станет действительно богачом, обладателем величайших ценностей, далеко не всегда отпущенных судьбой человеку.

Прошло немного времени после похорон Анастасии Никитичны. Николай с дядюшкой целыми днями занимались делами, которые на золотых приисках шли совсем плохо. Николай уже не первый раз заговаривал о вступлении в акционерное золотопромышленное общество. Но дядюшка отмахивался. Не хотел и слышать об этом. Он боялся всего нового.

Вечером, когда служащие, вызванные с приисков, ушли, Николай задержал собравшегося было домой Митрофана Никитича.

— Посидим, дядюшка, посумерничаем, — предложил он.

Митрофан Никитич охотно согласился переночевать у племянника. Он опустился в старинное кресло, в котором любил сидеть покойный Саратовкин.

Митрофан Никитич смолodu во многом подражал Михайлу Ивановичу. Анастасия Никитична, выйдя замуж за Саратовкина, богатым приданым приумножила капиталы мужа. Отец Митрофана Никитича в конце жизни запил и разорился. И сам Митрофан Никитич пошел в услужение к Саратовкину. Отношения у них сложились добрые. Вздорили только по поводу религии. Саратовкин был безбожником, а Митрофан Никитич до исступления верил в бога. В остальном Митрофан Никитич старался походить на Саратовкина, быть таким же деловым, даже одевался «под Саратовкина» — носил плисовые шаровары, заправленные в лаковые сапоги, длинную холщовую рубаху, перехваченную заморским пояском, лицо его украшала борода, подстриженная лопатой.

Вот и сейчас сидел он в кресле Саратовкина, одетый так же, как всегда одевался тот. Но Саратовкин был крепким, краснолицым, с насмешливыми умными глазами, резкими движениями и громким голосом. А у Митрофана Никитича в чем душа держится: ноги, руки сухие, шея, как у подростка, — пятерней обхватить можно, рубаха висит, словно на вешалке. Сам неподвижен — не шелохнется, бывало, во весь вечер, только голосом и выдает свое присутствие, да и голос-то слабый, точно шелест листьев при тихом ветре.

Николай велел принести рябиновой настойки, которую издавна мастерски делала Агафья.

Они выпили. И вдруг без всякого предисловия Николай сказал:

— Дядюшка! А ведь я с детских лет знаю, что не родной сын Саратовкиных.

Митрофан Никитич поперхнулся и долго, нарочно, чтобы оттянуть время, кашлял, закрывая рот ладонью и ненатурально содрогаясь всем телом. Он торопливо прикидывал ответ: оправдываться незнанием глупо, подтвердить — значит взять на себя какую-то долю вины за долгий обман.

— Да, я давно смекнул, что ты истину распознал... — нашелся он и, осушив стопку настойки и хрустнув огурцом, добавил: — Родной не родной — не в том суть. Суть в том, что усыновлен и капиталы на тебя отписаны.

— Это все так... — задумчиво сказал Николай, помолчал и продолжал с нарастающим волнением: — Но у меня есть родная мать. — Голос его стал волевым, громким. — Я хочу знать, где она!

— Вот уж, Николаша, не знаю. То ведомо было только сестрице.

— Неужели вы не поинтересовались, никогда не спросили ее? — не поверил Николай.

— Интересовался, Николаша, а как же... Не раз спрашивал, да покойница, царство ей небесное, — он широко перекрестился, всем корпусом повернувшись в угол, где прежде висели иконы, — бывало, прищипнет только: «Нишкни, не суйся не в свое дело...»

«Может, он и не обманывает, так и было», — подумал Николай и сказал спокойнее:

— Но теперь-то, теперь-то почему мать сама не отзовется?

— Может быть, бог прибрал, — сказал Митрофан Никитич и снова перекрестился. — А то смущать покой твой не хочет, — подумав, добавил он. — Дескать, барин он теперь, живет в довольстве и пущай живет... Матеря — они самоотверженные...

Николай и сам порой думал об этом.

— Где же искать мне ее? — не замечая, произносил он вслух свои мысли.

Митрофан Никитич со вздохом пожал плечами: не знаю, мол, что и сказать. Так и разошлись они на ночь по разным комнатам, ни о чем не договорившись.

Николай прикрутил фитиль керосиновой лампы, стоящей на столике. Потом задул ее совсем, долго вертелся на своей широкой кровати.

Он думал о том, что, если разыщет мать и Любаву, жизнь его переменится, станет другой, настоящей. А какой другой — он не представлял себе. Только та жизнь, которой он жил, его не устраивала. Дела приисков, фабрик, сиротских домов отнимали так много времени, что на учение ничего не оставалось.

Николай чувствовал себя одиноким еще с детства. С тех пор, как Васятка Второв, которому он доверил тайну, предал его, Николай не имел друзей, несмотря на свой общительный характер. Тот давний печальный случай был уроком на всю жизнь.

Утром Николай вышел на крыльцо, проводил дядю. Пара вороных, впряженных в коляску, стояла во дворе. На козлах сидел кучер. Спускаясь с крыльца, Митрофан Никитич остановился и, повернув к Николаю узкое, иконописное лицо, сказал:

— А ты, Николаша, поспрошал бы отца Терентия. Он всегда был духовником Настасьи Никитичны. Может, что и подскажет.

«В самом деле,— подумал Николай,— отец Терентий знает больше чем кто-либо».

Николай повеселел и, когда вороные дружно тронули, приветливо махнул рукой вслед удаляющейся коляске.

Отец Терентий служил в Успенской церкви, которая находилась за углом от дома Саратовкиных, и Николай, не откладывая, отправился туда.

Церковь была украшением города, гордостью его жителей. Стояла она на взгорке, белоснежная, каменная, возвышалась над деревянными домами пятью золочеными куполами.

В церкви шла служба. У церковного сторожа — горбатого старика, продающего свечи, просфоры, дешевые нательные кресты и крошечные иконы, — Николай купил самую дорогую свечу, толстую, перевитую серебряной нитью.

Отец Терентий — низенький, пухлый старец — слабым тенорком читал Евангелие, читал быстро, гнусаво подпевая концы фраз, и там, где стояли точки, отрывался от книги, поднимал глаза вверх, на изображения порхающих под куполом ангелов, и сцепливал на тугом животе, украшенном большим золоченым крестом, толстые пальцы.

Народу было немного. Стоя на коленях, молились две старухи. Они истово кланялись, касаясь лбами каменных плит пола. Справа, у иконы богородицы, освещенной лампадой и горящими свечами, миловидная девушка со слезами на глазах о чем-то просила богородицу, что-то обещала ей. Сзади нее молился известный в городе купец, то и дело отвлекаясь от молитвы и строго поглядывая на оживленные лица двух малолетних сыновей. Но, несмотря на контроль, в те моменты, когда отец устремлял взгляд на икону, мальчишки успевали наградить друг друга молниеносными, отработанными тумаками.

По углам стояло еще несколько человек. Николай подошел к распятию, бездумно перекрестился, зажег свечу о другую, горящую, подержал над ее пламенем нижний конец своей свечи и вставил в подсвечник. Перекрестился еще раз и стал ждать окончания службы.

«Помолиться бы,— думал он,— может, полегчало бы». Но он не верил ни в молитвы, ни в обряды. И порой с тайным страхом думал о том, что не верит и в бога.

И это неверие началось опять же с тех пор, когда друг предал его, не побоявшись, что давал клятву на Евангелии. А Николушка верил тогда, что, нарушив такую клятву, человек провалится в тартарары. Но клятвонарушитель не провалился.

Николай задумался и не заметил, как кончилась служба.

Он вышел и остановился на паперти. Нищие, начавшие было разбредаться кто куда, заметили барина и столпились у ступеней, протягивая руки за подающим.

В городе было много нищих. Николай привык к ним, но сегодня эта картина впервые поразила его. Он содрогнулся при виде слепого старца с широко открытыми, немигающими голубыми глазами, такими пустыми, что было страшно от этой зияющей темной пустоты, охватывающей всю его жизнь.

У Николая сжалось сердце, когда он взглянул на пятилетнего ребенка без ноги, единственной рукой опирающегося на костыль. Он увидел безобразное, дрожащее от холода тело старухи, проглядывающее сквозь жалкие, развевающиеся на ветру лохмотья. Но в толпе были и другие — хитрые и наглые попрошайки. Они, согнувшись и подвернув ноги, притворялись горбатыми, безногими калеками. Николай опустил руку в карман. Не найдя мелочи, он протянул старухе рубль и сказал:

— На всех поделить!

Нищие окружили старуху, и это живое кольцо в странном молчании отодвинулось и скрылось за углом переулка.

А на крыльце уже стоял отец Терентий. Сторож предупредил его о приходе Саратовкина. Священник видел все, что произошло возле церкви, и сказал Николаю, которого знал с малых лет, по-стариковски ворчливо:

— Никогда так не делай. Твой рубль заберет сильный. Остальным — вот что.— И он показал кукиш.

Действительно, из-за угла доносились приглушенные крики и плач.

И вдруг Николай представил родную мать в нищенском рубище. Ему стало страшно. Николай разволновался и тут же, на паперти, сказал отцу Терентию о цели своего прихода.

Тот спокойно выслушал, равнодушно поглядывая маленькими смышленными глазками. Подняв кверху указательный палец, сказал, не сказал даже, а изрек:

— Рабе божьей Анастасии перед кончиной я отпустил все грехи ее, сотворенные при жизни. Ты же должен знать, что священник поставлен беречь тайну исповеди. Не вводи меня во искушение, Николай Михайлович. Уговоры твои меня не переубедят, богатство твое не соблазнит.

Николай попробовал доказать отцу Терентию, что тот поступает не по-божьи: должен же сын найти родную мать и обеспечить старость ее. Но священник упрямо повторял: «Не искушай». И только одно он сказал в утешение Николаю: «Мать твоя жива и в помощи не нуждается». Но это не успокоило, а только сильнее разожгло желание найти ее.

Николай с детских лет хорошо относился к отцу Терентию, но теперь почувствовал к нему острую неприязнь и, холодно прощавшись, спустился с паперти.

На колокольне еще звонили. Подростки под руководством немого звонаря Федьки осваивали мудреную технику звонарного дела: дергать руками веревки, привязанные к языкам маленьких звонких колоколов, а ногами в то же время двигать плахи, приводящие в движение языки больших колоколов, как бы аккомпанирующих маленьким густыми, гулкими звуками. Несколько лет назад Николай тоже взбирался на колокольню, учился звонить. И теперь ему стало еще более грустно от невозвратимости прожитых лет.

За углом все еще слышались крики и плач нищих, сцепившихся из-за щедрого подаяния барина. Надо было бы пойти туда, вступить за справедливость. Но ему не хотелось. На душе было тяжело. Все люди казались недостойными, мерзкими, не стоящими внимания.

Он шел по улице широкими, быстрыми шагами, опустив руки в карманы пальто, кляня нищих и отца Терентия. Но вдруг мысли его стали принимать другой оборот. Николай вспомнил многочисленных священников и монахинь, которые в последние годы жизни Анастасии Никитичны постоянно сновали в доме Саратовкиных. Он отлично знал, что люди эти корыстны и неискренни. Отец Терентий был другим. Он свято верил в свое назначение, он прямо сказал Николаю, что и деньгами его не соблазнить. Нет, он совсем не недостойный, не мерзкий, как показалось это Николаю. Отца Терентия можно было отнести к той же группе людей, к которой Николай относил и учителя Василия Мартыновича. Всех, с кем ему приходилось встречаться, Николай делил на две, к сожалению, очень неравные части.

Прошло много времени. И однажды осенними сумерками в дом Саратовкиных пришел отец Терентий. Он вошел в гостиную, шурша подолом рясы, так же, как дядюшка, привычно повернулся в угол, где прежде висели иконы и горели лампы, занес было ко лбу три пальца, сжатые щепотью, чтобы осенить себя крестным знаменем, но увидел в углу вместо икон шкаф с книгами.

Отец Терентий пожурил Николая. Однако упреки его были не злобные, а высказанные скорее по привычке.

Расправив рясу, он сел на стул, пододвинувшись вместе с ним

к столу. Николай поместился напротив, недоумевая, зачем он понадобился священнику.

— Долго обдумывал я твое желание, Николушка, знать, где находится твоя родная мать. По законам церкви вроде бы я и не имел права открывать признание исповедуемой рабы божьей Анастасии, а сердцем чую, что правда-то на твоей стороне. Все же мать родная! То так решал, то этак. И поехал к ней, к твоей матери. Недалече она от тебя жила, Николушка, недалече по земным верстам и в то же время далеко, ой как далеко по божьей воле. Ушла она из мира, когда ты еще мальчонкой был. Монахиней стала. Имя приняла — Евфросинья.

Николай в волнении встал, опираясь о стол дрожащими руками.

— В Богоявленном монастыре? — спросил он.

— В нем, — подтвердил отец Терентий. — Но, сын мой, преставилась монахиня Евфросинья. Два месяца, как преставилась. Царствие ей небесное! — Отец Терентий тут же встал и размашисто перекрестился.

Николай медленно опустился на стул.

Неслышно ступая, в комнату вошел старый слуга и осторожно зажег большую керосиновую лампу. Абажур в форме распустившегося тюльпана стал розовым, яркий круг обозначился на потолке. Свет развеял тени по углам комнаты. Осветил лица Николая и отца Терентия.

Николай представил себе мать. Она возникла в его воображении, как живая — в голубом платке, сползающем с пышных светлых волос, с улыбкой устремив на сына ласковые карие глаза. И он подумал в эти минуты, что все светлое, что было в детстве, связано с ней, только с ней: и ласка, и заботы, и незабываемые сказки ее... Она дала ему все, что могла дать мать.

— Анастасия Никитична насильно отправила мою мать в монастырь? — спросил Николай.

— Мне Анастасия Никитична сказывала, что ее желание и желание твоей родной матери было единым, так что вроде бы и не насильно постриглась она в монахини. А и другого ничего не оставалось ей, Николушка. Когда лошадь-то тебя сбила во время пожара и принесли тебя домой без памяти, в крови, маменька-то твоя родная в горе себя выдала перед всеми. При сыне ее больше Настасья Никитична не оставила бы, а одной по белу свету мыкаться тоже не радость. Вот она из мира-то и ушла.

— Ушла из мира, — шепотом повторил Николай фразу, которая с детских лет пугала его. Он представил себе монахинь — в черном, со свечами в руках, но свою мать, какой запечатлелась она в его памяти — веселой, улыбающейся, румяной, — он не мог представить в монашеском одеянии. В последний раз он видел ее во время пожара.

Но он не знал и потом никогда не узнал, что незадолго до смерти матери он еще раз встречался с нею. Было это так.

Много лет провела в монастыре монахиня Евфросинья. Но, как ни пыталась забыться в молитвах, помнила о своем Николушке. С помощью веры простила она все барыне, примирилась с тюрьмой-монастырем. А убить в себе материнское чувство не смогла.

Как ни высоки монастырские стены, а молва и через них проходит. Узнала монахиня Евфросинья о смерти Анастасии Никитичны. Забродили в голове греховные мысли. Теперь некому было стоять между нею и сыном. Повидать бы его, рассказать, кто она. Уйти бы из этих ненавистных стен.

В то же время думалось и другое: а простит ли сын матери, что подбросила его? Не сумела сама вырастить? Поверит ли он ей? Ведь у нее нет никаких доказательств. И наконец, самой мучительной была мысль о том, что своим появлением, своей правдой разбередит она сердце сына. Ведь он воспитан как барин, и нелегко ему будет примириться с мыслью, что он не лучше тех, кто живет у него в людской.

Потеряла сон монахиня Евфросинья. Все свободное время на коленях стояла перед иконой, неистово молилась, отвешивала поклоны, прикладываясь лбом к холодным плитам храма, просила святую заступницу отогнать греховные мысли.

Но случилось неожиданное. Новая настоятельница монастыря мать Александра однажды позвала монахиню Евфросинью.

— Знаешь ли ты, сестра Евфросинья, город? Не заблудишься, ежели я пошлю тебя с поручением?

Евфросинья растерялась. Сердце ее забилося, а к горлу подкатил ком. И сказала она хриплым голосом:

— Не заблужусь, мать Александра, давно не бывала, а помню все улицы и проулки.

Настоятельница подала Евфросинье конверт.

— Передашь барину Николаю Михайловичу Саратовкину в собственные руки.

И она назвала адрес.

Хорошо, что Евфросинья вначале взяла конверт, а потом услышала, кому передать его, иначе по дрожащей руке ее мать Александра могла заподозрить неладное.

Как во сне шла она по знакомым улицам, а когда свернула в переулок и увидела дом с остроконечной крышей и узкими длинными окнами, сердце ее забилося так, что она стала задыхаться и поспешно присела на лавочку возле чьих-то ворот, прижимая руки к груди и пытаясь успокоиться.

Высокое каменное крыльцо чем-то изменилось за эти годы. Она поняла чем — не было сбоку деревянного корытца, в котором оставляли подкидышей, корытца, которое снилось ей всю жизнь

в кошмарах... Она бережно держала в руках конверт, изредка взглядывала на него.

«Барину, в собственные руки», — шептала она и плакала.

Хорошо, что переулок был безлюден и никто не видел сидящую на лавочке плачущую монахиню. Наконец она успокоилась, отерла лицо широким рукавом черной рясы и, пошатываясь, пошла через дорогу к воротам.

Не успела она подойти ближе, как ворота открылись и на дороге рванулась пара горячих коней, впряженных в высокую новую коляску.

В коляске сидели Николай и Митрофан Никитич. Она сразу же узнала того и другого, скользнула взглядом по постаревшему лицу дядюшки и потом уже не отрывала глаз от сына. Он стал взрослым, широкоплечим, с открытым взглядом веселых карих глаз, ее глаз, с пушистыми волосами, как у нее, у его матери...

Она вскрикнула, подняла над головой руку с конвертом и бросилась под ноги горячих коней. Но кучер вовремя натянул вожжи, дворник, закрывающий ворота, вовремя кинулся к ней и с криком «Ходи с оглядкой!» оттащил ее от дороги.

Молодой барин выпрыгнул из коляски и поднял монахиню. Она дрожала, слезы катились по испачканному лицу. И в то мгновение, когда Николай держал ее за плечи и участливо спрашивал, не зашиблась ли она, монахиня незаметно припала губами к его одежде. А потом собрала все силы и неожиданно звонко сказала, протягивая ему конверт:

— Барину в собственные руки.

Пока он разрывал конверт и читал письмо настоятельницы монастыря, Евфросинья смотрела, смотрела на него, пытаясь навечно запечатлеть в сердце глаза, лицо, движения сына.

— Настоятельница монастыря насчет пожертвования, — сказал Николай дядюшке и пошел к коляске, но снова вернулся, порылся в кармане, достал серебряную монету и подал монахине.

Она протянула дрожащую руку и молча взяла монету.

Кони тронули, кучер гикнул, закрутил над головой кнут, коляска исчезла из глаз монахини. Евфросинья знала, что больше никогда не увидит сына, и единственной памятью о нем осталась в ее руке серебряная монета. Она вернулась на лавочку, где сидела до встречи с сыном, то и дело разжимая руку, глядела на монету с оттиском двуглавого орла. А в мыслях было одно: «Ну почему же, почему не погибла под ногами Саратовкиных рысаков! Все равно я совершила грех, пытаюсь наложить на себя руки. Грех этот не замолить в монастырской церкви. Бог не простит».

Сумерки опустились на улицы города. В окне дома Саратовкиных мелькнул свет. Она встала и, пошатываясь, часто останавливаясь, поплелась в монастырь. Другой дороги для нее не было.

Борис Королев первый год учился в этой школе. Семь классов он окончил в селе на Первомайских золотых приисках. Десятилетку там еще не построили, и родители отправили сына в город к дальнему родственнику — старому пенсионеру. Тот был рад разделить одиночество хотя бы и с малолетним, и отношения у старого и малого сложились самые добрые.

Они занимали просторную комнату в общей квартире. А в комнате напротив жил тот самый Ваня Семенов, с которым Борис совершил разгром «Избы раздумий».

Первый поход к бане, закрытой сугробами и молодым заснеженным подлеском, совершил почти весь восьмой «Б». Сквозь дверную щель и слюдяное оконце ребята почти ничего не разглядели. Но вывеска им понравилась. Понравилось и место, где стояла изба. А главное, сам смысл существования этой избы, да еще с таким названием.

— Ой, здорово-то как!

— Нам бы такую избу!

— Давайте сделаем такую же! — слышались восклицания со всех сторон.

— Ну уж извините, — сказал кто-то, — обезьянничать? Что, у нас своих голов на плечах нет?

— У нас такого классного руководителя нет! Вот в чем дело!

— Но он ведь и нас тоже истории учит. Почему же все им! А мы что, приемыши?

Так родились зависть к восьмому «А» и критическое отношение к учителю истории.

Вечером Борис пришел к Ивану. Не получалась задача. Матери Ивана, на счастье, не оказалось дома.

Она была актрисой Театра юного зрителя и выглядела совсем девчонкой, не матерью, а старшей сестрой Ивана. Иван походил на мать. Был тоже маленького роста, худенький, узколицый, с большими, очень серьезными голубыми глазами. Учиться Иван любил.

Он удивлялся многим явлениям жизни и пытался найти объяснение им. А, как говорил Аристотель, мышление начинается с удивления. Удивление — могучий источник познания.

Иван был любимцем всех учителей. А Борис относился к Ивану скептически. И если бы он каждодневно не нуждался в помощи одноклассника, то не водился бы с ним. Он, как и многие школьники, презирал отличников, считая их зубрилками. Был убежден, что толку от них для общества все равно не будет. Расстроят себя на зубрежку и подлизывание к учителям, а на творчество заряда у них не останется.

Вот все эти соображения Борис и высказал в этот вечер Ивану. Иван вначале рассердился, но успокоился удивительно быстро.

— Да нет, я много занимаюсь не для того, чтобы быть первым. Я об этом и не думаю. Мне просто интересно. Ну, скажем, проходим мы Пушкина. Ольга Николаевна расскажет о нем, об его окружении, об эпохе того времени. Чуть-чуть почитаю в учебнике. А мне хочется знать больше. Я хочу знать все о Кюхельбекере, о царе, об Арине Родионовне, о селе Михайловском, как оно сохранилось. Ну я и достаю книги обо всем этом и читаю. Поэтому, наверное, и знаю больше, чем другие...

Борис ехидно сощурил коричневые глаза и спросил:

— А по физике читаешь книжки про формулы разные? И по геометрии о непересекающихся параллельных линиях?

— И по геометрии и по физике. Знаешь, в серии «Жизнь замечательных людей» какой роман о Ньюtone? Закачаешься!

Борис помолчал. Что-то вроде зависти и уважения к товарищу шевельнулось в его душе, но он постарался заглушить это чувство.

— Я учу только то, что задано по учебникам,— хвастливо сказал он,— и амба! Вокруг так много интересного, что сидеть за книгами некогда.— И снова, ехидно сощутив глаза, спросил: — Ну, а то, что всем нам от учителей попадает, тебе же никогда, ты всегда в стороне, ты всегда паинька, как объяснить?

И вот тут-то Иван не смог ответить.

— Наверное, такой уж я...

— Положительный! — злорадно подсказал Борис.— Ты хоть разок бы доказал ребятам, что не маменькин сынок.

Дома Борис вспомнил, что Иван позволил ему списать уже решенную задачу. Обычно он заставлял Бориса самого делать задачи и только поправлял ход действия. Видно, Ивана взволновали слова товарища, и он забыл о своем принципе не давать списывать, а только помогать.

Иван тоже в этот вечер все время мысленно возвращался к разговору с товарищем.

Нет, он решительно не согласен насчет зубрежки. Он действительно больше всего в жизни любил учиться. В этом была радость, в этом был отдых, в этом было все его будущее, весь смысл существования на земле. Но слова о том, что он «маменькин сынок», «положительный мальчик», задели его. И в них он почувствовал какую-то долю правды.

В самом деле, в школе его всегда только хвалили. Ставили в пример товарищам, и те его не любили...

Иван взглянул на часы. Был одиннадцатый час. Скоро должна прийти из театра мама, и он чуть не опоздал разогреть ужин. Накрывая на стол, потянулся было за хлебницей, но вспомнил, что

хлеб мама не ест — худеет. Ему даже жаль ее за эти лишения. Как любил он свежий, ароматный хлеб с толстым слоем масла. А ей нельзя. Пополнеет — не сможет играть девочек и мальчиков. Тоже профессию себе выбрала!

Он принес из комнаты вазу с цветами (цветы у них не переводились от поклонников маминого таланта). Иван любил, чтобы все было красиво. Мама тоже любила.

Опять вспомнились ему слова Бориса: «положительный мальчик», «маменькин сынок». Но почему позорно быть хорошим человеком — дисциплинированным, точным, вежливым? Почему плохо любить мать, не скрывая это от посторонних, заботиться о ней, стараться не доставлять ей неприятностей, которых в жизни у нее и так было сверхдостаточно. Ни у матери, ни у него еще не зажила рана, нанесенная отцом, когда он ушел к сестре матери — тете Лене, которую с детства так любил Иван. И как страшно было им разочаровываться в двух близких людях, отрешиться от них.

И все же в глазах товарищей он «маменькин сынок» и «положительный мальчик».

В прихожей щелкнул замок, послышался шум снимаемой одежды. Потом стукнули об пол сапоги, и, шлепая домашними тапочками, в кухню вошла мама с красными гвоздиками в руке. Как всегда после спектакля, она была возбуждена, со следами грима на лице.

Мама поцеловала Ивана и отдала ему гвоздики. «Конечно, маменькин сынок», — с горечью подумал Иван и отметил, что в этот раз не обрадовался ни маминой ласке, ни гвоздикам.

Утром, уже в пальто, с портфелем в руках, Иван стоял в коридоре, ждал, когда выйдет из комнаты Борис.

Вот в двери щелкнул ключ, и старческий голос наставительно сказал:

— Веди себя, как подобает серьезному мужчине. Тройкам и двойкам доступ закрыт.

Борис буркнул в ответ что-то невразумительное.

Иван быстро прошел по коридору, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Встреча получилась случайной, и оба двинулись вниз. Борис, лежа животом на перилах, Иван — вприпрыжку по ступеням.

Шагая по улице, они продолжали вчерашний разговор. Вот тут-то и произошел сговор — вечером поехать на лыжах в «Избу раздумий», насолить восьмому «А» и их классному руководителю.

Повод, с точки зрения Ивана, был серьезный и справедливый, и товарищам можно было доказать, что он не «паинька», не «маменькин сынок»...

А потом вот — комсомольское собрание. Выговор. Но самое неприятное — это разговор с мамой, с глазу на глаз.

— Ты совершил такой бесчеловечный поступок? Ты, отличник! Пример для всего класса! — немного театрально вскидывая брови и расширяя подведенные глаза, изумлялась мама. — Я не верю, чтобы мой сын сделал такое по доброй воле. Скажи, тебя принудили? Тебе грозили? — И в голосе ее звенели слезы и надежда. Надежда и слезы. И тоже чуть-чуть театрально.

— Нет, я сам, — упрямо несколько раз повторил Иван.

Естественно, что назавтра мама вместе с сыном явились пред светлые очи директора.

В кабинете, кроме Павла Ниловича, была классная руководительница восьмого «Б» Татьяна Михайловна — женщина старая и сердитая, которую ежегодно ребята собирались «проводить на пенсию», а она никак не уходила. У окна, за пальмой, в каком-то странном уединении, почти спиной ко всем, сидел Грозный.

То, что здесь были и мать и учитель истории, еще более испортило настроение Ивана. На душе совсем стало мерзко и мрачно. Он решил молчать, тупо молчать, чтобы уж до конца не быть «паинькой» и «маменькиным сынком».

Опустив голову, он не ответил ни на один вопрос Павла Ниловича и Татьяны Михайловны.

Но он не сдержался все же, когда Татьяна Михайловна сказала:

— Значит, решили мстить, потому что не уважаете, не любите учителя истории...

— Нет, — Иван поднял голову, — такого учителя, как Николай Михайлович, любит и уважает вся школа.

Павел Нилович в изумлении развел руками.

— Так вот, Семенов, чтобы больше таких хулиганских выходов не было. Понял? Ты же отличник, мы всегда в пример тебя ставили! — возмущенно сказала Татьяна Михайловна. — А вас, мамаша, прошу воздействовать на сына. Ведь труден первый шаг, а там пойдет и пойдет...

— Да нет. Не пойдет, — вдруг спокойно сказал Николай Михайлович.

Он встал, подошел к мальчику, положил на его плечо руку и сказал фразу, которую из всех присутствующих понял только один Иван.

— Ну, доказал. И хватит. Больше не надо.

А когда мать и сын вышли, Татьяна Михайловна, изумленно приподняв брови, спросила:

— Что доказал? Кому? Объясните, бога ради!

— Доказал, что и он, как все, способен на месть, на шалость, на плохое поведение. Не мальчишка он, что ли? Ведь надоедает вечно быть примером!

— Ну, знаете!.. — сказала Татьяна Михайловна.

А Павел Нилович молча поскреб в голове, усмехнулся, затем нарочито долго рылся в бумагах на столе и вдруг хохотнул:

— А ведь знаешь, Николай, с ними не соскучишься!

Борис явился к директору со старым пенсионером. Старик, убоявшись, как бы детки «не смазали» шапку, снял ее только в кабинете и держал в руке.

— Я не отец. Но мне родителями вверена судьба этого подростка,— торжественно сказал он, радуясь, что наконец снова стал нужен.

Он начал было многословно защищать мальчика, но тот хмуро сказал:

— Я сам, Демьян Семенович!

Борис вышел вперед — решительный, взъерошенный, как воробей перед боем. В самом деле, разве легко пятнадцатилетнему объясняться со взрослыми!

— Мы обиделись всем классом на восьмой «А». Почему они на особом положении? Решили мстить. Я все придумал, и Ивана тоже я подбил. Поддразнивал его, что он «маменькин сынок», «паинька», «отличник». Вот он и решил доказать, что не хуже других. Я виноват, а не он...

Тут Павел Нилович выразительно поглядел на Татьяну Михайловну и прервал мальчика:

— Ну, как сам понимаешь, поступок — хуже не придумаешь. А что товарища защищаешь — молодец! За это вот столечко вины с тебя снимаю.— И он показал на кончик своего толстого пальца.

Татьяна Михайловна молчала. Она не поддерживала снисходительного тона директора с учеником. Она глубоко была убеждена в том, что воспитывать ребят можно только страхом перед взрослыми.

Вечером, когда Грозный шел из школы, его догнали двое мальчишек.

— Николай Михайлович! Мы выслеживали вас целый день и только теперь...

— Поймали? — усмехнулся Грозный.

— Нет, мы для того, чтобы извиниться перед вами,— сказал Борис.— Мы никогда больше так не будем...

— Ну и хорошо,— сказал Грозный.— Бегите домой, а то поздно. Родители ждут.

— Нет, еще не все,— сказал Борис, стараясь идти рядом с учителем, а Иван тактично отступил.

— Я слушал главу из вашей повести. Начало ребята мне рассказали. Я ведь с Первомайских приисков, а они когда-то были приисками Саратовских.

— Что ты говоришь? — изумленно переспросил Грозный и остановился.— Ты где живешь?

- Да вон, на той стороне! — враз показали мальчишки.
— Ну, тогда я на полчаса к вам. Не возражаете?
— Конечно! — дружно воскликнули оба.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ

Много раз в жизни вспоминал Николай Саратовкин один из своих приездов с Митрофаном Никитичем на золотые прииски.

Управляющий с нарочным не однажды слал письма, в которых сообщал о том, что рабочие бастуют, требуют прибавки жалованья и десятками перебираются к другим хозяевам. Барин не обращал внимания на эти жалобы. Управляющему надоело равнодушие молодого Саратовкина, и он пригрозил уходом.

В жаркий июльский полдень неожиданно Николай и Митрофан Никитич появились на прииске. Они знали, что на главном стане в это время дня никого не застать, и подъехали прямо к забоям, спешили, привязали к дереву коней.

Николай с детства хорошо знал эти места. Сюда в летнюю пору не раз приезжал он с Анастасией Никитичной и часами просиживал у бутарки, где рабочий, вооружившись железным гребком с деревянной ручкой, промывал песок. Мальчик с интересом наблюдал, как старатели ссыпали песок из тачек в воронкообразную верхнюю часть бутарки на железный грохот с дырочками. Он думал: «Так много песка переворошили, так много рабочих трудилось, и так мало оказалось золота, совсем мало! Хоть бы самородок попался! Не с кулак величиной, хотя бы с ноготь!» Но самородки не попадались...

В ту пору ушедшего детства Николай не замечал, насколько прекрасна была здесь природа. Зато теперь его поразила первозданная красота, от которой он не мог отвести взгляда. Дядюшка уже несколько раз окликал его. А он стоял и смотрел на величавые голубые гольцы, сверху покрытые снегом, грядами уходящие в туманную высь неба. Прииск обнимала тайга, которую Николай только что пересек верхом на коне по узкой тропе. Глухие, прохладные кедрачи пушистой хвоей своей шептали удивительные истории, совершающиеся здесь, на золотых приисках. Ведь почти каждый старатель шел сюда в надежде на фарт, с тайной мечтой разбогатеть. А фарт этот приходил к избраннику раз в столетие. Сколько трагедий было пережито здесь, сколько преступлений совершено!..

Мысли Николая прервал дядюшка, которого заедала мошка. Он уже извлек из кармана сетку и подал ее племяннику, сам же,

ругаясь, отбивался черемуховой веткой от живого клубка гнуса, кружащего над головой. В этот день хозяин вместе с управляющим осмотрел прииск. В просторной избе на главном стане Николай пообедал вместе с рабочими за деревянным, чисто выскобленным столом. Грузная фигура поварихи, мелькнувшая у печки, показалась ему знакомой, но он не задержал на ней своего внимания.

Похлебка была жидкой. Правда, в оловянной миске Николая поблескивали жиринки и плавало мясо, но он понимал, что хозяину подано лучшее. Он слышал, как молодой рабочий громко сказал соседу: «Проси добавку — при барине не откажут».

Вечером на главном стане собрались рабочие всего прииска. Дядюшка и управляющий побаивались многолюдного сборища, предлагали молодому хозяину побеседовать с рабочими на отдельных станах, но Николай еще не привык к окольным путям, и, кроме того, неожиданно для себя ему захотелось почувствовать настроение этих людей, понять, чем они живут.

В памяти на всю жизнь осталось одно впечатление от этого разговора, резкость и презрение большинства, настороженность и холуйское подхалимство некоторых, а за всем этим — стена ненависти к нему, капиталисту. Он думал о том, что требования рабочих были справедливыми, но понимал, что если удовлетворить их, то прииск заметно снизит прибыль, которая множит саратовкинские капиталы. И Николай вступил на окольный путь, по которому всегда шли и его приемный отец и дядюшка. Он пообещал рабочим продумать их требования и сообщить свое решение. «Как все это странно, нелепо, непостижимо!» — думал Николай, поздним вечером сидя на завалинке, напротив дома главного стана, притаившегося среди стволов деревьев, в завешенных окнах которого мерцал слабый свет.

Николай докурил папиросу, бросил на землю, затоптал.

Ему захотелось пройтись по лесу. Зябко поеживаясь от ночной прохлады, засунув руки в карманы, нащупывая ногами тропу, он не спеша пошел между деревьями в глухой мрак ночи. Не успел Николай сделать и десятка шагов, как почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки. Он не испугался. Остановился, вглядываясь в темноту. Перед ним стоял высокий человек.

— Неразумно, хозяин, ночью гулять одному по лесу, — весело сказал он хриловатым голосом. Это был откатчик Матвеев, мужик средних лет, заросший до глаз, больших, пронзительных, умных глаз. С львиной гривой волос, широкоплечий и больше-рукий.

На собрании рабочих он наговорил Николаю и управляющему прииска много резких, обидных слов, самых неприятных, но и самых справедливых.

— Здесь не город. Чай ты давеча понял, что старатели тебе

не ахти какие други, глядишь, и натворят что под покровом ночи-то,— так же весело продолжал он.

— А у меня в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи, золота тоже нет,— попытался отшутиться Николай.

— Ан не всегда в этом дело, хозяин. Есть на свете такая штучка — посильнее золота. Классовой враждой называется. Слышал, верно?

— Как не слышать! — все так же пытался шутить Николай.— Слухами земля полнится!

А сам подумал, что ее — эту классовую вражду — он ярко почувствовал сегодня в разговоре с рабочими прииска.

— Нет, неразумно, хозяин, одному по лесу ходить, неразумно,— твердил свое Матвеев.— Саданет в темноте старатель какой ножом в спину — и поминай как звали! Ночь злодея не выдаст. Возьми хоть меня в товарищи погулять.

Николаю стало не по себе от речей откатчика, но гордость не позволила повернуть обратно.

— Пойдем,— сказал он.

По узкой тропе идти рядом было невозможно, и откатчик пропустил хозяина вперед. Николаю казалось, что еще несколько шагов, и он почувствует в спине лезвие того самого ножа, о котором так весело говорил Матвеев.

— Теперича направо, хозяин, там близко просека,— сказал откатчик и громко стал насвистывать какой-то странный, срывающийся мотив.

Николай вздрогнул. Ему показалось, что свист этот был сигналом. Он остановился, порывисто повернулся к Матвееву и дрожащими руками стал доставать из кармана папиросы.

— Куришь? — спросил он.

— Даровое курю.

Он принял папиросу, зажег спичку и, прежде чем Николай приложился краем папиросы к огню, осветил его лицо. Умные, пронзительные глаза насмешливо взглянули в глаза Николая.

В эту минуту вблизи послышался конский топот.

— По просеке скачут! — прикуривая, сказал Матвеев.— Смотри, хозяин, пока ты гуляешь по тайге, не твоих ли коней слямзили?

— Кому здесь нужны мои кони? — спокойно возразил Николай.

— Не жалко, значит. Да при твоих капиталах — что кони! Посидим вот здесь.

Николай вгляделся в темноту и увидел белеющий ствол сваленной березы. Они сели. До них все еще доносился затихающий топот лошадиных копыт.

— В самом деле, зачем кто-то ночью скакал по просеке? — спросил Николай.

— Я же говорю: твоих коней, хозяин, угнали. Других коней здесь не было... — засмеялся откатчик. — Хотя этим тебя прижать решили. А то какая несправедливость: ты, скажем, миллионером родился, а я нищим. Тебе все, а мне ничего.

— И я — нищим, — неожиданно для себя сказал Николай. — Нищая подбросила миллионеру. Тот усыновил.

— Рассказывай басни, — не поверил откатчик.

— Ну, не верь. Я правду говорю.

— Стой, стой, а ведь слухи такие в самом деле ходили у нас на приiske. Повариха сказывала... Занятно. Как же ты своих-то эксплуатируешь? Взял бы да богатства свои поделил на всех. И мне бы, глядишь, что-то перепало. — Он помолчал и сказал резко: — Нет, брат, хоть и нищим родился, а вырос в довольстве. Про нужду не знал. Гусь свинье не товарищ! — И опять он помолчал, а потом спросил раздумчиво: — Ты, хозяин, в бога веруешь?

— А что? — спросил Николай.

— Вот ты не ответил прямо на мой вопрос, значит, и у тебя сомненьице: вроде бы и нет его, а вдруг есть — накажет за неверие. А я, хозяин, не боюсь и говорю: знаю, что бога нет. Не мог бы он учинить такой несправедливости — одному все, другому ничего. Я не только про богатства говорю. Я и про другое думаю. Вот у меня, к примеру, сын глухонемым родился. За что ребенку наказание такое? За мои грехи али материны? Где же справедливость-то? Нету ее на свете. Нету. А стало быть, и бога нету.

Николай молчал. Он не мог опровергнуть слова откатчика. Эти самые мысли не раз посещали и его, колебали веру в бога. А он страстно хотел верить, считая, что только вера может скрасить бессмысленность человеческого существования.

Время подходило к полуночи. На черном небе мерцали яркие звезды. На кружева кедровых крон то там, то здесь игриво садился золотой рогатый месяц. С гор, из ущелий, как из ледников, тянуло холодом. Ветерок не дышал.

Но вдруг тишину разорвали крики, потом раздался пронзительный женский вопль. Шум слышался со стороны главного стана.

— Что случилось? — обеспокоился Николай.

— Что-то случилось, хозяин, — спокойно сказал откатчик. — В такие разбойничьи ночи завсегда что-нибудь случается. Поглядим, что ли?

Он встал, шумно потянулся, так что хрустнули суставы, и пошел по тропе, теперь уже впереди.

А на приiske в эту ясную, безветренную ночь действительно случилось удивительное происшествие. Николай и Матвеев увидели у построек главного стана толпу людей. Многие дер-

жали в руках зажженные фонари. Из открытой двери дома на крыльцо падал свет, и оттуда слышалось женское причитание, голос был уже охрипшим от громкого плача.

К Николаю метнулся дядюшка.

— Ну и слава богу! Слава богу! — широко перекрестился он, увидев Николая. — Где же ты пропадал? Я уж чего только не передумал! А тут вон какие дела!

И Николай узнал, что, пока он любовался природой и беседовал с откатчиком, на его конях с прииска сбежали двое: красавец цыган и внучка поварихи.

— Романтическая история! — усмехнулся Николай и подумал, что Матвеев, вероятно, в сговоре с ними.

Было понятно горе поварихи. Но толпа, как ни странно, сочувствовала не ей, а какому-то оборванцу, сидящему на крыльце. Он вцепился руками в волосы и раскачивался из стороны в сторону с глухими стонами.

«Должно быть, отец сбежавшей», — подумал Николай. Но это было не так.

Позднее Николай узнал фантастическую приисковую историю, связанную с этим ночным происшествием. Одну из тех историй, которых так много слышал он с детства.

Этот оборванец много лет работал на приисках. Его звали Петром Чижиковым. В ранней молодости Петр Чижиков пришел старателем на прииски Михайла Ивановича Саратовкина, как все, мечтая о фарте. Он был работающим, скромным, не прикасался к спиртному. Управляющий приметил эти качества молодого рабочего и, когда однажды приехавший на прииски Саратовкин потребовал человека, которому мог бы он доверить серьезное поручение, прислал к хозяину Чижикова.

Саратовкин принял его в кабинете управляющего. И когда молодой рабочий смущенно остановился у двери, не зная, куда девать свои большие заскорузлые руки, Саратовкин оглядел его цепким, молниеносным взглядом и остался доволен.

— Так вот, Петр Чижиков, — сказал Саратовкин, пальцами, украшенными драгоценными перстнями, ухватив в горсть густую, вьющуюся бороду, — фарт, ради которого ты пришел сюда, не в горах лежит, а вот он, — Саратовкин отпустил бороду и ударил кулаком в свою могучую грудь, — перед тобой. Я твой фарт! Понял?

Петр Чижиков ничего не понял. Переминаясь с ноги на ногу, он испуганно поглядывал на хозяина.

— Молчать умеешь? Тайну сохранишь? — спросил Саратовкин.

— Умею. Сохраню, — оторопело ответил парень.

— За тайну, которую доверю тебе, получишь дорого, — торжественно сказал Саратовкин, поднимая указательный палец, —

а когда дело, ради которого ты нужен, завершится успехом, будешь богат. Понял?

— Как не понять-то! — Петр Чижилов выпрямился, сообразив наконец, что он позарез нужен хозяину.

— Для отвода глаз станешь работать на прииске, а основное дело твое отныне — не спускать глаз с зеленых гольцов, чтобы ни одна душа туда не проникла!

— Да кто пойдет туды, хозяин: путь опасный! — сказал Чижилов.

— Пойдут, Петр, пойдут! Жизнью рисковать будут, а пойдут. Придет время — поведаю тебе все. А пока на слово поверь! Любой ценой никого не пускай к гольцам! Задержишь кого — обыщи. Отбери бумагу — планом называется. И тотчас же ко мне — в ночь, за полночь. Надо будет — на тот свет отправь без жалости, без страха. Сам богачом станешь — деньги завсегда выручат. Понял, парень?

— Как не понять... — бледнея, повторил Петр Чижилов, начиная догадываться, о чем идет речь. — Не сумлевайся, хозяин. Никто к зеленым гольцам не пройдет.

— А коли поинтересуется управляющий, о чем я с тобой говорил, скажи: звал, мол, хозяин на работу в сиротский дом, да ты согласия не дал.

Прощаясь с Чижиловым, Саратовкин протянул ему деньги.

Петр никогда не держал в руках такой большой суммы. Глаза его заблестели. Колени затряслись. Теперь он знал, что судьба понесла его в гору.

С того дня Петр Чижилов не спускал глаз с пади, что раскинулась вблизи зеленых гольцов... С площадки стана, на котором работал Чижилов, была видна эта падь. Миновать же ее, идучи к зеленым гольцам, невозможно. Другого пути нет. Падь, со всех сторон окруженная гольцами, в одном месте суживалась и заканчивалась входом в ущелье, причудливой естественной аркой. Местные жители знали, что, минуя это ущелье, к зеленым гольцам путь был один — по аршинному выступу скалы, уходящей в облака, отполированной ветрами и временем. Скала висела над бездной.

Шли годы. Петр Чижилов из забоя перешел на работу откатчика. Так было удобнее не спускать глаз с зеленой пади. А ночевать он уходил в ущелье. Поставил там шалаш, объяснив любопытным, что заезжий лекарь посоветовал сквозняком ущелья лечить мучившую его с детства падучую. Товарищи расценивали это как причуду Чижилова, посмеялись, но перечить ему не стали.

Однажды Чижилов не пришел на работу. Старатели решили, что он заболел, и под вечер отправились навестить товарища. Но Чижилова в пещере не оказалось. Шалаш был свален, постель разбросана, а на камнях запеклись пятна крови.

Долго гадали рабочие, что произошло здесь ночью. Может, беглый каторжанин по каким-то соображениям порешил Чижикова? Ясно одно — труп сброшен в бездну и оттуда его не достать. Там могила Петра.

Перекрестились, повздыхали старатели. Погрустили о невечности человеческой жизни и пошли на стан устало и молчаливо, как с похорон.

А в ту ночь у Чижикова наконец произошла встреча с тем, кого он и Саратовкин ожидали все эти годы.

К зеленым гольцам пришел человек с планом местности, где были обозначены залежи золота. И двое сцепились не на живот, а на смерть. Чижиков убил человека, сбросил его труп в пропасть, завладел планом и помчался в город.

Но было уже поздно. Хозяин лежал на столе, с бумажным венчиком на восковом лбу, сложив на груди украшенные перстнями руки, безразличный ко всем приисковым историям и вообще ко всему, что называлось жизнью. Блики от горящих свечей, странно живые, бежали по неподвижному лицу и рукам. В изголовье мертвеца старый монах вполголоса читал отходную. У гроба, в глубоком трауре, причитала Анастасия Никитична.

Петр Чижиков долго стоял в ногах усопшего, растерянный, уничтоженный, потрясенный. Рухнули все мечты. Что было делать с бумажкой, испещренной непонятными знаками? Зачем надо было убивать человека и брать незамолимый грех на душу?

На другой день Петр Чижиков возвратился на стан. Он сочинил необычайную историю, якобы происшедшую с ним в ущелье. И запил. А потом все пошло, как было. Только к ущелью он больше не подходил и прятал ото всех непонятный ему план. Хранил пуще глаз.

Так уходили годы. Ждал Чижиков, когда подрастет молодой хозяин, хотел поведать ему тайну.

Но как-то в пьяном виде не удержался, развязал язык, и стало все известно цыгану, работавшему в забое. Вороватыми, жадными глазами разглядывал цыган драгоценную бумагу, тыкая грязным пальцем в непонятные изображения, и высказывал разные мысли: «Это пещера. Это, стало быть, скала... Здесь обрыв. А значками прописано, где золото лежит».

Петр Чижиков и сам давно догадался об этом. Только как можно одному браться за такое дело? Цыгана и сговаривать не понадобилось. Сам навязался в связчики. А потом выкрал план у Чижикова. Прихватил поварихину внучку, на которую давно заглядывался, и умчался с нею на хозяйских конях...

Николай вошел в дом, откуда слышался плач. Подошел к поварихе. Грузным телом она навалилась на подоконник, с отчаянием и надеждой вглядываясь в непроглядную тьму ночи.

На голос Николая она обернулась, выпрямилась и, подбирая

под белый платок прилипшие к мокрому лицу седые пряди волос, сказала:

— Вот как, барин, встретились...

Николай с удивлением глядел на нее, припоминая, где же в самом деле встречал он эту старуху, и вдруг вспомнил: он держит в своих руках покрасневшие от холода руки Любавы и дыханием согревает ее пальцы; скрипит снег, и между крестов появляется Панкратиха в длинном, распахнутом пальто...

«Так, значит, с цыганом сбежала Любава!» Он ощутил боль в сердце и стоял молча возле старухи, не сочувствуя ей и не пытаясь утешить ее.

Последнее время Николай редко вспоминал о Любаве. Но первая любовь где-то глубоко таилась в его душе, иногда напоминая о себе неясной тоской, внезапными смутными мечтами, готовая вот-вот вспыхнуть затаившимся пожаром от легкого дуновения ветерка.

А Любава уже больше года жила на прииске, работала на кухне. В тот момент, когда возле стана спешили двое, Любава несла воду на коромысле. То, что один из приезжих был он, ей подсказало сердце, в котором он жил и после принятого ею решения забыть его.

Николай бросил равнодушный взгляд в ее сторону. Он не узнал Любаву. Она же поняла по-другому: узнал, но не захотел показать этого. Зачем ему она, судомойка? Да только пожелай он, богатый, молодой и красивый, самые лучшие барышни города прибегут к нему на свидание, будут набиваться в невесты.

Ей стало горько до слез. Но она гордо подняла голову и не глядя прошла мимо Николая плавной походкой, раскинув руки по крыльям коромысла. Не прошла, а проплыла лебедушкой.

Девушка сказалась больной и не подавала обед, когда Николай сидел в столовой. Она смотрела на него в щель кухонной перегородки и плакала, вспоминая первую встречу с ним и свидания на кладбище.

Силой своего дара она могла бы заставить его сейчас вспомнить о ней, прийти в лес к ней на свидание, объявить бабке свое решение жениться на Любаве. Но она не хотела пользоваться этой силой, властью своей заставлять Николая любить. Она смотрела на него и плакала, проклинала жизнь, желала себе смерти. Накануне цыган рассказал ей о бумаге, которую пуще глаз хранит Петр Чижилов. Выкрасть план. Найти золото. Разбогатеть. Быть на равной ноге с Николаем — решила Любава. И ночью она ускакала с цыганом.

О побеге Любавы и цыгана ходили разные толки. Одна Панкратиха догадывалась обо всем и во всем винила себя. Иногда Николай замечал ее странный, недоброжелательный взгляд, обращенный к нему, и не понимал его.

Не любовная история девушки и цыгана взбудоражила старателей. Узнав об украденном плане, они готовы были ринуться на поиски. Будь Николай более предприимчивый — взялся бы он серьезно за это дело, как подсказывал ему дядюшка, и, конечно, беглецов разыскали бы, саратовкинский прииск, может быть, приумножился бы новыми богатейшими залежами золота. Но Николай колебался. Иногда он готов был обратиться к помощи полиции или снарядить на поиски своих людей. Это было бы разумно. Но верх взял не разум. Николай подчинился сложному чувству, обуревавшему его. Он не хотел больше слышать о Любаве.

Но несмотря на горечь и обиду, Николай знал, что виноват сам. Годы сделали свое... Почему Любава должна была ждать его? Он давно мог найти ее, если бы захотел.

Так уходили из жизни Николая дорогие люди: мать, скрасившая детство лаской и любовью, Любава, яркой звездой осветившая юность, а потом и Василий Мартынович, которому на всю жизнь был он обязан лучшими стремлениями своими и лучшими душевными качествами.

16

«Странный я учитель, — написал в своей записной книжке Николай Михайлович Грозный. — Обычно учителя, сидя за столом, готовятся к урокам: составляют планы или делают наброски, заметки какие-то... Так работал блестящий педагог Саратовкин. Так делали Макаренко, Ушинский, Сухомлинский».

Николай Михайлович встал из-за стола и начал ходить по своей небольшой, но свободной комнате. Он не любил в доме ничего лишнего. Письменный стол. Кровать. Шкаф с одеждой. Шкаф с необходимыми и любимыми книгами. Стены от потолка донизу завешаны картами. В простенке большая фотография — весь их класс в день получения аттестатов. Этот снимок был дорог ему главным образом одним лицом — лицом Симочки, ее глазами, которые всегда глядели на него в этой одинокой, холостяцкой комнате.

Сейчас он представил себе завтрашний урок. Представил так ярко, точно уже провел его и теперь вспоминает.

Вот он входит в кабинет истории. Входит, как всегда, с радостью, вдохновенный, со страстным желанием вести урок так, чтобы не было равнодушных лиц, скучающих глаз, даже когда тема урока не очень интересна. Близится конец года, надо подтянуть слабых учеников, повторить пройденное. Ученики этого не любят. Им хочется нового.

Николай Михайлович спросит, какие возникли вопросы при повторении материала о трех этапах революционного движения

в России. И мгновенно заметит в разных концах класса несколько пар глаз, старательно избегающих взгляда учителя.

Вопросительно смотрит Наталья. За нее-то Николай Михайлович спокоен. Пройденный курс она знает отлично. Не просто знает. Разбирается. Понимает. Но вопросов у Натальи всегда много. Сейчас она молчит потому, что стесняется отнимать время. Повзрослела Наташка. В младших классах на ее вопросы уходила большая часть урока.

А вот Филипп Оречкин — ленивый толстяк. Он просто не удосуживается заняться историей. Да только ли историей? Что для него главное в жизни? Это Николаю Михайловичу еще неясно. Может, интерес, увлечения придут с годами? А может, так и останется он человеком пустым, никчемным, равнодушным ко всему? К сожалению, и так бывает. Ни добрые встречи, ни внимательные учителя, ни жизненные уроки — ничто не поможет.

Николай Михайлович задумчиво пройдет по классу и заговорит с учениками спокойно, доверительно. Он будет спрашивать их мнения о том или ином событии, будет соглашаться с ними или возражать, подмечая неточности и ошибки, заставит ребят поспорить друг с другом, оперируя датами и фактами. А потом внезапно прервет свое хождение меж рядов, остановившись у стола, и скажет:

«Если вы не возражаете, Иванову мы поставим пять за сообщение. Остальным — четверки». Возражений нет.

«Ну, а что же было в нашем крае во второй половине девятнадцатого века? Кто расскажет нам о том, как наш край затронуло народническое движение? Кто из деятелей науки и искусства жил здесь, в нашем городе?» И десятки горящих глаз осветят душу учителя своим проникновенным светом. Стремительно взлетит вверх длинная рука Семена.

«Я по материалам архива, Николай Михайлович, — хрипло от волнения скажет он, — хочу выступить. Разрешите!» И учитель даст ему слово. Это выступление будет ново для учеников. Оно будет интересным. Нужно оставить для него время.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного

СЛЫШЕН ЗВОН КАНДАЛЬНЫЙ...

Василий Мартынович Завьялов преподавал русскую литературу на учительских курсах. Студенты любили его лекции. В них были неожиданные «вольные» обобщения, после которых обычно разгорался спор, рождались новые мысли и даже убеждения. Николай с увлечением посещал лекции Завьялова.

Молодой капиталист, решивший посвятить себя педагогической деятельности, — явление довольно редкое. Естественно, что он интересовал и студентов и преподавателей. Василий Мартынович давно уже присматривался к Саратовкину и, когда ему стал ясен душевный облик юноши, вызвал его на откровенный разговор...

Они сидели в небольшой квартире Василия Мартыновича. В открытую дверь спальни была видна кровать с никелированными спинками, аккуратно, по-солдатски, заправленная. А в комнате, где сидел гость, стояла фисгармония, верх которой был завален нотами, и еще — стол, покрытый чистой, но плохо отглаженной скатертью, небольшой старинный буфет с деревянными украшениями, изображающими листья и гроздь винограда. Неуместным и сиротливым в этой холостяцкой обстановке казался горшок бурно цветущей герани на подоконнике.

Николай и не заметил бы этого цветка, если бы Василий Мартынович не подошел к окну и не ткнул в горшок пальцем, проверяя: не сухая ли земля.

— Вот, Николай, так и живу один, — сказал Василий Мартынович, продолжая разговор, начатый по дороге домой. — Сегодня здесь, завтра — на каторге! Какая тут семья!

Многого, очень многого, о чем говорил в этот вечер Завьялов, еще не понимал Николай. Но, слушая Василия Мартыновича, чувствовал, что жить так, как он, Николай, жил все это время, больше не может, да и не хочет. И он сказал об этом:

— Знаете, Василий Мартынович, я решил: закончу курсы пойду работать учителем, раздам капиталы нищим, развяжу себе руки и стану свободным.

Василий Мартынович долго не отвечал на эти слова. Он сидел, склонив длинноволосую русую голову, и тонкими пальцами набивал грубую, потемневшую от времени трубку. Затем он закурил и, выпуская дым игривыми колечками, поднял лицо.

Николай подумал: «Как же мог он оставаться убежденным холостяком — этот красавец с удивительными чертами лица! Какой умный, открытый лоб с поперечной, задумчивой морщинкой, какой изящный, пропорциональный нос, какой привлекательной формы губы, чуть насмешливые и чувственные. И какие глаза! Светлые: то ли серые, то ли зеленые, то ли голубые. Вернее, и то, и другое, и третье, в зависимости от времени суток и душевных переживаний. А глубина этих глаз загадочно-захватывающая. Будь я женщиной — погиб бы от этого взгляда».

— Не поддерживаю я, Николай, этого намерения вашего, — сказал Василий Мартынович. И он намекнул, что в том положении, которое занимает в обществе Саратовкин, он может быть более полезным людям и даже тому делу, которому служит Василий Мартынович.

И вот для Николая наступила новая жизнь — интересная, волнующая и осмысленная. Учитель давал ему запрещенные книги, Николай с увлечением читал их, удивляясь тому, как был слеп прежде и не знал главного в жизни. Радость отравляло одно: был Саратовкин глубоко законспирирован, общался только с Василием Мартыновичем, да и то теперь тайно, урывками. Вскоре произошло событие, заставившее его остро почувствовать горечь своего двусмысленного положения.

По просьбе Василия Мартыновича Николай должен был некоторое время скрывать в своем доме бежавшего из ссылки революционера. Николай объявил дядюшке, что намерен построить домашнюю библиотеку, и заняться ею поручил специалисту, которого выписал из другого города. Новому служащему приготовили комнату во флигеле, где останавливались наезжающие к барину по делам служащие с приисков и сиротских домов. Определили жалованье.

И вот он прибыл. Отрекомендовался Сергеем Евсеевичем Сверчковым. Николай понимал, что это не настоящее его имя. А тот думал, что Саратовкин действительно принимает его за библиотекаря, и сам принимал Саратовкина только за хозяина, опасаясь, как бы тот не дознался, кто он на самом деле.

Николаю доложили о приезде Сверчкова, и он встретил гостя в дверях своего кабинета, стены которого были отделаны темным деревом. Перед ним стоял небольшой исхудавший человек средних лет, с нездоровым цветом лица, броского грузинского типа. «Ему трудно скрываться», — подумал Николай, разглядывая серые, выпуклые глаза Сверчкова, с покрасневшими то ли от бессонницы, то ли от болезни веками, его ярко-черные, сросшиеся брови и густую бороду. Он производил впечатление смертельно уставшего человека.

Николай пожал его холодную, чуть влажную руку, сказал обычное: «Как доехали? Очень приятно познакомиться» — и добавил: «Теперь отдыхайте с дороги. А о делах поговорим завтра». Он отправил его с провожатым во флигель.

Последующие три дня Николай не видел Сверчкова. Ссылаясь на свою занятость, он давал тому возможность отдохнуть, оглядеться, прийти в себя.

Наконец беседа состоялась. Оба чувствовали себя затруднительно. Николай толком не мог объяснить, что ему нужно от нового служащего. А тот, не будучи сведущим ни в строительном, ни в библиотечном деле, не мог ничего предложить.

Больше всего Сверчкова пугала необходимость покупать книги. Ведь это означало, что ему придется бывать в магазинах, ходить по городу, а может, выезжать и в другие города за какими-нибудь редкими изданиями. Но молодой хозяин сказал: — Библиотеку мы построим за садом, на поляне. В ближай-

шие дни вы займетесь с моим инженером проектом здания, а потом будете наблюдать за строительством. С приобретением книг торопиться пока не станем.

Сверчков ушел в свой флигель, совершенно сбитый с толку, но и успокоенный. Значит, можно какое-то время отсидеться у Саратовкина. Сюда-то уж не сунутся полицейские. Ах, и умник же Завьялов. А хозяин — тот просто чудаков. Говорят, и отец у него был таким же сумасбродом. Вскоре Василию Мартыновичу понадобилось передать Сверчкову шифровку. Был только один путь — сделать это через Саратовкина. Николай встретил Сверчкова во дворе. В потрепанном костюме, слегка припадая на правую ногу, тот шел на строительную площадку. Сбоку поглядывая на него, Николай с удовлетворением заметил, что выглядит Сверчков много лучше: посвежел, помолодел даже...

Они вышли на поляну, заваленную бревнами, обогнули выведенный фундамент нового дома. Николай поинтересовался планом библиотечного зала и затем будто невзначай сказал:

— Преподаватель мой, Завьялов Василий Мартынович, для будущей библиотеки книгу подарил. Переписка Екатерины Второй. Любопытная книга.

«Как неосторожно!» — ужаснулся Сверчков, однако принудил себя улыбнуться и сказал:

— Для начала хороший дар, Николай Михайлович.

— Так загляните вечером за книгой.

Когда Сверчков пришел, Николая охватило озорство молодости. Захотелось заставить поволноваться казавшегося невозмутимым Сверчкова. Николай взял с письменного стола книгу и стал перелистывать ее страницы.

— Вроде и новая, — сказал он, — а в чьих-то руках уже побывала, и слова многие подчеркнуты. Видите: «необходимо», «сообщить». Смотрите, даже складно получается. Стереть, что ли, отметины? — И он потянулся за резинкой.

— Не принуждайте себя, Николай Михайлович, — спокойно сказал Сверчков, вставая и неторопливо протягивая руку за книгой. — Я это сам сделаю.

— Ну сам так сам. — Николай закрыл книгу и подал ее Сверчкову. Он заметил на лбу Сергея Евсеевича бисеринки пота и пожалел о своем мальчишестве.

Сверчков был ему симпатичен, и не раз хотелось откровенно поговорить с ним о жизни, о себе, о революционерах, о том, что делало существование Николая осмысленным и привлекательным, и о том, как горько было, что Сверчков и его товарищи считают Николая врагом. Но Василий Мартынович требовал, чтобы Саратовкин оставался для своего нового библиотекаря капиталистом, эксплуататором, одним из тех, с которыми тот боролся страстно, поставив на карту жизнь.

Как ни надежно был запрятан революционер, а полиция все же напала на его след. В дом Саратовкина прибыл сам начальник полиции. Тучный мужчина, саженого роста, с предупредительными манерами и доброй, располагающей улыбкой. Он с трудом втиснулся в предложенное ему кресло.

— Извините, Николай Михайлович, — сказал он мягким, вкрадчивым голосом, — начну без предисловий: подсунули вам в библиотеку бежавшего из ссылки политического.

Николай растерялся. Он мучительно прикидывал, что предпринять, как спасти Сверчкова. Но у него не было опыта в подобных делах, и он не знал, как поступить.

Николай постарался изобразить возмущение: пожимал плечами, разводил руками: дескать, кто бы мог подумать такое? Чтобы оттянуть время, он предложил начальнику полиции чаю, наливочки, а политический пока, мол, никуда не денется. У Николая мелькнула надежда, что Завьялов прослышал о случившемся и поспешит спасти Сверчкова. Садовая калитка выходит в глухой проулок, о ней никто не знает — так густо заросла она вьюном; правда, Николай не успел показать ее Сверчкову...

— Да и куда ему деваться?! — спокойно сказал полицмейстер. — Усадьба ваша стражей оцеплена.

Но от наливки он все же отказался. Такие дела надо быстро совершать.

Николай стоял во дворе, когда мимо него провели Сверчкова с руками, схваченными наручниками. Он не был ни испуган, ни бледен. Он был зол. И когда поравнялся с Николаем, взглянул на него брезгливо, с ненавистью:

— До свиданья, барин. Может, когда-нибудь поквитаемся! — Он был уверен, что его предал Николай.

Дворник закрыл ворота. Смокляки на улице шаги конвоя. В окнах людской исчезли испуганные лица. А Николай все стоял посреди двора, не в силах освободиться от боли, причиненной взглядом и словами Сверчкова. Он боялся, что и Завьялов заподозрит его, Николая, в предательстве. Потом ему пришла мысль о том, что следы от Сверчкова могут привести полицейских к Василию Мартыновичу, и он решил немедленно повидать учителя, рассказать о случившемся.

— Маркел! — крикнул он конюху. — Быстро седлай Звездочета!

Вскоре Николай не скакал, а медленно пробирался по улице, потому что было воскресенье и горожане гуляли прямо по мостовой. Они расступались, узнавая Саратовкина.

На углу, где он намеревался свернуть в узкую улицу, ведущую к дому учителя, его окликнули. Николай придержал Звездочета и с удивлением увидел, что перед ним на тротуаре стоит откатчик Матвеев, с которым он не встречался с той памятной

ночи в тайге, но слышал, что Матвеев давно уже ушел с его прииска и работает теперь в железнодорожной мастерской.

Матвеев перескочил через канаву, густо поросшую отцветшими одуванчиками.

— Николай Михайлович! Поворачивай назад. Завьялова полиция забрала. Я к тебе шел по его поручению. Теперича жди от меня весточки.

С этими словами он глубоко запрятал руки в карманы широких штанов и пошел прочь, напевая и чуть пошатываясь, как человек, изрядно посидевший в кабаке. А Николай повернул Звездочета и поехал, выбирая самые безлюдные улицы.

Тяжко было думать об учителе, как мысленно с детских лет привык он называть Василия Мартыновича. Какие страдания уготовит ему и Сверчкову судьба?

Он отпустил поводья, позволив Звездочету самому выбирать дорогу. Через некоторое время Николай обнаружил, что выехал за город, прямо к Александровскому тракту, по которому ночь и день шли на каторгу арестанты, позвякивая кандалами. Порой кто-нибудь с надрывом затягивал грустную песню:

Далеко в стране Иркутской,
Между гор и диких скал,
Обнесен крутым забором
Александровский централ.

В колонне глухо подхватывали:

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандаальный,
Динь-бом, динь-бом,
Путь сибирский дальний...
Динь-бом, динь-бом,
Слышно там и тут —
Нашего товарища на каторгу ведут...

Шли уголовники, ради наживы не гнушавшиеся убийством и грабежом. Шли политические, отрешенные от личного благополучия, отдавшие жизнь борьбе за правду и счастье народа.

Широкая истоптанная дорога с полосатыми верстовыми столбами по бокам в этом месте спускалась в низину, заросшую кустарником, а затем поднималась на открытый взлобок, справа и слева от которого за горизонт уходила на сотни верст тайга — зловещее пристанище хищников и беглых каторжан.

На взлобке Николай остановил Звездочета и долго, задумчиво глядел на дорогу. Вот здесь пройдет человек, для которого он, Николай, так и не успел ничего сделать, разве что дал возможность недолго передохнуть.

Одно маленькое светлое чувство все же нет-нет да и вспыхивало в его сознании: какое счастье, что не для всех он ненавистный миллионер-эксплуататор. Матвеев знает, что Саратовкин с ними. Ему сказал учитель. Вероятно, знает кто-то еще. Николай будет ждать заветной весточки от Матвеева, оставшись опять в полном одиночестве. Но ждать пришлось совсем недолго.

Однажды, когда Николай и Митрофан Никитич работали, отворилась дверь кабинета, и слуга доложил, что пришел бывший откатчик прииска Матвеев, спрашивает хозяина.

— Ну, не до него теперь, — сказал дядюшка, сердито и вопросительно поглядывая на племянника, — в делах запурхались.

Он снова правой рукой взялся за карандаш, а левой придвинул к себе счеты.

— Пусть посидит, подождет, — нарочито равнодушно сказал Николай и с радостью подумал: «Наконец-то!»

Он не слушал дядюшку, прикидывая, как бы прервать работу. Через несколько минут он сказал, приложив ладонь ко лбу:

— Что-то в глазах затуманило и в голове стучит. Не угорел ли? С утра сыро было — топили. Пойду лекарство выпью.

— Ну, а я пока без тебя обмозгую кое-что, — сказал дядюшка, с азартом выписывая на бумагу длинные столбцы цифр.

На крыльце Николая ждал Матвеев.

Николай повел его в сад, в беседку. Там они сели на почерневшую подковообразную скамью, опоясывающую такой же почерневший овальный стол, и Николай забыл про дядюшку, про свои обременяющие капиталы и одиночество.

Матвеев зорко оглядел все вокруг, убедился, что подойти к беседке незамеченным никто не сможет, заговорил, все же понижая голос и наклонясь к Николаю:

— Николай Михайлович! Решили мы побег устроить Завьялову. Видно, на той неделе будут его из следственной тюрьмы в городскую переводить. С кем надо, мы связались. Документы для него добыли. Отправим прямым ходом в Петербург. А там — за границу. Нужны деньги. И большие. От тебя все зависит теперь.

Он замолчал, выжидательно поглядывая на Николая умными, пронизательными глазами.

— Все, что имею, в вашем распоряжении, — с радостным волнением сказал Николай. — Одна трудность: если я возьму в банке большую сумму, об этом узнают дядя и служащие...

— Придумаем повод. Но деньги нужны немедленно. Завтра. Крайне — послезавтра.

И вдруг глаза Матвеева озорно блеснули. Сдерживая смех, он воскликнул:

— Храм божий можешь в родном городе построить, увековечить память миллионеров Саратовкиных!

— Да все знают, что я не очень...

— То и я знаю, что ты не очень,— засмеялся Матвеев, вспоминая разговор с барином на приiske.— Ну, скажем, ночью святая богородица явилась или там Николай-угодник. А то и просто: видение какое было, и совесть заговорила в тебе, что не блюдешь божье учение. Нет, это здорово, Николай Михайлович, ей-богу, здорово! — довольно потирал руки Матвеев.

И Николай загорелся этой идеей. Он придумывал разные варианты. Остановились на том, что ночью ему явилась Анастасия Никитична... Покаялась, что отправила родную мать Николая в монастырь, со свету сжила. И пожелала, чтобы во искупление этого греха сделал Николай большой дар монастырю, где скончалась его мать — монахиня Евфросинья. Николай сам повезет деньги, а по дороге на него нападут грабители.

Разговор прервал десятилетний Ванятка — сын дворника. Он давно уже искал барина, вначале в доме, потом по саду.

— Барин! Вас Митрофан Никитич спрашивали.

— Скажи, что скоро приду,— ответил Николай.

Ванятка убежал, мелькая грязными пятками. Николай опять забыл о дядюшке, который в эти минуты, собирая бумаги и счета, думал с неприязнью:

«Права была Настасья, когда говорила, что кровь не переменишь. Простая к простой и тянется. Вырос Николай в барстве. Но как сойдется с простолюдином — не оторвешь».

А Николай и Матвеев продолжали оживленно беседовать.

— Что это вы, политические, все с длинными волосами да бородами? — усмехаясь, поинтересовался Николай.— Коли форма такая, то неосторожно всем на один лад!

— Какая там форма! Кто как. А я на случай. В подполье уйду — сбрую. Узнать труднее будет.

Николай попытался кое-что выяснить о подпольщиках, но заметил односложность ответов Матвеева. «Или не доверяет, или не положено»,— подумал он.

— Это ты в ту ночь помог цыгану и внучке поварихи бежать? — спросил Николай.

— Я,— усмехнулся Матвеев.— Думал, любовная история.

— Ну, и где же они, знаешь?

— Слышал, что искали золото. Упорно искали. Бродили в горах. Там же цыгана кто-то порешил. План, сказывают, выкрал у них кто-то. Из тайги, говорят, Любава одна вернулась, чуть живая. А где теперь она, не знаю. Панкратиха тоже на приисках не осталась. Может, померла. Я-то думаю, что Любава и отправила на тот свет цыгана, чтобы не мешал золото искать. Девка была особая. Вроде ведьмой ее считали.

Николай молчал. Как всегда, при воспоминании о Любаве он ощутил глубокую тихую грусть.

Он расстался с Матвеевым, договорившись, что через два дня за деньгами придет человек. Сам Матвеев не рисковал больше появляться у Саратовкина. Пароль будет такой: «Все деньги беднякам роздал. Одолжи, барин, на несколько дней».

На следующее утро Николай рассказал дяде о ночном видении и о своем намерении пожертвовать монастырю большую сумму. Митрофан Никитич возражать не стал, даже был рад: такое дело станет известным всей губернии, поднимет уважение к Саратовкиным. Это льстило его религиозным чувствам и было памятью сестре-покойнице.

Прошла неделя, но от Матвеева никто не приходил, и Николай стал тревожиться: не провалилось ли задуманное освобождение учителя.

Как-то утром к нему пришел отец Терентий. Николай давно не видел старика и обрадовался ему.

Отец Терентий, как всегда, перекрестился, глядя на пустой угол, укоризненно покачал головой, потом сел на стул.

Поговорили о городских новостях, и только было собрался Николай сообщить о видении и пожертвовании монастырю, как отец Терентий сказал:

— А я к тебе с просьбицей, Николушка. С просьбицей. Не знаю, как и приступить.

— Вы же знаете, отец Терентий, что вам я ни в чем не откажу.

— Ну и ладно. Так вот, я тут все деньги беднякам роздал. Одолжи, Николушка, на несколько дней.

Николай с изумлением смотрел на отца Терентия. «Что это, совпадение? — думал он. — Не может же священник быть революционером! С ума схожу я, что ли? Но почему пароль прозвучал как-то не так... Вместо «барин» он сказал «Николушка».

Отец Терентий проворно вскочил, расправил рясу, встал, сложив на животе руки, в позу, которую он всегда принимал во время проповедей, и повторил:

— Все деньги беднякам роздал. Одолжи, барин, на несколько дней. — Он сделал нажим на слово «барин», сверля Николая умными маленькими глазками, потом шагнул к нему, обнял за плечи и тихонько засмеялся счастливым смехом.

А через день вся полиция города была на ногах. Произошло неслыханное: священник Успенской церкви Терентий Иванович Лебедев бродил по лесу в поисках лекарственных трав и в глухих зарослях обнаружил связанного миллионера Саратовкина с кляпом во рту. В газете писали, что нападение было совершено большой группой вооруженных разбойников, похитивших у Саратовкина крупную сумму денег, которую промышленник вез в монастырь для пожертвования.

Не успели стихнуть в городе толки, вызванные этим ограб-

дением, как произошло другое событие: когда перевозили в тюрьму опасного политического преступника, на конвой напал отряд вооруженных людей. Они связали конвоиров и скрылись вместе с преступником.

Несмотря на то что операция была продумана Матвеевым, отцом Терентием и Николаем до деталей, «накладок» в ней все же не избежали.

Когда Николая Саратовкина в коляске привезли из леса домой, слуги повысыпали во двор встречать его. Старый конюх Маркел сказал:

— А уехал-то ты, барин, верхом. Конягу разбойники забрали?

Николай утвердительно кивнул.

Маркел засмеялся:

— Будто знал, что заберут. Помнишь, я Звездочета оседлал, а ты велел другого коня подать. Повезло!

«Вот так народ! Подметит всякую оплошность», — подумал Николай, исподтишка оглядывая встречающих. Но иных чувств, кроме жалости к нему и радости, что вернулся он невредимым. Николай не прочел на лицах своих людей, таких знакомых еще с детства, почти родных. Только показалось ему, что следовательно Рябушкин — тонколицый интеллигент, который вместе с начальником полиции оказался тут же, среди встречающей его дворни, — не пропустил мимо ушей слов Маркела.

А на завтра в газете бойкий писака сообщал: «Можно предположить, что ограбление Н. М. Саратовкина и нападение на конвой совершили одни и те же лица, т. е. политические».

Ни Матвеев, ни отец Терентий больше не приходили. И Николай не рисковал идти в Успенскую церковь. Ему казалось, что он на подозрении, и держал себя крайне осторожно.

17

Зоя Кириллова, та самая девятиклассница, спор которой о Лизе из «Дворянского гнезда» Тургенева слышал в библиотеке Николай Михайлович, через некоторое время уже поняла, почему Лиза ушла в монастырь, и перестала считать ее дурочкой. Она не раз вспоминала слова Ольги Николаевны: «Придет жизненный опыт, и ты поймешь...»

«Теперь понимаю», — с грустью думала Зоя, не решаясь поведать о том, что с ней произошло, даже самым близким подругам.

Впрочем, в классе всем уже было известно, что Зойка Кириллова «стреляет» за десятиклассником Денисом Шмыгой, повенчиком, приехавшим недавно из Киева.

Соперниц у Зойки было немало. Шмыгу сразу же заметили

все девчонки старших классов. Был он высок, цыганского типа: орлиный нос на смуглом лице, черные, мерцающие романтичным блеском глаза, густые брови вразлет и дерзкие губы. Выглядел он не мальчишкой, а взрослым. Да и годами был старше одноклассников: по болезни когда-то отстал от одноклассников. Ходил Шмыга, в отличие от всех мальчишек, в сапогах, по школьным правилам переодевал тапочки, и брюки, обычно заправленные в сапоги, висели на нем смятыми. Но его ничто не портило. В классе он сразу же стал своим, точно проучился в этой школе все девять лет.

Денис Шмыга обратил внимание на Зою Кириллову во время новогоднего школьного вечера. До этого он ее не замечал.

Ученики написали веселую инсценировку, в которой у Зои была маленькая роль. Она изображала русалку, сидящую на ветвях дуба «у лукоморья». Ей нужно было расчесывать распущенные ниже колен волосы гребнем, обернутым золотой бумагой.

Дениса заинтересовало, почему Зоя не стрижет, как все девчонки, волос и что она будет делать с ними, когда перестанет быть русалкой. Не закутается же в них, как в шаль!

Начались танцы, и Денис, стоя у стены, взглядом искал Зою. Она танцевала с каким-то мальчишкой. На спине ее лежала туго заплетенная толстая русая коса, опускаясь ниже расклешенной коричневой юбки. Совсем как у гимназистки прошлого века!

Школьный струнный оркестр заиграл вальс, Денис подошел к Зое.

Это было для нее так неожиданно, что она растерялась. Покрылась и не знала, как ответить на его смешливое:

— Прóшу, пáни!

Но он уверенно обвил рукой ее тоненькую талию и повел по кругу не то в вальсе, не то в фокстроте. А коса, которая так заинтересовала его, то и дело прикасалась к его руке.

Он, не стесняясь, лицо в лицо, разглядывал свою «даму» и мысленно охарактеризовал ее внешность так: «Совсем девчонка, заморыш, худа, бледна, лицо, как у лисички, длинное, остренькое. Глаза светлые, неопределенного цвета, раскосые. В общем, миловидна. И главное, чувствуется, что существо мыслящее».

— Тебя как зовут? — улыбаясь, спросил он.

— Зоя, — уже успокаиваясь и замечая завистливые взгляды девчонок, ответила она.

— Скажи, Зоя, тебе не тяжело носить такую копну волос?

— Я привыкла. — Она усмехнулась и подумала: «Всех мальчишек занимает это!» — А что, некрасиво? — спросила она и в танце обошла вокруг него, подняв над головой руку, сцепленную с его рукой.

— Необычно, — ответил он, подвел ее к стульям у стены, по-

садил и сел рядом. Весь вечер Денис не отходил от Зои и даже проводил ее до дому.

Потом шли дни, но Денис словно забыл о ней. В перемены она с подругами намеренно ходила мимо его класса, где он стоял среди одноклассников. Он не замечал ее.

Как-то встретились они на лестнице. Он поздоровался и прошел мимо. Зоя узнала, что Денис ходит в танцевальный кружок, и тоже записалась. Но когда пришла на занятие, там не оказалось ни одного десятиклассника. Руководительница кружка сказала: — Теперь им уже не до танцев.

И Зоя больше туда не ходила.

Она стала рассеянной в классе, а дома сядет за стол с самыми лучшими намерениями и вдруг примется вспоминать во всех подробностях тот новогодний вечер. Опомнится, посмотрит на часы — времени на уроки осталось мало, все равно всего не выучить. Со вздохом достанет из стола дневник, прочитает описание новогоднего вечера, допишет: «Он меня по-прежнему не замечает. Видела издали. Веселый. Всю перемену разговаривал с Таней Сорокиной. Самая красивая девчонка в их классе. Навсрное, она ему нравится. А эта Танька такими глазами на него глядела, что у меня дыхание перехватило. Что же мне делать с собой? Как забыть его? Как научиться не выдавать своих чувств? А то сегодня наш Сашка, который все на свете видит и знает, значительно глядя на меня, спел:

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось...

Зоя тщательно прятала дневник, и все же он попал в бабушкины руки. Последнее время Дарью Григорьевну беспокоили бледный вид и вялость внучки. Она сводила девочку в поликлинику. Доктор ничего не нашел. На всякий случай прописал витамины.

А Зоя в тот вечер как бы в ответ на бабушкину заботу процитировала в дневнике:

Ах, няня, нет, я не больна,
Я, знаешь, няня, влюблена.

Но рядом с Зоей не было такой няни, которой можно было бы признаться во всем и даже отправить с ней любовное письмо Денису. Бабушка была бдительна и строга. Зоины родители работали за границей, и бабушка отвечала за внучку. Она день и ночь была начеку, как часовой.

Вскоре бабушку вызвала в школу классный руководитель Зои. Оказывается, девочка стала хуже учиться. Вот тогда-то Дарья Григорьевна добралась и до дневника. Прочла и ужаснулась.

Ночью она не спала, пила капли Вотчела, ставила горчичники

к сердцу. Хотела было вызвать по телефону родителей Зои, да побоялась напугать их. Она вдруг вспомнила восторженные рассказы внучки об учителе Грозном, который преподавал в ее классе историю, и решила посоветоваться с ним. Она созвонилась с учителем и пришла к нему в тот час, когда Зоя маялась дома над уроками, то перебирая учебники, то возвращаясь к дневнику.

Грозный встал и шагнул навстречу Дарье Григорьевне. Она показалась ему женщиной еще не старой, но уже отцветшей, на всем ее облике лежала печать мудрого отрешения от собственных интересов. «Живет, видно, детьми и внучкой», — подумал Грозный, невольно проникаясь уважением к ней.

— Садитесь вот сюда, пожалуйста, — показал учитель на один из двух стульев, стоявших в углу учительской. Сам сел на другой стул. — Сейчас прозвенит звонок, учителя разойдутся по классам, и мы останемся с вами наедине. Как я понял, дело у вас ко мне сугубо личное.

Действительно, зазвенел звонок, учителя, забирая с полок шкафа классные журналы, стали расходиться.

Дарья Григорьевна, волнуясь, взяла предварительно с учителя честное слово, что беседа эта останется между ними. Грозный кивнул с таким видом, точно сказал: «Не стоит и предупреждать. Само собой разумеется». И, поверив, что он действительно сохранит тайну, Дарья Григорьевна немного успокоилась. Она шла сюда с колебанием, был момент, когда хотелось повернуть обратно. А вдруг Грозный сочтет нужным ввести в курс дела других и, чего доброго, поставит этот вопрос на педагогическом совете?

Дарья Григорьевна начала свой разговор с учителем так:

— Несчастье у меня, Николай Михайлович, с Зоенькой произошло.

— Какое несчастье?

— Влюбилась девочка.

— Влюбилась? Сколько ей лет?.. Шестнадцать! Ну что же, самая пора влюбляться. Вы, поди, тоже в шестнадцать лет были влюблены? — с улыбкой спросил он.

— Я? Не помню что-то! — растерялась Дарья Григорьевна, однако в памяти ее на мгновение возник образ черноглазого одноклассника.

— Разве же это несчастье? Знали бы вы, какие несчастья бывают с учениками!..

— Но вы выслушайте меня. — И Дарья Григорьевна рассказала все, что она узнала из дневника внучки. Она рассказывала и замечала, что учитель мрачнеет. И когда остановилась, он сказал после недолгого молчания:

— А вот читать дневник девушки, ее письма не советую. Это — слишком личное, не для другого человека...

— Но иначе я ничего бы не знала, а девочка сохнет на глазах,

учиться стала хуже. Я ее в поликлинику веду, моргаю глазами перед классным руководителем и не знаю, в чем дело. Нет, в этом я с вами не согласна, Николай Михайлович.

Грозный пожал плечами: дескать, ваше право не соглашаться.

— А третьего дня этот самый Денис Шмыга, как пишет она в дневнике, встретил ее у вешалки и говорит: «Пойдем, Зоя, в кино, у меня на дневной сеанс два билета». Ну, она, конечно, с ним в кино. Он в темноте ей руку погладил, к плечу прижался. А назавтра прошел мимо, даже не поздоровался. Издевается над девчонкой! А та плачет. Ночи не спит!

Казалось, бабушке было обиднее всего, что какой-то мальчишка забавляется чувством ее внучки. Сох бы парень по ней и сам ночей не спал, может, не так бы волновалась она за эту неожиданную любовь.

— В этом возрасте мальчики очень сложны и замкнуты, — помолчав, сказал Николай Михайлович, — пожалуй, больше девочек. Девочки хоть с подругами делятся своими переживаниями. А у мальчишек все в себе. Может быть, Денис тоже любит Зою. Я допускаю это. А может, забавляется. Тоже допускаю. Вниманием девочек он избалован изрядно. Парень что надо — красивый, умный, способный к учению да к тому же поэт. Но есть и третий вариант: возможно, что любовь ему вообще еще незнакома. Потому он сегодня одной девочке отдает предпочтение, завтра — другой. Но, думаю, зря вы так тревожитесь, Дарья Григорьевна. Внучка ваша сейчас охвачена таким красивым, таким большим и чистым чувством, которое потом, когда пройдет, останется одним из самых светлых воспоминаний в жизни.

— А может быть, вы поговорите с ней и с этим Денисом Шмыгой?

— Нет, Дарья Григорьевна, в такие переживания вмешиваться нельзя. Вот если я увижу, что надо бить тревогу, тогда вмешаюсь какими-то путями. А пока буду наблюдать... А вы в дневник ее все же не заглядывайте. Не оскорбляйте внучку недоверием.

— А как же тогда вы и я узнаем, что надо бить тревогу? Можем и проглядеть!

— Можем и проглядеть. И так иногда бывает. Но постараемся все же не проглядеть. Что-нибудь я придумаю...

Дарья Григорьевна ушла из школы не успокоенная. Она думала, что Грозный согласится на то, чтобы поговорить с девчонкой, пригрозит, отчитает ее за несвоевременность какой-то любви. Учиться надо, а не любовь крутить! А оказывается, все гораздо сложнее. Пригрозить-то и нельзя: запретный плод слаще. Любовь в шестнадцать лет своевременна и даже прекрасна! И дневник читать нечестно. А что делать, если внучка бабушке душу не раскрывает?

Так, в раздумье, она чуть не прошла мимо дома.

А Грозный, проводив Дарью Григорьевну, сидел в учительской и раздумывал над ее словами: «А как же тогда вы и я узнаем, что надо бить тревогу? Можем и проглядеть!»

Проглядеть действительно нельзя.

Он не услышал звонка и вздрогнул, когда в учительскую с портфелем в руке и классным журналом под мышкой вошла Ольга Николаевна, а за ней легкий на помине Денис Шмыга. Денис нес стопку тетрадей. Он положил их на стол и вышел.

Николай Михайлович знал, что учительница наверняка не просила Шмыгу помочь. Она, привычно взяв в одну руку портфель, другой, прижимая к себе, собралась нести и журнал и тетради, и никому из учеников, как всегда, не было дела до того, что учительнице и тяжело и неудобно, а Шмыга заметил. Недаром его окрестили «рыцарем».

Ольга Николаевна устало присела рядом с Грозным и сказала: — Любопытный все же тип, этот Шмыга! В домашнем сочинении, по рассеянности, оставил стихи. Называются: «Зое, через год после окончания школы». Я запомнила несколько строчек:

Так же всё уплывают года.
Тот же дней мимолетный бег.
Неужель не придется уже никогда
Пожелать мне толкнуть тебя в снег...
Неужель не придется еще мне хоть раз
Видеть пару влюбленных глаз?

Тут я не помню. А кончается так:

Это было давно, но как будто вчера
Это было, но правда ли это?
Расцветало ль надеждой и счастьем тогда
Сумасшедшее сердце поэта?

«Значит,— подумал Грозный,— любовь обоюдная».

— А сколько, Ольга Николаевна, таких стихов пишут наши воспитанники? Ведь большинство из них уже с восьмого класса, а иногда и с седьмого даже как-то по-своему влюблены. Не думаете ли вы, что стоило бы для старших устроить диспут о любви, подготовиться к нему основательно учителям и ученикам? А пока я бы на вашем месте, не откладывая, на эту же тему побеседовал с десятым «А» в «Избе раздумий». Если разрешите, я тоже посижу с вами. Беседу вести, конечно, нужно вам, литератору. Тут и литературные примеры...

— Да, литература ближе всего связана с воспитанием,— задумчиво сказала учительница.— Но почему, помимо общего диспута, вы предлагаете провести эту беседу отдельно с десятым «А»? И главное — срочно. Что-то случилось?

— Нет, ничего не случилось. Но родители одной девочки беспокоятся за нее. Любовь к ученику десятого «А». Просят принять меры. А какие же мы можем принять меры, когда речь идет о сложном душевном переживании девушки и парня? Только одно — постараться, чтобы чувства их были наполнены красотой, прозрачной чистотой и святостью. И это, я думаю, мы с вами сумеем.

Эх, Зойка, Зойка! Знала бы ты о том стихотворении, которое забыл в тетради своей Денис Шмыга! Как счастлива была бы ты!

А через год после окончания школы, когда по задумке своей он должен был передать тебе этот стих, Шмыга, уже будучи студентом, сочтет это теперь несвоевременным и ненужным. И ты так никогда и не узнаешь, что в те прекрасные и горькие для тебя дни «расцветало надеждой и счастьем тогда сумасшедшее сердце поэта».

18

Николай Михайлович раньше своих учеников подметил, как страсть к работе в архиве у «разведчиков» постепенно охладевала.

И вот на заседании кружка, когда в историческом кабинете Семен занял учительское место за столом, а остальные — их пришло чуть побольше половины — разместились в разных концах класса, Николай Михайлович поднялся и сказал:

— Ну вот что, друзья, в архиве мы посидели изрядно. Добыли важный документ. А теперь я предлагаю заняться поиском не бумаг, а живых людей, знавших Саратовкиных или хотя бы связанных с той эпохой. Как и где искать этих людей, с чего начинать — думайте сами.

Слова учителя, как любое значительное и новое предложение, ученики встретили молчанием. Юность ершиста. Как же хочется в эти годы наперекор мыслям и деяниям взрослых выставить свои — противоположные. Но человек в отрочестве — в общем-то сложившийся человек, со своими особенностями, уже почти такой, каким пройдет он по жизни. Значительная встреча, конечно, может осветить, приукрасить его жизнь, и, наоборот, неверный шаг затянет в трясину. Все может быть!

Среди тех, кто собрался сейчас в историческом кабинете, конечно, были и такие, кто не очень-то любил самостоятельно размышлять. Что скажет сосед, то он и примет на веру — из чувства подражания или чтобы не оказаться в изоляции от товарищей со своими особыми взглядами. Но большинство здесь таких, кого собственные мысли захлестывают: одна еще не устоит, а уже охватывает другая. Быстро-быстро, горячо, с энтузиазмом.

Молчание, как всегда, разрядилось бурей.

Семен в это время старался перекрыть товарищей.

Николай Михайлович покинул класс.

— Слово имеет Ковригина! Ну, дайте же человеку высказаться, — уговаривал Семен бушующих ребят.

А Наталья стояла у доски и взывала к одноклассникам взмахами рук и сиянием глаз.

Наконец по ее виду ребята поняли, что она, как всегда, придумала что-то интересное, и смолкли.

— Кладбище!.. — таинственно произнесла она и мелом нарисовала на доске могилу и крест над ней.

— Ну, иначе это была бы не Наташка-Коврижка, — с ехидцей сказал Никита Пронин. — Салоны... Спиритизм... Мессинг... Кладбище!

— Да, кладбище! — крикнула Наталья. — Похоронен-то младший Саратовкин там. И скорее всего, возле родителей...

Не успела она закончить мысль, как все повскакали с мест и были готовы сейчас же мчаться на кладбище.

И помчались. Почти сшибли с ног Дашу, которая вдогонку им послала, правда, не очень злобно: «Обормоты трахнутые!» То ли она еще видела в этих стенах! Ко всему привыкла!

А на кладбище было все как иллюстрация к рукописи Николая Михайловича. Покосившийся домишко у ворот они разглядывали до тех пор, пока не вышел сторож, прихвативший в сенях толстую палку. Он сердито и настороженно спросил:

— Чего глазеете?

А им казалось, что сейчас шевельнется занавеска и глянут на них огромные блестящие глаза Любавы. И по шатким ступеням крылечка спустится Панкратиха.

— Простите, пожалуйста, — вежливо сказала Лаля. — Не подскажете ли вы нам, в какой стороне склеп миллионера Саратовкина?

— Саратовкина? — удивился старик. — Туды! — Он махнул палкой вправо.

— Позвольте, гражданин сторож, — еще вежливее сказал Никита, — а вы, случайно, не знаете, сын Саратовкина Николай Михайлович где похоронен?

— Где? Вестимо, возле батюшки! — Старик явно подобрел и даже вроде засобирався проводить школьников, но когда он, прикрыв дверь, обернулся, ребят как не бывало.

Они тем временем уже мчались в направлении, указанном сторожем.

— Вот! — закричали враз несколько голосов.

И все остановились возле черного мраморного склепа, на верху которого сиял золоченый крест, над дверью были высечены слова из Библии: «Да будет воля Твоя!»

И снова всем показалось, что где-то рядом стоит Любава, завернутая в смешной длинный салоп, гордая своей нищетой, а ря-

дом с ней — Николай в щегольской шубе и бобровой шапке, униженный своим богатством.

— Наш Грозный, конечно, здесь бывал, прежде чем написать главу «Ведьма», — сказал Семен. — Все так, как у него, — и склеп и слова эти...

— Ребята, а ведь дверь склепа открывается, — нажимая на нее плечом и чувствуя податливость камня, сказал Никита.

Попробовали дружно навалиться на дверь. Мгновение — и все лежали кто на земле около склепа, кто на ступеньках, ведущих в склеп. Склеп оказался совсем маленьким. Спертый воздух. Покрытые плесенью стены. Две каменные плиты рядом. На одной надпись: «Михаил Иванович Саратовкин», на другой: «Анастасия Никитична Саратовкина». Третьей могилы не было.

— А я думала, в склепе — гробы и в них мертвецы. Я так боялась заходить сюда, — шепотом сказала девочка, которая вне школы всегда ходила в брюках, и прохожие принимали ее за мальчишку.

Все сразу в склепе не могли поместиться. Заходили по очереди, стараясь не шуметь, не нарушать вековой мертвой тишины. Сквозь весенние полуголые ветви с липкими, еще не развернувшимися листочками видно было далеко вокруг: могилы, ухоженные заботливыми руками близких, с покрашенными оградами, присыпанные песком или гравием дорожки возле памятников, надгробий и крестов, и могилы, заброшенные нерадивыми родственниками, с провалившимися плитами, поваленными оградками, заросшие прошлогодним бурьяном, превратившиеся просто в бугорки, по которым пролегали тропинки.

Походили вблизи склепа Саратовкиных. Прочли на одном памятнике надпись: «Лукерья Ивановна Попова. Родилась 13 мая 1799 г. Умерла 4 июля 1837 г.»

— Надо же! — сказал Никита. — Даты жизни и смерти Пушкина!

Все остановились как зачарованные.

Кладбище навевало незнакомую грусть, заставляло заглядывать в обреченность любой человеческой судьбы. Хотелось поскорее вырваться отсюда, забыть эту обреченность, как умеет забывать о ней любой человек, особенно в молодые годы.

— Никакой могилы младшего Саратовкина здесь нет. Пошли, ребята, — сказала Лаля.

— Нет, подожди. Старик сказал: «Возле батюшки», — не согласился Семен. — Он говорил так, словно знал. Вы еще побродите тут, а я его позову. Нет, пусть лучше сбегает кто-то из девочек.

Лаля с Натальей торопливо пошли по чуть заметным тропинкам на дорогу, ведущую к дому кладбищенского сторожа.

Старика они встретили у ворот. Он волочил тяжелую жердь

и, узнав девочек, положил ее на землю, рукавом отирая с лица пот.

— Не заметили, однако? — сказал он и, широко шагая, направился к склепу Саратовкина.

Девочки молча припустились за ним.

— А это что? — сказал он.

И вдруг все увидели заброшенный, когда-то покрытый дерном холмик, прижатый вплотную к черному мрамору склепа. В изголовье холмика был вбит неровный странный камень, и, только приглядевшись, можно было различить на камне слова: «Народный учитель Саратовкин Николай Михайлович». Дата рождения и смерти вместе с камнем опустилась в землю. Мальчишки, вспомнив, как это делают в подобных случаях взрослые, стянули с голов кепки. Постояли молча.

— Ребята, — вдруг сказала Наталья, склоняясь над могилой. — Сюда кто-то приносил цветы.

На сухой траве действительно лежал высохший букет. Вернее, следы того, что когда-то было букетом цветов: почерневшие стебли, облетевшие головки цветов и лоскут полинявшей ленточки.

— И не раз кто-то приносил сюда цветы! — воскликнул Никита. — Смотрите, вот сухие букеты. Раз, два, три, четыре...

Наталья спросила у сторожа, кто же это приносит цветы.

— Не слежу... Людей по кладбищу ходит много, — ответил тот.

— Товарищ сторож! А вы последите. Мы очень просим вас, — сказал Семен. — Это так важно для нашей школы.

— Для истории города тоже, —插вила Наталья.

— У меня времени нет заниматься школой и городом. На это учителя есть и горисполком. Они деньги не зря получают, — сердито ответил сторож и ушел.

— Вот тоже тип! Все на деньги мерит! — презрительно фыркнул Семен. — А зарабатывает побольше нашего Грозного. Знаю я! Могилу поправит — гони монету.

— Однако как нам быть дальше? — сказал Никита. — Как отыскать того, кто навещает могилу, ведь, наверное, этот человек хорошо знал Саратовкина.

— Ясно как, — сказала Наталья. — Надо установить дежурство.

— С ума сошла! — ахнула белокурая Аэлита. — Этот человек может месяца через три прийти, и не известно, в какое время.

— Дежурить три месяца, — твердо сказала Наталья. — Дежурить полгода. Год, наконец! Вот, например, сейчас остаюсь я дотемна. К ночи никто на могилы не ходит. А завтра с восьми утра будешь ты до половины дня, — обратилась она к Аэлите.

— Нет, она совсем сумасшедшая! — всплеснула та руками. — А в школу кто вместо меня пойдет? Бабушка?

— В школу все мы пойдем, кроме тебя. А про тебя скажем, что ты заболела. Выделим от класса представителя проводить тебя и уроки сообщить.

— Да. Другого пути нет! — торжественно сказал Семен. — И Николаю Михайловичу пока ни слова. Разведем все, тогда материал поднесем на блюдечке!

И Наталья осталась на кладбище.

Не выпуская из виду могилу Саратовкина, она ходила по тропинкам, останавливаясь и читая надписи. Вот ухоженная могила с маленьким памятником. Вокруг аккуратно посыпано гравием. В оградке скамейка и зачем-то стол. С фотографии, вставленной в памятник, озорными глазами глядит десятилетний мальчишка. Добрая улыбка освещает хорошенькое личико. «Володя Сыроежкин». Еще в прошлом году он вот так глядел. Так улыбался. А теперь лежит под этим холмиком, и горько оплакивают его родители, может быть, сестры, братья. Как несправедлива судьба! Наташе стало грустно. Стало страшно. Ведь когда-то и над ней вырастет вот такой же холмик. Кто знает, когда?

— Все в землю ляжет, все прахом будет, — вслух сказала она.

А на ветку, еще почти голую, с чуть показавшимися клейкими листочками, села маленькая, неказистая птичка. Вначале она пискнула хриловато, точно прочищая горлышко или пробуя голос, настраиваясь. Потом издала звонкий, протяжный звук, точно скрипач провел смычком по двум струнам. Помолчала. Защелкала призывно, жизнеутверждающе. И вновь замолчала, точно прислушиваясь и выжидая чего-то. Откуда-то издали ответил ей другой пернатый певец отрывистыми, разнообразными, гортанными звуками.

Наташа замерла. Она поняла, что это соловьи, и вспомнила, как не раз приезжие утверждали, что в Сибири соловьев не бывает.

Небо было высокое и ясное, а солнце ушло на закат, разрумянив стволы весеннего леса, сверкнув на позолоте крестов, памятников и склепов.

Нет, все равно жизнь была необыкновенно хороша. И еще лучше показалась она, когда возле Наташки появилась запыхавшаяся Лаля.

— Ну, вот и я! — И это было так естественно. Не могла же она оставить надолго Наташку одну в таком грустном месте. — Замерзла! Нос красный! — суежилась Лаля возле подруги, теплой ладошкой прикасаясь к ее носу. — Я-то успела заскочить домой и брюки надела.

«Разведчики» дежурили на кладбище уже больше двух недель. И у многих пропадало желание проводить время у могилы Саратовкина.

Школа готовилась к экзаменам. Взмолнованные группы десятиклассников собирались в коридорах, на широком крыльце, во дворе, просто на улице. С меньшим волнением, но все же беспокойно ждали первых экзаменов и восьмиклассники.

Дежурства на кладбище теперь разбили «на кусочки». Каждый проводил здесь по два часа. И большинство — с учебником в руках. От Николая Михайловича по-прежнему скрывали тайну. Но его трудно было провести. Систематическое исчезновение с уроков кого-нибудь из учеников на два часа по сугубо уважительным причинам наводило его на подозрения. Но он не мог догадаться, в чем дело. Он уверен был, что дурного в этом ничего нет, и терпеливо ждал разгадки, как всегда, не делаясь этим с учителями.

Счастье улыбнулось Никите.

Он сидел на скамейке возле могилы, которая принадлежала какому-то Алексею Сергеевичу Разумовскому, как гласила черная мраморная плита. Никита держал на коленях книгу, на книге тетрадь и увлеченно доказывал теорему, не обращая внимания на изредка проходящих мимо людей.

Но вдруг он оторвался от тетради, точно кто-то толкнул его. Он поднял голову. На могиле Николая Михайловича Саратовкина были разбросаны свежие подснежники.

Никита остолбенел. Он смотрел то на подснежники — большеголовые, сочные, на мохнатых коротких стеблях, оживившие заброшенную могилу, то на высокого человека, который стоял спиной к Никите, распрямив широкие плечи, и держал в руках коричневую шляпу. Седые волосы его трепал легкий ветерок.

Незнакомец переступил с ноги на ногу, видимо, собираясь уходить. Никита мгновенно пришел в себя и осторожно приблизился к могиле Саратовкина, тоже снял кепку.

Незнакомец сразу заметил мальчика, но почему-то ничего не сказал. Так, в молчании, постояли они над могилой. Наконец незнакомец повернулся к Никите.

— Ну-с?

— Простите, — почти шепотом почтительно произнес Никита, — вы знали его?

— Я был его учеником. А отец мой, известный ученый, — воспитанник сиротского дома Михаила Саратовкина — его отца.

Он помолчал, ожидая дальнейших расспросов, а потом шагнул на тропинку, сказав:

— Ну, прощай. Тороплюсь.

Он медленно пошел по тропинке.

Никита, секунду постояв в недоумении, рванулся за ним.

— Дяденька! Подождите! Можно будет увидеть вас? Поговорить с вами. У нас в школе кружок «разведчиков». Мы собираем материалы по истории нашего города. Мы много ма-

териала нашли о Саратовкиных. Наш учитель истории пишет о нем книгу. Дяденька, пожалуйста!

Незнакомец остановился.

— А какая школа? Как фамилия вашего учителя?

— Грозный, Николай Михайлович!

— А! — весело сказал незнакомец. — Ну, скажи ему, что Сергей Федорович Веретенников был учеником Николая Михайловича Саратовкина. Он знает меня. Сговоримся.

— Спасибо, дяденька! До свидания! — крикнул Никита и, забыв про учебник и тетрадь, брошенные у вечного пристанища когда-то жившего на земле Разумовского, рванулся к товарищам, опережая незнакомца.

Глава из повести Николая Михайловича Грозного

ОТКАЗ ОТ МИЛЛИОНОВ

С быстротой молнии облетела город весть о внезапной кончине Митрофана Никитича. Горожане жалели его — не злобного, не заносчивого, горячего покровителя церквей и монастыря. С интересом прислушивались к высказываниям о том, кто же теперь будет заправлять миллионами Саратовкиных, ведь всем известно, что молодой барин на все дела смотрит сквозь пальцы, интересуется только сиротскими домами да своим учительским образованием.

Об этом же думал и Николай. Мысль, которая прежде только посещала, теперь укреплялась, зрела и захватывала все его существо.

Отказаться от капитала. Передать все сиротским домам и в один из них, тот, что находится здесь в городе, пойти рядовым воспитателем, получая за это жалованье.

Посоветоваться было не с кем. Последняя связь с подпольщиками оборвалась, так как Матвеева арестовали во время забастовки железнодорожных рабочих. Отец Терентий внезапно скрылся, сразу же после участия в митинге в общественном собрании.

А в городе было беспокойно. Так же беспокойно, как и во всей Сибири. По линии Сибирской железной дороги двигались карательные экспедиции: одна из Москвы, под командой барона Меллер-Закомельского, другая — во главе с Ренненкампом, из Маньчжурии. Каратели жестоко расправлялись с теми, кого подозревали в крамоле.

И тем не менее в полумраке кабинета, за столом, освещенным керосиновой лампой, с абажуром, изображающим полу-

распустившийся тюльпан, Николай читал номер нелегальной газеты «Забайкальский рабочий».

«Затаи в груди месть, вооружись, организуйся, пролетариат! За муки и позор своих товарищей, за стоны и вопли избиваемых, за убитых и замученных твоих братьев по делу. Ответ своему вековому недругу — самодержавию — могучим и страшным оружием — вооруженным всероссийским восстанием.

«Горе побежденным!» — воскликнем мы, когда победоносное восстание сметет все остатки царизма и когда народный суд сумеет найти всех залитых кровью побежденного на время народа».

Николай отложил газету, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Со стороны можно было подумать, что он спит. Но Николай не спал. Он мысленно разговаривал то сам с собой, то с Василием Мартыновичем, то с Матвеевым. Он по-прежнему восхищался ими, но его влекло другое. Вот недавно он узнал, что своим девизом сибирский миллионер Макушин взял лозунг: «Ни одного неграмотного!» Это его потрясло. Макушин сумел стать полезным людям. А он, Николай, хочет и не знает, с чего начать. Связаться с Макушиным? Но в душе Николая жило свое желание. Его девиз — не только обучать грамоте! Воспитывать человека — вот что самое важное. Наконец, он понял, сформулировал свое назначение в жизни. И ему стало легко, точно выбрался из трясины и встал на широкую дорогу, манящую просторами и новизной.

И город снова захлебнулся в потрясающих слухах: «Саратовкин продал золотые прииски. Все капиталы свои передал сиротским домам и сам стал начальником и воспитателем городского приюта».

В своем доме Саратовкин разместил детей, оставив себе лишь две комнаты.

Новая жизнь для него началась значительной встречей.

Николай сидел за столом, разбираясь в документах, когда кто-то легко стукнул в дверь и, дождавшись разрешения, решительно распахнул ее.

В комнату вошел невысокий молодой человек — светлоглазый, белобровый, скромно одетый, но сразу же обращающий на себя внимание своей глубокой серьезностью, сосредоточенностью и покоем.

— Здравствуйте, Николай Михайлович! — сказал он с теплой и значительной улыбкой человека, который уже не первый раз встречает Саратовкина.

Николай встал, поздоровался и указал пришедшему на стул возле стола.

— Я только что приехал, — садясь, сказал незнакомец. — Окончил университет — и вот в родной город. Мое имя вряд ли что скажет вам. — Я — Федор Веретенников.

В памяти Николая почему-то ожило детство.

— Я глубоко уважаю вас, Николай Михайлович, — продолжал между тем Веретенников. — И если бы мог быть полезным, с удовольствием предложил бы свои услуги. Я химик.

И Николай вдруг вспомнил: начальница сиротского дома ведет его через двор в мастерскую; и там, среди детей, стоит, упрямо склонив бритую голову, мальчик; красный от гнева мастер держит в руках книгу и сердито объясняет начальнице, что мальчишка, вместо того чтобы работать, прячется в кладовой и читает.

Николай улыбнулся:

— А я вспомнил вас! — И рассказал Веретенникову, как он в детстве произвел его в Ломоносовы, как разыскивал в сиротском доме и как потом утешил его Василий Мартынович, сказав, что занимается с мальчиком и постарается определить его в гимназию, на казенный счет.

Этот день был значительным днем в жизни Николая не только тем, что к нему наконец пришел человек, предложивший свою помощь в трудное время начала большой работы. Но еще и тем, что Николай в этот день обрел друга, который до последнего часа был рядом с ним — человеком одиноким, всю жизнь свою, душу, талант отдавшим грядущим поколениям.

Морозным зимним днем, когда лазурное небо безоблачно, а деревья палисадников поражают пушистой белизной куржака, по заснеженной городской улице со скрипом скользили сани. Конь бежал игривой рысцой. Кучер — в собачьей дохе, в меховых рукавицах и такой же шапке — слабым тенорком понукал коня, изредка приподнимаясь и для острастки покручивая кнутом над конским крупом.

В санях, закрыв колени медвежиной, сжал директор гимназии.

— Постой-ка, милый, — сказал он кучеру, прикасаясь к его плечу рукой в кожаной перчатке. И крикнул прохожему, шагавшему по тротуару: — Господин Веретенников! Прошу минуточку-с!

Веретенников в это время занес было ногу на высокое крыльцо бывшего особняка Саратовкина и остановился.

Сани со скрипом подъехали к крыльцу, и, откинув медвежью шкуру, на тротуар шагнул маленький, щуплый человечек в пальто и меховой шапке и тотчас же нацепил на нос пенсне, то ли для солидности, то ли действительно по близорукости.

Он снял перчатку, поздоровался с Веретенниковым и сказал:

— Простите-с, ради бога, за то, что задерживаю вас. Но вы так и не пришли с ответом, а обстоятельства не позволяют ждать. Гимназия. Сами понимаете-с!

— Не могу принять ваше предложение, Яков Яковлевич, — сказал Веретенников. — Определился сюда вот. — И он поднял голову и показал глазами на новую вывеску: «Приют».

— Простите, Федор Алексеевич, не понимаю-с. Вы же химик. А здесь не гимназия. Здесь маленькие и неграмотные дети. Кого же здесь учить химии?

— Будут грамотные и подрастут,— усмехнулся Веретенников.

— Но пока они подрастать будут, можно вам-то в гимназии поработать. Нам очень нужен такой преподаватель, как вы. И жалование будет хорошее.

— Спасибо. Уже сговорился здесь.

— Простите,— не отставал Яков Яковлевич.— Вам этот молодой безумец совсем голову замутил. Неужто вы не заметили, что у него психика не в порядке. Отказаться от капитала в наши дни?! Миллионы кинуть приютам?! И остаться нищим! Непонятно, что он будет с этими подкидышами делать?

Глаза Федора Веретенникова потемнели от гнева. Он выпрямился и свысока поглядел на маленького директора, как на неразумное дитя:

— Нет, он не безумец! Он прекрасный и светлый человек, умный и дальновидный. Что он будет делать с этими, как вы выразились, подкидышами? Он уже делает. И делает святое дело. Пока что он возвращает им детство, которого они были лишены. Детство! Понимаете? Одного этого было бы достаточно, чтобы войти в историю нашего жестокого века. Но он, я убежден, сделает еще много такого, что подхватят лучшие люди нашего времени. Нет, Яков Яковлевич, я горд тем, что буду находиться возле человека, у которого, по вашему определению, «психика не в порядке». Пусть пока я не буду преподавать химию, но зато к тому времени, когда мне придется взойти на кафедру, я здесь, возле него, научусь человечности и пониманию молодой души, умению не только обучать, но и воспитывать.

Якова Яковлевича немного смутили страстные слова Веретенникова. Он снял пенсне. Сунул его в нагрудный карман.

— Ну, что ж. Каждый — кузнец своего счастья,— сказал он.— Только пожалеете — поздно будет. У нас вакансии закроется.

Яков Яковлевич натянул перчатку и, холодно кивнув, полез в сани, под медвежину. А Веретенников легко, по-мальчишечьи вбежал на крыльцо.

Да, прежде всего сиротам надо было вернуть детство. Но это было особенно трудно, потому что оставалось сиротство.

Николай Михайлович начал с того, что уволил всех прежних воспитателей. Всех до одного. Он не обнаружил среди них людей с добрым сердцем и педагогическим даром.

Как часто в мыслях его возникал образ Василия Мартыновича! Есть же такие люди на белом свете! Но где их найти?

В первый день его пребывания на посту начальника и воспитателя из сиротского дома сбежало двое мальчишек.

Николай Михайлович с Веретенниковым долго размышляли над этим случаем. Веретенников вспоминал, как он также сбежал из сиротского дома Саратовкиных. Ночью перелез через высокий забор и брел потом по городу куда глаза глядят. Но у него была цель. Он хотел учиться.

— Может быть, и у них есть цель? Даже наверное. Что-то не устраивало их здесь,— говорил Николай.

— Что-то? Все не устраивало! Вот и сбежали.

Вечером в кабинет Николая Михайловича полицейский привел дрожащих от холода и страха мальчишек. Их поймали на плоту. Они гнали его по реке, на которой уже появились первые забереги и шуга.

Кудаплыли они глубокой осенью, без копейки денег, в легких пальтишках, с карманами, полными сухарей? Саратовкин и Веретенников знали, что спрашивать об этом бесполезно.

Николай Михайлович только провел рукой по бритой голове одного из беглецов, сказал мечтательно:

— А весной мы сами такие плоты построим. И воровать их не нужно будет. Поплывем мы по реке в самую глубь тайги. Ночью причалим к берегу, разведем костер до самых звезд и будем слушать таежную ночь. А убегать не надо. Мы теперь по-другому заживем.

Мальчишки, ожидавшие ругани, карцера и даже порки, изумленно переглянулись. А младший вдруг закрыл лицо грязными ладонями и заплакал.

Николай Михайлович привлек его к себе и сказал дрогнувшим голосом:

— А на рождество елку устроим с маскарадом. Хочешь, тебе сделаем костюм вроде барабана? Из картона и золотой бумаги. Весь влезешь в барабан, только ноги будет видно. Для глаз — дырочки. А он,— Николай Михайлович показал на старшего мальчишку,— в костюме барабанщика палочками будет колотить по твоим картонным бокам: тра-та-та-та-та! Тра-та-та!

Мальчик отнял ладони от лица, сквозь слезы с удивлением и радостью взглянул на начальника и улыбнулся.

— Ну вот. А теперь бегите ужинать... Да, ужина-то уже нет. Поздно. Пошли вместе, что-нибудь раздобудем.

И, обняв ребят, он повел их в столовую. В дверях, обернувшись, сказал Веретенникову:

— Федор Алексеевич, запиши там, на календаре, поближе к рождеству насчет барабана.

Федор Алексеевич подошел к столу, на котором лежал календарь, сел на место начальника и долго сидел в задумчивости. Потом обвел кружком «15 декабря», черту от кружка вывел на поля календаря и написал: «Барабан из золотой бумаги».

Немало писем получал Николай Михайлович в первые месяцы

своей работы. Письма были разные. Среди них много анонимных. Всю почту он раскладывал в две папки. В одной лежали письма от тех, кто одобрял его поступок, желал успеха в трудном деле. Некоторые предлагали свои услуги. Этих людей он приглашал для беседы и из их числа уже троих взял воспитателями в приют.

В другой папке лежали анонимные письма. Главным образом от богатых п-ских купцов, которые возмущались поведением молодого капиталиста, отказавшегося от состояния, считали, что к работе с детьми его никак нельзя допускать, а нужно заточить навечно в дом умалишенных. Некоторые убеждены были, что поступок Саратовкина — типичная революционная пропаганда и самому ему место в Александровском центре.

Письма волновали Николая Михайловича. Он понимал, что власти следят за ним недремлющим оком. Но то, что он раньше даже недооценивал всей серьезности своего положения, понял только после визита следователя Рябушкина.

— Так вот и живете теперь, Николай Михайлович? — спросил Рябушкин, оглядывая скромную обстановку кабинета.

— Так и живу.

— Не раскаиваетесь?

— Не раскаиваюсь.

— Ну, так-то оно честнее.

— Честнее, чем что? — хмурясь, поинтересовался Николай, сдерживая желание схватить за шиворот тщедушное, белоглазое существо, именующее себя человеком, выкинуть его на лестницу и потом вымыть руки.

— Ну... честнее, чем укрывать от властей в своем доме революционеров... Честнее, чем отдавать целое состояние на побег политических из тюрем и разыгрывать нападение разбойников.

«А он, оказывается, неглуп и дальновиден», — подумал Николай, с интересом присматриваясь к Рябушкину.

— Докажите! — сказал он спокойно.

— А конюх-то ваш проговорился тогда. Запряг было любимого вами Звездочета, а вы велели оседлать другого коня. А ведь всем известно, что на других-то конях вы, Николай Михайлович, обычно никуда не ездили...

— Ну, это не доказательство! — искренне засмеялся Саратовкин. Ему вдруг стало безудержно весело оттого, что этот неприятный, но умный человек не смог доказать его вины.

Понизив голос, Николай сказал заговорщически:

— Если хотите, — все так оно и было, как вы говорите. — А потом с озорством воскликнул: — А я буду отрицать! И вы не докажете! Не докажете!

— Да, к сожалению, пока фактов маловато. Одна интуиция да размышления. Но соберу, господин Саратовкин, не радуйтесь, соберу.

— Теперь поздно, господин Рябушкин! — опять засмеялся Николай Михайлович.

— Отстранить человека сомнительного в убеждениях от воспитательной работы никогда не поздно. А для вас это смерти подобно. Страшнее каторги.

Веселье мгновенно покинуло Николая Михайловича. Следовательно нащупал самое страшное, самое болезненное.

— Ну, пожалуй, я пойду, — сказал он, вставая и наслаждаясь произведенным эффектом. — Или, может быть, покажете свое заведение? Любопытно ведь.

Николай Михайлович тоже поднялся:

— Пока смотреть нечего. Вот через полгодика зайдите — покажу.

— Раньше зайду, Николай Михайлович! Через полгодика сколько воды-то утечет! Раньше! — значительно сказал Рябушкин и вежливо раскланялся.

Николай Михайлович так же вежливо проводил его до дверей. А потом долго ходил по комнате, ждал, когда уляжется беспокойство, причиненное посетителем. Наконец он заставил себя сесть за стол и разобрать утреннюю почту.

Но успокоиться ему сегодня, видно, было не суждено: таким уж особенным выдался этот день. Первое же письмо с петербургским штемпелем, которое он недоуменно повертел сначала в руках, а потом уже разорвал конверт, поразило его.

— Боже мой! — шепотом сказал Николай Михайлович. — Она! Любава! Сколько лет!

Он читал стоя, взволнованный, покрасневшийся, с бьющимся сердцем.

Николай Михайлович!

Теперь мы люди одного общества, и я могу написать Вам.

Прежде нас разделяло Ваше богатство. Вы сделали великий и, как все великое, трудный шаг. За это я уважаю Вас еще более, чем прежде. Хотя и прежде Вы отличались от тех, кто владел капиталами. Очень отличались. Вы всегда напоминали мне волчонка, с малых лет воспитанного людьми, который, услышав волчий вой, доносящийся из леса, терял покой и рвался туда, к своим...

Прежде нас разделяло еще и то, что Вы были образованным, я — малограмотной. Теперь и в этом я догоняю Вас. Посещаю женские Бестужевские курсы. Учиться трудно потому, что у меня две девочки-двойняшки, очень похожие на меня.

А теперь нас с Вами разделяет одно: я для Вас никто. А Вы для меня... все.

С какой радостью и болью я вспоминаю зимнее кладбище, мрачный склеп Саратовкина со страшной в покорности своей

надписью: «Да будет воля Твоя!» и Вас, Николай Михайлович! Если бы Вы знали, чем были тогда для смешной, необычной, правда, девчонки Любавы.

А ведь я могла бы тогда заставить Вас полюбить меня, жениться на мне. Могла бы, но не хотела использовать силу, данную мне природой.

Простите, что напоминаю о себе.

Любав а.

И ни адреса, ни фамилии!

19

Грозный с трудом оторвался от рукописи. Его тревожило то, что он еще не заглянул в расписание уроков на завтра.

Он убрал рукопись в папку и положил ее с краю стола. Под папкой лежало расписание. Оно — это расписание — было сделано руками лучшего художника школы и от седьмого класса «В» преподнесено Николаю Михайловичу ко дню рождения.

Завтра — урок истории, как раз в седьмом «В».

Николай Михайлович долго ходил взад-вперед по комнате, «переключаясь», как он определял для себя это состояние.

Наконец он подошел к карте. Остановился подле нее. Мысленно он уже был в кабинете истории и перед ним сидели семиклассники. Тема урока: «Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева».

«Закончу я урок так:

«Вы знаете, что в прошлом году свой отпуск я посвятил поездке в Германскую Демократическую Республику?..»

«Знаем! — дружно отзовется класс. — Расскажите!»

«Примерно в двух с половиной часах езды на машине от Берлина стоит город Цербст. Стоит он уже тысячу лет. Я посетил Цербст, имея в виду программу седьмых классов и наш сегодняшний урок...»

Николай Михайлович знает, что в этом месте Ильюшка Крикунов — тот, которому учительница литературы поставила двойку за то, что он Дон-Кихота назвал «чокнутым», а если не Ильюшка, то кто-то другой обязательно подмигнет соседу по столу и усмехнется: «Самому до смерти было интересно, поэтому и поехал в Цербст...»

«Как вы знаете, немецким языком я владею, потому что серьезно относился в школе к этому предмету...

В Цербсте я зашел в старинное здание музея. Это бывший монастырь, который 400 лет тому назад был переделан в школу.

Во вторую мировую войну, как вы помните из истории, американцами был открыт второй фронт. Трижды предлагали комен-

данту города сдаться, но он трижды отвел их предложение, и над городом взвились американские самолеты, разбомбив его на 82 процента.

Меня сопровождал директор музея, он же учитель истории школы, что находится наверху, над музеем.

Чем же, друзья мои, заинтересовал меня — и, я уверен, заинтересует и вас — город Цербст — столица захудалого Ангальт-Цербстского княжества, о котором, вероятно, никогда бы не упоминалось в истории, если бы...

Если бы его последняя принцесса Софья-Августа не стала бы великой царицей русского государства — Екатериной II...»

Николай Михайлович знал, что уж теперь-то в классе установится звенящая тишина.

«Из Цербста Софью-Августу в 1744 году увезли в Россию в пятнадцатилетнем возрасте, где она из лютеранской веры, которую исповедовала, перешла в православную, приняв имя Екатерины, и была выдана замуж за Петра.

Директор музея вывел меня за пределы старого города, обнесенного каменной, кое-где сохранившейся стеной. Там стоял княжеский дворец. Сохранились развалины его. В зияющие, огромные окна видны были кирпичные перегородки. Видимо, дворец был красив и богат. Фасад его украшали колонны. Сохранились части статуй. Кого хотел изобразить скульптор фигурой в длинном одеянии с книгой в руках?

Видимо, дворец этот был образцом, по которому строились потом в Петербурге роскошные екатерининские дворцы.

Мы возвратились в музей. Я долго простоял перед прекрасно написанным портретом Софьи-Августы в двенадцатилетнем возрасте. Худенькая, голубоглазая принцесса, с тоненькой лебединой шейкой и забранными кверху пышными светлыми волосами, в модном национальном наряде, казалась много старше своих лет.

Еще дольше я простоял перед другим портретом, написанным, судя по художественной манере, тем же неизвестным художником. Это была Софья-Августа уже в пятнадцатилетнем возрасте, в том году, когда она навсегда покинула родину.

На меня глядело совершенно другое лицо красивой, очень румяной женщины, с такими же, как на том портрете, пушистыми волосами, забранными кверху и украшенными драгоценностями. В ярко-голубых глазах затаились ум, воля, жестокость. Такая могла преодолеть преграды любой ценой, участвовать в борьбе придворных еще при жизни императрицы Елизаветы Петровны, организовать дворцовый переворот, захватить трон мужа — Петра III, кровью подавить Пугачевское восстание, избавиться от претендента на престол Ивана VI, с младенчества и на всю жизнь заключив его в крепость.

Я видел портреты матери и отца Софьи-Августы. Видел картину, изображающую преображенный Цербст, провожающий свою принцессу в Россию. А немец — учитель истории — в этот момент, вероятно, уже в тысячу первый раз стоял тут же, пламенно пожирая глазами картину».

«По увлеченным лицам ребят, — думал Грозный, — я почувствую, что не зря потерял день для того, чтобы побывать в древнем Цербсте, и это поможет мне провести уроки интересно».

Но в это время, а может быть, даже и раньше, конечно же, Грозного перебьет звонок, и, как это часто случается, он будет досказывать на ходу, в коридоре, толпедвигающихся за ним учеников... Суть учения Лютера, страшную судьбу маленького царя Ивана VI, подробности заговора Екатерины... И вопросы будут бесконечны...

...Грозный оторвался от карты, прижавшись к которой он импровизировал урок истории в седьмом классе.

— Ну, а воспитательная цель этого урока? Как оправдаю я тезис своего тезки Саратовкина и свой: «Учитель в первую очередь должен быть воспитателем»? — вслух спросил себя Грозный.

«На всем нужно расставить акценты, да так, чтобы они, во-первых, дошли до сердца учеников, а, во-вторых, не были нарочито воспитательными, «в лоб». Этому дети не терпят.

Нет, урок может быть не только образовательным, но и воспитательным. Он будет таким, если учителя не покинет вдохновение», — думал Грозный. И он с удовольствием ждал завтрашнего дня.

20

Встреча Николая Михайловича Грозного и Сергея Федоровича Веретенникова состоялась в один из осенних вечеров.

— Вот так и бывает, — пожимая руку Веретенникова в его просторной прихожей и проходя в комнату, говорил Николай Михайлович. — Живем в одном городе, давно знакомы, встречаемся и по работе и просто так, и оказывается, ничего, решительно ничего друг о друге не знаем. А я-то со своими учениками весь архив перевернул в поисках сведений о Саратовкине. Ну, а дежурства на могиле они сами придумали и вот «засекли» вас.

— Да, фигура «разведчика» была внушительной, когда мы оба, обнажив головы, долго и молча стояли над могилой, — улыбнулся Сергей Федорович.

— Итак, вы были учеником Саратовкина? Когда же вы кончили школу и какую?

— Ту самую, где преподаю, Николай Михайлович, — шестую. А окончил ее в 1932 году. И профессию свою выбрал исключи-



тельно потому, что был учеником Саратовкина. Вот она, преемственность поколений! Большой человек был! Учитель талантливый, настоящий. Как хорошо, что вы решили написать о нем! Знаете, есть люди, которые умеют говорить о себе. А он нет, всегда был молчальником. Даже не от скромности, а от убеждения.

Дело его жило, а он был всегда в стороне. Будто бы и ни при чем.

В это время в кабинет, где расположились хозяин и гость, вошла жена Веретенникова. Ее выцветшие черные глаза, поблекшее лицо с правильными чертами, кое-где с морщинами хранило следы былой красоты. Вероятно, она, подобно многим красивым женщинам, не легко сдавалась старости. Ее седые, подсиненные и уложенные в парикмахерской волосы, модный брючный костюм, умеренная голубизна у глаз и розовый отсвет губ говорили об этом.

Она протянула руку гостю и только хотела пригласить к столу, как Сергей Федорович вскричал:

— Да вот и Люся была ученицей Николая Михайловича! Вместе сидели за партой.

«Значит, вместе прошла вся жизнь», — почему-то, в первую очередь, с грустной, легкой завистью подумал Николай Михайлович и только потом представил, как в классе за партой сидят он и она — подростки. Их дружба тогда, очевидно, еще не переродилась в любовь. И мудрости сложной и даже страшной жизни, в водоворот которой вот-вот должны они броситься, их учит замечательный человек, все видящий и все понимающий. Конечно, с его напутствием было легче шагать по запутанным лабиринтам...

И теперь, наверное, давно ушла та юношеская любовь, снова уступив место дружбе, которая стала еще крепче той, что была в четырнадцать лет, — дружба самоотверженная и грустная на пороге вечной разлуки...

— За столом и поговорим! — улыбаясь, сказала Людмила Викторовна.

Но за обедом уходить в глубь той темы, которая интересовала Грозного, было трудно. За столом появились внуки, требующие внимания бабушки, дедушки и гостя: трехлетний толстый и неповоротливый Янек и все сокрушающая на своем пути четырехлетняя Верочка. Верочка тут же украсила плечо брата компотом, который он равнодушно стряхнул, затем она смахнула на пол вилку и, ползая под столом, потрогала ботинок Николая Михайловича, а потом сообщила:

— Дядя упадет. И носик разобьет. Шнурок у него плохо завязан. Надо бантиком.

Николай Михайлович на полном серьезе отодвинулся от стола вместе со стулом и покачал головой.

— Действительно, торопился и забыл завязать бантиком.

Янек слез со стула, проверил свои ноги и солидно сказал:
— У меня бантиком.

Затем снова уселся на стул, вооружился ложкой и спокойно стал есть суп, стараясь не проливать и поглядывая исподлобья: смотрят ли на него взрослые?

И в эти минуты Грозному больше чем когда-либо взгрустнулось о своей одинокой, неустроенной жизни. Конечно, ученики всегда около него. И школьную жизнь он привык считать своей, личной жизнью. Но все же это не совсем так...

А Веретенников словно понял его:

— Так и прожил Саратовкин всю жизнь в одиночестве, всего себя отдал детям. Сначала приют. Потом, в революцию, подбирал в колонии и воспитывал беспризорников. Затем был директором и учителем шестой школы. А конец обычный — заболел, ушел на пенсию.

— Как же он один в старости?

— Старость и всегда нелегка, — сказала Людмила Викторовна, подавая Грозному отбивную с румяным картофелем, — а у него она оказалась просто трагической. Скончался в доме престарелых. Правда, ученики помнили. Навещали. Ученики же и похоронили его.

— Как это похоронили, бабуля? — спросил Янек, переставая жевать.

— В ямку закопали. И все, — пояснила Верочка.

— Действительно все. Истина глаголет устами ребенка, — сказал Грозный.

После обеда Людмила Викторовна повела детей спать, а мужчины вернулись в кабинет. Сергей Федорович достал из книжного шкафа старую папку, развязал ее и открыл. В ней лежали стопки тетрадей с выцветшими, но аккуратными обложками.

— Это дневники моего отца. Здесь вы найдете много о Саратовкине. Отец боготворил его. Считал великим педагогом. После революции он делал в Сибири то же, что Макаренко. И сколько же путевок в жизнь дал он молодежи! Скольких уберег от смерти физической и моральной! Учтите, Николай Михайлович, дневник отдаю только на время. Это семейная реликвия.

— Понимаю. Сохраню в целости. И благодарен безгранично вам, Сергей Федорович. Отнесусь, как к святыне.

— Да, забыл еще. Тут же есть фотография!

Он долго переключал тетради, перелистывал их и встряхивал и, наконец, достал фотографию.

Группа беспризорников в пальто, полушубках с чужого плеча. На головах у кого что — и красноармейские шлемы, и выношенные старинные шапки, и потрепанные фуражки. Все стоят. Видимо, жмутся от холода, хотя и находятся в помещении. А в середине на табурете сидит человек средних лет, тоже в поношенном паль-

тишке и старом помятом картузе. Николай Михайлович так и впился глазами в лицо Саратовкина.

— Я же не ошибся. Я таким и представлял его! — в волнении воскликнул он. — Какая улыбка! Тут и скромность, и доброта, и обаяние. Видите — руками обхватил близстоящих мальчишек, хотел, наверное, выдвинуть их на первый план, а самому остаться в стороне. Подкидыш! Миллионер! Все отдавший детям — и состояние свое, и всю жизнь! Учитель! — В глазах Николая Михайловича блеснули слезы. — Ну, что же, мы переснимем, увеличим. Сами сделаем мемориальную доску, вывесим на школе. Своими руками создадим памятник.

— А не лучше ли обычным путем?

— Нет. Это должны делать дети. Обязательно дети, которым он сохранил их отцов. И деньги у нас есть. Я уже давно определил гонорар за книгу на эти расходы.

21

В мире все повторимо. В школе же одно событие следует за другим по точному, монотонному расписанию. И все же события повторяются по-разному.

Каждый год, на пороге лета, двери школы открываются, чтобы выпустить в жизнь тех, кто десять лет провел здесь. Но уходят воспитанники школ по-разному и по-разному вступают в большую жизнь. Одни целеустремленно и легко, другие безвольно, ощупью. Иные с первых шагов становятся пасынками жизни, а другие любимыми детищами. И ведь нельзя признать, что иной раз пасынок во сто крат достойнее любимого детища. Но жизнь причудлива и сложна. Поэтому Грозный с беспокойством и затаенной грустью провожал в дальний путь свой десятый «А».

Отгремел выпускной вечер. Как всегда, разошлись на рассвете. А назавтра, в сумерках, собрались на прощание в «Избе раздумий». Из учителей попросили прийти только Грозного.

Этот голубой сумеречный час летнего дня был незабываемо хорош. И наверное, романтичнее было бы провести его в кольце молодых елей, сосенок и кедров, осветив огромным костром темнеющее небо, старую баньку и буйный сиреневый цвет багульника на взгорке. Но последний раз хотелось побыть именно там, где три года загорались мечты, завязывались непримиримые споры, складывались убеждения.

— Незабываемая «Изба раздумий»! Как много дала ты нам, старая банька, построенная каким-то дореволюционным мужичком! — сказала Лаля Кедрина.

Она превратилась в хорошенькую девушку. На ней было нарядное кружевное платье, и теперь уже белый цвет не полнил ее подобранную фигурку.

— Здесь я поняла, как смешон мой протест против родителей. Я им назло небрежно одевалась, вела себя при гостях вызывающе, огорчая маму. А чем она не права? Она любит старинные вещи. Она привыкла к этому и была воспитана видеть смысл жизни только в семье. А отцу я всегда давала понять, что не принимаю его живописи... И этим тоже огорчала его...

— Дамы и господа! О предках не будем говорить в эту прощальную ночь, — насмешливо сказал Никита своим сильным, бархатным голосом.

Он достал из нагрудного кармана нового светло-серого костюма ярко-красную расческу и, по привычке приводя в порядок волосы с безукоризненной укладкой, выполненной природой от рождения, взглянул в маленькое, кое-где облупившееся зеркало, висящее на гвозде, вбитом в бревно стены. Лицо было красиво и яркой молодостью, и безупречными чертами лица, и выражением мысли.

— А кто, скажи, Лаля, подсказал тебе задуматься над твоим поведением? — спросила Наташка.

— Ты, конечно!

— Ой ли?! Подумай-ка!

— Грозный, Наташка, Грозный!

— То-то же! Не я и не изба сама по себе. А тот, кто всегда был с нами.

— Ну, а родители твои очень переживают, что ты решила стать учительницей? — спросил Лалю Никита, загоня в карман поглубже красную расческу.

— Ты же не хотел о «предках»! — отрезала Лаля.

— И вот в этой самой «Избе раздумий» через шесть лет ты будешь помогать своим ученикам разбираться в своих ошибках, учить отношению к людям, открывать непонятные явления в жизни — словом, как Грозный... — оставляя без ответа реплику Лали, не отставал Никита.

— Буду. И с радостью. Только сумею бы. Сам знаешь, как трудно с нами. Не всякому мы душу свою откроем. А ты, Никита, порадуешь своего отца тем, что на экране он будет видеть ежедневно твою физиономию и сделанную приветливую улыбку: «Добрый вечер, товарищи!»

— А ты знаешь, для того чтобы стать диктором, нужно иметь театральное образование? — спросила Наташка.

— Николай Михайлович узнавал для меня это официально. Эх, младенцы! Если б вы понимали, сколько для меня сделал этот человек! — вздохнул Никита.

— Опять Николай Михайлович, — со значением сказала Наташка, словно бы нарочно заставляя всех сосредоточиться на достоинствах учителя.

— А может, и так проскочу! — снова сказал Никита. — Ведь

голос-то у меня почище левитановского.— Он покрякал, прочищая горло, и сказал удивительным звенящим басом, отдающим металлом: — Не голос, а бархат! N-ская телевизионная студия потеряет — московская подберет. Не выгодно землякам терять такого диктора.

И хоть сказано все это было на полном серьезе, что обычно десятиклассникам кажется безудержным, дерзким хвастовством,— никто не возразил. В самом деле, голос-то был необычный и внешность хороша, если не считать небольшой рост Никиты. Но роста на экране не видно. Да и у Николая Михайловича рост не велик, а человек — человечище!

Такое же необычное будущее избрала себе белокурая красавица Анастасия Платонова, по прозвищу «Аэлита».

— Буду манекенщицей,— сказала она неожиданно, загадочным взглядом зеленых глаз окинув товарищей, и, вскочив, изящным движением развела в стороны руки, как бы стараясь не загораживать ими наряд, стала переступать стройными ножками в лаковых туфельках на десятисантиметровых каблуках, приподняв голову с выражением, говорящим: «Любуйтесь не только платьем, но и отличной фигурой моей и красивым лицом». Платьем-то и в самом деле любоваться было нечего: простое, скромное беленькое платье. Но как обнимало оно ее бедра, высокую грудь, удивительные линии тонкой талии, покатых плеч; как открывало изящные руки и лебединую шею!

Молодость, молодость, почему ты так коротка и неповторима?!

Семен Неверов, как и многие юноши, закурил папиросу.

— Ну, чего воздух портите! — прикрикнула Наташка.— Шли бы на улицу дымить! Бестактно же это: пятеро дымят, а двадцать задыхаются. Ничему-то вас жизнь не выучила!

— Ладно уж. Не бухти! — миролюбиво сказал Семен и, поискав взглядом, куда бы сунуть папиросу, поднял ногу и прижал горящий край ее к подошве.

Так же поступили остальные.

— Мелкую профессию выбираешь,— сказал Семен Аэлите.— Лучше бы вышла замуж, народила крошек и воспитывала будущее поколение. Замуж тебя всякий возьмет: красивая!

— А ты бы взял? — поинтересовался Никита.

— Я? Нет, конечно.

Наталья возмутилась:

— А не кажется ли тебе, Сенька, что ты своими словами оскорбляешь женское и человеческое достоинство?

— Не кажется. Убедись! — Он кивнул в сторону Насти Платоновой.

Та действительно, словно и речь-то шла не о ней, расправляя платье, усаживалась на скамейку, принимала изящную позу и

обычной своей заученной улыбкой старалась привлечь взгляды мальчишек. Наташка внимательно посмотрела на Аэлиту и примирительно сказала:

— Ну, ладно!

— И совсем не ладно,— вдруг запротестовала Настя. Запротестовала удивительно спокойно.— Понимать надо, в какое время мы живем. Все вы заглянете в журнал мод, прежде чем шить себе одежду. И не раз еще меня вспомняете. Отошло время ходить растрепами. Красота одежды, вкус, линии — это и радость дает и настроение улучшает. Это тоже искусство. Понимать надо. А то Семен: «мелкая профессия!» Нет профессий мелких и крупных. Все одинаковы!

— А что, «ашники», Настя права,— подумав, сказала Наташка. Как всегда, непонятно, почему она и здесь заняла роль председателя.

— Ты, будущий историк,— обратилась она к Семену, который встал и вышел на середину комнаты,— собираешься высказаться?

— Нет,— удивленно сказал Семен.

— Тогда зачем занял место оратора?

— Не знаю,— пожал плечами Семен и вдруг спохватился: — Да, вот о чем я хотел сказать.

Он стоял немного сутулясь, чтобы головой не задеть потолок.

— Вот повесть Николая Михайловича на днях выйдет в свет. Он так надеялся, что с прощального вечера все мы разойдемся с его книгой и автографом, напутствующим каждого. Я знаю, что у него в записной книжке уже заготовлены эти автографы.

— Ты всегда все знаешь! — ворчливо вставила Лаля.

— Но книга не успела выйти,— продолжал Семен, не обращая внимания на Лалину реплику.— Она, эта книга, в которую и мы вложили так много труда (и, главное, в процессе работы поумнели, многое поняли),— она догонит нас в пути. Обязательно догонит. Без напутствия, которое будет написано рукой Грозного каждому, на первой странице, он не отпустит нас в дальнее плавание. Мы знаем, что образ Саратовкина — это в какой-то мере образ Грозного.

— И любовь Николая к Любаве — это его любовь к той однокласснице,— поправляя на плечах лежащий пух взбитых кремовых волос, с обворожительной улыбкой вставила Настя.

Семен покосился на Аэлиту, но вынужден был согласиться.

— Да, это его любовь. И одиночество Саратовкина — его одиночество. И мысли и рассуждения — все его. От Саратовкина он принял эстафету. Это называется, Анастасия,— он почему-то обратился именно к ней,— преемственностью поколений. Понятно?

— Понятно! — весело сказала она.— Ребята, давайте танце-

вать. У нас же есть приемничек, — кивнула она на высокого, меланхоличного юношу, у которого через плечо висел небольшой кожаный футляр. — Давай веселую музыку!

— Нет, Настя, ты всегда не в том ключе, — сказала Лаля. — Танцевали мы вчера. До рассвета танцевали. И сейчас ноги болят. Теперь же мы в «Избе раздумий». И последний раз все вместе. А ты — танцевать!

— Девчата! Ребята! Слушайте! — загорелась Наташка, как обычно внезапно.

И все примолкли. Сейчас что-то выкинет. Ах, как удивительно не изменилась она с восьмого класса. Все такой же здоровенький крепыш, густо подрумяненный. Ноги, обтянутые чулками, крепкие-крепкие. Смотришь на них и думаешь — вот так же крепко будет стоять она в жизни. Не зря за нее, более чем за кого-либо, был спокоен ее учитель. Даже то, что она, как другие, еще не определила своего будущего, сказала: «Год поработаю, присмотрюсь», — он считал правильным решением.

— Мои бывшие одноклассники! — торжественно сказала она. — Представьте себе, что на школьном вечере мне дали слово от нашего десятого «А». Уполномочиваете?

В ответ слышались шумные аплодисменты, и никто не услышал, как в этот момент открылась и закрылась дверь. Внимание всех было приковано к Наташке, и никто не увидел Николая Михайловича Грозного.

— Дорогие товарищи! — прочувствованно сказала Наташка. — Вот мы кончили школу и сегодня последний раз собрались все вместе. Я не буду занимать вашего внимания и постараюсь сказать то, что у меня на сердце, предельно коротко. Мы выросли в этих стенах, получили образование, кто хотел и мог — крепкое, кто не хотел и не мог — слабее. На стене нашей учительской с тех пор, как мы учились в восьмом классе, сияла фраза, написанная век тому назад замечательным нашим земляком и педагогом Николаем Михайловичем Саратовкиным: «Легче сделать воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как высшей ценности, чтоб с детства человек был другом, товарищем, братом для другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем». Эта истина была взята на вооружение нашими учителями. Не всеми, конечно. Но нес ее в своем сердце уважаемый и любимый всеми нами, справедливый и умный директор наш Павел Нилович, и Мария Савельевна, и Ольга Николаевна. Ну и, конечно, в первую очередь, наш классный руководитель Николай Михайлович Грозный. Наш учитель Николай Михайлович равен тому Николаю Михайловичу из прошлого века, о котором сведения мы, как ошалелые, разыскивали в архивах, бегали по городу, дежурили на кладбище. Да понимаете ли вы, ребята и девчата, как наполнил

он нашу жизнь важным, воспитывающим, увлекательным делом?! Как умно, как тонко, с каким талантливым педагогическим прицелом придумал он нам это занятие?! А эта «Изба раздумий»! Здесь он вдумчиво и осторожно открывал нам жизнь со всей сложностью ее, жестокостью и радостью. Мы все это ценим и сейчас. Но особенно оценим, наверное, тогда, когда пройдут годы...

Наташка загорелась еще больше, блеснула глазами, прижала руки к груди.

— Друзья! Не считите за сентиментальность, если я от лица нашего десятого «А» принесу земной поклон нашему учителю.

В полной тишине, под изумленными взглядами одноклассников, она склонилась в низком поклоне, правой рукой коснувшись пола. И тут все услышали, как скрипнула дверь, взметнулась портьера, и на фоне голубых сумерек на мгновение мелькнула спина Николая Михайловича.

— Ушел! — сказала Лаля, вытирая кулаком глаза. — Не выдержал и ушел! А когда пришел — не заметили! Ну, сумасшедшая же ты, Наташка!

Наталья выпрямилась.

— Ну, в школьном зале ты этого, надеюсь, не сделала бы! — сказал Семен.

— Конечно, — отозвалась Наташка. — Это я здесь, в русской избе, по старорусскому обычаю, для вас и для себя главным образом. — И растерянно добавила: — А он видел! Как же так вы-то его не заметили!

В тишине «Избы раздумий» слышался звук отъезжающей машины. Взмолванный Николай Михайлович подсаживал на стекла «Москвича», которые запотели. Но потом он понял, что дело не в стеклах... Он достал платок и вытер глаза.

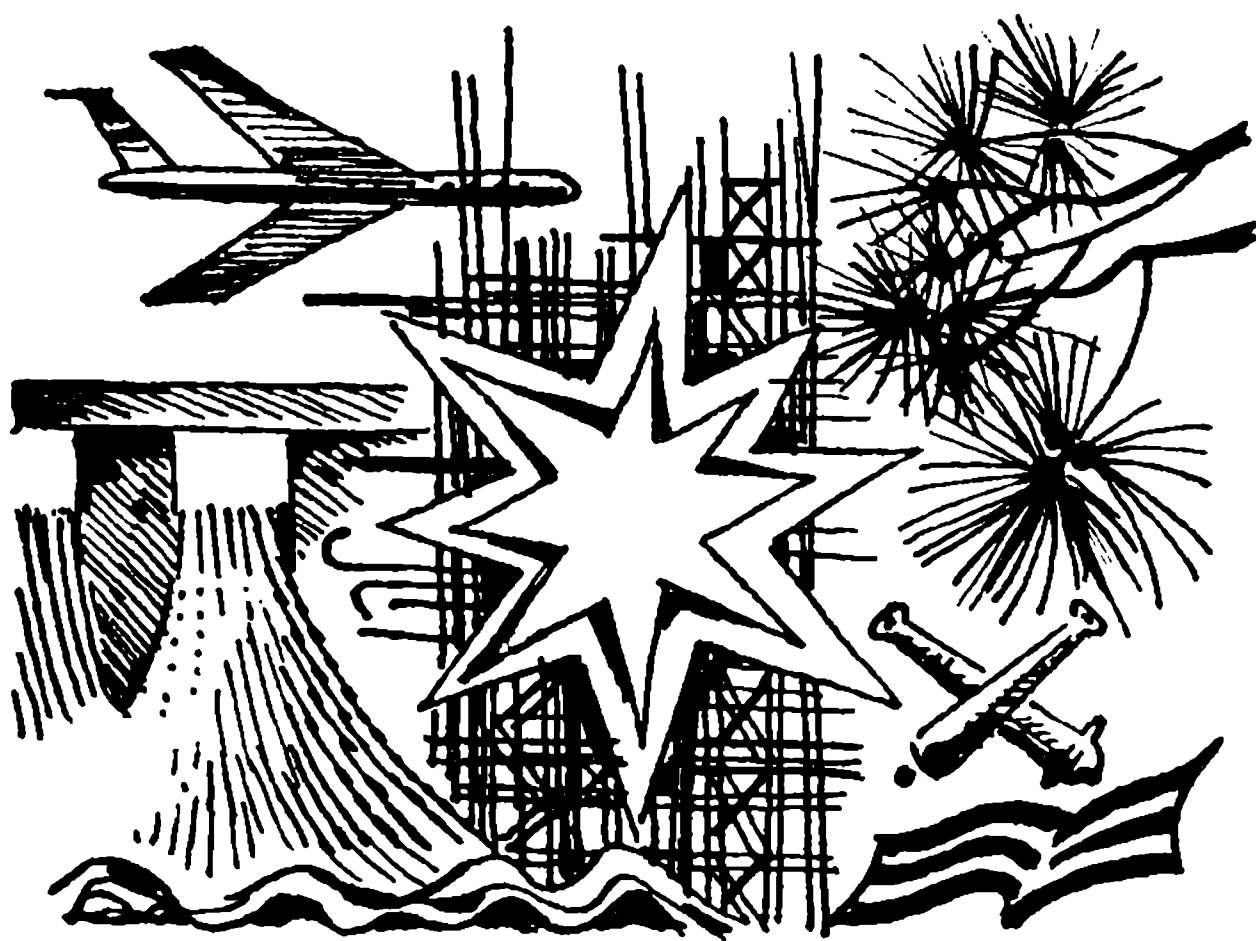
Вскоре он остановил машину, вышел из нее, постоял, затем поднялся на гору и сел на нависший над дорогой выступ скалы, обросший мхом и кустарником.

Сумерки все еще не перешли во мрак. Но удивительная синева этого часа сгустилась до предела. Там, далеко-далеко, где еще слабо розовело синее небо, за резные макушки кедровых деревьев недавно ушло солнце, и к нему мимо скалы, на которой сидел учитель, шла дорога, окаймленная по краям буйно разросшимся подлеском... Он смотрел на широкую проселочную дорогу в ямах и рытвинах, на стройные, но еще слабенькие деревца по краям ее по-прежнему затуманенным взглядом и не мог унять в себе волнение.

Потом он по-мальчишечьи спрыгнул со скалы прямо вниз, на дорогу. Сел за руль, взял первую, вторую, потом третью скорость. Волнение улеглось. Уступило место тихой радости, и он помчался по широкой дороге догонять уходящее солнце.

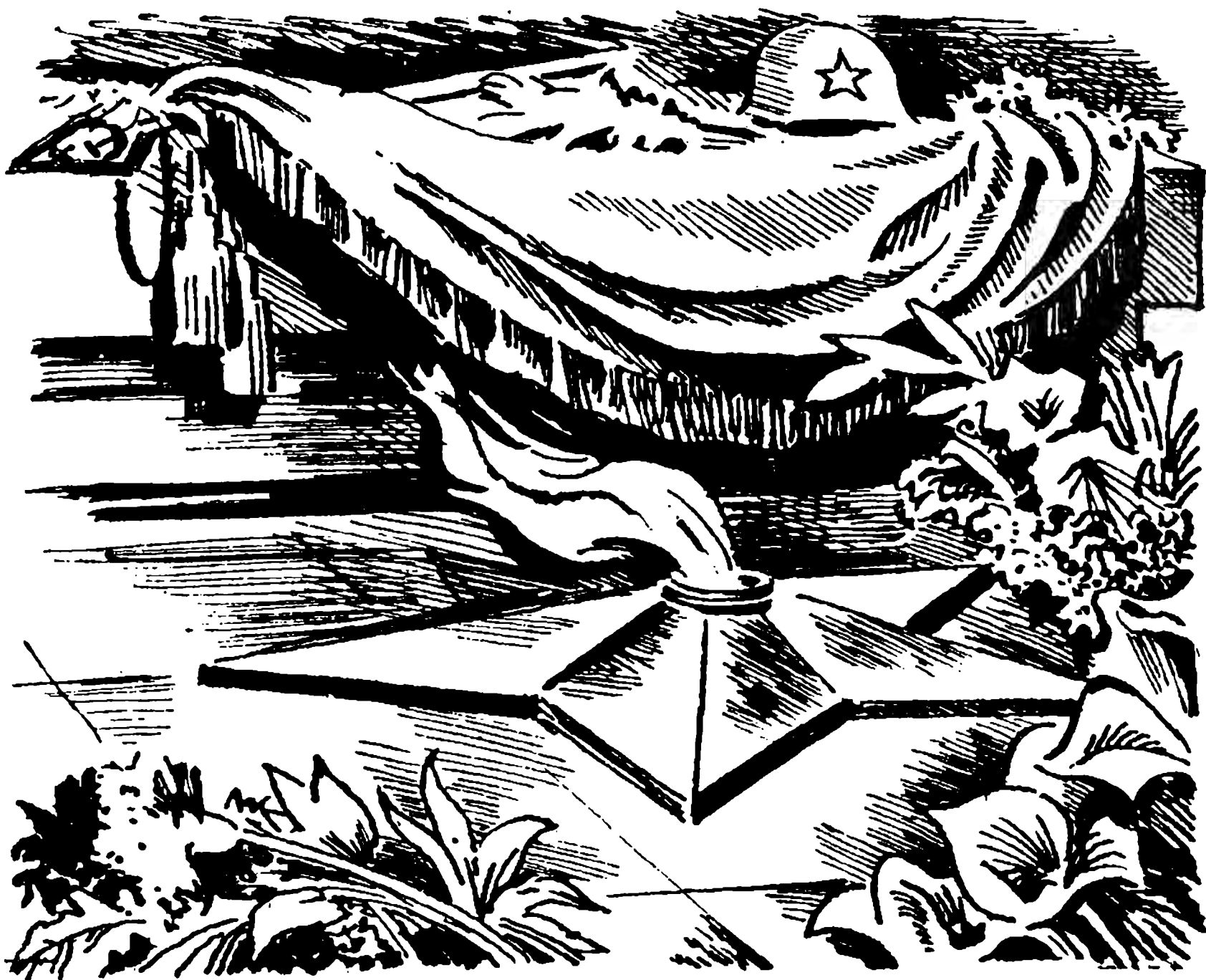
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

Мой генерал
Роман



Посвящаю всем генералам,
Всем полковникам.
Всем подполковникам.
Всем майорам.
Всем капитанам.
Всем лейтенантам.
Всем старшинам.
Всем сержантам.
Всем рядовым.
Посвящаю всем солдатам
минувшей войны, которым
их дети, их внуки,
их правнуки
и будущие праправнуки
обязаны вечно —
зеленой травой,
голубой речкой,
синим небом,
серебряным воздухом,—
всем, что называется
ЖИЗНЬ.

А в т о р



Часть первая. САМОЕ НАЧАЛО

ПРО МЕНЯ

Будем знакомы: меня зовут Антон, то есть Антошка.

Я живу в Сибири. Я и родился там — так что я сибиряк.

Не подумайте, будто я горжусь этим.

Ведь никакой моей заслуги в этом нет.

Один родился на юге — он южанин, другой — на севере, он северянин. А я родился в Сибири.

Не знаю просто, почему на сибиряков как-то по-особенному смотрят. Я, например, никогда не думал, что какой-то особенный. Это только когда в Москву с дедушкой приехал, все на меня пальцем показывали и охали: ох, сибиряк!

Но я самый обыкновенный. Учусь в школе, как все. Бывает, двойки получаю, а про тройки даже и не говорю. Способностей, что ли, не хватает?

Я над этим вопросом часто задумываюсь. Мама меня крити-

кует. «Ты бы,— говорит,— меньше философствовал, а больше учил».

«Где уж тут философствовать! — думаю я.— Философствуют ученые или там выдающиеся люди. Просто я обыкновенный».

«Обыкновенным,— спорит мама,— или необыкновенным человек сам себя делает. А не делается по щучьему велению».

Ну, что еще про себя сказать?

Учусь я в четвертом классе, а соседа моего по парте зовут Кешкой, то есть Иннокентием, мы с ним дружим.

Остальное у нас сходится.

Мы оба больше всего земляничное варенье любим и кино про шпионов. Зимой любим, когда деревья стоят закуржавелые, а летом любим купаться. Отцы наши — Кешкин и мой — оба на строительстве работают.

Вот и все про меня.

ПРО ПАПУ

Мой папа — Великий Кочевник. Так его мама называет, когда она в хорошем настроении. Папа тогда улыбается, кажется, вот-вот и он замурлычет от удовольствия, как котенок. Зато когда у мамы настроение плохое, она называет его Несчастливым Скитальцем. Отец смотрит на нее напряженно, испуганно и походит на первоклашку, у которого пятиклассник хочет портфель отнять. И мне тогда жалко папу, потому что Великий Кочевник и Несчастливый Скиталец прежде всего заместитель главного инженера.

Я даже слышал, как двое взрослых за моей спиной сказали про меня: «Это замов сын».

Сначала я не понял, а потом догадался: мой отец заместитель, сокращенно — зам, а я его, значит, замов, сын.

Вот так. И зря мама сердится, обзывает его Несчастливым Скитальцем, потому что те двое взрослых слово «замов» сказали очень уважительно. Получилось даже, что они сказали уважительно обо мне, хотя я обыкновенный четвероклассник и, ясное дело, ничего такого пока не заслужил. Просто уважение к папе как бы на меня распространилось.

И отец совсем не виноват, что он Великий Кочевник. У него такая работа. Он строит электростанции. Построит одну, переезжает в другое место и снова строит. Мама ездит с ним. И я тоже. Но это же понятно — мама его жена, а я его сын.

Мама ворчит, когда у нее плохое настроение:

— Хочу в Москву, там пустует такая квартира — пятьдесят метров! Хочу в театры ходить! Разве мы не заслужили? Третью станцию достраиваем!

Папа стучит пальцами по столу. Это сложный спор. Мой па-

па — коренной москвич, он там родился, а мама — сибирячка, они познакомились в Иркутске, поехали на свою первую стройку, а на второй я родился, но дело не в этом. Дело в том, что коренной москвич папа в Москву не рвется, а вот мама рвется.

— Сколько раз звали тебя в министерство! — говорит она. — И потом, нельзя же всю жизнь строить, строить, строить! Ездить, ездить, ездить! Нужно стать когда-то руководителем, консультантом! Учить других. Советовать! Писать книги. Защитить диссертацию.

Но папа не хочет быть руководителем и защитить диссертацию. Он хочет строить, строить, строить! Ездить, ездить, ездить!

Он лохматит белобрысые, как у меня, волосы, хмурится, молчит.

— Почему ты молчишь?! — восклицает мама. — Опять думаешь о прочности бетона?

— Нет, — улыбается папа, притягивает маму к себе и целует ее в висок. — Я думаю не о прочности бетона. Я думаю о прочности любви. И я знаю, что ты думаешь совсем другое, не то, что говоришь. Ты думаешь, как хорошо, что мы живем не в шумном городе, а здесь, в глубине Сибири! Ты думаешь о том, что мне хорошо и я чувствую себя человеком, без которого на стройке нельзя обойтись! Ты думаешь, что в Москве, в прокуренных кабинетах, я бы прокоптился и зачах, потому что я не курю и не выношу табачного дыма! И еще ты думаешь, что прибирать квартиру в пятьдесят метров гораздо дольше и хлопотливее, чем нашу двухкомнатную, а московские спектакли можно прекрасно смотреть по телевизору!

На маму папины слова производят впечатление. Теперь на котенка похожа уже она. Вот-вот замурлычет.

Мама кладет голову папе на плечо, прикрывает глаза, улыбается.

— Ну ладно, — говорит она, — мне-то не привыкать, я же сибирячка, посмотрим, как ты, коренной москвич...

Коренной москвич хмурится. Вот теперь, я знаю, он думает о прочности бетона.

ПРО МАМУ

Когда папа действительно думает о прочности бетона, мама ему никогда не мешает. Ходит на цыпочках, подносит ручку и бумагу. Папа хочет написать книгу об испытании прочности бетона. Он выводит какие-то формулы, что-то считает, записывает на бумаге каракули, а мама штопает носки и улыбается.

Я люблю смотреть, как мама улыбается. Лицо у нее круглое и ямочки на щеках, а глаза ясные, синие. Если она сидит у окна

и солнечный луч сбоку светит, падает маме прямо в глаза — хрусталики ее горят, словно прозрачные камушки. Мама моя добрая, я ее злой никогда еще не видел. Даже когда сердится, она все равно добрая. Волосы у мамы русые, она их в косы заплетает и укладывает кольцом на голове. За это папа зовет ее солнышком. А всех вместе нас — семейством Белобрысыковых. Имя у мамы, как и лицо ее, — округлое, доброе: Ольга. Работает она главным санитарным врачом района, и поэтому они с папой поругиваются. Папа говорит: всему голова — стройка. Мама спорит: стройка находится на территории района. Папа говорит: судьба района зависит целиком от стройки. Мама настаивает: стройка — для людей, которые живут в районе...

И вот они спорят. И я соглашаюсь. То с отцом. То с мамой. Кто убедительней в этот раз говорит.

И в самом деле — как тут быть?

Электростанция, которую папа строит, — самая мощная во всей Сибири. Такую речичу перегородить надо — ого-го! Даст станция ток — и заработают заводы, которые уже строить начинают вокруг. И в нашем поселке, и в районе, где мама главным санитарным врачом работает. И во всей Сибири. Мне нравится это папино сравнение. Он говорит: наша ГЭС — как ромашка. Станция — это желтая серединка, ядро, а лепестки — это заводы, колхозы, леспромхозы. Лепестков без центра быть не может. Это верно!

— Но что за ромашка без лепестков? — спорит мама. — Ободранная какая-то! Ведь станция твоя — для людей, для заводов, колхозов, леспромхозов, про которые ты говоришь! Значит, о людях думать нужно. Вперед глядеть!

Верно! И мама тоже права.

Мама сердится, когда спорит, но лицо у нее по-прежнему доброе, и папа смеется.

— И как это, — удивляется он, — тебя все в районе боятся? Да и наш начальник — гроза грозой, с министром ругается, кажется, без телефона его голос в Москве слышат, а как узнает, что ты к нам едешь, сразу команды по телефону отдавать начинает — чтоб прибрались, чтоб соблюдали...

Мама улыбается, а я с папой соглашаюсь. Вон у нас в школе какая чистота. В поселке грязюка — весной и осенью не проберешься, но в классах чистота, потому что по маминому указанию возле школы сбили деревянные корытца и наш санпост никого в грязных сапогах не пустит. И мытье в корытцах мама трехступенчатое придумала. В первом — самую грязь отмывать надо, во втором — сапоги домываешь, а в третьем — начисто ополаскиваешь.

КАК МЫ ЖИВЕМ

Ну как мы живем? Обыкновенно!

В семь часов за мамой приходит ее «газик» с красным крестом на дверце. За папой — другой «газик», с брезентовым верхом. Иногда папа велит дяде Коле, шоферу, за ним не приезжать, и тогда мама подвозит папу к управлению строительства, потому что за мамой машина всегда приходит — она по району носится как угорелая, везде ей поспеть надо. Машины есть у мамы и у отца, и шоферы к машинам прикреплены, но и мама и отец сами прекрасные водители. Особенно мама. Она заправский шофер. Любит одной рукой руль держать — это уж высший шик, особенно у нас, в Сибири, на наших ухабистых дорогах.

Мама папу до работы подвозит, меня же в школу — никогда, хоть я и просился. Только в первом классе, когда распутица весной была, мама меня подвозила. Я тогда маленький был и нахлебал грязи сапогами. Глубокая была грязь в ту весну, я перейти ее не мог, а попросить, чтобы взрослый кто-нибудь перенес, постыдился и набрал в сапоги грязи. Мама тогда меня к школе подвозила дня три. Пока не придумала, как меня спасти.

Спасла все-таки. Достала сапоги взрослого размера, тридцать восьмого, кажется, а внутрь мои тапки вмонтировала, обшила их сверху старыми носками, чтоб ноги не болтались. Голенища у взрослых сапог высокие, ходить неудобно было, так мама вырез сзади сделала треугольный. Получились такие ботфорты. Как у Петра Первого. На картинке я видел — идет Петр, сапоги у него намного выше колен спереди, а сзади короче, до колен. Вот так и у меня.

Папа смеялся над маминым изобретением. Говорил ей: у тебя инженерные способности.

— «Способности»! — ворчала мама. — Нажали бы лучше по министерской линии куда следует. Надо же учесть обстановку строительства. Шлют сапожки для городских детей. В этих сапожках только по асфальту шлепать. А как же на стройке? Голенища-то для Сибири надо повыше!

Папа посмеивался, а мамин опыт тут же распространился. Стихийно. Без всяких нажимов. Вон сначала сколько ребят у нас в одном сапоге приходили! Ревут — сапог утонул. Мамино изобретение сразу понравилось. Мои сапоги разглядывали, удивлялись. Потом чуть не все малыши во взрослых ботфортах щеголять стали.

А мама сама же свое изобретение отменила. Положили на улицах асфальт по ее требованию. К школе добираться легко стало. И хотя в ботинках весной и осенью никто у нас не ходит, ботфорты уже исчезли, потому что грязь теперь не по колено, пониже.

Ну так вот. В семь часов «газики» у подъезда тарахтят. Мы выходим втроем.

— Приеду поздно,— говорит отец.

— Антон, суп на плите, второе в холодильнике, не забудь выключить газ,— говорит мама.

— Оревуар вам! — говорю я.

«Газики» разъезжаются в разные стороны, я шлепаю в школу и думаю опять про этот французский.

Мама, когда о Москве говорит, считает, что там я бы многое получил. Например, изучил французский.

— Там есть специальные школы,— говорит она,— где все предметы преподают на французском языке.

— И русский? — спрашиваю я ехидно.

Мама сердится на меня и требует, чтобы я поусердней занимался у старушки Анны Робертовны. Вот странная — про школу может неделю не говорить, а о французских уроках расспрашивает с пристрастием и подробностями — что спрягали, как правильно произносить разные слова и что сказала про мои успехи Анна Робертовна.

Анна Робертовна фигура в поселке выдающаяся. Всю жизнь прожила в городе, преподавала французский в Смоленском пединституте, а когда вышла на пенсию, приехала со своим сыном Гришей в Сибирь. Ребята потихоньку дразнят ее «ля мадам», и я с ними в душе согласен. Анна Робертовна длинная и тощая, ноги у нее тонкие, и когда она идет по весенней грязи, ее широкие сапоги громко хлопают по ногам. Будто два петуха крыльями лопочут. Но Анна Робертовна на шум внимания не обращает, голову держит гордо, независимо поглядывает вокруг сквозь очки из толстого стекла в серебряных ободках.

Я хожу к французенке три раза в неделю, тоскливо слушаю, как повторяет она склонения — «же парл, ву парле», — гляжу на лысоватого инженера Гришу, который, вернувшись с работы, жует сосиски, и мне его смертельно жалко: мне кажется, что он всю жизнь ест только сосиски, но не потому, что они нравятся ему, а потому, что сосиски — французское слово...

КАК ЖЕ МЫ ЖИВЕМ?

Впрочем, я отвлекся. Начал рассказывать, как мы живем, и застрял на Анне Робертовне. Французский — это не жизнь, что и говорить. Жизнь — это совсем другое.

Жизнь — это зима, например, а среди зимы замечательные активированные дни. Каждый знает: в календаре есть красные дни. Это праздники и выходные. А у нас, в Сибири, есть еще активированные дни. Они бывают зимой. Встанешь утречком пораньше и

скорей вкручиваешь радио на полную громкость. В половине седьмого это бывает. Ни раньше, ни позже. Я-то знаю, все мальчишки в поселке у радио торчат в половине седьмого. Потому что в полседьмого диктор скажет температуру воздуха. Когда минус сорок объявит — это пустяк. В сорок мы учимся. Сорок — никто за мороз не считает. А вот когда пятьдесят ударит!

Я отца спрашивал. Он ведь в Москве учился, раз коренной москвич. И он говорит, там в тридцать градусов в школу не ходят. Ха! Тридцать! Тридцать у нас — считай что жара. Кешка, например, в тридцать по улице идет, шарф на плече болтается, горло открытое. Да в тридцать у нас мороженое у клуба продают, и мы его вовсю лопаем. Но вот в пятьдесят!

В пятьдесят от мороза лопаются траки на тракторах — железные звеньшки, из которых гусеницы делают. Я видел — Гриша мне показал, — как на таком морозе шестеренка — стукнул по ней молотом — рассыпалась. Пятьдесят — это холод! В пятьдесят у нас «красные дни», активированные.

Я выяснил у отца, почему так называется — активированный день. Он сказал — от слова «акт». Собираются люди и составляют акт, такой документ. Так, мол, и так, температура минус пятьдесят, железо не выдерживает, работать нельзя.

— Совсем нельзя? — приставал я к отцу.

— Да можно, но вот железо... — И он рассказывал, что активированные дни в радость не всем.

Я удивлялся, понять этого не мог.

— Люди работать хотят, понимаешь? — говорил отец. — План стоит!

Нет, я не понимал. Раз такой мороз, кому охота работать? Папа ходил по комнате, нервничал.

— Для нас, — говорил он, — для гидростроителей, зима — лучшее время. Река как бы пересохла, вот в чем соль. Лед для нас — суша. Можно хорошо поработать.

Это верно: зима у нас — самое лучшее время. Зимой дышится легко и свободно. Зимой мы гоняем с горы на лыжах, и, когда влезешь на высоту, видно отсюда насыпь плотины, частокол подъемных кранов и разводы черной, студеной воды, от которой валит холодный пар.

Это стройка. Это наша стройка нашей ГЭС.

Почему я говорю — «нашей»? Ведь я не работаю там. Я только учусь. Но так у нас говорят все ребята, хотя они только учатся, а не работают. Так говорят наши учителя, хотя они тоже не работают на стройке, а учат нас. Так говорят продавцы в магазине, киномеханик Андрей из поселкового клуба, мороженщица Зинаида Ивановна и вообще все люди, живущие в поселке. Стройку называет нашей даже Анна Робертовна.

Летом на стройку можно смотреть и с другого места. С Кешкой

мы ходили летом за кедровой шишкой — его дед Иннокентий Евлампиевич взял отгул, выстрогал деревянную колотушку, и мы отправились на неделю в тайгу. Кешкин дед ударял по кедрам, а мы собирали упавшие шишки. Возвращаясь, мы поднялись на вершину горы. Прямо под ногами обрывалась отвесная скала, а с другого берега, наполовину разрезав реку, лежала плотина, по которой, похожие на муравьев, двигались люди. Я никогда не видел нашу стройку с такой высоты и так близко. Сердце обмирало от страха, и что-то подкатывало к горлу. Что это было?

Не знаю. Прежде такого никогда не случилось со мной. Зато случилось позже... Позже...

Вот я рассказываю вам про себя, про маму и про отца, про наш поселок и как я черпал сапогами грязь, рассказываю про Анну Робертовну и «ву парле», перебираю всякую ерунду и боюсь — боюсь начать о самом главном... О том, что было позже... Хотя зачем обгонять время? Пусть будет как было, и я стану вспоминать все по порядку.

Часть вторая. ДЕДУШКА КАКОЙ БЫЛ ДЕД

Короче говоря, у меня есть дед. Дедушка. У каждого человека есть дедушка, а то и два. Вот у Кешки есть два дедушки и две бабушки. Матери и отцы его матери и отца. Ведь каждый человек не берется ниоткуда: он — продолжение. Учительница природоведения нам объясняла: все в природе имеет продолжение. Например, деревья. Весенние сережки у березы превращаются в малюсенькие семечки с крылышками, ветер подхватывает их, разносит по полям и лугам, по тайге, семечки попадают в землю, из них вырастают новые березы, и снова весной у них бывают сережки, а летом — семечки с крыльями, которые, летя, кружатся, словно маленькие пропеллеры. И у этих пропеллеров есть родители и есть дедушки и бабушки — старые березы. Вот и у людей так.

У меня тоже.

Только у меня один дедушка — папин папа. Когда я ходил в детский сад, у меня была и бабушка. Но она умерла. Я помню, как плакала мама, как торопливо, дрожащими руками собирал чемодан папа, как они отвели меня к Кешкиным родителям и улетели в Москву, на похороны.

Остался один дедушка. Отец писал ему, чтобы он ехал жить к нам, но дедушка говорил, что пока не имеет права. Он был военным, мой дедушка. Он был генерал и, наверное, командовал войсками. Я думал так тогда, в детском саду, а когда подрос, твердо

знал, что дед еще служит в армии, живет в Москве и обещает, выйдя в отставку, приехать к нам.

Я его не видел ни разу.

Вернее, видел, когда мне и года не было. И бабушку видел. Но, конечно, не помнил. Мама и отец ездили в Москву специально меня показывать. Какой я уродился. В кого. В кого я уродился, тогда установить не удалось, но назвали меня Антоном. Как и дед. Отец меня иногда кличет — Антон Второй. Это мне нравится. Был когда-то король Карл Двенадцатый, а я — Антон Второй. Тоже неплохо.

Дедушка жил в Москве, мы жили в Сибири и часто думали друг о друге. Я знал, что дедушка думает о нас. Что он не может не думать. Папа был его единственный сын, а я единственный внук. А он был у меня единственный дедушка, и мы вечерами говорили о нем.

Дедушкин портрет висел у нас в большой комнате над папиным столом. Дедушка был там совсем молодым, на гимнастерке, на углах воротника, сверкали шпалы, и глаза у дедушки тоже сверкали на этой фотографии, как и пряжка с пятиконечной звездой. Дедушка был снят не один. На плечо ему положила руку девушка с пушистыми косами. Я все никак не мог понять вначале, как эта девушка может быть моей бабушкой. Вот военный мог быть дедушкой, но она...

Дедушка и бабушка смотрели со стенки на всех нас. Они были как-то так сфотографированы, что смотрели на тебя, даже если ты уйдешь в дальний угол комнаты. Как будто наблюдали, как мы тут живем.

И мы часто говорили про них. Папа говорил, что мама — его мама — была с дедушкой всегда и везде, где бы он ни служил — на Дальнем Востоке и на Кавказе, на Украине и в Мурманске. И, слушая папу, можно было подумать, что дедушка служил везде. Когда папа говорил про это, он всегда смотрел на маму, будто звал ее. И она подходила к папе, гладила его по голове, словно маленького, потом клала ему руку на плечо и спрашивала меня:

— Антошка, правда, мы с папой похожи на бабушку и дедушку?

Я смотрел на фотографию, вглядывался в маму и отца и кивал головой.

Правда, они были похожи.

ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

Я часто думал о дедушке, я хотел его увидеть.

Но он все не выходил в отставку. И не приезжал в отпуск. Может быть, отпуск не брал — как отец.

Отцу вот все некогда. Все что-то у него на стройке горит. Все без него обойтись не могут. Только соберемся вместе в Москву поехать, чемоданы укладывать станем, папа какой-то виноватый с работы является. Вздыхает. Хмурится. Мама на него строго поглядывает. Молчит. Да что там, даже я понимаю, в чем дело. Опять отец не может в отпуск поехать — какой-нибудь «важный этап работ», как он говорит.

Мама помолчит, помолчит, потом на меня посмотрит:

— Ну что, Антошка, позагораем дома?

Я надуюсь — хочется в Москву съездить. Потом подумаю. Успокоюсь. Ясное дело, позагораем, не бросать же Великого Кочевника? Он все-таки зам, и хотя главный инженер и сам начальник стройки его в отпуск просто прогоняют, никуда он не уедет.

Такой уж мой отец.

Ну, а дедушка?

Наверное, мой папа в своего папу пошел. Одинаковые характеры. Работают и оторваться от своей работы никак не могут.

Я часто думал, какая же такая работа у деда? Когда война — дело ясное. Военные воюют. Генералы командуют. Направляют войска, производят маневры, обороняются и наступают. Но вот когда мир? Он всегда писал нам: «работы невпроворот». А что за работа у него — ничего не писал.

Дед присылал оптимистические письма. Только после бабушкиной смерти он не писал месяца три. Папа и мама волновались. Слали ему телеграммы. Просили взять отпуск и приехать. Дед молчал. Изредка отвечал телеграммами: «Все в порядке, не беспокойтесь». Потом стал писать бодрые письма. Про то, как он ездил в воскресенье на пляж. Или про то, что теперь по Москве молодежь ходит нестриженная, с длинными волосами, и он спросил однажды у девушки — который час, а оказалось, у девушки усищи, как у таракана, и деду чуть худо не сделалось.

Папа читал дедушкины письма из Москвы и говорил нам:

— Плохо ему одному. Надо, чтобы он приехал.

Мы усаживались за стол и сочиняли дедушке письмо. Описывали сибирские красоты. Нашу реку. Тайгу. Поселок. Заманивали к себе.

Дед отвечал одинаково. Писал, что подал рапорт, но ему отказали. А когда мы обещали сами явиться в Москву, он извинялся за негостеприимство и писал, что лучше не надо. Приедете, отвечал он, а потом удерете, а я опять один останусь. Лучше потерплю до отставки. А там к вам махну.

Получая дедушкины письма, папа качал головой, вздыхал, мама тоже вздыхала, и я вздыхал — потому что все вздыхают. Я тогда про деда думал, как, например, про Чапаева из кино. Дед был для меня как бы литературным героем. Вот у нас в классе

сочинение было: «Мой любимый герой». И я про Чапаева написал, потому что кино о нем раз десять видел. Вот я и про дедушку тогда тоже мог бы сочинение написать. И пятерку заработать. Когда человека не знаешь, про него всегда легко писать. А дед ведь у меня — генерал. Вот пожалуйста — можно написать, как он фашистов громил. Как метко пушки его по Берлину стреляли — дед-то еще и артиллерист. Или как он в гражданскую на вороном коне скакал с шашкой в руке... Хотя в гражданскую мой дед не воевал. Но разве это важно? В сочинении все можно написать, на то оно и сочинение.

От слова «сочинять».

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ИЗВЕСТИЕ

В общем, дед слал нам бодрые письма, и папа с мамой отвечали ему тем же. Рапортовали, как мы живем, как строим электростанцию, как у нас хорошо и весело. А я должен честно сказать, что незаметно для себя перестал вскрикивать, будто дед когда-нибудь к нам придет. И, хуже того, перестал верить, что дед вообще у меня есть.

И вот, как сейчас помню, пришел я от Анны Робертовны, с французского языка. Она меня еще изъяснялась по-французски приучала, как могу. «Вдруг, — говорит, — к нам в поселок французы придут, делегация какая-нибудь. Или, допустим, ты во Франции окажешься. И тебе надо про себя рассказать. Давай, мол!»

Я пыхтел, изъяснялся: «Ж'обит а Сибирь». Дескать, я живу в Сибири. «Мон пэр инжинер». «Мой отец — инженер». И так далее. Я еще спросил тогда Анну Робертовну, как по-французски — дедушка. «Гран-пэр», — сказала она. Большой отец, значит, в буквальном переводе. Забавно. Я засмеялся.

— Говорят, у тебя дедушка — генерал? — спросила Анна Робертовна.

— Ага, — ответил я.

— Такого слова — «ага» — в русском языке нет, — наставительно сказала Анна Робертовна. — «Ага» — это по-татарски «барин, хозяин». Никогда не говори так — «ага», если хочешь быть по-настоящему воспитанным человеком. Отвечай: уй! Пардон, отвечай: да!

Ну, эта Анна Робертовна! Мама говорила, она в каком-то забавном институте до революции училась. Благородных девиц, что ли? И что за институт — смехота! Вот и меня благородным все норовит выучить. Но спорить я не стал.

— Уй, — ответил ей, — мой дедушка — генерал.

— Во французской армии, — затуманив глаза, сказала Анна

Робертовна, — если офицер обращается к младшему по чину, то тот откликается по специальной форме. Не «да» или «есть», а — «мой лейтенант!», «мой капитан!», «мой генерал!».

Анна Робертовна мечтала о чем-то, а я молчал, думая, как это сказать по-французски «мой генерал». Мон — мой, это я знал, а вот как будет генерал?

— Мон женераль! — сказала тогда задумчиво Анна Робертовна. — Мон женераль! Ах, как звучит!

Ну вот, я пришел домой в тот день, разогрел на плите суп, поел холодных котлет, как вдруг загремел звонок. Долго, протяжно. Я разозлился, думал, опять Кешка. Забыл задание в дневник записать, а теперь трезвонит как сумасшедший — это с ним часто случается. Закричал ему еще из кухни:

— Тихо! А то как дам!

Открыл дверь, а на пороге отец. Никогда я его таким не видел. Шарф из пальто выбился, шапка на самой макушке, того гляди, свалится, глаза сияют, дышит тяжело — мчался, наверное, по лестнице: ясное дело, не про бетон сейчас он думает. Но про что?

— Где мама? — крикнул отец.

Я плечами пожал. Странный вопрос! На работе.

Отец меня боком двинул, по комнате в грязных сапогах пробежал, прямо по ковру — вот от мамы достанется! — и за телефон схватился.

— Станция! — закричал. — Станция! Соедините с районом!

Потом на меня взглянул, словно только увидел, и закричал, будто в пятый раз мне команду подает, а я не слышу:

— Собирайся! Живо! Дед летит! Только что звонил!

МАМА ЗА РУЛЕМ

Мама сидит за рулем, крутит баранку, хватается за рычаг, которым переключают скорость, и причитает:

— Ну, как же так, господи! Стидища-то какая! Ждала-ждала, а в доме пусто! Хоть бы пельменей наvertеть!

На нее забавно смотреть: модный берет на голове, красивый шарфик, покрашенные губы, а бараңку вертит, как заправский лихач.

Дорога до города, где аэропорт, — ухабистая, с глубокими лужами, полными желтой, глинистой воды. Мамин «газик» рычит на подъемах, нас с папой подбрасывает на рытвинах, но мы молчим — оба в полной маминой власти. Погодка сегодня, как назло: ветер бросает в ветровое стекло пригоршни дождя, «дворник» не успевает его чистить, и дорога, и деревья рядом сквозь водяную муть видны искаженно, неясно, но мама газует на полную скорость. Ну, мама!

— Вот видишь, Несчастный Скиталец, — кричит она, — какие у вас дороги! А если человек заболест и такая погода, что вертолет не вызовешь? Не довезут ведь! Садовые вы головы!

Папа на мамину критику не отвечает. Молчит. Он весь напряжен. Его взгляд устремлен вперед, хотя впереди, кроме размытой дороги да грязи, ничего не видно.

— Наверное, аэропорт не принимает! — говорит он и спрашивает маму: — Что тогда? Возвращаться?

— «Возвращаться»! — возмущается мама. — Столько ждали, так мчались — и возвращаться! Будем ждать!

Ждать! В аэропорту нам говорят, что надо ждать. Что самолеты задерживаются из-за метеорологических условий.

Папа отходит от окошечка, где дают сведения о самолетах, и пожимает плечами. Лицо его растерянное.

— В суматохе, — говорит он, — я не спросил подробностей. Он сказал только, что его подбросят военные летчики. Друзья. Чтобы мы просто сидели и ждали. Но как же ждать?

Мама резко вскакивает, исчезает, потом появляется.

— Ну вот, — говорит она, — все самолеты стоят, а наш идет на посадку. Военный транспортный самолет.

Мы бежим к выходу, и сердце у меня колотится. Еще бы, я же не видел своего деда. Вернее — не помню. Но это все равно что не видел. Вот он выйдет сейчас из своего транспортного самолета в генеральской форме, весь в орденах, и все будут оглядываться на нас.

Я смотрю вокруг. Аэропорт маленький и тесный, а сейчас приходится пробираться среди людей и тюков, потому что погода не летная и народу набралось полно. Вон эвенки узкоглазые, хитрые, с трубочками во рту. Вон геологи в походных сапогах с десятками ремешков и застёжек. Вон солдаты с мешками и без погон — эти, я знаю, просто ждут машину, а приехали они к нам на стройку после армии.

Вздрагивают стекла в окнах от гула самолета, вздрагивает и народ, думает, не летная погода кончилась. Но она не кончилась. Это просто прилетел мой дед.

Мы втроем выбегаем на бетонную полосу и мчимся под проливным дождем к самолету.

Самолет удивительный. Вытянутый, с откинутыми далеко назад крыльями.

Мы бежим по лужам к удивительному военному самолету, который привез наконец моего деда, я вглядываюсь в темный провал открытой двери и жду, как сейчас, вот сейчас — сию секундочку, дед появится на ее пороге.

Я обгоняю маму и отца, я жму во все лопатки и вижу, как по шаткой лесенке, спиной ко мне, спускается мужчина в летчицком шлеме. Я поддаю газу и проношусь мимо какого-то маленького

старика в коричневом пальто и кепке. Старик что-то говорит мне, кажется, но тут уж не до него, я подлетаю к мужчине в летчицком шлеме, думая, зачем артиллеристу такой шлем. И говорю спине, улыбаясь во весь рот:

— Мон женераль!

Человек оборачивается, я вижу молодое лицо, белые зубы.

— Вон твой женераль! — говорит человек и показывает рукой.

Я растерянно улыбаюсь и вижу, как вдалеке от самолета мама и отец обнимают по очереди старика, мимо которого я пронесся.

— Какой же он генерал? — говорю я растерянно.

— Генерал что надо! — отвечает летчик и хлопает меня по плечу.

Я иду к маме и отцу и к тому старику, который, кажется, мне что-то сказал.

Иду медленно, не понимая сам, что произошло, как я мог ошибиться и почему он в коричневом пальто и кепке, а не в генеральской фуражке с кокардой и шинели с золотыми позументами. Я иду, а мама и папа, обняв старика, смотрят на меня, смотрит на меня и старик, и незаметно для себя я прибавляю шаг, а потом бегу к нему и тычусь лицом в холодное, пропахшее табаком пальто.

— Не признал! — говорит дед. — Вот беда-то, не признал!

Мы возвращаемся в аэровокзал, пробираемся сквозь толпу, и никто не обращает внимания на деда. Демобилизованные солдаты непочтительно стоят к нему спиной, а не вытягиваются по привычке — пусть им и не обязательно — перед моим генералом!

Часть третья. ОТСТАВКА КАКОЙ ЖЕ ОН ВСЕ-ТАКИ?

И вот я сижу рядом с дедом и разглядываю его. Он теперь в парадном мундире — я заставил надеть. На каждом погоне по две звезды. На груди ордена — вон тут их сколько!

Лицо у деда морщинистое, стариковское, на голове гладкие волосики. На того дедушку, который над папиным столом на фотографии, совсем не похож, усики щеточкой сбрил. Глаза одни и похожи. Блестят, смеются. Дед и сам все смеется, надо мной подшучивает:

— Что же ты! Мимо деда пробежал!

Я пожимаю плечами. Вот уж сколько мы сидим тут, за праздничным столом, а я все не могу избавиться от неприятного чувства неловкости. Действительно, шляпа. Разогнался.

Дед ерошит мои волосы, утешает:

— Ну, я тебя тоже не узнал бы, ежели встретил на улице.

Голос у деда густой, рокочущий, громкий. Когда он говорит, висюльки в нашей люстре позвякивают, и в комнате будто бы тесно становится.

— Это я на войне глотку разработал, — говорит дед, — кричать много приходилось, понимаешь? И по телефону, да и возле орудий — грохот там стоит, вот и приходится. В артиллерии вообще голос нужен.

Дед втягивает в себя воздух, лицо у него вдруг багровеет, и он кричит так, что наш дом, того и гляди, рассыплется:

— О-о-о-оггггонь!

Это выходит так неожиданно, что мама даже бледнеет от испуга. А папа хохочет. Вот какой голос у деда! Я тоже смеюсь и хочу попробовать, как он:

— Оггонь!

Но у меня получается пискляво, негромко. Мама в ужасе, ночь ведь уже, но дед успокаивает ее:

— Ольга! Это я один раз. Надо же внуку доблести свои показать. А то он на аэродроме мимо меня пробежал да и сейчас вот разглядывает мои волосенки, мои дряблые щеки и думает — ну что за генерал! Вон одни звезды и спасают.

Дед смотрит на меня пристально, в упор, и я чувствую, что краснею. Пусть не так я немножко думал, но ведь думал...

— Однако ты не считай, — говорит дед, — что у меня один голос и есть. Я стреляю хорошо.

— Из ружья? — спрашиваю я обрадованно.

— Из карабина, из пистолета, из автомата.

— Меня научишь? — прошу я.

— Научу, если оружие достанем. Пахать умею. Плотничать немного. Плавать. Ты-то умеешь?

Я качаю головой. В нашей реке не научишься — течение в ней мощное и вода холоднющая: окунешься да и назад.

— Это похоже на вас, куркулей, у речки живут, а плавать не умеют. У меня в армии, бывало, как сибиряк — так топор.

— Какой топор? — спрашиваю я.

— Ну, знаешь, как топор плавает?

Я смеюсь. Топор здорово плавает, это верно, бултых — и на дно.

— А научишь? — спрашиваю деда.

— Всему научу, — говорит он и опять треплет мои волосы, — всему, что сам умею. А ведь умею! И вообще я вятский. А вятские — парни хватские. Слыхал? Семеро одного не боятся!

— Хватский! — зовет отец деда. — А теперь признавайся — за что в отставку отправили? Сам бы не ушел — я ведь знаю.

— «За что, за что»! — ворчит дед. Вылезает из-за стола и

ходит по комнате из угла в угол, как отец. Вопрос ему этот не нравится. — Хватит уж, сколько можно? В девятьсот пятом родился — так, в двадцать третьем в армию взяли. Вот и считай: пятьдесят с гаком в армии. Сколько можно? Молодые растут. Им место уступать надо.

— Ну так вот, товарищ генерал-лейтенант, — говорит медленно папа, — в отставку вас вывели по состоянию здоровья, из-за сердца, это мне известно, так что здесь, у нас, отдыхайте наконец. Слава богу, за свою жизнь наработался!

— Чего это ты, товарищ лейтенант запаса, учишь старшего по званию? — спрашивает дед.

Он остановился в углу комнаты — маленький, темноглазый. Ни на кого из нас он не похож. Брови черные, кустистые — строгие. И глаза черные тоже. Того и гляди, крикнет сейчас отцу: «Смирно!»

Но дед устало снимает мундир, кладет его на стул, медленно опускается на краешек дивана.

— Отдыхать так отдыхать, — говорит он глухо.

ДЕДУШКИНА ОТСТАВКА

Утром начинается непонятная суматоха. Уже пора уходить, уже «газики» ждут под окнами, уже все мы одеты, и вдруг папа — в пальто и в шапке — начинает метаться по комнате, ищет субботнюю газету с телепрограммой.

Вначале я ничего не понимаю. Папа наконец победно размахивает газетой, красным карандашом подчеркивает в ней какие-то строчки, объясняет деду, как включается наш телевизор, и тут начинает суетиться мама. Она роется на книжной полке, снимает стопку книг, спрашивая при этом деда, что он предпочитает: фантастику, детективы, исторические романы?

Один я стою у порога без дела. Теперь мне ясно, отчего такая суета. Это, конечно, правильно. Деду будет скучно. Работал, работал всю жизнь, на войне сражался и вдруг — трах, бах! — нате вам! Сиди спокойненько, без всякого дела. Я поднатыжил, посоображал, что бы такое и мне деду предложить, но ничего не придумал. Просто ему позавидовал. Эх, вот бы мне! Взять и просто так, без всяких уважительных причин, не пойти в школу. Сидеть дома, как дед, и чем хочешь заниматься! Я вздыхаю, киваю деду и замечаю, что дедушка грустный. Он улыбается, но сам невеселый: глаза у него не смеются. Какие-то настороженные глаза. Тревожные. Печальные.

— Хорошо, хорошо! — говорит он маме и папе. — Телевизор обязательно посмотрю. Книги непременно прочитаю. Счастливо вам! Поработать. Поучиться. — Но не выдерживает все-таки. Про-

износит бодро: — А я ведь первый день. Безработный-то... — И снова смеется: — Ух, отосплюсь!

Мы прикрываем дверь, молча спускаемся по лестнице. У машин мама и папа озабоченно переглядываются. Смотрят на меня.

— Переживает, — говорит отец.

— Антошка, — вздыхает мама, — ты из школы сразу беги домой, нигде не задерживайся. Погуляй с дедушкой. Покажи ему поселок. Стройку. Шефствуй, в общем, до нашего прихода.

«Газики» разъехались, я пошел в школу. Ничего себе — задачка! Шефствуй над дедом. Это сказать легко. А как шефствовать-то?

Я весь день задумчивый в школе был. Кешка даже удивился. Думал, я заболел. Но я не заболел. Я все думал, как мне быть. Как я шефствовать должен.

Голос учительницы как будто издалека откуда-то слышался: бу-бу-бу... После математики меня даже похвалили за внимательность. Вот дела! За внимательность хвалят, а я ни одного слова не слышал.

Так я ничего и не придумал.

Вообще-то можно было бы в магазин сходить — за хлебом, за молоком, дрова поколоть, воды наносить, как тимуровцы у Гайдара. Но дрова колоть ни к чему — у нас ведь центральное отопление, вода по водопроводу течет, а за хлебом и молоком я и так хожу, без всякого шефства.

Нет, ничего я не придумал. Но домой помчался сразу. Ведь мы с дедом еще как следует и не говорили. А у меня к нему вопросы. Целая куча. Про войну. Про артиллерию. Про всякое такое.

Еще на лестнице я услышал вкусный запах. А когда дед мне дверь открыл, запах этот прямо в нос ударил.

Я открыл рот. Вообще-то рот у меня сам открылся. Автоматически.

Еще бы!

Дед стоял в закатанных старых штанах и в калошах на босу ногу — где их он только выкопал! Редкие волосики на голове торчали в разные стороны. В одной руке он держал тряпку. А сам испуганно улыбался.

— Слава богу! — воскликнул он совсем не по-военному. — Я думал, родители!

Как загипнотизированный, я положил портфель, разделся, обошел квартиру. Все было перевернуто вверх дном. Ковер лежал, свернутый в трубу. Диван сдвинут со своего места. Стулья торчали пирамидами, друг на друге.

Дед окунул тряпку в ведро с водой, наклонился — и я снова поразился. Он мыл пол быстро, ловко, умело. Будто всю жизнь не в армии командовал, а только полы и мыл.

Оторопь моя постепенно проходила. Сначала я хотел возму-

титься. Хотел сказать, что пожалуюсь маме: не для того дед сюда летел с военными летчиками, чтобы полы мыть. Но потом представил, как расскажу про эту сцену Кешке. Как он меня за такую фантазию обхохочет, и сам фыркнул. Потом засмеялся. Потом захохотал. Это надо же! Генерал моет пол!

Дедушка строго взглянул на меня, не отрываясь от дела. И вдруг засмеялся. Тоже захохотал.

— Давай-ка, — сказал он мне, — ищи вторые калоши! Бери вторую тряпку!

Вторых калош, конечно, не нашлось, я шлепал босиком по мокрому полу, двигал диван, расставлял стулья, протираю мебель влажной тряпкой. Голову я повязал полотенцем на пиратский манер, заставил сделать то же самое и деда. Мы походили на двух матросов, на двух разбойников, прибирающих каюту одноглазого капитана. Хриплым голосом я распевал строчку из какого-то фильма:

Эх, мы разбойники! Разбойники! Разбойники!
Ох, мы разбойники! Разбойники! Разбойники!
Ух, мы разбойники! Разбойники! Разбойники!

Других строчек я не знал и повторял одну эту. Только междометия менял: эх, ох, ух, ых. Песня была простая, и дедушка стал мне подтягивать. Получалось у нас весело, в лад:

Ых, мы разбойники! Разбойники! Разбойники!

— Чем это так вкусно пахнет? — наконец спросил я.

Дедушка странно всхлипнул, бросил тряпку и, поскользываясь на мокром полу, побежал в кухню.

Оттуда раздался грохот, дедушкин стон, я кинулся ему на помощь, и снова рот у меня открылся. Автоматически. Из газовой духовки тянулся дымок, а на тарелке посреди кухонного стола возвышалась пирамида поджаристых, аппетитных пирожков.

Вот так дедушка! Вот так генерал!

ДЕДУШКИНО ШЕФСТВО

Вот ведь как выходит! Не мы над ним, а дедушка над нами шефство взял.

Утром мы теперь выходим из дома вчетвером. Мама и папа садятся в машины, а мы с дедушкой расходимся в разные стороны. Я в школу, он — в магазин.

Время от времени я останавливаюсь и гляжу, как дед не спеша шагает по улице и как поблескивают у него в авоське молочные бутылки.

Дед оборачивается тоже, машет мне рукой, а у меня сердце сжимается от жалости к нему!

Нет, нет, все-таки я не согласен с этим!

Боевой генерал, пусть в отставке, и в магазин с бутылками идет! Пол моет. Пирожки печет.

Я думал — это один раз. Я тоже один раз в третьем классе пол вымыл. На Восьмое марта. Хотел потом все время мыть, да никак собраться больше не смог. Все дела, дела... А вот дед — каждый день по хозяйству возится.

Мы деда не раз ругали. Но наши атаки всегда неудачными были. Дед говорил, посмеиваясь:

— Что же мне делать прикажете? У вас тут вон какая скучища! Средний возраст населения двадцать пять лет. Позор! Стариков не имеете! В Москве, например, их сколько! На лавочках сидят, в домино режутся! Должен же я чем-нибудь заниматься!

Мама в отчаянии была. Пока дед на кухне курил, папе шептала:

— Что же делать теперь! Какой стыд! Генерал пол моет! Ковры вытряхивает!

— А ты забудь, что пол моет именно генерал, — посоветовал отец.

Но мама все-таки придумала. Прибиралась потихоньку утром. Вставала в полшестого и тихонько пол мыла, посуду драила. На цыпочках ходила, чтоб нас не разбудить. Дед ее маневр разгадал. Сказал за завтраком:

— Ольга, ты это брось!

— Чего, Антон Петрович? — прикинулась мама.

— Я тебе покажу, «Антон Петрович»! — сказал грозно дедушка. И после маминой приборки все равно пол сам вымыл.

В тот день, когда он пирожки второй раз испек, мама едва не заплакала.

— Антон Петрович! — воскликнула отчаянно. — Ну что вы делаете? Вы же меня в ужасное положение ставите!

Дед к ней, шаркая тапками, подошел. В руке самый румяный пирожок. Откусить заставил. И пока мама жевала, сказал:

— Оленька! Ты у меня передовой человек, правда? Ну так и плюй на всякие предрассудки! Я ведь живой еще, верно? Или ты меня для музея бережешь? Выдающихся личностей? Генерал такой-то? — Дед скрестил руки на груди, будто Наполеон, задвигал смешно бровями. Сам засмеялся. — Так генералов-то ведь полно! — Вдруг рассердился: — И давай разговоры эти прекратим!

Мама его крепко обняла. Я сзади деда стоял — видел, как у нее слезы навернулись.

— Папа, — сказала она, — какой же ты чудной.

Дедушка ее по спине погладил.

— Ну вот, — сказал, — и лады. Давайте пирожки есть.

Стали мы пирожки есть, дедом испеченные. И молоко пить, которое он покупал. И по полу ходить, который он вымыл.

— Какие вы странные люди, — сказал дед, — сами работаете, учитесь, а я, хотите, чтобы в стороне сидел? Не за этим я сюда ехал! Ясно?

Мама вздохнула. Сдалась.

СЕКРЕТНЫЙ СПОСОБ

Мама сдалась, а я не сдавался. Слова деда я запомнил. Про стариков. Что их у нас нету. «Как же нету? — думал я. — А француженка Анна Робертовна?»

И вот я собрал денег, пошел в клуб и купил у продавщицы Зинаиды Ивановны шесть порций мороженого. Съел их по специальному методу. Не лизать надо мороженое, а глотать прямо кусками. Этот способ проверенный, мне его Кешка рассекретил. Причем у нас такой способ только весной и осенью действует. Ну, летом иногда, в жару. А зимой — никогда. Зимой у нас мороженое хоть килограммами ешь — ничего с тобой не сделается. Я думаю, это потому, что и на улице мороз и в животе мороз. Равенство температур. Холодное равновесие. А вот осенью — другое дело. Осенью на улице — ни то ни се. Дождь моросит, пузырится в желтой грязи. Осенью Кешкин способ помогает.

Была осень как раз. Я взял у Зинаиды Ивановны шесть мороженных по девять копеек и, не разжевывая, кусками прямо, съел. Весь вечер тихонько за голову себя трогал. Не началось ли? Не началось. Вот обида.

В школе я Кешке про свое несчастье сказал.

Кешка — человек опытный, настоящий кержак. Я, например, просто сибиряк, потому что в Сибири родился. А Кешка — кержак, значит, из сибиряков сибиряк, все его предки — и родители, и деды, и прадеды — жили всегда в тайге, промышляли таежными промыслами: охотились, шишку добывали, таежный мед, рыбачили, лес сплавливали. Когда реку плотиной перегораживать начали, Кешкин отец на стройку пошел. И Кешкин дед — Иннокентий Евлампиевич.

Говорит Кешка, как и отец его, немного, кратко. Когда на уроке отвечает, слов даром не тратит. Поэтому по математике у него круглые пятерки, а вот если до истории, географии или литературы дело дойдет — дело швах. Тут говорить надо. Словами блистать. Приводить примеры. А Кешка скажет: «Колумб открыл Америку в 1492 году» — и молчит. Его учительница пытается: давай, мол, подробней. Как Колумб плыл, что видел, и так далее. А Кешка с ноги на ногу переступает, плечами пожимает, не понимает, чего от него хотят: самое главное, дескать, я же сказал.

— Ну, плыл,— говорит,— как все... Только не в ту сторону.

— Да,— вздыхает учительница,— тебя, Евсеев, под пресс, наверное, класть надо, чтобы слова выжать.

Кешка не любит такие уроки. Возвращаясь от доски, бунчит под нос:

— Факты-то я сказал! Чего еще!

Но по истории и географии, по литературе и природоведению одних фактов, оказывается, мало. Не понимают Кешку эти учителя, а зря. Кешка — он вон какой. Чего только не знает и не умеет! Костер запалить с одной спички. Даже в дождь. Не каждый взрослый сможет. Определить в тайге, где север, где юг — без всяких компасов, по деревьям. Где север, на деревьях, оказывается, мох растет. Да что там! Кешка все грибные места знает. Знает, где ягоды растут.

Однажды он нарисовал маленького человечка. Желтенького. Руки и ноги длинные, и голова лысая. Кешка сказал мне, что человечек этот на самом деле никакой не человечек, а корень, который на человечка похож. Называется женьшень, корень жизни. Из него драгоценное лекарство делают, и люди, которые его выпьют, долго живут. Растет этот корень на Дальнем Востоке, но старики говорят, встречается и в Сибири. Только редко. Кешка зеленым карандашом лист нарисовал. Узорный, с разрезами. Корень в земле живет, так его по таким листьям ищут. Потом Кешка с меня железное слово взял. Что я молчать буду, как рыба. Потому что он поставил перед собой цель — найти женьшень во что бы то ни стало.

Вот вам Кешка. Так что его учителя недооценивают. Не понимают. Поймут, когда Кешка женьшень найдет.

Ну еще какой Кешка?

Черноволосый и чернобровый. Лицо у него широкое и скуластое. И руки — будь здоров. Кешка — чемпион в классе. Кого хочешь на локотки пережмет. Или ладонь сдавит так, что слезы из глаз брызнут. Но Кешка этим не гордится и зря свою силу не показывает. За это я Кешку уважаю.

Но прежде всего я Кешку уважаю за умные советы. По-моему, он все знает. Вот я ему и пожаловался, что секрет про мороженое не выходит. Кешка подумал и сказал:

— Оно, конечно, есть еще способ.

Потом оглядел меня пристально, словно прикинул: выдержи ли? Я его локтем двинул: давай, мол, о чем речь.

— Ладно уж,— сказал Кешка.— Возьми простыню, намочи в холодной воде, завернись в нее и стой, пока зубы не застучат. Десять минут зубами стучи. Но не больше. Понял?

Вечером температура поднялась к тридцати восьми.

«Хорошо,— подумал я, довольный,— теперь займемся дедом».

НАШИ РАЗГОВОРЫ

Утром мама велела мне лежать, обещала периодически звонить, а дед, надев сапоги, убежал в магазин.

«Не хватало ему,— думал я,— еще ухаживать за больными!»

Но что делать? Искусство требует жертв.

Может быть, для того, чтобы подбодрить меня, а может, это он всегда так делал тут в одиночестве, когда мы уходили, дед начал петь. Вернулся из магазина, погремел кастрюлями, поставил молоко кипятить и стал петь:

Дан приказ — ему на запад,
Ей в другую сторону!

Я его поддержал:

Уходили комсомольцы
На гражданскую войну!

Дед принес кружку горячего молока с содой, заставил выпить. Пока я морщился и потел, он впечатлениями делился.

— Странный у вас поселок,— говорил дед.— Днем магазины закрывать можно. По-моему, один я по поселку и хожу.

Он приоткрыл форточку, курил в щелку, думал про наш поселок. А я про него думал.

— Что ты там делал? — спросил я.— В Москве? Что генералы делают, когда войны нет?

Дед рассмеялся.

— Работы у генералов невпроворот. Это ведь кажется, что войны нет. Где-нибудь она да и есть. Воюют другие, понимаешь-ка, а нас разве это не касается? Вот если станут бить при тебе маленького да слабого, разве ты в стороне стоять станешь?

Я головой мотнул. Конечно, нет.

— А тебе страшно на войне было?

— Было. Только солдату на войне страшней, чем командиру. Командир командует, он на наблюдательном пункте или в штабе, а солдат — под пули идет. Так что командир обязан на войне бояться. Не за себя. За солдат, которые по его приказу воюют.

— А хорошо генералом быть? — спросил я.

Дед на меня покосился. Помолчал, подумал.

— Конечно, идешь по улице, звезды блестят, вроде приятно. Солдатики тебя приветствуют, прохожие оборачиваются. Но это все ерунда. От этого даже устаешь.

— Как ты говоришь! — сказал я.— Будто ничего в этом особенного нет — генералом быть.



А. Лиханов. «Мой генерал»

— Особенное есть, — отметил он серьезно. — Это ответственность. Ты вот только за себя отвечаешь, за свои отметки, за свое поведение. А командир отвечает за людей, за их выучку, за их умение воевать. И за то, чтобы они были сыты. Чтобы были обу-ты. Чтобы настроение у них было хорошее. За все и за всех отве-чает. А это нелегко и непросто.

Позвонила мама. Спросила, как я себя чувствую. Дед сказал, хорошо. Когда поговорил, пошел в кухню.

— Пора варить курицу, — сказал мне.

— Подожди варить курицу, — попросил я. — Достань свой мундир. Повесь его на стул. Я пока погляжу.

Дед хмыкнул, но мундир повесил. Ушел.

Я смотрю на генеральскую форму, на дедовы ордена. Эти два я знаю, да их всякий знает — ордена Ленина. И орден Боевого Красного Знамени я знаю. Их у деда три. А такой я первый раз вижу. Орден Александра Невского. Еще один — иностранный какой-то, крестом. А медалей, медалей...

Я встаю потихоньку с дивана, надеваю дедов мундир, подхожу к зеркалу. Шевелю бровями, как он, протягиваю руку вперед: я видел такую картинку — Кутузов с протянутой вперед рукой. Я нравлюсь сам себе. Вот бы тоже генералом стать! Почему молодых генералов не бывает? Лет в пятнадцать? Ну ладно, хотя бы в двадцать? Идешь, а тебе все честь отдают. Стоят по струнке.

Я сам себе честь отдал. Потом мундир снял. Опять ордена раз-глядывать принялся. И не заметил, как заснул.

Проснулся я от звонка. Мама опять узнавала, как я себя чувствую.

— Мама, — сказал я, — пригласи к нам Анну Робертовну. А то у нас сегодня занятие. Боюсь пропустить.

Мама удивилась. Ничего не ответила, но я чувствовал, как на том конце провода вопросительный знак светится. И даже не один. Три.

Мама ничего не сказала, а вечером приехала вместе с Анной Робертовной. Деда они врасплох застали. Все в тех же домашних тапочках и в спортивных шароварах. Он смутился, вытирал руки кухонным полотенцем, а Анна Робертовна порозовела и сказала по-французски:

— Мон женераль!

Фу ты, господи, разве для этого я ее сюда зазывал и даже мокрой простыней оборачивался, чтоб температуру поднять?

Но ничего. Дед не растерялся, шлепнул друг о друга пятками, выпятил грудь, поцеловал ручку Анны Робертовны и прогромы-хал:

— Мадам!

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Мы позанимались немножко, но Анне Робертэвне не до того было — я хорошо понимал. Я эти глаголы спрягал, как в голову приходило, а она все кивала, соглашаясь: мол, правильно.

Я, конечно, торжествовал. Ага! Ей хочется с дедом поговорить.

Тут мама чай принесла. С кексом. Пока я глаголы спрягал — испекла. Они за стол уселись, я на диване своим чай пью. Все-таки больной.

— Ну, что ж, мадам, — сказал дед, — пожалуйста, поведайте, как тут пенсионерам живется? Среди молодых-то?

— Трудно, генерал, — сказала Анна Робертовна. — Как поется в старинном романсе — «и грустно, и скучно».

— Ну, ну, — улыбнулся дедушка, — что грустно, поверить могу, а скучно — это увольте. Как же скучно-то?

— А так, — ответила Анна Робертовна. — Им тут интересно, они строят, у них план, плотина, кубометры, переходящие знамена, а у меня? Весь день жду, когда Гриша мой с работы придет. Поговорить хотя бы. Он придет, поест и тут же засыпает. Прямо сидя. Представляете?

Дед ложечкой в стакане с чаем поболтал. Задумался.

— А может, и правильно это, — сказал, — может, тут и не должно стариков быть?

— Эх, вы! — воскликнула мама. — Странно слушать мне вас! Да будь моя воля, я бы по комсомольским путевкам пенсионеров сюда посылала! Они нам как воздух нужны! У нас младенцев полно. А яслей не хватает. Молодые матери дома сидят, с детишками возятся. Вот и приехали бы в эти семьи бабушки, сколько бы женщин освободили. Да что говорить, бабушки — великая сила!

— А дедушки? — спросил я.

— С дедушками, конечно, труднее! — наморщила лоб мама. — С младенцами нянчиться они не умеют. Но и им дело найдется.

Дед расхохотался. Люстра опять тихонечко зазвенела.

— Ну, Ольга! — воскликнул он. — Ну, государственная деятельница!

Мама покраснела, смутилась и говорит:

— Извините, папа, я же размышляю о проблеме дедушек вообще. Не о вас лично. Вы должны отдыхать.

Дед снова засмеялся, но невесело.

— Вот, Анна Робертовна, — сказал он грустно, — мы теперь уже не только бабушки и дедушки, а проблема!

Мама совсем сконфузилась и растерялась, стала собирать со стола, а Анна Робертовна проговорила:

— Все жду, жду, когда мой Гриша женится, да дожждаться не могу. Так что я даже и не бабушка. Просто так... Старуха.

Дедушка посмотрел на нее пристально, молча, задумчиво разгладил скатерть, вздохнул.

— Ну что вы, Анна Робертовна, — сказал он тихо, — что вы... У каждого времени года своя прелесть. Зима, весна, лето, осень... И у человека так же. Старость — это же осень человеческой жизни. И в ней — свое очарование. Свои достоинства...

— «Если бы молодость знала, если бы старость могла», — продекламировала Анна Робертовна, порозовев.

— Да, да, — сказал дед, — всему своя пора, и надо, чтобы старость не была отмечена унынием, тоской, простым доживанием дней.

Они говорили негромко, и у деда, и у Анны Робертовны глаза как бы покрылись легким туманом — они словно ушли из этой комнаты, не видели маму и меня, они жили в каком-то своем мире, далеком и непонятном мне, и разговор их был спокойным, неторопливым, глубоким, как река...

Но все кончилось. Анна Робертовна засобиравлась домой, дедушка с достоинством сказал: «Позвольте вас проводить!» — переоделся в генеральскую форму; увидев его в этой одежде, Анна Робертовна затрепетала, покрылась пунцовыми пятнами, заохала, запричитала.

— Прошу, мадам! — сказал дедушка, подал француженке свою руку калачиком, Анна Робертовна взялась за нее, они ушли.

— Видишь, — сказала мама, — какой галантный у нас дедушка, бери с него пример.

Я улыбнулся.

Я был рад, что все так получилось.

Может быть, они и не будут резаться в домино, дедушка и француженка, конечно, нет. Но разве дело в домино! Все-таки вдвоем веселее, легче. И хотя дедушка не один ведь живет — у него же мы есть, — все-таки веселее, когда есть знакомая старушка.

Будут ходить друг к другу чай пить.

Разговаривать станут, как сегодня...

РАБОТА

Пока деда не было, пришел с работы папа.

— Ну, генералу — сюрприз! — воскликнул он. Но как мы его ни допытывали, ничего не сказал.

Дедушка вернулся розовый, пока снимал шинель, крикал, отдувался.

— Поднялся, — рассказал, — на горку, посмотреть вашу стройку, а там ветер, холодина!

Он оживленный был какой-то, веселый. Подул в кулаки, согрелся, воскликнул:

— Это стройка, я вам скажу! Сколько кранов, сколько машин, сколько свету! От воды пар, будто дым — поле сражения, да и только.

— Еще бы! — обрадовался отец, торопливо вытащил карту из шкафчика, усадил деда рядом. — Гляди сюда! Вот наши масштабы! Сто пятьдесят тысяч гектаров зальет водохранилище, когда плотина реку перегородит. Тут много леса. Организованы специальные леспромхозы, чтобы тайгу вырубить!..

Мама рядом подсела, отца перебила:

— Деревни, Антон Петрович, переносятся на новые места. Надо построить тысячи новых домов! Вот тут протянутся линии высоковольтных передач. Здесь будет железная дорога. Тут шоссе.

— А народу сколько к нам едет! — воскликнул отец. — Пока на стройке десять тысяч человек. Будет еще больше.

Дед крякал от удовольствия, качал головой, удивлялся. Потом положил руку отцу на плечо, взглянул на маму, хитро прищурившись, и сказал:

— Это вы куда клоните, признавайтесь?

— Никуда, — растерянно ответила мама.

— Нет, куда! — сказал отец. — У меня к тебе предложение. Не от себя. От начальника стройки. Узнал он о тебе, хотел немедленно в гости мчаться, да дела задержали. Так вот предлагает он тебе пойти на работу. Начальником отдела кадров. Представляешь?

— Представля-ю! — протянул дедушка и замолчал.

— Текучка у нас, понимаешь, — говорил отец взволнованно. — Люди текут, как река. Одни приезжают, другие уезжают. Особенно молодежь. Придут из армии, поработают немного, а потом — по домам. С ними поговорить надо, убедить остаться, в общем, дело большое — обеспечивать стройку рабочими кадрами. Давай, батя! Нам как раз такого человека и не хватает!

Дедушка молчал, опустив голову, и поднял ее, когда мама напустилась на папу:

— Ты сам себе противоречишь. То говоришь, чтобы папа отдыхал, то находишь ему работу...

— Да нет, — сказал дедушка, — не в этом дело...

Он встал, прошелся по комнате. Вид у него какой-то усталый был, угнетенный.

— Это он, Оленька, мне работу подыскал утешительную, что ли... Чтобы я при деле себя чувствовал, чтобы лишним сам себе не казался.

Он остановился, посмотрел пристально на отца. Отец нервничал, карандашом по карте стучал, глаза прятал.

— Но я, сынок, свадебным генералом быть не умею, а работать как следует — сам понимаю — уже не смогу... Да и поздно... Дедушка замолчал снова.

— Поздно, — медленно проговорил он, — начинать все сначала...

Папа карту сложил. Улыбнулся. Сказал дедушке: «Что ж, на нет и суда нет», а мама на папу набросилась, дедушку поддержала: «Правильно, Антон Петрович, надо отдыхать, какая еще работа, вы уже наработались», но дед переживал, маялся — я это хорошо видел.

...Мы лежим с ним в темноте, я на диване — по случаю болезни, он на моей раскладушке. И никак не можем заснуть. Раскладушка под дедом скрипит. Он ворочается. Переживает...

— А как это понимать, — спросил я, — свадебный генерал?

Дедушка повернулся ко мне, скрипнул раскладушкой.

— Тоже не спишь?

— Не сплю, — шепнул я.

— Позорное звание это, Антошка! Свадебный генерал! На свадьбу, например, зовут генерала. Чтобы было торжественней. Чтобы все говорили потом: «Это да, это — свадьба! Даже генерал был!» А генерал к свадьбе отношения не имеет. Ни сват, ни брат. Вот и я не хочу быть таким генералом.

Мы молчим.

— Так то свадьба!

— Да никогда нельзя быть свадебным генералом! — возмущается дед. — Нигде! Разве не понимаешь? Или работаешь как все, или...

Я вздыхаю. Дедушка вздыхает тоже.

— Как думаешь, Антошка, — спрашивает он, — обиделся на меня папа?

— Не знаю. Он же хотел как лучше!

— В том-то и дело, — говорит дед, — он для меня старался, а я отказываюсь. Но ничего. Пообижается и перестанет. Поймет.

Он тяжело дышит в темноте.

— Чего ты? — спрашиваю я.

— Да сердце что-то прихватило, — шепчет дед. — Встань тихонько, накапай мне из флакончика, который на подоконнике стоит. Но только — чур! — родителям ни гугу.

Мне нравится такое доверие. Я шлепаю по полу. Капаю в стакан из флакончика. Наливаю воды. Даю лекарство деду. Он выпивает.

— Хорошо, — говорит, — теперь полегче.

Молчит. Я думаю, он заснул. Закрываю глаза. Думаю про деда. Про то, какой он вдруг оказался. А дед говорит:

— Ну хорошо, а без простыни ты меня с француженкой познакомить не мог?

— Как же? — отвечаю я. — Ведь на занятия я к ней домой хожу. — Но тут же спохватываюсь: — Как ты узнал?

— Военная тайна, — отвечает дед.

Я тихонько смеюсь.

— А настоящая военная тайна у тебя есть? — спрашиваю я. — Взаправдашняя?

— Еще какая, — говорит он тяжело.

— Расскажешь? — прошу я.

— Придется, — отвечает генерал, — не помирать же мне со своей тайной.

Часть четвертая. ЗЛОЙ ДЕМОН

ЗЛОЙ ДЕМОН

Есть такое выражение — «Злой Демон».

Я когда про него думаю, он мне представляется лохматым, с человеческим лицом. За спиной у него перепончатые крылья с острыми углами — как у летучей мыши. Бр-р-р... И хотя я его себе ясно представляю, Злой Демон совершенно невидим. Он может витать в воздухе, и тогда воздух потрескивает и рассыпается искрами — как будто синтетическую рубашку с себя снимаешь. Он может поселиться в человеке, в каком-нибудь знакомом человеке, или — еще хуже! — в самом тебе, и тогда, что бы ты ни делал, все будет плохо кончаться, и с тобой случится что-то такое необъяснимое, отчего жизнь наступит хуже некуда...

В то утро я проснулся, как обычно. Ни о каком Злом Демоне не думал. Пошел в школу, сунул в парту портфель, о чем-то заговорил с Кешкой, и все было обыкновенно, как всегда.

И тут это случилось...

Хлопнула дверь, и на пороге класса возник Злой Демон со своими редкими зубами, захихикал, пустил через весь класс портфель в угол и заорал:

— Э, народ! Знаете, кого я вчера видел? Генерала!

— Во сне, что ли? — спросил Кешка.

И класс, по обыкновению, грохнул.

— Нет, — ответил он, ничуть не смутившись. — Перед сном. Пошел прогуляться и вдруг навстречу — он. Две звезды на погонах! Лампасы на штанах!

— Ну, барон! — поразился Кешка.

— Какой барон? — не понял Злой Демон.

— Мюнхаузен! — воскликнул Кешка.

И все опять покатились со смеху.

Над ним всегда смеялись, над этим Злым Демоном. За привычку врать. За его дурацкие выдумки. И я всегда над ним

хохотал. Но тут у меня сердце сжалось. Злой Демон говорил правду, и я тогда еще ни о чем не подозревал, ничего такого не думал, и человек этот никаким Демоном для меня не был, а был просто Кириллом Пуховым по прозвищу Газовый Баллон. Звали его так за то, что Кирилл был самым толстым в нашем классе.

Ребята смеялись над Пуховым, он таращил глаза и божился, что не врет на этот раз ни капельки, а я краснел, и меня распирали обидная досада на всех. И тогда я сказал, перекрывая гомон:

— Прекратите глупый смех. Генерал — мой дедушка.

Тут уж Газовый Баллон постарался: захрюкал. Это у него смех такой. Не как у нормальных людей. Он, когда смеется, то хрюкает. И такой его смех всегда всех смешит. Все в классе так и покатились. Может, покатились из-за Баллонового хрюканья, но я решил, что смеются надо мной.

Я покраснел еще больше. Даже слезы у меня навернулись. Вот тебе и на! Вот тебе и сюрприз! Я ведь хотел сюрприз устроить. Как мне хотелось про деда рассказать! Ну, хотя бы Кешке! А я молчал, крепился. Действительно, что значат слова? И я придумал. Придумал здорово, а вышло как... Я же решил — наденет дедушка форму, и мы вместе в школу придем — вот все ахнут. А вышло — смеются, будто я какой-нибудь редкозубый враль Кирилл Пухов.

Кешка меня локтем в бок толкнул, буркнул недовольно:

— Чего ты-то?

Это последней каплей было. Гордость моя взбунтовалась, что ли? Или, может быть, Злой Демон именно в этот момент первый раз меня дернул. Я вскочил и сказал, едва сдерживаясь от злости, Газовому Баллону:

— На спор!

— Не промахнись, Асунта! — воскликнул Пухов.

И все покатились снова.

— Имей в виду — на «американку», — сказал я, дрожа от нетерпения. Немедленно, да, да, немедленно надо мчаться домой... Привести дедушку... Нет, это неудобно... Он обидится... Тогда...

Надо идти всем, кто не верит, к дому. И попросить дедушку выйти на балкон. А перед этим он должен надеть мундир.

Я едва дождался конца уроков. Каждую перемену охотники подзуживали то меня, то Пухова. Подзуживать было легко, требовалось только сказать: «Да брось ты, мало ли, погорячился», — и мы с Кириллом по очереди краснели и надувались, как воздушные шары.

Наконец прогремел последний звонок. Толпа собралась порядочная. Почти весь класс.

Мы с Пуховым шагаем рядышком, как дуэлянты какие. Сзади понурый Кешка, мой секундант. Дальше — зрители. В толпе мелькает зеленая шапочка Альки.

Алька — это одна девчонка из нашего класса, независимый человек и вообще... Если всем что-нибудь нравится, например фильм, ей очень даже просто он может не понравиться. И Алка это не скроет. Не притворится, что она — как все. Скажет правду, и точка. Остальные девчонки у нас любят быть — как все. Любят, чтобы у них единогласие было, одни вкусы, одни любимые артисты и песенки. Это свое единодушие они очень уважают, а я уважаю Альку... Я считаю, у нее — мужской характер, хотя сама она очень мягкая, не нахальная. Ну, еще у Алки косы есть. Самые толстые и пушистые в классе. Как у моей бабушки на той фотографии. Но это к делу не относится.

К делу относится, что и Алка идет вместе со всеми. Шапочка ее мелькает. И тут мне на секунду становится жаль Кирилла Пухова. Ведь он проиграл «американку» — три желания в любое время. Проиграл, бедный Газовый Баллон. А Алка увидит моего дедушку.

Что-то такое во мне происходит. Какие-то мурашки ползут у меня по спине, как будто я сейчас пятерку получу и уверен в этом на сто процентов. Ребята стоят возле дома, я мчусь по лестнице домой, звоню долго, лихорадочно, потом открываю квартиру своим ключом, заглядываю в кухню, в комнаты, в ванную.

Деда нет.

Что же делать? Вот позор...

Сказать, чтобы ждали? Засмеют и уйдут: нашел дурачков!

И тут гениальная идея приходит мне в голову!

Я скидываю пальто, открываю шкаф, натягиваю на себя дедов мундир с орденами, подгибаю рукава, подумав, надеваю на макушку генеральскую фуражку с золотыми позументами и выхожу на балкон.

Я вижу глаза, устремленные на меня, — восторженные, пораженные, радостные. Я отыскиваю зеленую шапочку, нахожу Альку и улыбаюсь ей одной. Потом я протягиваю вперед руку, как фельдмаршал Кутузов, и мне кажется, что мундир мне впору, будто сшит на меня, и ордена на груди вручены в торжественной обстановке тоже мне, и что вообще генерал-лейтенант — это я.

Злой Демон Кирилл Пухов потерянно улыбается.

ПРИВИЛЕГИИ

Класс переменился.

Перед уроками все мальчишки подходили ко мне поздороваться «по петушкам» — это было признаком высшего уважения, а девчонки улыбались мне в любую секунду перемены или урока — стоило только остановить на какой-нибудь свой взгляд.

Сначала я чувствовал неловкость, будто что-то сидело во мне,

какая-то заноза. Потом заноза рассосалась, я привык, что «по петушкам» со мной здороваются даже некоторые старшеклассники и учителя смотрят на меня как-то особенно, с подчеркнутым интересом, словно хотят спросить о чем-то, не относящемся к школе, да стесняются.

И вообще я стал замечать, что жизнь моя улучшилась. Что я получил привилегии. Двойки, конечно, и теперь иногда проскакивали. Но не так, как раньше. Теперь учителя ставили их с оговорками. Целые речи произносили: как же, мол, ты, Антон, можешь такое себе позволять? Ну ладно, дескать, был бы неспособный человек, а то ведь не только без двоек, но даже и без троек можешь учиться — и поднатужиться-то надо чуть-чуть.

Не очень приятно выслушивать такие речи, но я притерпелся и даже вывел любопытную закономерность, как сказала бы учительница математики. Я заметил, что иногда, прочитав мне целую лекцию и даже поставив двойку в журнал, учителя дневник мой не требовали так строго, как раньше или как теперь у других ребят. А иногда и в журнале двойка не появлялась, а только жирная точка — будто двойка оставалась в уме: точку пишем, два в уме. И еще. Еще учителя будто ждали чего-то от меня. Сначала я не понимал, чего они ждут. Потом экспериментально выяснил: ждут слов. И не требовалось очень уж раскаиваться. Достаточно было сказать скромным голосом: «Извините, я непременно все сделаю к следующему уроку», — как учителя вздыхали, кто погромче, кто незаметнее, и я мог запросто отделаться от неприятности.

Привилегии были всякие. Директор Максим Сергеевич, например, теперь всегда замечал меня и вежливо отвечал на мои поклоны. Рыжий физрук не придирался и не срамил меня, когда я кулем переворачивался на параллельных брусьях, а завуч никогда не останавливала, если я бежал на перемене по коридору, и не требовала, чтобы я шел шагом. Я чувствовал прямо-таки животом, что могу даже уйти с уроков без уважительных причин. Однако на это я не решался. Это было бы слишком. Да и куда пойдешь один среди бела дня в нашем поселке?

Словом, жизнь моя наполнялась маленькими привилегиями, я быстро к ним привыкал, и все шло как по маслу, если бы не Кешка и Алька. Во всей школе только они двое относились ко мне, как прежде. Кешка не здоровался «по петушкам», а буркал неохотно: «Привет», и Алька не улыбалась мне каждую секунду. Наоборот, они словно сговорились и поглядывали на меня как-то недоверчиво, что ли. С каким-то сомнением.

А я их понять не мог.

Что с ними случилось? Ведь со мной-то ничего не произошло.

Однажды у меня даже мелькнула нехорошая мысль: неужели завидуют? Я тотчас прогнал ее. Не могло этого быть. Не такие люди Кешка и Алька, чтобы завидовать неизвестно чему. Тому,

что ли, что дед у меня генерал? Вот глупость-то! Ведь я же тут ни при чем!

Я отогнал эту мысль, да ненадолго.

Однажды я проходил по коридору, а Кешка и Алька стояли у батареи. И когда я прошел мимо них, то услышал вдруг Кешкины слова. Слова были обидные, и сказал их Кешка обидно, с иронией. Он сказал:

— Без лампасов, а вылитый генерал!

Это слово — «генерал» — он произнес с ударением, как бы с большой буквы.

Я словно споткнулся.

Я обернулся, еще не веря своим ушам, не веря, что Кешка, мой друг Кешка способен на такое предательство.

Я глядел на Кешку, чувствовал, как горят мои уши, и видел его взгляд — пустой, будто он и не видит меня, а смотрит сквозь стекло, куда-то вдаль.

Кешка презрительно смотрел сквозь меня, и я готов был провалиться: Алька усмехнулась.

Ясное дело — она усмехалась над Кешкиными словами и моей новой кличкой.

«ГЕНЕРАЛ»

Теперь меня звали Генералом.

Кешка и Алька молчаливо хмурились, а остальные произносили новую кличку приветливо, с уважением, и я успокоился. Новое имя даже приятно щекотало меня. Генерал! Мон женераль! Не так уж, в конце концов, плохо. Не то что, к примеру, Газовый Баллон.

Газовый Баллон сник. Не хрюкал больше. Ждал, когда я с него «американку» потребую. И как потребую — при всех, с позором, или один на один. Я часто ловил на себе его взгляд — тревожный, будто просящий о чем-то. О чем? Ясное дело, о чем. Я теперь Генерал, а он как был Газовый Баллон, так им и остался. Стоило мне захотеть, и я его как угодно высмеять мог. За что угодно. За любой пустяк. Хотя бы за то, что он не смеется, а хрюкает.

Ничего не стоило мне изменить его прозвище Газовый Баллон на другое какое-нибудь, куда пообиднее. Нуф-Нуф, например. Есть такой герой в «Трех поросятах».

Но я не делал этого. Что-то такое меня удерживало. Не зря же потом все выяснилось про Злого Демона...

А события развивались.

Однажды вечером я шел в библиотеку. И носом к носу, под самым фонарем, столкнулся с нашей пионервожатой Галей. Если бы не фонарь! Но когда не везет, так не везет. Когда не везет, так и фонари не на месте стоят.

Галя покраснела, увидев меня, хотя это было глупо. Она покраснела, потому что шла не одна, ее вел под ручку монтажник Борис Егоров. Все в школе знали, что Егоров — Галин ухажер, никакого секрета тут нет, и глупо стесняться этого. Но Галя стеснялась, всегда гуляла с Борисом по самым закоулкам и бездорожью, и однажды кто-то из девчонок увидел даже, как Борис переносил Галю через огромную лужу на руках. Борис был круглолицый, широкоплечий, здоровый, перенести Галю через лужу ему ничего не стоило, но наши девчонки устроили из этого важное событие — хихикали и шушукались целую неделю, пока их Алька не одернула. Она им буркнула что-то, девчонки напыжились, надулись, но вожатую обсуждать перестали.

Так вот, я столкнулся с ними под фонарем, хотел шмыгнуть в темноту, пока они меня не разглядели, но Галя уже покраснела, остановилась и завела со мной разговор, хотя для нее же лучше было бы меня не заметить. Что делать, человек очень часто поступает совсем не так, как ему хотелось бы!

— Здравствуй! — сказала Галя, хотя днем мы виделись в школе.

Она замолчала, переступая с ноги на ногу, и лицо ее было ужасно беспомощным. Она не знала, что ей сказать, не знала, зачем остановилась, зачем завела разговор, и я уж совсем было собрался нырнуть в темноту, но Галя вдруг буркнула:

— Скоро примем ваш класс в пионеры. А Борис Егоров... — она показала рукой на монтажника, будто его не знала в нашем поселке каждая собака, — а Борис Егоров будет у вас вожатым от стройки.

Я ухмыльнулся. Галя хотела оправдать свои прогулки с Борисом. Я взглянул на монтажника. Тот улыбался, ничуть не разделяя Галиного смущения.

— Слышь ты, как тебя! — сказал он, сверкая зубами. — Передай народу, чтоб посоображали заранее, понимаешь! Кандидатуру начальника отряда!

— Председателя совета отряда! — ужаснувшись, поправила Галя.

— Ну, в общем, понимаешь! — хохотнул Борис. — Командира! Генерала!

Меня словно ошпарило кипятком. Генерала?

Нет, Егоров, конечно, не знал моей новой клички — откуда? А у отряда должен быть свой председатель. Командир. Генерал, как пошутил Галин ухажер. Я шагал домой и хмыкал себе под нос: «Хм-хм!» Чем больше думал, тем громче хмыкал — еще бы, такие перспективы... Ведь, в конце концов, думал я, у меня есть привилегия: мой дедушка — генерал! А я дедушкин внук! И ведь должна же в моих жилах бежать генеральская кровь! Да что я, с отрядом не управлюсь? Хм-хм!

Оставалась мелочь. Избрать себя председателем совета отряда. Вот только как? Хорошо в Америке — захотел, сам свою кандидатуру выдвигай. А у нас — неудобно это, неловко как-то. Но тут мне пришла счастливая идея. Есть же человек, который передо мной виноват, который как бы мой должник. Сказать ему, да и дело с концом. Я совсем громко захмыкал: действительно, неудобно. Но я себя убедил: удобно! Взялся за гуж, не говори, что не дюж! А тут и правда за гуж берешься! А если за гуж, то стыдиться нечего. Стыдиться стыдно.

Чем больше я себя убеждал, тем неубедительней получалось. Но через себя переступил — есть такое выражение. Как это через самого себя переступать, я не знаю, но раз говорят, значит, можно. В общем, взял сам себя за руку и перешагнул что-то такое. На большой перемене отвел в угол Кирилла Пухова и, заикаясь, объяснил ему свое первое желание. Злой Демон оживился.

— Будь спок! — воскликнул он. — Не сомневайся.

— Но об этом никто не должен знать! — сказал я угрожающе.

— Это второе желание? — спросил радостно Газовый Баллон.

«Ну выжига!» — подумал я, но согласился.

— Клянись! — потребовал я.

— Это третье? — засмеялся он счастливо и вздохнул, будто сбросил тяжелый груз.

— Третье! — хмуро подтвердил я и погрозил ему кулаком.

Злой Демон ухмылялся.

А мне стало тошно. Что-то изнутри меня давило, какое-то сомнение. Но я не знал — какое...

ВЫБОРЫ

Первое собрание получилось очень торжественным, потому что мы еще не остыли после линейки. Лица у всех были розовые, галстуки непривычно сжимали горло, блестели глаза. Все казались праздничными и растерянными, поэтому, когда Галя спросила, какие кандидатуры на пост председателя, все растерянно запереглядывались. Сердце у меня сжалось: а если Пухов не успеет, растеряется и выберут другого? И что только случилось со мной? Какой такой злой демон в меня переселился?

Я хотел, смертельно хотел стать председателем совета отряда, носить красные лычки на рукаве и командовать классом. Я считал, что имею на это право — ведь дедушка у меня генерал, не то что у Кешки, к примеру, у него дед — всего-навсего старший сержант, да о чем говорить! Мой дед был самым главным из всех родите-

лей и дедушек нашего класса, и я имел привилегии — разве не ясно?

Ясно, ясно, все было ясно, да только сердце все равно у меня колотилось, и я впился взглядом в Газового Баллона.

Пухов наконец протянул руку, медленно, не спеша, как в замедленном кино, поднялся с места и пошевелил губами. Я услышал свое имя.

Класс загомонил, мальчишки и девчонки хором соглашались с Пуховым — только Кешка и Алька молчали.

— Эй, потише! — прикрикнул Борис Егоров, наш вожатый со стройки. — Лучше объясните, почему предлагаете эту кандидатуру.

Борис Егоров смотрел на Галю, Галя отводила серые глаза, хмурилась, делала строгий вид, но ничего у нее не получалось, не выходил у Гали строгий вид — она всего год как сама-то нашу школу кончила, а Егорову было, в общем-то, все равно, по какой причине выдвигают мою кандидатуру, он спросил просто так, для порядку, по лицу его было видно — круглому, добродушному, улыбающемуся. Да и вообще он не про собрание думал, а про что-то другое.

— Как же! — ответил ему Пухов. — У него дедушка генерал.

— Генерал? — переспросил механически Борис, все еще глядя на Галю и не понимая смысла слова. — Ах, генерал? Какой генерал? Какой у тебя дедушка генерал? — удивился он уже искренне, разглядывая меня с интересом.

В глубине души я возмутился невниманием монтажника. Но сдержался.

— Генерал-лейтенант, — сказал я с достоинством. — Но разве в этом дело?

Класс затих. Егоров смутился. И тут на помощь пришла Галя.

— Конечно, не в этом! — воскликнула она с жаром, и щеки ее порозовели. — Тебя председателем и без дедушки избирают. Верно, ребята?

— Верно! — заорали ребята.

А когда все стихли, я услышал Кешкин голос.

— Нет, не верно! — сказал он.

Я медленно поднялся. Все кипело во мне. Я обернулся к классу, к нашему большинству, к мальчишкам, которые жали мне «петушка», к девчонкам, которые всегда охотно мне улыбались. Я увидел их глаза, доброжелательные улыбки и произнес каким-то противным скрипучим голосом, вперив в Кешку свой взгляд:

— А тебе что, завидно?

В классе повисла тишина.

Я хотел сдержаться, взять себя в руки, но ничего не вышло. Злой демон понес меня под гору.

— А тебе завидно? — повторил я и неожиданно прибавил: — Старший сержант.

Кешка посмотрел на меня.

Он только посмотрел на меня, а я готов был провалиться сквозь землю.

Боже! Какой позор!

Я нашел глазами Кирилла Пухова, но он понял мой взгляд по своему. Он кивнул мне, выполняя обязательство, и крикнул:

— Да чего там, голосуем!

Лес рук взметнулся кверху, выбирая меня председателем...

Вечером мама устроила торжественное чаепитие. Купила торт. Накрыла стол нарядной скатертью.

Я сидел в пионерской форме с нашивкой на рукаве — мама постаралась, — а настроение у меня было хуже некуда.

Я пил чай и чувствовал, как разглядывает меня дедушка. Поглядывает потихоньку — то исподлобья, то сбоку. То встанет покурить и смотрит в затылок. Будто он что-то чувствует.

А вдруг узнает? Или просто спросит?

Мама смеется, шутит, говорит о чем-то с папой, а мы с дедом молчим.

Когда укладываемся спать, он опять молчит. Только вздыхает. Дает мне возможность высказаться. Но я не хочу высказываться. Мне нечего ему сказать. Наконец дед не выдерживает.

— Пошепчемся? — говорит он тихонько.

Я сжимаю губы, даже перестаю дышать. Я не шевелюсь, будто сплю, а сердце грохочет, грохочет во мне, будто тяжелая артиллерийская канонада.

Будто я вор какой. Будто я что-то украл...

АННА РОБЕРТОВНА

А дедушка вел себя странно, очень странно.

Может, я, конечно, сам в этом виноват. Промолчал бы, не рассказал про выдумку Анны Робертовны, глядишь, все было бы нормально. Хотя как знать... Встретились бы где-нибудь на улице, дед и без меня бы узнал.

В общем, дело было так.

Как-то пришел я на французский. Дверь у Анны Робертовны не была закрыта. Просто притворена. Звонить не пришлось. Я вошел, разделся. Какие-то голоса слышались из комнаты, но мне ничего еще в голову не пришло. Мало ли, соседи зашли. Или еще кто. Но тут вдруг запели. Анна Робертовна запела. Я в комнату заглянул и обомлел.

Диван раздвинут. На диване три подушки лежат. И три скомканных одеяла. Анна Робертовна посреди комнаты стоит, под са-

мым абажуром. Головой кисточек касается, но ничего не чувствует. Дирижирует сама себе костлявыми руками, пританцовывает и поет:

Отцве-ели уж-ж давно
Хризанте-емы в саду-у.
А любо-овь все ж-живет
В моем се-ердце больно-ом!

Я комнату оглядел — кому это она? Сама себе, что ли? И чуть не упал. Нет, не сама себе. Перед ней, у стенки, в рядок, сидят на трех горшках три розовых младенца. Щеки помятые — видно, после сна. Улыбаются Анне Робертовне. Молчат. Видно, нравится им песня.

Я в себя пришел, сказал:

— Бонжур, Анна Робертовна!

— Ох! — вздрогнула она. — Как ты меня напугал, Антоша!

Малыши захныкали, Анна Робертовна бросилась к ним, но ребята были бойкие, сразу видать — строители, сорвались с горшков и разбежались. Пришлось мне Анне Робертовне помогать, малышей ловить, приводить их в порядок. Вот никогда не думал, что придется таким заниматься! Анна Робертовна вся взмокла. Бусинки пота на лбу выступили.

— Ме шер енфан! — кричала она. Мои дорогие дети, значит.

Но енфаны не слушались, неорганизованная, видать, была публика. Один ревел, второй на пол лег, третий одеяло тащил с дивана.

— Это я, — сказала Анна Робертовна, — по совету твоей мамы, помнишь? Пока дождешься своего внука! Вот и решила высвободить трех молодых матерей из нашего дома. Но не знаю, как управиться. Может, много сразу взяла? Может, надо хотя бы двоих?

Анна Робертовна была возбуждена, щеки ее горели, глаза за стеклами очков походили на яркие фары.

— Антоша! — воскликнула она. — У вас нет соответствующей литературы? Может, у мамы осталась? С той поры, когда ты был маленьким?

Я обещал поискать соответствующую литературу. Завтра принести. Похоже, французский теперь отменялся. Кажется, навсегда. Я помог Анне Робертовне сварить манную кашу. Помог накормить с ложечки ее огольцов. Выстирал их штанишки. Развесил их на батарее.

Анна Робертовна ощущала угрызения совести. Про кашу и штанишки она пыталась говорить со мной по-французски. Я ее старался не понимать. Переспрашивал по-французски:

— Кес-ке се? — Что такое, значит.

И она переводила себя на русский. Объясняла, что надо сде-

лать. Когда я уходил, пацаны утихомирились. Сидели на диване, бузили и вразнобой гремели побрякушками. Анна Робертовна опять стояла посреди комнаты, размахивала руками и снова пела про хризантемы. Я заглянул в комнату и посоветовал:

— Им не это надо!

— А что? — обрадовалась Анна Робертовна.

— Что-нибудь педагогическое, — сказал я. — «В лесу родилась елочка», например. Или «Чижик-пыжик». — И спел ребятам: — «Чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове...»

Ну, определенно строители были, эти огольцы. Слов не поняли, но содержание осознали. Хором засмеялись. А Анна Робертовна на меня с удивлением из-под очков посмотрела.

— Ого, Антошка! — воскликнула она.

— Не ого, а ага! — пошутил я. Ведь если «ага» — хозяин, то «ого» — вообще ничего.

Домой я драпал бегом. Еще в прихожей, впопыхах, рассказал деду. Он не засмеялся. Покачал головой. Подумал.

— Вот тебе и Анна Робертовна, — сказал. — Молодец!

И затих на весь вечер.

А через день или два я увидел поразительную картину!

По улице шла Анна Робертовна и катила перед собой детскую коляску, но бог с ней, с Анной Робертовной. Рядом с ней шагал дед в своем коричневом пальто. И катил перед собой сразу две коляски! Это было не так-то просто — катить одновременно две коляски, дед пыхтел, поворачивал то одну, то другую и нисколько не смущался! А напротив! Весело смеялся!

Прохожие оглядывались на странную пару. Кто крутил головой, кто улыбался, кто пожимал плечами — дело было как раз после смены.

А мне... Мне стало стыдно за дедушку. Как ему не совестно только, думал я. Генерал, и катает коляски! Хорошо, что тогда его не было дома и никто посторонний его не узнает. А то ребята обсмеяли бы меня за такого генерала.

ВОСКРЕСНИК

Сперва дед катал чужие коляски, а потом стал кладовщиком. Я даже заплакал, когда узнал об этом. Это генерал-то! Позор какой...

Но сначала был воскресник.

Зима уже пришла. Поселок наш снегом засыпало. Пушистым, мягким. Вечером, когда солнце в тайгу ложится, он становится розовым. Мерцает алыми брызгами. Потом голубеет. Синим делается. И вдруг — черным.

День у нас кончается сразу. Падает солнце, и тут же — ночь. Темнотища. Только под фонарями блестящими колесами горит снег. Интересно бы сверху поглядеть. Наверное, оттуда видно так: чернота, а посреди нее блестящие блинчики. Фонари качаются, если ветер, белые круги движутся, словно мчатся в пространстве таинственные летающие тарелки, — границы между землей и небом нет, только тьма, тьма вокруг.

Красиво у нас зимой: тайга куржавеет, река в промоинах дышит паром. В мороз гулко ухают сосны — это влага, попавшая в щели, превратившись в лед, раскалывает дерево, будто дровосек.

Зимой красиво, но мне не до красот. Что-то во мне ноет, болит; я знаю — что, но признаться боюсь даже себе, упорствую, злюсь, и настроение от этого у меня паршивое, и жизнь не в радость.

Перед Новым годом Галя мне объявила:

— В воскресенье — общий воскресник! Для тебя первое мероприятие. Не подкачай!

Я не обрадовался. Мечтал командовать классом, а теперь никакого желания нет. Клял себя почему зря. Не пришла бы ко мне эта дурацкая мысль, не подкупил бы Газового Баллона в «американку», все было бы хорошо. И с Кешкой по-прежнему бы дружил, и Алька бы на меня не косилась. Но что делать? Отступать некуда...

...Еще темно. Фонари горят. А в поселке шум и тарарам. Радио на всех столбах веселые марши играет. Где-то на плотине духовой оркестр бубухает. Грузовики тарахтят, народ грузят. А потом, когда рассвело, стало совсем как на празднике: флаги трепещут, транспаранты горят.

Нашу школу направили на пустырь. Его расчистить требовалось. Расчистить так расчистить. Учителя с ломиками ходят. Мы лопатами снег разгребаем. Бульдозер нам помогает. Морозу особого нет. Дышится легко. Весело! Хорошо!

Я даже забыл свои мучения. Махал лопатой и никем не командовал. В голову не приходило.

За главного у нас Баллонов отец. Совсем на Кирю не похож. Нормальный человек, не толстый. Он работал на бульдозере, выравнивал площадку. И вся наша работа как бы вокруг бульдозера шла. Если где тяжелая груда лежит — он подтолкнет. Пень выкорчует. Бетонную балку сдвинет. Весело тарахтит бульдозер. Синие колечки из трубы пускает.

Галя и Егоров рядом со мной работают. На них смотреть забавно. Борис Галя то за руку возьмет, то остановится и смотрит на нее как загипнотизированный, ни на кого не обращая внимания. Галя смущается, руку вырывает, приказывает ему делом заниматься. Егоров кивает послушно и лед ломом так крушит — только брызги летят.

Газовый Баллон тут же суетится. На девчонок покрикивает,

шутит, песни поет. Я на него поглядывал снисходительно. Настроение у меня приличное.

И тут я увидел деда. Одет он был, как все, в телогрейку. На голове — лохматый отцовский треух, на руках варежки из собачьего меха.

Дед подходил к моему отряду, и с каждым его шагом хорошее мое настроение исчезало все быстрее и быстрее. Нет, вовсе не так представлял я себе этот момент. Дед в форме, ребята им любят, ордена сверкают, позументы горят, и шепоток благоговения ползет: смотрите, смотрите... А тут шлепает какой-то старик — в валенках с загнутыми голенищами, с ломиком на плече, и видно, что ломик ему плечо оттягивает — жиденский старикашка, хлипкий и уж вовсе не генерал.

— Как дела? — спросил меня дедушка, приглядываясь к ребятам. Но мало кто обратил на него внимание. Все старались, работали. Только Газовый Баллон, как всегда, начеку. Глаза выкатил, уши торчком.

— Ничего, — неохотно ответил я деду, — трудимся.

— Ладно, — кивнул он, — меня ждут, пока...

Он двинулся дальше по снежной площадке, а Газовый Баллон уже мне в глаза заглядывает.

— Он? — спросил Пухов придирчиво. — Генерал?

Бывает, человек необъяснимые поступки совершает. Сперва выкинет какое-нибудь коленце, потом сам же объяснить не может. Вот и я. Пожал плечами и фыркнул:

— Вот еще!

И тут же покраснел. Вот тебе раз! От собственного деда отказался! А тут еще Галя, елки-палки, приветливо мне рукой машет и кричит на всю площадку:

— Рыбаков! Антоша! Это и есть твой дедушка?

Я краснею все больше, а народ наш уже лопаты покидал, смотрят вслед деду и обсуждают, прямо базар какой-то.

«Не может быть!..», «Генералы не такие бывают!». Кто-то даже хихикнул из девчачьей команды: «А маленький-то какой, маленький!»

В висках у меня кровь, наверное, вскипела. Глаза чем-то черным заволокло. Темный народ! Понимали бы чего! Да еще сам я... Вихрь какой-то во мне возник, циклон, самум, цунами. Я, наверное, побледнел от отчаяния. Мне расшвырять всех хотелось в бесильной злобе, заставить замолчать. И тут я вспомнил про свое командирство. «Что же это в конце концов? — подумал я. — Над председателем издеваются». И заорал как бешеный:

— Эй, вы! Заткнитесь!

Сразу стало тихо. И Алька многозначительно сказала в тишине:

— Ого!

Я зареветь, завыть был готов. Но что делать дальше — не знал. Я, наверное, на истукана со стороны походил, на деревянного болванчика: сжал кулаки, губу закусил. Но не помогало — руки тряслись да и губы тоже.

И тут вдруг ожил Газовый Баллон. Он сорвался с места и погнался за дедом. Я видел, как дедушка остановился, кивнул Пухову, посмотрел на нас издали, что-то сказал и пошел себе дальше, а Кирилл уже несся назад. Он подбежал к нам, замедляя скорость, потом перешел на шаг, уперся в меня, как колом, своим взглядом и сказал:

— Гони назад «американку»!

Я стоял бледнее снега. А Газовый Баллон заорал, повернувшись к классу:

— Он от деда отказался! Но это его дед. Только никакой не генерал, а простой пенсионер. Сам сказал.

Класс затрещал, будто стая сорок. Меня разглядывали так, словно через лупу какую-нибудь букашку. Я будто под пулеметными очередями стоял: со всех сторон меня насквозь простреливали. И первой расстреливала Алька. Не знаю, какие глаза у судей бывают, наверное, такие, как у Альки. Холодные и надменные. К горлу что-то подкатило, и я сорвался. Заревел — почему-то басом! — бросил лопату и пошел, увязая в сугробах, домой.

Галя кричала мне вслед: «Рыбаков, сейчас же вернись!» И Егоров кричал. Но я даже не обернулся.

ВСТРЕЧА

Перед сном, в темноте, дед сказал:

— Сегодня один гражданин из вашего класса мою личность выяснял. Спрашивает: «Вы генерал?» Я подумал: раз у меня выясняет, значит, ты мной не козыряешь. Правильно. А то ведь за чужой-то спиной нетрудно жить. Есть такие, видал не раз. Чужой славой пользуются и глаз не жмурят. — Он зевнул, добавил сонным голосом: — Ну, я и отказался. Говорю: «Пенсионер я!» Как полагаешь, правильно поступил?

Я сжался весь. Вот оно в чем дело. Губы у меня затряслись. Но я шепнул:

— Правильно.

Что мне еще оставалось? А самого в жар бросило. Вон как выходит! Я дедом козыряю, чужой славой пользуюсь!

Вечером решил: будь что будет, а в школу не пойду. Утром передумал: скажут — струсил. Не на таких напали. Но идти в школу тошно было. Плелся, еле ноги переставляя. Вздрагивал от каждого окрика. Когда я к нашему классу подошел, там стоял невообразимый. Алькин голос всех перебивал:

— А мундир он что, на базаре купил?

И все кричали что-то неразборчивое.

Я переступил порог, все стихло. Каждый своим делом занялся: книжечки раскладывают, тетрадки перебирают, друг с другом беседуют. И никто меня не замечает, пацаны «по петушкам» не здороваются, отворачиваются смущенно, девчонки, которые приветливо улыбались, мимо глядят. Один Газовый Баллон меня зрачками таранит и так это небрежно объявляет:

— Слышь! Председатель! Я Егорова встретил. Он говорит, чтобы ты готовился. Обсуждать тебя будем за то, что с воскресника ушел. Галя вот только вчера простыла. Поправится, и сразу собрание.

У меня горло заледенело. В висках опять молотки застучали. Я повернулся к Баллону, окатил его с головы до пят презрительным взглядом:

— Чего командуешь? Меня ведь еще не переизбрали, кажется?

Пухов захрюкал. Прохрюкался и ответил:

— Я тебя выдвинул, я и задвину!

Тут уж все покатились. Я сжал кулаки и опустил голову. Словно оплеуху мне дали. А я и ответить не могу.

Слезы навернулись на глаза. «Не смей! — командовал я себе. — Хватит позора!» А сам думал про класс. Про этих подлых друзей. «Предатели, вот вы кто. А еще «по петушкам» со мной здоровались!»

Я хотел вскочить на учительский стол, гаркнуть во все горло, что дед у меня генерал, генерал, генерал! Но не смог, не захотел. Стиснул зубы и ничего не ответил на пощечину Кирилла...

Один я теперь. Совершенно один. Алька на меня только поглядывает, с Кешкой я поссорился, а народные массы меня предали.

Надо же! Я друзей теряю, а дедушка их находит. Иннокентия Евлампиевича нашел, Кешкиного дедушку.

Вот ведь какие истории бывают, поверить невозможно! Но бывают. Факт. Своими глазами видел.

Мой-то с Кешкиным дедом на воскреснике познакомился. Если, конечно, можно так сказать — познакомился. Иннокентий Евлампиевич кладовщиком на стройке работает, дед с ним перекурить сел, разговорились: оказалось, оба на Первом Украинском фронте воевали. Словно в укор мне, чуть не каждый день сидят теперь на кухне, дымом окутались: вот, мол, ты Кешку унижить хотел, а мы, генерал и сержант, один табачок курим.

Я мимо дедов на цыпочках прохожу, учебники раскрываю, гляжу в них, да ничего не вижу. Думаю: знает ли Иннокентий Евлампиевич про нашу с Кешкой ссору и как мне дальше жить? Что делать?

Кешкин дед на Кешку очень похож. Костистый, широкоплечий, голова квадратом. Вот только у старого Иннокентия борода лопатой — седая, с виду жесткая, у рта желтее — обкуренная да глаза похитрей, чем у Кешки. С прищуром, с улыбочкой. Иннокентий Евлампиевич моего-то немного постарше, ему за семьдесят давно перевалило, он пенсионер, но как только дома остается — сразу болеет. Вот и работает кладовщиком — для здоровья, как он объясняет.

«Бу-бу-бу», — слышались голоса за стенкой. Деды замолкали, верно, думали о чем-то, что-то вспоминали, потом смеялись — негромко, глухо, потом снова говорили, говорили, говорили: «Бу-бу-бу». И наш уже реже пек пирожки, нерегулярно мыл пол, и мама радовалась, как маленькая, удивляя отца, который повторял: «Я же говорил! Просто он акклиматизировался!»

Я не радовался и не огорчался, я вообще почти не замечал, как живет дед: своих забот хватало.

Но однажды произошло поразительное событие.

Дед повстречался с Иннокентием Евлампиевичем.

Да, да, не удивляйтесь, они встретились, хотя знакомы были уже давно и давно друг к другу ходили. Правда, у нас они всегда сидели на кухне. И вот как-то они зашли в комнату, где я учил уроки, и стали куда-то звонить. Мой дедушка набирал номер, а Кешкин озирался по сторонам. Потом он увидел фотографию на стене, подошел к ней, постоял минуту и... я вздрогнул от неожиданности.

— Кто это? — крикнул Иннокентий Евлампиевич и испуганно схватил деда за руку. — Кто? Кто?

— Ну, Евлампиевич, — засмеялся дед, — не думал, что такой стреляный воробей, как ты, может испугаться. Я это, что с тобой?

— Вот этот, с усиками? — не поверил старый Иннокентий и замер, разведя руками.

Я ничего не понимал. Ну, увидел карточку, а чего орать-то?

— Ой-е-ей! — замотал седой бородой Иннокентий Евлампиевич. — Ой, стар стал, никуда не гоюсь — ослеп начисто! Ой-е-ей!

Дед даже положил телефонную трубку.

— Чего запричитал-то, объясни толком!

Евлампиевич успокоился, повел глазами на деда.

— А я ведь тебя давно знаю, Петрович, — сказал он, смеясь. — Ты при форсировании Днепра в каком чине состоял? Полковника?

— Полковника, — ответил дед. — Ну и что?

— Да то! Ты меня там как раз и отдал под арест.

Я давно уже бросил свои уроки, а тут ручку на тетрадь уронил. Посадил кляксу. Дедушка пожал плечами.

— Гукнул я одному пленному фрицу по мордам, — говорил, захлебываясь, Кешкин дед. — Конвоировал группу, ну и дал ему понюхать. Тут полковник как раз подвернулся с этими усиками.

Ты! Что да к чему? А я обмер. С перепугу, ясно дело. Ты мне трое суток и сунул!

Вот тебе на! Значит, мой дед Кешкиного дёда под арест отдал?

— Ой-е-ей! — замотал опять головой Иннокентий Евлампиевич. — Не признал, ну нистолечки. Переменился ты, ох, переменился!

— Погоди-ка, — ответил дед, — что-то смутно я припоминаю. Но неужели тот... — он показал пальцем за спину, задумался, — это ты?

Седой Евлампиевич подошел к деду, взял его руку в свои ладони.

— Ой-е-ей! — повторил в который раз. — Это ж надо, такая конфузия. Сколь ден с табаком воюем, а если бы не карточка, так бы и не признал.

— За что вы фрица-то? — напомнил я.

Кешкин дед провел рукавом по глазам, проморгался, ответил:

— У своего же немца пайку хлеба отнял...

Перед сном мы ворочаемся, не можем уснуть.

Дед вздыхает, и я прислушиваюсь к его дыханию.

— Капнуть? — спрашиваю я.

— Угу! — отвечает он и ворчит. — Как же это я Иннокентия-то, а? Не разобравшись?..

КЛАДОВЩИК

Прошла неделя, а может, больше, и дед стал таинственно исчезать.

Утром он уходил раньше нас, захватив авоську с пустыми бутылками, и вид у него был озабоченный. Он поглядывал на часы. За дверь выскакивал всегда неожиданно, словно не хотел, чтобы кто-нибудь шел с ним хотя бы до крыльца, да и вообще вел себя непонятно. Когда я его спрашивал, куда он так торопится, он недовольно бурчал, что вопрос кажется ему странным, и делался неприступным.

Он уходил раньше всех; когда я возвращался из школы, его еще не было; появлялся дедушка после окончания рабочей смены, и я видел в окно, как он медленно идет по двору: в телогрейке, ушанке, валенках, а в руке авоська с неизменным молоком.

Целый день ходил по магазинам? Так у нас их раз-два и обчелся. Где тогда пропадал? Я подозревал: наверное, опять помогал Анне Робертовне. Но там же детишки, он бы пальто надел. Телогрейка для такого дела не подходила.

И тут дед такой удар нанес! Не ждал я, не гадал, что он так может: ни с кем не посчитаться, ни о ком не подумать...

Однажды отец пришел с работы какой-то растерянный. Стал

помогать маме картошку чистить, нож три раза уронил. Потом стакан кокнул. Сел на диван читать газету — держит ее вверх ногами. Никогда такого не бывало. Я удивлялся, мама поражалась. Все допытывалась: что случилось, что случилось?

Папа в ответ бубнил что-то невнятное, означавшее, должно быть, что все в порядке. Потом вскочил, обмотал шею шарфом два раза почему-то и велел нам с мамой срочно пойти погулять. Нет, с ним определенно что-то происходило.

Мы с мамой послушно одевались, в коридор вышел дедушка, спросил шутливо: «А меня не возьмете?» — и отец вдруг ответил резко: «Воздержимся!» Всегда говорил с дедом вежливо, а тут зло как-то сказал. Нехорошо. У дедушки даже брови домиком сделались от удивления. Но он ничего не сказал, ушел в комнату.

Мы вышли на улицу, мама опять принялась расспрашивать отца о его странном поведении, но папа ее рукой остановил.

— Удар! — воскликнул он. — Настоящий нокаут! Сегодня меня спрашивают: «Это не твой родственник кладовщиком работает? Упрямый старик! Рыбаков Антон Петрович». Представляете?

Я не понял отца, что это он такое рассказывает. Какой Рыбаков, какой кладовщик? Мама тоже удивилась. А отец рассердился:

— Как не понимаете! Дед наш кладовщиком устроился! Я его замдиректора по кадрам звал, а он в кладовщики!

Я засмеялся. Сказал отцу:

— Что-то ты сегодня все путаешь. Газету вверх ногами читал, теперь у тебя генерал кладовщиком служит.

А мама уже руками размахивала, за щеки хваталась, ко лбу снег прикладывала. Причитала одним тоном, как радиола, если посреди пластинки застрянет:

— Кошмар какой, кошмар какой, кошмар какой, кошмар какой...

Тут только до меня дошло. Дед работает кладовщиком! Генерал — кладовщик. Был генерал-лейтенант, стал генерал-кладовщик, ничего себе!

Я то смеялся, то всхлипывал. Нехорошо это у меня выходило, я даже сам понимал. Мама меня по плечам принялась гладить, папа по спине стучать, словно я поперхнулся, но ничего не выходило: я хихикал и всхлипывал.

Воскресник просто перед глазами плясал, обсуждения эти дурацкие: «Такие генералы не бывают!», «А маленький-то, маленький какой!» И физиономия Пухова с редкими зубами: «Я тебя выдвинул, я и задвину!» «Да задвинь, задвинь! — думал я как в лихорадке. — Жалко мне, что ли? — И тут же, без перерыва, деда укорял: — А ты почему, почему кладовщиком стал? Что я тебе плохого сделал?»

Папа ходил кругами вокруг мамы и меня, я хихикал и хлюпал носом, мама бормотала по-радиольному. Но все-таки первой пришла в себя она, коренная сибирячка.

— Хватит! — воскликнула она решительно и перестала гладить меня по плечам.

Я сразу успокоился. Папа остановился.

— Хватит, — повторила мама, — сейчас же идем домой и пресечем это безобразие! Вместо того, чтобы читать книги, смотреть спектакли и концерты по телевизору, он...

— Предлагаю, — прервал ее папа, — сделать это завтра и прямо, так сказать, на месте преступления. Чтобы были улики! Вещественные доказательства!

Утром дед убежал с авоськой. Мы немного подождали. Потом спустились вниз. Сели в мамин «газик».

...Дверь склада была распахнута, туда вереницей входили люди. Выходили обратно с ящиками гвоздей, с охалками новых лопат, с мотками проволоки. Мы переглянулись. Из склада слышался громкий голос деда.

— Не ур-рони! — кричал он грозно, будто артиллерией командовал. — Аккур-ратно!

— Подождем, — нервно сказал отец. — У него теперь самая работа, начало смены. Нельзя же дискредитировать!

Я спросил у мамы, что это такое — дискредитировать. Оказалось, подводить, срамить при народе, подрывать авторитет. А как же наш авторитет теперь, подумал я, как мой?

Хотя какой теперь у меня авторитет? Нету никакого авторитета. Я горестно усмехнулся: как избрал себя председателем, как от деда отказался, как с воскресника ушел... Вот и разговаривает со мной Газовый Баллон, как ему вздумается. Уж не до авторитета...

Вереница поредела, потом кончилась, мы двинулись к двери.

Я себе по всякому представлял эту сцену. Дед у стены стоит, чтобы отцу легче его позором пригвоздить было, мама обвиняет, я на деда с укоризной гляжу. Ну, на худой конец, от неожиданности растеряется, смутится, будет защищаться и волноваться. Но дед, увидев нас, рассмеялся.

Сидел, писал какую-то бумагу, потом оторвался от нее, взглянул на нас и засмеялся облегченно.

— Ну! — воскликнул он весело. — Слава богу! С плеч долой! Все думал, как вам объяснить, чтобы поняли, а объяснять не придется, вот хорошо.

— Придется! — начала обвинять дедушку мама. — Еще как придется!

— Не понимаю, — поднял руку дед. — Вы что, против товарищества? Я же Иннокентия Евлампиевича замещаю, понимаете,

он в больницу попал. Поправится, сразу вернусь. Буду пирожки печь, раскопал тут один рецептик.— Дед поднял толстую книгу, помахал над головой.— Сибирские старинные пироги с черемшой!

Пришел какой-то человек за гвоздями, дед надел очки, перестал обращать на нас внимание. Мама нервно потирала руки, готовилась произносить свою речь дальше, но, когда посетитель вышел, дед сказал:

— Следующую неделю — вторая смена, в ночь, имейте в виду.

Мама обессиленно уронила руки, отец чертыхнулся.

— Тебе отдыхать надо, а не работать. Можно подумать — кладовщика нечем заменить! — возмутился он.

— Ах, товарищ замглавного! — улыбнулся дед.— Не очень-то знаешь мелкие проблемы! Высоко паришь! Кладовщиков действительно не хватает, потому что молодежь сюда не идет, не интересно, а стариков нету. Не закрывать же склад!

Отец хмурился, мама сердилась, но оба молчали.

— Дедушка,— привел я последний аргумент,— но ты же генерал, стыдно! Ты же нас подводишь! Подумал?

Дед стал серьезным.

— Вот это — разговор! — сказал он медленно и вдруг рассердился: — Если вам стыдно, можете рядом не ходить!

Мама и папа сразу от наступления к обороне перешли, принялись что-то говорить, успокаивать деда, а он удивился:

— Да что вы за чистоплюи! Нет стыдной работы, разве не знаете?

Я ушел со склада, будто оплеванный. Мама и отец уехали на работу, а я пошел в школу.

На дороге никого не было, и я опять разревелся. Выходит, я чистоплюй, стыжусь деда и все такое... Я ревел, не мог успокоиться, и не обида, а правда душила меня: ведь все так и есть...

СБОР

Я словно барахтался в каком-то болоте: хотел выбраться из него, да ноги проваливались, скользили, дно уходило из-под ног, и я уже отчаялся, потерял веру, опустил руки... Меня тянуло вниз, и не было, не было никакого спасения...

Но жизнь полна противоречий. Так сказал отец. Он сказал это давно, и я, кажется, забыл эти слова, но вот мне стало совсем худо, и странные слова выплыли из памяти. Выплыли, и я даже вздрогнул от неожиданности.

Я запутался вконец, что там и говорить, мне было плохо и тошно от скользкой, противной лжи, в которой я барахтался, но вот мне стало еще хуже — а я словно прозрел и как бы сразу по-

правился после тяжелой болезни. Действительно, жизнь полна противоречий...

Весь день дедушкины слова жгли меня, будто раскаленное клеймо. Он говорил на складе во множественном числе: вы, вам. Но мне было ясно — говорил он это только мне. Значит, я стыжусь дедушку. Стыжусь того, что он кладовщик. Стыжусь его вида — в телогрейке, треухе, валенках, а не в генеральской шинели с золотым щитом. Я потерял совесть, проще говоря. Мне, оказывается, важен не дедушка, не человек, не его жизнь и характер, а его оболочка, вот. Блестящая оболочка с генеральскими погонями. Докатился, нечего сказать. А начал с того, что воспользовался его славой. Захотел быть командиром, как он. Подумал, что генеральское сияние и надо мной светится.

Жгла меня моя жизнь. И эти последние дедушкины слова, как клеймо. Чистоплюй. Мягко еще сказано.

На какой-то переменке, не помню, все переменки и все уроки спутались у меня, Газовый Баллон опять возник:

— Сегодня сбор!

И редкие зубы открыты в ухмылке. Думал, я снова голову опущу, как в тот раз. Но нет. Я Пухову в глаза посмотрел, кивнул спокойно: мол, задвигай, не возражаю. Давно задвинуть пора. И мне теперь от этой мысли легко. Верно сказал отец: жизнь полна противоречий.

После уроков в пионерской комнате весь наш класс. В Галином царстве нарядно, как на демонстрации. Знамя в углу стоит. Сбоку флажки всех отрядов в специальной стойке. Барабаны на полке замерли. Горны золотом горят. Стены плакатами увешаны. Посреди комнаты стол красной скатертью сияет. Хочется шепотом говорить. И на цыпочках ходить, как в музее.

Я вошел на цыпочках в Галин музей, присел на краешек стула, но Егоров пальцем меня поманил:

— Иди сюда, ты еще председатель.

И вот я сижу у красного стола, а Борис Егоров объявляет:

— На повестке дня: первое — мой уход в армию. Да, да, не шумите, уйду, буду присылать вам письма и прошу меня от вожатства не освобождать.

Последнюю фразу Борис говорит Гале, она кивает, опустив голову и краснея: настроение у нее унылое. Пионерский галстук на ней всегда бодро топорщился красными усами, а теперь даже он грустно повис.

— Ничего, — бодро говорит Борис, — не грусти... — потом спохватывается, добавляет: — ...те. Не грустите, будет у вас вожатый — солдат.

Ребята шумят, но, едва Борис руку поднимает, умолкают.

— Второй вопрос, — произносит он медленно, и мне кажется, в меня гвозди вбивают, — поведение председателя совета отряда.

Слово имеет,— Борис смотрит на Галю, и старшая вожатая уже поднимается...

Но я вскакиваю раньше ее и говорю:

— Слово имею я сам.

Галя удивленно глядит на меня, а я спокоен. Совершенно. Наверное, все во мне перегорело, как, например, перегорает зола в костре.

Я оглядываю наш класс, ребят, которые «по петушкам» руку жали, девчонок, которые улыбались, когда я хотел, я смотрю на тех, кого недавно клял последними словами, считая предателями, и чуточку улыбаюсь. Да какие же они предатели? Даже самый большой мой враг, Злой Демон Пухов, по кличке Газовый Баллон, не предатель и не враг. Враг я сам. Сам себе.

И я говорю:

— Все обвинения справедливые.

— Ты их сначала выслушай! — кричит Газовый Баллон, поднимаясь с места. — Берешь инициативу в свои руки? Опять обмануть хочешь?

Уши у него как две красные фары. «Чудак,— думаю я про него беззлобно,— чего волнуешься? Это мне волноваться надо». В пионерской комнате шумно, совсем не как в музее. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я сажусь. А Газовый Баллон загибает пальцы:

— С воскресника ушел — раз! Председатель называется. Нет, это — два. Раз — когда от собственного деда отказался. Три — своего деда за генерала выдавал. А у меня доказательства есть! — Он опять пальцы загибает. — Во-первых, он сам сказал, что простой пенсионер, а во-вторых... Во-вторых... — Пухов оглядывает комнату — флаги, горны, барабаны, — оглядывает победно всех ребят и торжественно заканчивает: — Во-вторых, я сам видел: он кладовщиком работает!

На публику это действует, народ бурлит и клокочет, кипит, словно вода в раскаленном чайнике. Кладовщик! А не генерал! Это надо же! Еще вчера меня бы это убило наповал. Теперь не убивает. Я поднимаюсь. Теперь надо мне говорить, оправдываться, и я повторяю дедушкины слова:

— А вы что, чистоплюи? Любая работа почетна, не знаете?

— Не воспитывай, — бушует Газовый Баллон. — Оправдайся, если можешь.

— Оправдываюсь, — говорю я и улыбаюсь, — только еще самое главное обвинение ты забыл. Я понимаю, слово ведь мне давал. Третье желание по «американке». Я тебя от него освобождаю. Вот. Главное, — говорю я, глядя на Галю и Егорова, — главное, что меня в председатели за «американку» выдвинули, понимаете? Вот что главное.

В пионерской комнате тихо.

— Как-то непонятно, — говорит, словно про себя, Алька. —

Его обвиняют, а он не оправдывается, а наоборот. Еще больше себя обвиняет.

— Откуда же у тебя генеральский мундир? — кричит вспотевший Пухов.

— Отец у меня в самодеятельности, понимаете? — отвечаю я. — Там по пьесе генерал есть. Вот он мундир и взял, дотункали? Реквизит называется.

Что тут началось! Дым столбом. Все орали. Перебивали друг друга. Газовый Баллон на стул вскочил. И тут я услышал Кешкин голос.

— Эх вы, публика! — крикнул он, произнося слово «публика» с презрением.

Все разом настороженно замолчали.

Кешка стоял у знамени, лицо его покрылось пятнами.

— Вы же его не из-за деда выбирали! — сказал он. — Сами тогда Гале доказывали! Так чего сейчас? Чего вам сейчас-то генерал потребовался?

Снова все заорали, и Гале пришлось колотить палочкой в барабан.

— Мы обсуждаем не дедушку! — воскликнула она. — Мы обсуждаем Рыбакова. Конкретно: его поведение на воскреснике.

— А дедушка у него генерал, — вдруг тихо сказал Кешка, и все притихли и обернулись к нему. — Мой дед с ним воевал. Мой дед сержант, но Антошкин дедушка не постеснялся на складе его заменить, когда мой заболел. Понятно вам, почему он кладовщик?

Все снова посмотрели на меня.

Лицо мое словно кипятком ошпарили. Меня бы должны снова ругать за то, что я тут про мундир плел, но ребята глядели на меня, как тогда, в самом начале. Хоть «по петушкам» прощайся. Но я сказал хрипло:

— Кончайте! Что вам мой дед дался! Я сам за себя отвечаю. И прошу меня из председателей снять. За позорное поведение. И за спекуляцию.

— Чем? — вякнул Пухов.

— Дедушкиной славой, осел!

Б Е Л К А

Я выскочил со сбора первым и забился на пыльную лестницу, ведущую к чердаку. Меня искали, звали, я слышал голоса Альки и Кешки, но молчал. Слезы застилали глаза, а я улыбался. Мне было хорошо, понимаете? Жизнь полна противоречий, сказал отец. Вот и у меня были противоречия: я плакал, улыбаясь, — мне было и хорошо и тяжело сразу.

Я сидел долго. Стало смеркаться. Наверное, закончилась смена на стройке.

Я выполз из убежища, оделся и поплелся домой. Все, что я сделал, было правильно и справедливо. Вот только что скажет дед, когда разузнает про мои дела? Эх, скажет, Антоха, опозорил меня... Разве перед ним теперь оправдаешься? Нет, давила меня моя жизнь. Пусть теперь прошлая, вроде даже исправленная. Кешка стал председателем — по справедливости, так и должно быть, а все же, все же что-то грызло меня...

Разве забудешь, что натворил? Разве отмоешь до чистого?..

Я тащился по улице и вдруг увидел толпу... Мальчишек десять, старшеклассники, а сбоку, в сторонке, стоял Газовый Баллон.

Мальчишки торопливо наклонялись к земле, лепили снежки и швыряли в стену нового дома: там, по шероховатой бетонной стене, карабкалась белка.

Мальчишки веселились, пуляли в стену снежками, а белка перебиралась смелыми короткими рывками все выше и выше, к самой крыше, цепляясь неизвестно за что. Тайга была рядом, белки забегали в поселок нередко, но по деревьям они легко удирали назад, а этой не повезло, она, наверное, перебегала по земле, когда ее заметили, метнулась к дому и теперь карабкалась по стене, беззащитная перед ударами снежков.

Снежные снаряды с глухим фырканием разрывались рядом с белкой, она вздрагивала всем маленьким телом, пушистый хвост прижимала к стене, как бы помогая себе даже им.

Десятеро против белки. Но эти десятеро были людьми. И у каждого на плечах была голова, а в груди сердце. Газовый Баллон стоял рядом. С интересом ждал, чем все кончится.

Кровь застучала у меня в висках.

— Вы! — крикнул я, дрожа от ненависти. — Вы, гады! Что делаете!

Газовый Баллон обернулся ко мне, глаза его хитро сощурились.

— А! Генерал! — закривлялся он. — Опять командуешь! — И захохотал: — Генерал без войска!

В другой раз я бы сошел с ума от этих слов, опять бы что-нибудь выкинул, может быть, а тут едва услышал.

— Прекратите! — заорал я, впившись взглядом в белку.

Возле нее теперь уже не снежки хлопали. Цокали мерзлые комья земли и камни. И тут белка упала вниз.

Она упала вниз, а я по-прежнему смотрел на стену дома. Там, на шероховатом бетоне, краснело пятнышко...

Я швырнул портфель, надвинул поглубже шапку и, разогнавшись, шарахнул головой в живот здоровому парню. Он охнул, свалился, а я таранил следующего, следующего. Мальчишки не

надолго опешили, потом я ощутил лицом колючий снег и стал задыхаться в сугробе. Меня лупили по спине, по голове, но я не чувствовал боли, а яростно вертелся, норовя вскочить и протаранить кого-нибудь еще.

Неожиданно удары стихли. Я отряхнулся. Старшекласников не было. Только Газовый Баллон стоял на своем старом месте.

Губы дрожали. Руки тряслись. Я обтер тающий снег с лица и увидел деда. Он тяжело дышал и глядел на меня хмуро.

— Я все видел, — сказал он, переводя дыхание, — ты молодец!

ЕСТЬ ЛИ ДЕМОН?

Молодец!

Я вздрогнул. Жизнь полна противоречий... Он сказал, что я молодец. А в самом-то деле, в самом деле?

Есть незаконные приемы, я знаю. Например, в боксе нельзя бить ниже пояса. Ударь туда, и человек скорчится, задохнется, это слабое место, туда не бьют, если ты честный человек.

Честный человек. А ведь я — нечестный, раз применил запрещенный прием, заставил Пухова выдвинуть меня в председатели за «американку», а потом пользовался дедушкиной славой. Как ему сказать? Не сказать нельзя. После этого, после белки, промолчать невозможно.

Дед идет рядом. Снег скрипит под валенками. Он хмурится. Молчит. Потом говорит удивленно:

— Откуда такая бесчеловечность?

Я опускаю голову. Он говорит не обо мне. Он имеет в виду мальчишек. Но получается так, что это про меня.

Бесчеловечность. Раз есть эта бесчеловечность, значит, есть и человечность.

А разве моя жизнь — человечность? Пусть теперь прошлая... К горлу подкатывает комок, но я его глотаю. Хватит слез, пора отвечать за свои дела. Я завить готов от бессильной обиды: мальчишки убили белку, убили бессмысленно и жестоко, потом они сунули в сугроб меня — десятеро против одного. Да, я готов завить от бессильной обиды. От несправедливости. И, может, больше всего от несправедливости своей. Собственной.

— Дед, — говорю я решительно.

Он замедляет шаги, оборачивается.

— Дед, — повторяю я и закусываю губы перед тем, как сказать главные слова.

Он слушает меня, сдвигает брови, молчит.

Я жду его слов. Не утешения, нет, его суда.

Но дед молчит. И молчание больно отдается во мне.

Я слышу скрип валенок. Сигналы далеких кранов. Крики ворон, пролетающих над головой.

Я ждал самого тяжкого. Я приготовил себя к упрекам: раз заслужил, умею отвечать. Но я не приготовил себя к этому. К самому страшному осуждению. К дедушкиному молчанию.

Вот он, взрослый дедушкин суд.

Нет никаких злых демонов. Ни в других, ни в тебе.

Есть только ты, твоя сила или твоя трусость.

Признаться в трусости и даже подлости — уже сила.

Хватило бы силы вынести эту тишину...

Часть пятая. ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК

СКЛАД

Прошло время, отодвинулись назад прожитые дни, и жизнь пошла дальше.

Отчего-то чаще бывает мне грустно теперь. Нравится посидеть молча, задумавшись.

Нравится быть одному, совсем одному, лежать в темноте с открытыми глазами, нравится идти в снегопад по пустынным, заснеженным улицам...

О прошлом я вспоминаю с горечью и сожалением, но спокойно. Прошрое миновало. Миновало — не значит исчезло, забылось, ушло. Забывать нельзя. Надо помнить всегда свои ошибки. Это нужно, чтобы правильней жить дальше.

После сбора опять в классе все переменялось. Нет, «по петушкам» со мной здороваться не подходили, но глядели на меня приветливо, разговаривали добродушно. Впрочем, может, это не после сбора класс изменился, а я сам после той истории с белкой. По-другому на людей смотрю, да и на себя тоже. Проще и сложнее сразу.

Газовый Баллон поглядывает на меня как-то странно, кажется, вопросительно, но молчит, ни о чем не спрашивает. На уроках я чувствую спиной Алькин взгляд. Когда оборачиваюсь, она смотрит задумчиво. Что она думает обо мне? Вообще-то интересно бы узнать, но я не подхожу и к Альке. Я один. Это нужно теперь мне, чтобы я был один. Я ходил каждый день в школу, сидел на уроках, отвечал, если вызывали учителя, но был один. Я сам как бы отодвинул класс в сторону.

Дед. Единственный человек, с кем я был рядом, это был дед.

Он так ничего и не сказал мне тогда. Не упрекнул ни единым словом. Просто промолчал.

И мы стали жить дальше. Дедушка по-прежнему работал

кладовщиком. Иннокентий Евлампиевич все еще болел, лежал в больнице, и я каждый день после школы шел на склад.

Среди пирамид из ящиков, рулонов, мотков стоит дедов стол, заваленный бумагами. С потолка свешивается голая лампочка на длинном шнуре. На полу апельсиновым цветом пышет спираль электропечки. В складе холодно, металлические трубы посеребрили, но возле стола, особенно под столом, тепло — электропечка жарит на совесть.

Дедушка опустил уши малахая, на руках у него старые шерстяные перчатки. Кончики пальцев у одной перчатки он отрезал, аккуратно подшил края, теперь сидит весь одетый, только пальцы на правой руке голые — это чтобы удобно ручку держать. Впрочем, автоматическая ручка лежит на краю стола, чернила в ней замерзают, шариковая тоже не пишет — паста окаменела от холода. Только карандаш не отказывает. Один он оказался морозоустойчивым.

Дедушка шуршит карандашом и глядит в синее окошко перед собой. Там, за окном — глыбистая, неровная земля. Земля — одно только слово, земли под снегом почти нет — диабаз.

Диабаз — скальная порода. Плотина нашей ГЭС будет лежать на диабазовых плечах берегов. Эту породу лопатой не возьмешь. Отец все мечтает:

— Вот бы добиться такого бетона, чтобы был как диабаз!

Отец и принес эту новость. Я ее услышал и забыл. А дед не забыл. Молчал, черкал бумагу карандашом, листал справочники, вычислял на логарифмической линейке.

Я спросил его, что он считает. Дед промолчал. Будто не слышал. Я не настаивал. Раз не отвечает, значит, не хочет.

Но спустя неделю дед зашептал перед сном.

— Понимаешь, — зашептал, — интереснейшая задача! Одним махом — всю площадку!

Я сперва не понял, о чем он говорит. Дед напомнил, что рассказывал отец. В Ленинграде делают для нашей станции турбины. Каждая турбина — двести с лишним тысяч киловатт, машина — будь здоров. Только рабочее колесо — шесть метров в диаметре. Такую турбину сделать — ого-го! — сколько труда надо. Потом перевезти — целый эшелон. Но и этого мало. Надо смонтировать. А чтобы смонтировать, нужна площадка. Целая площадь, а не площадка. Краны там разместить. Части турбины. А земля-то у нас — слово одно. Диабаз! Чтобы площадь выровнять, сколько нужно техники, сил, людей.

— Понимаешь, — шептал мне дед, — а я хочу разом!

— Как это разом? — не понял я.

— Одним взрывом! Только надо как следует рассчитать.

И вот он глядит в синее окно своего склада и, пока никого нет, считает, шуршит незамерзающим карандашом.

Ногам тепло, а изо рта у деда вырывается парок.

Он улыбается, мурлычет свою любимую песню, и я тихонько, совсем неслышно, про себя, пожалуй, подтягиваю ему:

Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой.

Дедушка думает о взрыве, а я о дедушке.

Но о нем думаю не только я. Однажды распахивается дверь и на пороге возникает Анна Робертовна. Давненько я ее не видал! В руках француженка держит узелок.

— Мон женераль! — говорит она, сияя улыбкой и развязывая узелок. — Гриша влюбился, понимаете! Такая милая девушка! И я просто счастлива, тьфу-тьфу, как бы не сглазить!

В узелке пуховый платок, в пуховом платке шерстяной берет, в берете маленький горшочек. Анна Робертовна открывает крышечку, и из горшочка вкусно пахнет гречневой кашей.

Я от угощения отказываюсь, а дедушка ест с аппетитом, щеки у него покраснелись. Анна Робертовна облакачивается на стол, складывает дряблое личико в ладони и бормочет, бормочет негромко: мечтает, как Гриша женится.

Я вспоминаю о французском и вздыхаю. Вот у Анны Робертовны внук сразу по-французски говорить станет, ясное дело. Только приедет домой из больницы, сразу закричит: «Бонжур, гран-маман!»

Или как там называется бабушка по-французски...

ШАБАШНИКИ

Дедушка поссорился с отцом.

Никогда не думал, что они поссориться могут. Причин нет. Но нашлась причина.

Это при мне было, я все своими глазами видел.

Так вот, зафырчал однажды грузовик под окнами склада. Вошли два человека. Пожилые, вежливые, на вид — одинаковые, словно братья. Пожали деду руку, которая в перчатке с голыми пальцами. Сняли шапки, хотя было холодно, и один вытаскивает из кармана что-то продолговатое, завернутое в газету.

Дедушка поглядел на сверток, удивился:

— Это что?

— Понимаешь, дед, — сказал один мужчина, — нужен цемент — мешочков пять, пиловочник, если имеешь, гвоздей ящик-другой, рулона три рубероида. Строимся. Кумекаешь?

— Кумекаю, — ответил дед, усмехаясь. — Кто тут не строится? Давайте накладную, у нас этого добра хватает.

Тогда один из двух одинаковых мужчин развернул сверток, поставил на стол бутылку с вином.

— Что это? — спросил дедушка, но на этот раз голос у него дрогнул.

— Накладная, — ответил, ухмыляясь, другой одинаковый человек.

— Ну-ну-ну-ну!.. — протянул дедушка и добавил, хлопнув себя по лбу: — Кумекаю!

— То-то же, — облегченно вздохнул один мужчина.

— Штопор есть? — спросил другой.

— Есть, — ответил задумчиво дед, встал с табурета, пошел к двери.

Мужчины переглянулись, не понимая, а дед распахнул дверь и произнес негромко:

— Выметайтесь!

— Да ты что, дед? — воскликнул один.

— Мы же еще и заплатим, — прибавил второй.

— Выметайтесь, или я вас передам куда следует, — повторил спокойно дед.

Мужчины напялили шапки, глаза у них забегали.

— Стройка не обеднеет, дед! — примирительно говорил один мужчина, а второй, чертыхаясь, прятал бутылку в карман. — Стройка же грандиозная! Великая стройка коммунизма, понимаешь? А нам надо пристрой сделать, сарайку, туда-сюда...

— Идите, — сказал дедушка таким тоном, что мужчины попятись к двери.

— Ну негде же взять, пойми, — продолжал человек. — Мы к тебе по-хорошему, а ты...

— А я по-плохому! — крикнул дед своим знаменитым голосом.

Лампочка над столом шевельнулась, мужчины исчезли за дверью. Фыркнул грузовик, все стихло.

Дед сел на свое место, потер лоб. Стал писать дальше. Я заметил: пальцы у него тряслись. Он бросил карандаш, поглядел на меня.

— Видал?

— Жулики? — спросил я.

— Похоже на то, — ответил он. — Хотят за счет государства руки погреть.

Мы помолчали, дедушка успокоился, стал писать снова.

И вдруг зафырчал грузовик.

— Дед! Дед! — закричали с улицы.

Я испугался. Зачем вернулись эти люди, что им нужно? Дедушка вышел на улицу, я стоял рядом с ним.

— Эх, дед! — крикнул мужчина из кабинки грузовика. — Зря упрявился! Вон там цемент лежит, целый штабель: бери,

не хочу. А гвоздей у плотников взяли, за ту же бутылку. Два ящика — гляди. — Он показал пальцем за спину, на кузов. Из кузова торчали какие-то доски, бревна, железные прутья.

— Воруете? — крикнул дед.

Мужчина помотал головой.

— Берем. Рады бы заплатить, да казна у нас богатая, не нуждается!

Грузовик натужно взвыл.

— Будь здоров, старый хрен! — обидно крикнул мужчина.

Дедушка стоял на пороге склада, сжав кулаки.

— Что же, — сказал он сам себе, — зря я тут сижу, выходит? Зря караулю?

А вечером они поссорились.

Папа сказал, узнав эту историю:

— Шабашники! Ничего особенного!

— Что-то ты слишком спокойно говоришь, — проговорил дед.

— Такова жизнь, — ответил отец. — Ничего не поделаешь, — и засмеялся. — Это как «В мире животных» по телевидению. Вокруг большой рыбы плавают множество мелких рыбешек. Питаются остатками пищи. Живут за счет большой.

— Ты соображаешь, — возмутился дедушка, — что говоришь?!

— Допустим! — сказал отец, начиная сердиться. — Допустим, ты прав! Но пойми! Мы строим электростанцию. Небывалую! Таких больше нет! Ты сам говорил — у нас армия! Идет наступление. Видел, сколько людей! Техники! Какой масштаб! Разве найдется столько глаз — уследить за ящиком гвоздей, рулоном рубероида, десятком бревен!

— Вон как! — воскликнул дед. — Да я смотрю, разговор-то у нас серьезный! Тогда ответь, слышь-ка, как решить такую задачу. В кармане у тебя сто рублей. Бумажными деньгами. И еще один — железный. А карман прохудился. И железный рубль выпал. Ты его поднимешь? Наклонишься?

— Если тороплюсь, — ответил отец, — если у меня времени нет — не наклонюсь.

— Так! — сказал дед. — А ты, Антон, как ответишь? Рубль для тебя много или мало?

— Много! — сказал я без сомнений. — Рубль — это одиннадцать пачек мороженого по девять копеек, да еще копейка останется.

— А ты, Ольга?

— Богато они живут, эти строители, вот что я скажу, — ответила мама. — Они же знают: сто рублей истратят, так им еще дадут!

— Вот-вот! — сказал дед серьезно. — Слышишь, товарищ зам!

— Ладно, — рассердился папа, — по-моему, не обо мне речь. И вообще. Это не мой участок!

Что тут с дедом сделалось!

— Зато мой! — гаркнул он. И на отца яростно посмотрел. Папа даже покраснел от такого взгляда.

Дед вышел из комнаты, хлопнув дверью.

— Что же ты так опростоволосился? — спросила мама отца.

— Ольга! — воскликнул он, покраснев еще больше. — Давай прекратим! Здесь дети!

— Дети! — проворчала мама. — О них и идет речь!

Папа вскочил с места. Заметался по комнате. Мне его жалко стало, и я сказал:

— Да ты не волнуйся! Действительно! Это же не твой участок!

Папа стал заикаться.

— Ты-ы! Ты-ы! Ты почему дразнишься! А?

Так что и я с папой поссорился, выходит.

СНЕГОВАЛ

А тут настали активированные дни. И не пятидесятиградусные морозы были причиной. Причиной был снегопад. Нет, это слово не подходит. Снеговал. Вот, снеговал.

Сначала просто валил снег.

Падают медленно, лохматыми хлопьями. Похоже, белые струны заштриховали поселок. Смутно темнеют туши гигантских слонов: это дома. Там, где стройка, перемигиваются чьи-то белые глаза: огни электросварки пробиваются сквозь снежную пелену.

Потом небо упало на поселок.

Тучи разглядеть невозможно — только поднимешь глаза кверху, в них летит снег, моргаешь и прячешь лицо от белой паутины. Но и не видя, чувствуешь, как висят тучи над самой головой, рядом, царапают крыши своими животами. Они живые словно. Тяжело дышат вверху, затаились, осыпая людей снегом, что-то там выжидают.

День стал похож на вечер. В школе учатся при включенном свете, машины идут с зажженными фарами, и все стало молчаливее, притихли, будто чего-то ждут.

Дождались.

С вечера гремел гром — это зимой-то! — и сверкала молния. Молнию сквозь снег увидеть невозможно — лишь изредка осветится серым светом небо за окном.

Потом вдруг стихло. Все вздохнули: «Наконец-то!»

Ночью мы проснулись от громкого голоса начальника стройки. Радио было включено, мы всегда оставляли его включенным, что-

бы не проспать, и начальник вдруг заговорил тревожным голосом:
«Товарищи! Внимание, внимание! Срочное сообщение!»

Я сразу проснулся, включил свет: часы показывали пять утра. Вбежали мама и отец, наспех одетые и взлохмаченные.

А начальник говорил прерывисто, расставляя восклицания после каждой фразы:

«Товарищи! Ночью на поселок обрушился небывалый снежный заряд! Мы связались с областным центром! На подмогу высланы войска и снегоочистительная техника! Создан оперативный штаб по борьбе со стихией! День объявляется активированным! Всех, кто обеспечит свою безопасность, просим принять участие в налаживании нормальной жизни! При передвижении советуем пользоваться лыжами! Просим соблюдать дисциплину и спокойствие!»

Он еще не кончил говорить, как мы бросились к окну.

Я прижался к стеклу и увидел фантастическую картину: дома словно провалились по колено, уменьшились на целый этаж. А одноэтажные домики почти совсем исчезли. Только торчали трубы, да гладкими холмами выступали крыши. Снег перестал, низко над домами, цепляя их лохматыми лапами, быстро летели грязные тучи, похожие на молчаливых птиц. Было темно, и во мраке казалось, что это и не снег вовсе, а какой-то серый кисель залил землю.

По радио заиграла веселая музыка, чтобы, видно, успокоить тех, кто слушал тревожное сообщение. И тут мама нервно вскричала:

— Ну! Вот! Достукались! Доигрались!

Я не понял, кто достукался и доигрался, но мама пристально, в упор разглядывала отца, и я догадался, что виноват папа. Только как? Почему?

— Ах! — говорила мама, бегая по комнате. — Проклинаю себя, что уступила! Надо было настоять! Настоять!

Папа хмурился, а я хлопал глазами.

— Где он? Что с ним? — крикнула мама и приказала: — Быстро! Одевайтесь! Надо спасти деда!

Мы засуетились. Я торопливо одевался и ругал себя последними словами — действительно, вот результат! Мы-то спали дома, а дедушка дежурил на своем складе, и неизвестно, что теперь с ним.

Мы собрались, вышли на площадку, закрыли дверь, спустились в подъезд — там толпился народ. Люди растерянно переглядывались. Отец хлопнул себя по лбу и зашагал назад.

— За мной! — крикнул он соседям.

Мы вернулись домой, оставив дверь открытой. В кухне мама оторвала с рам бумажные ленты, отец распахнул окно.

Наш второй этаж стал теперь первым. Снег лежал чуть ниже

подоконника. Папа взял лопату и шагнул из окна в снег. У-ух! У меня в животе что-то пискнуло, мама побледнела: отец провалился. Когда он появился, в его волосах блестел снег.

— Ничего страшного,— сказал он хладнокровно, будто всю жизнь только в окна и выходил.— Проходите, товарищи!

Мама подставила к подоконнику табуретку для удобства, соседи входили в квартиру, вежливо здоровались, словно заглянули в гости, потом направлялись на кухню и выпрыгивали в окно.

ДЕДУШКИНЫ СТИХИ

Дедушкин склад едва выступал из-под снега. На крыше вырос забавный гриб-сморчок на тонкой ножке: круглая железная труба с колпаком обросла снегом. Папа посадил меня на крышу, и я пробрался к грибу, закричал в нее, словно домовой:

— Эго-го!

— Го-го! — откликнулся тотчас дедушка.

— Ты живой? — заорал я в трубу.

Дедушкин голос было слышно нечетко.

— Пусть в печку кричит! — посоветовала коренная сибирячка.

Дедушка, видно, отворил дверцу «буржуйки» и заговорил, словно по микрофону, гулким, железным басом.

— Слышь-ка,— спросил он меня,— сильно занесло?

— Порядочно! — отвечал я.

Внизу мама и папа ожесточенно жестикулировали. Наконец папа сдался и стал подсаживать на крышу маму. Она срывалась, падала в сугроб, но снова упорно карабкалась и, пока я переговаривался с дедом, подбодряя его, добралась до трубы.

— Подожди,— сказал я деду,— сейчас тут с тобой поговорят. Как следует.

Мама смахнула с черной трубы снеговую шапку, взялась за нее обеими руками, словно за рупор, набрала побольше воздуха в легкие, и лицо ее на секундочку замерло от напряжения. Приготовилась сказать, а что сказать, не придумала. Мама расслабилась, с шумом выдохнула воздух и неожиданно закричала.

— Папа! — закричала она.— Как же так? Это безобразие! Я не позволю! Я не допущу, в конце концов!

Неожиданно мамино лицо потеряло уверенность, она обхватила трубу, и в глазах ее задрожали слезы.

— Замерз ведь, поди-и,— по-сибирски пропела она и всхлипнула.

Труба в ответ всхлипнула тоже.

— Олюшка,— сказала труба дедушкиным голосом.— Олюшка, голубушка, кто же знал, что такой завал.

Я хохотнул: дед перешел на стихи. Мама промокнула глаза, посморкалась, объявила деду, чтобы он терпел, и мы принялись копать.

Чтобы добраться до двери, приходилось очищать порядочную площадку. Мы быстро взмокли, мама покраснелась, а отец, посмеиваясь, приговаривал:

Олюшка!
Голубушка!
Кто же знал!
Что такой завал!

Мы с отцом фыркали, мама махала на нас рукой, мы весело разметывали снег, и тут я почувствовал, что за спиной у меня кто-то есть.

Я обернулся.

В рассветных сумерках виднелась знакомая фигура. Я оставил лопату. Фигура нерешительно приблизилась.

Газовый Баллон громко сопел, но молчал.

— Ну? — спросил я, удивляясь про себя. Чего это его принесло? Что-нибудь случилось?

— Это, — произнес Кирилл, — как его...

Я пожал плечами.

— Можно, я помогу? — проговорил он наконец.

Везде Кирилл, всюду этот Газовый Баллон. Вот опять суется... Я хотел прогнать его, но мне стало стыдно. Это ведь когда я генералом был, такие мысли ко мне приходили... Нуф-Нуфом Кирилла переименовать, всеми командовать...

— Пожалуйста, — сказал я, — разве жалко... Копай.

С грустью смотрел я, как Кирилл радостно схватился за мою лопату, начал разметывать снег... Мне его жалко стало, но не так, как тогда... Когда я на балконе в генеральской форме появился. Мне почему-то жалко его стало по-настоящему, обыкновенно, без всякого там злорадства или радости...

Мы молча копали. Иногда останавливались, чтоб перевести дыхание. Но молчали. Потом копали снова. Вдруг Кирилл выпрямился.

— Я тогда дурак был, — сказал он без всяких предисловий.

Шапка съехала мне на глаза. Я сдвинул ее назад. Кирилл глядел на меня задумчиво и спокойно. Он и на Кирилла-то, кажется, не походил. Совсем другой. Я мотнул головой.

— Дураком был я.

Он вздохнул. Согласился:

— И ты тоже.

Мы постояли, не улыбаясь, стали копать дальше. И какая-то

сила во мне появилась вдруг. Я махал и махал лопатой, и непонятная радость меня распирала. Я повторял про себя дедушкины стихи и крутил головой: ну, Пушкин!

Олюшка!
Голубушка!
Кто же знал!
Что такой завал!

К П

Мы с Кириллом копали снег, и вдруг я увидел, что нас не четверо, а пятеро. Я протер глаза. Мама и папа копали в сторонке, мы с Кириллом были чуть поодаль, а теперь неподалеку маячила еще одна фигура.

— Эй, кто там? — крикнул я.

— Кто, кто! — ответил неизвестный Кешкиным голосом. — Я!

Я прислонился к снежной стене, и горло у меня перехватило. Вот как! А я думал, а я считал... Неправильно, значит, считал, не так думал.

Я вонзил свою лопату в снег, и сил у меня будто втрое прибавилось. И какая-то радость меня с краями переполняла, и глупая песня без слов с губ срывалась: «Турум-бурум-ба-а! Турум-бурум-ба-а!» Лопаты мелькали, как пропеллеры, я поглядывал на Кешку и Кирилла, и жизнь мне очень и очень нравилась.

Папа и мама, увидев Кешку, остановились, стали между собой переговариваться. Я их понял.

— Конечно! — сказал я. — Вы идите, вас ведь ждут, вы нужны везде, деда мы сами потихонечку откопаем.

Папа и мама ушли.

Дверь откопали, когда уже совсем рассвело, дедушка протиснулся в узкую щель, огляделся, зажмурился и вдруг аппетитно зевнул. Кирилл во весь голос затрубил туш, я засмеялся, а Кешка объявил:

— Спасение зимовщиков с дрейфующей льдины!

Дедушка блаженно улыбнулся, потом вдруг разом построжал и гаркнул своим знаменитым командирским голосом:

— Благодарю за спасение!

Кешка прижал руки по швам и бойко отрапортовал:

— Служим Советскому Союзу, товарищ генерал-лейтенант!

Генерал-лейтенант стоял перед Кешкой в растоптанных

валенках, в ватнике и ушанке. Одна рука была в обычной перчатке, а из второй торчали голые кончики пальцев.

Дед приложил к ушанке перчатку с голыми пальцами — приложил умело: резко и четко — и протяжно скомандовал: — В-вольно-о!

Кешка согнул коленку одной ноги, стал вольно, и мы все рассмеялись, радуясь спасению моего генерала.

А потом... Потом мы пошли к нам и все ждали, пока дед переоденется.

Я даже думать об этом перестал. Ведь с этой же моей прихоти начались все несчастья. Я хотел обязательно рядом с дедом идти. Чтобы он в форме, с орденами и погонами. И на мне как бы отражается свет его славы. Вот чего когда-то хотелось.

И вот мы пробираемся среди сугробов, а встречные люди оборачиваются на деда, переговариваются громко:

— Смотрите, даже генерал приехал.

— Подмога пришла!

— Ну, теперь не пропадем!

Дед хмурится, а я улыбаюсь: понятно, почему он именно сегодня шинель надел. Для этого вот. Чтобы люди оборачивались. Чтобы думали: раз генерал, значит, армия на выручку пришла, все в порядке. От дедовой шинели сегодня польза — она людей успокаивает. И я улыбаюсь, и ругаю себя за прежние свои глупости и страдания, и думаю, какой дедушка молодец: надел свою шинель в самый нужный час, надел не для похвальбы, а для дела, и вот наконец я иду с ним и горжусь, и Кешка и Кирилл тоже гордятся моим дедом. Настал долгожданный момент. Только он в тысячу раз лучше, чем я когда-то придумывал. В миллион.

Мы идем к управлению, там штаб. Туда люди движутся, чтобы организованно, всем вместе, поселок расчистить.

Когда мы с дедушкой вошли в кабинет к начальнику стройки, народу там было невпроворот. Но все сразу раздвинулись, пропуская нас. Притихли.

Начальник стройки шагнул к деду, молча пожал ему руку.

— Догадываюсь, кто к нам прибыл, — сказал он и поглядел в угол. Там, у телефонов, стоял отец. — Очень кстати, Антон Петрович!

— Что ж, поручайте! — ответил дедушка строго и показал на нас: — Вот у меня и помощники есть.

Начальник стройки пожал и нам руки.

— Пионерам мы работу найдем, а вас, Антон Петрович, приглашаю быть моим заместителем. По-фронтовому — начальником штаба! — И обратился к людям, сидевшим в кабинете: — Прошу

любить и жаловать! Генерал-лейтенант Рыбаков. Сообщения о ходе работ передавать ему, в этот кабинет,— он координирует наши усилия.

Народ стал расходиться, уехал куда-то и начальник стройки. Отец объяснял что-то деду, водя пальцем по карте.

Получили задание и мы: откапывать клуб. Начальник стройки приказал — вечером должно быть кино.

Мы работали три дня.

Взрослые три дня и три ночи.

Я спал один. Ненадолго появлялась мама. Ложилась на часок отдохнуть. Потом вскакивала и убегала опять. Перед уходом варила кофе.

Кофе я носил деду. После клуба нашу школу «бросили на питание». Все столовые работали круглые сутки, а мы разносили еду в специальных бидонах. И чай носили. И кофе. Но мамин кофе был особенным — его любил дед. И вечером я относил ему термос.

Дед дежурил в кабинете начальника стройки. На диване лежала его шинель. Когда я приходил с термосом, он выпивал чашечку кофе. Угощал других, если кто-нибудь был еще на КП. Дед говорил по телефону: «Сведения передайте на КП», «Приезжайте на КП», «КП распорядится», «КП отвечает».

— Видишь, какой у меня КП,— сказал он мне.— Благоустроенный. С диваном. Можно поспать.

КП — командный пункт. Я спросил деда, какие у него были КП там, на войне?

— Блиндажи,— сказал он.— Такое помещение в земле. Сверху покрыто бревнами. Землянки. От слова земля, понимаешь? Наконец, обыкновенные дома. Замаскированные, конечно. Специальной такой сетью, к которой листья привязаны. Не настоящие, а из материи. Или палатка. Но не маленькая, где только спят, а особая, большая, чтобы можно совещание собрать.

Он помолчал, подумал. Потом сказал:

— Ну вот. А это, наверное, мой последний КП... Понимаешь-ка...

Дед замолчал. Плечи его опустились. Под глазами прорезались темные круги. Он расстегнул пуговицу на мундире, положил на сердце руку.

— Лекарство принести? — спросил я.

Он покачал головой. Дверь открылась. Дед стремительно пуговицу застегнул. Лицо его изменилось мгновенно. Стало бодрым, веселым, усмешливым. Я улыбнулся: не хочет признаться, что устал.

И опять дед командовал. Посылал людей к новым объектам. Распоряжался самосвалами. Отчитывался перед начальником стройки. Дед командовал сражением, кричал в телефон, и я, раз-

нося днем обеда, видел, как отступает, как отходит враг. Как все ближе и ближе победа.

Выстроившись ступенькой, один за другим, двигались по улице роторные снегоочистители. Они шли медленно, грозно рыча моторами, и далеко в сторону отлетали струи снежной пыли, похожие на фонтаны. Я представлял — это идут танки, упорно сокрушая врага.

Вечером я разглядывал дедушкину карту. Она покрылась непонятными знаками. Кружками, крестиками, пунктирами. Все больше на ней становилось красных отметок. Я знал, что это расчищенные улицы. Освобожденные из-под снега дома.

В третью ночь мы засиделись допоздна. Дед велел мне лечь на диван. Укрыл шинелью. Я уснул.

Проснулся словно от толчка. От какого-то предчувствия.

Дедушка сидел напротив, облокотившись о спинку стула. И смотрел на меня. Щеки его ввалились. И глаза были печальные.

— Ты что? — тревожно спросил я.

— Вот смотрю на тебя, — ответил дедушка.

— Я думал, что-нибудь случилось, — сказал я. — Мне показалось...

Я сел на диван. Накинул шинель на плечи. Прислонился к спинке.

Я посмотрел на деда, и отчего-то мне снова стало смертельно жалко его. Как тогда, в самом начале, когда он шел по улице и молочные бутылки постукивали в его авоське. Мне захотелось обнять его. Прижаться к нему покрепче. Сказать самые хорошие слова, какие только бывают на свете.

Но я улыбнулся.

Я не обнял его и не сказал самых хороших слов, а только улыбнулся и спросил:

— Помнишь, ты обещал рассказать мне свою военную тайну?

Он качнул головой.

— Не сейчас. Но расскажу. Кажется, совсем скоро.

Я запомнил эти его слова. Они пронзили меня почему-то. Но я улыбнулся снова, кивнул и спросил:

— О чем ты думаешь?

— О тебе, — сказал дедушка серьезно. Глаза у него были все такие же грустные. — О тебе, — повторил он снова. Добавил: — И обо мне.

— Я тоже часто думаю о нас с тобой, — сказал я. — О тебе и обо мне. Я думаю, как трудно быть тобой. Не генералом, нет, не подумай. А тобой. Вот тобой, понимаешь?

Он прикрыл глаза, усмехаясь, потом произнес:

— Очень жалею, что мы с тобой жили так мало вместе. Не могу себе простить. Но видишь, как получилось? Я служил, а у

папы своя работа. И я очень жалею. Есть вещи поважнее службы, работы, долга. Есть вещи, которые превыше всего.

Я его не очень понимал. Я смотрел на деда широко раскрытыми глазами. Он будто бы слышал меня. Сказал:

— Ничего. Подрастешь — поймешь. Только запомни навсегда: у человека должно быть продолжение. Это высшее счастье.

Я его понял. Я знал, что такое продолжение.

— Как у березы? — спросил я. — Или у ели. Пихты. Кедрача. Семечки разносит ветер, и из земли всходят новые березы. А потом опять, опять.

— Нет! — сказал дед. — Нет, нет и нет! У людей должно быть по-другому. У людей — новые люди должны быть лучше и лучше. Не такими же, нет. Только лучше! Всегда лучше! Запомни это!

Я отвел глаза в сторону.

— Прости, — сказал я негромко.

— Я тебе верю, — сказал дед, — помни это.

В комнате стало тихо. Только где-то тикали часы.

— Скоро каникулы, — сказал дедушка негромко. — Давай проведем их вместе. Иннокентий Евлампиевич выходит из больницы.

— Давай! — воскликнул я, и мне представилась тайга, и мы идем с дедом на лыжах, а за спиной у нас ружья, или едем на автобусе в большой город, или сидим в кино, тесно прижавшись друг к другу.

А вышло по-другому. Вышло еще замечательней...

СПЯЩИЙ ПОСЕЛОК

Начало светать. Дед тревожно ходил по кабинету. Потом стал звонить. Телефоны не отвечали.

— Что-то случилось, — сказал он. — Слышишь, и моторы не работают.

Правда, на улице стало тихо. Всю ночь носились самосвалы, тарахтели вдали снегоочистители, и вдруг все стихло.

— В чем дело? — возмутился дед и стал надевать шинель, чтобы выйти.

Но тут дверь распахнулась.

На пороге стояли отец и начальник стройки. Краснощекие и веселые, будто и не было трех тяжелых дней, трех бессонных ночей.

— Ну все! — сказал начальник стройки. — Поздравляю, Антон Петрович!

Дед сел в кресло, вставил сигарету в мундштук.

— Совсем спятил,— сказал он,— ведь карта перед глазами, знаю прекрасно, что заканчиваем, а испугался, когда стихло.

Он посмотрел на отца, на начальника стройки, на меня. Сказал негромко:

— Как тогда...

Папа и начальник стройки сидели на диване рядом со мной и улыбались.

— Знаете,— сказал дедушка,— есть такое чувство: страх тишины. Когда мы под Берлином стояли, бои очень сильные шли. Сколько ребят полегло... И вдруг — тишина. Я волнуюсь — в чем дело, почему тихо? Приказываю укрепить оборону. Выдвинуть усиленные посты. И вдруг — звонок. Оказывается, все. Капитуляция. Война кончилась. А ведь тоже знал, что победа. Знал, уверен был, часы считал. А тишины испугался. С непривычки.

Начальник стройки встал. Подошел к деду. Взял обеими руками его руку. Крепко сжал. Сказал:

— Спасибо сердечное, Антон Петрович!

— Вот уж не за что! — ответил дед.— Ну, а если погоны мои помогли, военный авторитет, за это спасибо не мне говорите. Армии.

Вышли мы втроем на улицу: дедушка, отец и я.

Отправились домой.

Поселок умер словно. Стоят на дороге самосвалы. Шоферы в них спят. Бульдозеры стоят. Тяжелая артиллерия — роторные снегоочистители. Солнце поднимается, а поселок спит. Устал. Три дня и три ночи работал. А теперь спит.

Мы идем по улице, и нам навстречу выбегает почтальонша. Веселая, румяная. И две толстенные сумки у нее впереди.

— Милая! — крикнул весело дед.— Тебе же тяжело, давай поможем!

— Что вы, товарищ генерал! — крикнула почтальонша.— Я привычная, товарищ генерал! Это просто почта за три дня, товарищ генерал!

— Ну вот,— сказал отец,— и почта заработала. Значит, все в порядке.

Мы кивнули почтальонше, вдохнули побольше свежего воздуха и зашагали вперед, взявшись за руки. Трое: дедушка, папа и я.

А дома, когда пришли, увидели такую картину. Мама спит одетая. Даже в валенках. Только телогрейку успела снять.

Мы поглядели на нее и тихонько засмеялись, чтобы не разбудить.

А потом разделись и уснули сами.

ТЕЛЕГРАММЩИК

Я потом часто думал — вот странно устроено. Если тебе хорошо было, так и жди, скоро станет грустно. Или не повезет, и настроение сразу испортится. Или кто-нибудь скажет обидное.

Не успели мы выспаться, как пришел тот человек. Телеграммщик.

— Рыбаков здесь живет? — спросил он, стоя в дверях и покачиваясь.

От телеграммщика пахло вином, он был небритый, с черной щетиной до самых глаз. Шапка куда-то на затылок съехала. Того и гляди, свалится.

Дед на него посмотрел, весь передернулся. Молча расписался, протянул руку за телеграммой.

— Э-э, нет! — засмеялся телеграммщик. Пощелкал пальцами. — За доставочку! А то голова болит. Три дня все-таки под снегом сидел. Один на один с ней, родимой.

Дедушка взял у мамы двадцать копеек. Отдал дядьке. Тот телеграмму протянул. Но уходить не собирался.

— Слышь! — сказал он деду. — Тут говорят, генерал какой-то нас откопал!

— Говорят! — ответил дед. — Ну, до свидания!

Пьяный рукой махнул.

— Чтоб ему неладно было! — воскликнул. — Лучше бы не откапывал! Как хорошо! На работу идти не надо! Телеграммы эти проклятые никто не шлет!

— Ты что, — спросил дед, — три дня с бутылкой в обнимку?

— Ага! — радостно крикнул телеграммщик. — А генералов этих не звал никто. Подумаешь, генерал! Да я сам, может, майор! Может, и я бы сейчас до генерала дослужился.

Из кухни мама вышла, велела мне в комнату идти. Я не хотел. Боялся деда оставить. Вдруг этот пьяный тут разбушует? Но дедушка мне кивнул. Сказал:

— Иди, Антошка! Не гляди на этого майора. Мне и то страшно на него смотреть!

Я ушел. Но из комнаты ведь все слышно.

— Не пужайся! — сказал телеграммщик. — Чего такой пужливый? Небось на войне не был? Небось в тылу отсиделся!

Я думал, после этих слов дедушка на него закричит. Выгонит из прихожей. Но он промолчал. А пьяный болтал.

— Зря отсиделся! — говорил он. — На войне — хорошо! На войне я человек был, понимаешь? Все под козырек берут! Что прикажешь, то и сделают! Если ошибся — никто не осудит. Не смеют. Вперед — и все!

Дед молчал.

— Нет,— крикнул телеграммщик,— ты не понимаешь! Война лучше! Вот бы сейчас войну! Я бы снова человеком был!

— Как у тебя язык поворачивается,— сказал дед,— такое говорить? Даже если пьяный.

— Ты чо, ты чо! — забормотал телеграммщик.— Думаешь, я Черчилль какой? Войны хочу?

— Давай-ка отсюда, герой! — насмешливо сказал дед.— А то вон внук мой тебя слушает! Подумает еще, что ты действительно майор!

— Майор! — закричал пьяный.

— Если и был майор, так забудь про это. И никому не рассказывай. Армию не позорь. Своё прошлое.

— Ты кто такой? — заорал телеграммщик.— Кто такой — меня учить! Подполковник? Полковник? Генерал, может быть? Ха-ха-ха! Генерал! Плевал я на всех генералов!

— Просто человек,— ответил дед.— Разве этого мало?

Телеграммщик, ругаясь, ушел. В прихожей послышался мамин голос:

— Надо было вызвать милицию.

— Разве поможет? — ответил дед. Голос у него был усталый, тяжелый.— Разве поможет милиция, если человек честь потерял?

Дедушка весь вечер ходил молчаливый. Когда его спрашивали что-нибудь, отвечал невпопад. Перед самым сном руку в карман сунул, вытащил бумажку.

Телеграмма! Забыли все про нее.

— «Дорогой Антон,— прочитал дед,— двадцать восьмого марта мне стукнет семьдесят тчк Непременно прилетай тчк Иванов».

Дед забегал по комнате. Оживился.

— Еду! — крикнул он маме и отцу.— Еду! — крикнул мне.

У меня чуть слезы не выступили. Ведь мы договорились на лыжах покататься в каникулы. В кино вместе походить. Да и вообще мы договаривались весенние каникулы вместе провести. А он уезжает! Уезжает! И про меня забыл!

Дед подошел ко мне. Взял за подбородок. Заглянул в глаза.

— Ольга! Сергей! — сказал он.— А мы ведь вместе с Антошкой поедem.

И тут примчалась Анна Робертовна.

— Мон женераль! — крикнула деду с порога, нас даже не заметив.— Дождалась! Наконец-то! Гриша женится! Буду своих внуков нянчить!

Дедушка засмеялся. Спросил:

— Как же мы теперь управимся? Три коляски чужих да еще своя прибавится.

— Мон женераль! — воскликнула Анна Робертовна, смешно

прищулив глаза. Будто земляничное варенье попробовала. — Прицепим друг к другу. Будет целый поезд.

Мы все покатались, представив себе поезд из четырех колясок. И Анна Робертовна вместо паровоза!

ЕГО РОДИНА

Мы путешествуем!

Мы меняем самолеты. Сначала летим на большом «Ту». Потом на небольшом «Иле». Затем на маленьком «Яке». И еще на «Ане». Совсем крохотном. В нем сидят человек двенадцать. И стенки дребезжат.

Мы летим сначала на его родину. Ведь он же вятский. Это где-то от нас далеко. За Уралом. Почти у Москвы.

Дед сказал, когда мы составляли с ним маршрут:

— Надо заехать на родину. Поклониться отцу-матери. Вдруг не придется?

Я эти слова мимо ушей пропустил. Стал его про Москву спрашивать. Про Харьков, где генерал Иванов живет...

И вот «Ан» садится уже. На снежное поле. Мы идем в Дом колхозника. Машины в деревню, где родился дед, не ходят. Добраться можно только на лошади. Вернее, на санях. Нам объясняют, что утром пойдет почта. И с ней захватят нас. Вместо ценных бандеролей, наверное.

Мы устраиваемся в тесной комнатке с маленьким окном. Подоконник широкий, пожалуй, с метр. Дед говорит, тут когда-то был монастырь. И это — келья, комната, где монахи жили. Мне забавно, мы тоже, значит, монахи.

Нам говорят, что свет только до двенадцати. Что движок потом выключается. Не понимаю, какой движок? И почему электричество нельзя включить ночью? И почему лампочка светит неровно — то тускло, глазам больно, то ярко.

— Электричество здесь от двигателя идет, — объясняет дед. — А механику тоже спать надо. Вот построят вашу станцию, и свет сюда придет. Будет постоянный. Сибирский.

— Как? — удивляюсь я. — Наше электричество — так далеко пойдет?

— Конечно! — объясняет дед. — Сибирская электроэнергия и сюда пойдет, и в Москву, и даже в Европу.

Вот чудеса! А я и не знал!

Мы гуляем по городку. Как все странно здесь! Как не похоже на наш поселок!

Острозубые заборы, а у нас ни одного забора нет. Старинные приземистые дома — дед говорит, купческие. А у нас ни одного старинного дома. Только старые есть, деревянные. Зброшенная

колокольня, и над ней воронье кружит — черная орущая туча, даже жутко. У нас столько ворон не бывает. На улицах тихо, кашлянешь — слышно. А у нас в это время смех, музыка, народ гуляет...

Утром нас будят. Мы выходим на улицу, садимся в сани. Возница чмокает, лошадь нехотя трусит под горку.

Когда рассветает, я вижу, что лошадыю правит мальчишка. Класа так из шестого. Я разглядываю его с интересом. А он оборачивается на деда.

— Сам-то из каких? — спрашивает дед. — Рыбаковский?

— Рыбаковский! — басом отвечает парнишка. Лицо у него в веснушках. — А вы на побывку, товарищ генерал?

— На побывку, — усмехается дед.

Парень громко чмокает, прикрикивает басом:

— Н-н-о-о!

Вот интересно: голос у мальчишки обыкновенный, а лошадь понукает басом.

Лошадь бежит быстрее, скрипит свежий снег под санями. Я люблюсь березовой рощей, круглой, посеребренной инеем. Дома у нас так березы не растут. Там они по отдельности. А здесь целая роща. Красиво.

Дорога то вверх поднималась, то бежала вниз, и мне показалось, мы едем по волнистому морю. Я уснул.

Когда проснулся, сани стояли возле дома с почтовым ящиком, лошадь была привязана к столбу и громко хрупала, наклоняя голову к охапке сена.

Послышались голоса.

Из дома вышел дед, его провожала женщина в пуховом платке.

— Милости просим потом на обед, — сказала она. — Мы вас помним. И родителей ваших помним.

— Спасибо! — сказал дед, кивнул мне, и мы пошли куда-то за деревню по глубокой тропке.

Тропка привела к кладбищу. Над нами неподвижно стояли заиндевелые сосны.

Солнце освещало их кору, и деревья казались золотыми.

Дед остановился возле двух крестов. Смахнул с них снег. Снял папаху...

Я скажу честно, о чем подумал тогда. Я подумал не о тех, кто лежал под крестами. Я ведь их не знал. И представить их я тоже не мог: прадедушка, прабабушка. Что-то уж очень далеко. Какая-то древность. Если бы я видел их, может, что-нибудь и шевельнулось во мне. Но я не видел их, не знал, даже не представлял. Ведь это были родители моего дедушки. И я просто сделал задумчивое выражение.

А дед стоял, сняв папаху, склонив голову. И я понял — он за-

был про меня. И про папу забыл, своего сына. И про маму. Про нашу стройку. Про эту деревню. Все-все забыл, всю жизнь, которая сейчас. Он смотрит на снег, на покосившийся крест, а видит не это, совсем не это, а что-то другое. Что только он знает и помнит.

Никогда дедушка не был таким. И тут я подумал: а вдруг он умрет? Вдруг его не будет тоже, как этих двоих — старичка и старушки, матери и отца моего дедушки? Мне стало страшно. Жутко. Как это — дедушки нет? Совсем нет! Навсегда!

Я наклонился, схватил кусок снега, сунул его в рот. Во рту стало холодно, заломило зубы. Я снова увидел сосны, их золотую кору, хвою, как бы покрашенную белилами. Кресты. Дедушку.

Я посмотрел на дедушку и поразился. Он плакал. Но не так, как плакал я. Лицо его было спокойно. Даже безмятежно.

А по щеке скатывалась слезинка.

ПЕСНЯ

Мы шли потом прямо по сугробам, и дед рассказывал мне, показывая на замерзшую речку:

— Здесь я пескарей ловил! Жалко, что сейчас не лето! А вон в том бору грибов было — пропасть.

Потом мы возвращались в деревню, и дед показал, где была раньше церковь.

— И ты молился? — спрашивал я.

— Конечно, — улыбался дед, — по закону божьему пятерка была. Только она называлась — «весьма успешно».

Лошадь у почты все хрупала сеном. Мы зашли на почту. Пахло сургучом и свежим хлебом. Женщина в платке поднялась нам навстречу. Поклонилась.

— Милости просим погостевать, — сказала она.

— Нам пора! — ответил дед.

— Так не по-христиански, — сказала она, — уедете завтра. А сейчас надо отобедать.

Речь у женщины была плавной, а сама она степенной, спокойной.

Мы вышли с почты, пересекли улицу, вошли в дом.

Дом был необычный. Двор — под крышей. Стены из бревен, каждое в обхват. В темной глубине двора протяжно промычала корова.

В комнате, за столом, сидели старухи и старики. Угол был увешан иконами. Они тускло мерцали в полумраке.

Когда дед перешагнул порог, старики и старухи встали. Неторопливо и плавно поклонились. Дед снял папаху и в ответ по-

клонился им тоже. Я растерялся. Не знал, что мне делать. Кивнул. Сказал:

— Здравствуйте!

Мы сели за стол, уставленный едой. Все молчали, только хозяйка приговаривала, угощая нас:

— Груздочков отведайте! Брусницы! Варенушки!

Это значит — груздей, брусники, вареного молока. Слова хозяйка выговаривала кругло, не спеша, и от этого они казались ласковыми, добрыми.

Дед поднялся с рюмкой в руке. Оглядел стариков и старух, всмотрелся в их морщинистые лица, поклонился опять.

— Спасибо вам, люди добрые, — сказал он, — за тепло да сердечность. Мама моя и папаша померли давно. Когда пятилетки наши только начинались. Я в армии служил. Только на могилку сумел тогда съездить. А теперь вот и у самого жизнь на закате...

Он помолчал, выпил вино. Выпили и остальные.

— Прошу вас только об одном, — сказал дед. — Если, конечно, помните. Спойте. Помню с детства — петь у нас в деревне умели. А у мамы — любимая была про солдата. Дайте послушать в последний раз.

Запели старухи неожиданно, как-то враз, и получилось у них так ладно и хорошо, что сердце у меня приподнялось будто.

Выезжает молодец
На добром коне.
Спадает у молодца
Перчаточка с рук...
Выкатились у молодца
Поводечки из рук...

Песня грустная была, протяжная. Старухи даже и не пели будто, а рассказывали. Грустную историю рассказывали дедушке и мне, и я заслушался.

Видно, мне, доброму молодцу,
Бессчастному быть!
Бессчастному быть:
В солдаты идтить,
А моей молодой жене
Солдаткою быть...

Высылают меня, молодца,
В дальние города;
В дальние города,
За сини моря...
На синем-то на морюшке
Мать-погодушка,

У меня, у молодца,
Есть зазнобушка:
Молодая жена
С малым детушкам.

Напишу я молодой жене,
Напишу я грамотку:
Ни пером я писал,
Ни чернилами,
А писал я слезами
Горючими;

Отсылал эту грамотку
С ясным соколом,
С ясным соколом,
Под правым крылышком,
Под правым под крылышком,
Под сизым перышком.

Дедушка словно застыл. И лицо у него было такое же, как там, на кладбище.

Старики не пели. Но сидели они не как зрители, а напряженно, недвижно. И волнение было у них на лицах. Казалось, хотя они и не поют, но про себя песню повторяют. И поэтому тоже в пении участвуют.

Стало тихо.

Дед встал. Каждого старика обнял. Каждую старуху.

— Пора все же, — сказал.

— Ну ладно, — ответила хозяйка, — мы привыкли мужиков отпускать по военным делам без заминки. А вам, генерал, спасибо.

Мы оделись, сели в сани все с тем же мальчишкой, и снег снова заскрипел под полозьями.

Дедушкина деревня стояла на взгорке, под березами.

На березах чернели грачиные гнезда.

Они пустовали теперь. И деревня от этого казалась осиротевшей.

Лошадь бежала вперед, а мы все махали старикам и старухам.

Они стояли на околице неровной горсткой. Смотрели нам вслед.

И мне было грустно, саднило горло. Будто я всегда жил в этой деревне. А теперь бросил ее и уезжаю навсегда.

ЕГО ДОМ

Москва!

Счастливые же все-таки ребята, которые в Москве живут! Счастья своего не понимают! Каждый день могут на Красную площадь приехать! В Зоопарк сходить! Мороженого в «Детском мире» поест! Им и в голову не приходит, наверное, что такого мороженого больше нигде нет. Что, например, сибирские ребята другим обходятся. Похуже. И ничего! Не переживают!

А дома какие в Москве есть! Калининский проспект, например. Там дома на раскрытые книги походят. Книги поставили боком. А метро! Да чего там! Как в кино или на картинках. Кто в Москве не бывал — поверьте на слово! В точности сходится. Поэтому я Москву описывать не стану.

Опишу только, как мы к Неизвестному солдату ходили. Но это — потом. Сначала мы все-таки прилетели. Взяли такси, приехали домой к дедушке.

Дом у него в красивом месте. Набережная рядом. Во дворе, как в лесу. Деревья инеем посыпаны.

У подъезда, на лавочке, старики сидят. Перед ними раздвижной столик. В домино режутся. Лупят костяшками с грохотом.

Увидели они деда, домино бросили, закричали наперебой:

— Нашелся!

— Как же так!

— Куда вы исчезли, лейтенант!

— В Сибирь, товарищ полковник, — отвечал, смеясь, дед. — На строительство гидроэлектростанции, товарищ майор! Той самой, товарищ лейтенант! Знаменитой! А это мой внук, Антон Рыбаков. Знакомьтесь.

Я смутился. Поклонился, как дедушка в деревне.

— Какой вежливый мальчик! — удивился один старик.

— Не то что некоторые дикари! — сказал второй.

— Сибиряк, значит? — удивился третий.

— Коренной, — засмеялся дед, а старики мне руку жать стали.

Генерал-майор такой-то, говорит один. Генерал-полковник такой-то, представляется другой. Генерал-лейтенант этаким, рапортует третий. И все улыбаются мне.

Я оробел. Сперва не понял ничего, уж потом сообразил. Это, значит, они для удобства так друг друга называют. Не генерал-лейтенант, а лейтенант. Полковник. Майор. Чтоб короче и быстрее.

Тут я с духом собрался и говорю:

— Разрешите, товарищи генералы, угостить вас кедровыми орехами, которые я с Кешкой осенью собирал.

Скинул я с плеча рюкзачок, который с собой очень даже

предусмотрительно прихватил, и насыпал генералам по карману орехов. Да еще и по здоровой шишке дал.

— Ну! — закричали генералы. — Эх! — закричали. — Ух!.. Потом они успокоились и один — полковник, кажется, — говорит:

— Можно, Антон Петрович, мы вечерком с внуками зайдем? Пусть они на живого сибиряка поглядят. Вообще поговорят. Это им пригодится.

Дед спрашивает:

— Ну, Антон?

Я прямо растерялся. Ведь не зверь же я какой-нибудь. Просто человек. Чего на меня смотреть? Но уж больно старики на меня жалостно глядели. И вообще — приветливые были. Я сказал:

— Милости просим!

И опять почему-то поклонился, болван. Вышло как-то незначай. Будут думать еще, что у нас в Сибири всё время кланяются. Как при царе.

Пока мы в лифте поднимались, я деда спросил:

— А что, тут одни генералы живут?

Он рассмеялся. Нет, не одни, оказалось. Полковников много без приставки «генерал». Майоров. Тоже без приставки. Просто в этом доме военные живут.

Мы поднялись на дедушкин этаж. Остановились у двери. Постояли минуту.

— Ты волнуешься? — спросил я.

— Волнуюсь, — ответил дед.

— Потому что давно не был?

— Потому что много лет прожил тут с бабушкой, — сказал он. — Но теперь ее нет. А мне кажется, она дома. Ждет меня из долгой командировки.

Дед внимательно посмотрел на меня.

— Ну! — прошептал он и щёлкнул ключом. И переступил порог. Будто в омут бросился...

Я хожу осторожно по комнатам. Как по музею. Внимательно оглядываю всё. И поражаюсь.

Оказывается, я совсем не знаю дедушку! Совсем-совсем!

Мы столько прожили с ним! Проночевали в одной комнате, говорили о всякой всячине, но, оказывается, я почти ничего про него не знаю. И если бы не приехал сюда, никогда не узнал бы.

А теперь вот знаю.

Иду по квартире, где жил дедушка, и узнаю о нем все больше.

На письменном столе стоит маленькая пушка. Внизу написано: «Майору А. П. Рыбакову в память об испытаниях».

Я спрашиваю деда, что это значит. Он объясняет: испытывал гаубицу. Потом она прошла всю войну.

Никогда не слышал, что пушки испытывают. Самолеты испытывают — это да, про это каждый знает. Но вот и пушки тоже. Мне интересно, как это делается.

Дед объясняет: на дальность полета снаряда. На рассеивание. Снаряды, оказывается, в одно место точно никогда не попадают. Даже такое спасение на войне есть — прыгай в воронку, если снаряд жакнул. Другой сюда никогда не попадет. Ну, еще испытание на силу заряда — сколько пороху надо класть, чтобы снаряд поближе летел или подальше. Самое страшное — это испытание. Потому что однажды надо столько пороху положить, что он быстрее взрывается, чем снаряд вылетит. Пушку разрывает. Предельная нагрузка...

В книжном шкафу я нахожу книгу с непонятным названием — «Теория баллистики». Зато автор понятен. Кандидат военных наук А. П. Рыбаков.

— Что это — кандидат? — спрашиваю я.

— Ученая степень, — отвечает дед.

— Значит, ты ученый? — смеюсь я.

— Немножко, — улыбается он.

— А баллистика, это что?

— Наука о полете снаряда.

Вот такая наука еще есть.

— Что же ты думаешь, — говорит дед, — война — это просто так? Трах-тарарах? Впрочем, многие так думали. Да и думают еще. — Дед усаживает меня за стол. Сам садится напротив. — Но армия — это целый мир. А мир не может быть без науки. Не зря же военные академии есть, где офицеры учатся. Ученые офицеры!

— Я хочу быть офицером! — говорю я горячо. — Как ты! Ученым офицером!

Дедушка берет меня за плечо.

— Не забудь, — говорит он, — это работа тяжелая. Учиться. В поле спать. Сильным быть. Ехать, куда пошлют. За других отвечать и самому ответа не бояться. Думай, Антон! — Дед улыбается. — Время у тебя еще есть.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Я надеялся, генералы пошутили. Но ошибся. Вечером раздался протяжный звонок, и генералы явились, толкая перед собой своих потомков.

Первой вошла курносая девчонка. Класа из пятого. В брюках, в пушистой кофточке, железный пояс какой-то. Цепью.

— Фи! — сказала она. — Я думала, действительно сибиряк. А он просто малыш. — Она протянула мне руку лодочкой, представилась: — Мэри!

— Ты не Мэри, а Маня! — угрюмо сказал генерал. И покачал головой.

Все генералы были при параде, в орденах. Но я это едва заметил. Маня меня прямо протаранила. Малыш! Подумаешь! Сама-то велика ли? Но я ничего не сказал, конечно. Все-таки я хозяин, а они гости.

Потом три парня вошли. Первый — в джинсах с множеством кармашков. Даже на коленках карманы. В красной рубахе. На ней Фидель Кастро нарисован. Я его Фиделем сразу прозвал.

Второй — в очках. Прилизанный. Волосы блестят, будто водой намочил. А на самом деле сухие. Или не сухие? Я, пока мы сидели, все гадал.

Третьего звали Глеб. Здоровый лоб. Класа из седьмого. На груди у него круглый значок с небольшое блюдце. На значке написано иностранными буквами: «Stop!» Стоп, значит. Кому это — стоп?

Они вошли, а я не знал, что мне делать. Да еще дед увел своих генералов в другую комнату. Трое уселись. Глеб медленно прошел вдоль стен, разглядывая стол, пианино, шкафы с книгами. Приблизился ко мне. Кивнул на значок.

— Махнемся?

Я пожал плечами. Не понял.

— Махнемся на пушку? — кивнул он. И добавил: — Не глядя!

«Хорош гусь, — подумал я. — Пушку вон как разглядел, а говорит — не глядя».

— Это деда, — сказал я сухо, — не имею права.

Глеб скис. Прилизанный повернул ко мне голову.

— Угостил бы чем-нибудь, что ли, — сказал он томно, — хотя бы водичкой.

Я обрадовался, что можно выйти. Вдохнул на кухне. Насыпал в вазу кедровых орешков. Принес их в комнату.

Глеб в ладоши хлопнул, подскочил к столу, набил карманы сразу, потом еще в руку орехов взял.

Я хмыкнул. Мне не жалко, пожалуйста, еще сейчас принесу, но что он жадничает! Потом я дал воды прилизанному.

— А лед есть? — спросил он.

Я удивился: зачем? Оказывается, в воду.

— Простудишься, — сказал я. — И так холодная. Из-под крана.

— Сэнкью вери матч, — кивнул он благосклонно, — за заботу!

— Ну расскажи, расскажи,— зевнула Мэри,— как вы там, в Сибири, живете?

— Живем помаленьку,— смутился я.

— Подвиги совершаешь? — спросил Глеб и потрянул головой. Волосы ему все время глаза закрывали.

Я улыбнулся.

Вспомнил, как дед нам про девушку писал. У которой усы оказались.

— Совершаю,— ответил я,— подвиг утром, подвиг вечером. Иногда по воскресеньям.

Прилизанный захрюкал.

— Что-то скучно у тебя,— воскликнула Мэри и спросила: — Звук имеешь?

Я пожал плечами.

— Ну, приемник, транзистор?

Я кивнул на приемник. Она вылезла из кресла, включила музыку. Стала притопывать. Потом приплясывать. Коленками задергала, заизвивалась. Захыкала:

— Хы! Хы!

Будто гимнастику делала.

— Смогешь? — спросил меня Глеб.

Я не понял.

— Ну, сможешь? — повторил он.

— Да темный он, не видишь! — сказал прилизанный. — Переведи на древнерусский.

— Куришь, спрашиваю? — перевел Глеб.

Я взял с дедушкиного стола его сигареты. Волосатый Глеб закурил, выдыхая дым к потолку, развевая его рукой, чтоб не видно было.

Я себя чувствовал, как последний дурак. Будто занесло меня в какую-то чужую компанию. Никого-то тут я не знаю. И вообще пора убираться! С удовольствием бы ушел. Но куда уйдешь из своего дома?

Глеб курил, Мэри приплясывала, подхыкивая сама себе, прилизанный сидел, задрав ногу, взявшись рукой за ботинок. Все они высказались, кроме Фиделя.

Я его хотел что-то спросить. Но Глеб сказал неожиданно:

— Ты чего, как дурачок, в галстук ходишь? Ведь не в школе?

Я смутился. Даже пот меня прошиб. Еще подумают, что какой-нибудь выскочка, активист, даже спит в галстук. Я стал развязывать узел и вдруг понял, что прилизанный как-то не так это сказал. Зло. Издеваясь. Я затянул галстук потуже. Как бы не так, подумал, сниму — жди. Но промолчал. Ничего не ответил. Мэри плясать перестала, внимательно посмотрела на меня. И прилизанный посмотрел. И Фидель.

— Это атавизм,— наставительно сказал Глеб.— Слышал такое слово? Пережиток детства, понимаешь? Галстук носить — пережиток детства. Надо развиваться. Прогрессировать.

Прилизанный хрюкнул, Мэри снова заегозила. Только Фидель сидел как истукан.

Мне было противно.

Я был противен самому себе. Хотелось сказануть что-нибудь этому Глебу! Может, по морде даже смазать! Но я промолчал. Что же генералы скажут? Да и дедушка. Ведь генералы его друзья!

Я сдержался. Сжал зубы. Прикрыл глаза, чтобы успокоиться. Сказал весело:

— Ребята! Пойдемте завтра к Неизвестному солдату! А то я не видел. А деду некогда.

Прилизанный снова хрюкнул. Как поросенок. Ну и смех у него. Блеснул презрительно очками. Глеб сказал:

— Чего мы там потеряли? Майорша,— сказал он Мэри,— может, ты проводишь сибирячка?

— Провожай сам, лейтенантик! — хихикнула Маня.

Я обомлел. Значит, они себя тоже так зовут? Майорша? Лейтенант? Когда генералы друг друга звали, это было смешно. А эти-то? Они тут причем?

Но я опять промолчал.

И тогда встал Фидель.

— Ну ладно,— сказал он,— я думал, ты действительно сибиряк. А ты, как и эти! Ничуть не лучше. Только переехать сюда надо. Сократить расстояние. И все будет о'кэй, как они выражаются.

Парень, блестя застёжками на джинсах, пошел в прихожую, а я улыбался ему жалко. Растерянно. И в голове моей вертелся вопрос, который я хотел задать этому Фиделю. Я хотел кивнуть на того, настоящего Фиделя, и спросить:

«Ты просто так его носишь? Или из уважения?»

Из уважения! Можно было не спрашивать.

Я повернулся к остальным. Глеб все курил, Манька плясала, прилизанный очкарик держался за ногу.

— Вечно этот зануда полковник настроение испортит! — сказал очкастый.

И я подумал опять: мокрый он или просто такая прическа?

— Ну-ка, генералы,— сказал я тихо,— проваливайте отсюда!

Странно: они ушли мирно, без скандала. Видно, боялись настоящих генералов. Я остался один. И до того мне стало тошно, что ничего не хотелось видеть. Я выключил свет. Задумался.

Я не знаю, сколько просидел, думая про этих внуков и про

себя. Подумать только! Я ведь тоже генеральством гордился. Считал, что лучше других. Выходит, я тогда на этих походил. Может, только одеждой и отличался.

Щёлкнул выключатель.

Дед и его друзья стояли вокруг меня. В орденах. В парадных мундирах.

— Ну как, — спросил генерал-майор, — встреча на высшем уровне прошла успешно?

— Успешно, — соврал я. И криво улыбнулся. Вечер неискренних улыбок, ничего себе!

Часть шестая. ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Самолет летит над облаками. Над бесконечной белой равниной. Будто не летит, а медленно ползет по снежному полю.

Я пристально смотрю в иллюминатор. Мне кажется, что пустыня совсем не безлюдная. Что кто-нибудь вдруг покажется на горизонте и станет махать нам рукой.

И верно! Из белой пены, как из морской пучины, вдруг медленно выплывает треугольная птица. Нос вытянут в длинное жало, а хвост отброшен далеко назад.

Самолет взмывает над облаками и уходит куда-то ввысь. Почти отвесно. И сзади остается полоса. Как королевский шлейф.

— Перехватчик! — говорит мне дед. — Перехватывать вражеские самолеты. Сверхзвуковой.

Точно. Летающий треугольник давно исчез, а до нас еще только долетел его звук.

— Как думаешь? — спрашиваю я дедушку. — Каким мне офицером стать? Артиллерийским? Пехотным? А может, летным? Или морским?

Дед смеется.

— Выбор большой, — говорит он, — дело за тобой.

Если бы за мной был выбор, я бы начал с сегодняшнего. С того, что утром видел.

Это было замечательное событие.

Сначала дед переменял свои планы. Исключительно из-за меня. Я сперва не хотел его расстраивать. Про вчерашнее говорить. Но потом решил: рассказать надо. Обязательно. Он же мой дед. Мой друг. Мой генерал.

Дед выслушал меня, задумался. Потом сказал, что планы свои меняет и туда, куда собирался, не поедет, а пойдет со мной. К Неизвестному солдату.

У могилы солдата пылал Вечный огонь.

Дождь идет, а огонь горит.

Снег валит, а огонь не гаснет.

Мы постояли у каменной звезды, в которой вечное пламя сияет. Дед честь солдату отдал. Я — пионерский салют.

Жил человек. Имя у него было. Мать. Может, жена была, дети. А потом погиб. Так погиб, что никто об этом не узнал. Но он не пропал. Он стал Неизвестным солдатом. Его, может, ждут до сих пор. Думают о нем. Вспоминают. Зовут про себя по имени. А он без имени. Потому что имя ему уже не нужно. Он — для всех. Неизвестный солдат.

Я смотрел, как подходят к могиле женщины. Молодые. Старухи. Пионеры. Как кладут цветы на красный мрамор. Как стоят, задумавшись глубоко. К кому пришли они? К Неизвестному? Нет, к известному. К сыну своему. К отцу. Или к деду.

Я беру за рукав деда. Заглядываю ему в лицо. Как хорошо, что мой дед жив и его не убили фашисты. Как хорошо, что он со мной стоит... И я его за рукав взять могу... Дед сказал тогда очень правильно! Жалко, что так получилось! Жалко, что я его не видел так долго и совсем не знал!

Я прижимаюсь к дедову рукаву. Он обнимает меня. Мы идем медленно к Красной площади. Мавзолей закрыт, но рядом толпится народ. Мы подходим поближе. Разглядываем голубые елочки. Блестящие стены. Лица солдат.

И вдруг я вздрагиваю. Протираю глаза. Не может быть! Я дергаю деда за руку, шепчу ему:

— Гляди! Это же Борис Егоров! Наш вожатый.

— Откуда он тут взялся? — пожимает плечами дед.

Действительно, откуда? Конечно, он солдат, в армии теперь служит — танкистом, или, может, моряком. Но тут? Тут Мавзолей — шутка ли?

Я снова глаза тру. Может, показалось? Конечно, показалось! Откуда тут Егорову взяться! Но все-таки кричу:

— Егоров! — и машу рукой.

Солдат стоит неподвижно. Как неживой. И плечи у него, кажется, застыли. Дедушка смеется:

— Ты что? Думаешь, он откликнется?

Слышатся шаги. Грохочут по асфальту. Люди у Мавзолея оживляются. Я вижу, как печатают шаг трое военных. Идут медленно, торжественно. Взмахивают руками в белых перчатках. Винтовки у плеча. Подходят к дверям. Часы на башне со звездой отсчитывают удары. Солдаты меняются. Щелкают прикладами. Новые остаются, те, что стояли, уходят. Смена караула.

Опять грохают шаги. Я бегу за солдатами. Жадно запоминаю каждое их движение. И еще меня подмывает: крикнуть опять солдату. Позвать его. Может, это Егоров?

Но солдаты смотрят перед собой. Никого не видят. Скрываются в воротах.

Мы идем с дедушкой по Красной площади. Смотрим на собор Василия Блаженного. Разглядываем Лобное место.

— Мы с твоей бабушкой, — говорит дед, — тогда тоже сюда пришли.

— Когда тогда? — спрашиваю я.

— Когда познакомились, — улыбнулся он. — В Кремле. Хотя познакомились мы, конечно, раньше.

И он рассказал про бабушку.

История первая. ПРО БАБУШКУ

Это было в Испании. Давным-давно. Когда не родился еще папа. А мама не родилась и подавно. И дедушка не думал, что когда-нибудь он будет дедушкой. Потому что он не помнил себя. Так ему приказали в Москве.

— Вас зовут теперь Хосе. И вы испанец. Вот и все.

Дедушка кивнул. Хосе ведь звучит одинаково — что по-русски, что по-испански. А других испанских слов он не знал и говорить по-испански не собирался. Ведь его артиллеристы были такие же испанцы, как дедушка. По-русски понимали прекрасно. Только все они были черные. Старались подбирать по цвету волос. Чтобы походили все-таки на испанцев. И вот они оказались в Испании. И стреляли из старых испанских орудий, совсем непохожих на русские. Стреляли и чертыхались по-русски, потому что орудия стреляли совсем не по-русски — часто мазали. Но все-таки приспособились. Лупили врагов. А враги наступали, убивали всех подряд, мужчин и женщин. Не жалели старух и стариков. И тогда республиканцы попросили спасти испанских детей. Потому что боялись за них. Что будет с ребятами, если погибнут их родители? Умрут тоже. От нищеты, от голода.

Дед оборонял приморский город. Бился изо всех сил. Потому что в город привезли много ребят. И ребята сидели в подвалах неподалеку от причалов. А корабля все не было. Корабль шел на всех парах из Одессы.

Пушки нагревались от выстрелов, и тогда женщины приносили воду. Дедушке Хосе хотелось пить, но воду пить было нельзя, потому что она была морская и ею поливали пушки, а пресной воды не хватало раненым. Однажды воду им принесла девушка в республиканской форме. Она сказала по-русски:

— Корабль на подходе. В подвалах три тысячи ребят. Вся надежда на вас, Антон Петрович.

Дедушка забыл уже сам, как зовут его. Он вообще забыл,

кто он такой. Ему показалось, что он ослышался. Ему показалось, это просто звенит в ушах от орудийной канонады. Но девушка улыбнулась ему и повторила:

— Вся надежда на вас, Антоша Чехонте.

Это она так пошутила. Потому что Антошей Чехонте звали в молодости писателя Чехова. А деда тоже звали Антоша. И он ей кивнул. И его испанские орудия заговорили еще чаще. А потом на горизонте появился пароход под флагом с красным крестом. И враги стали палить по пароходу. Антоша Чехонте и его солдаты сжали зубы. Задыхаясь от ненависти, устроили шквальный обстрел. Враги притихли. Корабль торопливо забирал детей. В паузах между разрывами слышался плач. Это плакали женщины, провожая своих детей.

А враги снова открыли огонь. Их снаряды ложились возле причалов. Крики на пристани стали громче. А потом пароход отчалил. Очень нерешительно отчалил. И медленно отошел в море.

Ночью дедушка взорвал свои верные пушки. И исчез из портового городка. Ночи в Испании очень темные. А в ту ночь им помогла непогода. Дул сильный ветер, и низко над землей, закрывая звездный свет, неслись облака...

Дедушка вернулся в Москву, оставив в Испании многих друзей, черноволосых, как испанцы, закопав их в каменистую пыльную землю.

В Москве он получил свой первый орден: Боевого Красного Знамени. Такой же орден вручали девушке. Дедушка узнал ее. Подошел поздравить.

— Меня зовут,— сказал он,— Антоша Чехонте.

— А меня Лида Иванова,— сказала девушка.

Потом она стала моей бабушкой. Вот как, оказывается, может быть...

ЧАСОВОЙ

Я задумался. Представил, как дедушка и бабушка, молодые совсем, словно на той старой фотографии, по Красной площади идут, друг другу улыбаются.

Вдруг кто-то позвал:

— Товарищ генерал! Товарищ генерал!

Мы с дедом обернулись. Стоит солдат, улыбается, деду козыряет. Вот так штука!

— Я же говорил! — крикнул я. — Я же сразу узнал!

Егоров улыбался — рот до ушей, хоть завязочки пришей.

— Понимаете, какое дело, я же ответить не могу! Мигнуть даже не могу! Но я вас сразу узнал! Какими судьбами?

— Мы-то на каникулах,— ответил дед,— а вот какими судьбами вы?

— В армию взяли,— сказал Егоров,— и в Москву. Сначала учился. Думаете, это легко, у Мавзолея стоять? Целая наука! А какая ответственность! На тебя весь мир смотрит! Иностранцы приходят, фотографируют со всех сторон!

Я Егоровым любовался. Там, дома, ничего особенного в нем не было. Может, было, да я не замечал.

А тут — широкоплечий. Погоны голубеют, как глаза у него. Стройный, подтянутый: настоящий солдат!

— Ко мне мать приезжала,— сказал Егоров.— В гарнизон пришла, ей говорят — на службе. Там-то. Она — к Мавзолею. Как меня увидела, заплакала. У меня сердце разрывается, мама у меня старенькая, но не подойдешь ведь к ней. Потом спрашиваю, ну чего плакала? А она мне отвечает: от гордости!

Дедушка руку Егорову пожал. Пожелал счастливой службы. Но Егоров не уходил, мялся чего-то. Потом сказал:

— Вы Гале про меня не говорите. Вот сфотографируюсь на посту, карточку pošлю, тогда и узнает.

Мы с дедушкой улыбнулись: понятно. Но Егоров снова не уходил.

— А отряду,— сказал он мне,— ты привет передай. Скажи — служу в Москве, и все. Я письмо вам напишу. Большое. Отчет о своей службе. А летом прилечу в отпуск.

— А вы молодец,— сказал дедушка, еще раз пожимая Егорову руку.— Про вожатство правильно решили. Отрядом руководить и из Москвы можно.

— Я теперь иначе не могу,— ответил Егоров.— У меня служба такая!

Я тоже пожал Егорову руку. Очень мне понравилась его идея. Еще бы — наш вожатый на посту номер один стоит!

— Ну, до свидания,— сказал Егоров.— Командиры на минуточку отпустили! Да и то потому только, что вы генерал, Антон Петрович! Вон глядят!

Мы повернулись к Кремлю. Там стояли два офицера. Увидели, что дед на них смотрит, в струнку вытянулись, издалека ему честь отдали. Вежливые!

А Егоров козырнул нам. Именно нам, я не оговорился. Сначала деду. Дед ему честь отдал. Потом мне. Я Егорову отсалютовал.

Потом он четко кругом повернулся. И побежал.

Вот какая встреча произошла! Просто удивительная! Миллионы жителей в Москве. С одного двора люди на улице не встретятся. А мы из Сибири прикатили и сразу своего нашли.

Ну, правда, нашли потому, что он у Мавзолея стоял, а не где-нибудь. К Мавзолею миллионы людей стекаются. Потому

что это Мавзолей. Там — Ленин. И теперь рядом с Лениным наш вожатый. Монтажник из Сибири. Часовой... Самый видный солдат на всей земле...

Так что была бы моя воля, прежде чем офицером стать — артиллерийским, или морским, или авиационным, я бы выбрал службу Егорова. Стал бы сначала часовым возле Ленина...

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Самолет идет на посадку. Скоро будем у генерала Иванова. Я десять раз деда просил: расскажи о своем друге.

— Пока не могу, — отвечал дед. — Ты его должен сам увидеть. Это человек необыкновенный. Больше таких нет.

Чем же он необыкновенный, думал я. Двухметрового роста? Сильный, как штангист? Но ничего придумать не мог. Вздыхал — придется терпеть.

Но вот дед толкает калитку. Идет по тропке к домику, заросшему плющом. Навстречу бежит человек. Дед обнимает его крепко.

Они стоят, прижавшись друг к другу. Молчат. Потом отступают на шаг. И тут я вижу, что у генерала Иванова нет обеих рук. Рукава заправлены в карманы.

Как же он живет, думаю я. Как можно жить без рук? А дед будто не видит этого. Берет меня за плечо, подводит к Иванову, представляет, как там, в Москве.

— Антон Рыбаков? — переспрашивает Иванов. — Твой дублер, значит? — улыбается деду.

— Антон Второй! — кивает дед.

Мы проходим в дом. Нас встречает седая женщина. У нее веселые глаза. Она хочет обнять дедушку. Но он сначала целует ей руку и говорит:

— Здравствуй, боевой товарищ!

Мы сидим в комнате Николая Петровича. В углу стоит странное стекло. Я трогаю его, не понимаю, зачем это дырявое стекло здесь. Его надо выбросить. Оно все в трещинах и дырках.

— Отгадай, что такое? — говорит Николай Петрович.

— Ветровое стекло от машины, — выручает меня дед. — Видишь дырки? Это следы от пуль.

— Храню на память, — сказал Николай Петрович. — Автографы смерти как бы. Всю мою машину изрешетило, случайно жив остался.

Они влюбленно смотрят друг на друга, перебивают друг друга, словно мальчишки. Будто мы с Кешкой, например. И никак наговориться не могут.

— Вот слушай, Антон! — зовет меня дед. Усаживает ря-

дом.— Расскажи снова, Коля! Это ему непременно надо знать. Знаешь, он ведь в военные собрался. Но если и штатским останется, знать надо!

Николай Петрович кивает, выходит на середину комнаты. Рисует сапогом на полу воображаемые дуги, линии — направление ударов. Рисует пушки, танки.

— Это Дрезден,— говорит он.— Это наши главные силы. А этот клин — мой артиллерийский полк. Вперед мы ушли, наши только еще подтягиваются. И вот берем пленных. Они говорят — готовится танковый удар. Направление — такое-то. Что делать? Если сомнут нас, перед главными силами нет противотанковой защиты. Решаю: удар танков встретить с флангов. Выстраиваюсь углом к противнику. Начинается мясорубка. Открываем огонь — не в лоб, как немцы ждут. А сбоку. И по всей глубине. Немцы в замешательстве. Танки горят. Огонь ведем прицельный, точный. Подпускаем близко.

— Антошка,— говорит мне дед,— Николай Петрович командовал противотанковой артиллерией. Это очень трудно — стрелять по движущимся танкам, которые еще по тебе стреляют.

Меня подмывает спросить. Но я не знаю — как. И очень неудобно.

— Понятно? — спрашивает Николай Петрович.

— А вы,— говорю я и краснею.— А руки у вас тогда были?

— Нет! — отвечает Иванов.— Не было! Руки я на берегу Днепра потерял.

Я не могу поверить. Про летчика Маресьева я читал. И кино не раз видел. Он без ног был, это известно. Но руки же у него были! А как артиллеристу без рук? Надо же командовать! А командовать — на карте схемы чертить! В телефонную трубку кричать! В бинокль смотреть! Если надо — снаряд схватить и пушку зарядить! Разве же без рук это можно?

Я смотрю на генерала Иванова и не понимаю: может, он шутит? Но разве так шутят? Я поворачиваюсь к деду. Смотрю на него вопросительно.

— Я ведь говорил тебе, Антон,— произносит задумчиво дед,— генерал Иванов — необыкновенный человек.

— Сказанешь тоже,— сердится Иванов.— И вообще! Что ты выражаешься, как на радио. Сам бы про себя рассказал лучше. Вон орденов сколько! Их зазря не дают.

— Ладно,— произносит дед.— Кукушка хвалит петуха. У меня награды за обыкновенное военное дело. У тебя — за подвиги. Не бойся этого слова. За настоящие подвиги. Книги про них писать надо!

— Да уж все написано! — смеется Николай Петрович.

Мы идем в столовую, обедаем. Жена Николая Петровича кормит его с ложечки. Словно маленького. Но дед не обращает

на это внимания. Будто все нормально. И жена Иванова тоже не обращает. И сам генерал.

Они вспоминают войну, забавные всякие случаи и смеются, словно на войне только смешное и происходило. Нет, на войне не смешно было, а тяжело, трудно. Иногда — смертельно трудно. А вечером дед рассказал мне историю про генерала Иванова.

История вторая. ПРО ГЕНЕРАЛА ИВАНОВА

Война уже обратно катилась. Немцы назад драпали.

Вообще выражение это неправильное — драпали. Драпал Наполеон, тут верно. Бросил своих солдат и помчался в Париж. А Гитлер каждый день орал, чтобы его солдаты сражались до последнего. И фашисты не драпали, а сопротивлялись изо всех сил. Бились отчаянно. Но мы все равно гнали.

Дед сказал: фашисты умело воевали. И генералы у них были опытные. Еще бы! Всю Европу прошли. Все армии победили. Так что врагов дураками считать нельзя. Никакими они дураками не были. А были коварными, хитрыми, расчетливыми. Жестокими были, как звери, потому что они фашисты. Но не дураками. Дураков ведь обмануть легко. А значит — и победить. Наша победа трудной была. Потому что враг опытный и злобный. От этого наша победа только почетней! И никогда врагов дураками считать нельзя, нет.

Ну так вот, война назад катилась. И фашисты дрались отчаянно. За каждую кочку цеплялись. А уж про реки и говорить нечего! Врывали за собой все мосты, чтобы добраться до них нельзя было. На другом берегу в землю закапывались. Дотами и пулеметами ошетинивались. Вот так они уцепились и за Днепр: мол, ни за что дальше не отступим.

Нечего нам делать, надо врага выбивать. Надо Днепр переплывать и вражеский берег захватывать.

Только тут объяснить надо. Днепр переплыть не каждый взрослый может. Даже в мирное время. А тут — война. Тут не просто переплыть надо, а переплыть под вражеским огнем. Плынешь — а вода вокруг от снарядов да пуль будто вскипает.

Но и это еще не все.

Надо плоты переправить. Специальные, железные, военные. Понтоны называются. На понтонах — пушки. Танки.

В общем, не плавание это никакое. Плаванием не назовешь, если в тебя стреляют. Поэтому есть такое слово — форсирование. Форсируют реку — это когда ее переходят под огнем, штурмуют, словно крепость. Но ведь за этой крепостью — еще одна. Укрепленный врагами берег. Берег, который плюется свинцом.

По всему берегу всю реку форсировать нельзя. Поэтому генералы выбирают место, где враг послабее. А если нигде послабее нет, выбирают, где нам поудобнее. И начинается битва. Переплывают солдаты. Перевозят пушки, танки. Цепляются за кусочек берега и врагов выбивают. Наш этот кусочек называется плацдарм. Французское, между прочим, словечко. Плац — значит площадь, д'арм — для армии. Но когда реку форсируют, наш плацдарм на вражеском берегу — это сначала кусочек земли, а не площадь. И враг все делает, чтобы с этого кусочка нас сбросить. Потому что, когда есть плацдарм, сзади, через реку, можно подкрепление переправить. Составить быстро понтоны один к одному — и будет мост. А по мосту танки пойдут, пехота побежит, пушки покатятся. Подмога плацдарму. Тем, кто на кусочке земли сражается.

Не думайте, будто я зря про это рассказываю. Это к генералу Иванову все относится.

Только он тогда генералом не был. Был капитаном. Когда форсировали Днепр, его командира тяжело ранило. Капитан Иванов вместо него встал. Отвоевал у фашистов маленький плацдарм — пяточок земли. Орудия расставил. Открыл по врагу бешеный огонь. И держался изо всех сил, пока подмога не пришла. Пока не переправили по понтонному мосту, ему на помощь, другие войска.

И тут жахнула мина. Прямо перед ним. И все исчезло.

Когда он в себя пришел — в госпитале уже, — рук у него не было. По самые плечи. Рук нету, а он их чувствует. Хочется ему ладонью по голове провести, волосы причесать...

Лежит капитан, поверить в беду не может. Как же без рук? Недаром поговорка такая есть — как без рук. Значит, плохо. Да просто невозможно без рук.

Может, лучше не жить дальше? Может, лучше умереть, чем жить несчастным калекой? Родным обузой быть?

Жизнь как сон стала. Закроет глаза капитан — плацдарм ему видится. Вражеские танки. Артиллерийские разрывы. Товарищи боевые видятся. Это — жизнь. А откроет глаза — белый потолок. Белый халат врача. Да еще ординарец на табуретке с горестным лицом. Разве это жизнь?

Думает капитан, думает. Умереть сейчас глупо. Умирать, победив, нельзя. Слабый так поступить может, но не он. Умереть — значит перед жизнью капитулировать. Значит — отступить. А отступать он не привык. Вперед надо идти. Только вперед. Но обузой быть он не может. Не имеет права. Жить можно при одном условии — сражаться дальше. Даже без рук.

И вот что придумал Иванов. Послал ординарца в штаб. Попросил, чтобы изменили в его бумагах строчку. Чтобы написали, что родился он в другом городе. И все. Нет его. Пропал

без вести. Пусть не ищут родные. Мало ли Ивановых Николаев Петровичей. Правильно ли он поступил?

Считал, что правильно. Считал, что война еще впереди и убить его могут. Просто немного пораньше в мертвые себя записал.

Вот такая история.

Врачи капитана на фронт не пускали. Он уехал без спроса. Вернулся в полк. Героем. Со звездочкой на гимнастерке. И снова стал воевать.

Под Дрезденом заслужил Иванов вторую Звезду Героя. Опять его ранило. Поправился — и снова на фронт. Сражаться!

Всю войну прошел до конца. Не убило его.

Даже смерть от него отступилась.

Удивилась, наверное, его мужеству.

А родные его нашли все-таки. Да разве могли они его не найти!.

ЮБИЛЕЙ

И вот мы едем на юбилей генерала Иванова.

Юбилей — это что? Сидят за столом. Пьют вино. Говорят речи.

У генерала Иванова совсем другой юбилей.

У него юбилей необыкновенный.

И вот мы едем. И я смотрю вперед. И жду, волнуясь, когда начнется самое главное.

Ну вот оно, главное. Наконец!

Машина тормозит. Перед нами боком к дороге стоят два бронетранспортера. Возле них выстроились солдаты в парадной форме, с автоматами на груди. А к нам бегут три полковника.

Мы выходим из машины. Полковник, бегущий впереди — высокий, широкоплечий, — переходит на шаг. Впечатывает в грязь шаги. Подходит к нам, но в глазах у него растерянность. Наверное, не знает, к кому обращаться? Генерал-лейтенант стоит позади генерал-майора. Полковник делает шаг к дедушке, боится нарушить устав, но дед кивает головой на друга, говорит:

— Ему! Ему!

Лицо полковника разглаживается:

— Товарищ гвардии генерал-майор! Группа встречи ожидает вашего прибытия!

— Какая еще группа встречи? — ворчит Иванов и поворачивается к деду: — Видал?

Мы опять садимся в машину. Транспортёры взывают моторами. Один идет впереди нас, другой — позади. Солдаты сидят в бронетранспортерах, как на параде, — смирно.

И вот дивизия.

Огромная площадь. С трех сторон выстроились солдаты. Посредине — боевое знамя. Два автоматчика возле знаменосца с красной лентой на груди.

Бронетранспортеры, сопровождавшие нас, тормозят. Пропускают чуть вперед нашу машину.

Мы выходим. Могучий полковник кричит протяжно:

— Смир-р-р-р-но-о-о!

Я вздрагиваю. Грохает музыка.

— Ты стой здесь, — шепчет мне дед.

Я вижу, как он волнуется.

— Не волнуйся, — шепчу я и подмигиваю ему. И вот они пошли.

Первым генерал-майор. Сзади полковник и генерал-лейтенант. Полковник и дедушка держат руку у виска. Иванов этого сделать не может. Он просто сильнее печатает шаг.

А солдаты кричат «Ура!». И ура это по рядам как бы прокатывается. Будто волна.

Я смотрю на парад, на солдат, на дедушку и генерала Иванова, на красное знамя в центре площади, на бронетранспортеры, на небо, уходящее глубоко, и чувствую, как внутри у меня поднимается что-то. Мне радостно? Нет, не радостно. Весело? Опять не то. Мне хорошо, понимаете? Я счастлив, вот что! Мне очень хорошо, меня так и переполняет удивительное счастье, и холодеют скулы, и что-то щекочет в горле, и режет немного глаза!

Как здесь здорово все, как торжественно! И хотя я тут единственный зритель, я тоже имею отношение к параду. Ведь здесь мой дед.

Музыка будто стихает.

Иванов подходит к знамени. Поворачивается к деду, что-то говорит. Дед снимает с друга папаху. Генерал-майор становится на колени. Целует знамя.

И вдруг раздается залп. Я оборачиваюсь. Сбоку стоят солдаты. Они щелкают затворами, и снова раздается залп. Я считаю выстрелы. Их семьдесят. Солдат — тоже семьдесят. Семьдесят залпов семидесяти солдат. Генерал Иванов подходит к стрелкам. В глазах у него слезы. Он прижимается к солдату. Целует его. И строй рушится. Молодые ребята обнимают генерала. Закидывают автоматы за спины. А потом качают его. Осторожно, но с криком:

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!..

И все остальные солдаты без всякой команды вторят им:

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!..

И могучий полковник кричит вместе с ними.

И мой дедушка.

И я тоже. Кричу изо всех сил.

— Ур-ра! — Какое синее сегодня небо! — Урр-ра! — Какая сильная у нас армия! — Ур-ра! — Какой замечательный герой генерал Иванов! — Ура! Ура! Ура!

БОГ ВОЙНЫ

А потом начинается уж совсем прекрасное.

Мы едем куда-то. Довольно долго. Потом выходим на опушке леса. А там стоят орудия. Разные. Большие и поменьше. Возле них солдаты.

Мы поднимаемся на дощатый помост. Там стоят стереотрубы. Такие приборы, похожие на рогатку. Каждая рогулька — оптический глаз. Посильнее, чем у бинокля.

— Прикажете начинать, товарищ генерал-майор? — спрашивает могучий полковник.

Иванов кивает. Полковник берет огромный револьвер. Загоняет в него здоровый патрон с красной гильзой. Поднимает руку вверх. Револьвер жахает, и в небо, шипя, впивается красная ракета. Вот, значит, что это за револьвер? Но удивляться некогда.

Вдоль опушки проносится рев. Я даже испугаться не успеваю. Только вздрагиваю каждый раз. Это орудия стреляют одно за одним. Бых-бых-бых-бых! Подряд. Получается очередь. Только не автоматная, а орудийная. В конце поля взлетает земля.

Пушки грохают еще раз. И еще. Еще. Потом умолкают. Полковник уходит к пушкам. Предупреждает заранее:

— Сейчас будем танки бить. Прямой наводкой.

Тихо. После стрельбы тишина особенной кажется. Вот ворона каркнула. Ишь ты, молодец, не испугалась грохота! Голоса слышатся. Это солдаты у орудий разговаривают. Звякает металл. Наверное, пустые гильзы складывают.

Дедушка и Иванов улыбаются, переглядываются. Вдыхают запах пороха, который ветром от пушек принесло.

— Хорошо, Антоша! — говорит Иванов.

— Хорошо, Коля! — отвечает дедушка.

— А помнишь артподготовки перед наступлением? — спрашивает Иванов.

— Еще бы! — улыбается дед. — Тысячи снарядов на километре фронта! В считанные минуты!..

— Гарь, дым! — перебивает Иванов. — Соседних пушек не видно!

— Веселое время — наступление, — кивает дед.

— Ребята у орудий скачут как черти! — горячится Иванов. — Черные от копоти, веселые! От канонады оглохшие!

— Нет! — восклицает дед. — Никто лучше Лермонтова про

артиллерию не написал: «И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!»

— Что говорить! — смеется Иванов. — Бог войны наша с тобой артиллерия!

Они замолкают. А я на них люблюсь. Шинели расстегнули. Папахи сняли. Седые волосы на солнце блестят. Улыбаются, довольные.

— Ты знаешь, Коля, — говорит дед, — встретил я в Сибири одного сержанта. Наказал я его несправедливо на войне. За то, что фашиста пленного ударил.

— Лежачих не бьют, — сказал Иванов.

— Да этот фриц у своего же пленного пайку хлеба, оказывается, отнял. А сержант-то мне этого и не объяснил. Испугался начальства. И теперь вот встретились.

— Неудобно вышло, — вздохнул Иванов. — Что ж, нам, командирам, перед сержантом извиниться не грех. Было уж, что там говорить. На вежливость времени не хватало. Поговорить не могли толком. Выполняй приказ, и все тут. Да и кто перед солдатом не в долгу, скажи? Сами ведь солдатами были. Помним.

— Это верно, — ответил дедушка, — не зря скребет на сердце.

Примчался полковник. Снова жахнул из ракетницы. Иванов прильнул глазами к стереотрубе. Дедушка взял бинокль. Мне свой полковник отдал.

Я смотрю в бинокль. В настоящий полевой бинокль!

Разные ведь есть бинокли. Можно и в магазине такой же купить. Такой же, а не такой. Вот винтовка. У нее номер есть. Она на учете числится, как солдат. Потому что она — боевое оружие. Мой бинокль — как винтовка. Он армии служит. Военным помогает. Это настоящий военный бинокль.

Я смотрю в него, сквозь тонкие крестики и черточки, которыми стекло помечено. Разглядываю поле вдали и вдруг вижу, как по нему движутся странные предметы. На санях установлен столб. Это как бы мачта. А на мачте натянуто полотно. Двигается по земле парус. Все ближе, ближе к нам. Но пушки молчат. Парусов уже много на поле. И они быстрее ползут.

— Чего же медлят? — говорит дедушка. — Расстояние позволяет.

Иванов хмыкает, ничего не говорит. А полковник объясняет:

— Отрабатываем дрезденский маневр генерал-майора. Видите, пушки стоят под углом к атаке. Огонь будем вести с близкого расстояния. И на всю глубину.

— Вот как! — изумляется дед. — Да сейчас же тактика другая. Орудия другие. В военных условиях такой атаки может и не быть!

— Может и не быть,— соглашается полковник.— А может и быть...

— Ну,— хохочет дедушка,— вас не проведешь! Молодцы. Да так и надо! Новому учитесь, но и старое не забывайте! И тут начинается пальба.

Пушки грохочут. И я вижу, как в парусах появляются дырки. Один парус пополам сломало — угодило прямо в мачту!

Те паруса, где дыры,— останавливаются. Много «танков» уже подбито. А другие еще идут. Ползут — и все.

У стволов огонь пляшет. Дым клубами. Остановились последние «танки». Все. Победа.

Иванов от стереотрубы отвалился, зубами сверкнул.

— Что ж,— сказал,— спасибо бойцам! Стреляли отлично.— Подмигнул деду: — Давай их поблагодарим. Покажи-ка, как ты умеешь!

Полковник снова из ракетницы жажнул. На опушке солдаты к нам повернулись. Понять не могут, в чем дело? Ведь стрельба закончилась.

А дедушка подошел к краю помоста, сложил руки рупором, набрал воздуха и гаркнул:

— Бла-годарим за служ-бу-у!

Солдаты переглянулись. Быстро выстроились рядом с пушками. И хором ответили:

— Служим Советскому Союзу!

И так складно у них получилось, что мы все засмеялись. Будто солдаты только и знали, что генералам за полкилометра кричать в нарушение всяких уставов.

Потом обед был. Стол стоял огромной буквой «П». За столом одни офицеры сидели. Когда всем налили вина, полковник произнес:

— Товарищи офицеры, прошу встать!

Все встали по стойке «смирно». Щелкнули сапогами враз. И я тоже встал. И генералы мои встали.

— Товарищи офицеры! — сказал полковник.— Предлагаю тост за здоровье дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-майора Николая Петровича Иванова!

Офицеры выпили.

— Ура генералу Иванову,— тихо сказал дед.

Крыша чуть не рухнула от могучего, сильного «ура».

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Мы сидим, как в гнезде.

Я отбросил эту палку, на которую локти ставят и которая наши кресла отделяет. Приткнулся к дедушкиному боку. Он

меня рукой прикрыл. Будто крылом. Как грачи сидим. Грачи в самолете.

— Никто ведь не поверит мне! — бормочу. — За одни весенние каникулы столько пролететь! Столько увидеть! Ты, дедушка, молодец, что меня взял!

— Мне бы и скучно без тебя было! — отвечает негромко дедушка. — Хорошо, что мы вместе летали!

— Еще летим! — улыбаюсь я.

— Летим! — шепчет дедушка.

Лететь нам долго. Много часов. Но совсем не скучно. Потому что мы с дедом говорим. Помолчим. Подремлем. Опять продолжаем длинный разговор.

Действительно, столько замечательного увидел я за каникулы, но на душе у меня кошки скребут. Никак не забуду того парня в застёжках. Фиделя. Тоже прокурор нашелся! Я и без него все про себя знаю. Знаю, что похож был на тех внуков. Но в Москве-то чем я виноват оказался? Сами же явились!

Я спрашиваю дедушку. Он молчит. Потом говорит:

— Подумай!

— Ну, мог бы я им сказать: выметайтесь?

— Подумай!

— Чего еще думать?

— Все-таки подумай. Думать учись.

— Но я же вежливый должен быть.

— А про галстук? Когда этот Глеб про галстук сказал, ты почему промолчал? Знаешь, это как называется? Соглашательство! Ты хоть и не снял галстук, а с Глебом согласился, ясно? Потому что не ответил ему как следует. Промолчал. Примирлся.

Я от деда отодвинулся. Стал в иллюминатор смотреть. Чтобы он не увидел, как в глазах слезы задрожали. Сказанул называется! Соглашательство! Еще чего!

— Вот видишь, — сказал дед, — я тебе правду сказал, а ты обиделся. На правду многие обижаются. На ложь не обижаются. За ложь — спасибо говорят. А правду простить не могут.

Я молчу. Обижаюсь. Потом не обижаюсь. Просто молчу. Думаю. Приваливаюсь к дедушке. Он опять прикрывает меня рукой.

— Честность и правда выше вежливости, — говорит дедушка. — А выше всех — убежденность.

— А как с тем парнем быть? — спрашиваю я. — С Фиделем.

— Никак, — отвечает дед.

— Может, письмо написать?

— Что напишешь? Что ты не такой? Не надо.

— Почему?

— Это в письмах не доказывают. Словам не верят. Верят делам.

Я молчу. Думаю. Что-то щекочет под ложечкой. Какое-то недовольство.

— Тебе досадно? — спрашивает дед.

Я киваю головой: еще как.

— Хорошо! — шепчет он.

— Чего тут хорошего?

— Это значит, недоволен собой. А когда человек недоволен собой, это прекрасно. Хуже нет, если он собой доволен. Пиши пропало. Нет человека. Хоть он и есть, его нет. Умер, пусть даже живой. Человек должен быть недоволен собой. А если ошибся, должен досадовать. Когда он досадует, он ошибку понимает. Досада — это урок.

— А у тебя бывает досада? — спросил я.

Дед замолчал. Я думал, он задремал, мне же из-под руки его лица не видно. Я ворохнулся. Дедушка вздохнул. Значит, не спит.

— Бывает? — повторил я.

— Помнишь телеграммщика? — спросил дед.

— Того забулдыгу? — удивился я.

— Забулдыгу, — вздохнул дед. — Это он теперь забулдыга, а ведь был майор. Вот я и думаю, как же так вышло?

— Чего тут расстраиваться? — опять удивился я. — Досадовать надо на себя, ты говорил. Когда сам ошибся. А тут ошибается другой человек.

— Верно говоришь. Но ведь не бывает же так сразу: сначала — хороший и вдруг — плохой. Давай поразмышляем.

Я согласен. Я люблю, когда дедушка размышляет.

— Давай, — отвечаю я, — значит, он был майор.

— Война началась. Он пошел на фронт. Стал солдатом. Или командирские курсы закончил — стал лейтенантом. Войну майором закончил.

— Дальше что?

— Подожди. Заглянем в мирное время. Еще до войны. Кем он был? Может быть, бухгалтером. Бухгалтерия для артиллерии, например, великое дело. Возле пушек считать надо, чтобы в цель попасть. Вот он из бухгалтеров стал хорошим артиллеристом. Майором.

— Ну и что?

— А вот что. До войны — бухгалтер. Неплохо. А после войны? Опять бухгалтер? Ему это, наверное, не понравилось. Он решил — раз майор, значит, простым бухгалтером работать стыдно, хотя ничего стыдного нет: не звание красит человека, а человек свое звание. Я же говорил — бухгалтерия артиллерии помогает. Значит, и артиллерия бухгалтерии может помочь. Но он не

захотел жить, как прежде. А чтобы по-новому жить, учиться надо. И учиться неохота. Вот и стал он просто майор. Бывший майор. Майор, который ни на что не годен.

— Но это же он виноват,— удивляюсь я.— Почему тебе досадно?

— Досадно мне потому,— говорит дедушка,— что наша армия майора потеряла. А государство — бухгалтера.

Я думаю. Что же делать с этим майором? Но ничего придумать не могу. Что придумаешь? Дед вздыхает снова. Прижимает меня покрепче. Я жмурюсь от удовольствия. Говорю ему:

— Брось ты! Не досадуй! Подумаешь, какой-то пьяница!

Дед меня отодвигает. Смотрит пристально в глаза.

— Антошка! — восклицает он громко.— Не говори таких страшных слов! Надо о любом человеке думать, понимаешь! О любом! Потому что он — человек!

Дед разглядывает меня пронзительно. Удивляется, как я мог такое сказать. А чего особенного я сказал? Подумаешь, пьяница! Да с пьяницами бороться надо! У нас возле милиции про пьяниц выставка даже есть. «За ушко да на солнышко» называется. Дед хмурится.

— Не смей, я тебе просто приказываю: никогда не смей! Не смей думать о людях равнодушно! Люби, спорь, наконец, ненавидь! Но не будь равнодушным! У каждого несчастья есть причина. И ее надо отыскивать. Надо размышлять. Надо помогать людям, чем можешь. Но никогда не закрывай глаза. Не маши рукой, не считай, что есть зряшные люди. А самое главное — не будь равнодушным. Запомни это! И помни всю жизнь!

Я помню.

Я помню голубое небо в иллюминаторе. Солнечные лучи, падающие на лицо дедушки. Коридор между креслами, наклонившимися вниз — самолет шел на посадку. И эти слова, которые сказал дедушка.

ЗАВЕЩАНИЕ

Перед посадкой я снова спросил:

— Когда расскажешь военную тайну?

— А ты не бойся? — сказал дедушка. Он смотрел на меня строго, будто испытывал: трус я или нет.

— Она страшная? — обрадовался я: вот здорово, узнаю страшную тайну.

Дедушка нахмурился.

— Тяжелая,— ответил, помолчав.— И горькая.

И вот мы сидим дома, за праздничным столом, мама и папа поглядывают на нас радостно, довольные нашим возвращением.

Только что ушла Анна Робертовна, растроганная до слез. Дедушка вручил ей пакет с одеждой для будущего внука. Она перебирала рубашки, чуть побольше ладошки, поглядывала на дедушку и швыркала носом.

— О, мон женераль! — повторяла она, а дедушка только крякал от смущения.

Потом французенка ушла, мы остались одни — наша семья: папа, мама, дедушка и я. Я снова принялся рассказывать подробности наших замечательных каникул, но дедушка перебил меня.

— Знаете, други, — сказал он, — надо серьезно поговорить.

Никогда я еще не видел дедушку таким серьезным. Видел грустным, печальным. Видел даже, как он плачет. Но таким простым и серьезным еще не видел.

— Вот что, милые, — сказал он негромко и задумался.

Дедушка молчал, как будто не решаясь сказать что-то очень важное.

— Жизнь не бывает вечной, — сказал он вдруг, — люди рождаются, живут, а потом уходят, чтобы уступить место другим. Это закон природы. Против него человек бессилен. Вот и я.

Дедушка замолчал. Опустил голову.

— Вот и я, — повторил он, — должен подготовиться к этому.

— Как не стыдно! — воскликнул отец — Боевой генерал, а о чем думаешь!

— Что вы, папа, — растерянно проговорила мама.

А я вскочил с места, обнял деда, шепнул ему на ухо:

— Не надо!

Он отодвинул меня. Усадил рядом, обнял за плечо. Ответил отцу спокойно:

— Если хочешь знать, солдат перед боем всегда надевает чистое белье. Без паники и шума. Если возможность есть, непременно помоемся в бане. Думаешь, он собирается умирать? Нет. И не хочет. Но на всякий случай готовится.

Дедушка помолчал.

— Я умирать не собираюсь, но готовым быть должен. Чтобы костлявая не застала врасплох. Вот и решил — написать завещание... Хоть я и генерал, а имуществ особых не имею. То, что есть, оставляю тебе, Ольга, ты хозяйка. Сыну книги. Внуку, тебе, Антошка, орден Отечественной войны, потому что наследникам по закону оставляется только он, остальные сдаются государству.

Он посмотрел на нас посветлевшим взглядом. Мама и папа сидели как в воду опущенные. Да и у меня на сердце кошки скребли. Зачем он затеял такой разговор? О смерти? О наследстве? Разве об этом надо думать?

— Чего носы повесили? — усмехнулся дед. — Дело житейское, простое. Но обязательное. Никуда от него не денешься.

— Папа,— воскликнула мама,— ну разве так можно? Зачем какие-то приготовления! Стоит ли думать об этом?

— Отец,— сказал возбужденно папа,— мамы нет давно, ты должен успокоиться, наконец. И потом, мы, слава богу, вместе. Антошка, ты. Сердце радуется, глядя, как вы дружите!

— Эх, ребятки! — сказал дед.— Зачем успокаиваете меня? Я старый вояка, смертей нагладелся, Лидушку схоронил, так что не боюсь, поверьте, и не о том речь. Не о том!

Он встал, прошелся по комнате. Остановился у окна. Сказал:

— Вот послушайте стихи.

Помолчал минуту. В комнате тихо было. Так перед грозой бывает. Все замирает. В небе. На земле.

Голос у деда был как бы равнодушный. И он будто бы не стихи читал. Будто сам сказал:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе,
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Потом дедушка повернулся.

— Ну вот, Антошка,— сказал он,— настала пора рассказать мою военную тайну.

Я подошел к деду. Встал с ним рядом, волнуясь отчего-то.

Сердце у меня тревожно билось. Еще бы! Разве может быть у генерала неважная военная тайна? Завалющаяся какая-нибудь? Пустяковая?

Тайна у дедушки, конечно, замечательная. Самая рассекретная! Государственная! И ничего, что страшная. Я не трус.

Только чего он молчит? Может, боится? Может, опасается, что мы ее разболтаем?

Так не такие мы люди. Папа, мама, я. Не такие, чтобы болтать по углам. Чтобы военные тайны разбалтывать. Рассекречивать их перед всяким первым встречным.

Чего же молчит дедушка?

— Смелей! — говорю я.

Дедушка смеется тихонько.

— Смелей, говоришь? — спрашивает.

Опять молчит.

— А я вот боюсь, понимаешь-ка. Всю жизнь эту тайну носил, а рассказать боюсь.

Он опять молчит, а потом произносит:

— Дело в том,— говорит дедушка, и голос у него какой-то

неестественный. Деревянный. — Дело в том, — повторяет он, — что твой отец, Сережа, не я. Я не дедушка тебе, Антон!

Слова его словно разрыв снаряда...

ДВА СЛОВА

Знаете ли вы такое слово — беззаветно?

Я прежде слышал просто. Не очень понимал, что оно значит. Дедушка объяснил. Он сказал — беззаветно, это без конца, без края, это значит преданно и горячо. Это значит, веря больше, чем себе.

Беззаветно можно служить, работать то есть. Беззаветно можно бороться. И можно беззаветно любить.

Вот. Любить.

Как часто произносим мы это слово! Люблю мороженое! Люблю на лыжах кататься! Люблю смотреть телевизор!

Маленьких часто спрашивают:

— Ты кого больше любишь? Маму или папу?

Глупый вопрос. На него даже несмышленный малыш отвечает:

— И маму люблю, и папу люблю!

Я тоже так отвечал. До четвертого класса добрался — не очень-то задумывался над этими словами. И дальше бы жил, не раздумывал...

Но бывает в жизни каждого такой день, такой час, такая минута, когда все, что вокруг, он видит другими глазами. Поясневшими. Повзрослевшими. Когда он неожиданно понимает, что у слов, к которым он привык, как к старым детским игрушкам, есть еще один смысл. А может быть, и не один. И что слова — это не просто слова, а значительно большее. Ведь слова служат людям. Означают предметы, их окружающие, поступки, дела. Означают то, что человек чувствует.

Я люблю дедушку. Люблю беззаветно. И знаю цену этим двум словам.

Я люблю его преданно и горячо, я верю ему больше, чем себе. Я хочу во всем быть похожим на деда...

Вот он стоит у окна. Курит сигаретку, сунув ее в разноцветный мундштук. Смотрит себе под ноги. Ждет.

В комнате тишина. Как перед бурей. Перед бурей же затихает все — помните? На земле. И в небе.

Тихо в комнате, я разглядываю деда, на мои глаза навертываются слезы и куда-то исчезают. А в горле застрял тугой комок.

Вот он сказал это. Сказал свою «военную тайну». И я чувствую — со мной что-то случилось.

Я теперь другой. Совсем-совсем. Я будто и не я, а другой человек. Другой мальчишка. Взрослый. Да, взрослый.

Я глядел на дедушку и понимал — со мной что-то случилось!

Я встал. Я подошел к деду. Слезы исчезли, я был теперь совсем другим. Я знал цену словам, о которых не думал раньше. Я встал, подошел к деду, прижался к нему лицом.

Буря грохотала во мне. Но я ничего не сказал. Я только обнял его и прижался крепко-крепко...

И все увидел снова. Снова...

История третья. ПРО ДЕДУШКУ

Горело в тот день солнце. Палило нещадно. Было ему невдомек, что не смеяться надо, а плакать, что лучше бы ему за тучи зайти и не смотреть весело на землю.

А оно припекало. Празднично. Невпопад. Будто не только людей, но даже и солнце застала врасплох эта неожиданная война.

Дедушка был майором. Был молодым совсем. Ехал из Москвы, из отпуска. Слушал, как приятно поскрипывают новенькие ремни, смотрел, как поглядывают с завистью на него мальчишки.

А потом — будто оглох.

Война!

Другие не верили, смеялись, говорили, не может быть, у нас с немцами мир, но дедушка-то сразу понял: может быть!

Война на восток катится, дедушка на запад торопится. С поезда — на машину. С машины — на коня. С коня — на ноги. Идет пешком, ведет за собой командиров да солдат. А навстречу ему — люди.

На телегах едут. Пешком шагают. В детских колясках узлы с одеждой да едой катят. Старики идут с палками. Старухи с котомками. Женщины с маленькими детишками на руках. А те ребята, что постарше, сами что-нибудь тащат. Лица у них хмурые. Взрослые. Ведь война.

Яростно бился майор. Сам пушки заряжал. Снаряды подносил. Сам в фашистов целился.

Но фашисты сильные были! Вместо убитых солдат новые выходили.

Сражался дед до последнего. В ногу ранило. Бойцы его от пушек оттащили. Спрашивают:

— Отступать?

— Снаряды еще есть, — говорит дед. — Сражаться!

Ушли бойцы. Потом вернулись. Спрашивают:

— Отступать?

— Патроны еще есть, — говорит дед. — Сражаться!

Но кончились и патроны. Приказал дед усатому знаменосцу Красное знамя под гимнастерку спрятать. А бойцам знаменосца

всегда в середине держать. Мало ли, враг обойдет, сбоку ударит. Чтобы знаменосец в безопасности был.

И пошли бойцы назад вместе с дедом. Идут по дороге — тихо на ней. Стариков нет. Старух нет. Женщин с детьми нет. Все ушли.

А те, кто не успел, — на земле лежат.

Вот картошка из мешка просыпалась...

Вот детская коляска с узлом перевернулась...

Вот женщина лежит, ребенка к себе прижала. И оба мертвые...

Идет дедушка по страшной дороге.

Голову опустил. Стыдно ему. За армию стыдно, за бойцов своих. За себя стыдно. Не сумели, эх! Не сумели защитить от врага беззащитных людей.

И вдруг по мертвой дороге идет мальчик. И поет.

Дедушка ушам своим не поверил: поет!

Выхо-одила на бе-рег Ка-тю-ша!

На вы-со-кий на бе-рег кру-той.

Усатый солдат, у которого знамя на груди и который всех храбрей сражался, отшатнулся.

— Товарищ майор, неужели дите с ума сошло от страха? А мальчик к ним идет. И все поет:

Вы-хо-дила, пес-ни за-во-ди-ла...

Подошел к дедушке, голову поднял, потому что высоко смотреть, и говорит:

— Чего-то все спят... И мама спит... Я ее толкаю, а она не просыпается...

У дедушки лицо окаменело. Хочет он заплакать и не может. А тут бойцы кричат:

— Танки!

Дедушка обернулся — фашистские танки по дороге пылят.

— Знаменосец! — крикнул дедушка. — Ребенка бери! И что-бы беречь, как знамя, понял?

Отступили бойцы в лес, и вечером, далеко от врага, на привале узнал дедушка от мальчика, что ему три года и зовут его Сережа, а маму зовут Катя и она любит песню про Катюшу. Больше ничего не узнал, как ни бился.

Шли бойцы лесами. Шли болотами.

Если не спал Сережа, на шее у знаменосца усатого сидел. Если спал — дедушка его на руки брал.

Долго шли солдаты. В дождь и в жару. Но мальчик не плакал. Терпел. Полюбили его бойцы.

— В сыны полков бы его взять, — говорил знаменосец. — Да разве ж можно такого крохотного?

Шли бойцы вперед. Нападали на врагов. Выходили из лесу, били фашистов и снова в лесу исчезали. А когда начинался бой, знаменосец с Сережей отходили в безопасное место.

Вывел дедушка бойцов из окружения.

Вышли они не безоружные — с немецкими автоматами, отбитыми у врага.

Вышли не безымянной толпой — со знаменем полка, хоть и простреленным в двух местах: достала знаменосца фашистская пуля. Молчаливыми вышли бойцы из окружения, хоть и радоваться можно: живые остались. Но разве станешь смеяться, когда отступили? Когда оставили врагам свою землю?

Невеселые сидели солдаты. Невеселым был дедушка. И тут Сережа вдруг заплакал. Первый раз за долгую дорогу.

Вздрыгнули бойцы. Вздрыгнул дедушка. Поняли, отчего еще так тяжело на душе. Надо Сережу отдавать. Надо с мальчиком расставаться.

Задумался дедушка. Взял листок, написал письмо жене. Отдал его раненому знаменосцу.

— Спасибо,— сказал,— за знамя. Дальше его развернутым понесем. А вот мальчика довези до Москвы.

Стал дедушка снова сражаться.

Бабушка ему письма присылала. Треугольники такие. В войну конвертов не хватало.

В каждом треугольнике ладошка была. Знаете, как это делается? Кладут ладошку на бумагу и карандашом каждый палец обводят.

Идет война. Сражается дедушка. А ладошки в письмах все больше. Растет мальчик Сережа. Мой папа.

НАША СЕМЬЯ

Я стоял, прижавшись к деду.

Потом услышал, как его обнял еще кто-то. И еще.

Посмотрел я, это папа положил дедушке голову на плечо. Мама взяла деда под руку. Мы стояли маленькой тесной кучкой, прижавшись к дедушке, и он сказал хриплым голосом:

— Какая тесная у нас семья...

— Тесная! — сказал папа.

— И очень дружная! — сказала мама.

— Ну вот,— проговорил дедушка,— теперь вы знаете мою военную тайну.

Он посмотрел на фотографию над папиным столом. Вздохнул.

— Не сдержал я слова,— сказал он грустно.— Лидушка считала, ворошить прошлое незачем, а я не могу уйти с этой неправдой.

— Папа,— произнес отец,— эта неправда — моя правда, слышишь? Ты — мой отец, Антошкин дед, вот и все.

— Ты наш самый любимый человек,— сказал я серьезно. Мы снова сели. Кто на диван. Кто на стулья.

— А ты помнишь что-нибудь, Сережа? — спросил дедушка.

— Только деревья помню,— ответил отец.— Ветки лезли в глаза, и я протягивал руки.

— Почему же ты пел? — спросил я.

— Не помню,— ответил папа.

— И маму не помнишь? — осторожно спросил дед.

— Нет.

Я разглядывал папу. Вот он, оказывается, какой. Был на войне, хотя и не помнит. И еще... Еще у него убили маму... Я взглянул на маму. Что я стал бы делать без нее?

И тут меня осенило! Ведь дедушка и бабушка стали для папы отцом и матерью вместо убитой мамы. Нет, не так. Они и есть отец и мама.

Папа подсел к дедушке, обнял его за плечо. Посмотрел на него пристально. Сказал:

— Дай-ка я тебя поцелую, старый вояка!

Они сидели, прижавшись друг к другу.

Потом мы ложимся спать. И дед ворочается с боку на бок.

— Орден твой можно мне носить? — спрашиваю я.

— Допустим, можно,— улыбается он.— Будешь?

Я думаю. Неудобно получается. Орден все-таки дедушкин.

— Нет,— говорю я,— надо самому заработать.

— Правильно думаешь,— отвечает дед.— Этот орден на память обо мне.

— Память будет и без ордена,— говорю я.

— Ого! — улыбается дедушка.— Прорезается характер!

— В тебя! — шепчу я.

Теперь я всегда думаю о нем. В школе, на уроках. На переменах. Если просто иду по улице, опять думаю о дедушке. Вхожу домой — смотрю на него пристально. Обедаю — гляжу на него.

Вот утро. «Газики» пришли. Мама и папа в машины садятся, а мы с дедом в разные стороны расходимся. Я в школу, он проведать Анну Робертовну. Или в магазин. Бутылки блестят в авоське. Дедушка шагает неторопливо, прихрамывает немного.

Я смотрю ему в спину, пристально смотрю. И все думаю. Думаю.

Смогу ли я таким же, как он, стать? Или не смогу?

Вот прошло время, например. Много времени. И я стал старым. Стариком. Таким же, как дедушка.

Внук у меня есть, как я. И вот интересно — что будет этот самый внук думать обо мне?

Ведь, наверное, может же так быть — утром через много лет мы выходим с внуком из дому, он шагает в школу, а я иду в магазин.

И внук останавливается, глядит мне в спину. И что-то думает. Ведь он же будет что-то думать там, соображать. И вот, например, он соображает что-нибудь такое. Старичина ты, простофиля, старый хрен с редькой! Занудина несчастная! Никакого толку от тебя нет! Только и гундосишь — учи уроки, учи уроки! А сам ничего из себя не представляешь! Никакой исторической личности! Вот дед у тебя был — это да! Генерал!

И станет тут мой внук думать не про меня, а про моего дедушку.

Я долго соображаю, как тут быть?

Нет, я, конечно, не против. Пусть мой внук думает про моего дедушку. Ну, а про меня все-таки станет он думать? Хорошее что-нибудь?

Я вздыхаю. Неизвестно, конечно, что придет в голову моему внуку через много-много лет. Это ведь, в конце концов, от меня зависит. От того, каким я буду.

Буду хорошим, как мой дед, что-нибудь хорошее и мой внук подумает. Например: «Ну, поплелся старикашка? Иди, иди! Да осторожнее, не споткнись!» Разве это плохо, если тебе вслед такое прошепчут?

Часть седьмая. ПРОЩАНИЕ

СТРАННЫЙ ДЕДУШКА

А потом пришло лето. Мой генерал ходит в светлых брюках и белой рубашке, лицо загорело на сибирском солнце, ветер перебирает седые волосы. Свои расчеты взрыва он передал через папу начальнику стройки и теперь ждал ответа.

Мы разгуливали по поселку, заглядывали к Анне Робертовне или на склад к Иннокентию Евлампиевичу, ели мороженое у Зинаиды Ивановны, и все было спокойно, мирно вокруг. Солнце плавilo асфальт на тротуарах, лениво взмахивали крыльями вороны, жизнь в поселке замерла, и только шум со стройки напоминал, что поселок — это еще не все и что, может быть, он так притих и опустел именно из-за стройки, где народ днюет и ночует.

Тишина в поселке меня беспокоила. Да еще эта жара. Было душно, хотелось дождя, и мне казалось, что тишина и покой эти скоро рухнут, исчезнут, растворятся в шуме и беспокойстве.

Дедушка тоже тревожил меня.

То он был очень веселый, разговорчивый, откровенный и раз-

говаривал со мной без конца о всякой всячине, то вдруг замыкался, становился угрюмым, молчал, и как ни старался я расшевелить его, ничего не получалось.

Неожиданно он брал бумагу, ручку, быстро писал что-то, заклеивал в конверт и сам шел к ящику, хотя прежде, отвечая на письма, просил бросить конверты меня.

Меня удивляло странное поведение дедушки.

Я пристально смотрел на него. Ведь он был всегда таким чутким. Чувствовал мои взгляды и молчаливые вопросы. Всегда отвечал на них. Но тут он молчал. А когда я прямо спрашивал, кому он пишет, отвечал кратко:

— Друзьям.

И прятал глаза.

Если ему приходило письмо, распечатывал его еще на лестнице. Быстро читал. Входя в прихожую, рвал на мелкие части. Бросал в унитаз. Спускал воду. И был веселый целый день. Странно! Боксировал меня шутя. Или мы брали с собой акварельные краски, бумагу и шли на гору, откуда видно стройку. И дедушка рисовал, заставляя рисовать и меня.

У меня получалось плохо, да и у дедушки не лучше, но зато красиво! Да, да! Можно, оказывается, и так! Дедушка рисовал вдруг реку совершенно красной. И плотину тоже! И крутой берег напротив. Он менял только оттенки красного цвета. Немного порозовее, немного покирпичнее. И получалось красиво, хотя, если посмотреть поближе, ясно, что дедушка такой же художник, как и я.

— Это наследственное, — шутил я, разрывая свои рисунки, — немного похуже, чем у тебя!

— Не скажи! — спорил дед. — Я не умею рисовать, но вкладываю свои эмоции в цвет. Понимаешь, в цвет!

Я кивал ему, обнимал за шею, мы бросали краски и сидели просто так, разглядывая строгую полосу плотины, рыжие скалы на крутом противоположном берегу, высвеченные солнцем кедрачи, пену, плывущую по воде, сиреневые вспышки электросварки, слушали гудки консольных кранов и далекие взрывы. Это взрывали породу в карьере. Дедушка трепал меня за волосы, я клал голову к нему на колени и смотрел вверх, в небо, бездонное и синее, где нет, совершенно нет никакого края.

— Не может же быть, — размышлял я, — чтобы там не было больше людей! Нигде!

Дедушка задира голову, смотрел долго, внимательно, широко раскрыв глаза. Потом разглядывал меня.

— Ну? — спрашивал я. — Ответь!

Он улыбался.

— Не может! — соглашался он. — Где-то есть! Непременно есть. — И говорил загадочно: — Если человек хочет, люди есть везде...

Я слушал дедушкин голос. Трогал рукой его колючий подбородок, снова глядел в небо и спрашивал:

— Тебе хорошо?

— Хорошо! — отвечал дедушка. И говорил медленно, разглядывая небо: — Как не хочется умирать, Антошка!

СОЖЖЕННЫЕ РИСУНКИ

Я смеялся в ответ, говорил ему:

— Ты никогда не умрешь, понятно? Ты не смеешь!

Он смеялся тоже, отвечал:

— Ваше приказание будет выполнено!

А потом внезапно умолкал. Смотрел на реку уже совсем другими глазами. Какими-то отрешенными, то есть смотрящими пусто, без интереса. Потом собирал краски. Рвал листы с красными рисунками. Собирал мои обрывки. Аккуратно подносил спичку.

Наши рисунки вспыхивали, и обратно мы шли налегке — ведь кисточки и краски свободно помещались в моем кармане.

Как я жалею теперь об этом... Как жалко, что наши рисунки лежат незаметной грудкой пепла там, на горе, а пройдет зима, растает снег, и не будет даже этой грудки. Пепел растворится, его смоем ручей и отнесет в реку... И уже не останется ничего от наших рисунков... Зачем? Зачем мы сжигали их, зачем я не собирал тогда наши картинки, ну зачем?..

Потом дедушка купил маленький радиоприемник. Он носил его всюду, куда мы ни шли. Это, признаться, не очень нравилось мне. Ведь раньше мы могли помолчать. Послушать, как поют птицы или шумит река, а теперь все время играла музыка, но она раздражала дедушку, он сердился отчего-то, крутил приемник, искал другую волну, успокаивался ненадолго, если находил последние известия, а потом опять нервничал, и я не мог, никак не мог понять — что с ним.

Однажды мы шли по улице и вдруг женский голос по радио сказал:

«Григорий Иванович Самойлов разыскивает дочь Надежду, эвакуированную в тысяча девятьсот сорок первом году из Харькова и пропавшую во время бомбежки эшелона в ста километрах от города... Нина Петровна Серегина разыскивает братьев, сестер, двоюродных братьев и двоюродных сестер или тетку Антонину Степановну Серегину, проживавших до войны в Смоленске, улица Кирова, дом пять».

Дед остановился, поднес приемник к лицу и смотрел на него, смотрел странно, будто хотел там что-то увидеть.

Передача кончилась, он взглянул на часы, на шкалу приемника, огляделся по сторонам, пришел в себя.

— Ты что? — спросил я его.

— Да вот, — ответил он смущенно и замолчал.

Дед шагал напряженно. Я тронул его за руку — он был скован, испуганно взглянул на меня, потом вздохнул. Расслабился. Сразу шаги его стали мягче. Он пошел медленнее.

— Да вот, — повторил дедушка, — думаю, думаю. Сколько лет прошло после войны, а люди ищут друг друга. Ищут. Ищут. И находят.

Он взглянул на меня. Повторил:

— И находят, Антошка! Понимаешь меня?

Чего же не понимать? Я кивнул. Сказал:

— Ты стал какой-то странный. Не замечаешь?

— Странный? — удивился он. — В чем?

— Пишешь письма, — сказал я, — рвешь ответы. Носишь без конца приемник. Ты раньше не был таким.

Дед неестественно рассмеялся.

— Ты настоящий разведчик, — сказал он. — Все замечаешь. Все видишь.

Я усмехнулся.

— Как же не видеть? — спросил я. — Ты у меня один дед. Если бы было два. А то один. И я на тебя смотрю. На кого же мне смотреть?

Дедушка обнял меня за плечи. Заглянул в глаза.

— А ты растешь, Антоха, — сказал он. — На глазах просто растешь.

Он стал боксировать меня. Прямо на улице. Я встал в стойку, тоже его тихонько постукал.

— Время идет, — сказал дед, обнимая меня за плечи, и я согласен кивнул. — Время идет, — повторил он. — У кого — к полдню. У кого — к полночи. И надо торопиться!

Я кивнул опять.

— Торопиться, торопиться! — повторил с жаром дедушка и добавил неожиданно: — Мало ли!

Что — мало ли? Я потом уж задумался. А тогда опять кивнул, думая о себе.

Конечно, надо торопиться. Всегда и во всем. А то чего-нибудь не успеешь важное. Или пропустишь. Или сделаешь не так. Или промолчишь, как я тогда, в Москве. И будет досадно. Обидно до слез. Ведь я с тем парнем в красной рубашке дружить мог, а оказалось, что перед ним опозорился. Выглядел тогда, как пластилиновый подлиза. Соглашатель.

Сумею ли когда-нибудь я увидеть снова этого парня в застёжках? И доказать, что я не такой?

Дедушка прав — надо торопиться. Торопиться и не ошибаться.

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ

Однажды мама объявила:

— Еду в командировку.

Оказывается, едет осматривать будущее морское дно. Интересно бы посмотреть, и я сказал:

— Возьми нас!

Дедушка рюкзак стал искать, запел во весь голос:

Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой!

Папа нам позавидовал:

— Вам хорошо, а я один останусь...

— Зачем оставаться? — спросил дедушка. — Поехали с нами. Всего пять дней! Попроси, наконец, отпуск.

Отец стал рассказывать про бетон — что теперь горячее время, и мы с ним согласились: как же, конечно. Если бы не согласились, он бы не поехал, но мы кивнули, и на другой день отец бежал по лестнице через две ступеньки — я сам видел. Еще на площадке закричал:

— Еду! Отпустили!

И вот мы едем в мамином «газике».

Мама газует лихо, перед ухабами не тормозит, нас подбрасывает к самому потолку, дедушка громко крикает, я ему подражаю. Папа не отстает.

— Что это вы, как утки? — спрашивает мама. — Раскрякались?

— Жаль, милиции в тайге нет, — ворчит дедушка.

— Лихачка несчастная! — ругается папа.

— Потолок же прошибем! — кричу я.

Мама смеется.

— Миленькие! — веселится. — Забыли, где находитесь? Это же Сибирь! И дороги у нас тоже сибирские!

«Газик» ревет, ползет в гору, мчится вниз, разбрызгивая воду, форсирует ручьи.

Мы едем по морскому дну, но ничего на море тут не похоже. На дно — тем болсе.

Дорога, телеграфные столбы дороги. Тайга. Птицы поют. Разве вообразишь, что тут скоро вместо птиц рыбы появятся? Будут плавать над бывшей тайгой. Удивляться: неужели, мол, здесь птицы летали?

И знаете, как-то мне странно стало. Не по себе. Настроение испортилось. Трудно подумать — лес живой, бабочки, трава, цветы, и ничего этого не станет.

Мне кажется, не один я так подумал...

Дедушка замолчал, отец притих, мама шутить перестала. Едем мы и слышим лесное веселье. Сороки стрекочут, всякую живность предупреждают, что машина идет. Птички чирикают. Шмели мимо проносятся, словно пули: вж-ж-ж! Живут вот, хлопочут, а не знают, что им скоро переезжать надо.

Ну ладно, шмели улетят, птицы тоже, а как ежи, например? Успеют? Или, допустим, муравьи?

Я читал, как муравьи лес очищают, как мертвеет без них тайга. Но они же крошки такие, от воды не успеют уйти! Погибнут...

Настроение у меня совсем портится. На привале я говорю отцу про муравьев.

— Сравни! — отвечает он мне. — Муравьишки и электричество! Один муравьишка только соломинку поднять может, а наша ГЭС! Какая у нее силища!

Я слушаю отца, и мне все грустнее становится. Конечно! Разве может муравьишка с электростанцией соревноваться?

— Ты не думай, — говорит отец, — что мне муравьишек не жалко. Но что делать? Приходится идти на жертвы.

— А ты не иди! — раздается голос дедушки.

Я оборачиваюсь. Он стоит за моей спиной и сердито смотрит на отца.

— Вообще это не первый разговор у нас, — говорит он папе. — Мелочь — гвозди, доски, цемент. Мелочь — муравьи. Размашисто очень мыслишь, товарищ технократ.

Папа даже побледнел. Технократ — это же бюрократ. Только технический. Технический бюрократ — это такой, который, кроме техники, ничего не видит. Мне не нравится, что дедушка с папой опять ссорятся. Какой папа технократ? У него просто работа такая, он занятой человек. Ему действительно про бетон-то думать некогда, не то что про муравьев.

— Дедушка, — говорю я, защищая папу, — ты все-таки не кипятись!

— «Не кипятись»! — возмущается дед. — Нет, вы на него поглядите! Только что муравьев жалел и вдруг — пожалуйста! Так ты как думаешь все-таки? Что важнее? ГЭС или муравьи?

— Разве можно сравнивать, — говорю я, вздохнув.

— Вот! Вот! Вот! — кричит дедушка. — Правильно сказал. Разве можно сравнить? Какого-то несчастного муравьишку и электростанцию! Нельзя их сравнивать, понимаешь! Никак нельзя! Муравьи — это муравьи. А ГЭС — это ГЭС!

Дедушка неожиданно умолкает. Я вижу — ему плохо. У него всегда такой цвет лица, когда болит сердце. Я вскакиваю, бегу к рюкзаку, достаю склянку с лекарством, капаю в кружку, добавляю воды. Приношу деду, говорю:

— Ты, кажется, просил пить...

— Да, да,— кивает он мне,— спасибо.

Мы переглядываемся понимающе.

— В общем, Антон,— говорит дедушка,— твой папа не прав, хотя он и взрослый.

Папа краснеет. Но дедушка не замечает этого.

— Муравьев надо спасать,— продолжает он.— Взрослым дядям не до этого. Предложи отряду,— смотрит на меня,— составить карту муравейников в затопляемой зоне. А потом перенести их на новые места.

— Донкихотство это,— ворчит отец.

Мы едем дальше.

Тайга расступается неожиданно, и странное поле открывается перед нами. Будто грибы какие-то — пеньки, пеньки, пеньки. Направо — голая земля, налево, впереди, позади... Пни белеют свежими срезами, и если смотреть не пристально — кажется, кто-то расставил по полю множество тарелок.

— Вот готовое дно,— говорит мама.

— Бывает дно песчаное, бывает илистое,— говорит дедушка,— это будет пнистое.

Впереди из-за горизонта поднимается дым. Потом видно пламя. Мне кажется, это пожар. Я нетерпеливо ерзаю на сиденье, и мама прибавляет газу.

Но это не пожар. Костры. Много-много костров. В кострах жгут ветки, а за дымной стеной — рокот тракторов, гул бензиновых пил, оживление, шум.

За дымной стеной — настоящая битва. Люди в касках передвигаются от дерева к дереву. Визжит пила, и дерево падает. Кусты вырубает топорами.

У больших деревьев обрубает ветки. Стволы цепляют специальные трактора. Отвозят к дороге. Складывают в штабеля. Грузят в машины. И на глазах стена деревьев отступает, оставляя свежие пеньки.

Мы выходим из «газика». Смотрим, как сражаются люди с тайгой, как побеждают ее — уверенно и ловко.

К нам подходит мужчина в каске.

— Не из райкома? — спрашивает нас.— А то ждем не дождемся. Людей не хватает.

Человек поглядывает на меня и говорит:

— Нам бы и огольцыгодились! Человек сто. Можно и двести. Ветки таскать! Костры палить! Веселая работа!

Дедушка стоит, опустив голову. Перед ним раздавленный муравейник. Виден гусеничный след. Наверное, трактор проехал. Муравьишки хлопчут, суеются, таскают бревнышки-хвоинки, пытаются отремонтировать свой дом.

Дед поднимает голову, спрашивает человека в каске:

— Муравейников много?

— Полно! — отвечает он вссело. — Все же тайга!
— Ну и как с ними?
— С кем? — не понимает мужчина. — С помощниками? Да не хватает!
— Нет, — говорит дедушка, — с муравейниками?
— Как? — удивляется человек. — А никак! Нам про них думать некогда. Нам лес вырубить надо.
Он уходит. Деревья падают одно за другим. Урчат трактора. Дымят костры.

МОРЕ И МАМА

Мы едем дальше.
Дедушка хмуро смотрит по сторонам. Папа поглядывает на него боязливо. Боятся заговорить. Я тоже молчу.
Что тут скажешь?
Дедушка расстроился, его понять можно. Он за муравьев заступился, а по муравейникам тракторы ходят. И ничем не поможешь. Конечно, можно муравейники спасти. Перенести их на новое место. Но много ли? Тайгу уже рубят. Торопятся. До муравейников дела никому нет.
— Не огорчайся, — шепчу я дедушке.
Он обнимает меня, прижимает к себе. Разглядывает мое лицо. Подмигивает невесело. Шепчет в ответ:
— Просто я старый Дон-Кихот! Шабашников не победил, помнишь? Муравьев не защитил! Много чего не сделал!
Он хмурится, смотрит в окно. Я заглядываю дедушке в глаза, мне его погладить хочется, сказать какие-нибудь слова. Но что слова значат? Нужно сделать то, что он не успел, вот это серьезно. «С шабашниками буду бороться, — решаю я, — муравьев спасу. Мало жалеть, надо делать, вот что».
Мы приезжаем в деревню, где маме надо работать. Идем вместе с ней в контору. Там уже люди собрались. Мама велит нам на завалинке посидеть. Подождать, пока она выступит.
Мы послушно садимся. Окна в доме распахнуты. Слышно, как мама говорит:
— Товарищи! Будущее море не должно стать источником болезней. Поэтому территорию, которую зальет вода, надо специально подготовить. Зарыть землей помойки. Предварительно обработать их известью. Все, что может вызвать инфекцию, — сжечь. Это не просто предосторожность. Это нужно для всех вас. Для вашего здоровья...
Я думаю про будущее море. Оно будет огромное. По нему пойдут пароходы. Наверное, морские. И волны, наверное, будут как на море. Огромные. Настоящие!

Вот море будет настоящим, а мама говорит про помойки. Неужели это важно для моря?

Мама закончила выступление, пошла по дворам. Что-то горячо говорит. Жестикулирует. Рисует карандашом на листочке бумаги. Пишет.

Потом возвращается к нам.

— Половина деревни уже уехала, — говорит она, — давайте погуляем.

Я думал — это интересно, посмотреть на бывшую деревню. А оказывается, печально. Еще как печально.

Вдоль улицы стоят голые печки. Заборчики, которым нечего теперь разделять. Колодезные журавли осиротело понурили головы.

И вдруг на дорогу выскочила желтая кошка. Села посредине и замыкала жалобно. Эх, кошку забыли! Мама взяла кошку на руки, и та сразу успокоилась, замурлыкала.

Я представил, как будут стоять на дне моря старые печки, которые раньше людей согревали, и мне сделалось неуютно.

И тут послышались голоса.

Мы пошли по улице, миновали старые амбары и увидели избушку на курьих ножках. Окна и те покосились от старости.

Возле избушки стояли мужчины и о чем-то громко спорили. Мы подошли поближе. Поздоровались. Спорщики затихли ненадолго. Потом закричали опять. Оказалось, они и не спорят совсем. А, перебивая друг друга, что-то доказывают маленькой старухе.

Старуха была повязана темным платочком почти по самые глаза. Смотрела испуганно на кричавших. Губы у нее дрожали. Время от времени старушка глубоко вздыхала и упрямо повторяла:

— Никак не могу!

— Пожалуйста! — кричали люди.

— Очень просим!

— Там же лучше!

— Никак не могу! — отвечала старушка.

— Новый дом! — кричали мужчины.

— Бесплатно!

— Все удобства!

— Никак не могу! — отвечала старушка.

— Да что с ней разговаривать! — крикнул один.

— Грузи в машину, и только! — гаркнул второй.

— Прощайся, Яковлевна! — велел третий.

— Никак не могу! — сказала упрямая старушка и шмыгнула носом.

Мужчины двинулись было к избушке, решительно загибая рукава, но один оглянулся на нас и сказал:

— Пойдите-ка, да это никак генерал Рыбаков!

Человек подошел к дедушке, снял кепку, оголив лысую голову, и сказал:

— А я вас еле узнал, товарищ Рыбаков. Зимой вас видел, когда из снега откапывались. Я тоже в штабе был.

Дед молча кивнул. Лысый мужчина неловко переминался. Может, неудобно было, что на старушку кричали.

— Товарищ генерал! — воскликнул он вдруг обрадованно. — Может, вы нам поможете? Вот старушка у нас есть. Хороший дом ей на новом месте колхоз построил. Бесплатно! Живи, радуйся! А она никак со своей хибарой проститься не желает!

— Чем же я помогу? — удивился дедушка.

— Как же! — обрадовался мужчина. — Вы все-таки генерал! Авось послушает!

— Коли авось, давай попробуем, — ответил дед, подошел к старушке, поклонился.

— Неужто генерал? — удивилась старушка, разглядывая деда.

Потом вдруг засуетилась. Убежала в избушку. Вышла, прижимая к себе фотокарточку в деревянной рамке.

— Может, видел где, а? — с надеждой спросила она дедушку, повернув к нему рамку. — Коля, мой сынок. Пропал без вести.

Дедушка взял фотографию, долго смотрел на нее.

— Нет, — сказал, помолчав. — Не видел.

— Может, еще живой? — спросила нерешительно старушка, теребя темный фартук.

Дедушка задумался. Разглядывая снимок, покачивал головой. Потом спросил:

— Ждешь, мать?

— Вот пристали, окаянные, и все! — ответила старушка. — «Давай уезжай». Как же я уеду-то? Вдруг Коля придет? А тут ничего и нету. Одна вода.

Дед помолчал. Сказал негромко:

— Это ты зря, мать. Придет твой Коля, найдет и на новом месте. Не сомневайся.

Старуха надвинула платок на самые глаза, всхлипнула, постояла. Вошла в избу. Вернулась быстро с белым узелком — заметно было, что на дне лежит фотография в рамке.

Повернулась к избе. Перекрестилась сама. Перекрестила избу.

— Что, Яковлевна? — спросил лысый мужчина, и голос у него дрогнул: — Палить?

— Пали, родимую, — ответила старуха и заплакала.

Не первый раз я видел, как старики плачут. Одинаково плачут. Лицо совсем и не плачет, а слезы текут.

Лысый мужчина сказал негромко:

— Ну! С богом!

Другие взяли ведра и пошли плескать на крыши амбаров, на старухину избушку. Потом небо побледнело. Высокие языки пламени взметнулись над деревней.

От пламени стало жарко, мы отошли подальше.

— Как в отступлении,— грустно сказал дедушка.

— Но это же наступление! — воскликнул отец.

— Зачем они жгут? — удивился я.

— Положено по инструкции,— ответила мама.— Что не нужно и засоряет местность, надо сжечь. Из санитарных соображений.

Мы уезжали молча.

Уже домой мы вернулись, а мне долго еще мерещилась фигурка старухи с белым узелком в руке. Я глядел ей вслед, и сердце мое сжималось от жалости...

ВЗРЫВ

Потом дедушку пригласил начальник стройки.

— Проект понравился,— сказал отец,— хотят, чтобы ты командовал взрывом.

Вот здорово! Не зря дедушка в складе считал часами. Высчитал: одним взрывом — целая площадь для монтажа турбин.

К взрыву готовились долго. Не один день. По утрам дед уезжал с отцом на стройку. Возвращался поздно, пропыленный, прожаренный солнцем, просоленный потом.

Наконец сказал мне:

— Завтра в полдень!

Я спросил:

— Кешку можно позвать?

— Нужно! — воскликнул дедушка и добавил с гордостью: — Это самый большой взрыв в моей жизни.

Я позвал Кешку, а пришел весь отряд. Да что там! Если я и не звал, все равно все бы явились: ведь весь поселок окружил площадку. Вон Анна Робертовна, одна, без младенцев, сегодня выходной. Иннокентий Евлампиевич приветливо нам сигнализировал...

Дед ходил по диабазовым скалам торжественный, в белой рубашке с галстуком, аккуратно причесанный, за ним шагала толпа взрывников и начальник стройки. Наш класс сбился возле меня — я всем показывал, как нужно вести себя при взрыве: уши зажать, а рот открыть. Дедушка рассказывал мне — чтобы не оглохнуть от канонады, артиллеристы открывают рот. Газо-

вый Баллон сопел возле плеча, мне стало смешно — я вспомнил, как выиграл у него «американку», как он выбирал меня председателем. «Неужели все это было,— подумал я,— было и прошло?..»

И тут произошло замечательное событие. Не взрыв, нет! Сначала я увидел радостное лицо старшей вожатой Гали. Она пробиралась сквозь толпу к нам и махала рукой. За ней двигался какой-то парень в солдатской форме. Он тоже махал рукой и тоже улыбался. И это был Борис Егоров!

— Смотрите, кто приехал! — кричал я.

Началась суматоха, ребята кинулись к Борису, хотели его качать, стали поднимать, но вожатый наш оказался тяжелый, его уронили, пошла свалка, куча мала. Взрослые на нас зашикали, будто сейчас цирковое представление начнется. Борис поднялся, покраснев.

— Вы что! — сказал он. — Это не меня качать надо, а генерала Рыбакова. Смотрите!

Все повернулись к площадке. Дедушка надевал каску. Потом он махнул красным флажком, и дежурные, оцеплявшие площадь, засвистели в специальные свистки. Дедушка поднял вверх ракетницу, и небо прорезала красная звездочка.

Я вздрогнул.

Пронзительно, жутко завывала сирена. Так, наверное, сирены были на войне. Во время воздушных налетов. Я представил, что сейчас на нас самолеты станут бомбы кидать, и мне спрятаться захотелось...

И вдруг все смолкло.

Я слышал, как за спиной тяжело дышит Кирилл.

— Закройте уши! — сказал негромко я, и в эту секунду диабазовая площадка полезла вверх. Вся сразу!

Потом стала рушиться.

В неровной плоскости возникли каменные фонтаны. Они обгоняли породу, взлетали все выше и выше, дробясь на отдельные брызги — каменные глыбы. Наконец фонтаны, разогнавшись, стремительно полетели вверх — почти как ракеты, и самые большие камни стали замедлять ход, останавливаться в воздухе. Осколки поменьше обгоняли их, а камни все висели, висели в воздухе, а потом стали падать.

И тут все смешалось. Это был настоящий смерч. Тяжелые глыбы уже валялись вниз, а каменные брызги еще взлетали. Было похоже, что кто-то могучий взялся руками за края диабазовой площадки и встряхнул ее резко, как одеяло. Знаете, как хлопают одеяла! Так и тут, одеяло взметнулось, рассыпалось на глыбы камня и фонтаны осколков, повисело в воздухе и опустилось вниз, да так, что сразу из-под этого одеяла брызнула в стороны пышными струями каменная пыль.

Грохот заткнул уши тяжелой волной, заполнил открытый рот, взметнул волосы на голове, отшатнул назад.

Еще не успела осесть пыль, как я услышал восторженный голос Кирилла Пухова.

— Вот это картина! — крикнул он.

И тут я увидел деда.

Он шагал к нам пошатываясь. На каске, на лице, на белой рубашке с галстуком лежал плотный слой пыли, а по руке текла струйка крови.

Я бросился к нему, оттолкнув человека с красным флажком, обнял крепко, закричал испуганно:

— Ты что? Что?

Но дед засмеялся и запел:

Если смерти, то мгновенной,

Если раны — небольшой.

К площадке со всех сторон двинулись экскаваторы. Как на штурм крепости. Заурчали моторы самосвалов.

Разбитый диабаз загромыхал по днищам кузовов.

БЕСЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

Ранка оказалась небольшой, царапина: диабазовый осколок задел. Дежурная врачиха — когда устраивают большие взрывы, всегда дежурит врач — смазала ранку йодом, и мы отправились домой.

У деда было прекрасное настроение — он шутил, первый смеялся своим шуткам, расспрашивал Бориса про службу. Егоров с Галей и весь отряд проводили нас до дому и хотели идти, но дед их не отпустил, затащил к нам, устроил праздничное чаепитие.

В большой комнате стало сразу тесно, ребята расселись на полу, дед подливал из большого чайника чай, и всем было хорошо, весело, и лучше всего было мне.

— Эх, ребята, — воскликнул дедушка, когда весь чай выпили, — как хорошо что-то делать! Понимаете, просто делать. Учиться. Работать. Дружить. Вот я — старик, жизнь прожил, а помог взорвать площадку и радуюсь, как мальчишка. Даже, кажется, помолодел. Конечно, не все просто. Не все получается так, как хотелось. Но это же хорошо. Есть за что бороться! Улучшать!

Потом мы пели. Конечно, начали с любимой:

Уходили комсомольцы

На гражданскую войну...

Расходились шумно, дед каждому жал руку, желал успехов. Последним выходил Пухов. Я уже на площадке был, провожал ребят, но разговор услышал.

Газовый Баллон сказал:

— Извините меня, Антон Петрович.

— За что? — удивился дедушка.

— За белку, — ответил Кирилл.

— Это ты ее убил? — спросил строго дед.

— Нет, — ответил Пухов.

— За что же извиняешься? — удивился дед.

— Я рядом стоял и смотрел, — ответил Газовый Баллон.

Он вылетел из двери как пробка. Я едва успел посторониться. Кирилл был красный как рак. На меня он даже не взглянул.

«Ну и дела!» — подумал я.

Когда ребята ушли, дед отправился за почтой. Вернулся побледневший. В руке распечатанный конверт. Я думал, он снова его разорвет, но дед сунул письмо в карман, уселся в кресло, взял книжку. Смотрит в книгу и ничего не видит. Остановился на одной странице, дальше не листает. Я накапал ему лекарства, удивился:

— На тебе лица нет.

— Пустяки, — ответил дед, — наверное, от взрыва.

От взрыва! От взрыва он себя прекрасно чувствовал, я же не слепой. От письма, вот от чего.

Бывает же так! Сидят в одной комнате два близких человека, и не ссорились, а молчат. Дедушка молчит. И я молчу. Что ни спрошу, он ответит кратко и снова думает. Думает, думает, думает...

Вскочит, походит по комнате большими шагами, в кухню выйдет, покурит. Снова сидит. Опять молчим. И так до самой ночи.

Меня просто зло разбирает. Вот как можно, оказывается! Родному внуку не сказать! Что там стряслось еще?

Скажу вам честно — все во мне спуталось. Беспокойство за деда — вон какой пришибленный сидит. И досада на него — будто поделиться не может. Ведь сразу же легче станет!

И я решил ему помочь. Пусть бесчестным путем, но все равно помочь.

Еще вечером задумал — как только уснем, возьму я это письмо и прочитаю. Будь что будет. И утром дедушке скажу, чтобы перестал хандрить. Не стоит выеденного яйца. Разве не так?

Никакое письмо не стоит, чтобы из-за него расстраиваться.

Мы легли спать, и меня сразу потянуло в сон.

Знаете, как в сон тянет? Вдруг — раз! — ты куда-то проваливаешься. В какую-то пустоту. Чтобы не уснуть, главное — в эту пустоту не провалиться. Очнуться, головой встряхнуть! Выбраться из пустоты. Если в комнате темно уже — на окошко посмотреть. Окошко ночью светлее, если лето на улице.

Я раза три проваливался. Но выбирался из сна. Поглядывал — спит ли дедушка. Он не спал. Лежал с открытыми глазами. Наконец я увидел, что спит. Глаза закрыты. Чтобы убедиться, я на цыпочках к нему подошел — посмотрел поближе. Спит!

Я подкрался к брюкам. Залез в карман. И тут, как назло, мелочь из кармана посыпалась. Забренчала! Я дышать перестал. Замер! Вот позор будет, если дедушка проснется и увидит меня за этим занятием!

Но в комнате было тихо. Я снова полез в карман. Письмо захрустело, будто вафельное. Наконец вытащил. Пошел на цыпочках в ванную, включил свет, заперся. Развернул письмо.

Оно было написано мелкими буквами. Я торопился и не все разбирал. «Дорогой Антон Петрович... так... слушал радиопередачу о розыске родных... это было на дороге Гомель... видимо, Сережа... жену звали Екатериной Ивановной... совпадает год рождения... сохранилась единственная фотография... сообщите, как поступить... прошло столько лет...» Последние слова были написаны крупными, почти печатными буквами: «Может, все и не так, а я зря мечусь по свету и только принесу вам тревогу. Сообщите, как поступить». И все. И адрес.

Я пожал плечами, ничего не понял, вложил письмо в конверт и вернулся в комнату.

Я вошел и вздрогнул: дедушки не было!

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Я так напугался, что даже ничего не успел сообразить.

Я выбежал, хлопнув дверью, в прихожую, заглянул в комнату, где спали отец и мама, потом выскочил на кухню и облегченно вздохнул. Ф-у-у! Дедушка сидел на табуретке и курил в темноте. Огонек сигареты то вспыхивал малиновым фонариком, то угасал.

Я включил свет и сказал:

— Как напугался! Ты же спал! И вдруг исчез!

Дедушка молча смотрел на меня, на мою руку, я перевел взгляд туда же, и меня словно обдали кипятком. В руке я держал письмо!

Я поднял глаза. Что я скажу, что объясню в оправдание? Да и какое может быть оправдание, если я залез в карман, как какой-то вор! И это никак не объяснить.

Я поднял глаза, чувствуя, как бьется в висках прихлынувшая кровь.

Дедушка смотрел на меня пронзительно, он смотрел как бы даже и не на меня, а в меня. Как будто разглядывал мое устройство. Каким таким образом я сделан, что сумел залезть в чужой карман?

— Я не шпионю, не подумай,— проговорил я наконец мрачно.

— Еще бы! — сказал он.

— Я просто прочитал, понимаешь! Ты какой-то убитый, и я решил прочитать, потому что нельзя так убиваться из-за этих писем!

Он посмотрел на меня снова. Но уже совсем не так, как вначале. Потом прикрыл глаза, сказал:

— Погаси свет и садись. Пошепчемся!

— Пошепчемся! — шепнул я горячо, и волна нежности окатила меня.

И вот мы сидим в темноте, и я шепчу, что он поступает неправильно, что он мой дед и должен все рассказывать внуку, ведь мы же друзья, в конце концов.

Сигарета вспыхивает малиновым огоньком, еле освещая дедушкин лоб, нос, подбородок. Глаз его не видно — они в темноте, и я могу судить о том, что он думает, только по словам. По словам — это трудно. Нужно видеть глаза. Всегда видеть глаза! Дедушка шепчет:

— Ты прочел?

— Ничего не понял, очень мелко написано. Это твой друг? Фронтовой?

— Нет,— отвечает дедушка,— не друг. А я думал, ты понял. Это не друг, Антошка, а чужой человек. Может быть, это твой дедушка.

Я смеюсь.

— Мамин папа давно умер,— говорю я,— и дедушка у меня один, не то что у Кешки.

— Ты забыл мою военную тайну? — спрашивает дед.

Будто кто-то бьет меня прямо в поддых.

— Ты что! — кричу я шепотом.— Ты что говоришь! Какой еще дедушка? Дедушка — это ты!

Он берет меня за руку. Гладит своей ладонью. Ладонь у деда шершавая, грубая и горячая.

— Слушай, Антошка,— шепчет дед,— слушай внимательно и не перебивай. Тогда, в войну, когда я нашел Сережу, я написал Лидушке, чтобы она поискала его отца. Но как? Она мне так и ответила: искать будем после войны. Но и после войны искать было трудно. Почти невозможно. Что я знал? Его звали Сережа. А его мать — Катя. Екатерина. Все. Если бы не танки тогда,

я нашел бы тело матери, взял документы. Но немцы напали неожиданно. Пришлось отступать. Я запрашивал детприемники — были такие места, где занимались с детьми, выясняли про них сведения. Писал в другие организации. Везде отвечали: установить родителей невозможно. И мы успокоились. Усыновили Сережу. Думали — все! Навсегда!

Он умолк. Ладонь его лежала на моей руке, и я чувствовал, как она вздрагивает. Я накрыл ее своей ладонью. Сжал ее.

— Ну и что! — сказал я. — Конечно! Конечно, навсегда! И ты мой дедушка, хватит об этом!

— Подожди, — ответил он, — я тоже думал так. Не хватает сведений — и все. Но оказалось, на радио теперь есть специальная передача. Разыскивают детей — бывших детей. По воспоминаниям. По мелким деталям. Я написал туда письмо. По радио рассказали про Сережу. Как он пел. Как звали его маму. На какой дороге это было. И примерно когда.

Огонек сигареты давно погас, но дедушка не замечал этого.

— И вот пришло письмо, — сказал он. — Может быть, это Сережин отец. И твой дедушка.

Я чуть не закричал. Меня душили слезы и досада. Такая досада на дедушку, на его глупое поведение.

— Зачем? — прошептал я. — Зачем ты это сделал? Зачем? Зачем? Зачем?

РЕШЕНИЕ

Он молчал долго. Он, наверное, не думал, что я так возмущусь. Потом вспыхнула спичка и сигарета опять загорелась малиновым огоньком.

— Возьми себя в руки! — сказал дедушка твердым голосом. — И будь мужчиной!

Он помолчал. Потом произнес:

— Хочу верить, что ты поступил бы на моем месте точно так же. Иначе ты бы не был моим внуком.

На слове «моим» он сделал ударение.

Я успокоился. Дедушка говорил со мной на равных. А если с тобой говорят на равных, значит, нельзя пищать. Нельзя паниковать. Надо стоять вровень с человеком, который говорит с тобой серьезно.

Я повторил, только теперь другим тоном:

— Зачем ты это сделал? Объясни!

— Я убежден, что папа никогда — понимаешь, никогда! — не предпримет попытки искать родных. Родным он считает только меня, и я ему за это благодарен.

— Правильно! — шепнул я.

— Правильно с точки зрения Сережи. С твоей. Но я обязан сделать все! Использовать все возможности! Это долг моей совести! Последний долг!

— Что за полуночники! — раздался голос.

Мы вздрогнули и зажмурились от яркого света.

На пороге кухни стоял папа в одних трусах и с подозрением разглядывал нас.

— А накурили! — возмутился он.

— Ничего, ничего, — пробормотал смущенно дедушка, — ты иди, нам не спится, ведь мы же утром никуда не торопимся!

Папа помотал головой, попил воды, щелкнул выключателем и ушел, буркнув:

— Настоящие заговорщики, по ночам разговаривают.

Я усмехнулся. Действительно, заговорщики. Говорим о папе, а он даже и не подозревает.

Вообще! Дедушка шлет письма, ищет папиных родственников, а мы и не догадываемся. Не предполагаем, черствые люди, что с дедом творится, что с ним происходит!

Я прижался лбом к дедушкиной руке.

— Что же ты, старичок мой, — сказал я, — так себя мучаешь!

Он тихонько засмеялся.

— Эх, Антошка, Антошка! Как интересно тебя наблюдать. Какой ты забавный человечек!

— Я не человечек, — сказал я, — а человек! Я расту, ты сам говорил. И потом, почему вы, взрослые, всегда нас маленькими считаете. Если человек ростом небольшой, это же еще ничего не значит! Он такой же человек, как и взрослые! И все понять может! Разве не правда?

— Правда! — ответил дед. — Еще какая правда! Но что же делать мне?

— Ты спрашиваешь? — удивился я. — А сам давно решил.

— Решил! — твердо ответил дедушка и потушил сигарету.

ЧЕЛОВЕК В ВЫШИТОЙ РУБАШКЕ

Что он решил?

Весь день дедушка сам не свой. Бродит по комнате. Вытирает посуду на кухне. Одна чашка бьется.

— К счастью! — кричу я, но слышу в ответ лишь напряженное молчание. Вполне возможно, он даже не понял, что разбилась чашка. Подобрал осколки, высыпал в мусорное ведро, даже не заметив своих движений.

Вечером дедушка говорит, пряча глаза:

— Ко мне хотел бы приехать друг. На один день. Может, на два.

Папа читает газету, мама гладит белье, они заняты своими делами и совершенно не замечают, что творится с дедом.

— Пусть поживет у нас, — говорит папа.

— Вы это имели в виду? — спрашивает мама.

Дедушка кивает, нажимает на пальцы, хрустит ими. Смотрит в одну точку. Потом сильно хлопает себя по коленкам.

— Достаточно! — восклицает громко.

Мама и папа смотрят на него с удивлением. Дед быстро проходит по комнате. Останавливается. Покачивается с пятки на носок.

— Ольга! — говорит он энергично. — Дело! Дай какое-нибудь дело!

— Нет у меня дел, — отвечает мама.

Тогда дед подходит к ней, отнимает утюг, начинает гладить. Мама возмущается, просит не вмешиваться в ее дела, но он ее как будто не слышит.

— Подготовь фронт работ! — кричит он. — Давай, давай! Я заканчиваю гладить... Всяческое самосозерцание, между прочим, вредно! И вообще! Если человек принял решение — дальше надо только действовать! Ясно?

— Ты это кому? — удивляется отец.

— Сам себе! — отвечает дед и подмигивает мне. — И вот еще Антошке! К тебе это не относится.

Он изменился. Как только отнял у мамы утюг, все переменялось.

Он уже не ходил впустую по комнате, не курил подряд по несколько сигарет. Действовал! Начал копать газон возле дома. За два дня перепахал, наверное, гектар, а когда за лопату брался я, прогонял прочь или умолял:

— Антон! Оставь мне работу! Прошу честью!

И подмигивал весело. Но я-то понимал его! Понимал это его натянутое веселье. Отправил телеграмму и ждет. А чтобы не думать, не мучиться — ищет отвлечения. Всякую работу.

Дни шли, я чувствовал, как растет напряжение во мне. А дед не сдавался. Копал землю. Обливаясь потом, поднимался напиться. Вечером отчитывал отца:

— Плохо поставлено озеленение. Хорошо, кедры кое-где оставили, но нужен подрост. Молодая зелень. Новый поселок, а травы, стыдно сказать, даже нет!

Папа с ним соглашался. Отвечал иронически:

— Хотели создать хозяйство по озеленению, но, я думаю, ни к чему. С твоей энергией ты один весь поселок превратишь в цветущий оазис.

— Что ж, — отвечал дед, неожиданно задумываясь, — если так будет продолжаться...

Но продолжалось недолго... Однажды, когда он копался

во дворе, к нам позвонили. Я открыл дверь и сразу понял: тот.

Передо мной стоял высокий седой человек с черными бровями. На нем была красиво вышитая украинская рубашка, в руке он держал чемодан.

Он поставил чемодан на пол, молча пожал мне руку — рука у него была мягкая и потная. Я незаметно вытер свою руку о штаны, побежал к окну, позвал деда. Тот явился немедленно, остановился в прихожей, глубоко вздохнул.

— Ну что ж! — сказал он. — Проходите.

В общем, я не отходил от них ни на шаг. Гостя звали Савченко. Николай Михайлович. Свое имя он выговаривал интересно — Миколоай. Я глядел на него и не мог представить ни на мгновение, ни на полмгновения даже, что он может быть дедом. Моим дедом. И отцом папы.

Я разглядывал его чужое лицо, его брови, словно накрашенные черной тушью, его рубашку, его руки, приглядывался к походке, прислушивался к голосу, и больше всего мне хотелось одного. Отозвать его в кухню и сказать умоляюще:

«Уезжайте! Пожалуйста, уезжайте! Зачем вы приехали?»

— Мальчик знает? — спросил приезжий.

— Его зовут Антон, — ответил, кивнув, дед.

Савченко словно не услышал.

— А Сергей? — спросил он.

— Нет! — ответил дед.

— Тогда слушайте! — сказал Савченко.

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ. ПРО ТРУБАЧА

Он тогда совсем молодым был, этот седой человек.

Как только про войну узнал, сразу добровольцем записался. Обнял жену свою Катю, поцеловал сына Сережу, сел в грузовик и уехал на войну.

За грузовиком пыль столбом поднималась. Сквозь пыль смотрел он на жену и сына, взгляда оторвать не мог...

В первом же бою отличился. Немец кинул гранату, в окоп попал. Крутится граната на дне окопа — на нашу не похожая, с длинной ручкой, и не взрывается. Потом уж он понял, что у фашистских гранат время до взрыва дольше, не то что у наших — кинул и бабах! Эта еще на земле крутится. А тогда ни о чем не подумал. Наклонился стремительно, схватил гранату и обратно немцам швырнул. В воздухе взорвалась. А его страх прошиб. Да поздно, слава богу. Если бы раньше испугался — все, могила. А тут жив остался, благодарность от командования получил, гранат перестал бояться.

Через эти гранаты все и вышло. Прославился он, как храбрец

необыкновенный. Голова закружилась от похвал. Схватил он еще раз гранату, а она прямо в руке взорвалась.

И опять ему повезло.

Да лучше бы не повезло! Это он так сказал. Лучше бы, сказал, убило на месте. А его только контузило, да один осколок руку рассек.

Упал он, оглушенный, а в себя пришел — над ним немец стоит.

Попал он в плен. В фашистский плен. В самое страшное место — в лагерь смерти. В лагере узнавали, кто кем до войны был. Искали разных специалистов. Инженеров. Электриков. Зачем-то нужны были. А он был музыкантом. До войны в оркестре играл. На трубе. Солист оркестра. Это значит, вместе со всеми может играть, а может и отдельно — если надо, конечно.

Когда фрицы узнали, что он солист, очень обрадовались. Он не понял почему. Зачем им музыканты? Разве можно было догадаться? Разве можно было подумать даже, что зверство и таким бывает?

Его взяли в оркестр. Собрали музыкантов всех национальностей. Раздали ноты. Велели музыку разучить. Всякие вальсы. Веселые марши. Фокстроты.

Музыкантов специально из разных стран подобрали. Языки у всех разные. Говорить нельзя. А ноты — общие. Нот не жалко, пожалуйста.

Разучили музыканты музыку, и началась у них работа.

— Боже мой! — сказал он. — Боже мой! Зачем я тогда схватил гранату! Лучше! Это было бы лучше!

Работа была страшная. Музыкантов берегли. Им даже давали побольше еды. Потому что у музыкантов должен быть неплохой вид. Не цветущий, но и не ужасный. Не как у остальных.

Остальные работали день и ночь в каменоломнях. А потом их отводили в баню. И отправляли в другой лагерь.

Это так говорилось. Из трубы в бане валил черный, смрадный дым. Это была печь, где сжигали людей. И ни в какой лагерь они после этой «бани» уже не уезжали.

Но так говорили фашисты. Улыбались ласково, провожая в «баню» новую партию. Махали пленным белыми перчатками. И играл оркестр. Всякие веселые мелодии. Вальсы, марши, фокстроты.

— Счастливого пути! — смеялся фашистский комендант, а потом подходил к трубачу и бил его, коротко размахнувшись, кожаным хлыстом по лицу. — Эй, — кричал он, — солист! Веселее играть! Веселее!

И трубач играл соло на трубе. Весело играл, беззаботно.

Хоть пляши! Ну, настоящий праздник! И те, кто собирался в «баню», смотрели на него с ненавистью, хотя по лицу трубача сочилась кровь от удара хлыстом.

Сначала он плакал по ночам. Потом не плакал — слезы все кончились. Он страдал от того, что не мог даже плакать. Ему хотелось умереть. Но музыкантов берегли.

Однажды он бросил трубу. Стал топтать ее ногами, проклиная, что выучился музыке. Оркестр заглох. Его выхватили из строя, и он обрадовался этому. Обрадовался, что конец, все. Что и его отправят в «баню». Может быть, это было легче, чем играть.

Но его избили шомполами. И дали новую трубу. Он опять солировал. Только теперь по-новому. Он глядел сухими глазами на людей в полосатых пижамах, которые уходили в печь, и играл так, что в веселой музыке слышались зловещие ноты.

Фашистам нравилось, как он играет. Они были довольны. Они не могли понять, что эти ноты посвящаются им. Комендант бил трубача хлыстом с особой силой. В знак благодарности и уважения. А те, что уходили в печь, смотрели на него без ненависти. Они смотрели ожесточенно. Эти жесткие ноты нравились им.

И снова ему повезло. Музыкантов не успели сжечь. Их просто расстреляли второпях. К лагерю мчались наши танки, и фашисты дали очередь по веселому оркестру.

Пуля попала трубачу точно в грудь. Он упал. А когда очнулся, над ним стояли закопченные танкисты. И на их лицах он увидел ужас. И тогда он приподнялся. Взял в руку трубу и поднес ее к губам, чтобы сыграть что-нибудь веселое.

Он дунул в трубу, и блестящая медь обогрилась кровью: пуля пробила ему легкое...

«Но лучше бы пробила сердце!» — Так сказал он и заплакал. А когда успокоился, улыбнулся: «Видите, теперь слезы есть опять!»

Он вернулся домой и никого не нашел. Соседи, которые шли по дороге с женой и сыном, говорили, что потеряли их, когда налетели фашистские самолеты.

Он искал их повсюду. Писал письма. Ездил в Москву. Следов не было. Он понял, что война погубила и их.

Словно умер трубач. Живой, да не живой. Ходит, ест, пьет, но будто не он ходит, ест, пьет. А другой человек совсем. Музыку до войны больше всего любил. После войны слышать не может. В новой квартире радиопроводку снял. Только газеты читает. Оркестр из жизни вычеркнул. Устроился на завод.

Потом женился. Жену зовут Катя. Родился сын. Сережа. Теперь уже в институт поступил. И музыканту стало казаться, что войны и не было никакой. Что все во сне приснилось. Что

не прощался он с Катей и сыном, не уезжал в грузовике на войну — просто время куда-то исчезло. Время его мук.

Стал он оживать. Радио провел в квартире. Правда, когда музыка, старается выключать. И жена с сыном выключают, понимают его.

И вдруг он услышал: в радиопередаче рассказывали про Сережу.

Он даже похолодел...

Все в нем перевернулось.

НЕ ВЕРЮ!

Я смотрел на гостя во все глаза.

Откуда он все это придумал? В какой книжке прочитал?

Нет, не подумайте, будто я ему не поверил. Такое было, я слышал. Но разве могло быть это с ним? Вон он какой. Ничего особенного. В вышитой рубашке. Руки мягкие, влажные, неприятно даже. Совсем обыкновенный, словом, а ведь он про героя рассказывал! Про трубача! Такие же в кино только. В книгах. На пионерских сборах о них говорят, а на самом деле их, может, и нет. А если и есть, то, наверное, где-то. В Москве, например. В Верховном Совете. А этот дяденька живет в маленьком городке на Украине. Не слышал никогда даже такого названия...

Я гляжу на человека в вышитой рубашке и никак не могу понять, что он — тот трубач. Нет, не могу... Да еще он, может быть, мой дед!

Это мне помогает. Нет, нет, говорю я себе, дедушка мой здесь, а это рассказы, вымысел, я этого человека совсем не знаю, не имею к нему отношения, вот он встанет сейчас, выйдет на улицу, и все... Я буду думать, что просто услышал страшный рассказ. Пусть это даже правда, что он говорил. И пусть он будет героем, мало ли...

Но гость не уходит. Не исчезает, как в сказке. А сидит. Они с дедом курят, молчат. Я слышу его дыхание, его осторожное покашливание. Никуда он не денется, не исчезнет, не уйдет. Он существует действительно, этот человек, и его нельзя убрать, передвинуть куда-нибудь в угол, чтобы не мешал остальным.

— Как будем действовать? — спрашивает дедушка.

— У него на руке была родинка. На локтевом сгибе, — говорит человек.

Дедушка сосредоточенно молчит. Я лихорадочно вспоминаю — есть ли у папы родинка? По-моему, нет. А может, есть, только я не замечал.

Дед опускает голову, качает головой:

— Не помню.

— А последняя надежда — фотография, — говорит человек. — Я слышал, существует экспертиза. Можно установить, тот человек или не тот.

Он лезет в карман, достает бумажник и вынимает из нее пожелтевшую фотографию. Там какой-то веселый мужчина, молодая женщина. Белобрысый мальчишка обнимает их. Он повернулся немного боком и смотрит куда-то вверх. Может, на птицу. А может, на облака.

Я смотрю на карточку придирчиво. Но сердце колотится набатом. И в висках стучит молоточками. И душно.

Я подношу фотографию к глазам. Неужели это папа?

Папа! Это сразу ясно.

Но может, не он? Конечно, не он!

Мало ли похожих людей! И потом, разве таким был папа в детстве? Я видел его фотографии. Он был там постарше. С бабушкой. Потом отдельно — с портфелем. Вместе с бабушкой и дедом. Потом с дедом вдвоем — оба в военной форме, дед — в настоящей, а папа — так, шутя, ему дед привез с фронта, попросил военных портных сшить гимнастерку для мальчишки.

Я лихорадочно лезу в стол. Достāju альбом с карточками. Гость надевает очки, не спеша разглядывает каждый снимок.

Я тревожно гляжу на него. Меня злит, что он такой медлительный. Что не может посмотреть быстро и сказать: «Извините, я ошибся!» Он молчит, рассматривает наши фотографии, сверяет их со своей, и я уже не злюсь, а трепещу, словно жду приговора.

У меня дрожат руки, дрожат колени. И вдруг я чувствую, как дед берет меня за локоть.

Я смотрю ему в глаза. Он спокоен, лицо его окаменело. Только вздрагивают краешки губ.

— Ну что, внук? — спрашивает он меня негромко. Внук? Он никогда не называл меня так прежде. Антошкой называл. Антохой. А внуком — никогда. Мы были с ним друзья. И я был ему другом — это больше, чем внук. Он понимал это. А тут называл внуком.

Я взглянул на гостя, который разглядывал карточки, не обращая на нас внимания, и понял деда.

Я улыбнулся ему, обнял его за шею, присел к нему на колени, прижался. Шепнул, успокаиваясь:

— Нормально, дед!

— Ну и все! — ответил он весело.

Мы рассмеялись. Господи! Мой настоящий дед — дедушка. Мой прекрасный старичок.

РОДИНКА

Ну, а как же все-таки этот? Как с ним быть? Человек прилетел с Украины, ищет сына, по имени Сергей, и может быть, папа — его сын...

Родинка на локтевом сгибе. А вдруг есть?.. Что тогда? Два деда? Два бывает, но только когда один — отец отца, а другой — отец мамы. Тут совсем не так. И так не бывает.

Гость посмотрел фотографии. Задумался. Сказал:

— Трудно понять. Подождем. Только я вас прошу — пока ни слова. Можно и ошибиться. Будет непростительно. С этим не шутят.

— Я прошу вас о том же, — ответил дед.

И вот мы ждем. Капает вода из крана на кухне. Тихо капает, совсем не слышно. Но мне слышно.

Кап! Кап! Кап! Кап!

Капля бухает, как дедушкин взрыв.

Бум! Бум!! Бум!!!

И сердце сжимается от предчувствия.

Я понимаю, что ничего не будет. Он же сам просил ничего пока не говорить. Даже если родинка есть. Может быть, еще есть выход. Могу я позвать своих ребят. Кешку, Кирилла. Окружить его со всех сторон, объяснить, что так нельзя, так не бывает! Он же сам говорил, что женился снова, и жена у него Катя, и сын Сережа в институт поступил. А у дедушки никого нет, кроме нас. Бабушка ведь умерла, и он совсем один. Совсем! Неужели так трудно понять? Может же этот человек отказаться? Посмотреть на папу, увидеть родинку, сдержаться, промолчать и уехать обратно на Украину?

Капли грохают: бэм! Бэм! Бэм!

Я иду на кухню, чтобы закрутить кран, и раздастся звонок. Это папа. Он улыбается. Подмигивает. Напевает песенку:

Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой!

Кричит деду:

— Ну, отец, твоя песенка и ко мне прилипла.

— Иди сюда, Сергей! — говорит дедушка из комнаты. — Знакомьтесь: мой старый товарищ.

Гость поднимается с дивана, бледнеет, губы у него дрожат, я досаую на него — ведь не сдержится, скажет или закричит еще, чего доброго. Но он трясет обеими руками папину руку, долго разглядывает его глаза, как разглядывал фотографии, улыбка блуждает на его лице — мне кажется, он может упасть, я подхожу поближе, чтобы поддержать, в случае чего.

— Вот ты каким стал! — говорит он севшим, глухим голосом.

— А что? — спрашивает папа, ни о чем не подозревая. — Вы меня раньше видели?

Гость встревоженно глядит на дедушку, тот кивает:

— Видел, видел. Мальчишкой.

— А-а... — улыбается отец. — А я вас не помню.

— Разве же упомнишь, — отвечает человек в вышитой рубашке.

Мне не терпится вывести отца в кухню, сказать, чтобы показал немедленно руки. А он говорит с гостем о разных пустяках. Рассказывает про стройку. Дедушка поднимается, готовит на стол. Я ему не помогаю. Все придвигаются к столу, стучат стульями. Настает какая-то простая минута, словно разрядка от долгого напряжения, и мне вдруг приходит идея.

— Пап! — кричу я сам не свой. — Давай на локотки! Кто — кого?

— Ну, — смеется отец, — нашел время!

— Прошу! Прошу! — умоляю я, а дедушка и гость смотрят на меня непонимающе.

— Хорошо, — отвечает отец.

Мы ставим локти на стол, беремся кистями, и я пыхчу, стараясь повалить руку отца.

— Не жульничать! — кричит он. — Не подниматься!

Я, конечно, проигрываю, в другой раз мне было бы досадно, но сейчас не до этого.

— Еще! — кричу я, и отец снова укладывает мою руку.

— Со мной-то легко! — радуюсь я. — Вот попробуй победить дедушку!

Я смотрю выразительно на деда. Он пожимает плечами. Я делаю ему большие глаза. И он догадывается! Еще бы! Дедушка мой друг! И мы всегда понимаем друг друга! Если надо — даже без слов.

— Ну что ж! — говорит он весело и загибает рукава.

Папа закатывает их тоже.

— Ну-ка, — командую я. — Раз, два, три!

Они сражаются яростно и упорно. Дед покраснел. Конечно, у него меньше сил, чем у молодого папы. Но он опрокидывает руку отца.

— Один — ноль! — кричу я и вижу, как дедушка и гость смотрят на папину руку. Там ничего нет. Никакой родинки. Чисто!

— Другой рукой! — приказываю я, и дедушка снова побеждает.

— Два — ноль! — подпрыгиваю я. — Два — ноль!

Папа — наш! Мой, дедушкин!

СЕДОЙ ЧЕЛОВЕК

И тут мне становится грустно. И жалко.

Я называл его про себя «гость», «он»; «этот человек». Я не знал, как называть иначе, потому что имя и отчество ничего не значат, когда думаешь, что, может быть, он тебе дедушка.

Я не верил.

Я не верил, что он папин папа.

Что это может случиться — не верил, но боялся, трусил, не был уверен.

Я не верил, что он был трубачом.

Трубач был герой. А он был обыкновенный.

Теперь доказано. Он не дедушка. Это просто ошибка, вот и все. Он просто гость, действительно. И я теперь согласен, пусть.

Пусть он будет трубачом. Пусть он герой на самом деле. Это ведь и заметно, не так ли? У него седая голова. Он много перенес. Да что там! Разве подходят все эти сухие выражения, чтобы сказать, какая выпала ему горькая судьба. А главное, он потерял сына, Сережу, который похож на моего отца. Что было бы, если б я потерял папу? Или дедушку? Или они потеряли меня? И мы никогда бы не встретились больше?

Мне становится стыдно, что я не верил седому человеку. Он мчался на самолете, он волновался, он даже плакал, а я не хотел его понимать, даже не хотел верить.

Он сидел за столом подавленный, опустив голову. Папа и дедушка тревожно поглядывали на него, потом уложили на диван, укрыли одеялом.

Мы вышли из комнаты. Выходя, я обернулся и вздрогнул. Лицо у трубача подергивалось в каких-то судорогах. Он то смеялся как будто. То плакал.

Мне стало жутко. Я прикрыл торопливо дверь. Он так и спал — с вчерашнего до раннего утра. Крепко и тревожно — сразу. Утром он встал, разбитый, совсем не отдохнувший, с синими кругами возле глаз. Стал прощаться. Дед дал ему пакет.

— Здесь фотографии и письмо, — сказал он. — Все равно вы летите через Москву. Позвоните по этому телефону. Скажите, что от меня. Мой друг — генерал милиции. Он сделает экспертизу.

Гость изучающе посмотрел на деда. Ничего не сказал. Пакет взял.

Мы отправились проводить его до автобуса, который шел в аэропорт.

Возле автобуса он опустил чемодан на землю, крепко обнял деда. Сказал:

— Спасибо, добрые люди!

Влез в автобус, опустил окно. В глазах у него стояли слезы.

— Может, вы ошиблись, — ответил дедушка, — может, родинки не было. Надо до конца, понимаете! Мы с вами должны!

— Должны! — горько кивнул седой человек. — Должны!

Автобус зарычал, зашипел тормозами, медленно двинулся.

— Пришлю телеграмму! — крикнул он и стал махать нам рукой.

Мы махали ему в ответ. Автобус умчался уже далеко, а дедушка все держал и держал руку над головой.

Пыль от автобуса осела. На остановке было пусто. На земле валялись окурки и стаканчики из-под мороженого.

— Ответь, — сказал я деду, — зачем ты дал фотографии? Чтобы успокоить его?

Дед задумчиво разглядывал меня.

— Нет! — сказал он. — Все-таки вы счастливые!

Он помолчал.

— О войне знаете только по книжкам. И понять не можете, что такое горе.

Дедушка придвинулся ко мне, положил ладонь на плечо.

— Пусть! — сказал неожиданно. — Да пусть! Что в этом страшного? Ничего! Напротив, это прекрасно. Зачем вам знать? Зачем мы боимся такого незнания?

Мы медленно отправились домой. И дедушка словно теперь слышал мой вопрос.

— Разве его успокоишь? — ответил он. — Ведь он человек. А человеку дана память.

Мы проходили мимо фотографии.

— Антошка! — предложил дед. — А не сфотографироваться ли нам?

Он был в генеральской форме, а я в летней рубашке с отложным воротничком.

Мы вошли в фотографию. Какой-то прилизанный человек долго смотрел на нас в забавный фотоаппарат, похожий на огромный ящик. Дедушка сел, а я встал сбоку и положил ему руку на плечо. Как на той фотографии.

— Внимание! — крикнул фотограф. — Птичка!

Мы замерли, и я едва сдержался, чтоб не расхохотаться: какая еще птичка, я же не маленький.

Я часто смотрю на эту фотографию. Она висит теперь рядом с той: молодой дед и бабушка Лида с длинной косой. Снимки и правда похожи. Только дедушка и бабушка серьезные на своей фотографии, а мы с дедом совсем наоборот. У деда глаза смеются, а я надулся, губы уже поползли — сейчас фыркну!

ТЕЛЕГРАММА

Было ли все это?

Было ли?

Седой человек в расшитой рубашке. Автобус, уходящий вдаль. Прохладное фотоателье.

Правда это или выдумка? Мираж? Сон?

Я ли был рядом с дедом? Я ли ходил, говорил, улыбался? Я ли жил беспечно и бездумно, ни о чем, ни о чем не думая?..

Дед нервничал, пока не приехал украинец, а когда он уехал, снова забеспокоился. Опять ходил по комнате. Посвистывал. Напевал. Хватался за телефон и звонил вдруг куда-то, выясняя, как переносят муравейники. Чертыхался, потому что никто не знал.

Я его отвлекал. Задавал разные вопросы.

Он отвечал впопыхах, потом бежал докапывать землю вокруг дома, вечером ругался с папой, потому что тот обещал организовать машину с молодыми деревцами, а на самом деле все оказалось болтовней...

— Что с тобой? — отвечал папа. — Пожалуйста, успокойся! Машина будет, не сегодня — завтра, у нас сейчас аврал, подгоняем план. И вообще, папа! Ты на себя не похож!

Дедушка умолкал, ночью вздыхал, просил меня накапать лекарство, а я его спрашивал:

— Почему не идешь к врачу?

А он пел шепотом в ответ:

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям —
Не подумайте, это в бреду —
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Упавшую с неба звезду.

Я смеялся, он тоже смеялся, и я засыпал безмятежно — крепко, как убитый. Мне снилась звезда, упавшая с неба. Только совсем не такая, о какой пел дед. Звезда была хвостатая, хвост струился, переливался, как вода на перекате, я хотел ее схватить и уже притрагивался, но тут же отдергивал руку, потому что звезда была раскаленная...

Утром раздался звонок.

Я побежал открыть дверь. Дед двинулся за мной.

На пороге стоял телеграммщик. Тот самый!

Он был побрит и рубашку надел свежую.

— Распишитесь,— сказал он, пряча глаза.

Дедушка расписался и протянул руку за телеграммой. Но телеграммщик не отдавал.

— Послушайте,— сказал он хрипло,— что же вы тогда не сказали, что вы генерал?

Дедушка хмыкнул. Нахмурился.

— Какое это имело значение? — спросил он.— И какое имеет?

— Имеет,— ответил телеграммщик, но вдруг смутился. Сказал: — Хотя, конечно, кто я для вас? Пьяница. Извините.

Он протянул телеграмму, но дедушка ее не брал.

— Знаете,— сказал он,— не могу о вас судить, потому что вижу всего второй раз. И не в этом дело. Не обязательно мне вас знать близко. Просто, если вы в самом деле майор, вспомните войну. Вспомните себя на войне. Не вообще на войне, а в трудный час. Каким вы были. Вспомните, это поможет.

Телеграммщик опустил руку. Покивал головой. Потом сказал:

— Сегодня последний день телеграммы ношу. Вот эта последняя. Даже, видите, переоделся, побрился, когда узнал, что к вам зайду. В общем, перехожу на стройку. Пока сварщиком. Не знаю, выйдет ли?

— Выйдет,— ответил дедушка,— все правильно.

— Ну, я побежал,— вздохнул телеграммщик. И улыбнулся: — Зашел извиниться, товарищ генерал.

— Я для вас не генерал,— ответил дедушка.

— Нет,— сказал телеграммщик,— для меня-то вы как раз генерал.

Он протянул телеграмму, дедушка взял ее и пожал телеграммщику руку. Крепко встряхнул.

Дверь захлопнулась.

Дед прислонился к стенке. Откинул голову. Шепнул:

— Антошка, лекарство! Скорее!

Я примчался мгновенно. Молнией!

Долго ли, на кухню за водой, потом в нашу комнату, пятнадцать капель — и обратно.

Когда я капал лекарство, во дворе засигналил грузовик. Я выглянул в окно. Там стоял самосвал, полный маленьких березок и елей.

— Привезли! — крикнул я дедушке.— Саженцы привезли!

Он стоял в коридоре бледный, с испариной на лбу. Выпил лекарство. Глубоко вздохнул. Проговорил:

— Дай лопату!

— Надо полежать! — ответил я.

Дед промолчал. Развернул телеграмму, посмотрел ее, протянул мне.

«Экспертиза не подтвердила простите великодушно Савченко».

— Вот видишь,— крикнул я обрадованно.— Все в порядке!

Я был рад. Бесконечно рад. Теперь-то уж конец дедушкиным мучениям. Я весело глядел на деда, он тоже улыбнулся, подмигнул мне, взял лопату и пошел во двор.

Машина быстро разгрузилась и ушла. Я стал переодеваться, чтобы помочь деду.

И тут кто-то отчаянно закричал на дворе:

— Антошка! Антошка!

Я выглянул в окно. Соседские мальчишки махали мне рукой и орали:

— Скорее! Скорее! Дедушка!

Сердце словно оборвалось. Я кинулся сломя голову по лестнице, громко выстрелил дверью.

— Где? — кричал я отчаянно.— Где?

Дедушка лежал, уткнувшись лицом во вскопанную землю. Одной рукой он сжимал тонкий ствол березки, а другой — лопату.

— Дедуля! — шептал я.— Ну вставай, дедуля!

Я перевернул его на спину.

И увидел открытые глаза.

— А-а-а-а!

НОЧЬ

Я слышу до сих пор собственный крик.

Он раздается вдруг среди ночи, я вскакиваю, мокрый от пота, шепчу:

— Дедушка! Дед!

Но никто не откликается.

И я плачу. Плачу навзрыд. Плачу до хрипа, до крика!

В комнату вбегает мама, гладит меня по плечам и говорит:

— Ну, Антошка! Антошка!

Она плачет сама.

Приходит папа.

Он обнимает нас изо всех сил, до боли и говорит срывающимся голосом:

— Ребята! Ребята, будьте мужчинами!

Нет, это невозможно!

Это выше сил!

Я не могу, не могу, понимаете!

Я не могу быть мужчиной!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

НА КРУТОЙ ГОРЕ

Мы похоронили его на горе.

На самой вершине отвесной скалы, откуда видно далеко вокруг.

И плотина прямо под ногами.

И дальняя тайга, которая скоро исчезнет, а вместо нее будет море.

И еще тайга, которая никогда не исчезнет, а будет вечно шуметь, принося на вершину запах смолы и хвои.

Когда-то я был здесь, на этой вершине. Кешкин дед Иннокентий Евлампиевич взял отпуск, сделал деревянную колодушку, и мы отправились шишковать. А потом вышли сюда, и я поразился. Поразился красоте. Раздолью. Близости неба.

Дедушку похоронили там.

Взрывники заложили динамит, и эхо прокатилось над далекой тайгой.

Дедушка лежал спокойный, в парадном мундире. Только без орденов. Ордена горели на красных подушечках. И все горело вокруг. Пионерские галстуки нашего отряда. Наш отрядный флаг, опущенный к гробу. Красное знамя в руках Бориса Егорова. Горела медь горнов и солнце над головой.

Эх, солнце!

Опять как тогда. Меня еще не было, и папе исполнилось три года, когда началась война, неожиданно, нежданно, и солнце не спряталось тогда за тучи, будто и его застали врасплох.

И сейчас!

Сейчас тоже врасплох! Оно не знало, конечно, что дедушка умрет, не знало, как и я, а то бы спряталось, опустило покрывало черных траурных туч.

Я стою возле гроба.

Я смотрю на деда.

Руки отяжелели, и голова тоже. Весь я пустой и каменный, не живу, не дышу, только вижу.

Вижу папу, стоящего на колене у гроба. Вижу маму в черной одежде. Она положила руку отцу на плечо. Будто на той фотографии. Анна Робертовна в черном платке. Гриша ее под руку держит.

Я слышу звук.

Станный плач.

Это плачут горны.

Они сверкают на солнце, трепещут алые вымпелы на каждом из них, но горны плачут.

Ту-ру-ру-ру-у-у!..

Ту-ру-ру-ру-у-у!..

И вдруг слышится еще что-то.

Я смотрю в сторону, на стройку, и все оборачиваются туда.

Я вижу белую плотину, а в котловане и дальше, на берегу,— множество машин. Множество самосвалов.

Они стоят. Это странно. Машины никогда не стоят на стройке.

Но тут они стоят как попало, замерли и... гудят!

Гудят все вместе, тягучим, торжественным голосом, и в него, будто в оркестре, вплетаются пронзительные голоса консольных кранов.

И там, в котловане, люди, похожие на муравьев, остановились, смотрят, подняв руки к платкам и козырькам, на высокую вершину, где стоим мы.

Меня зовут Антошка, вы знаете.

Меня называли так в честь деда, и это значит, что дедушка всегда со мной. Мой генерал всегда рядом.

Вот он смотрит на меня со стены. Сперва — молодой, глаза сверкают озорно. Потом — старый вместе со мной, но и на этой фотографии глаза у него улыбаются.

Он же улыбался, когда пел тысячу раз:

Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой!

Эта песня вовсе не грустная. Она даже веселая. И правда — разве это плохо? Умереть, так сразу. А если ранят — пусть рана скорей заживет!

Дед со мной. Он рядом. Он так жил, что не может умереть. Никогда!

Я просыпаюсь по ночам и больше не плачу.

Я думаю с тоской только, что больше дедушка не скажет мне строго:

«Думай!»

Не попросит мягко:

«Пошепчемся!»

Не улыбнется ласково:

«Эх, Антоха!»

Я сдерживаюсь.

Я не плачу.

Я глотаю тугой комок, подкативший к горлу, и складываю стихи про дедушку.

Мой генерал! Мой генерал! — зову три раза.—

Мой генерал! Ты только не молчи.

Ведь ты же знаешь, что без воинских приказов

Не могут бить тревогу трубачи...

Я придумываю эти стихи. А они не выходят.

Я тычусь головой в подушку и бью ее отчаянно кулаком.

Все равно я сочиню эти стихи. Все равно, дедушка, ты будешь живой.

Все равно! Все равно! Все равно!

1974 г.

КОММЕНТАРИИ

АЙТМАТОВ ЧИНГИЗ ТОРЕКУЛОВИЧ

(род. в 1928 г.)

Народный писатель Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик Европейской академии наук, искусств и литературы.

Его перу принадлежат получившие мировую известность повести и романы: «Джамиля», «Первый учитель», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря», «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»). Многие из них стали любимым чтением подростков и юношества.

«Сегодня мы имеем, пожалуй, право сказать,— справедливо заметил в предисловии к трехтомному Собранию сочинений Ч. Айтматова критик Н. Потапов,— что одна из вершин могучего кряжа искусства социалистического реализма связана с именем Айтматова — художника, впитавшего в себя фольклорные и литературные традиции родного народа, опыт многонациональной советской литературы, русской и мировой классики».

Создающий свои произведения на киргизском и русском языках, Ч. Айтматов так определил назначение писательского труда: «Литература должна самоотверженно нести свой крест — вторгаться в сложности жизни, с тем, чтобы человек знал, любил, тревожился за все доброе, лучшее, достойное в себе, в людях, в обществе. В этом я вижу истинное назначение искусства» (Айтматов Ч.— «В соавторстве с землею и водою...». Кыргызстан, Фрунзе, 1978, стр. 156).

Произведения Айтматова переведены на десятки языков в нашей стране и за рубежом.

РАННИЕ ЖУРАВЛИ

Впервые повесть напечатана в журнале «Новый мир» № 9 за 1975 год. Затем многократно переиздавалась как в нашей стране, так и за рубежом. В издательстве «Детская литература» опубликована в 1980 году вместе с повестями «Белый пароход» (давшей название сборнику) и «Пегий пес, бегущий краем моря».

«Айтматов, не дожидаясь поры мемуаров,— писал в послесловии к этому сборнику критик Б. Панкин,— отдал сердечную дань подвигу людей своего поколения, ныне составляющих и по возрасту и по опыту жизненному сердцевину народа. Своей повестью Айтматов отдал долг чести и родной Киргизии, которая, как и все другие республики нашей страны, честно и бестрепетно несла свою ношу на фронтах Отечественной войны и в глубоком тылу...»

Автобиографический характер повести «Ранние журавли» не трудно обнаружить, если обратиться к созданному одновременно с повестью и опубликованному в том же 1975 году очерку писателя «Снега на Манас-ата».

Делясь с читателями воспоминаниями о собственном военном детстве, Ч. Айтматов позволяет сопоставить их с повестью «Ранние журавли», где обнаруживается не только фактическая связь (преждевременный уход подростков из школы для участия в полевых работах, выхаживания лошадей, полного приобщения к нелегкому труду колхозников военного времени). Очерк передает и родившее мальчиков той поры чувство неизбывной тоски по ушедшим на фронт отцам, и сжигающее сердце ежедневное ожидание весточек от них, и великое сознание народного единения друг с другом, соседями, родным киргизским колхозом. Все то, что с айтматовской страстью и силой художественного изображения дано в повести «Ранние журавли».

«Думая о тогдашних своих сверстниках,— говорит писатель в упомянутом очерке,— я сейчас прихожу к выводу, что мое поколение оказалось столь жизнестойким и цельным, возможно, благодаря именно этой суровой обстановке. Это вовсе не значит, что современные условия материального благоденствия мало способствуют жизнестойкости молодежи. Наоборот. Только по недомыслию можно благо обернуть во зло себе.

У каждого времени свой спрос с человека, свои проблемы и требования, и потому жизнь никогда не дается легко, если к ней подходить всерьез, если дерзать, а не выискивать беспечное житье».

И неким необъявленным эпилогом к «Ранным журавлям» звучат написанные все в том же очерке слова Ч. Айтматова: «Среди моих сверстников нет такого человека, за которого мне сейчас было бы стыдно. Нет, таких нет. Все они давно семейные люди, почти у всех уже взрослые дети, каждый занят своим делом, и мне доставляет большое удовольствие сказать, что их жизненный путь — это путь большого человеческого достоинства». (Ч. Айтматов.— «В соавторстве с землею и водою...». Кыргызстан, Фрунзе, 1978, стр. 175—176.)

Написанная на русском языке повесть «Ранние журавли» переведена на казахский, каракалпакский, киргизский, латышский, литовский, туркменский, узбекский, украинский, эстонский языки.

Она получила известность во многих европейских странах и в Азии, переведена на болгарский, венгерский, итальянский, немецкий, персидский, словацкий, турецкий, финский, французский, японский языки.

Художественная общественность итальянского города Вольтерра присудила в 1980 году первую премию «за глубокий гуманизм» книге Ч. Айтматова, куда вошла и повесть «Ранние журавли».

В 1977 году эта повесть удостоена Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

АЛЕКСИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

(род. в 1924 г.)

Известный советский писатель, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, премии Ленинского комсомола, Международной премии социалистических стран им. М. Горького, награжден медалью им. Н. К. Крупской и Международным дипломом им. Г.-Х. Андерсена, включен в Почетный список имени знаменитого датского сказочника. Писатель избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

А. Г. Алексин — автор популярнейших, любимых юными и взрослыми читателями и зрителями повестей, рассказов и пьес. Произведения писателя издавались десятки раз. Некоторые из них адресованы школьникам («Тридцать один день», «Саша и Шура», «Необычайные похождения Севы Котлова», «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «В стране вечных каникул», «Говорит седьмой этаж!», «Сигнальщики и Горнисты»), другие повести обращены к юношеству и к воспитателям молодого поколения («А тем временем где-то...», «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Очень страшная история», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «В тылу как в тылу», «Раздел имущества», «Сердечная недостаточность», «Звоните и приезжайте!», «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха», «Здоровые и больные», «Запомни его лицо...»).

«Я считаю его одним из талантливейших мастеров прозы, обращенной к детству и юности и рассказывающей о детстве и юности. Все творчество писателя — волнующая повесть о союзе дня сегодняшнего с днем грядущим, о том, как юный человек своими поступками завоевывает право войти в мир взрослости, в мир творчества, дерзания, созидательной атмосферы труда», — читаем об А. Алексине у Вадима Кожевникова.

Произведения Алексина переведены на языки всех союзных республик нашей страны, во всех социалистических государствах, а также на английский, французский, итальянский, испанский, японский, персидский, бенгальский, хинди, урду и другие языки.

О героях его произведений «Правда» писала: «Наделенные талантом человечности, они и в других пробуждают этот бесценный, столь необходимый обществу талант». (7 июня 1978 г.).

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ

Впервые повесть напечатана в журнале «Юность» № 3 за 1978 год.

Произведение носит автобиографический характер. Вспоминая свое отрочество, совпавшее с годами Великой Отечественной войны, А. Алексин писал: «Ну, а потом — война. В то время люди рано выросли. Вот и мне, еще не достигшему совершеннолетия, довелось стать литсотрудником, а затем и ответственным секретарем ежедневной газеты «Крепость обороны». Это было на строительстве гигантского оборонного предприятия. Оно одно (все остальные алюминиевые заводы были разрушены врагом) должно было обеспечить нашу промышлен-

ность «крылатым металлом». Мощность завода в самые сжатые сроки нужно было увеличить во много раз. План этот казался нереальным. Но задание Родины, как и все непостижимо трудные задания того сурового времени, было выполнено». (Алексин А. «О себе писать трудно». — В сб.: «Вслух про себя». М., «Детская литература», 1978.)

В статье, посвященной творчеству А. Алексина, Ф. Чапчахов писал в «Правде»: «В новой повести А. Алексина «В тылу как в тылу»... «талант человечности», которым наделены герои — и взрослые и подростки, — подвергается испытаниям войны. Он с честью выдерживает эти суровые испытания». («Правда», 7 июня 1978 г.)

Повесть выдержала много изданий у нас в стране и за рубежом.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Впервые повесть опубликована в журнале «Юность» № 2 за 1979 год. Неоднократно издавалась в СССР и за рубежом.

«В повести мы видим не суд, не осуд, а труд души девочки-подростка, которую жизнь ставит перед необходимостью рассудить близких ей людей, — отмечает в «Литературной газете» писательница И. Стрелкова. — Итогом этого труда становится записка, адресованная родителям: «Я буду той частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке».

Повести посвящены многие статьи в периодической печати и монографических исследованиях.

МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ

Впервые повесть опубликована в журнале «Юность» в 1967 году. У нас в стране и за рубежом издавалась десятки раз.

Наталья Сац писала: «Повесть «Мой брат играет на кларнете» написана увлекательно, остроумно, с логически оправданными и одновременно неожиданными сюжетными поворотами... Главная мысль этой веселой, но очень серьезной повести: истинное добро бескорыстно! Если человек, совершивший благодеяние, ждет за это награды, если он считает такой наградой право на бесцеремонное вмешательство в личную жизнь другого, — его благодеяние в таком случае ничего не стоит и можно лишь с презрением отвергнуть такое «добро».

Повесть Анатолия Алексина «Мой брат играет на кларнете» восстает против душевной бестактности, против грубого вторжения во внутренний мир человека. Она отстаивает высокие этические нормы в отношениях между людьми». («Известия», 20.IX.1967 г.)

По мотивам повести были поставлены спектакли. Спектакль Московского ТЮЗа завоевал первые места на Всесоюзных и Всероссийских театральных смотрах.

«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ»

Впервые повесть появилась на страницах июньского (№ 6) журнала «Юность» за 1976 год. И очень быстро стала популярной у читателей. С большим интересом встретили ее учителя. Многие из них приняли участие в обсуждении повести на страницах «Учительской газеты» летом того же 1976 года. На одно из выступлений учителей ссылается в монографии о творчестве А. Алексина критик Вл. Воронов. Вот оно: «Трудно быть такой, как Евдокия Савельевна,— писал в газету педагог А. Браславский.—Но они есть и будут, эти вечные энтузиасты... Низкий поклон писателю от старых учителей за созданный им образ Евдокии Савельевны. Ибо значительные и прекрасные дела делают на земле «безумные» и «чудаки» в понимании мещан, пусть даже и «исключительных». Добавим от себя: таких, допустим, как Оля».

Повесть была высоко оценена на страницах журналов и газет, переведена на многие языки.

А. Алексин стал первым советским писателем, удостоенным Международной премии социалистических стран им. М. Горького. Она была присуждена за повесть «Безумная Евдокия».

Повесть удостоена Государственной премии СССР (вместе с повестями «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду»).

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО...

Повесть впервые появилась в № 12 журнала «Юность» за 1966 год. Затем десятки раз публиковалась в нашей стране и за рубежом.

«Начиная с повести «А тем временем где-то...», Анатолий Алексин ставит своего молодого героя в самую гущу «взрослых» отношений, заставляя его решать сложнейшие нравственные, социальные проблемы времени,— пишет критик Вл. Воронов в монографии «Анатолий Алексин».— Среди них, наверное, преобладают проблемы, связанные с гуманистической сущностью нашего общества, с вызреванием в нынешнем подростке нравственных убеждений «человека для людей».

Ф. Кузнецов пишет, что «мысль писателя, его художественное чутье» исследует в этой повести «серьезную нравственную коллизию... Это коллизия между «казаться» и «быть» — казаться «правильным» в нравственном отношении человеком или быть им» («Беседы о литературе», «Детская литература», М., 1977 г.).

Эта короткая повесть вызвала обильную читательскую почту, критика активно откликнулась на нее («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Октябрь», «Москва», «Наш современник» и другие органы печати).

Спектакль Центрального детского театра «Обратный адрес», поставленный по мотивам этой повести, удостоен Государственной премии РСФСР.

В 1979—1981 гг. в издательстве «Детская литература» вышло Собрание сочинений Анатолия Алексина в 3-х томах.

ДУБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1910—1983)

Известный советский писатель, лауреат Государственной премии СССР.

Большинство созданных им повестей и романов получило широкое признание у детей и подростков: «Огни на реке», «Небо с овчинку», «На краю земли», «У отдельно стоящего дерева», «Мальчик у моря», «Беглец», «Горе одному», «Колесо фортуны».

«Дубов принес в литературу для детей не только новые мысли,— верно сказал о нем писатель В. Железников,— но и по-своему привлек внимание к серьезным жизненным проблемам, то есть не увел в сторону, в сферу детских «игр», а наоборот — настойчиво, целеустремленно вывел в жизненное пространство. У него дети, подростки живут на одной земле со взрослыми, в едином потоке. Отсюда — двойной масштаб, позволяющий Дубову открывать мироощущение не только маленьких героев, но и взрослых».

МАЛЬЧИК У МОРЯ

Впервые повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 6 за 1963 год. В 1964 году вышла в издательстве «Детская литература», где затем переиздавалась неоднократно, утоляя неослабевающий спрос и интерес читателей.

«Я первый раз пишу письмо в издательство,— признается один из них — одиннадцатилетний Александр Я. из Кемеровской области.— Я очень волнуюсь. Боюсь наделать ошибок. Книга «Мальчик у моря» Николая Дубова произвела на меня большое впечатление. Когда я прочитал книгу, то, сам этого не замечая, начал перенимать все черты у Сашука. Сашук в книге настоящий герой...

...Я — мальчик, как и все. Живу в селс... Раньше, когда я не читал этой книги, я был очень слабым, но когда прочитал книгу, то стал постепенно исправляться. Книга перевоспитала меня. Сейчас я смотрю на жизнь не так, как раньше».

Проницательность одиннадцатилетнего читателя с завидной точностью позволила ему разглядеть в пятилетнем Сашуке, не совершающем ровно никаких подвигов, «настоящего героя» и открыла глаза на мир («сейчас я смотрю на жизнь не так, как раньше»). А ведь автор, кажется, не прилагает особых усилий, чтобы «приподнять» Сашука, выделить его. Напротив. Живет он в обыкновенном рыбацком поселке. И родители его самые что ни есть рядовые рабочие люди в рыболовецкой артели.

Но силой писательского таланта Н. Дубова, силой его любви к человеку, каким бы маленьким (по возрасту или положению) он ни был, высветлен пробуждающийся характер Сашука. И характер этот, проявляющийся в чувстве справедливости, человеческого достоинства и любви, в непримиримости ко злу, поистине оказывается стойким и верным, надежным. Поэтичность и красота души мальчугана, равно как и его твердость в горестных испытаниях, унаследованы им от внутренне богатых окружающих людей: матери и отца, бригадира Ивана Даниловича, Звездочета, рыбака Жоры, солдат-пограничников. А мужание Сашука, перемены, происшедшие с ним в повести, прекрасно разглядели и почувствовали читатели.

«...Я словно вместе с Сашуком переживала все его горести и радости,— пишет двенадцатилетняя Наташа Н. из г. Копейска,— даже иногда плакала. И конечно, эти несколько дней, пережитых Сашуком и описанных в книге, навсегда останутся в его памяти.

Я прочитала книгу два раза, но мне хочется прочитать ее еще раз. Я очень благодарна Николаю Ивановичу Дубову за эту книгу и прошу передать ему большое спасибо».

Обаяние дубовского героя — мальчика у моря — и в роднящем его с героями других книг писателя пробуждающемся чувстве долга.

«Николай Дубов,— пишет в послесловии к трехтомному собранию сочинений писателя критик А. Турков,— жадно прислушивается сам и нас, читателей, заставляет расслышать, как в душах его героев все громче слышится драгоценная музыка долга — перед людьми, обществом, родной землей».

Повесть «Мальчик у моря», выходила на литовском, эстонском языках, издана в ГДР и Чехословакии.

В 1970—1971 гг. в издательстве «Детская литература» вышло Собрание сочинений Николая Дубова в 3-х томах.

КУЗНЕЦОВА АГНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

(род. в 1911 г.)

Известная советская писательница, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Удостоена диплома Международного совета по детской и юношеской литературе.

А. А. Кузнецовой созданы популярнейшие у подростков и юношества повести и романы: «Твой дом», «Свет-трава», «Жизнь зовет», «Честное комсомольское», «Много на земле дорог», «Мы из Коршуна», «Земной поклон», «Чертова дюжина», «Ночевала тучка золотая...».

Широкую популярность у читателей завоевала трилогия о жене А. С. Пушкина и его друзьях: «Под бурями судьбы жестокой...», «А душу твою люблю...», «Долли».

Характеризуя творчество А. А. Кузнецовой, критик И. Мотяшов писал: «Она активнейшим образом работает в самом главном для литературы направлении: формирует чувства, мысли, поведение тех, кто сегодня вступает в жизнь, а завтра понесет в будущее эстафету прометеева огня».

Особенность прозы А. А. Кузнецовой отметил писатель С. В. Михалков, сказав в предисловии к одной из ее повестей: «Юный человек всегда жаждет высокого примера. Он хочет общаться с героями, которых не назовешь «литературными», потому что они, перешагнув книжные страницы, становятся как бы живыми спутниками наших дней».

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

Повесть впервые опубликована в журнале «Октябрь» № 3 и № 4 за 1976 год. «Здравствуйте, Агния Александровна! — обращается к автору «Земного

поклона» шестнадцатилетняя Рита А. из Омской области.— Вы, наверное, удивитесь, почему я Вам пишу. Но из всех писателей, книги которых я читала, Вы больше всех понравились мне».

«Перечитываю «Земной поклон» раз и два,— вторит Рите А. пятнадцатилетняя Наташа В. из Курска,— и, думаю, к нему вернусь еще. Ведь я сама через полгода стану выпускницей КПУ № 1 и мне доверят детские души...

...Каждая Ваша книга, глава, страница заставляют задуматься, где-то покраснеть, а где-то от души рассмеяться, они учат жить, это своеобразный урок».

Эти письма типичны для обширной почты Агнии Александровны Кузнецовой.

Одним из главных достоинств повести «Земной поклон» является создание характера обаятельного учителя-воспитателя Николая Михайловича Грозного, о котором одна из читательниц сказала: «Я влюбилась в него как в педагога, человека».

Нельзя не заметить последовательности, с которой писательница обращается к образу педагога. Есть в этом пристрастии корни в биографии А. А. Кузнецовой. Ее первой учительницей, оставившей вечный след в душе писательницы, была сестра отца — Евгения Николаевна Домбровская. Светлой памяти этого удивительного человека и педагога посвятила А. А. Кузнецова свой «Земной поклон».

И еще одна особенность произведения связана с биографией писательницы — место действия его.

Родившаяся в Иркутске, в Сибири, хорошо знающая и нежно любящая родной край, писательница именно там поселяет героев своей повести, рисуя не только их современное бытие, но и бережно ведет «разведчиков старины» в историю местной прогрессивной педагогики.

Повесть «Земной поклон» удостоена Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской.

Она переведена на грузинский, азербайджанский, латышский, узбекский, украинский, болгарский, немецкий, французский, английский, испанский, чешский языки.

В 1982—1984 гг. в издательстве «Детская литература» вышло Собрание сочинений Агнии Кузнецовой в 3-х томах.

ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

(род. в 1935 г.)

Известный советский писатель, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, премии Ленинского комсомола, Международной премии социалистических стран им. М. Горького, награжден медалью имени Н. К. Крупской.

Перу А. Лиханова принадлежат популярные у детей, юношества, у взрослых читателей романы и повести: «Благие намерения», «День твоего рождения», «Звезды в сентябре», «Золотая сабля командира», «Лабиринт», «Мой генерал», «Солнечное затмение», «Голгофа», «Высшая мера», цикл повестей о военном

детстве («Музыка», «Магазин ненаглядных пособий», «Крутые горы», «Последние холода» и др.), «Обещание», «Обман», «Теплый дождь», «Чистые камушки».

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Впервые роман вышел в издательстве «Детская литература» в 1975 году. Роман неоднократно переиздавался. В 1978 году он вышел в сборнике «Обещание», по поводу которого писательница И. Стрелкова, в частности, заметила: «Составляя свою «военную» книгу, Альберт Лиханов к трем повестям, в которых отразились впечатления собственного детства, добавил еще одну — про современного школьника и его деда, участника Великой Отечественной войны, — «Мой генерал».

В таком построении книги есть глубокий смысл: мальчишки военной поры обещали отцам быть похожими на них. Сегодняшний школьник, герой повести «Мой генерал» духовно близок к деду-фронтовику. Значит, идеалы по-прежнему неизменны, уроки военного мужества, верности, товарищества продолжаются и для новых поколений — вот о чем говорит книга Лиханова».

Роман «Мой генерал» вызвал у читателей живой отклик. «Однажды в руки мне попала книга А. Лиханова «Мой генерал», — пишет одиннадцатилетняя Марина Ю. из Мурманской области. — Я долго думала и решила написать в Дом детской книги. Впервые я прочитала такую книгу. В первый раз я заплакала над книгой. Это самая замечательная книга, которую я прочитала за все пять классов».

Герой романа нашел прямой путь к читательским сердцам. А значит, реализовался замысел писателя, изложенный им во вступлении к изданию романа во Всероссийской «Библиотеке «Мужество».

«Я пишу это тем читателям, — говорит А. Лиханов, — у кого смелые и мужественные отцы в землях Сибири и Дальнего Востока строят наше Отечество. Рядом со старшими мужаете и вы, ребята. Как это прекрасно — опереться на плечо большого и хорошего человека. Как это важно — шагать за ним, удлиняя поступь, ставя в его большой след свои, пока небольшие следы».

Роман для детей «Мой генерал» переведен на азербайджанский, армянский, казахский, киргизский, узбекский, украинский, эстонский, немецкий, чешский, монгольский, польский, вьетнамский языки.

«Мой генерал» — в числе произведений автора, удостоенных Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола.

Э. Короза

СОДЕРЖАНИЕ

Александра Пистунова. «Вновь и вновь пахари пашут поле...» . 3

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Ранние журавли 21
© «НОВЫЙ МИР», № 9, 1975 г.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

В тылу как в тылу . . . 103
© «ЮНОСТЬ», № 3, 1978 г.
Раздел имущества 141
© «ЮНОСТЬ», № 2, 1979 г.
Мой брат играет на кларнете . . . 171
«Безумная Евдокия» . . . 199
© «ЮНОСТЬ», № 6, 1976 г.
А тем временем где-то... . . . 225

НИКОЛАЙ ДУБОВ

Мальчик у моря 259

АГНИЯ КУЗНЕЦОВА

Земной поклон 325
© «ОКТЯБРЬ», № 3 и 4, 1976 г.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

Мой генерал 475
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1975 г.
Комментарии 613

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 29, книга 1)

Чингиз Торекулович Айтматов

РАННИЕ ЖУРАВЛИ

П о в е с т ь

*

Анатолий Георгиевич Алексин

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ

П о в е с т и

*

Николай Иванович Дубов

МАЛЬЧИК У МОРЯ

П о в е с т ь

*

Агния Александровна Кузнецова

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

П о в е с т ь

*

Альберт Анатольевич Лиханов

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Р о м а н

*

ИБ № 9335

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева

Художественный редактор

Г. Ф. Ордынский

Технический редактор

Т. Д. Юрханова

Корректоры

Т. В. Беспалая и Э. Н. Сизова

Сдано в набор 20.11.84. Подписано к печати 05.06.85. А08934.
Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академич. Печать
высокая. Усл. печ. л. 40,13. Усл. кр.-отт. 44,38. Уч.-изд. л.
40,0+9 вкл.—40,54. Тираж 407 000 экз. (1-й завод 1—200 000
экз.). Заказ № 31. Цена 2 р. Орденов Трудового Красного Зна-
мени и Дружбы народов издательство «Детская литература»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Дет-
ская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

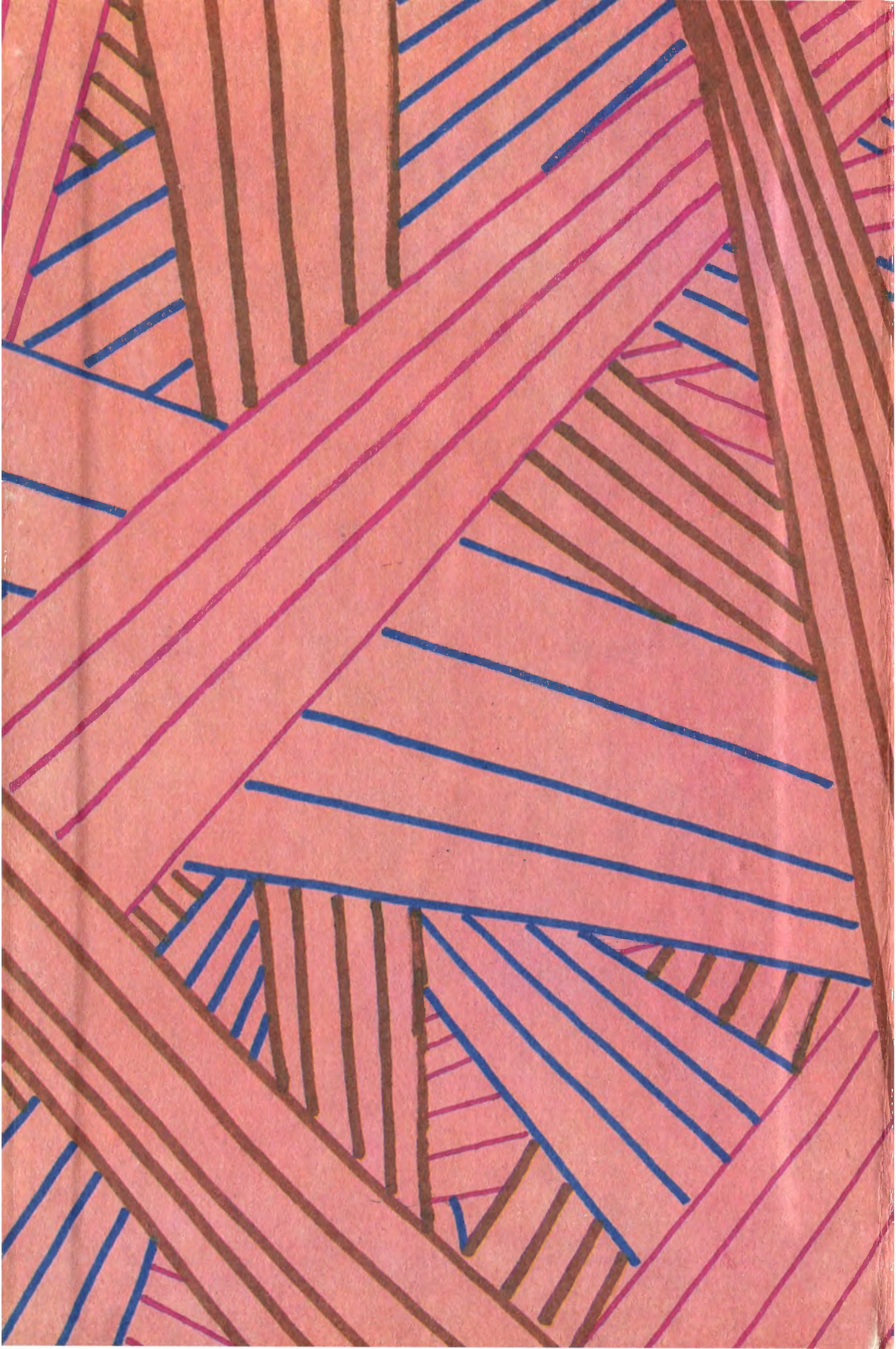
Айтматов Ч. Т.

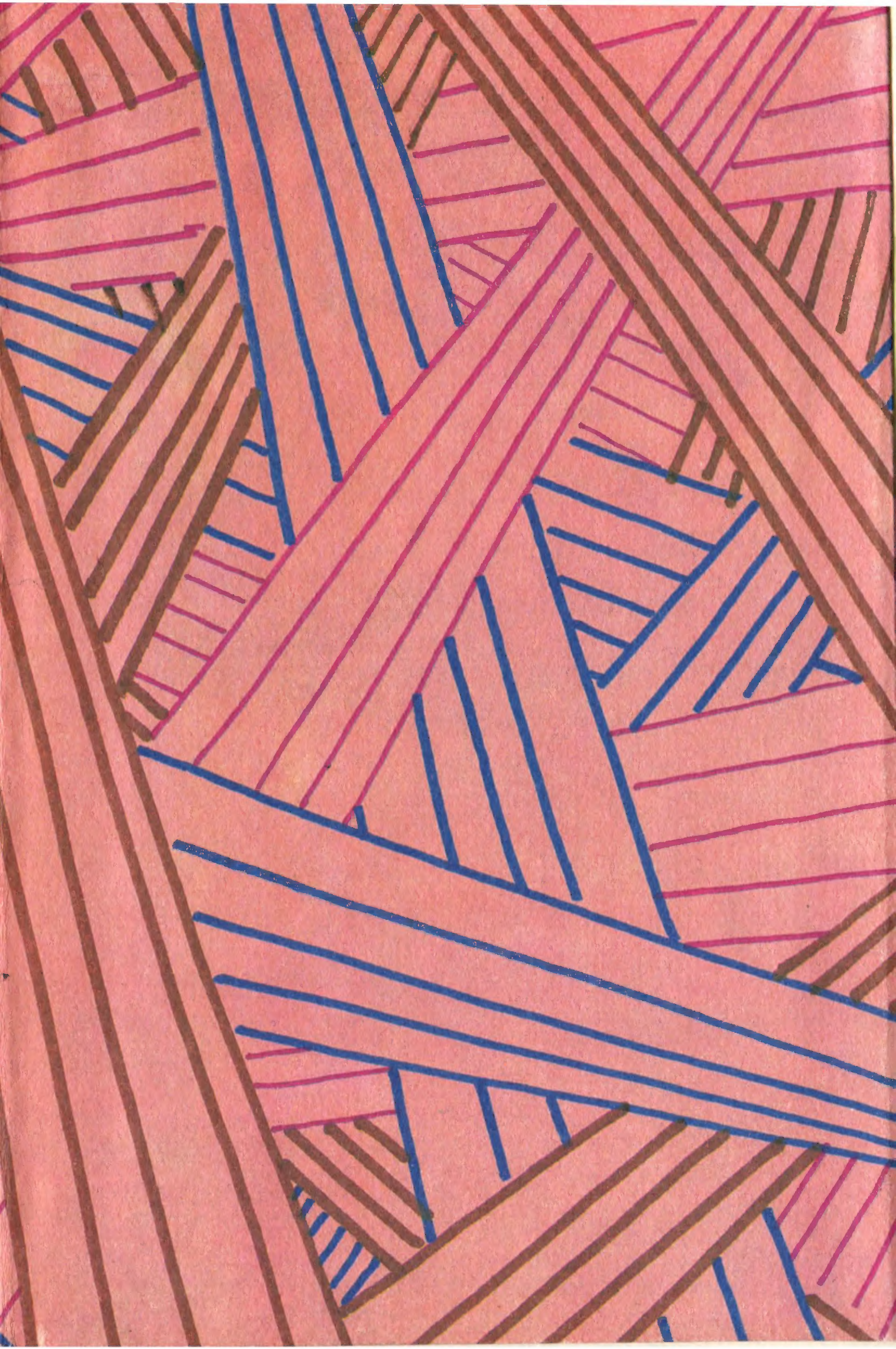
А36 Ранние журавли; Алексин А. Г. В тылу как в тылу и др. повести. Дубов Н. И. Мальчик у моря. Кузнецова А. А. Земной поклон. Лиханов А. А. Мой генерал: Повести и роман / Предисл. А. Пистунновой; Ил. Е. Медведева.— М.: Дет. лит., 1985.— 622 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 29, кн. 1).

В пер.: 2 р.

А 4083010102—377 Подп. изд.
М101(03)85

Р2





2руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»